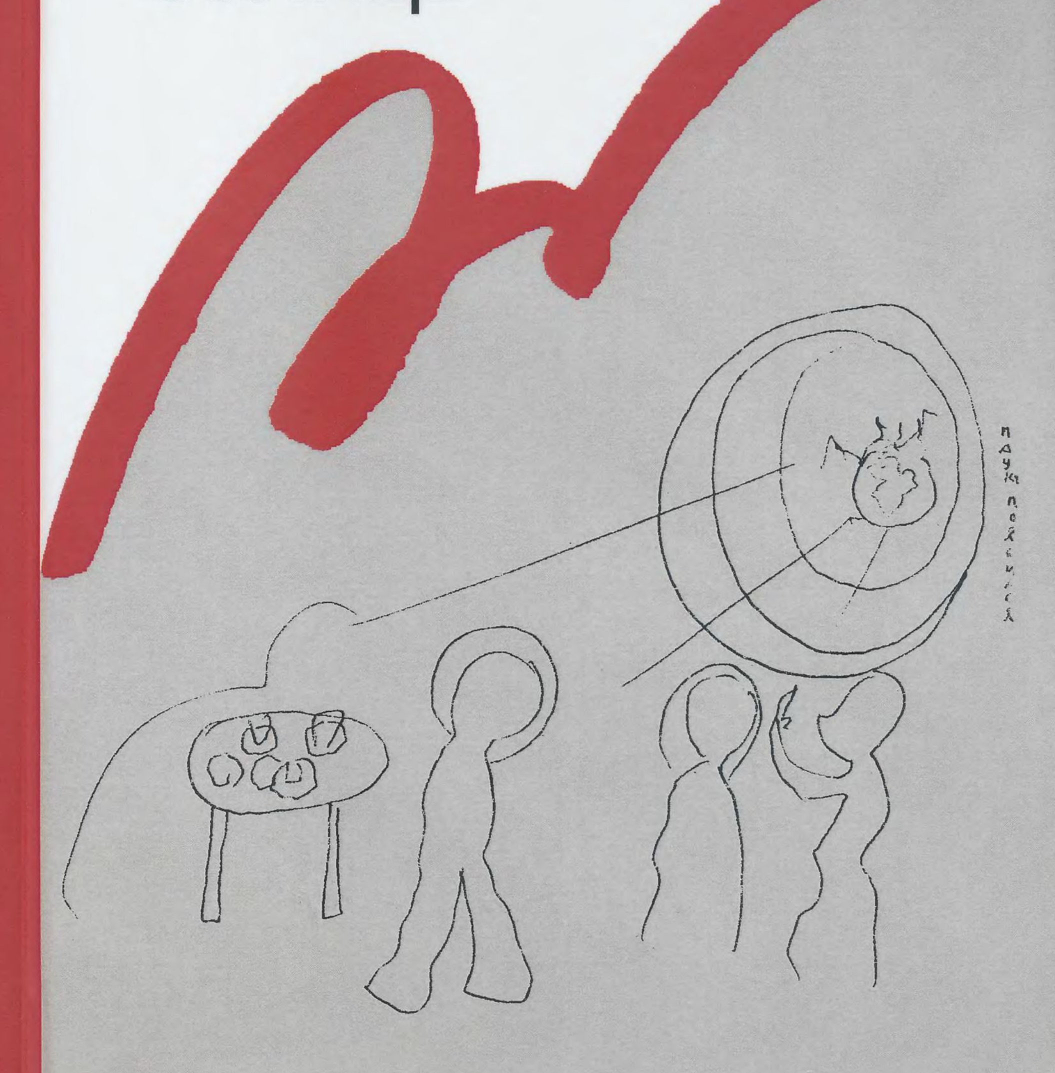
А. М. РЕМИЗОВ

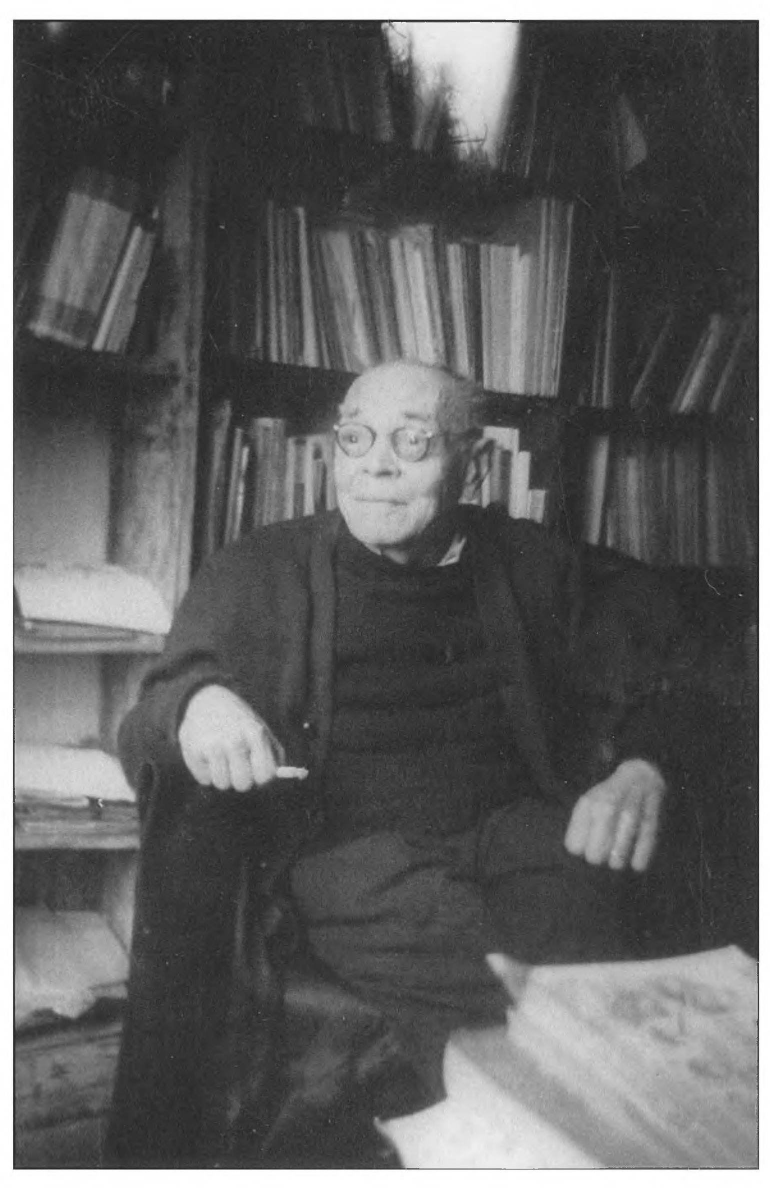
ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ

А. М. РЕМИЗОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ





А. М. Ремизов. Фотография. (Париж. Конец 1940-х гг.).
ГЛМ. Публикуется впервые

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

А. М. РЕМИЗОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ





Санкт-Петербург
2021

УДК 821.161.1-32-34
ББК 84.3(2Рос+Рус)1
Р38

Издание подготовлено при содействии
Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова

Подготовка текста «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым», комментарии, статья: *И. Ф. Данилова*

Подготовка текста «Нерусские сказки», комментарии: *В. Н. Быстров*

Подготовка текста «Бык-Корова», комментарии: *Е. Р. Обатнина*

Подготовка текста «Баранки», комментарии: *А. М. Грачева*

Подготовка текста «Вереница», «Жук», комментарии: *О. А. Линдеберг*

Научный редактор тома *А. М. Грачева*

Рецензенты: *А. В. Лавров, С. И. Николаев*

Ремизов А. М.

Р38 Полунощное солнце. Собрание сочинений. Т. 16. — СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2021. — 694 с.

Книга «Полунощное солнце» (16 том Собрания сочинений А. М. Ремизова) включает в себя итог многолетних трудов одного из самых знаменитых русских писателей-сказочников — созданную в годы эмиграции дилогию: «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым» (1923) и никогда не издававшийся сборник «Нерусские сказки». Также впервые публикуются сохранившиеся в архивах Ремизова сборники рассказов «Баранки», «Вереница» и поэма «Бык-Корова». В них авторское восприятие экзистенциального трагизма бытия парадоксально соединено с юмором, гротеском и высокой лирикой.

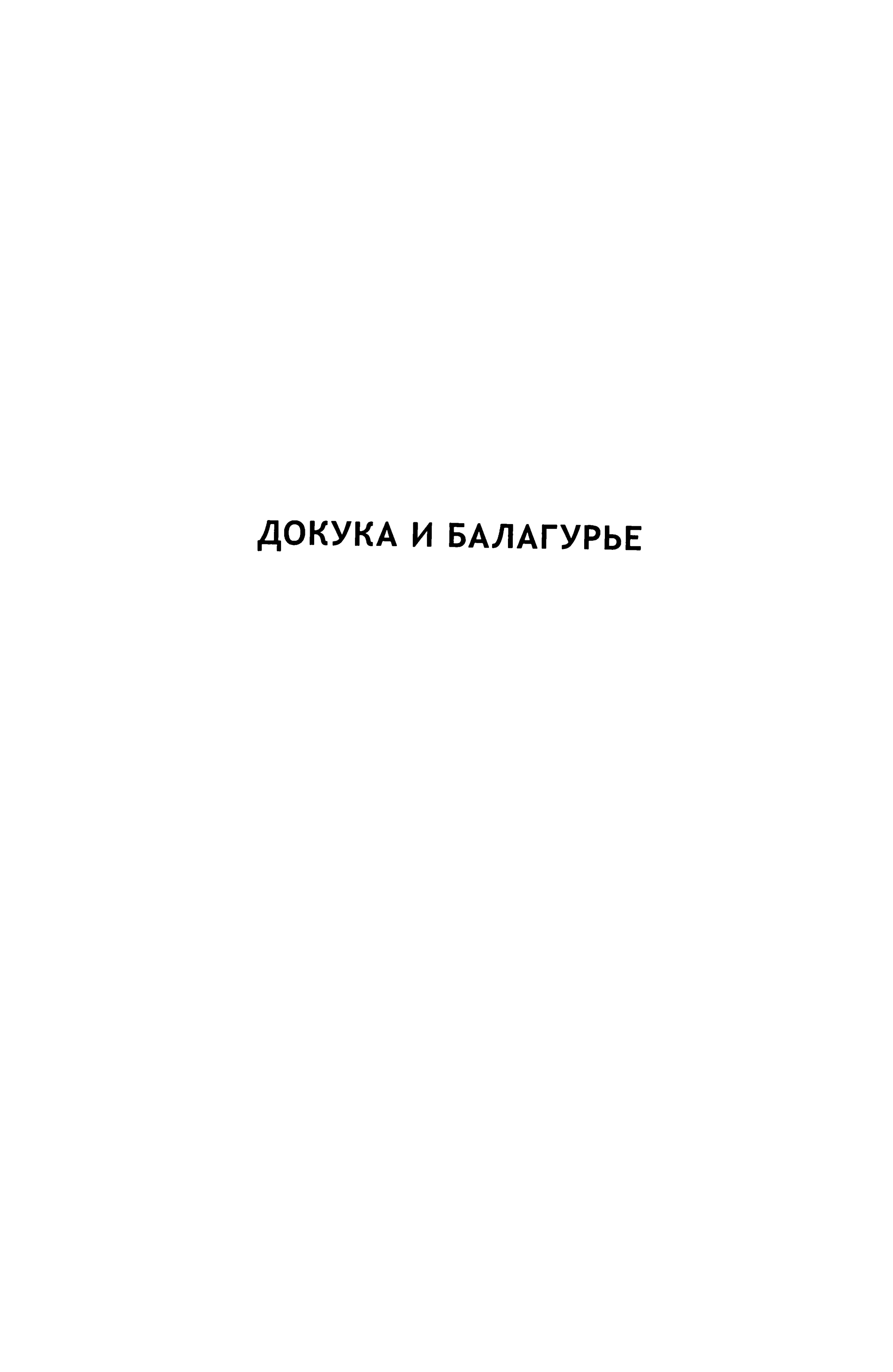
ISBN 978-5-94668-159-9
ISBN 978-5-94668-274-9 (т. 16)



СКАЗКИ РУССКОГО НАРОДА, СКАЗАННЫЕ АЛЕКСЕЕМ РЕМИЗОВЫМ

Посвящаю
С. П. Ремизовой-Довгелло





ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ

Павлиньи перья

Из первой памяти моей, когда я только еще говорить учился, я запомнил: рассказывала наша старая нянька сказку —

о каких-то павлиньих перьях.

— Нарядили ее в павлиньи перья.

И еще:

— Припади к матери сырой земле.

Больше ничего не помню.

И когда после много спустя я расспрашивал старую нашу няньку, какие такие павлиньи перья, кого нарядить и зачем припадать к земле — нянька, совсем уж старая, одно отвечала:

— Ничего, девушка, не помню.

*

А вот так все и вышло.

Читая всякие записи, часто спутанные и перепутанные, а иногда просто бессловесные — а это-то и есть самое настоящее! — я как бы припал к земле и послушал.

И то, что я услышал, зажглось, как павлиньи перья.

Книга эта и есть голос русской земли — слово русского народа, сказанное мною.

*

Придут другие люди, другое услышат и скажут другими словами.

Я ответ даю сам за себя — за Россию, открывшуюся мне в слове русского народа — русской земли.

И скажу: в «докуке и балагурье», как в «сказках о русской женщине» и «сказках о русской вере», я услышал сокровеннейшие слова о судьбе и человеке, о любви и смерти, о грехе и каре, о вере и чуде, и рядом с глубочайшей скорбью уж самой жизни

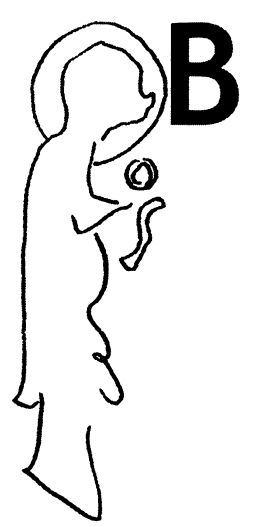
на белом свете великую радость быть на земле и рядом с одичалым отчаянием доброту и необыкновенную желанность не только к людям, но и ко всякой твари земной и небесной — ко всему миру.

И еще узнал я, что сон и сказка, это брат с сестрой — и есть сказки-сны, как сны-сказки.

25. 10. 1922
Charlottenburg

ДОКУКА





В бедности жили люди, в такой крайней нужде, когда и попросить к себе в гости нельзя, а ведь у всякого есть праздник и без праздника не светла и так уж трудная жизнь.

И вот родился сын: окрестить надо, а в кумовья и позвать некого.

Богат если и в силе — все к тебе придут, а к бедному — нешто рваньем заманишь?

Вот сидит Иван да Марья:

— Чего с ребенком делать!

Да ропотом тоже не поможешь.

А идет мимо странник.

— Позовем странника, странник не откажет!

А как взглянули в лицо, даже страх стал: без носу и как смерть сама, тоже щерится.

— А как назвать младенца? — Марья уж и не рада.

Да что поделать: стерпеть надо — некрещеному тоже невозможно.

— Иовом назовем: Иов крестник мой, — кротко ответил странник.

Видно, и сам он не от радости, от несчастья.

И кто это знает:

за что и для чего человеку такое — в мир ты пришел и все бегут от тебя?

И окрестили: Иовом назвали младенца, как кум сказал.

И жалко им стало.

— Попросим, — говорит Иван Марье, — нашего кума, хоть так посидеть с нами.

Хвать, а его и нет — как и не было.

*

Вырос Иов, стал отца, мать расспрашивать, где его крестный и кто он такой?

Не хотелось рассказывать: чего вспоминать!

Жили уж не так: стали поправляться, стало и у них и светло и весело в доме — это с Иовом пришло, видно, счастье.

А Иов все пристает: скажи да скажи.

— В бедности мы жили, — сказал отец, — никто к нам и не придет, бывало, да и пригласить совестно, а как ты родился и в кумовья позвать некого: кто пойдет к нищему! Согласился странник один, окрестили тебя, и с того дня пропал, больше и не видели.

— А вот бы мне повидать его! — задумался Иов, — на Светлый день, как идут из церкви, христосуются с крестным, а мне и не с кем.

— Глупый ты глупый, — сказала мать, — да лучше со псом похристосоваться: крестный-то твой срамной!

*

На заутрене в Пасху стоит Иов в церкви.

Все идут и христосуются, он один стоит и подойти ему не к кому.

И вот подходит к нему — стал перед ним:

— Христос воскрес, милый крестник мой!

— Воистину воскрес.

Обрадовался Иов: нашел он крестного.

Крестный взял его за руку и повел — не из церкви, в церкви по воздуху вверх — на небеса.

*

Плачут отец и мать — потеряли сына.

Сесть разговляться — Иова нет, Иов пропал.

— Видели вы нашего сына у заутрени?

Говорят:

— Видели: с крестным он христосовался и вместе из церкви вышли. Под стать друг другу, молодые оба — как сверстники.

— Так это какой проходимец увел его: ведь, крестный его — срамной, старый, без носа.

*

Год не было Иова дома.

Год не было о Иове слуха.

Горевали старики о сыне, помириться не могут: пропал!

А надо беду принять:

неспроста приходит беда, как и нет ничего, чтобы зря было в жизни — и боль и напасти; и только никто не знает и не скажет, за что и для чего такое?

На другой год, в самую Христову заутреню, как идти христосоваться, Иов ровно бы от сна очнулся и на котором месте стоял у столба, там и стоит.

Кончилась служба, приходит Иов домой.

— Христос воскрес, родители мои!

Как взглянули старики — Иов, сын их.

— Воистину воскрес!

Расплакались — не ждали ведь, не чаяли —

— Воистину воскрес!

Стали они его расспрашивать, и где был и где пропадал — целый ведь год!

— И не год, а только три часа. И завтра опять пойду.

— Да куда ты пойдешь?

— К Марку богатому: отнести ему надо златницу от крестного. Я ведь крестного нашел, у крестного я и был.

Рано, еще только солнцу взойти, стал Иов прощаться.

И не пускали —

— Хоть бы с нами денек один прожил!

Ушел.

*

Приходит Иов к Марку богатому.

Сидит у окна Марк богатый, качает в люльке родителей: старые они, ходить не могут.

— Прими, Марк, златницу, корми родителей, тебе на хлеб.

— Не надо мне золота: отымут у меня богатые, засудят судьи.

Вернул Марк деньги Иову.
И вышел Иов от нищего — от Марка богатого.

*

Идет Иов путем дорогою.
Люди дрова перекладывают —
— Бог в помощь, добрые люди!
— Ой, милый братец, рукавиц на руках нету и, видишь, без сапог, голы мы и босы, оборвались совсем и от голода силы не стало, спроси у Господа Бога, долго ли нам горевать?

*

Дальше Иов идет.
Женщины воду черпают: из колодца в колодец воду ведрами переливают —
— Бог в помощь, добрые люди!
— Ой, милый братец, кожа с рук слезла, иззябли, спроси у Господа Бога, долго ли нам горевать?

*

Дальше Иов идет.
Стоит дом, под углом старуха: держит старуха дом на плечах —
— Бог в помощь, добрый человек!
— Ой, милый братец, всю спину разломило: этакую тяжесть день-деньской все на себе, спроси у Господа Бога, долго ли мне горевать?

*

Дальше Иов идет.
Лежит щука на дороге — вот-вот глаза выйдут, рот разинут —
Пожалел Иов щуку.
И говорит ему щука:
— Ой, милый братец, не могу без воды и поплавать так хочется, не могу жить на земле, спроси у Господа Бога, долго ли мне горевать?

*

И приходит Иов к пещере.
— Здравствуй, крестный! Едва я нашел тебя.
— А где же ты был?

— Я от Марка богатого.

— Ты всю землю прошел.

— Не берет Марк золота: отнимут, говорит, богатые, засудят судьи.

— Хлеба снеси ему.

— А когда шел я, попались мне люди: дрова перекладывают — очень мучаются, оборванные и голодные.

— Пускай перекладывают до века: зачем дрова воровали — обидой, клеветой, черствым своим сердцем отымали тепло у сердца!

— Встретил я женщин: переливают воду из колодца в колодец: иззябли.

— Пускай переливают до века: зачем воду в молоко подливали — обманывали, обольщали сердце!

— Еще видел я щуку: лежит щука на дороге — перетрескалась вся, от жажды рот разинут, просится в море.

— Жадная, жестокая, пускай выглотнет сорок кораблей, будет в море!

Иов хотел было идти и передать слова крестного всем измученным — они там на дороге ждут его.

— Милый мой крестник, — остановил крестный, — есть у Загорного царя дочь царевна Магдалина, возьми Магдалину замуж. Я сам венчать вас буду.

Простился Иов и пошел из пещеры назад той же дорогой.

*

Подходит Иов к щуке.

Обрадовалась:

— Ну, что, милый братец?

— А выплюнь ты сорок кораблей и будешь в море свободна!

Выплюнула щука корабль за кораблем — все сорок кораблей, и поплыла себе в море.

*

Приходит Иов к старухе, что плечом дом держит.

— Ну, что, милый братец?

— Горюй до века.

Заплакала старуха:

— — до века, когда же?

*

Приходит Иов и к тем, что воду из колодца в колодец переливают.

— Ну, что, милый братец?

— Горюйте до века.

Задрожали несчастные:

— — до века, и не будет конца?

*

Приходит Иов и к тем, что дрова перекладывают, к оборванным и голодным.

— Ну, что, милый братец?

— Горюйте до века.

И руки опустились:

— — до века.

*

Подходит Иов к Марку богатому.

— Марк, вот тебе хлеб.

— Не хочу я, не надо мне: родители мои померли.

Положил Иов на стол хлеб нищему — Марку богатому.

*

Обидно отцу и матери: не живет сын с ними.

— Не на то мы тебя растили, что тебя дома не видно!

И горько старикам:

— Некому будет и глаз закрыть.

Странником в крестного ходит Иов по трудным дорогам —
столько есть радости в мире и в мире же такая
невыносная мука.

И неужто нет срока?

И горе — до века?

И нет такой силы освободиться?

*

Говорит Иов отцу и матери:

— Есть у Загорного царя дочь Магдалина. Крестный просватал мне Магдалину.

Отец и мать в ужас:

— Магдалину! В гное лежит она, страшно смотреть, ей и еду в окно подают: смрад идет от нее.

Не послушал Иов.
Не нарушил слова:
— Магдалина будет его женою.

*

Спрашивает Иов:
— Можно мне видеть царевну?
— Ой, милый братец, — говорит царица, — нельзя к ней: смрад идет.
— Ничего, пусти меня, я беру ее в обрученье.
— Куда ее! — заплакала мать, — несчастную!
Иов вошел к царевне.
Царевна лежала — навек без надежды.
Подняла глаза она безнадежно.
Уж никогда никого не просила и в сердце ее последние жалобы острупели.
— Вставай, Магдалина, я, Иов, жених твой!
И взял ее Иов за правую руку, как невесту.
И вдруг как огонь жарко огнем пыхнуло.
И чиста поднялась Магдалина невестой.

В церковь к Вознесенью Христову повел Иов невесту.
Тут их крестный и повенчал: Иова и Магдалину.
— Милые крестники мои, оставляйте эту жизнь, ступайте со мной!
И повел их из церкви — в церкви по воздуху вверх на небеса.

Сторона небывалая

Жил-был такой молодец, все хотел знать, до всего доходил и задумал он думу:
где-то есть на свете такая сторона, где живут — не стареют, не умирают.
И попрощался молодец с родной стороной, пошел искать сторону небывалую.
Вот видит он поле:
стоят пни и лижут их коблы.
— Коблушки, вы не знаете ли, где это такая сторона, где живут — не стареют, не умирают?

— А! — говорят ему коблы, языки свои высунули, мотают, — чего еще, живи с нами: когда пеньё все слижем, тут нам и крышка.

Посмотрел молодец:

а пни — во! кулаком не возьмешь.

Да нет, все ему мало:

— и на пеньё будет черед!

И пошел дальше.

*

Вот встречаются ему горы, а у гор свиньи:

свиньи роют те горы.

— Свинушки, свинятушки, не знаете ли вы такой стороны, где живут — не стареют, не умирают?

— А! — говорят ему свиньи, — чего искать, живи с нами: роем мы горы и тогда только жизнь нашу кончим, как сроем все горы.

Посмотрел молодец на горы:

высоки стоят белые за облака.

Да нет, все ему мало:

— придет черед и на горы, сроют их свиньи!

И пошел дальше.

*

Шел он, шел — ни жилья, и петух не поет.

И видит:

золотой дворик.

И навстречу ему девица:

— Чего ты, молодец, ищешь?

— А есть ли на свете такая сторона, где живут — не стареют, не умирают?

— А ты живи у нас! У нас эта-то самая жизнь и есть: не стареют, не умирают.

Поверил и остался.

* * *

Живет молодец год —

ан, не год, десять прошло;

живет шесть годов,

ан, шесть десятков прошло;

прожил сто лет,
ан, тысяча кончилась.
И соскушнился он по родной стороне:
— хоть бы глазком посмотреть!
А та девица, что его встретила на золотом-то дворике — волхва:
все знает и все его мысли.
— Поезжай-ка ты, молодец, домой — на свою на родную сторону.
И дала ему коня-доходца:
донесет его конь до самых ворот.
А как он рад — на родную сторону! — и поблагодарить забыл.
Сел на коня — только пыль закурилась.

* * *

Ни жилья и петух не поет.
Едет день, едет другой.
Едет он шаршавыми кустиками —
и какие-то птички все хыкают,
да так жалобно.
И старая, старая ходит старуха, опёнки срезает.
— Бабушка, что это птахи так хыкают, так жалобно? Бабушка!
— Эх, сынок, давно это было, сколько годов, никто не упомнит, а стояло тут село и пропало, потом роща — и роща засохла, и выросли эти шаршавые кустики.
А птахи все хыкают.
И пала на сердце жуть — верть от старухи.
И птахи за ним.
Он вскачь —
а они над головой:
— никуда не уйти!
И видит он горы, а у гор свиньи:
свиньи роют горы.
— горы-то ничуть не убыли!
— Свинушки, примите меня!
— Нет, тогда не хотел, не принимаем!
Поехал он дальше.
А птахи за ним —
над ним хыкают.

*

И видит он пни —
— все те же!
И лижут их коблы.
— Коблушки, примите меня!
— Нет, тогда не хотел, а теперь не надо.
И поехал один на коне.
А над ним птахи —
птахи так хыкают,
так жалобно.

*

Вот и дом.
Издалека увидел его — не верит глазам — нет, его это дом —
— родная сторона!
Подогнал коня.
И только в ворота —
а одна птаха как швыркнет вперед — —
Тут он и грёкнулся.

Муты

Ходила старуха за морошкой в лес.

Набрала старуха полон бурак и заблудилась:
ходит по лесу, выйти не может.

А Леший-шишко — ему только того и надо! — рад, что старуха домой попасть не может —

Леший тут-как-тут.

И не в старухе дело:
в старухе-то ему корысть какая!

А спасались в лесу два старца — две избушки в лесу стояло; стращали старцы прогнать Лешего из леса, вот на них, на старцев-то и был зуб у Лешего.

И говорит Леший-шишко старухе:

— А что, бабка, не можешь ли муты сделать со старцем: смутить, значит, грех произвести?

Страсть напугалась старуха, инда дрожь на сердце: на все готова —

и рада старуха на старости лет до самого конца своего хоть заячьей, хоть беличьей говядиной

питаться, лешиным кушаньем любимым, только бы домой ей дойти!

— Ты, бабка, покличь старца, а как высунется, щелкни в лысину да скажи: на́, другому оставь! Только и всего. Я тебя, Федоровна, домой сведу!

И пошел, будто кур пошел, не откликнется.

*

Делать нечего, пошла старуха за Лешим.

Да к избушкам и вышла, где старцы спасались.

— Отец, отворите окошко! — стучит старуха к старцу.

Отворил старец окно, наклонился к старухе —

А она его шлеп по лысине:

— На́, другому оставь!

И пошла прочь.

А старец не успел и окна затворить, другой уж идет: слышал другой старец, что старуха-то сказала.

— Что, — говорит, — чего тебе дали?

— А не дали ничего.

— Как же ничего, сам слышал: оставь другому!

Поспорили.

Дальше-больше, и такой грех вышел, переругались старцы.

И уж в чем только ни обвинили друг друга!

И спасенье их ни во что пошло, хоть опять в дупло полезай да сызнова все грехи замаливай.

А старуху Леший из лесу вывел, домой свел.

За овцу

Сидели девки у старика, у Тихона на вечеринке.

Задумали девки складню сделать — старику угощение, а старик пришепни девкам: чем сорить деньгами-то, лучше унести овцу у соседа!

Такой был старик ягатый.

А девки что, дурья голова, не подумавши, выскочили которые пошустрее, зашли без огня в хлев к соседу, овце шапку наложили, чтобы не блеяла, и унесли к старику, к Тихону.

Такой был старик ягатый.

Утром встает хозяйка да в хлев, – овец у ней было много, все белые, одна овца черная, – и как на грех той-то черной и нету!

А муж у нее, сосед Тихона, по-вороньи жил, в карты проигрывал, вино любил:

баба-то на него и подумала.

Раздосадовалась, вернулась баба в избу, с сердца пхнула мужа.

– Это ты, – говорит, – несчастный, ночью овцу унес, в карты проиграл.

– Нет, – говорит муж, – зернышком виноват, каюсь, а овцу не трогал.

Так и поверит!

не трогал!

коли зерно носил продавать, так и овцу продал.

– У! несчастный, овцу украл! – клеплет мужика баба.

Досадно ей, за сердце берет.

И пришлось бедняге повиниться.

Ничего не поделаешь, повинился, что с зерном и овцу украл.

Тем это дело и кончилось:

остался виноватым невиновный.

А старик Тихон съел себе соседскую овцу, ему и горя мало.

Такой был старик ягатый.

* * *

Было у старика у Тихона три сына.

Вот наутро меньшой Михайла пошел удить на море, где стоят перемёты. Удил хорошо парень, да шут его знает, повернул, да не в ту сторону.

– Мишка, – кричат ребята, – не туда идешь, там сухá вода!

Не слышит Михайла, знай, идет себе.

Покричали, покричали, да и бросили.

Думают, так пошел.

Так и потерялся Михайла.

И сколько его ни искали, и молебны-то служили, ничего не подействовало.

А Михайла, как удил рыбу, задумался, тихий был такой парень, и привиделся ему старший брат Василий.

— Пойдем, — будто говорит Василий, — ты не в ту сторону пошел.

И пошел Михайла за братом.

И все шел за братом, да вдруг потерялся брат: захохотал.

И не знает Михайла, как очутился он в лесу, в лесной избушке.

В избе баба сидит и ребята незнамые.

— Заблудился я, — говорит Михайла.

— Нет, не заблудился, — говорит баба, — тебя Леший увел.

— А худо тут жить? — расспрашивает Михайла.

— А как худо! Замучает тебя Леший работой. Кто с огнем неосторожно ходит, да искрину уронит, тут Лешему охота пожар сделать, вот и пошлет раздувать. Тяжело это у людей пожар раздувать.

И остался Михайла у Лешего:

попал, не уйдешь!

* * *

О конец Филиппова заговенья потерялся Михайла, а весною перед Пасхой выискалась одна старуха-ворожея, взялась старуха отыскать Михайлу:

в Христову ночь отыскать человека можно!

— В ту пору, как с крестным ходом пойдут, — толковала ворожея, — всякий покойник, всякий пропавший к родительскому двору придет и повалится к крыльцу, нужно только, чтобы через порог в это время три раза перешагнула девица в цвету.

Да никто не нашелся, и были, да побоялись.

«Сами себя ведь уходим!» — побоялись.

И прошла Пасха.

Год прошел, стали забывать Михайлу.

А тут опять перед Святой появился на селе человек один, с Лешим знался. Зашел он к старику к Тихону.

— Я, — говорит, — твоего Михайлу знаю, у Лешего живет на полуволоке, в стороне в лесу, борода у него большущая... Надо тебе, так я свожу к нему.

Ушел этот человек, что с Лешим-то знается, старуха и говорит старику Тихону:

— Пойдем сына смотреть!

— Куда еще! Пускай там живет в лесу.

Так и отступился старик.

Дождались Святой, ушел старик в церковь, а старуха сидела дома.

И когда пошли кругом церкви, вдруг в избе как брякнет, стекла зазвенели.

* * *

Обижался Михайла, что старики не пошли посмотреть его, обижался, что все отступились от него. Хотелось Михайле домой, хоть на часок побывать дома, с людьми по-людски посидеть. Опостылело ему у Лешего в работе жить.

Лешачиха-то сердечная баба — ее тоже, как Михайлу, Леший увел! — стало Лешачихе жалко Михайлу.

— Ты, — говорит, — Мишка несчастный, будет тебя Леший едой угощать, а ты и не ешь.

Вот вернулся домой Леший, собрала ему Лешачиха ужинать, стал Леший Михайлу потчевать.

А Михайла отказывается.

— Я, — говорит, — сыт!

И не сел за стол.

И сам Леший тоже не ест.

— Я тоже, — говорит, — сыт, у баб нынче молоком наелся. Которая, не благословясь, выцедит, я все у той выпью, а потом плюну в кринки-то — кринки опять полны сделаются... люди все съедят.

И день не ест Михайла, и другой не ест, и на третий не ест, и как Леший не потчует, все отказывается.

А Лешачиха и говорит Лешему:

— Выведи ты этого парня. Эку беду привел, все жил хорошо, а теперь хлеба не ест, брось ты его на старое место, не будет от него прока.

Ну, Леший и послушался — сговорчивый! — схватил Леший парня и поволок из избушки, да у моря на старое место, где перемёты стоят, там и кинул.

Едва отошел Михайла, едва добрел до дома, до стариков.

И за что несчастный так натерпелся!

А старик и старуха признать сына не могут:

почернел весь, борода большущая, и путно слова не скажет, сказать не может, — три года ведь терпел, несчастный!

Едва признали старики сына.

Тут и кончилось дело.

Золотой кафтан

Побирался старик нищий, драный, один кафтан на плечах, да и тот весь в заплатах.

Пришел нищий к одному хозяину, милостыню просит. Подал хозяин нищему — добрый был человек, помогал бедным.

А нищий и ночевать просится. И ночевать пустил хозяин:

как не пустить — хворый старик, и куда, на ночь глядя, идти такому, только что кафтан на плечах да и тот весь в заплатах.

Ночью разнемогся нищий, к утру не легче, — в чем душа! — полежал и помер.

Что хозяину делать с кафтаном, куда такое добро девать:

заплата на заплате, грязный!

Топилась печка, хозяин взял да и бросил кафтан в огонь.

Печка загасла.

«Ладно, — думает, — брошу я его в реку!»

Взял кафтан, пошел к речке.

А как стал топить, затопить-то и не может:

не идет кафтан ко дну и не уносит его никуда.

Вернулся хозяин домой.

«Дай, — думает, — поразберусь, что за диковинное добро кафтан этот?»

А кафтан: заплата на заплате, грязный, в руки взять страшно.

Распорол он заплату, а ему на пол деньги.

И сколько он ни порол заплаты, из каждой заплатки ему деньги так и катятся.

Напорол он денег вот столько!

Стал считать, насчитал тысячу.

Целая тысяча! Куда ему такие деньги?

Не знает хозяин, что́ ему делать с деньгами.

*

А случилось, проходил мимо дома калика прохождающий, старичок мудрый, — и смотрит и слушает, мудрый.

Он к калике, рассказал все, как было.

— Куда, — спрашивает, — эти деньги?

— А ты, — говорит калика, — эти деньги возьми, сходи на рынок и купи свинью, и пока денег хватит, так все и корми ее.

Хозяин так и сделал.

Купил он свинью, стал кормить свинью. И год кормит, и другой кормит, и третий. И пока денег хватало, все кормил ее. Кончились деньги, больше кормить нечем.

И опять он не знает, что́ ему делать.

Лежит свинья голодная, а он вокруг свиньи ходит, не знает, что́ ему со свиньей делать.

И видит, идет калика прохождающий, старичок мудрый.

Он к калике:

— Свинью кормить денег нет, больше кормить нечем!

— Так ты, — говорит калика, — выпусти свинью на улицу и ходи вслед за ней, карауль ее!

Хозяин так и сделал.

Выпустил свинью, пошла свинья, и он за свиньей: куда свинья, туда и он.

И день ходит, и другой ходит, и третий.

*

И пришла свинья на луг.

Такой широкий луг зеленый, посередке речка бежит, а по речке колесо катит огненное с огнем, и в колесе народ, много народа сидит, и тот нищий сидит.

Свинья как вскочит и прямо в речку, — в колесо.

И все стерялось: ни речки, ни луга, ни колеса, ни свиньи, — пустое поле.

Пустым полем пошел хозяин домой один без свиньи.

А ему навстречу калика прохождающий, старичок мудрый.

— Ну, что свинья? — спрашивает калика, а сам словно рад чему-то.

Тот ему и рассказал все, как было.

— Вот, дитятко, — сказал калика, — нищий-то ходил и просил, не работал, чужую копейку прятал, скопил денег, тысячу скопил, у других отымал, трудовые, горькие, и все сгорит, все взыщется. То нам за грехи Господь дает!

Господен звон

Жил один старик в лесу. А ушел старик в лес, чтобы Богу угодить, Богу молиться. И много лет жил так старик в лесу, все молился. И чем больше он молился, тем ясней ему было, что жизнь его угодней становится Богу, — все он у Бога узнает и в святые попадет. Так и жил старик.

Ну, и приходит к старику, уж кто его знает какой, странник — калика прохождающий.

— Бог помощь, — говорит, — лесовой лежебочина!

А старику обидно:

— А как так я лежебочина, я Богу молюсь и тружусь, труды полагаю, потею!

— Потеть-то потеешь, — сам улыбается странник, — а когда у Господа благовест, к обедне звонят и пора обеда, чай, не знаешь! А вот на поле крестьянин благочестивый, тот знает, — и пошел.

Ушел, уж кто его знает какой, странник — калика прохождающий, ушел, и остался старик один и взял себе в разум:

«Как же так, жил он столько лет в лесу, в лес ушел, чтобы Богу угодить, молился, думал, что уж все у Бога знает, в святые попал, а и того не знает, когда к Господней обедне благовестят?»

И решил старик, идти ему на поле, искать того человека, который звон Господен слышит.

*

И вышел из леса, идет старик по полю и видит, мужик поле пашет.

— Бог помощь! — подошел старик к пахарю.

— Иди себе с Богом, добрый человек! — поздоровался пахарь, а сам, знай себе, пашет.

И хотел уж старик дальше идти: что с такого возьмешь, так корявый мужичонка, — да присел на межу отдохнуть и раздумался.

Сидит старик на меже, молитву творит, а пахарь все пашет.

И долго сидел так старик и, хоть корешками питался, о корешках мысли пошли, а пахарь все пашет.

Терпел старик, терпел, встал.

— А обедал ли ты, добрый человек? — не вытерпел, встал старик.

— Какой там обед, еще у Господа благовест не идет! — ответил пахарь, а сам, знай, все пашет.

И опять присел старик на межу.

И уж и голод забыл и молитву не творит, сидит, ждет, слушает, когда у Господа заблаговестят.

А пахарь допахал полосу, поставил лошадь, снял шапку, перекрестился.

— Ты чего, добрый человек, перекрестился?

— А вот благовест к обедне начался, звон Господен, обедать пора, — сказал пахарь, вынул краюшку, присел закусить.

Слушает старик, — ничего не слышит,

слушает, — никакого звону не слышит.

И долго стоял так старик и ничего не услышал.

И ясно ему, этот пахарь, мужичонка корявый, больше его у Бога знает.

И пошел старик назад в лес.

И опять стал молиться, и домолился старик, в святые попал.

Чужая вина

Жил-был прожиточный человек, большой хозяин. Семейный был человек: была у него жена, дети. Ладом жили, по-хорошему: ни ссоры, ни крика, ничего такого.

Ну, Иван все с домом, — известно, хозяин! — все Иван по дому в заботах и хлопотах: некогда ему и на человека взглянуть, не только там поговорить с кем поближе, — все только дела, о делах.

А хозяйка, совсем не такая, она от своих урвет, чужим даст, — сердечная была.

Пришел праздник: пошел Иван с женой в церковь, отстояли обедню, помолились Богу.

Кто о чем, а Иван и к Богу все с делами, все о хозяйстве просит у Бога.

А вернулись из церкви, сели за стол обедать.

Вот за обедом будто призаснул Иван, и показалось ему, что Успенье-Богородица над столом стоит, и себя он будто видит, и жену хозяйку —

на жене золотой венец.

Проснулся Иван и с той поры взял он в раздумье, что это у жены его венец золотой, а у него нет ничего?

И стал он думать о своей жизни богатой, хлопотливой и заботливой.

И чем больше думал, тем чаще говорил себе, что эта жизнь его, хлопотливая и богатая, не такая, не настоящая —

за такую жизнь его не будет ему золотого венца.

«Бросить богатство, бобылем жить, в работники пойти!»

Так решил Иван.

*

И оставил Иван богатство свое, дом, жену и детей, все им оставил, все богатство свое, ничего себе не взял, — в чем был, в том и ушел.

На стороне нанялся Иван в работники к хозяину, — всякую работу исполнять у хозяина.

Полюбился Иван хозяину: все исполнял, везде готов был, хоть в воду, хоть, куда хочешь, пошли, везде все справит.

А хозяйка невзлюбила его, взяла и насказала хозяину.

— Вот ты, — говорит, — держишь Ивана около года, а вот он наехал на меня, рубашку разорвал да сарафан, всю разорвал, до тела выщипал!

Позвал хозяин Ивана.

— Как же, Иван, так делаешь?

А он взял да и повинился. Будто и вправду согрешил:

— на себя вину взял!

Рассердился хозяин на Ивана и посадил его в наказание в темное место, в холодную клеть.

И выпускать не велел, так рассердился.

А Иван там и помер, в темном-то месте, без пищи, в холоде —

с чужою виной на душе.

Помер Иван.

*

И вот пошел ладанный дух везде по дому.

Носится ладанный дух по дому, по комнатам, и никто не домекнется, откуда такой дух идет.

— Что это, — говорит хозяин, — откуда этот ладанный дух у нас?

И схватился, — вспомнил Иванушку.

Тут повинилась хозяйка, да поздно.

Лежит Иванушка мертв — святой человек.

Чаемый гость

Жил человек такой богатый, богатый, сядет за стол, ест-ест, насилу с места встанет, так много всего.

Дружно, дородно, согласно жил богач с семьею: жена — хозяйка хорошая, дети — все молодцы, загляденье! — и сыновья, и дочери.

С бедняками богач не знался, нищего брата не пускал к себе.

А жила у него в доме больная тетка, по бедности держал старуху:

старуха за душу его и молилась.

И о душе, значит, помнил, все честь честью, набожный был хозяин.

Хозяйство — полная чаша. И за душу есть молебник. Чего еще?

А захотел богач, чтобы сам Бог в гости к нему пришел.

Вот и пошел он в церковь Бога в гости звать.

Велел постелить ковры от самого дома до церкви, отслужил молебен, вернулся домой, сел у окна ждать.

И до вечера прождал.

Не тут-то было, хоть бы кто!

*

А в ночь тетка больная старуха померла.

Ну и похоронили тетку, помянули старуху, — за душу, ведь, молилась! А Бога все нет и нет, — не идет Бог в гости.

В день похорон вечером приходит в дом нищий старичок. Просится нищий на ночлег пустить.

Не хотел богач пускать нищего, да раздумался, — его и пустили.

А старичок и воды просит напиться и поужинать, Христа ради.

Дали нищему от ужина кость поглодать да в клетушку, где померла тетка, и положили спать на ночь.

Ночь переночевал старичок, поблагодарил хозяев и пошел себе в путь-дорогу.

А богач не унимается, нет-нет да в окно и выглянет:

все на дорогу смотрел, Бога смотрел, Бога в гости ждал.

Не тут-то было, хоть бы кто!

*

И уж который раз, прождав понапрасну, лег богач спать.

И показалась ему ночью во сне покойница тетка. Бранит его тетка:

зачем положил нищего старичка в ее душной тесной клетушке?

«Ходил ты в церковь, — укоряла тетка, — звал Бога в гости, ковры стелил, служил молебен, а Бога-то и проглядел! Чем старичка-то угостил? Кость старику, как собаке, бросил! А ведь это сам Бог у тебя был, сам Бог приходил к тебе в гости».

Пробудился богач, затужил, расплакался, что худо такого гостя принял.

Да уж нечего делать, одно остается:

догнать старика, вернуть и все поправить.

И пошел богач искать нищего — гостя своего.

И везде спрашивал о нем, не видал ли кто?

— Не видали, — говорят ему.

Никто не видал нищего.

А богач не унимается, дальше идет, дальше от дома, все расспрашивает о своем госте.

Да так и покинул дом, семью и богатство, больше не вернулся домой.

Пасхальный огонь

Жил человек такой бедный, бедный, а просить стыдно было.

Другой раз целый день есть нечего... нет ни кусочка, ну да, как-нибудь, перетерпит и никому ни слова.

Все бедняк молчком сносил.

Да и лучше так-то помалкивать в беде:

есть кому с тобой управляться! и кому охота? у всякого свое дело, свои заботы,— всяк о себе подумай!

Видно, уж Бог так устроил.

*

Подошла Христова ночь, а у бедняка и огня нет, нечем бедняку печку затопить.

Как тут сделаться?

Крепился бедняк, крепился, и не совладал с собою: уж очень приуныл и запечалился.

Пошел он по соседям кланяться.

И никто не дает огня.

И ходил бедняк из дома в дом.

И никто ему не дал огня.

Уж наступила Христова ночь, в колокол ударили, вошел бедняк в последнюю избу.

Топится печь в избе, на лавке покойник лежит.

Больше никого нет.

Помолился бедняк, присел на лавку.

И так ему вдруг горько стало, обидно стало —

стал он будить покойника, с мертвецом разговаривать.

И поднялся покойник:

— Что надо?

Просит бедняк огня дать.

Встал покойник, пошел к печке, зачерпнул ковш углей, подал ковш, сказал:

— Домой придешь, на стол стряхни!

И опять на лавку лег.

А уж бедняк вот как рад, сказать невозможно, ухватил ковш да бегом за дверь, давай Бог ноги.

Прибежал он в избу к себе, вытряхнул угли на стол, как велел покойник.

И вдруг осветилась изба светом-огнем.

А в свете-огне стало золото, полон стол — все золото.

*

Наутро узнали соседи.

Все соседи пришли к бедняку — завидно им:

пришли спросить, откуда взялось у него столько богатства.

— Это о н все дал!

И рассказал бедняк, как в Христову ночь в последней избе пробудился покойник и дал огня, а из огня золото стало.

К ночи со всех дворов собрался народ:

всем миром идти за огнем в мертвецкую избу.

Окружили лавку — топилась в избе печь, на лавке покойник лежал — всем миром стали будить мертвеца.

И поднялся покойник:

— Что надо?

— Дай огня!

Встал покойник, пошел к печке, зачерпнул ковш углей, подал ковш, сказал:

— На середке деревни не трясите, а придете домой, на середку избы положите!

И опять на лавку лег.

Ухватил каждый по угольку да скорее домой —

в ладонях нес, чтобы добро не обронить!

И как наказывал покойник, положил каждый себе уголек на середку избы.

И вдруг осветились избы светом-огнем, поняло стены огнем — бросилось полымя.

И начался пожар.

Да какой страшный, все дотла выгорело.

Я не сказку сказываю, а правду.

Рыбовы головы

Жил-был старик со старухой. Жили они бедно.

Ну, где старикам достать богатства! — и годы не те, и работа не та, так кое-чем промышляли.

А был у них внучонок Петька. Внучонка старики очень любили.

— Петька да Петька! — только и сказ у стариков, что про Петьку.

Да еще была у старика, кроме Петьки, другая еще забота:

прослышал старик на свое горе, будто где-то у озера спрятан клад — золото.

Головы решиться, а достать ему клад-золото!

Помалкивал старик о кладе, никому ни полслова, ни старухе, ни Петьке.

И чуть выдастся случай, так тайком к озеру и идет, и копает.

И много годов ходил старик к озеру, копал, искал клад, но клад все не показывался.

*

Раз пошел старик копать, — местечко такое облюбовал верное и надежное, — копает себе да на руки поплевывает.

И вдруг слышит голос:

— Что ты, старик, трудишься и стараешься понапрасну! клад будет твой: дай мне только голову.

Выронил старик заступ, почесал в голове: не знай радоваться, не знай пугаться.

«Какую голову? Чью голову?»

Пошел старик домой, все думает.

Кроме старухи да внучонка нет у него никого.

Уж не свою же отдать голову?

Думал, думал старик и решил:

отдаст он Петькину голову.

Сколько ведь годов трудился он на старости лет, и вот показался клад. И стоило ли ему из-за какой-то головы добро упускать? А сколько, поди, скрыто там всякого золота, и все это золото его!

Конечно, отдаст он Петькину голову.

«Петька — несмышлёный мальчонка, дитё, прямо на небеса угодит!»

Пришел старик домой, говорит старухе:

— Испеки мне, старуха, рыбничек, а я с Петюнькой пойду завтра на озеро рыбу удить.

*

Наутро испекла старуха рыбник, забрал старик пирог, снасти, удочки и отправился с Петькой к озеру, к тому самому месту, где клад был скрыт.

Идут они к озеру — старик позади, Петька впереди.

Быстрый мальчонка: то с птичками по-птичьему примется разговаривать, то на куньи лапочки станет и не угнаться кунице самой! Ну, такой быстрый, как искрина.

И жалко старику внучонка, да и клад-то надо достать.

Пришли они к озеру, вздумалось старику закусить.

Сели на камушек, разломил старик рыбник, дал кусок внучонку, и принялся за еду.

В рыбнике рыбы были все мелкие, ну Петька так с косточками и уписывает, а старик отвертывает головы и кидает их в сторону.

«Экая дура старуха, — думает старик, — сослепу мелкоту такую наклала, весь рыбничек испортила! Подзакушу да и покончу с мальчонкой».

И вдруг слышит знакомый голос:

— Довольно мне, старик, твоих голов, бери клад и иди домой!

Косточкой чуть не подавился, так обрадовался старик, да скорее копать.

А из земли на том самом месте уж во какой котелище торчит —

а в котле полно золота.

Забрал старик золото да к старухе домой.

Вот они какие, головы рыбовы!

Ослиные уши

Был у одного царя слуга. Силой звали.

И служил Сила царю верою и правдой. Мастер на все руки, горазд городить небылицы, умел Сила держать язык за зубами, — ловкий.

А за то и царь любил Силу, всюду таскал с собою и награждал всякий день золотыми медалями.

Случилось однажды, стал царь поутру квасом себе волосы примачивать, провел рукой по волосам — хвать, а уши-то ослиные.

Сейчас к зеркалу:

так и есть, они самые, ослиные.

Вот грех: за одну ночь такие выросли, ослиные!

И наказывает царь слуге строго:

— Не говори ты никому, не выноси в люди.

А Сила уж такой — могила:

Сила отцу родному ни полслова!

Запрятал царь уши под корону и стал себе царствовать, как ни в чем не бывало.

*

А Сила терпел, терпел, никому не заикнется, а уж страсть хочется:

и во сне-то они одни только и снятся и среди бела дня мерещатся, эти самые уши.

И стало Силе больше невмочь, — выскочил он из дворца да прямо на улицу к дороге, где гуляют.

Возле дороги разгреб землю, припал к земле.

— Есть, — говорит, — у царя ослиные уши, выросли, а никто не знает.

Сказал да бегом назад.

И так легко и так ему весело, словно камень с плеч.

Царь слугой не нахвалится: уж такого ни за какие деньги не купишь — Сила слуга верный.

И по-прежнему всюду царь таскал Силу с собою и награждал всякий день золотыми медалями.

*

А на том самом месте, где Сила с землей разговаривал, выросло деревцо — береза.

Ну и поехал однажды царь со слугою прогуляться.

Едут они по дороге, а эта береза царю-то и кланяется.

— Есть, — говорит, — у царя ослиные уши!

Царь в тупик.

— Поставь, — говорит слуге, — коня у березы! — а сам тихонько спрашивает: — что березка-то кланяется?

Тут Сила видит, дело плохо, да царю в ноги.

— Терпел, я терпел, да не вытерпел, землю разгреб и шепнул, что у царя ослиные уши. А вот выросла березка и объясняется.

— Ну, — говорит царь, — уж если мать-земля не могла выдержать, то где же крещеному! Что в лоб, что по лбу.

Мышонок

Жили-были старик со старухой и такие богомольные, что не только ни одной службы не пропустят, а другой раз и нет ничего, а пойдут, хоть так потолкаться около церкви.

И все старика и старуху почитали и всякому в пример ставили.

Вышли они раз от обедни — дело было в престольный праздник — и идут себе домой к пирогу поспеть:

старуха-то, старикова жена, такие пироги пекла — объешься!

Глядят, а какой-то старичок ходит, крещеных на обед зовет.

— Вот их зовут, а нас нет, — говорит старику старуха, — коли бы нас позвали, мы бы посмотрели, какие кушанья.

А тот старичок подходит к ним и их тоже зовет.

Они и пошли.

Приходят к старичку, а за столом полно, некуда сесть.

Хозяин говорит:

— Что старички, видно, после пообедаете вы, не взыщите!

Ну, что поделаешь: подождать придется, некуда сесть.

Наелись гости, поблагодарили и ушли.

Тут хозяин посадил старика и старуху, а сам приносит миску, поставил миску на стол, приподнял крышку и опять закрыл, — они-то не видели, что́ он положил, а я вот скажу: мышонка! — и вышел.

А старуха говорит старику:

— Дай-ка посмотрим, уж верно очень вкусное.

— Давай, старуха!

Да как приподняли крышку — посмотреть, страсть хочется, что там в миске! — а оно оттуда что-то — птичка али что́ — вылетело, более там и нет ничего.

Вернулся хозяин.

Вышли из-за стола старик и старуха, благодарят, что накормил обедом, да по домам.

А там и свое пропало:

старухин пирог давно сгорел в печке!

Старик на старуху, старуха на старика, один на другого: языком закусивши не больно сытно.

Экий мышонок!

Лев-зверь

Ехал богатырь по чистому полю, конь у него и пал. И пошел богатырь пешком на своих на двоих.

Видит богатырь: на дороге дерутся Змея и Лев-зверь, разбродили землю и ни который побить не может.

— Эй, богатырь, — кричит Змея, — пособи мне Льва-зверя победить!

— Эй, богатырь, — ревет Лев-зверь, — пособи мне Змею победить!

Подумал, подумал богатырь и решил заступиться за Льва-зверя.

«Змея змеей и будет, нечего от нее ждать мне!»

И пособил богатырь Льву-зверю.

Бросил Лев-зверь Змею на землю, разорвал ее надвое.

Убили Змею.

Лев-зверь спрашивает богатыря:

— Что́ тебе, богатырь, за услугу хочется?

— У меня коня нет, — говорит богатырь, — а пешком я на своих на двоих не привык ходить, подвези меня до города.

— Садись да, знай, держись крепче, — согласился Лев-зверь.

Сел богатырь на Льва-зверя, и побежал Лев-зверь по чистому полю, по темному лесу, — где высоки горы, где глубоки ручьи, — все через катит.

Выбежал Лев-зверь на зеленые луга и у заставы стал.

— Никому не сказывай, что на Льве-звере ехал, — говорит Лев-зверь, — не то съем. Я сам — царь! На себе возить мне людей невозможно. Я тогда и царем не буду.

И пошел Лев-зверь в чистое поле, а богатырь в город.

*

Пришел богатырь к товарищам, а те над ним смеются, что пешком ходит.

Богатырь отпираться:

— Конь, — говорит, — пал.

А потом как выпил, да стал пьян-весел, и рассказал, как было:

как он на самом Льве-звере приехал!

Посидел богатырь с товарищами и пошел себе коня искать.

И только это вышел он за город, а Лев-зверь тут-как-тут:

бежит Лев-зверь к богатырю, пасть открыта, зубы оскалил.

— Зачем ты, — говорит, — похвастал, что на мне ехал? Говорил я тебе, ты не послушал, — съем!

— Извини, — говорит богатырь, — я тобою не хвастал.

— Как так не хвастал! Да ты же говорил, что на Льве-звере ехал!

— Нет, Лев-зверь, говорил, да не я, хмель говорил.

— Какой хмель?

— А вот попробуй, так и сам увидишь.

Лев-зверь согласился.

Выкатил богатырь вина три бочки сороковых.

Лев-зверь бочку выпил, другую выпил, а из третьей только попробовал, и стал пьян:

уж бегал-бегал, бегал-бегал, упал и заснул.

А богатырь, пока Лев-зверь пьяным делом-то валялся, вкопал в землю столб да туда на самую вышку и поднял Льва-зверя.

*

Проснулся Лев-зверь, очухался, — диву дается:

и как это его угораздило на такую высоту подняться, а главное дело — спуститься не может.

— Вишь ты, хмель-то куда тебя занес! — говорит богатырь, — чтó, узнал теперь, каков этот хмель?

— Узнал, узнал, — сдается на все Лев-зверь, — только спусти, пожалуйста, а то чего доброго еще сорвусь да и неловко: народу сколько!

Снял богатырь Льва-зверя.

И побежал Лев-зверь в чистое поле: будет хмель помнить, — срам-то какой!

Горе злосчастное

Жили два брата, один бедный брат, другой богатый.

Бедного звали Иваном, богатого — Степаном.

У богатого Степана родился сын.

Позвал Степан на крестины знакомых, приятелей, да и бедного брата не забыл, позвал и Ивана.

Справили честь-честью крестины, напились, наелись гости, пьяны все, веселы, все довольны.

Напился и брат Иван.

Идет Иван домой пьяный от Степана, пьяный, затянул бедняк песню.

Поет песню, знать ничего не хочет, не желает! — и вдруг слышит, ровно ему подпевает кто тоненько, да так, тоненьким голоском, да и жалобно так, что дитё.

Оборвал Иван песню, стал, прислушался.

Да нет, ничего не слышит, нет никого

— или и тот замолчал?

— Кто там? — окликнул бедняк.

— Я.

— Кто «я»?

— Нужда твоя, горе — горе злосчастное.

Затаращился Иван, хвать — стоит...

старушонка стоит, крохотная, от земли не видать, сморщенная, ой, серая, в лохмотьях, рваная, да плаксивая, жалость берет.

— Ну, чего? — посмотрел Иван, посмотрел, — чего тебе зря топтаться, садись ко мне в карман, домой унесу.

Закивала старушонка, заморгала, ощерилась, — обрадовалась! — да в карман Ивану скок и вскочила, да на самое дно.

Тут Иван захватил рукой карман, перевязал покрепче.

— Не выскочит!

И пошел и пошел, песню запел.

Поет песню Иван — пьяным-пьяно-пьян.

И она в кармане его там, старушонка тощая, нужда его, горе его, горе злосчастное, — и тепло же ей, и покойно ей! — в кармане его там подпевает ему тоненько, да так, тоненьким голоском, жалобно так, что дитё.

Еле-еле дотащился до дому Иван, развезло, разморило его.

И прямо завалился спать, захрапел и забыл все, все таковское, горе свое злосчастное, нужду.

А она сидит у него, — она ничего не забыла, она никогда ничего не забудет! — согрелась в теплушке, старушонка дырявая, согрелась, морщинки расправляет, щерится:

погулять ей завтра, попотешиться, развеселит она товарища пьянчужку пьяницу, беднягу своего злосчастного.

— Миленький! Миленький мой, ау! — щерится, лебезит паскудная.

Очухался наутро Иван, поднялся, да как вспомнит про вчерашнюю находку свою, что в кармане сидит за узлом, и скорее на выдумки:

как бы так изловчиться, от товарища от таковского навсегда избавиться.

Думал себе, думал Иван и надумался.

Достал бедняк дерева, взялся делать гробик.

— Что это ты делаешь? — увидала, спрашивает жена.

— Молчи, нужду поймал, злосчастье наше, а схороним нужду, заживем хорошо.

И сделал Иван гробик, выстлал гробик соломой, развязал карман, запустил тихонько руку, поймал старушонку, поймал да в гробик ее на сено.

— Ничего, бабушка, ничего, тут поспокойнее будет!

Да хлоп крышку, прижал кулаком.

А жена уж и гвоздики держит.

И забили вместе гробик — горе, злосчастье свое, нужду:

ей теперь совсем покойно, и! — никто тебя в гробу не тронет.

Завязал Иван в платок гробик, подхватил под мышку и на кладбище.

Там вырыл могилку у дядиной могилы, опустил гробик, закопал могилу и домой налегке.

«Баба с воза, кобыле легче! Довольно, помыкался, будет уж, много я обид стерпел, ну, вот и избыл нужду, теперь повалит мне счастье!»

Идет Иван с кладбища, свистит, сам с собой разговаривает и легко ему, способно идти —

нет горя злосчастного, нет нужды, в могиле старая, не выскочит, не пристанет старушонка плаксивая!

Глядь, а на дороге что-то поблескивает.

Нагнулся Иван, — а на земле золотой, сто рублей — золотой.

Вот оно где счастье!

Поднял Иван золотой и прямым путем на ярмарку.

Купил себе корову, купил коня и уж с коровой и конем в дом — к жене с гостинцами.

И зажил Иван хорошо — копейка к копейке идет. Стал Иван деньгу наживать.

И сделался скоро богатым, богатей своего брата богатого Степана.

* * *

Слышит богатый брат Степан, что перемена в делах у брата, и позавидовал Степан Ивану.

Пришел Степан в гости к брату, говорит Ивану:

— Давно ли ты, Иван, жил бедно? Объясни мне, сделай милость, отчего все так вышло, ты лучше меня зажил?

А Иван — теперь ему легко без нужды, осматриваться-то нечего, ему и невдомёк совсем, что на мыслях у брата, да все на-

чистоту брату и выложил о старушонке, о бывшем горе своем злосчастном, о нужде, которую заколотил в гроб накрепко.

— У могилы дядиной на кладбище могилу выкопал, похоронил старушонку, не вылезет! — весело, беззаботно говорил Иван Степану.

Слушал Степан счастливого брата, ничего не сказал и пошел, не домой пошел, а на кладбище, к могиле дядиной.

И там, на кладбище, откопал гробик старухин, крышку открыл, выпустил старуху.

— Поди, — говорит, — бабушка, на старое место к брату Ивану.

А она, — ой, исхудала как, еще жальче стала, черней еще, все-то волосы повылезли — один голый толкачик торчит, вся одежда сотлела.

— Не пойду я к Ивану, — пищит старушонка, ежится, — еще сшутит шутку Иван, шалый! В гробу-то лежать не сладко: не повернись, не подожмись, отлежала всю спину, руки-ноги омлели. Ты, Степан, ты добрый, ты меня ископал на волю, пойду-ка я к тебе, Иваныч!

Да на плечи к Степану как вскочит.

Степан заступ наземь, бежать.

Бежит с кладбища, а она на плечах у него, старушонка лысая, пищит ему в уши:

— Ты добрый, Иваныч, кормилец, освободил ты меня из ямы, вывел на волю, на свет Божий, уж отдышусь у тебя, поправлюсь и заживем, эх, Иваныч, дружно, милый, Степан Иваныч, миленький, миленький мой, ау!

Без ума вломился Степан к себе в избу, трясет головой.

А старушонка скок с плеч да на печку, с печки за печку, в таранью норку забилась, сидит — у! проклятая! — дышит.

— Я тут, — пищит старушонка, — здравствуй, Иваныч!

Степан туда-сюда, а нет ее нигде, нет старушонки, не видит.

Рассказал жене, вместе искать принялись, шарили, шарили и так и с огнем, а нет нигде старушонки.

Да, нет, конечно, нет старушонки.

Затушили огонь и спокойно легли спать.

А в ночь сгорел дом, и много денег пропало, едва сами выскочили, едва вынесли сына.

Вот она где беда!

Кое-как в уцелевшем амбаре примостился Степан с женою.

«Ну, — думает, — теперь довольно, будет сыта, проклятая, эх, горе мое!»

А она и в амбаре, ей у Степана вольготно, куда хочет идет: все выест, все на дым пустит, сам откопал, сам на свой век несчастный.

Пал у Степана конь, пала корова. Дальше да больше, все в провод, все в проед.

Собрал Степан последние, оставались еще кое-какие деньжонки, да на последние и купил коня.

Без коня какое хозяйство, конь — первое дело!

Купил Степан коня, а привел домой, — кобыла оказалась.

Вот она где беда!

Заела Степана нужда, а с нуждой пошла незадача, вот куда зашла ему нужда!

«И зачем было выкапывать ее, старушонку, нужду прожорливую, позавидовал, на брата напустить хотел, позавидовал, и что́ взял?»

Вот она где беда!

* * *

Приходит к Степану брат Иван.

— Что это, брат Степан, что так бедно у тебя?

— Да что, брат, беда: беда за бедой.

Пожалел Иван брата, потужил с братом.

Пришло время домой уходить, стал прощаться Иван, а Степан ему в ноги.

— Прости, — говорит, — меня грешного, выкопал я твою старушонку-нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла, позавидовал я!

— Так вот отчего ты беден так!

— Забралась она в дом, и везде прошла — и к скоту и в деньги, что поделаешь, прости меня, Иван!

Вынул Иван полный кошель, высыпал на стол все до копейки и говорит:

— Деньги мои, а кошель твой будет, и хоть пустой, да не с нуждой.

А она услышала, старушонка-то, горе, горе злосчастное, нужда, да как выскочит из щелки да бух в кошель.

— Я и здесь есть! — пищит, — я и здесь есть!

Тут Иван взял да концы у кошеля и задернул.

— Ты и тут есть, ну, так и сиди!

Завязал концы крепко, привязал к кошелю камень, да с Богом на речку.

Притащили братья кошель к речке, там пустили его на воду.

И пошел кошель ко дну, потопили нужду-старушонку.

И зажили оба богато.

Кузьма и Демьян

Жили два брата — Кузьма и Демьян.

Кузьма был бедный, Демьян — богатый: Кузьма у Демьяна в работниках служил.

Ночью приходит старик-нищий к Демьянову дому.

— Нельзя ли, Кузьма, ночевать у вас? — просит нищий, старик такой старый, хворый.

— Не могу я, дедушка, пустить тебя ночью, надо хозяина спросить, брата Демьяна.

Пошел Кузьма к Демьяну просить за нищего:

старик такой старый, хворый.

— Пусти его, хозяин!

— Нельзя таких пускать! — слышать ничего не хочет Демьян, — нечистоту только разводят, старуха не любит.

А нищий за окном стоит, ждет в холоде, — холодная ночь.

— Пусти старика, — просит Кузьма, — или меня уволь!

Тридцать лет служил Кузьма Демьяну, тридцать лет работал на хозяина, согнулся за работою.

— Не хочешь, как хочешь, уходи, а старика, я сказал, не пущу и не пущу. Повадятся такие шататься, — заразу нанесут, и сам убежишь из своего дому!

Демьян вынес Кузьме жалованье: тридцать сребром за тридцать лет его службы.

— На, получай!

Кузьма не берет денег.

— Твои деньги, бери! — сует Демьян серебро.

Кузьма не принимает:

он так уйдет, не надо ему денег.

— Бог с тобой! Не надо мне твоих денег!

У Демьяна сердце и отошло:

тридцать лет прослужил ему Кузьма и вот отказывается от своих трудовых денег, не хочет деньги брать!

Велел Демьян пустить нищего.

— Старуха не любит, — оправдывался Демьян, — наследят, наплюют, подтирай за ними!

* * *

Не спал ночь Демьян.

Всю ночь просидел Демьян с нищим стариком, слушал старика. Божественные слова говорил старик, рассказывал про жизнь тó-светную, о царствии небесном.

И незаметно прошла ночь в тесной каморке, в работницкой у Кузьмы.

— Добрый человек, ночуй еще ночку! — просит Демьян старика: растрогался, ведет старика к себе, в свои чистые комнаты.

Остался старик и на другую ночь.

И опять всю ночь рассказывал про будущую жизнь.

— Ночуй еще ночку! — просит Демьян.

Не хочет Демьян отпускать старика, позвал жену, сажает старика в красный угол.

Остался старик и на третью ночь и всю третью ночь рассказывал про жизнь тó-светную, о месте темном и грозном:

там горький плач и неутешный.

Поблагодарил Демьян старика за божественное. Стали прощаться.

Старик и зовет к себе Кузьму-работника в гости.

— Нельзя мне, дедушка, от дома отлучиться, за хозяйским добром следить надо. Не пустит хозяин! — отказывается Кузьма.

Старик к хозяину, к Демьяну.

— Пожалуйте, Демьян Иванович, ко мне в гости!

— А где мне искать тебя, добрый человек?

— А вот иди по этой тропинке на восточную сторону и гляди: течет речка, у речки сад березовый, тут и мой дом в саду стоит.

Пообещал Демьян старику, поблагодарил старика, выбрал день, оставил Кузьму дом караулить, а сам пошел искать старика.

* * *

И, как сказал старик, на восточной стороне, у реки, в березовом саду, увидел Демьян дом.

И удивился Демьян: в саду стоял величайший дом.

Вышел старик встречать гостя.

— Милый ты, Демьян, что же ты Кузьму не взял в гости ко мне? — и повел гостя в дом.

А в доме свет, — в доме, как в Божьем храме, светло, свечи горят неугасимые, а на дубовых столах все яства сахарные.

Усадил старик гостя за стол, стал угощать.

И ел, и пил Демьян, — и не убывали столы, все оставалось, как нетронутое.

И ночь прошла, как в мановение ока: не заметил Демьян, как настал день.

Тут поднялся Демьян, благодарит хозяина.

— Милый ты человек, ночуй еще ночку, — оставляет старик, — это ночевал ты за Кузьму, это Кузьмину ночку ночевал ты, ночуй для себя.

Остался Демьян и на другую ночь: он на всю жизнь остался бы у старика!

Но старик не оставил его в светлых, богатых покоях, а повел в другие.

Редкие тоненькие свечки теплились по углам, — там было скорее темно, чем светло.

И Демьян уже скучает и, вспоминая о доме, о жене, о хозяйстве, еще больше скучает, а вспоминая прошлую, первую ночь, насилу проводит ночь.

И уж едва дождался дня.

— Прощай, добрый человек, я не могу больше жить у тебя, я пойду домой.

Старик не отпускает.

— Я у тебя три ночи ночевал, ночуй и ты третью ночь у меня! — не отпускает старик.

Остался Демьян и на третью ночь.

Но старик не оставил его в полутемных покоях, а повел его вниз, в место темное, грубое, самогрозное, и там во тьме поставил его на шатучую мостиночку.

Шатается, колеблется мостиночка над пропастной рекой, — там стон, там крики, там плач неутешен.

И не знает Демьян, как прошла ночь, едва не помер с тоски.

И когда наступил день, старик вывел Демьяна из темницы и повел через полутемные покои к свету — в богатую, светлую горницу, в ту самую, где ночевал Демьян первую ночь.

Упал Демьян в ноги старцу.

— Господи, нельзя ли мне се-светную жизнь мою променять на вот эту то́-светную?

— Если Кузьма с тобой поменяется, меняй! — сказал старец и отпустил Демьяна домой.

* * *

Вернулся Демьян к себе в дом, к своему хозяйству.

Целы его дом и хозяйство: сберег работник Кузьма все его богатства.

— Брат мой Кузьма, — просит Демьян, — променяй свое житье то́-светное на мое се-светное, ведь, я богат, все есть у меня, чего хочешь!

Кузьма согласился.

— Я поменяюсь с тобой житьем, только ты не встревайся в дела, когда я буду хозяином.

И стал Кузьма богатым, а богатый Демьян — бедным.

Стал Кузьма хозяином, а хозяин Демьян — работником.

И стало Демьяну жить худо, — трудно жить в работе: не доест, не доспит, все впроголодь.

Растворил Кузьма двери своего дома и дом его наполнился гостями.

И с утра до вечера, с вечера до утра, ночи напролет шел пир и гульба у Кузьмы: плясали, веселились, бражничали.

Всякий, кто хочет, идет к Кузьме, чего хочет, берет у Кузьмы.

И скоро ничего не осталось от хозяйства и от богатства его, — весело расточил Кузьма все богатство свое.

И уж богатые отвернулись от него, и бедные ушли от него, и ни души не осталось в доме.

— Экий ты, Кузьма, до чего дожил: у меня было сколько добра, а у тебя одна коврига хлеба осталась! — пенял Кузьме работник его, брат его Демьян.

Одна коврига хлеба осталась у Кузьмы!

Три дня ни крохи в рот не брал Кузьма, поджидал гостей, чтобы последнее добро с гостями разделить.

Но никого не было, не приходили гости.

И вот на третий день объявился гость.

Обрадовался Кузьма, усадил гостя за стол, ковригу хлеба кладет.

— Ешь, милый гость, кушай, дорогой, у меня больше дать нечего!

И взял гость хлеб, благословил его, преломил и дал Кузьме есть, и взял воду в чаше, благословил ее и дал Кузьме пить.

Пил Кузьма и ел с гостем.

— Славен Господь, объявился ко мне!

И пошел гость, и Кузьма пошел провожать гостя.

И навеки ушел туда —

В пустом доме остался Демьян на пустой земле:

начинай новое житье и живи, хоть хорошо, хоть худо, как знаешь!

Кумова кровать

Тридцать лет молилась Катерина в пустыне, питалась травою-перстью. Тридцать лет жила Катерина непорочно, людей не видала.

И приходит к ней хромой старец, горбатый, пахорукий —

одним глазом смотрит, другой — кривой.

— Что ты, Катерина, жестоко Господу Богу молишься, царства небесного тебе не наследовать и души не спасти!

— Почему такое?

— А потому, что ты плода по земле не пустила.

— Неправда, — сказала Катерина, — я слыхала другое: кто плода не пустит, тот в спасе бывает.

— А! пустяки, совсем наоборот: тот царства Божия не наследует и души тому не спасти, кто плода не пустит.

— Я тридцать лет живу, никого не видала, — уж оправдывается Катерина.

А тому только этого и надо.

— Душу-то спасти хочешь?

— Хочу.

— Ну, так чего же, завтра молодца тебе пришлю. Видишь, тёс тешут, все такие, из-под ручки посмотреть, вот какие!

И пошел хромой от Катерины.

Осталась одна Катерина, уж не молится, ждет.

*

Наутро и приходит молодец — мало таких.
И за разговоры, — и то и другое.
И договорился: в грех ввел Катерину.

— Ну, Катерина, родится сын или дочь, до шестнадцати лет твой, а с шестнадцати пропиши мне.

Она ему и прописала.
Спрятал он рукописание и пошел от нее прочь.
Смотрит она ему вслед —
А он с каждым шагом не тот:
и хромой и горбатый, — пахорукий старик.
Догадалась Катерина, заревела голосом, а уж не воротить.
И ушла она из пустыни.
И в миру родила сына.

* * *

Растет Васютка у Катерины, умный мальчонка, играет с ребятами на улице.

Ребятишки дразнят, что отца у него нету.

— Мамонька, где у меня тятя?

А Катерина и заплакала.

— Чего же ты плачешь?

И стал приставать к матери.

— У тя тятенька-то дьявол! — сказала Катерина.

Васютка с перепугу затрясся.

— Жила я в пустыне тридцать лет непорочно, искусил меня дьявол.

— Ой, мамонька!

— Я тебя в живности отдала в ад.

— А какой он, мамонька?

— А который самый негодящий: хромой и кривой, горбатый, пахорукий.

*

А был на деревне Федосей колдун: портил людей, много беды творил.

Говорили про колдуна — сатане кум.

И когда подвырос Васютка, пошел к колдуну.

— Дяденька, голубчик, попроси у своего кума: мать моя Катерина прописала меня дьяволу с шестнадцати лет, выручи от дьявола рукописание.

Пожалел колдун мальчонку:

ласковый такой был Васютка, никого не обидит,
никому слова грубого не скажет.

Стокнулся колдун с Сатаною.

— Я, — говорит, — тебе, кум, служу и ты мне послужи: выручи на Васютку рукописание от дьявола.

А Сатана и говорит:

— Опознает отца, так выручим, не опознает, не выручить.

Время не теряли, наутро же отправился Федосей с Васюткой путем нечистым.

А этой силы дьявольской там — так и снуют.

Целый день ходили, присматривались.

И не узнал Васютка отца.

*

Идут в вечерний час, а навстречу им шестьдесят тысяч дьяволов — гонят нечистых на ночные пакости.

И сзади всех пастух ихний: хромой, горбатый, пахорукий.

— Это мой отец! — крикнул Васютка.

— Ты отец Васюткин? — спросил Федосей.

— Я самый.

— Подай рукописание: его мать тебе прописала.

— Не отдам.

И сколько ни спорил Федосей и на кума ссылался, уперся дьявол.

— Не отдам.

Оставил колдун Васютку на дороге за кустиком, опять пошел к Сатане.

— Не отдает рукописание!

— А скажи ему: не отдаст, на кумову кровать его!

Вернулся Федосей на дорогу, догнали они хромого.

— Подай, — кричит, — рукописание.

— Не отдам.

— Не отдашь? Так иди ты на кумову кровать.

Дьявол завертелся и выкинул рукописание.

Схватил Васютка грамотку да за пазуху да бегом домой.

И стал себе жить с матерью, не дьяволов — Катеринин сын.

* * *

Задумался колдун: какая такая кумова кровать?

Дьявол на что силен, и то забоялся, что же это такое за кровать? Ведь, он Сатане кум, значит, кумова кровать — его кровать, на ней ему на том свете и отдыхать.

Лезет Федосею в голову эта самая кровать, совсем от дела отбился, терпел, терпел и пошел к Сатане.

— Кум, я к тебе еще с просьбой: покажи мне, какая это кумова кровать?

— А нет, не покажу.

— Покажи! — пристал, никак не отстает.

— Ну, ладно, показать покажу, но жизни не дам.

— Хоть на год дай!

— Ни на год, ни на месяц, ни на неделю.

— Ну, на один день!

— И на день не дам, на полтора часа не больше.

На полтора часа жизни согласился колдун за кумову кровать.

*

И увидел ее, свою:

на том свете на ней отдыхать ему.

Кверху носками шильё наставлено и на носках, на шпилях этих человек и вертится. А под низом огонь горит и от того огня за три версты синец-камень тает, а синец-камень бросишь в печь, не растает, — вот какой огонь, вот какая кровать!

Полчаса прошло, остался час.

Бегом побежал Федосей от Сатаны, прибежал домой, схватил острый нож, да к Васютке.

— Я воротил тебя от ада преисподнего, теперь ты верни меня!

И просит Васютку:

строгать на нем тело до кости, чтобы в час изстрогано было — за беду, за порчу, какую на людей насылал он, за весь свой грех.

Васютка взял нож и стал колдуна строгать, пока не изнесло его —

Упал Федосей.

И ангелы пришли по его душу — за муку, что он принял вольно — ангелы вынули из колдуна душу.

А Васютка пошел в монастырь.

Человечина

Раздумался Свирид, как на свете жить: все в заботах, все настороже —

известно с волками по-волчьи, а жизнь наша куда лютей и самой волчьей!

И задумал Свирид с палочкой совсем уйти из мира в скит, там и спасаться.

А была у него жена да ребятишки малые.

Вот и бросил он дом, идет дорогой.

Попадает ему навстречу древний старик.

— Ты куда идешь, человечина?

Свирид ему все и выложил начистоту: и о заботах житейских и о волках —

какая это жизнь наша лютая, лютее и самой волчьей!

— Напрасно ты ушел из дому, кто детей-то кормить будет? Ведь, кроме тебя, никому нет дела до них. Ступай назад, вырасти сперва ребят.

И скрылся старик, как и не было.

Стоял Свирид, не знай, что делать:

прав старик, кому нужны дети, кто их кормить без него будет?

прав и сам он, какая же это такая жизнь в миру, коли клык да копыто все?

Думал, думал, стариково взяло верх, и повернул назад домой.

И по-прежнему стал жить, работал, детей растил, много принял труда, еще больше узнал жизнь и сам грешил, ничего не поделаешь.

И вырастил, поженил детей, слава Богу, все пристроились!

«Ну, — думает, — теперь уж пойду».

*

И пошел, да уж не так-то легко идти: ноги не те.

И попадается ему навстречу тот же старик, узнал.

— Ты чего, Свирид, опять пошел? Экакий ты, да ведь у твоих детей народились ребята: большие в поле уйдут работать, ну, а внучат-то кто будет нянчить?

А и в самом деле, кто за внучатами-то присмотрит?

Скрылся старик, а Свирид, долго не думая, повернул домой.

И возился он с внучатами, пока на ноги не поднял.

Подросли ребятишки, стали в школу бегать.

«Ну, теперь можно, теперь с миром все покончил!»

*

Простился Свирид со старухой, с детьми, с внучатами и пошел.

И никого уж не встретил, никто его не воротил.

Долгой показалась дорога, наконец-то дошел до скита и прямо к старцу.

А старец-то и есть тот старик древний.

— А, Свирид, пришел?

— Хочу хоть на старости лет посвятить себя Богу.

Старец подал топор.

— Вон там неподалеку лесок: ступай, поруби!

* * *

Пришел Свирид в лес, глядь — вот чудо-то: ели-то стоят золотые!

Да скорее назад к старцу.

— Ели все золотые, не могу их рубить!

— Подожди, — сказал старец, — повременить надо.

Переночевал Свирид ночь, а наутро опять посылает его старец в лес.

А там уж не то: ели только наполовину — только корни золотые, а верхушки зеленые.

И опять он не решился рубить, вернулся в скит, рассказал старцу.

— Еще повременить надо, — сказал старец.

Прошла и другая ночь, наутро в третий раз посылает его старец лес рубить.

И видит Свирид, уж золота и в помине нет, зеленые стоят ели, как ели.

Благословился да за топор:

что такое? — вместо щепок гнилушки сыплются.

Бросил рубить да к старцу.

— Елки погнили, как же рубить-то?

— То-то, — сказал старец, — так и ты: пришел бы в первый раз — и твои поклоны были б, как ели, золотые; второй бы раз пришел — и твои молитвы были б уж, как ели, напо-

ловину золотые; ну, а в третий раз — одни гнилушки, и Богу такое неугодно.

Так и не принял Свирида.

Судьба

Жил Ипат не бедно, не богато, да пришло крутое время, и до того добился, что и есть нечего стало. Жена, дети — что делать?

И пошел он из села за тридцать верст на озеро рыбачить. И там, на озере, исправил себе балаган земляной и перевез на новое место жену и детей.

И так ему было горько на новом месте и жалко, — да так, стало быть, Бог дает!

И положил он каждый день удить для жены и детей.

«Если на себя не заужу, то не буду есть!»

День удит, ночью Богу молится.

И с месяц удил, зауживал на жену и детей, а на себя хоть бы раз попало. И дал ему Бог терпение, — за этот месяц он ничего не ел.

И вот выдался денек такой, заудил он две лишних рыбы.

«Слава Богу, сжалился надо мной Господь и мне дал. Нынче и я поем!»

Приходит с рыбой к балагану.

— Говори, жена, «слава Богу»!

— А что «слава Богу»?

— Я на себя заудил, две лишних рыбы попались, Господь на меня дал!

— Не на тебя это, я тебе еще родила два сына, на них Господь и дал.

— Ну, придется и опять не евши. Слава Богу, что родила благополучно.

И трое суток еще удил, заужал на жену и детей, а на себя нисколько.

Трое суток кончилось, — пора было ребят крестить.

— Надо ребят крестить, пойду на село к попу!

И поутру пошел, оставил жену с детьми на озере в балагане.

* * *

Встречу попадает Ипату молодец.

— Куда, Ипат, идешь?

— А родила у меня жена два сына, надо крестить.

— Возьми меня в кумовья.

Посмотрел Ипат через правое плечо.

— Нет, ступай уж... И без тебя потонул я в грехах.

А тот как захохочет, да в сторону.

— Ишь какой!

Нечистый был это дух.

Отошел Ипат немного, идет молодец чище того.

— Куда тебя, Ипатушка, Бог несет?

— Жена родила два сына, иду к попу, надо окрестить.

— Возьми меня в кумовья.

Посмотрел Ипат через правое плечо, видит, хорошей души.

— Ладно, покумимся.

— На тебе три золотых, — подал кум, — даром поп на своей лошадке не поедет. Отдай ему золото, а я пойду к твоей жене.

А это был ангел:

за терпение человеку послал его Господь.

Не долго шел Ипат, за какой час в село поспел к попу.

— Батюшка, я до твоей милости... жена у меня родила два мальчика, а живу я нынче в балагане на озере за тридцать верст, надо бы мне их окрестить. Я до твоей милости.

Посмотрел на Ипата поп.

— А ты б их склал в полу, притащил сюда, я бы их и окрестил. Мне тащиться такую даль не рука!

И вышел в горницу.

Тут Ипат три золотых на столик, мнется.

— Ты чего? — выглянул поп.

А на столике золото так и блестит.

Поп как увидел золотые и сейчас же стряпке:

«Станови самовар!»

А кучеру: «Лошадь запрягай!»

— Ну, Ипат, чайку напьемся, поедем, окрещу тебе ребят.

— Нет, батюшка, чаю твоего не буду пить. Ты чаю напьешься, поедешь и меня нагонишь, я пойду пешком.

* * *

Поп пожалуй только еще из двора пошевелился, уж Ипат пришел на озеро.

Смотрит: проруби его, а где балаган?

Нет балагана, а на том самом месте стоит дом каменный и круг дома цветы расцвели.

Удивился Ипат.

«Али неладно пришел?»

А ему навстречу из дому старшие дети бегут.

— Кто этот дом построил?

— Пришел к нам какой-то молодец, вдруг все появилось.

Ипат за детьми.

В новом доме кум сидел на лавке.

— Что, Ипат, загрустил?

— А что, кум, непременно поп раздумал. Не раз я дорогой оглядывался, все нет, не догоняет.

— Скоро будет! — утешил кум.

А поп тут-как-тут.

Остановил лошадь.

Что за причина? Звал его Ипат в балаган, а, на-кась, дом каменный!

«Али неладно приехал?»

И повернул, было, лошадь назад ехать.

— Иди скорей, Ипат, зови батюшку! — говорит кум.

Ипат на крыльцо вышел.

Поп и увидал Ипата.

— Ах, Ипат! Как поживаешь? Домик-то какой состроил, этакого и на селе нет!

— На все Господь.

И повел Ипат попа в дом.

* * *

— Ты, Ипат, поди в кладовую, — посылает кум, — три поклона положь, там стоит купель. А я за водой пойду, мне, брат, это полагается.

Ипат нашел кладовую, положил три поклона, — дверь сама ему отворилась.

Там стоит купель золотая и купель серебряная. Он их вытащил в горницу, поставил середь горницы.

Кум с водой поспел, налил полну купель золотую и серебряную, велит за детьми сходить, детей принести.

Пошел Ипат и скоро вернулся один.

— Сходи, кум, сам принеси, руки не подымаются!

— Экой, ты!

И пошел: одного взял на руку, другого — на другую, принес детей.

Один — в золотой ризе, другой — в серебряной.

Поп, как увидел, и оробел.

— Подобает ли крестить таких?

— Открой книгу, — сказал кум, — гляди, какой сегодня день ангела, и крести!

Сам снял с них ризы, подал их попу.

Поп посмотрел в книгу, назначил имена им.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Кум передал их Ипату.

— Снеси жене и по три поклона за них положь.

А сам из купели воду вылил, из золотой и серебряной, и опять поставил середь горницы.

Вернулся Ипат от жены.

— Неси купель, — говорит ему кум, — а выйдешь из кладовой, три поклона положь.

Поп глядит и в толк не возьмет, что они это такое исправляют.

А Ипат снес купель золотую и серебряную, да к куму.

— Нет ли, — говорит, — чем попа угостить? За тридцать верст приехал, небось есть захотел.

— А поди, Ипат, вон к той кладовой, — учит кум, — три поклона положь, там на столике все приготовлено, тащи сюда.

Пошел Ипат, положил три поклона, — дверь сама ему отворилась.

Там на столе всего довольно.

Постоял, посмотрел, а взять не взял, не решился.

— Кум, — вернулся Ипат, — нельзя ли нам, чем таскать-то, за этим столом угоститься?

— Можно. Иди, батюшка, с нами.

И втроем пошли в кладовую.

И там угощались и поздравляли.

— Батюшка, — поднялся кум, — тебе домой пора, засиделись долгонько.

— Не очень-то, — ответил поп, — часа, поди, три прошло, не больше.

— Нет, батюшка, ты у нас в гостях три года: три зимы прошло, три лета. Там тебя без вести потеряли и на твоем месте другой уж служит.

— А нельзя ли мне с вами еще пожить? — попросился поп: больно уж приглянулось ему.

— Ступай на свое место, — сказал кум, — недостоин ты жить здесь. И знай наперед: хочешь свою душу спасти, так ты, что дадут тебе, только то и бери... слышишь? Слепых на ум наставляй, чтобы они Бога могли признавать.

И проводили попа домой.

— Тебе от Божьего храма не откажут! — утешил кум попа.

Так и распрощались.

* * *

— Кум, — сказал Ипат, — мое дело — не легкое: ты уйдешь, останусь один, чем я буду детей кормить?

— А есть тут еще кладовка, в этой кладовке лежит большой мешок, лопата и кирка, неси сюда.

Пошел Ипат, принес мешок, кирку и лопату.

— Вот жене твоей, — сказал кум, — тут на пропитание всего довольно будет. А ты со мной пойдем.

И повел его с озера не путем, не дорогою, — диким местом — Уралом.

И так его вел, что тот на себе все порвал, и с тела кровь на нем ручьями льет.

— Кум, — стал Ипат, — за тебя, гляжу, ничто не задевает, а я на себе все привал, мне трудно за тобой идти.

— Эх, Ипат, Господь не то терпел, а ты что не можешь терпеть: что кровь бежит?

И завел его в пещеры.

Там свечи горят.

— Что же это, к чему свечи горят?

— Это наша жизнь продолжается: который человек родится, тому становится свеча. Если может кто сто годов жить, сто годов горит его свеча.

— А которая моя свеча?

— А вон, гляди, свеча сейчас потухнет и жизнь твоя кончится.

— Кум, у меня дети малые...

— Жизнь твоя — короткая. Дойдешь домой, — хорошо, не дойдешь... Иди скорей, может, поспеешь.

Побежал Ипат. Добежал до озера, где оставил каменный дом.

А дома-то уж нет, балаган стоит земляной.

— Жена, дай мне белую рубашку, мне теперь помирать.

Обрядился, лег под святые, благословил детей, перекрестился.

— Здравствуй, Ипат, Христос воскрес!

Кум... не кум стоит, ангел Господен.

Награда

Трудился труженик в пустыне тридцать лет.

И все тридцать лет дьявол только и думал, как бы смутить старца: уж как следил его, а нет, ни так, ни сяк не уловит.

И нашел-таки лазейку!

Был очень жалостлив старец, вот ему прямо в сердце дьявол и направил свой рог базучий.

Ночным бытом встал старец на молитву и слышит, тоненько так где-то под дверью плачет —

два голоса детских.

«Боже милостивый! Что такое? Два голоса детских!»

Сотворил старец молитву, вышел из кельи, а на пороге у двери —

девочка да мальчик, и ручонками тянутся к старцу.

Старец было за дверь: очень испугался.

«Куда мне девать их? Что с ребятами делать, маленькие?»

Да рассуждать не время: плачут ребятишки, попить просят.

Он их и забрал к себе в келью.

*

И стал старец поить и кормить детей.

А они, карапузы, так и тормошат, подымут возню:

и уж он вроде лошадки, и они на нем скачут, а то будто бык, да бодает-то не он, а его, и как норо-

вят побольнее — кулачонки так поставят рогами, да с налету в него — и грех, и смех.

Какая там молитва!

Днем с кормом — покормить, ведь, надо, как следует, а это не так-то просто, вечером — с игрою, время и пройдет.

И хоть бы ночью, растормошат и ночью: то страшно, то беда какая.

Извелся совсем старец, но чтобы Богу пожаловаться, этого ему и в мыслях ни разу не пришло:

ведь за все тридцать лет пустынных в первый раз познал он в своем сердце эту радость — вот так с малыми ребятами возиться!

Забыл и о дьяволе думать.

Видно, Божья это ему награда за тридцать его трудных лет! И ничего уж не просил у Бога, только благодарил Бога.

*

А ребятишки растут и растут, и много ль прошло, а они уж вот какие: лет пятнадцать и больше.

Известно, как роду нечистого духа и растут не по-нашему!

Девчонка-то стала разуметь. Выпадает час старцу стать на молитву — Бога поблагодарить, а она с ним играть.

И чем дальше, тем пуще эта ее игра.

Стала старца к худым делам склонять: ночью мальчишка заснет, а она соскочит с кровати и виснет.

— Меня, — говорит, — скука обуяла!

Ну, и смутила старца, — поддался он на худое дело.

— Худое дело делать будем, а куда братишку твоего денем?

— А давай убьем!

А который дьявол все это дело затеял, — ребят-то под дверь подкинул, — стоит у дверей да караулит:

то-то ему радость, вот он сейчас так и сглотнет старца, и куда весь его труд пустынный!

— Бери топор, — говорит девчонка, — я Ванюшу свалю, а ты голову руби!

Вышел старец из кельи, вернулся с топором.

Девчонка на брата, и не то что свалила, а сам он лег.

Тут подскочил старец, да топором его по шее, — кровь так и брызнула, а голова прочь.

— Куда мы его денем? — мечется старец по келье: кровью-то, знать, ударило.

— Открывай половицу в подпол! — кричит девчонка.

Старец за половицу, бился, бился, едва открыл, взял мальчишку в беремя и хочет мальчишку в подпол ссунуть, да никак не выходит, тычется на месте, и сам весь в крови.

А дьявол тут-как-тут, отбил дверь, будто человек какой прохожий, да в келью.

Девчонка к нему, повисла на шее, дрожит вся, и горько так заплакала:

— Батюшка, родимый мой, кому ты оставил нас? Меня замучáл к худым делам, а брату вон отрубил голову.

*

И уж полна келья, Бог его знает, кто набежал, —

лягастые, квакастые, — и ивкают, и гайкают, ногами затопали, прыгают, хлопают.

И все на старца, да как вцепятся и потащили — —

— Наша! Наша душа! — потащили.

А сам дьявол-то по головке его, по головке.

— Погляди-ка мне через левое-то плечо! Сколько лет я ходил, сколько лаптей проносил, да вот и уловил голубчика!

Тут старец словно бы опамятовался, — оградился крестом.

— Нет, сам ты погляди мне через правое-то плечо!

Бес поглядел, да так и согнулся.

— Святый Боже, Святый Крепкий!

Душу несли старца ангелы с райским пением.

И все бесы, кто как был, так и проскочили сквозь землю.

Праведный судья

Где их искать, судей праведных?

А вот был один такой. И далеко, куда за Москву, и по Сибири шла о нем слава: случись что, спор, иди к Кузьмичу — Кузьмич все рассудит.

Заехал раз к одной вдове человек проезжий, а жила вдова на большой дороге, постоялый двор держала, баба хозяйственная.

Приехал этот самый человек на жеребце, вошел в дом, поздоровался и спрашивает:

— Что у тебя, тётка, кобыла-то жерёба?

— Нет, батюшка, не благословил Бог.

— Ну, а у меня жеребец-то жерёбый.

Ну, жерёбый, так жерёбый, мало что другой по позднему времени и не такое еще скажет!

*

Чуть свет поднялась баба — по хозяйству все нужно справить, — вышла во двор кобылу попоить, глядь, а по двору жеребенок бегает.

Вот Бог-то послал нежданно!

Ну, пока то да сё, проснулся и гость проезжий, заглянул в окно, жеребенка увидел.

Баба самовар несет, сама, что самовар.

— Вот у меня кобыла-то ожеребилась!

— Как у тебя?

— А что ж, у тебя что ли?

— Да ведь, ты ж вчера говорила, что у тебя кобыла не жерёба. Известно, это моего жеребца жеребенок.

— Нет, мой!

Дальше да больше, пошел спор.

И ведь, баба-то тихая, а до того уверилась, что это ее жеребенок, — да как же иначе-то? — глаза выцарапает, не уступит.

— Пойдем к Кузьмичу? Я на тебя, окаянного, найду управу.

— Пойдем.

И пошли к судье и рассказали ему все, как было.

Выслушал Кузьмич каждого по очереди, велел обоим выехать на перекресток:

бабе — на кобыле, проезжему человеку — на жеребце.

Сказал праведный судья:

— За кем жеребенок побежит, та лошадь и ожеребилась.

Пустили жеребенка.

И побежал жеребенок за жеребцом.

А раз побежал, так тому и быть.

Баба суду покорилась, повела домой кобылу к себе на постоялый двор, на себя серчала:

и как это она пошла на такое? ей ли не известно, что проста ее кобыла! — только зря время потратила, и себя и другого в грех ввела.

А проезжий человек забрал своего жеребца — судье низкий поклон.

— Спасибо, что рассудил по правде.

*

Видит судья, не простой человек проезжий, позвал его к себе на беседу.

Посидели, потолковали — друг другу по душе пришлись.

Проезжий и говорит:

— Пойдем теперь ко мне.

— Ну, что ж, пойдем!

Очень уж человек-то мудрёный, как не пойти к такому.

Вышли из ворот.

Судья остановился, прислушался.

— Что это, дома-то воют будто?

— Да это по тебе, Кузьмич: ведь, душа-то твоя со мною.

— Вот оно как!

И пошел по дорожке с гостем — в гости, откуда нет возврата.

Праведных-то судей, видно, Бог к себе берет: там нужны!

Дар

Жил-был один беднющий плотник, а и в беде и нужде сердце имел к несчастным — бедакам-горемыкам:

что выработает, все раздаст.

«Нате, дескать, а я уж как-нибудь!»

Так и жил Ефим плотник, добрый человек.

Вот святые да угодники — им наше все видно: оттрудили какой труд, через это! — раздумались угодники:

надо же помочь человеку!

И решили идти к Господу Богу просить за плотника.

— Дай, — говорят, — Господи, плотнику Ефиму богатство!

Много могут знать святые, а всего не дано и святому:

просят Бога за человека, а не знают, что еще будет.

— Дай да дай богатство! — просят.

*

А Ефим сидит на бревне: тук да тук — ан, хвать, из бревна-то деньги да так и посыпались.

Не будь дурак, топор за пояс, и подбирать: нагрёб золота, в хват не утащишь.

Что с такой уймой, куда ее?

Да что там! сейчас же в Москву, товаров разных накупил и стал торговать —

не плотник уж Ефим — купец Ефим Петров.

Ну, и дом себе такой смахал, у нас, в Питере какие дворцы, да такого не сыщешь.

*

Вот святые да угодники о Ефиме-то и вспомнили.

— Пойдемте, — говорят, — посмотрим, как плотничек-то живет, милостыней-то, поди, всех обогатил!

И пошли.

И прямо к дому.

И не знай, узнали Ефимов дом.

А Ефим-то, как в беде жил да в бедности, по беде своей помнил о других, а как разбогател, только и дума пошла, что о себе — о богатстве:

и добро уберечь да еще и богаче стать!

И пройти в дом к нему и не думай.

Так не пустят.

А уж голь какую — и не просись, за версту не подпустят.

Ну, угодники-то прошли все-таки: Божья сила тоже!

А который Ефиму прислугал главный — мордач — загородил вход.

— Вам, — говорит, — чего?

— Пусти, — просят — переночевать, люди мы странные, издалека!

— Не велено, — говорит, — велено взашей таких гнать, — а потом посмотрел-посмотрел, — ну, ладно, так и быть.

— Да уж мы как-нибудь, только бы ночь.

Мордач их во двор, водил, водил и в хлев — к свиньям.

— Ложитесь.

И ушел.

Только и видели.

*

А чуть свет, как поднялись угодники со свинячьего-то ложа, испачканы, измазаны, сердца-то сдержать невмочь.

— Господи, — взмолились, — отыми от Ефима богатство!

Ну, Бог-то и послушал.

И чем был Ефим, тем и стал.

Все прахом пошло, вся казна, и добро и дом.

И опять пошел в плотники.

И, в беде-то и нужде маясь, милостив опять стал и до того добр к людям:

коли нечем делиться, делился ласковым словом.

Да так и прожил свой век — не в обиду, на мир.

Берестяный клуб

Жили на селе два старика, Семен да Михайла, разумные старики-приятели.

Косил старик Семен с работником сено, пришла пора обедать, присел работник отдохнуть, а Семен за бересту принялся — работящий был старик, без дела не посидит, — бересту драл, клуб вил.

Идут полем люди.

— Бог помощь, работнички! Слышали, Михайлу-то нашего, старика, на дороге убили.

— Как так? — подскочил Семен, — убили? Экие разбойники, убили!

И уж не может старик бересту вить, бросил клуб в кошелку, забрал кошелку, пошел с поля домой.

*

Идет старик, не может сердца сдержать, — Михайлу вспоминает.

— Разбойники, — твердит старик, — злодеи, за что убили? — твердит старик, так в нем все и ходит, — убить вас мало, злодеев!

А из кошелки-то у него, глядь, — кровь.

Работники сзади шли, и видят, кровь из кошелки бежит, да уж за стариком, не отступают.

А Семен идет, не обернется, — не до того! — так и идет.

И пришел домой, швырнул кошелку в сенях, сам в избу.

Тут работники к кошелке, да как открыли, а в кошелке не береста, не клуб берестяный, — голова человечья.

— Ну, — говорят, — это ты, крещеный! Ты и убил Михайлу! — да за десятским.

Пришел десятский, пришли понятые, стали смотреть кошелку:

так и есть, в кошелке голова человечья.

Приложили к кошелке печати, а старика Семена в тюрьму.

*

Немало сидел старик.

Каялся священнику:

— Осуждал! — а в убийстве не повинился, — не грешен, не убил никого.

И на суде не повинился.

— Не грешен: не убил никого.

И рассказал, как узнал про Михайлу, как с поля шел и сердца не мог сдержать, проклинал злодеев.

Принесли кошелку, распечатали.

А там не голова — лежит клуб берестяный.

И вышло старику решение:

отдать старика под наказание — не убил он, а за то, что за убийство осудил убийцу,

не пожалел.

Голова

Трудился один пустынник, и был у него сын духовный, вместе трудились.

И жили они в пустыне в чистоте, мирно, за мир Бога молили.

Случилось одному разбойнику проходить лесом мимо их избушки, вздумал разбойник отдохнуть от своего разбою, постучался в избушку, его и пустили.

Подзакусил разбойник, обогрелся, стал на отдых готовиться, да казну свою понаграбленную и разложил.

Пустынник все это видел и соблазнился.

Позвал он сына, вышли они во двор, и говорит старик сыну:

— Давай, сынок, разбойника удавим. Деньги наши будут.

— Эх, батюшка, — запечалился сын, — тридцать лет ты трудился, да это дело делать будем!

В ночь разбойник ушел и казну свою унес.

А наутро идет пустынник с сыном в лес, глядь, а разбойник-то на дереве висит — удавили!

Видно, лихой человек и своего брата не пощадит.

И казны нет, — все ограблено.

* * *

Стали трудиться отец с сыном, только не то стало — затосковал сын, забыть не может и больше не верит отцу.

Просится у старика на богомолье сходить.

Понял старик, — не удержишь! — и отпустил.

Вот идет Ванюшка дорогой, а за ним вслед голова катится.

Нагнала голова.

— Айда, Ваня, куда я тебя поведу!

Оторопел Ванюшка.

— Погоди, — просит, — дай к угодникам схожу.

— А ты долго ль пробудешь?

— Дён семь.

Побывал Ванюшка у святых мест, за душу погубленную разбойничью помолился, — забыть не может.

С неделю прошло, идет назад, а голова навстречу катится.

— Ну, пойдем теперь.

Хочешь не хочешь, от такого не отвертишься.

И пошел Ванюшка за головой.

*

Катится голова лесом, глухою тропкой, докатилась до кельи, да в келью.

И Ванюшка в келью.

В келье три окна прорублены.

— Посиди тут, Ваня, я по саду погуляю. Только в те вон окна не гляди, в одно это гляди.

Укатилась голова, сидит Ванюшка один, раздумался.

«Почему в те окошки голова глядеть не велела? Дай, погляжу!»

И поглядел он на восход солнца.

— Господи! все царствие небесное, ангелы Божии, престолы и светильники — свет нерукотворенный.

Поглядел он и на запад.

— Боже, Боже! ад кромешный, писк, визг, несчастные мучатся и отец в котле кипит, так и ныряет.

Жалко стало Ванюшке старика, протянул руку, уцепил его за бороду — нырнул старик, одна борода осталась в руках.

А голова тут-как-тут.

— Ну, что? Не велела я тебе глядеть в окошки!

— Поглядел.

— Видел?

— Все видел.

— А смекнул ли, за какой грех старик мучится?

— Укажи мне, как домой дойти! Засиделся я.

— Три года сидишь.

— Как! Три года?

— Три года времени прошло. Сказано было, не гляди!

Запечалился Ванюшка: в руках старикова борода, и жив ли старик?

— Вот тебе дорога, ступай к отцу.

* * *

Долго шел Ванюшка, и не помнит, как пришел в пустыню.

Слава Богу, жив старик, старый-то какой, и борода облиняла, не узнаешь.

— Эх, батюшка, согрешил ты.

— А чего, сынок?

— Да тогда, как разбойник-то сидел у нас... или забыл?

— Грешен: в мыслях было порешить его.

— Ну, батюшка, зато уготовано и место тебе.

Подожок

Жил-был старик со старухой, был у них сын.

И была у сына собака страшная большая, и всякий раз, как идти ему на разбой, брал он эту собаку, и с пустыми руками никогда не возвращался.

И все, что принесет, в подожок запрячет:

в подожке посередке была дырочка — полну ее золота насовал.

Отец с матерью дознались, какими делами сын промышляет, ругали его, а он все свое:

как ночь, айда на разбой.

*

Пришло такое время — святая ночь.

На Светлое Христово Воскресение взял он свою собаку, взял подожок, ковригу, говядины, винца полуштоф да вострый нож, — и на разбой на большую дорогу.

А один парень на чужой стороне работал, захворал, свезли в больницу, выписался и к празднику домой задумал, еле ноги тащит.

Встречает его разбойник.

И была у разбойника повадка:

не пропускал он первую встречу и хоть с деньгами, хоть и без денег — участь одна.

— Стой, зарежу!

— Чего меня резать! У меня и копейки-то нет.

— Ну, ты — первая встреча: без денег убью!

И Бог знает, жалко ли стало, или уж так, разостлал разбойник полотенце, вынул ковригу, полуштоф водки, говядину.

— Давай-ка сядем, наперед разговеемся.

Делать нечего, сел парень.

Разбойник налил себе стакан водки, выпил, дал парню.

Выпили по стакану, да по другому, пирожка закусили.

Парень и говорит:

— Все-то мне равно помирать, налей по третьей!

И выпил третий стакан.

— Ведь у меня, — говорит, — денег нет ни гроша!

Разбойник вынул нож, режет говядину, режет да подъедает.

А парень хмельной стал.

Разбойник ткнул ножом в кусок, поднес ко рту, а парень в руку его тык —

разбойник хнык и свалился.

Завертела собака хвостом, да домой.

А парень поднял подожок да за собакой.

*

Старик со старухой на краю села жили.

В окошке огонек светит — разговляются.

— Пустите, Христа ради, Христос воскрес!

Обрадовались старики живой душе, пустили парня.

— Христос воскрес!

Похристосовался парень, подожок под лавку положил, присел к столу.

А собака уж под лавкой лежит, спит.

Старуха и говорит старику:

— Старик, смотри-ка, ведь, нашего сына подожок!

Старик взглянул под лавку.

— Ох, да, старуха, самый он!

Старуха к парню:

— Не видал ли по дороге кого?

— Видел одного и такой от него страсти набрался.

— А где ты этот подожок взял?

— А вот на дороге... я человека убил!

И рассказал старикам, как их сына на дороге убил.

Затеплили старики свечку.

Стали молиться со слезами.

— Слава Тебе, Господи, поразил его!

И к парню — кланяются:

— Спасибо тебе. Как это тебе Господь помог! Ты не человека, ты грех убил.

И отдали старики парню подожок полон казны.

И стал парень богат, и теперь такой богатый и! и! и!

Оттрудился

У Федоры было два сына: Анисим да Терентий — меньший посмирнее, а больший поперечный.

Федора Анисима отделила и с Терентием жить осталась.

Прошло время, разжился Анисим своим хозяйством.

А у Терентия с матерью все несчастье. И женился Терентий, взял жену не худую, втроем стали жить, а справиться не могут:

все в разбор и в раззор.

*

Пришла Пасха, а у Терентия нечем и разговеться.

Вот Терентий жену и посылает к брату попросить муки — кулич испечь:

— хоть бы праздник провести по-людски, а там как Бог даст!

Анисим невестке отказал.

— Да чего, — говорит, — сам я что ли муку делаю? И без вас нынче трудно стало, всем надо, чего раньше-то глядели?

Так с пустыми руками и вернулась баба.

Делать нечего, вернулись от заутрени домой и разговеться нечем.

Матери-то и обидно.

И посылает она наутро Терентия:

— Иди к брату, попроси хоть для меня кусочек.

Пошел Терентий.

Брат еще не вставал. Похристосовались. Просит у брата не для себя, для матери.

— Так, кусочек, разговеться!

А того уж за сердце взяло:

— и что это, в самом деле, ходят и просят, и хоть бы для праздника покой дали!

— Хочешь разговеться, — сказал Анисим брату, — вот встану, садись с нами, сделай милость, а посылать я не намерен.

Терентий отказывается:

— Как же так рассядусь я у тебя, а старуха там ждать будет. Нет, Бог с тобой, уж пойду. Только помни: за мать ответишь. Прощай!

— А чего меня выделила? Жили бы вместе, все бы и было. Да лучше мне змею накормить.

Вскочил, ногой топнул.

Ну и вернулся Терентий без ничего.

Горько заплакала Федора.

— Ну, сынок мой, так уж Богу угодно!

*

А Анисим выпроводил брата, помолился Богу, кричит жене:

— Сходи-ка, хозяйка, в чулан, принеси мне пасхи.

Ну, та живо самовар на стол и в чулан за пасхой.

Отворила чулан, хвать, а там на пасхе, обвившись, змея лежит. Да скорее назад.

— Анисим, глянь-ка, змея на пасхе!

— Какая змея, ты с ума спятила! Откудова?

И сам пошел.

И верно, в чулане на пасхе лежит змея —
живая, шевелится, сипит на него.
Осмотрелся: чего бы такое взять вспороть змею?
Да уж некогда —
вздыбащилась змея да на шею ему, обвилась вокруг шеи и давай грызть.
Он ее с себя рвать — да что ни делает, не отлипает змея.
И закричал Анисим не́ в голову —
а она еще крепче, еще больнее.
Видит жена, дело плохо, побежала на деревню.
Собрался народ.
Рассказала она все по порядку: и как невестка приходила, как брат приходил...
— Господь, верно, наказывает!
Ну, и народ тоже между собой толкует, что, должно, за это Господь наказал.
Да оставить так человека мучиться не годится и присоветовали попробовать молоком змею утишить.
Достали молока, налили ему на шею —
змея лизнула молочка — понравилось, и успокоилась.
И стало Анисиму легче — можно терпеть.
И вышло так, что одно средство — поить змею молоком.
Тут Анисим к матери, просит прощенье.
А она уж забыла, не помнит на нем обиды, рада все сделать, лишь бы так не мучился — и простила.
Мать простила.
Или Бог не прощает?
Змея не уходит.
Как обвилась вокруг шеи, так и лежит:
ест молоко — ничего,
а нет молока — жалит.

*

Простился Анисим с матерью, простился с женою и братом и пошел странничать.
Все с кувшинчиком:
и сам не доест, а змею накормит.

Все для змеи, чтобы только змея сыта была: ведь только тогда и свет видит!

Пробовал кислым угощать — кислого молока не принимает.

Пробовал в печку лазать париться: не отпустит ли от теплого духу? И пар не берет — видно Бог ее сохранял! — только распарится вся, да злей и укусит.

И так странничал бедняга год, и другой, и третий.

Пришел он на Пасху к заутрене, да уж в церковь-то войти не смеет, на паперти с нищими стал.

Пошел крестный ход вокруг церкви, оттеснили его в уголок, и вот ровно сон напал на него.

Вдруг очнулся, слышит:

«Христос воскрес!»

— Христос воскрес! — вытянул шею, чтобы из-за народа посмотреть, да что-то легко будто...

Что такое?

Да змеи-то нет больше.

Нет змеи — оттрудился, знать, за обиду! — Бог и помиловал.

Белая Пасха

Как настанет тёмное время холодное с трескучими морозами — нет конца зимы.

А придет Спиридон-солнцеворот, станут дни прибывать на овсяное зерно, тут поднимется ветер и дует и дует —

а за ветром белая кутня с виньгом, свистом, как закуделит: глаз не раскрыть!

Поп Вакул с дьячком Яковом только и знай, что печку топили. Да дрова-то попались не колки. Уж Яков язык от колокола отвязал — языком по обуху колотил, так дрова и колол.

Печь ли жаркая, кутня ли белая, выбили из ума дни у попа.

«Посту-то надо быть конец, — думает Вакул, — а когда Пасха, Господь ведает!»

И посылает дьячка:

— Сходи, — говорит, — Яков, к попу Анике на зареку, спроси, когда Пасха?

А поп Аника — за десять верст от Вакулы и дело его ничуть не лучше: до церкви не дойти, за снег запнешься.

Поп Аника о ту пору сам задумался и своего дьячка шлет к Вакуле за тем же.

*

Вот на полпути Яков и встретил кума.

И что им делать, не знают.

Стали посередь дороги, смотрят, где на деревне печь топится. И решают идти на дымок, спросить: не знает ли кто из крещеных?

И видят, старуха Савиха молока кринку тащит.

— Бабушка, куда с молоком-то бежишь?

— Что вы, деточки, ведь завтра Пасха!

Кум — к Анике.

Яков — к Вакуле.

*

Пришел Яков, а уж ночь.

— Батюшка, завтра Пасха: пора к заутрене звонить.

Всполошился Вакул.

— Беги скорей, звони!

Яков бегом на колокольню, хвать, а у колокола языка нет. Эка напасть! Слез с колокольни, взял лопату и давай у овина, где дрова колол, снег разрывать.

И пока-то искал язык, да нашел, да привязал, стало светать.

Тут и народ набрался, свечи зажгли — огоньки пасхальные.

Взял Вакул крест — руки стынут — и стал осенять крестом:

— Христос воскрес!

И запели по-пасхальному:

— Христос воскрес.

А на воле кутня куделит, заливается свистом, валит с виньгом белая сугробная забóйня.

Слушает Савиха — красный огонек свечи колыбается — вспоминает бабушка.

«Где-то деточки горемычные?»

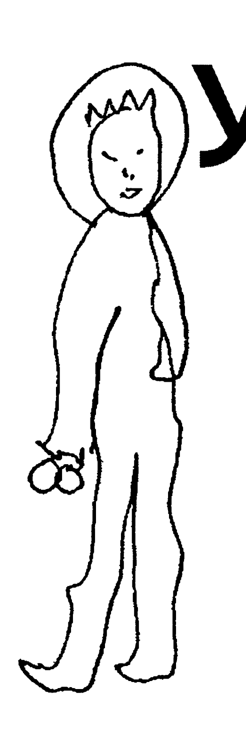
И старыми словами молит и просит за родимое Поморье — за крещеную землю.

По пустынному Поморью глубоки снеги.

ЦАРСКИЕ



Царь Соломон



У Давида царя был брат слепец Аскленей.

Аскленей был женат. И жили две царские семьи: Давид царь со своею царицей Версавией, да Аскленей со своею женой Рогулой вместе в одном дворце.

Перед дворцом стояло дерево высоченное с золотыми плодами, и на этом дереве жена Асkленея устроила себе ложе и там принимала своего друга.

Подозревал Аскленей жену и, как влезать ей на дерево, охватит, бывало, охапкой дерево и не отходит. Но жена свое дело знала и всегда пустит наперед друга, а уж за ним и сама.

*

Сидел раз Давид царь с царицею у окошка, любовались на чудесное дерево с золотыми плодами, а жена Аскленея не видит царя с царицей и свое это дело затеяла:

подсадила друга своего на дерево
и сама за ним полезла.

Топчется Аскленей под деревом, охватил охапкой дерево, а поймать все равно ничего не поймает — слепец.

Жалко стало Давиду царю брата слепца.

— Я Господу Богу помолюсь, — сказал Давид царь, — прозреет брат, усечет главу у неверной жены.

— Не усечет, — говорит царица, — спустится она на землю, три ответа даст: на слово ему три слова найдет, вывернется.

А царь Соломон во чреве царицы и говорить:

— Плёха по плёхе и клобук кроет!

Перепугалась царица.

Давид царь молился, просил за слепца у Господа Бога, чтобы вернул Господь зрение брату.

И прозрел слепец — открылись глаза у царского брата: увидал Аскленей жену свою и друга ее на дереве, кричит:

— Спускайся!

Сам сучит кулаки, машет: изувечит он жену, не отделаться так и другу.

Слезла с дерева жена.

— Стой, — говорит, — подожди, что́ я тебе скажу, — да в сторонку его и отвела, — глупый ты, неразумный, тридцать лет ты сидел без глаз и сидеть бы безглазому тебе до самой твоей смерти, а я согрешила над твоей головой, тебе Бог и открыл глаза.

Ну, у Аскленея тут руки и опустились.

А друг тем временем слез с дерева и улепетнул жив, цел и невредим.

* * *

Отлучился Давид царь по царским делам, — поехал судить да рядить свои дальние земли.

Царица дома осталась и без царя принесла сына — царя Соломона.

Думает себе царица:

«Какой это мне сын будет? Если и во чреве моем говорил такое, а вырастет, и не так скажет: убьет он меня!»

И напал страх на царицу.

Взяла она сына своего, царя Соломона, кузнецу царскому и отнесла, а себе у кузнеца взяла кузнецова сына.

Вернулся Давид царь домой, ничего не знает, а царица помалкивает.

Да так кузнецова сына за своего и принял — за царя Соломона.

*

Ребята растут:

у царского кузнеца — царь Соломон,

у Давида царя — царского кузнеца сын.

Пойдет Давид царь с сыном на прогулку, полюбится мальчонке какая местность, и все одно у него:

— Эко, батюшка, — скажет, — место красивое, нам бы тут кузницу ставить.

Известно кузнечонок!

Пойдет куда царский кузнец с царем Соломоном, приглянется царю Соломону место красивое, и все-то у него по-своему, по-царскому:

— Батюшка, — скажет, — нам бы здесь город ставить да людей селить.

*

Стали слухи носиться, стали говорить Давиду царю о царском кузнеце и о царе Соломоне, стал Давид царь догадываться, что дело нечисто.

И спрашивал царь царицу, — ничего не добился;

спрашивал царь Аскленея брата, — не видел не знает;

спрашивал царь жену Аскленееву и друга ее, — ничего не помнят, ничего не знают.

Помолился Давид царь Господу Богу.

Да с помощью Божией и решил сам все дело проверить: испытать царя Соломона.

Посылает Давид царь за царским кузнецом.

Пришел царский кузнец.

Давид царь говорит кузнецу:

— Приди ко мне, кузнец, завтра не наг, не в платье и стань не вон, не в избу.

Поклонился царский кузнец Давиду царю, пошел к себе в кузницу.

Уж и так думал кузнец, и этак, а ничего не может придумать.

Позвал царя Соломона и рассказал ему, какую загнул загадку Давид царь.

Царь Соломон и говорит:

— Глуп ты, кузнец, вот что! А ты надень на себя невод, на ноги — лыжи и иди пятками к сеничному порогу, а носками к избному.

Кузнец так и сделал.

— Ах, кузнец, кузнец, — сказал Давид царь, — не твои это замыслы. Это замыслы царские.

*

Через некоторое время опять посылает Давид царь за царским кузнецом.

Пришел царский кузнец.

Давид царь и говорит кузнецу:

— Возьми, кузнец, у меня быка, да чтобы через тридцать дней бык у тебя отелился.

Ничего не поделаешь! Взял кузнец быка, поклонился Давиду царю, повел быка к себе в кузницу.

Закручинился кузнец, уж и так думал, и этак, а ничего не может придумать.

Позвал царя Соломона, рассказал ему, какую загнул загадку Давид царь.

— Глуп ты, кузнец, вот что! Быка мы съедим, а придет пора, отелится бык.

Убил кузнец быка, сварили быка, и съели.

Прошло тридцать дней, настала пора телиться быку.

Царь Соломон и говорит:

— Истопи нынче баню, кузнец, ложись на поло́к и реви, да что есть мочи реви, будто ты телишься.

Кузнец так и сделал.

Кузнец истопил баню, лег на поло́к и заорал.

А Давид царь знает: тридцать дней прошло, надо от кузнеца отчет взять.

И послал царь своих царских слуг к кузнецу о быке наведаться.

Идут мимо бани царские слуги, а кузнец ревет:

— Тошно мне стало, тошно! — да так выводит, ну как по-настоящему.

Царские слуги в баню: лежит кузнец на полке, орет, что есть мочи.

— Чего ты, кузнец, разорался?

— А приношусь, стало-быть! — стонет кузнец.

— Что ты, дикий, когда это мужик приносился?

А кузнец и говорит:

— Мужик не приносится, так и бык не телится.

Вернулись царские слуги к Давиду царю, рассказали о кузнеце.

— Не кузнеца это затеи, — говорит Давид царь, — это затеи царские.

*

И готовит Давид царь обед для ребят, созывает ребятишек со всего своего царства, чтобы из всех самому отличить царя Соломона.

А царь Соломон научил ребят:

— Скажет Давид царь: «Который царь Соломон, пускай наперед садится!» так вы бросайтесь все разом и, хоть разорвитесь, кричите: «Все цари, все Соломоны!»

Так ребята и сделали.

Вышел к ним Давид царь.

— Который, — говорит, — царь Соломон, пускай наперед садится!

— Все цари, все Соломоны! — как загалдят ребята, да разом за стол и расселись.

Так Давид царь и не узнал, который царь Соломон.

Одно узнал Давид царь, что сын — не его сын, и надо искать своего сына — царя Соломона.

* * *

Ребята растут:

у царского кузнеца — царь Соломон,
у Давида царя — царского кузнеца сын.

Собирал царь Соломон ребят по возрасту, затевал игры всякие, судил да рядил ребят.

И шла слава о царе Соломоне, о его премудрых судах.

И уж большие — старики приходили в царскую кузницу совет и суд просить у царя Соломона.

Шла старуха с базара, меру муки купила, несла муку.

Несет старуха муку, молитву шепчет.

И вдруг потянул ветер, выхватил у старухи муку.

И унесло муку ветром.

Пошла старуха к Давиду царю на ветер суд просить:

последнюю копейку истратила старуха на базаре, больше негде ей взять.

— Кто ей отдаст муку?

Выслушал Давид царь старуху и говорит:

— Как я, бабушка, Божью милость могу обсудить?

А старуха не уходит:

на последнюю, ведь, копейку муки купила!

— Ни муки, ни копеек у нее нет больше.

Не уходит старуха, мышиная такая старушонка, шепотуха.

Тут царские слуги и говорят Давиду царю:

— Пошли, — говорят, — Давид царь, за царским кузнецом, его мальчонка это дело обсудит.

Велел Давид царь привести царского кузнеца,

да чтобы кузнец и мальчонку захватил.

И пришел царский кузнец, пришел и царь Соломон.

Рассказал Давид царь царю Соломону о старухе, как унесло у нее муку ветром:

просит старуха суда.

— Как же ты, Давид царь, — говорит царь Соломон, — не можешь рассудить такого? Дай мне твою клюку, твой скипетр, царскую порфиру, и я сяду на твой престол, буду судить!

*

Посадил Давид царь на свой царский престол царя Соломона судить старуху да ветер.

И собрал царь Соломон весь народ, сколько ни было в городе, всех от мала до велика, и всю царскую семью — царицу, царского брата Аскленея, жену его и друга ее.

— Кто из вас нынче в утренний час ветру молил? — спросил царь Соломон.

Какой-то тут и выскочил корабельщик.

— Я, — говорит, — молил попутной п о с о́ б н ы.

И велел царь Соломон корабельщику отсыпать меру муки.

Отсыпал корабельщик муки старухе.

Пошла старуха, понесла муку, Бога благодарила

да царя Соломона — за суд премудрый.

И дивился народ царю Соломону.

Тут царица призналась Давиду царю, что ее это сын царь Соломон, а сын — не их сын, а царского кузнеца.

Давид царь простил царицу,

царскому кузнецу кузню царскую в вековечный дар отдал,

а на царя Соломона венец надел:

— Пусть царь Соломон судит и рядит все царство, все народы, всю русскую землю.

Царь Гороскат

Хитрый, мудрый был царь Гороскат — городам бывалец, землям проходец.

Собрал царь к себе министров на думу.

— Хочу, — говорит, — непосеяно поле жать.

Ну, министры ответить ничего не могут: не умеют разгадать загадку.

— Не отгадаете, — говорит царь, — голова с плеч!

Стали министры просить царя обождать:

может статься, и смекнут, надумают чего, — жалко им голов своих, все-таки как-никак, человечьи.

— Дай, — говорят, — нам сроку на трое суток.

Согласился царь, отпустил министров.

Вышли министры от царя из царского дворца, идут по улице, не знай куда, — загадка на уме, а разгадки нет никакой.

Кружили, кружили, с улицы на улицу, пройдут поперечную, вернутся, идут по продольной и опять в поперечную, и все думают, а придумать ничего не могут.

Прошел обеденный час, проголодались министры.

«Эх, — думают, — закусить бы теперь самое время!»

А уж такую даль зашли: ни трактира, ни постоялого двора.

И видят они, дом стоит большой, широкий, двери худые, рассыпались, не заложены. Вошли они в этот дом:

слава Богу, есть человечья душа!

В доме девица пол мыла, да скорее от министров на печку.

«Не дай, Господи, тупой глаз и безухо окно!»

Оправилась девица, пригладилась, вышла из-за печки, домыла пол, вынесла на улицу грязную воду, вымыла руки.

— Мы что-то поесть хотим, — говорят министры.

— А чего вы хотите: плеванного или лизанного?

«Эка хитрая девка, — подумали министры, — чего загнула!»

И что́ лизанное и что́ плеванное, как тут разобрать? Да и куда уж им разбирать:

подводит, есть очень хочется.

— Ну, ставь нам лизанного!

Поставила девица ухи чистой и белой рыбы.

Поели министры всласть, помолились Богу, поблагодарили хозяйку, вышли из-за стола.

И уж любопытно им знать:

что́ лизанное, что́ плеванное?

— Понапрасно вы только хлеб у царя едите, — сказала хозяйка, — спросили бы вы у меня плеванного, я поставила бы вам ухи ершовой, вы бы ели да кости выплевывали, а вы просили у меня лизанного, я и поставила вам ухи чистой, рыбу вы съели и тарелку облизали.

«Эка, ведь, девка-то мудреная!» — подумали министры.

Слово за слово, разговорились, да свою беду ей и рассказали о царской загадке.

— Что такое, — говорят, — хочет царь непосеяно поле пожать?

— А вы и этого не знаете? Ну, ступайте, скажите царю: «Вы будете начинать, а мы вам будем помогать!»

*

Весело пошли министры к царю в царский дворец:

сдобровали их головы, не казнит их царь, загадка разгадана.

— Ваше царское величество, — говорят министры царю, — вы будете начинать, а мы вам будем помогать.

— А кто вам это сказал? — спрашивает царь.

Сказать неправду царю, не такой царь, чтобы неправду спустил, ну, во всем и признались, —

рассказали министры, как зашли они к девице одной в ее большой старый дом, как угостила она их лизанным, не забыли и про плеванное.

— Уж больно хороша девица, и хитра и умна.

— Нате, несите этой девице золотник шелку, пусть она мне соткет ширинку!

Хотел царь испытать хитрость и мудрость хитрой девицы.

Взяли министры царский шелк, пошли назад из дворца, и уж едва дом разыскали:

на радостях-то, что голова цела, из головы всю память повышибло.

Встретила министров девица, а они ей золотник шелку, — принимай из рук в руки.

— Велит царь соткать ширинку!

Положила девица шелк на стол, подает им красного дерева кусок:

не велик, не мал кусок, — со швейную иголку.

— Идите, — говорит, — к царю, отдайте ему дерево и скажите: будет ему ширинка, пусть только наперед сделает мне царь из этого дерева шпульку да бёрдо.

*

Понесли министры дерево к царю, принесли ответ. Принял царь дерево, повертел на ладони, подул, покачал головой.

— Нет, — говорит, — этого я доспеть не могу, ступайте, сватайте мне эту девицу.

Знай царь, что в царстве у него не перевелись еще мастера самоварные — мастера и блоху подковать! — не бывать бы девице женою царя, достал бы царь своих самоварных мастеров, перенял бы хитрости их, из ничего сделал бы шпульку и бёрдо, — такой уж был царь, из царей царь первый, Гороскат.

А на нет и суда нет, пошли министры к девице сватами.

Приехал и сам царь, да в Божью церковь. Скоро сыграли свадьбу, весело отпировали пир.

И стал царь жить-поживать с молодою царицей.

* * *

Живет царь, поживает с молодою царицей.

Не пожалуется царь на царицу — и хитра и мудра, одно горе: наперед царя забегает, нечего и думать царю своим умом что сделать, жена все доспеет.

А разве так царю можно?

И задумал царь извести царицу, — такую задачу задать ей, чтобы впредь не хотела быть хитрее царя.

Созвал царь своих министров, призвал царицу.

— Хочу, — говорит, — на три года в иностранные земли удалиться, все их хитрости заморские произойти. Я возьму с собой жеребца-иноходца, а у царицы оставляю в доме кобылу, — может ли царица так сделать, чтобы кобыла жеребца

принесла, как подо мною? И еще оставляю я царице порожний чемодан под двенадцатью замками, ключи с собой беру, — может ли царица накласть золота-серебра, и чтобы ни один замок не повредить? И третье — последнее дело: вот царица остается не беременна, — может ли она родить такого сына, каков я есть?

Молчат министры, не знают, какой ответ дать царю, молчит и царица.

— Даю сроку три года, не исполнит царица, смертью казню!

Сказал царь, сел на корабль и уплыл в иностранные земли.

Засели министры во царском дворце, судят-рядят без царя царство.

*

Осталась царица одна, да долго не думая, соорудила себе корабль, взяла с собою царскую кобылу, порожний чемодан, мешки с серебром и золотом, села на корабль и отплыла вслед за царем в иностранные земли.

И там, в земле иностранной пристала она к тому самому городу, где царь остановился перенимать иноземные хитрости.

А чтобы неприметно было, подстригла она себе по-мужски волосы, обрядилась в мужское платье, назвалась принцем и пошла по городу, у всех выспрашивает:

— Где заезжий царь на квартире стоит?

— Да вот против принцева дворца, — говорят прохожие.

А царице только того и надо:

теперь она свое дело сделает, исполнит царскую задачу.

И сейчас же к принцу иностранному, просит принца пустить ее на постой во дворец. Уважил принц ее просьбу, отвел ей комнату у себя во дворце,

— живи сколько хочешь!

Перевезла царица с корабля порожний чемодан, мешки с серебром и золотом, и кобылу.

Кобылу поставила в принцеву конюшню, чемодан и мешки под кровать спрятала, и стала за царем следить:

куда царь, туда и она.

А у царя и в мыслях нет, чтобы такое делалось, да и узнать ему царицу невозможно:

в мужском платье принцем царица ходит.

Да и некогда царю ни о чем таком думать: день-деньской за работой, как простой человек, и самую черную работу исполняет, все узнать хочет, до всего дойти хочет и выучиться, — такой уж был царь, из царей царь первый, Гороскат.

*

После дневных трудов пошел царь в трактир посидеть, и царица за ним.

В трактире в карты играли.

Выпил царь, закусил, смотрит за игроками и захотелось ему самому поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут-как-тут подсела к царю.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед залог надо положить, — говорит царица, — если я проиграюсь, с меня сто рублей за д у р а к а, ты проиграешь, с тебя двенадцать твоих ключей за д у р а к а: дашь мне ключи на одну ночь!

— Ладно, — согласился царь.

И началась игра.

И проигрался царь — остался в дураках.

Делать нечего: подавай ключи!

Сбегал царь к себе на квартиру, принес ключи, отдал царице. Ну, посидели еще, чаю попили, распростились и по домам.

Царь завалился спать: чуть свет ему на работу — там, в иностранных землях, лынды лындать не полагается, живо по шапке и разговаривать не станут.

А царица скорее комнату свою на ключ да к чемодану, разомкнула порожний чемодан, опростала мешки с серебром и золотом, и дополна наполненный чемодан опять заперла на все ключи.

И утром, как идти царю корабли строить, несет ему ключи назад.

— Ночь прошла, — говорит царица, — твои ключи.

*

Ходит царь по городу, а царица принцем не упускает его из глаз:

куда царь, туда и она.

И опять вечером зашел царь в трактир посидеть, и царица в трактир.

В трактире шла игра.

Захотелось и царю поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут-как-тут подсела к царю.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед залог положим, — говорит царица, — я проиграюсь, с меня двести рублей за дурака, ты проиграешь, с тебя конь за дурака: дашь мне своего жеребца-иноходца на одну ночь!

— Ладно, — согласился царь.

И началась игра.

И опять проигрался царь — остался в дураках.

Пошел царь на свою квартиру, привел жеребца-иноходца, передал коня царице, распростились и по домам.

Вернулась царица в свой принцев дворец и сейчас же велела пустить царского жеребца в конюшню к своей кобыле.

И до утра не выпускала жеребца из конюшни, а чуть свет отвели обратно к царю.

— Ночь прошла, — сказала царица, — твой конь.

*

Чемодан и не отпертый, а туго набит золотом, кобыла и без жеребца, а ходит не проста.

Два дела сделаны, две царские задачи исполнены, остается третье дело, — последнее. Ну, да с этим сладить проще всего.

Караулила царица царя.

Принцем ходит царица за царем, шагу ему не ступить, все она видит.

И опять зашел царь в трактир посидеть, и царица в трактир.

В трактире играли в карты.

Засмотрелся царь на игроков и самому захотелось поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут-как-тут, так и вертится.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед положим залог, — говорит царица, — если ты проиграешься, с тебя триста рублей, а я проиграюсь, с меня ночь: всю ночь буду тебя угощать!

— Ладно, — согласился царь.

И за игру.

И проигралась царица — осталась в дураках.

— Ну, твое счастье, — сказала царица, — приходи ко мне в полночь, будет тебе угощенье.

Посидели приятели в трактире, попили чаю, послушали машину и по домам.

Дома царица скорее сняла с себя мужское платье и нарядилась в женское, прихорошилась, убрала стол винами, сластями всякими, пряниками, поджидает гостя.

Полночь пробила, стучится царь.

Отперла царица, впустила царя.

Смотрит царь, диву дается.

— А где же принц?

— А сейчас, — говорит царица, — за вином в трактир побежал.

А сама ну угощать гостя: и вином его поит, и водки подливает.

А принца все нет и нет.

И забыл царь о принце: крепко вино, сладка водочка, слаще всего хозяйка принцева.

Чуть свет разбудила царица царя: уж народ на работу идет и ему время.

— Ночь прошла, — говорит царица, — твоя ночь.

Простился царь и ушел.

А царица собралась да на свой корабль, и с чемоданом, и с кобылою поплыла на корабле домой.

* * *

Три года прошло.

Объездил царь все иностранные земли, всего насмотрелся, всякому ремеслу выучился, все хитрости заморские произошел:

будет ему с чем показаться в своей земле, есть чему своих дураков научить.

Обтешет он мужика, повыбьет лень из сенаторов, дурь да лень за горы угонит, заведет порядки, и будет его земля не хуже иностранных земель. Сам не пожалеет он сил, сам первый, как

простой человек, за топор возьмется, только было б земле хорошо, — такой уж был царь, из царей царь первый, Гороскат.

Снарядил царь корабль и в путь — в свою землю.

На корабельной пристани встретили царя министры.

Поздоровался царь с министрами, да скорее к себе во дворец, да прямо в свою комнату.

Схватил царь чемодан, разомкнул, а в чемодане до полна золота-серебра наложено, и замки все целы.

Взглянул царь в окно, а там, в саду царская кобыла, под кобылою жеребенок, ну такой самый, как его царский жеребец-иноходец.

Тут вошла к царю царица и не одна, с сыном на руках.

Взял царь к себе на руки сына да к зеркалу.

А сын, как две капли воды, весь в царя.

— Как же это ты могла так сделать? — говорит царь и кличет министров, чтобы все знали: — хочу ее за это казнить!

А министры говорят:

— Нельзя безвинно человека казнить.

— Да как же так? Всех велю казнить! — гремит царь.

И заговорила царица:

— Ваше царское величество, ты в иностранной земле в трактиры ходил?

— Ходил.

— Играл с принцем в карты?

— Играл.

— Ты мне ключи проиграл, ты мне и коня проиграл. А играл ты в третий раз?

— Играл.

— Выиграл у принца ночь?

— Выиграл.

— Ты, ведь, с меня выиграл ту ночь.

— Ну, царствуй со мной, — сказал царь, — с тобой весь мир покоришь.

И задал царь пир на весь честной мир.

Царь Петр

Первое: видеть надо и все узнать...
не узнаешь — не почувствуешь,
не почувствуешь — не откликнешься,

не откликнешься — не будешь свой,
не будешь свой — изомрешь.

*

Рос царевич до всего вострый и чтобы все самому.

Задумал царство объехать, всю державу выведать — и кто как живет и кому чего надо —

чтобы верою править и правдой судить.

Слушает, бывало, царь мальца, не натешится — и в кого такой зародился! — то-то горазд.

— Я, батюшка, все сам хочу знать!

Скажет и смотрит и так, ровно уголечки глаза горят: дай подрастет, будет первым царем, не пропадет с таким русское царство!

Отпускал царь царевича, куда ему любо:

пускай ездит один по белому свету!

Только что Тимофей с ним кучер.

Вот раз выезжает царевич на тройке в село под Москвою.

А морозило крепко и от мороза не только что люди, шавки и те попрятались по конуркам, а от коней так пар и валит.

И видит царевич, на краю дороги мужичонко дрова рубит, вот как резко рубит — лицо от морозу разгорается, а видно, не может согреться, уж очень одежонка-то худа.

— Бог помощь тебе, крещеный!

— А спасибо, царевич!

— В такую стужу ты рубишь?

— Не я, царевич, нужда рубит.

Царевич к Тимофею:

— А что, Тимофей, какая это нужда? Ты ее знаешь?

Усмехнулся во всю рожу царский кучер, инда с бороды сосульки поскакали, а пар — лошадиный пошел.

— Запамятовал что-то... Нам харчи сытные.

— Какая же это нужда? — соскочил царевич с саней да к мужичонке, — где она у тебя: мне бы поглядеть!

— На что тебе, царевич, и не дай Бог с ней познаться!

— Нет, мне ее надо видеть!

А там в чистом поле на бугрине стояла со снегом былина.

— А вон, царевич, на бугрине стоит! Эвона как от ветру шатается.

— Веди нас, покажи.

— Можно, — положил мужичонко топор, прикрыл ветками.

*

Вот сели на тройку и поехали в чистое поле глядеть нужду.

И скоро выехали на бугор, миновали былину,

а за нею там дальше другая стоит —

— Где же нужда?

— А вон — вон за тою былиной... Только ехать нельзя: снег глубок.

Царевич соскочил с саней.

— Покарауль-ка, крещеный, пойду погляжу.

И пошел.

И Тимофей за ним: царская служба — нельзя.

И полезли по снегу:

былину пройдут, другая маячит, к другой — —

— Где же нужда!

А мужичонко стоял у саней, караулил.

Иззяб, окоченел весь бедняга, ну, взял, да и выстегнул царскую тройку, сел, — только и видели.

Все по сугробу, да по сугробу ползал вот как царевич с Тимофеем, и все попусту —

нет нигде нужды, не оказывалось.

— Где, где она, эта нужда?

Уж смеркалось, пора было домой, и повернули назад.

Едва-едва на дорогу выбрались, хвать, а лошадей и след простыл.

Эка беда! Что делать?

И сани бросать не годится: за царское добро Тимофей в ответе.

А Тимофей думает себе:

так не годится!

— Так не годится, я простой человек: тебе, царевич, в корень, а я на пристяжку.

*

Запряглись и поехали.

Везут и везут. Повезут и пристанут.

А тот мужичонко — не промах — поприпрятал лошадей царских, да на дорогу.

И идет им навстречу.

— Чтой-то ты, царевич, санки на себе везешь?

А царевич из сил выбился, уж не смотрит.

— Уйди! Это нужда везет.

— Какая это нужда?

— Ступай, там вон в поле на бугрине!

А сам везет да везет.

Едва до села добрались.

Тимофей на что крепок — царский ведь кучер! — и тот уморился.

Слава Богу, наняли на селе лошадей. И приехали домой в Москву на троечке — на чужих.

Спрашивает царь:

— Чьи ж это лошади?

А царевич ему:

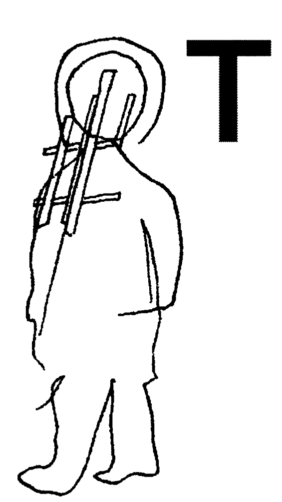
— Батюшка, я нужду увидел, лошадушек потерял!

Вот он какой — сам нужду увидел!

А станет царем, будет первым царем — царь первый Петр.

СОЛДАТСКИЕ

Солдат-охотник



Три сына росли у Касьяна.

А по тем местам такие были дряби да грязи, — не пройти, не проехать.

Вот и говорит Касьян сыновьям:

— Вы, детушки, теперь выросли, давайте-ка миру послужим, замостим дрябь, чтобы людям ходить хорошо было.

И три года мостили, осталось последний гвоздь вколотить, — будет путь во все стороны.

Старший сын мостил через мхи, приустал, прилег отдохнуть под мостом.

И слышит, идет через мост старичок и Бога молит:

— Дай, Господи, кто этот мост мостил, чего попросит, то и дай.

Вышел старший к старику:

— Мы мостили, три брата нас да отец.

— Что тебе надо? — спросил старик.

— А мне много не надо: а чтоб ни за чем в люди не ходить, дома жить.

— Так и будет.

И пошел старик своей дорогой.

*

На другой день середний сын прикорнул под своим мостом.

И тот же старичок идет и Бога благодарит.

И как старший, пожелал и середний:

— Ни за чем в люди не ходить.

— Так и будет, — посулил и ему старик.

*

На третий день сидит под мостом малый сын.

Идет через мост старичок, молит Бога.

Выходит малой.

— Что тебе надо? — спрашивает старик.

— А хочу в солдаты идти.

— Трудное дело, Иван, да и молод еще! — сказал старик.

— Нет, я пойду.

— Ударься о землю! — приказал старик.

Ударился Иван о землю —

и стал оленем.

Бегал, бегал, из сил выбился, прибежал к старику.

— Был олень, стань рысью! — сказал старик.

И стал Иван рысью.

И побежал, уморился и назад идет.

— Был рысью, стань соколом!

И уж соколом полетел Иван и много летал, примахались крылья, спустился.

— Был соколом, будь мурашом!

И обратился Иван в муравья —

уж ползал, ползал с ветки на ветку, с прута на пруток.

— Ну, довольно.

И стал Иван опять человеком.

— Бог тебя благословляет на службу, — сказал старик, — служи верой и правдой. Когда будет нужно, ударься о землю — и станешь оленем, рысью, соколом и мурашом.

И пошел старик своею дорогой.

*

Стали братья жить-поживать, каждый своим делом занялся.

Старшой промышлял торговлей — и дело хорошо пошло.

Средний на земле хозяйствовал и тоже не жаловался.

А меньшой Иван — так уж знать ему на роду написано — как сделалась завороха-война, занабирали народу, и пошел он охотой в солдаты.

* * *

С год шли войной.

Повоевал царь много земель и пришло время мириться.

Все цари собрались на собрание — все в коронах.

Хватился ивановский царь, где корона? — без короны в собрание не пускают, — а корону-то дома забыл.

И дают царю три дня сроку:

а то назад отберут все земли и опять войну начинай!

Что поделаешь: надо корону!

И заразыскивал царь народу:

кто может в трое суток домой сходить и назад с короной придти?

Да кому это возможно, — год ведь шли! — отказываются.

И выискался Иван.

— Я схожу.

Обрадовался царь:

— Вот что, Иван, исполнишь, дочь за тебя отдам.

Написал царь письмо царевне.

И с царским письмом снарядил в путь Ивана.

*

Вышел Иван из виду вон, да как ударится о землю —

и стал соколом и полетел.

Через реки летит соколом, по полям — оленем, сквозь леса — рысью, так и шел и шел.

В сутки добежал оленем.

Народ кричит:

— Хватайте! хватайте!

А старые люди головой качают:

— Ой, не весть ли от царя!

Прямо ко дворцу бежит.

И несдобровать бы оленю, да он муравьем обернулся и попал муравьем во дворец на верхи к царевне.

И там стал солдатом.

Ужаснулась царевна.

— Как, — говорит, — ты вошел, солдат, и по какому случаю?

Иван ей письмо от царя.

И рассказывает, как донес письмо.

Не верит царевна:

год шли войной, как же так в одни сутки поспеть?

— Я тебе покажу, царевна.

И ударился о землю —

и стал соколом.

А царевна из него перышко вытянула да в платок.

— А еще как?

И стал он оленем.

Царевна у него рожка отломила и опять в платок.

— Еще покажи!

И стал он рысью.

Царевна у него шерстки клок вырвала и к рожку в платок.

— А как, — говорит, — во дворец попал?

— Я мурашом вполз.

И обернулся муравьем.

А царевна из него бочечку-яичко вытянула да в узелок завязала.

И поверила.

Дала ему царскую корону и письмо отцу.

Забрал Иван корону, запрятал письмо, обернулся соколом.

— Прощай, прощай! — и улетел.

*

Ближней дорогой, как сокол, долетел Иван до моря.

И всего ничего оставалось, да устал, вздумал отдохнуть малость и повалился на берег.

А у моря два солдата на часах стояли: Хайлов да Ваганов — корабли стерегли.

Видят солдата на берегу, пошарили, хвать, а у него царская корона да письмо.

— Ой, — говорит Ваганов, — уж не вор ли?

— Вор не вор, а прощелыга. Так оставить невозможно.

И давай будить Ивана.

Уж головой били о землю и все ему ребрышки посчитали, а он и ухом не ведет, — очень уморился.

Ну, пеняй на себя, долго разговаривать некогда и живо на корабли. И вовремя к царю с короной поспели.

На радостях царь забыл про Ивана: тут дело такое, не до Ивана.

* * *

Думал Иван часок отдохнуть, разоспался, и ночь наступила, а он спит и спит.

В полночь вышел внучонок водяного на бережку поиграть — на море тишь, ни кораблика в море! — увидал внучонок Ивана, сграбастал его да в море, к деду.

— Дедушка, дедушка, я тебе солдата поймал!

Видит дед: человек не худой.

— А пускай с тобой гуляет.

Ну, и остался Иван жить у водяного царя при водяном внучонке.

И месяц прошел и другой и третий — много прошло.

Кормят и поят Ивана до отвалу, да скучно.

И запечалился Иван, отстал от еды, — думы-то там, на земле: «Уж поди, — думает, — царь мир заключил, то-то там весело!»

— Что, Иван, аль стосконулся о белом свете? — спрашивает водяной.

— Хоть бы глазком поглядеть! — запросился Иван.

— Ладно, выпущу тебя на часок, а боле не бывать!

Да как крикнет ребят.

И откуда взялось, собрался народ — все были набросаны в море! — и живо его со дна вынесли и на островок положили.

Ударился Иван о землю и соколом улетел.

Море за ним —

подымалось, подымалось —

А уж высоко — не утянуть, так и улетел.

Отлетел Иван от моря и пошел.

Дошел до деревень, спрашивает:

— Что, крещеные, вернулся царь с войны?

— Да уж месяца два будет, — говорят Ивану.

Он дальше — все идет и идет — пришел в город.

И остановился у нищей старухи Волкивны.

— Что это у вас все песни поют?

— А как же, — говорит Волкивна, — за солдата Хайлова царская дочка замуж выходит: достал царю корону мир заключать! А товарища его первым генералом царь сделал: тоже

старался. Да, слышно, царевне-то неохота. Завтрашний день дает царь пир с музыкантами, через три дня свадьба.

— А нельзя ли мне, бабушка, на царевну посмотреть!

— Чего ж нельзя, надень музыкантское платье и иди на пир.

А был у Волкивны приятель из музыкантов, помер, а мундир завещал старухе:

Волкивна его у себя под подушкой держала.

Нарядился Иван в музыкантское платье и на пир. Сел с музыкантами.

*

Царевна с женихом прогуливается, а тот товарищ его за ними ходит.

Подошла царевна к музыкантам.

— Не слыхал ли кто, как солдат царю корону достал мир заключать?

Никто ничего не отвечает.

Тут поднялся Иван.

— Я, — говорит, — про такое не слышал, а сам в старину так делал: обернусь соколом и лечу, через реки — соколом, по полям — оленем, сквозь леса — рысью, а где надобно и мурашом.

— А теперь можешь?

— Могу.

Вышел Иван на площадь, ударился о землю — и соколом полетел, подлетел к царевне.

А царевна вынула из платка перышко, приложила.

— Вот, — говорит, — тут и было.

Обернулся Иван рысью.

Царевна шерстки клочок приложила, — и пришлось.

Бегал Иван оленем, ползал муравьем.

И рожка и бочечку приложила царевна, — и все пришлось.

И говорить царевна отцу:

— Вот, батюшка, мой суженый, вот кто корону достал.

Тут Хайлов и Ваганов в ноги царю, повинились:

не хотели губить человека, да так уж вышло!

Царь их выдал Ивану и сейчас же за свадьбу.

Повенчался Иван на царевне и стал жить-поживать.

А товарищей отпустил на волю:

— Бог с ними, и так натерпелись, бедняги!

Доля солдатская

Сидел солдат в окопах, и осень сидит и зиму сидит, и захотелось ему на родине побывать.

— Хоть бы, — говорит, — черт меня туда снес, глазком взглянуть!

А черт тут-как-тут.

— Ты, — говорит, — Королев, меня звал?

— Звал.

— Домой захотел?

— Да мне бы на недельку.

— Изволь, на три, — черт растопырился, — давай в обмен душу!

— А как же я службу брошу?

— Я за тебя.

И решено было у солдата с чертом:

солдат неделю и другую и третью на родине проживет, а черт это время в окопах просидит.

— Ну скидавай! — сказал черт.

Солдат снял с себя шинель, шапку, подал черту и ружье отдал.

И не успел опомниться, как очутился дома.

*

А черт кое-как ремни подвязал и залег с ружьем.

Дело-то ему непривычно, думал, что как-нибудь обойдется, а в первую же ночь хвост к земле примерз: уж отдирал, отдирал, едва высвободился.

А ничего не поделаешь — служба!

Да и голодно: привык по трактирам шататься, а тут тебе не трактир.

И сам уж не знает, что в голову полезло:

известно, какая уж совесть, а тут послали выбивать штыками — рука не подымается, вроде как жалко.

Неделя прошла — за год показалось.

Полегоньку черт завшивел, а бородища отросла во! — ни на что не похоже.

Так и сидел черт в окопах, мерз да зубами щелкал.

И уж чья-то добрая душа черту в окопы кисет с махоркой прислала:

к хвосту себе его черт приделал, а легче не стало.

*

Наконец-то настал срок солдату.

Простился солдат с домашними.

— Невозможно, — говорит, — больше оставаться, прощайте!

И опять попал в окопы.

А черт как завидел солдата, все с себя долой.

— Ну, — говорит, — с вашей и службой-то солдатской! И как это вы терпите?

Да стрекача из окопов, забыл и про душу.

Шишок

Если другой раз и человека ни по чем не берет пуля, то против нечистой силы что плевок, что пуля.

Стояли солдаты на войне, очереди дожидались.

И заскучали, стоявши.

Вот черт и задумал подшутить над ними.

— Стреляйте, — говорит, — в меня, сколько влезет: мне ничего не будет!

И стал мишенью.

Ну, и выискались охотники, нацелятся — выстрелят, а он сейчас же пулю из себя и несет тому, кто стрелял.

Диву давались солдаты.

*

А был один старичок в обозе и говорит старичок солдатам:

— И чего вы, други, мудрить над собой даетесь, да и добро попусту изводить грешно!

— А как бы нам, дедушка, его осилить?

— А очень просто, — старичок-то все знал, — только зря не годится: отместит, окаянный.

Стали приставать к старику: скажи да скажи.

А уж шишо́к, видно, сметил и что-то не слышно стало.

Старичок и открыл тайность.

— Очень просто: пуговицу накрест надрежь, заряди ружье и стреляй, — завертится!

Ну, схватились было искать, туда-сюда...

*

А тут такое пошло, не до того уж.

Вдруг повалил настоящий, гляди, не зевай — силища страсть, и откуда только берется, так и прет.

Да Бог дал, из беды вышли.

Отстал от товарищей Курин, не завалящий солдат, во! — папироску закуришь.

Туда пойдет — нет дороги, повернет в сторону — и того хуже.

Так и пробирался на волю Божью, а уж едва ноги волочит, ой, туго пришлось!

Бредет Курин мимо пруда и видит —

сидит на плотине... узнал, он самый, ногами в воде бултыхает, а рожу на Курина, язык высунул, дразнит:

«Что, мол, ничего, солдат, не сделаешь!»

И так это Курину досадно стало, вспомнил он старичка, про что старичок-то сказывал, подошел поближе к плотине, живо отхватил пуговицу, зарядил ружье, прицелился да как трахнет.

Так того в прах.

— Ага! — словно обрадовался кто-то.

Только и услышал Курин — ноги соскользнули.

И сказывали: без вести солдат сгинул!

Морока

Служил солдат двадцать пять лет царю верой и правдой, а царя в глаза не видал. Пришел срок, получил солдат отставку и пошел домой.

Выходит он из городу и раздумался:

«Что я за дурак за солдат, двадцать пять лет царю верой и правдой служил, царя не видал. Спросят про царя, что я скажу?»

Взял да и повернул назад в город и прямо к царским палатам.

У ворот сторожа.

— Куда, земляк, идешь? — остановили.

— А вот, земляк, царя посмотреть: двадцать пять лет царю служил, царя в глаза не видал.

Доложили царю про солдата.

И велел царь позвать солдата к царю на лицо.

— Здравствуй, земляк!

— Здравия желаю, ваше царское величество.

— Что тебе, земляк, нужно?

— Лицо ваше царское посмотреть; двадцать пять лет царю прослужил, царя не видал.

Царь посадил солдата на лавку.

— А что, — говорит, — загну я тебе загадку: сколь, солдат, свет велик?

— А не очень, ваше царское величество, свет-то велик: в двадцать четыре часа солнышко кругом обходит.

— Правда, солдат. А сколько от земли до неба высоты?

— Не очень, ваше царское величество, высоко: там стучат, здесь слышно.

— Ладно. А загну я тебе еще загадку: сколь морская глубина глубока?

— Ну, ваше царское величество, там неизвестно:

был у нас дед
семидесяти лет,
ушел на тот свет,
и теперь его нет.

— Правда, солдат.

Понравились царю ответы и дал царь солдату в награждение четвертной билет.

Попрощался солдат, да прямо от царя в трактир.

*

Сутки прогулял солдат — десять золотых прогулял.

Жалко стало царской награды.

— Вот, — говорит трактирщику, — на тебе мой четвертной билет, я пойду тебе золота добывать.

И пошел солдат на базар, купил морковь — сделал десять золотых.

И назад в трактир, подает трактирщику:

— Получайте!

Трактирщик золото принял, четвертную солдату отдал, а золото в шкатулку спрятал.

Солдату тут бы и уйти подобру-поздорову, а он, нет, у трактирщика околачивается.

Вздумал трактирщик проверить шкатулку, хвать, а там не золото —

кружки морковные.

Трактирщик кружки в карман себе сунул да из трактира, в чем был, так и выскочил, да солдата за шиворот и прямо к царю.

И приносит царю на солдата жалобу —

прогулял солдат десять золотых, а отдал десять морковных кружочков!

— Ваше царское величество, велите ему показать, чем я разделался!

Трактирщик и вынимает из кармана —

ан, не морковь — золото,

золото, как золото, — из чекану.

— Видите, ваше царское величество.

Царю-то уж очень понравилось, отпустил царь трактирщика в трактир и говорит солдату:

— Молодец солдат, сядь-ка, побеседуй со мной.

* * *

Присел солдат на лавку, ждет царской воли.

— Ну-ка, солдат, подшути ты надо мной шутку, да легонько.

— Могу, ваше царское величество.

И просит царя на диван пересесть.

Послушался царь солдата, пересел на диван.

— А который будет час, ваше царское величество?

— Первый в начине, — сказал царь.

*

И вдруг дверь — у-у-ух! — полна палата воды:

затопило царя на диване по шейку.

Ударился царь из палат бежать, а на дворе ему вплавь.

Куда тут деться?

Ухватился за лестницу и ну карабкаться.

И покрыла полая вода все леса.

Сидит царь на конечке, захлебывается.
Тут откуда ни возьмись лодка, —
бряк в лодку.
Поднялся ветер и унесло царя не весть куда.
Стала вода понемногу пропадать и пропала.
И крепко захотелось царю поесть.
Идет старуха, несет булки.
— Пожалуй, бабушка, сюда, — говорит царь, — продай мне одну.
— Ох, ваше царское величество, булочки-то больно жестки, ночевочки. Нате подержите, я вам мяконьких принесу.
Царь у старухи булки взял, держит.
«Слава Богу, хоть что-нибудь!»
Очень он проголодался.
И только что хотел отщипнуть кусочек, идет околоточный Борисов.
— Чего, — говорит, — ты тут держишь?
— Булки.
— Ну-ка, я посмотрю.
Царь разжал руку, глядь — человечьи головы.
Борисов его цоп — в часть.
До утра просидел царь в части, а там и суду предали, да в острог.
И пока искали да разыскивали, натерпелся в остроге-то!
И дознались, судили и засудили:
приговорили к наказанию — в каторгу навечно.
«Ох, солдат, солдат, что надо мной сделал!»
Везут царя по улицам, а палач только усмехается.
И привезли на площадь.
Раздели — поставили.
Взял палач двухвостный кнут — —
— Ай, батюшки! — как закричит царь.
Тут вбежали в палату сторожа, смотрят:
сидит царь на диване, а против на лавке солдат.
— Ну, спасибо, солдат, хорошо надо мной пошутил!
— А посмотрите-ка, ваше царское величество, который час?
Царь-то думал, что времени с год прошло,
а всего-то один час прошел!

И попрощался царь с солдатом — отпустил его на все четыре стороны.

* * *

Приходит солдат в деревню.

У околицы народ стоит кучкой.

— Мир вашему стоянию, пустите ночевать!

— Пойдем ко мне, солдат! — выискался старик.

Ну, и пошел солдат за стариком.

Пришли в избу, дед и спрашивает:

— А не умеешь ли ты сказки сказывать?

— Можно, дедушка.

— Ну-ка скажи.

— А что тебе одному сказывать, чай у тебя есть семейка?

— Есть, солдат, два сына, две невестки.

— А вот и хорошо: когда придут в избу, все и послушают.

*

Сошлись сыновья и невестки, сели ужинать, поужинали, да и спать.

Лег дед с солдатом на полати.

— Ну-ка, солдат, скажи сказку-то!

— Эх, дедушка, сказки-то я ведь нехорошими словами сказываю, а вон невестки сидят.

Старик перегнулся с полатей:

— Невестки, живо спать!

Невестки деда послушали, постели постелили и спать легли.

— Ну, солдат, скажи теперь!

Уж очень деду хочется сказку послушать.

*

— А вот что я тебе скажу, дедушка, посмотри-ка хорошенько, кто мы с тобой?

— Кто ж?

— Ты-то — медведь, да и я-то медведь.

Ощупался дед, пощупал солдата:

так и есть — и сам-то медведь и солдат-то медведь.

— Медведи мы.

— То-то и оно-то, что медведи, дедушка. И нечего нам на полатях разлеживаться, надо в лес бежать.

— Известно, в лес! — согласился дед.

— А смотри, дедушка, в лес-то мы убежим, а там охотники нас и убьют. И если, дедушка, тебя наперед убьют, так я через тебя перекувырнусь. А если меня убьют, ты через меня кувыркайся — будем оба живы.

Прибежали в лес, а охотники тут-как-тут:
грох в солдата — и убили.
Дед стоит:
что ему делать? — бежать? и его застрелят.
И вспомнил дед, что перекувырнуться надо:
перекрестился да через солдата как махнет.
— Ай, батюшки! — закричал голосом старик.

Невестки повскакали, огонь вздули.
А дед на полу лежит врастяжку. —
Эк, его угораздило!
— Хорошо еще Бог спас! с этакой высоты!
Поднял солдат деда на полати — больше не надо и сказок! — и до света ушел.

Солдат

Служил солдат верой и правдой, за родину терпел и трудился, во скольких боях побывал, уж смерть как на него зубы точила, да Бог миловал, цел остался.

А вернулся домой, нет у него ни угла, ни крова, три сухарика в сумке —
доживай век, как знаешь!
И пошел солдат, куда глаза глядят.

*

Вот ходит он день и другой и третий.

Кончил все сухари и, хоть ложись, да протягивай ноги, нет больше сил...

А видит солдат, идет ему навстречу человек и такой чудный.

— Куда идешь, солдат?

— Куда глаза глядят, добрый человек.

И рассказал всю свою жизнь, как служил верой и правдой, за родину терпел и трудился.

— Ну, правильно ты прожил, солдат, в этом веке, ступай в царство небесное!

Поблагодарил солдат за такую милость.

«Вот когда поживу-то!»

И пошел по дорожке — направо.

*

Долго ли, коротко ли, достиг солдат райского места.

И уж такая там благодать:

какие поля, какие луга!

Ходит солдат, только диву дается.

Насмотрелся, нагляделся всяких чудес, покурить захотелось, а табаку ни крошки.

Вот он и туда заглянет и сюда зайдет —

здания все огромадные, как дворец, ни одной лавчонки.

А шли из райского леска праведные старцы.

Солдат к ним:

— Покурить больно хочется, нельзя ли как, старички, табаку раздобыть!

— Какой такой табак! Что ты, солдат, нешто тут этим балуются?

И так его пощуняли, уж не рад, что связался.

Сильно солдату досталось.

А курить смерть хочется.

— Может, где его тайная продажа есть?

Да местности-то он не знает и спросить уж боязно.

* * *

И пошел солдат, куда глаза глядят.

И опять ему навстречу тот человек, такой чудный.

— Что это ты, солдат, голову повесил? Или тебя кто обидел?

— Терпенья нет, курить хочется.

— Ну, коли так, ступай по той вон дорожке: там все есть!

Поблагодарил солдат, повернул налево, да скорее в путь.

*

А уж бесы бегут навстречу, лапками так и размётывают.

И припекать стало, да солдату что — видывал и не такое:

один вошиный зуб чего стоит!

Обступили бесы, жужжат, что пчелы.

— Что тебе, солдат, угодно?
— Да не надо ли чего?
— Да мы все тебе, что хочешь!
— Рады служить!
— Приказывай!

Солдат от них отбиваться — летели бесы, как пули, — ну, где на землю приляжет, где ползком.

Как-никак, добрался до самого пекла.

— Дайте, — говорит, — местечко, передохну малость.

Тут его бесы под ручки, посадили в угол — вроде, как у жаркой, самой жаркой плиты.

— А что, табачишко найдется? — спрашивает бесов.
— Есть! Сколько хочешь!
— Да не хочешь ли папиросов?
— Все равно, что есть, то ладно.

И натащили бесы махорки — страсть.

Кури, сколько влезет!

А за махоркой водки — пей, не считай!

Покурил солдат хорошо, не плохо и выпил, и вздумалось ему вздремнуть с пути.

Да только это дело никак не ладилось.

Стали его бесы прижимать:

кто за руку дернет,
кто за ногу,
кто коготком погладит.

Он уж что-что ни делал, лезут!

День прошел и другой прошел и стал пообвыкать солдат в пекле.

Табак, слава Богу, есть, водки довольно, и опять же тепло, жить можно, и одно только тошно:

очень уж пристают!

И пустился солдат на выдумки:

как бы так оградиться от нечистой силы?

Вот взял он шнур, вынул кусочек мелу, наметил шнур и давай мерить пекло.

* * *

Сначала-то бесы ничего, только под руку подталкивали, а потом смекнули, должно быть, что затевает солдат неладное, подскочил один черт —

— Что ты, — говорит, — солдат, делаешь?

— Разве ослеп, не видишь, меряю: церкву хочу поставить. У вас тут и помолиться негде.

Тут черт к главному черту:

— Дедушка, погляди-ка, солдат-то что выдумал: хочет церкву у нас поставить!

Поднялся сам, пошел проверить.

И правда, трудится солдат, ползает со шнурком — пекло мерит:

хочет в пекле церкву поставить!

— Он еще и нас заставит молиться! — захныкали бесы.

Ну, сейчас же отрядил главный бес послов в небесное царство с жалобой на солдата.

— Какого солдата прислали к нам в пекло! Хочет церкву поставить! Нешто это возможно: в пекле — церква!

— А зачем таких к себе принимаете? — сказали в царстве небесном.

— А возьмите его от нас! — просят бесы.

— А как его взять, раз он сам не пожелал.

Так ни с чем и вернулись.

— Что нам теперь, бедным, делать! Закадит, замолит нас солдат! — завопил сам их главный.

Тут откуда ни возьмись выскочил бесенок, пискун называется, так востроносенький.

— Сдери, — говорит, — дедушка, с меня кожицу, натяни барабан и пускай с барабаном выйдет кто за ворота и забьет тревогу. Солдат живо сам уберется.

Ведь какую умную штуку придумал, даром, что и звания-то — пискун!

Содрал дед с бесенка кожу, натянул барабан.

— Смотрите ж, — наказывает чертям, — выскочит солдат из пекла, и сейчас же запирайте ворота, а то еще, чего доброго, опять ворвется, и уж пропадай с ним!

* * *

Забили черти тревогу.

Солдат как услышал барабанный бой, да сломя голову бежать из ада, всех чертей распугал, словно бешеный.

Выскочил за ворота.

А им только того и надо —
ворота хлоп — и заперлися.
Осмотрелся солдат:
никого, и тревоги больше не слышно.
Повернул назад, туркнулся в ворота —
заперто!
Давай стучать:
— Отворяйте, черти, ворота сломаю!
А они из подворотни только хвостиками помахивают:
— Нет, брат, будет! Ступай куда хочешь, нам без тебя веселее. Не пу-ус-тим!
Куда теперь солдату?
Хорошо, что еще кисет с чертячьей махоркой цел!
Покурил солдат с горя и пошел, куда глаза глядят.

*

Шел, шел солдат и повстречался ему тот человек, такой чудный.
— Куда идешь, солдат?
— И сам не знаю: выперли меня черти из ада.
— Ну, куда ж я тебя, Устинов, дену? Послал в царство небесное — не хорошо, послал в ад — и там не поладил.
— Да хоть на часах где постоять!
— Ладно, становись у тех ворот, видишь? Да смотри, зря никого не пускай.
Поблагодарил солдат и пошел, стал на часы.
И вот идет — —
глазища выпятила, зубы оскалила.
— Кто идет?
— Смерть.
— Куда?
— К Богу.
— Зачем?
— За повелением: кого морить прикажет.
— Погоди, — остановил солдат, — сам пойду, спрошу.

* * *

А было повеление от Бога,
чтобы три года морила смерть самый старый люд.

Солдату жалко — стариков стало жалко.

Вышел и говорит смерти:

— Ступай, смерть, по лесам, грызи три года самый старый дуб.

Заплакала смерть:

— И за что Господь так прогневался: посылает дубы грызть!

А ослушаться не смеет.

И побрела в лес.

И три года шаталась там — в лесу там, выбирала вековые дубы, подгрызала их под корень, три года трудилась ночь и день.

Прошли три года и воротилась смерть к Богу.

— Зачем опять? — остановил солдат.

— За повелением, кого Господь прикажет морить?

— Погоди, я сам пойду.

*

И было повеление от Бога —

три года морить смерти молодежь.

А солдату жалко: братьев вспомнил — ведь, всех их уморит смерть.

Вышел и говорит:

— Ступай, смерть, назад, три года точи молодые дубки. Так Бог приказал.

Заплакала смерть:

— И за что, Господи, на меня гневаешься!

А ослушаться нельзя:

не по своей воле смерть смертью по земле ходит,
не сама берет, а повеленное.

И побрела в лес и три года точила молодые дубки, измаялась.

Прошли три года, вернулась смерть за повелением.

И в третий раз не допустил ее солдат, сам пошел.

*

И было повеление от Бога —

три года морить младенцев.

Жалко солдату — ребятишек жалко.

И велел солдат смерти идти опять в тот самый лес и три года по кустикам лазать, заячью долю есть.

— Господи, за что ты меня мучаешь! — заплакала смерть.

И пошла и три года по кустам питалась листьями, извелась вся:

известно, не заяц, на листочках долго не продержишься!

Идет — —

едва ноги передвигает.

Ветер подует — так под ветром и валится.

«Ну, — думает, — расцарапаюсь с солдатом, а дойду сама до Господа Бога. Девять годов он меня ни за что наказует!»

Солдат окликнул.

Молчит, лезет на крыльцо.

Тут солдат ее за горбушку —

а та его костяшкой.

И такой поднялся шум, караул кричи.

* * *

И выходит тот самый человек, такой чудный.

— Что такое?

Упала смерть ему в ноги.

— Господи! За что на меня прогневался? Девять годов я мучаюсь, по лесам таскаюсь: три года вековой дуб грызла, три года дубки точила, три года глодала листики.

А солдат виниться —

простит его Господь: очень уж жалко ему народа!

*

И повелел Господь:

девять годов носить солдату смерть на закорках, кормить орехом, чтобы смерть поправилась.

И тотчас смерть так и села верхом на солдата.

А солдат — делать нечего, Божье повеление! — встряхнул ее и повез.

Уж возил он ее, возил по лесу и все у орешенья.

Нажралась смерть орехами.

— Вези, — кричит костлявая, — прокати меня, солдат, по дубравушке!

И залопотала что-то по-своему, песню что ли смертную.

Песня-то песней, пускай себе, да трудно с такой ношей, а крепится — повеленное надо исполнить.

Приостановился солдат, вытащил из-за голенища кисет, закурил.

Увидала смерть.

— Солдат, дай и мне покурить.

Солдат ей кисет — развязал.

— Полезай, — говорит, — кури, сколько хочешь.

Известно, смерть в чем в чем, а насчет табаку плохо, и что и к чему, ничего тут не понимает.

Смерть и юрк в кисет.

А солдат, не будь дурак, закрутил кисет, да за голенище.

И уж налегке пошел опять к небесным воротам, стал на часы, как ни в чем не бывало.

*

И идет тот самый человек, такой чудный.

Увидел солдата.

— А смерть где?

— Со мной.

— Где?

— Да за голенищем.

— А ну, покажи!

Солдат мнется:

выскочит смерть из кисета, засядет на закорки и опять носи ее.

— Покажи, я тебя прощаю.

Солдат вытащил кисет, развязал.

А смерть —

у! так и скокнула на него, да прямо на плечи.

— У! солдатик!

И повелел Бог смерти уморить солдата.

Соскочила смерть на землю.

— Ну, солдат, слышал?

— Слышал, такая воля Божья. Стало быть, помирать.

Тут его смерть и уморила.

СКОМОРОХ

Скоморох



Царствовал царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти. Охотник был царь сказок послушать.

И дал царь по царству указ, чтобы сказку сказали,

которой никто не слыхивал:

«За то, кто скажет, полцарства отдам и царевну!»

Полцарства и царевну!

Да этакой сказки сказать никто не находится.

А был у царя ухаре́ц — большой скоморох, — плохи были дела, стали гнать скоморохов! — и сидел скоморох с голытьбой в кабаке.

Сидел скоморох в кабаке, крест пропивал.

— Что ж, Лексей, — говорят скомороху, — или не хочешь на царской дочке жениться? — подымают на смех, гогочут.

Подзадорили скомороха царской наградой:

была не была, хоть в шубе на рыбьем меху, да уж впору ему царю сказку сказывать.

*

Приходит из кабака скоморох к царю во дворец.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

Всполошились царские слуги, собрались все малюты скурлатые, вышла и царская дочь — Лисава, царевна прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

а как был у меня батюшка —
богатого живота человек;
он состроил себе дом,
там голуби по крыше ходили,
с неба звезды клевали;
у дома был двор —
от ворот до ворот
летом меженным днем
голубь не мог перелетывать —

— Слыхали ли этакую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Потупилась царевна Лисава прекрасная.

— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра, по вечеру.

Встал скоморох и ушел.

*

День не видали скомороха на улице, не сидел скоморох в кабаке.

Вечером явился к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

И опять собрались все скурлатые, вышла и царевна, Лисава прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

а как был у меня батюшка —
богатого живота человек;
он состроил себе дом,
там голуби по крыше ходили,
с неба звезды клевали;
у дома был двор —
от ворот до ворот
летом меженным днем

голубь не мог перелетывать;
и на этом дворе
был вырощен бык:
на одном рогу сидел пастух,
на другом — другой,
в трубы трубят
и в роги играют,
а друг другу лица не видно
и голоса не слышно —

— Слыхали вы такую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Вспыхнула царевна Лисава прекрасная.

— Ну, и это не самая сказка, завтра будет настоящая!

Шапку взял да и за дверь.

Видит царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царевну Лисаву, и говорит своим слугам:

— Что мои, верные слуги, малюты, а скажем, что сказку слыхали, и подпишемте.

— Слыхали, подпишем! — зашипели скурлаты.

Тут царский писчик столбец настрочил, скрепил, и все подписались,

что слыхана сказка, все ее слышали.

Тем дело и кончилось.

*

С утра сидел скоморох в кабаке, пить не пил, пьян без вина.

— Что ж, Лексей, — подзадоривала голь, — полцарства и царскую дочь?

— Не допустят! — каркала кабацкая голь.

В третий раз третьим вечером приходит скоморох к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить-накормить, я вам буду сказки сказывать.

А уж скурлаты на своих местах, задрали нос, брюхо выпятили:

так и дадут они скомороху полцарства и царскую дочь, — хитер скоморох, скурлат вдвое хитрей.

Вышла и царская дочь Лисава, царевна прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.
— Сказывай, слушаю, — сказал царь.
И стал скоморох сказки сказывать.

*

А как был у меня батюшка —
богатого живота человек;
Он сострoил себе дом,
там голуби по крыше ходили,
с неба звезды клевали;
у дома был двор —
от ворот до ворот
летом меженным днем
голубь не мог перелетывать;
и на этом дворе
был вырощен бык:
на одном рогу сидел пастух,
на другом — другой,
в трубы трубят
и в роги играют,
а друг другу лица не видно
и голоса не слышно;
и была еще на дворе кобылица:
по три жеребят в сутки носила,
все третьяков-трехгодовалых;
и жил он в ту пору весьма богато;
и ты, наш великий царь,
занял у него
сорок тысяч денег.

*

— Слыхали ли этакую сказку?
— Слыхал, — сказал царь.
— Слыхали! — гаркнули скурлатые.
— Слыхали? — сказал скоморох, — а, ведь, царь до сих пор денег мне не отдает!
И видит царь, дело нехорошее:
либо полцарства и царевну давай, либо сорок тысяч денег выкладывай.
И велит скурлатам денег сундук притащить.

Притащили скурлаты сундук.

— На́, бери, — сказал царь, — твое золото.

Поклонился скоморох царю,
поклонился царевне,
поклонился народу.

— Не надо мне золота, не надо и царства, дарю без отдарка!

И пошел в кабак с песнями.

А царевна, Лисава прекрасная, стоит бела, что березка белая.

потихоньку, скоморохи, играйте,
потихоньку, веселые, играйте,
у меня головушка болит,
у меня сердце щемит!

Медведчик

Шел медведчик большой дорогой, вел медведей.

С медведями ходить трудно — медведь так в лес и смотрит, тоже поваляться охота в теплой берлоге — берлога насладена медом! — вот и изволь на скрипке играть, отводи медвежью душу.

За Филиппов пост наголодался медведчик, нахолодался.

Плохо нынче скомороху!

И то сказать: без скомороха праздник не в праздник, а всяк норовит лягнуть тебя побольнее, либо напьются, нажрутся, и скомороха не надо.

Застигнул медведчика вечер: куда ему с медведями, позднее время!

А стоял на дороге постоялый двор богатый. Просит медведчик хозяина пустить на ночлег.

А хозяин и слышать не хочет.

Прошел слух, будто ездят по большим дорогам начальники, проверяют перед праздником чистоту на дворах. И была хозяину грамотка подброшена, что ночью нагрянет к нему начальник для проверки.

Вот, хозяин, кто б ни попросился, всем и отказывал.

— Я не пускаю не то что тебя с твоими супостатами, я и извозчиков не пускаю: обещался нынешнее число сам губернатор у меня быть.

А работник и говорит:

— Хозяин, — говорит, — отведу я их в баню: в предмыльник поставят медведёв, а сами в бане.

Уперся хозяин: и то и другое и неудобно, и что губернаторские кони услышат медвежий запах и будут пугаться.

А уж ночь охватывает, ночь — звезды, крепкий мороз.

Просит медведчик: медведей ему жалко — звезды, как льдинки, горят, крепкий мороз!

Ну, хозяин и согласился.

— Отведи их в баню с медведями, — сказал работнику, — да затвори покрепче, а ключи у себя держи, кто знает!

Отвел работник медведчика в баню, запер ворота и стал с хозяином звонка слушать, гостей поджидать.

* * *

Остался медведчик с медведями в бане.

И тепло ему и медведям тепло, да все неспокойно — и сам не спит и медведи не спят:

Миша лапу сосет, а медведица Акулина ноздрями посвистывает.

Не мéртво, никак не уснуть: то Акулину погладит, то Мишу потреплет.

О чем медведица думала, невдомек медведчику, только недоброе думала, губой пошлепывала, или чуяла недоброе, да сказать не могла?

Миша тот свое думал: пройтись бы ему на пчельню пчелок поломать! — охотник был до меда медведь, лапу сосал.

Стал медведчик, потрогал лапы, потрогал медвежьи уши.

«Постой, — подумал, — прочитаю заговор, чтобы медведей ножи не брали, кто знает!»

— Мать-сыра-земля! — поклонился медведчик Мише, поклонился Акулине.

мать-сыра-земля,
ты железу мать,
а ты, железо,
поди в свою матерь землю,
а ты, дерево,
поди в свою матерь дерево,
а вы, перья,

подите в свою матерь птицу,
а ты, птица,
полети в небо,
а ты, клей,
побеги в рыбу,
а ты, рыба,
поплыви в море,
а медведю Мише,
медведице Акулине
было бы просторно по всей земле!

*

железо, уклад, сталь, медь,
на медведя Мишу,
на медведицу Акулину,
не ходите,
воротитесь ушьми и боками!

*

как метелица
не может лететь прямо
и приставать близко
ко всякому дереву,
так бы всем вам не мочно
ни прямо, ни тяжко падать
на медведя Мишу,
на медведицу Акулину!

*

как у мельницы
жернова вертятся,
так бы железо, уклад,
сталь и медь
вертелись бы круг
медведя Миши,
медведицы Акулины,
а в них не попадали!

*

а тело бы медвежье
было неокровавлено,
душа не осквернена.

*

а будеть мой приговор
крепок и долог.

И только что медведчик заговор кончил, слышит, колокольчик у ворот брякнул, — да все резче и громче.

* * *

Слышит работник, звонят у ворот, поднялся.

И хозяин поднялся, тоже услышал.

— Беги, — говорит, — скорей, отворяй!

Работник к воротам, отворил калитку посмотреть, а у ворот люди — не такие, он назад, калитку запер, да к хозяину.

А уж разбойники давай сами бить и ломать, сорвали ворота, да в дом.

И сейчас же — овса, сена коням, а себе вина и закуски.

Хозяин видит, дело-то плохо приходит, старается угодить гостям:

и вина и хлеба-соли полон стол наставил.

А им все мало, до денег добираются, вот куда метят!

— Довольно, — говорят, — тебе, хозяин, копить, уж накопил достаточно!

Да за сундук и взялись.

Тут хозяин улучил минуту, пока молодцы из сундуков выбирали, да и пришепни работнику, чтобы в баню сходил к медведчику:

помощи попросить медведями.

Работник в баню к медведчику, рассказал, какая беда у хозяина.

Мигнул медведчик Мише, мигнул Акулине, вывел медведей из бани к дому, приказал им службу.

Акулина сердитей и сильнее Миши, — велел ей медведчик в дом идти и управляться, насколько есть мочи, —

да чтобы маху не давала.

А Мише приказал в сенях ждать.

— Случаем тронутся утекать молодцы, — сказал медведчик, — маклашку давать им немилосердную!

Поклонились медведи медведчику:

рады, дескать, приказание исполнить!

Стал Миша в сенях.

Поднялась на задние лапы медведица и пошла в дом.

А разбойники деньги все обобрали, и опять стали гулять, уж в дорогу пили и закусывали.

Да как посмотрели на это чудовище — космато, велико, голова, что квашня! — от страха так и ужаснулись.

Ну, Акулина не робкая, не заробела, давай их ломать во все свои силы —

кому руку прочь, кому ногу прочь, кому черепанку взлупила.

Разбойники за ножи, а нож не берет —

погнулись в кольцо ножи, невредима медведица.

Видят, не сладить и давай уходить.

А Миша в дверях.

И кто в сени выскочит, так тут и пал.

Так перебили медведи всех до единого, а было всех двенадцать молодцов, двенадцать разбойников.

— Собакам собачья честь! — сказал хозяин, забрал себе двенадцать разбойничьих коней и до утра чистил и прибирал с работником дом и двор.

А медведчик, чуть свет, в путь пошел, повел медведей.

До звезды ему надо добраться до города, пристать к колядовщикам.

Без скомороха, без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда — не настоящая.

Вавила

Вздумал один человек на старости лет Богу потрудиться, поселился в лесу и стал жить один в своей келье, как пустынник.

А оставались у него на возрасте дети, — отца почитали.

Вот навезут они в лес ему всяких разных закусок, рыб всяких копченых, икорки и селедок, ну ничего ему и не надо, — помолится, поест и спать.

Так мирно шли дни без греха и соблазна в пустыне.

Раз наелся пустынник соленых копчушек, прохладился чайком, вышел из кельи, прилег на завалинку, и спит.

Идет мимо старичок.

— Мир твоему кормному борову лежать!

— Я пустынник, я Богу тружусь!

— Богу тружусь! — смотрит старичок, — наешься, напьешься, да спишь, экий труд! А ты в город иди, там есть Вавило скоморох, коли его труд перенесешь, будет толк, в царствие небесное угодишь.

— А каким он, дедушка, трудом трудится?

— Да уж как сказать каким, только слышно про него, колокол далеко звонит.

И пошел старичок.

А пустынник и раздумался.

И вправду, какой его труд: поест, попьет и спать! — но какой же должен быть тот скоморoший труд, чтобы толк был, в царствие небесное попасть?

*

Бросил пустынник свою келью и пошел в город —

скомороха Вавилу искать, потрудиться его трудом.

И не долго по улицам плутал, живо ему дорогу показали.

И удивился пустынник: кого он ни спрашивал о скоморохе, все ему сердечно отвечали, — и не потому, чтобы сам он располагал к доброму ответу, а потому, что спрашивал о скоморошике, как величали Вавилу люди, словно уж в самом имени в скоморошьем было что-то и приятное и доброе людям.

Подошел пустынник под скоморошье окошко.

А у скомороха были две женки — родные сестры, стерегли Вавилу.

— Здесь Вавило скоморох?

— Здесь.

Женки впустили пустынника в дом.

— Где скоморошик?

— На игрищах играет.

— На каких?

— Да у губернатора, там скачет и пляшет.

— А скоро придет?

— Придет, как первые кочета споют, либо привезут.

Присел пустынник, ждет скомороха. Ждать пождать, стало ко сну клонить, а скомороха все нет.

*

Первые петухи пропели, пришел домой Вавило.

— Чей это старичок? — спрашивает у своих женок.

— Тружельник из лесу.

Пустынник к скомороху, рассказал Вавиле, как один старичок прохожий наставил его идти в город, отыскать скомороха и потрудиться скоморошьим трудом.

— Эх, дедушка, какой мой труд! Я только скачу да пляшу, огонь да гвозди глотаю, вот и весь труд.

— А хочу тебя спросить, скоморошик, какую ты пищу ешь?

— Моя пища: сухая кромá, да пустая вода. Вот мои женки поят, кормят меня и на постелю кладут.

— Я хочу, Вавило, твой труд понести.

Рассмеялся скоморох.

— Не доведется это тебе: тяжел. Посмотрите, какой я тощий, и этак и так перевьюсь. Нет, дедушка, без привычки надорвешься.

*

Вот утром рано приезжает человек за скоморохом.

— Дома скоморошик?

— Дома.

— Пожалуйте к Овошину на именины.

— Ступай себе. Пешком приду, только умоюсь.

Разбудил скоморох пустынника-гостя.

Сели завтракать: женки скоморошьи дали им по куску хлеба.

— Ну, друг, пойдем, на именины.

— Пойдем, Вавило, а какой там твой труд будет?

— Пустяки, только сапоги надеть.

— И я твои сапоги надену.

— Что ж, попробуй.

Захватили с собой сапоги, отправились к Овошину на именины.

Не велики сапоги скоморошьи, а легки, что лапотки самые малые. Вавило обулся и ну скакать и плясать.

А пустынник, как влез в них, так и почувствовал — там были гвозди вершковые понатыканы.

И проголодался, а с места сойти не может: где посадили на стул, там и сидел.

Вавиле привычно, — скачет и пляшет.

И до петухов скакал скоморох и плясал.

— Пойдем, брат тружельник, домой.

Старик чуть не плачет.

Кое-как поднялся, но и полпути не прошел, ноги идти отказываются, и пятки больно.

Вавило попросил человека довезти старика до двора. И поехали.

*

Приехали в скоморошний дом.

— Ну, что, дедушка, хорош мой труд?

— Хорош, скоморошик, очень хорош.

— А ты?

Старик снял сапоги, —

а сапоги полны крови.

— Попытаю еще, какой твой труд есть, — сказал старик, — переночую ночь.

Сели ужинать. Дали им женки сухую крому, да теплой водицы,

позаправились — краюшка-то не больно сытна, да делать нечего.

— Ну, женки, спать хочу, положите меня на постелю!

А постель у скомороха в сенях стояла, на вольном воздухе.

Взяли его женки за руки, за ноги, раскачали да на кровать и шваркнули.

Старик — за столом, видит, что делается, и говорит скоморошьим женам:

— Надо и мне этакий труд понести.

Женки его за руки, за ноги да к Вавиле на постель и кинули.

И впиялись в него гвозди лютей сапожных.

И лежал старик, как камень, ночь-то.

*

До свету приехали за скоморохом, зовут на крестины.

Легко поднялся скоморох, а старик ни рукой, ни ногой пошевельнуть боится.

Позвал Вавило женок.

— Сымите, — говорит, — тружельника с моей постели.

Женки взяли старика под руки и привели в комнату.

— Что, дедушка, пойдем со мной?

— Нету, скоморошик.

— Что так?

— Не могу. Велик твой труд, Вавило! Тебе велел Господь снесть и неси, а я не могу. Чую, не дойти до двора к детям. Прощай, скоморошик.

— Прощай! А коли хочешь, иди со мной.

Старик ушел.

Старик видел труд и сам потрудился.

Теперь не надо ему и лесной его кельи, как-нибудь тихонько проживет он с детьми, ему и жить-то осталось немного.

*

А скоморох скакал и плясал:

день скакал на именинах, другой — на крестинах, третий — на свадьбе, четвертый — так, людям на развлеченье.

Выдался свободный денек, сидел скоморох у кума в гостях, чесал языком, прибаутки сыпал.

Вдруг всполошился кум.

— Вавило, — говорит, — за твоей душой пришли.

— Кто?

— Святы ангелы.

— Какие ангелы?

— Нет, ступай Вавило. Прощай скоморошик!

Делать нечего, простился скоморох с приятелем и пошел домой.

А дома видит: уж гроб стоит и женки ревут.

— Ложись, скоморох, — ревут, — в гроб!

Лег.

Лежит Вавило в гробу.

Голубь влетел.

— Ты голубь?

— Голубь.

— Какой ты голубь?

— Твой святой ангел. Тебя, скоморошик, Бог наградит!

Тут скоморох и покончился.

Товарищи

Гулял веселый по селам, песни пел, мир честной потешал.

И что бы где ни потерялось — все на него говорят.

А он и сном не знает.

Стало ему за досаду, взял он свою скрипку и пошел, куда глаза глядят.

*

Попадает ему встречу волк.

— Куда, брат веселый, идешь?

— А куда глаза глядят.

— Возьми, брат, меня в товарищи! Где бы там овечка потеряется, либо украдет кто, все на волка: волк задавил! А я и сном не знаю.

И пошли в товарищах:

волк да веселый.

*

Попадает им медведь.

— Куда, братцы, пошли?

— Куда глаза глядят.

— Чего так?

— Да так уж: чего ни потеряется, все на нас валят.

— Ну, возьмите и меня с собой. И про меня тоже: скотина где пропадет — медведь задавил! А я и сном не знаю.

И пошли в товарищах трое:

медведь, волк да веселый.

Веселый на скрипке играет.

Медведь лапу сосет.

Волк зубы скалит.

— весело!

*

Шли они так шли, подходят к озерине.

И стояли там мужики —

с толокном едут.

Испугались мужики, а кони пуще.

И такое поднялось, что буря.

Да кто куда, а воза — в озерину.

* * *

Посылает веселый медведя с волком хмель таскать в озерину: делать пиво.

Живо натаскали товарищи хмелю — и пиво готово.

Тут веселый поставил избушку окнами к озерине, сделал меру —

пиво у них чтобы не убывало.

И стали жить, поживать дружно.

Жили хорошо, и дружно:

ни волк медведя, ни медведь волка не задирали,
ну, а веселый — со всеми ладил.

И был у них зарок положен:

пива пока что не трогать, пускай понастоится!

Клялся медведь лапой.

Волк — зубом.

Веселый — скрипкой.

*

А стало у них пиво убывать.

Поглядят поутру по мере:

пива мало, в озерине убывает много.

Не знают, на кого и думать.

А я скажу: пронюхала Баба-Яга, что у товарищей пиво — озерина, и повадилась ночью за пивом таскаться.

И положили товарищи караул держать.

*

Первая ночь волку досталась.

Стал волк в сторонку, навострил свой зуб волчий —

пиво караулит!

И только что полночь настала, идет Баба-Яга с ведрами и прямо на волка.

— Ты куда?

— За пивом, тебе какое дело!

Да ведра с коромысла и давай волка лупить коромыслом.

Волк уж и не помнит, как уполз в избушку.

А Баба-Яга напилась пива, поддела полные ведра и пошла себе, понесла домой пиво.

Товарищи поутру поднялись, а волк лежит.

— Эх, как нажрался пива-то, ни в одном глазу!

— Айдайте-ка, сходите, узнайте, как пиво-то достается.

Едва отлежался волк — все ребра ему Яга пересчитала.

Нет, напрасно только погрешили, он и сном не знает про пиво.

*

Другая ночь — медведёва.

Стал медведь на караул.

Опять в полночь приходить Баба-Яга.

— Ты чего тут?

А Яга ведра с плеч, да за коромысло, да коромыслом по медведю.

И уж медведь по волчьему следу еле жив попал в избушку.

Напилась Яга пива, почерпнула полные ведра и пошла себе домой с пивом.

Поутру поднялись товарищи, а медведь в лёжку лежит.

— Эка, с пива-то что!

— Айдайте, сходите-ка сами, узнайте, как достается пиво-то.

Уж кое-как поднялся медведь — все печенки отбиты!

Нет, напрасно только погрешили, он и сном не знает про пиво.

* * *

Третья ночь — идет в караул веселый.

Он пошел со своей скрипкой, стал к сосне и ждет.

И ровно в полночь подходит Баба-Яга.

— Что ты, веселый, делаешь?

— А на скрипке играю.

Сбросила Яга ведра, положила коромысло, слушала, слушала и давай уезживать —

такой пляс подняла, что буря.

— А как бы мне, веселый, научиться на скрипке играть?

— Что ж, только у тебя, Яга, пальцы больно толсты.

— А что с ними делать?

— Потоньше сделать.

— А сделай.

— Вон видишь пенёк, а в пеньке-то клин, видишь: клин вытащить, в дыру-то пальцы заколотить, они и потоньшатся — можно ими тогда и на скрипке играть.

— Ладно.

Ну, ладно, так ладно. Пошли они к пеньку, вытащили клин, затолкал туда веселый ягиные пальцы.

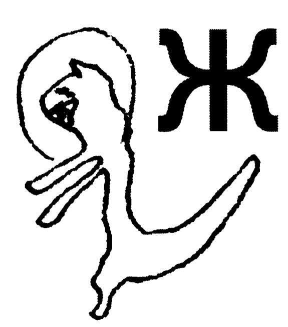
Руки зажало у Яги, тут он ее и кончил.

Вернулся веселый в избушку и рассказал товарищам, а те свое — так все и открылось.

И с той поры стали они сами пиво пить, друг на друга перестали коситься.

ВОРЫ

Воры



Жил-был богатый мужик. У мужика был работник. Сысоем звали работника.

Раз караулил Сысой коней и видит, огонек в поле.

Замкнул Сысой коней в цепи, пошел на огонек.

Пришел к огоньку, а там сидят воры, пьют, гуляют.

Схватили Сысоя воры, при себе оставили.

А как прикончили все, все запасы, потушили воры огонь да на деревню.

И Сысою тоже велели.

Вот приходят они к амбару Сысоева хозяина, отвалили от фундамента камень, посылают Сысоя:

— Полезай, — говорят, — ты, Сысой, принеси нам, что есть там.

Послушал Сысой, полез, вынес добро и хотел уж вылезать, а они говорят:

— Захвати, — говорят, — ты и на свой карман что.

Опять полез Сысой, а воры тем временем камень подвалили и ушли себе, — поминай как звали!

Что поделаешь? Взял Сысой корзину муки, да с мукой и стал у двери.

Поутру рано закладал хозяин лошадей и говорит жене:

— Сходи, — говорит, — жена, в амбар за свининой, да поджарь.

Взяла баба ключи, пошла к амбару.

Отперла амбар, а Сысой тут-как-тут:

хвать муки ей в глаза, а сам бежать.

* * *

Просидел Сысой день в лесу, а как стемнело, вышел, и видит, огонек в поле.

Сысой на огонек.

Пришел к огоньку, а там опять сидят воры, пьют, гуляют.

Схватили воры Сысоя, при себе оставили.

А как прикончили все, все запасы, потушили огонь, да на деревню.

И Сысою тоже велели.

Вот приходят они к амбару соседа Сысоева хозяина, отвалили от фундамента камень, посылают Сысоя:

— Полезай, — говорят, — ты, Сысой, принеси нам, что есть там.

Послушал Сысой, полез.

А в амбаре-то покойник и много всего для похорон приготовлено.

Все вынес Сысой и хотел уж вылезать, а они говорят;

— Захвати, — говорят, — ты и на свой карман что.

И не успел Сысой обернуться, подвалили воры камень, и остался Сысой в амбаре один с покойником.

Думал, думал Сысой, как быть, и надумал:

взял покойника, обхватил его и стал с ним в дверях.

Наутро, чуть свет, идет хозяйка, да молитву читает:

— Господи Иисусе...

А Сысой тут-как-тут:

как на бабу покойника кинет.

— Вперед не суйся!

Да драла́ в лес.

Тут баба с перепугу так под покойником замертво и пала.

* * *

Просидел Сысой день в лесу, а как стемнело, вышел и видит, огонек в поле.

Сысой на огонек.

Пришел к огоньку, а там сидят воры, пьют, гуляют.

А один вор ушел было за дровами, кричит:

— Эй, ребята, вон тот самый наш!

Схватили воры Сысоя, при себе оставили.

Пьют-гуляют.

А была у них пустая бочка. Взяли они Сысоя и забили в эту самую бочку, а сами, как прикончили все, все запасы, потушили огонь и ушли себе подобру-поздорову.

Ну и натерпелся Сысой страхов, в бочке-то сидючи —

ни жив, ни мертв, и голова от винного духа, что вареная картошка, того и гляди, рассыплется.

И приходит волк к бочке глодать кости, а Сысой — со смёткой, давай ковырять в бочке дырку.

Проковырял Сысой дырку — цап за хвост волка.

Волк с перепугу к березе.

Трах бочку о березу — и разлетелась бочка на мелкие куски.

Тут Сысой лежать и остался, да так до сей поры и лежит — не почешешься!

Разбойники

Жил-был человек тихий и работящий. Изба его стояла на пустом месте, и кругом на много верст жилья никакого. У Никиты было два сына, — в зыбке и годовой, да дочь трех лет девчонка.

Как-то Никита, поужинав, как спать ложиться, говорит хозяйке:

— Я завтра, Аграфена, помру, положи меня под образа и трое суток кади.

Ночь проспал Никита хорошо, ни на что не жаловался, а к утру, смотрят, чуть теплый — помер.

Аграфена сейчас его под образа на лавку и кадить принялась.

Двое суток кадила, а на третьи запамятовала:

и то сделай, и другое, — с ребятами и не то забудешь, да и подумать надо, нынче и птица думает!

Ходит девчонка по избе, говорит матери:

— Маменька, отец-то ожил, сел.

— Что ты, глупая, сел! Помер, ведь.

А сама в горницу —

там сидит Никита на лавке, зубы бруском точит.

Схватила Аграфена девчонку, да скорее на печку, окрестилась.

Сидят на печке, не пикнут.

Наточил Никита зубы, встал с лавки и прямо к зыбке.

Ухватил ребенка, — съел.

Поймал другого, — по полу ползал, — и того съел.

Схватил из зыбки пеленки, — и пеленки съел.

Стал печь грызть.

— Господи! — замолилась Аграфена угодникам, — принеси какого крещеного, спаси!

И отворились тут двери, входит — поднял копье, ударил копьем по голове мертвеца.

— Провались ты сквозь пол, сквозь землю в предвечную муку, окаянный!

Мертвец присел, — только зубом скрипнул — и провалился.

А святой пастырь пошел из избы.

Аграфена-то думала, простой человек, и ну кликать.

Не откликается.

И напал на нее страх, думает:

придет Никита, съест!

Слезла Аграфена с печки да с девчонкой бежать.

До росстаней добежала, передохнула.

Пошли лесом.

* * *

Долго шли они лесом и видят:

идут навстречу старичок да старуха, кланяются низко.

— Заходите, — говорят, — к нам пообедать.

Аграфена сначала на попятный: чего-то все страх берет.

А потом согласилась, — голод-то не тетка, согласишься! — да и старичок да старуха очень уж ласковые.

Привели их старички в дом.

Дом на столбах стоит, высокий, преогромный.

Посадили их за стол, щей налили, белого хлеба принесли, говядину.

Смотрит Аграфена: человечьи руки и ноги вареные в миске, — и не стала есть.

Думает себе:

попали к разбойникам!

Девчонка ест, — очень проголодалась.

— Отдыхайте, — говорят, — с дороги, с пути, вам будет тепленько!

Да горницу и заперли.

Уложила Аграфена девчонку, сама спать не может, все слушает.

Разметалась девчонка, спит сладко.

Вот вечер стал.

И понаехало народу — шум, гром, хлопотня, говор, — сорок воров, сорок разбойников, сорок подорожников.

Один хвастает, что убил стольких-то, другой хвастает, что ограбил стольких-то, — все хвастают, все делов наделали.

— Мы и никуда не ходили, не ездили, а две тетерки к нам сами прилетели! — говорят старичок да старуха, смеются, старые, хихикают.

Тут разбойники повскакали:

всем охота тетерок посмотреть.

А старичок со старухой шасть в горницу.

Нащупали девчонку, схватили и потащили девчонку в кухню, люлюкают, старые.

Топится в кухне печка и чугун кипит. В чугун и пихнули девчонку.

Закричала девчонка по-худому и недолго кричала, умертвилась.

Вынесли ее старики на тарелке, — стали ужинать.

Пили, ели, похваливали.

Наелись досыта и спать улеглись.

Вот как спать улеглись, да захрапел весь дом, поднялась Аграфена, схватилась за железные рамы, выломала рамы, спустилась на землю, и уж не помнит, как шла.

* * *

Наутро пришла Аграфена в город, заявила будочнику.

Будочник Аграфену на извозчика и в самую главную часть, и там сдал ее самому их главному будочнику.

Аграфена и этому все рассказала.

— Не врешь ли? — усомнился главный, — нынче велено строго: прямо без всяких разговоров подкатим бочку пороха под разбойный дом, зажжем порох и разлетится дом на пять частей огнем и пылью, и пеплу не останется.

Отпустил главный будочник Аграфену на все четыре стороны с миром.

Снарядились будочники все, сколько было из всех пяти частей, и поскакали по горячему следу на то место, где жили старичок со старухой.

Подступили они к разбойному дому.

Выкатили бочку.

И уж спичку чиркнули, чтобы порох зажечь, да разбойники как посыпят из окон золото.

Да так дождем все кругом и засыпали.

И вернулись будочники к себе в город во все свои пять частей, без разбойников.

И следов разбойничьих никаких не осталось, да и где их отыщешь под золотом! — чисто.

Жулики

Ходил вор Васька по Петербургу:

было ему на роду написано и Богом указано воровать.

Начал Васька сызмала и хорошо ему воровство далось, развернулся и пошел вовсю:

где лавку пошарит, где магазин почистит, и капиталами не брезговал.

Ваську Неменяева все сыщики уважали.

Идет Васька по Миллионной, несут покойника.

А за гробом человек десять молодцов с дубинами, бьют в гробу покойника.

— Что́ такое, за что́ бьете? — остановил Васька.

— Должен много, за то его так и провожают, — ответили вору.

— Оставьте, — сказал Васька, не троньте покойника, я за все заплачу.

Обратил народ внимание, бросили дубинки, пошли за Васькой.

И всех до одного рассчитал Васька, как следует, — публика осталась довольна.

* * *

Сидит Васька у себя на Фонтанке, пьет вино бокал за бокалом.

Пьет Васька, попивает и не заметил, как усидел четверть, — и хоть бы что, ни в одном глазе: крепкий.

Хозяйка доклад делает: человек какой-то спрашивает, видеть вора хочет.

Велел Васька пустить гостя.

А тот, как стал на пороге, так и стоит, зяблый, щербатый такой, в драном сером кафтанишке, не садится.

— Нельзя ли, — говорит, — мне ночевать, ночлегу нету.

— Чей и откуда? — спрашивает Васька.

— Мы деревенский вор Ванька, воровать в деревне нечего, в Петербург пришли, где денег больше.

— А мы городской вор Васька Неменяев.

Ну, вор на вора не доказчик, признались, выпили и стали друг с другом тайный совет держать:

куда воровать идти.

— А что́ тебе тут знакомо? — спросил деревенский вор Ванька приятеля Ваську.

Васька и давай ему рассказывать: у такого-то купца денег много, а у этакого еще боле, в одном месте еще больше, а в этаком и счет потеряешь, перебрал купцов со всех улиц, и с Сенной и с Гостиного, и апраксинских и александровских.

— Не годится купца обижать, — говорит Ванька, — а лучше вот что́: пойдем-ка в царский банк, возьмем денег, сколько надо.

Поднялись воры спозаранку, наняли чухонскую телегу и поехали, пока что, с похмелья поразмяться.

Ехали почтовым трактом, выбирали, где пристать лучше.

За Озерками выпрягли воры лошадь, сами сели под елку, развели огонек, закусили и сидят себе о воровском деле рассуждают.

И вдруг, как зарычит над ними с елки — птица — попугай-птица!

Васька — за лук:

натягивает тугой лук, полагает калену стрелу, пускает в птицу.

Не упала птица с елки, обронила железные ключи.

— Ключи нам и нужны, — подхватил ключи Ванька, — а ты нам вовсе не нужна, лети, куда знаешь!

Вечером вернулись воры с находкой на Фонтанку, поужинали и — на работу.

* * *

В полночь приходят воры к царскому банку:

у калитки крепкий караул дежурит.

— Нельзя ли отворить калитку! — подступил к караулу Ванька.

А стражи человек двадцать и на всякого по ста рублей просят.

Выдал Ванька деньги.

Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась из шара резиновая лестница.

Поднялись они по лестнице, взял Ванька мел-камень, обкружил дыру на крыше — и открылся ход.

— Ты подержи бечевку, а я спущусь, — сказал Ванька приятелю и полез в банк.

И в банке Ванька недолго копошился, отпер попугайным ключом шкап, забрал денег, сколько влезло, и опять на крышу.

Мел на крыше стер — срослась по-старому крыша чисто.

И стали спускаться.

Спустились воры наземь, свернули лестницу в шар, да к калитке.

Пропустила их стража.

И пошли они себе на Фонтанку, делить деньги.

Васька и говорит:

— В Петербурге я вор первый и все сыщики меня уважают, только до этакого дела я своим умом не дошел бы.

— Пойдем завтра, царь банк пополнит, — сказал Ванька.

И опять снарядились воры на работу. Опять в полночь приходят они к царскому банку.

А стра́жа уже другая, ту царь сменил, хитрая, не сдается.

— Без того, — говорят, — мы вас не пустим, по двести рублей надо.

Выдал Ванька деньги.

Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась из шара резиновая лестница.

Поднялись они по лестнице, омелил Ванька круг на крыше — и открылся ход.

— Вчера я, сегодня ты иди, — сказал Ванька и стал спускать приятеля на бечевке в банк.

А уж там догадались и приготовлен был чан с варом.

Ванька бечевку ослабил, Васька туда и попал в этот вар.

И сидит по плечи в вару, никак высвободиться не может.

Видит Ванька, дело плохо, прикрепил бечевку, полез за Васькой.

И так, и сяк, и туда повернет, и сюда повернет, вертел, вертел, — не может снять приятеля.

Взял да и снес ему голову.

Да с головою на крышу, мел стер, бросил лестницу наземь, спустился.

Отворила стра́жа калитку, вышел Ванька на улицу и прямо на Фонтанку к Васькиной хозяйке.

Схохонулась Маруха:

— Где, — говорит, — мой вор, Васька Неменяев?

— Голова его тут, а его самого нету, поминай как звали! — ответил Ванька.

Достал у Марухи Ванька банку с вареньем, умял варенье, Васькину голову в середку всунул, завязал банку, поставил банку в уголок под образа для сохранности и стал ждать, что́ будет.

* * *

А в царском банке о ту пору поднялась тревога:

пошел царь банк проверять и видит, в чану с варом, около шкапа, тулово торчит при часах и цепочке.

Взяло царя раздумье:

«Что это за вор — одно тулово при часах и цепочке?»

И велит царь привести к себе старого вора — сидел на Выборгской в Крестах старый вор Самоваров.

Привели Самоварова к царю из тюрьмы.

Царь говорит Самоварову:

— Что, старый вор, старинный, можешь ты знать, кто ограбил банк?

— Был вор не простой, — ответил старик, — был вор деревенский. Городской вор глупый, он и в вар попал, — его тулово.

— А как бы деревенского вора найти? — спрашивает царь.

— Деревенский вор в Петербурге, — учит старый вор Самоваров, — если он украл деньги, унес он и голову, унес голову, унесет и тулово. Вези ты чан на площадь, прикажи двенадцати генералам караулить тулово, ловить деревенского вора.

* * *

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Повезли тулово на площадь, погнали двенадцать генералов караул держать, ловить деревенского вора.

Три дня стоит чан на Суворовской площади, — в чану тулово при часах и цепочке, круг чана генералы ходят, караулят тулово.

Три дня Ванька околачивается на Суворовской — подступиться нет возможности.

На четвертый день догадался Ванька: покупает Ванька бочку вина и прямиком на площадь.

Подъехал он к тулову да и сковырни бочку наземь, будто нечаянно.

Потекло вино, орет Ванька:

— Пособите, товарищи, поднять, добро пропадет!

Жаль добра, — генералы и давай подымать бочку, всем миром понадсели, да с Божьей помощью и взвалили ее на телегу.

Крепко уморились.

Ванька отблагодарить хочет, цедит вина, потчует генералов.

Сначала-то генералы отпирались, ну, а потом согласились, чтобы только подкрепиться и мужика не обидеть.

Выпили они по одной — зашумело в голове, просят по другой.

Ванька поднес по другой — загудело у них в голове, просят по третьей.

А уж после третьей на разные голоса запели, вот как!

Ванька сейчас бочку наземь, чан с туловом на телегу, да и был таков.

А приятель-то Васька сильно облип весь, в вару-то стоя, обмочалилось его тулово, на чем только часы и цепочка держатся, и узнать нельзя, — одна труха.

Приехал Ванька на Фонтанку, вытащил тулово, будто тушу, омелил у тулова шею, вынул из банки голову, приставил голову к тулову.

И срослась голова по-старому.

Взялся Ванька за попугайные ключи, поднес к Васькиным губам.

И ощерился Васька.

— Ну, — говорит, — чуть не захлебнулся, больно сладко.

Тут на радостях Ванька пустился то да сё, и как Васька в вару завяз, и как на Суворовской площади три дня без головы своим туловом народ пугал и как потом все срослось по-старому.

За рассказом, за беседою выпили.

Васька, знай, все облизывался.

За выпивкой задремали. И пошел храп на всю Фонтанку улицу.

* * *

А на площади, тем временем, поднялась тревога: поехал царь проверять караулы, смотрит, на площади лежат генералы в лежку круг бочки, мертвецки пьяны, — нет ни чана, ни тулова.

Царь вне себя:

— Куда, — говорит, — девалось тулово? На что́, — говорит, — вы поставлены: бочку с вином стеречь? Где тулово? Подать сюда тулово!

Повскакали генералы, — а ноги-то уж не держат! — упали генералы царю в ноги.

— Не вино нас винит, винит нас пьянство. Куда хочешь клади нас, а тулово с варом потеряно, увезено с площади, неизвестно кем!

Велел царь казнить генералов. И опять потребовал к себе с Выборгской старого вора Самоварова.

Привели Самоварова из тюрьмы к царю, поставили перед царем.

— Ну, старый, — спрашивает царь, — рассуди наше дело, как словить вора: приезжал вор на площадь, увез чан с туловом.

— А вот как, — учит старый вор Самоваров, — обряди ты своего именного козла в парчовую одежду, да пошли за караул твоих самых верных телохранителей и пускай они ведут козла на серебряной цепочке по Петербургу: если вор в городе, обдерет он козла, как пить даст.

* * *

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Обрядили в парчу именного козла, повели козла царские телохранители на серебряной цепочке по Петербургу.

Ведут козла по Невскому, а вор Ванька навстречу, кланяется:

— Пожалуйте, — говорит, — ко мне на Фонтанку, жена у меня Маруха именинница, охота ей именного козла посмотреть в день ангела, глупая баба, осчастливьте, сделайте милость!

«Уж не это ли сам вор деревенский?» — думают себе телохранители.

И повернули козла на Фонтанку, да с козлом к Ваньке, будто в гости.

А Ванька и говорит:

— Что это вы скотину-то понапрасну мучаете; поставьте-ка козла в сарай, у нас во дворе сарай теплый.

Упираются телохранители: боятся козла из рук выпустить.

Да раздумались:

«Что, в самом деле, скотину понапрасну мучить, козла не убудет, а вор от нас не уйдет, скот надо миловать!»

И поставили телохранители козла в сарай, сарай на замок замкнули, ключ главному на эполету повесили.

Тут давай Ванька угощать гостей:

и подарки-то им подносит и вином-то их поит
и словами улещает.

А как размякли гости, оставил их Ванька на Ваську — пускай зубоскалят, — а сам будто в квасную за папиросами.

И пока зубоскалил приятель с телохранителями, прибежал Ванька к сараю, отпер попугайным ключом теплый сарай, ободрал козла догола, придушил козла да на кухню.

И подносит гостям на блюде именную козлятину, вареньем обложена:

— Покушайте, любезные гости, козлятины, самая свежая!

Едят гости именную козлятину, брусничным вареньем закусывают, а сами себе думают:

«Ну, уж теперь вору не уйти от нас, он самый и есть вор деревенский, попался голубчик!»

Да на радостях и приналегли на козлятину, да на радостях и расхвастались:

кто что́, да кто ка́к, и о всяких знаках отличия.

Пришло время прощаться, расходиться пора, о козле они и не спрашивают, вышли вон на улицу, да на Ванькиных воротах мелом и написали:

Мы тут были, козлятину ели.

А Ванька выждал немного, да за ними по их следу, письмо их стер на воротах, да где попало, в местах десяти, ту же надпись и написал:

Мы тут были, козлятину ели.

А во дворце, тем временем, поднялась тревога: явились к царю телохранители — козла нет.

Говорят телохранители:

— Мы вора поймали! — и ну хвастать.

Царь сейчас в коляску.

Выехал царь на Фонтанку.

Едет царь по Фонтанке, туда посмотрит, сюда посмотрит, — на одном доме надпись и на другом надпись и на третьем и на десятом и все одно и то же мелом написано:

Мы тут были, козлятину ели.

Повернул царь коляску, махнул рукою:

— Козлятина, — говорит, — козлятина одна!

И пока там новый караул снаряжали ловить деревенского вора, Ванька с Васькой зря на Фонтанке не торчали, глаз не мозолили, а взяли чухонскую телегу, забрали золото, серебро и распростились с Петербургом.

* * *

Стал белый, светлый день, как приехали воры к морю.

Лошадь и телегу воры продали, купили пароход, сели на пароход и поплыли тихо и смирно в иностранные земли.

Приезжают воры к иностранному королю Молокиту.

А у того короля Молокиты была дочь царевна Чайна-прекрасная.

И влюбился Васька в Чайну-царевну. Посылает Васька сватов к королю.

Чайне люб Васька, а король Молокита не хочет:

— Выстрой, — говорит, — русскую церковь в трое суток, тогда и бери Чайну, а не то голову долой.

А Ваське что: ему Ванька поможет, Ванька к этому делу привычен, Ванька — деревенский.

И взялся Васька в трое суток русскую церковь строить.

День Ванька строит — выше окон,
другой строит — вывел к потолку,
на третьи сутки накрыли всю крышу.

— Принимайте, собор готов, — говорит Васька королю Молокиту.

И точно, — видит король, собор построен, от слова не отпирается.

И при освящении собора Ваську с царевной и повенчали.

Велел король Молокита нагрузить им двенадцать кораблей, и с дарами отправил их в море.

И пали им попутные ветры — приятная погода.

Целы и невредимы вернулись они в Петербург.

Целую неделю выгружали корабли, да неделю пир пировали.

После пира стал вор Ванька прощаться с приятелем, а прощаясь, раскрыл ему свою тайность:

он и есть тот самый покойник, которого на Миллионной в гробу дубинками били — вор Ванька.

— Пожалел ты меня, выкупил, послужил и я тебе верою, правдою и неизменою! — сказал вор Ванька.

И пошел себе, ничего не взял, только попугайные ключи да мел-камень, а все золото, серебро оставил приятелю.

И остался Васька Неменяев с своей молодой женой вдвоем без приятеля, и стали жить по-хорошему при всей обличности и удовольствии.

Собачий хвост

Была такая деревня не мала, не велика — четыре двора.

В трех дворах жили мужики семейные с женами да со скотом, а в четвертом мужик один — бобыль Зот.

Была у бобыля Зота лошадь, корова и собака.

И так себе бобыль — мужичонка ледащий, вида никакого, а чем-то вышел таким: уйдут семейные куда, а он к их женам да так всем угождает — изодрались из-за него бабы — кривые ходят.

Приметили мужики, стали на бобыля дуться.

— И как это ты живешь, горемыка!.. мы себе промышляем-трудимся, а ты палец-о-палец не стукнешь, а все живешь?

— А вы что на меня глядите: я говорить умею!

И вправду, не обидел Бог бобыля словом:

такого говоруна в Москве не сыщешь, скот неразумный уши развесит, как пойдет, бывало, Зот языком чесать.

Стакнулись мужики, убили у Зота кобылу.

И не на чем уж Зоту дров привезти.

— Как это ты живешь, — говорят, — у тебя и лошади нет?

— А вы что на меня глядите: я говорить умею!

Утром выйдет Зот на крыльцо, будто проветриться, а бабы уж по охапке дров ему тащут.

Так и топит.

Стакнулись мужики, убили у Зота корову.

А Зоту что́ корова? — Зоту, что зверю, был бы хвост цел, — молока да масла, всего от баб будет.

— Как это ты живешь, горемыка, ни кобылы, ни коровы нет?

— А вы что на меня глядите: я говорить умею!

Стакнулись мужики, убили у Зота собаку.

На-тка, поговори теперь! Без собаки в дому, что без замка дверь — ворам ход: пожалуйте!

А Зоту хоть бы что, — мудрёная голова, принялся за кожи.

Высушил, выделал кожи и сшил себе балахон поверх шерстью:

перед коровий, зад кобылий, а хвост собачий.

Обрядился Зот, присел на лавку, посидел-подумал, и пошел себе в город просить милостыню.

* * *

Собачий хвост! — пошла про Зота слава.

Начали-то ребятишки, подхватили большие — таков уж человек:

где ему сдачи не дай, там он язык покажет.

Зот на Собачий хвост откликался:

не драться же лезть, коли в животе пусто, и не на такое еще откликнешься!

Вот зашел Зот в дом к одному купцу, — богатый был купец Генералов: сахаром торговал.

Купца-то дома не оказалось, — за покупками отлучился.

А была у купца жена и сидел у нее о ту пору друг в гостях.

Собачьего хвоста они не стесняются, а Собачий хвост и сам бывал в таком, видал виды, ему это дело известно.

И надо же такому случиться, нагрянул хозяин домой.

Друг хозяйкин испугался, мечется, как шпареная крыса.

— А я-то теперь куда? — знай, лопочет.

— А ты иди в погреб, — не потерялась хозяйка.

Уж не только в погреб, он и в трубу полез бы — в горшок полезешь!

А Собачий хвост слушал, слушал да и говорит:

— Когда его в погреб, так и я в погреб.

— Что ты, — поднялась было хозяйка, — с ума спятил: ты-то зачем?

— Не то я хозяину скажу, — уперся Собачий хвост.

Не время было бобы разводить.

И спустила хозяйка обоих в погреб.

* * *

А купец-то Генералов не один нагрянул, а с товарищами, — все купцы, все важные да богатые.

Набралось полон дом гостей, стали пировать.

Ну хозяйка тут и вина им и закусок.

Пошла хозяйка в погреб за вином, собрала для гостей кулек, да и сунула приятелю-то своему бутылку, которая получше.

А у приятеля губа не дура, налил стаканчик да и выпил, налил другой и другой выпил.

Собачий хвост терпел, терпел, инда слюна потекла.

— Как так? — цап приятеля за полу.

— Что такое?

— А у нас не так.

— А как? — а сам, знай себе, выпивает.

— Один стакан выпьют, другой товарищу подают. Нет, этак я выйду, да хозяину скажу.

Оробел приятель.

И стал все исполнять, что Собачий хвост хочет: один стакан выпьет, другой товарищу подает.

Допили бутылку, хозяйка другую сунула, не хуже той.

Распивают и другую бутылку.

* * *

А в доме разгулялись гости, развезло, стали песни петь.

Услыхал Собачий хвост и туда же, — затянул в погребе свою песню.

— Что ты, глупый, — унимает приятель, — зачем поешь?

— А мы что здесь, не вино пьем, что ли? Там поют, а нам и не петь?

— Перестань, не пой! — просит приятель.

— А давай платье на платье менять, так и перестану.

Оробел приятель, готов все исполнить.

Сменили они платье на платье.

Сидят. Приходит опять хозяйка в погреб.

Зот — к хозяйке:

— Нельзя ли, — говорит, — меня отсюда выпустить?

— Что же можно, народ захмелел, пройдешь, не заметят.

Хозяйка и выпустила Зота.

* * *

Вышел Зот на улицу, походил, поразмялся, да опять в дом к купцу.

Все, как водится, образам помолился, поздравил с пиром, с беседою.

— Хорош ваш пир, хороша беседа, только в доме есть несчастье.

— Что такое? — вскочил хозяин.

Полезли и гости, ну расспрашивать.

— А вот в доме у вас завелось вроде черта — нежить. Эту нежить, если бы выжить, так сразу надо выжить, а сразу не выживешь, то ее веки не выжить.

— А кто это может?

— Я.

— А много ль возьмешь?

— С хозяина сто рублей, с гостей кто сколько. И так я эту нежить выживу, что все вы увидите, как она из дому выйдет.

Согласился хозяин.

А гости говорят:

— Если мы все увидим собственными глазами твою нежить, мы тебе по сотне дадим.

— Теперь нужно нежити дорогу дать, — говорит Зот, — чтобы ни рукою, ни ногою не задеть ее, не то вовеки из дому не выживешь.

И стал Зот ходить по дому да искать черта.

Ищет в одной кладовой, ищет в другой и все кладовые обыскал, найти ничего не мог.

— Ну, хозяин, нежити в доме найти не могу! У тебя еще какие-нибудь кладовые есть?

Подумал, подумал хозяин:

— Больше нет кладовых, разве погреб? В погребе не искали! — говорит хозяин.

— Что же ты мне сразу-то о погребе не сказал? Эта нежить боле в погребах и проживает.

И пошел Зот в погреб и говорит приятелю:

— Ты, приятель, беги прямо в свой дом, никуда не заворачивай да поминай Собачий хвост вовеки!

А сам взял помело да сзади с помелом.

Ну, приятель-то как выскочил в Зотовом балахоне — другой пьяный с перепуга пошатнулся да и упал, а который и в рассудке был, последнего лишился.

И гнал Зот приятеля до самого его дому.

И когда уж всякий след пропал, вернулся Зот опять к купцу.

Купец за угощенье.

— Угощенье-то никуда не уйдет, — говорит Зот, — наперво надо рассчитаться.

— Молодец! — благодарит хозяин, — сулил я тебе сто рублей, а когда ты этого черта выгнал, получай двести.

Гости тоже, ей Богу, по двести дали, — так и отсчитали серебряными рублями.

Сгреб Зот деньги, купил себе тройку, нанял кучера, распростился и покатил домой в деревню.

* * *

Приезжает Зот домой в деревню, услышали соседи, пришли смотреть Зота.

— Как это ты, горемыка, скоро богатство нажил?

— А ведь я вам сказывал, что говорить умею! Вот у меня было три кожи: одна кобылья, другая коровья, третья собачья. Эти кожи я обделал, сшил балахон поверх шерстью: перед коровий, зад кобылий, хвост собачий, — и понес балахон в город. А нынче такую моду взяли — все такие балахоны носят. За него я кучу денег сгреб.

Соседи на ус намотали и стали убивать свой скот да изготовлять из шкур балахоны. И только всего по одной корове и по одной лошади оставили себе.

Нашили балахонов много, повезли возы в город.

Приехали они в город да прямо на толкун, развесили рядами, стали торговать.

А народ ходит зевает:

— Что у вас, крещеные?

— Ослепли, что ли, — говорят мужики в один голос, — не видите? Одежда!

— Да вы с ума сошли, какой дурак чучелой-то рядится?!

Идет наряд городовых с обходом.

— Это у вас что?

— Одежда.

— Да вы что? Холеру, что ли, разводите? Забрать их в участок!

И забрали мужиков в участок, а шкуры отобрали.

Мужики и так и сяк, едва откупились, и в трактир не зашли, прямо домой в деревню.

Вернулись мужики в деревню, да всем миром на Зота.

— Обманул ты нас, окаянный, насказал, будто такие балахоны покупают... окаянный!

— А ведь я вам сказывал, что говорить умею! Я один балахон продал, — мода такая была, и балахон купили, а вы сразу возами их навезли, ну и не стали брать.

Мужики совсем разорились, ушли мужики на заработки — в работу нанялись.

А Зот в деревне остался.

Зот живет бобылем, таскается из дома в дом, всем угождает, весел — таковский! — хвост собачий.

Барма

Жил-был старик со старухой. Старик сапоги точал, старуха белье мыла. Жили они хорошо, в душу, а детей у них не было.

Затужили старики — как быть? — помирать пора.

Думали, думали, да и надумали.

Взяли старики к себе в дом мальчишку-подкидыша.

Подрастал мальчонка шустрый да проворный, хоть куда, — всему миру на диво.

И затейник гораздый: рожицу скорчит, словцо скажет — с хохоту животы надорвут.

Мальчонку Бармой звали.

Одна беда — на руку не чист:

из под носа стянет, — не успеешь и облизнуться.

У старухи стало белье пропадать, у старика ножички, пилочки, — постоянная недохватка.

Измаялись старики.

Били они мальчонку, наставляли и чего-чего только ни делали:

ничем не проймешь.

* * *

Как-то сидели старики вечерком, пошабашали: старуха рубаху чинила, старик бороду поглаживал, а Барма свернулся на печке, только посвистывает.

И входит к ним молодец ражий такой, здоровенный. На ночлег просится.

Усадили старики гостя, стали гостя расспрашивать:

— Куда, молодец, путь держишь и по какой надобности?

— К царю воровать, — отвечал гость.

— Как так к царю воровать?

— Да так воровать.

Выронила старуха иглу с перепугу, призадумался старик.

А гость только ус покручивает.

— Слушай, милый человек, — заговорил старик, — живет у нас мальчонка, Бармой прозывается, мочи нам не стало, измаялись мы со старухою: как пир собирать, некуда Барму девать. Тащит все из-под носу. Возьми ты его, ослобони нас, вечно будем Бога молить!

— Отчего не взять, можно.

Разбудили Барму. Снарядили Барму. Забрал Барма пилочки и ножички, да в путь, — прощайте!

* * *

Идут они лесом.

Молодец, что ни шаг — семь верст отмахивает.

Да и Барма не дает маху, — тощенький, юркенький, только носом покручивает.

Рассказывал молодец про свою науку и про всякие ловкости воровские.

Так и шли.

Вот видят они, дерево стоит огромадное, верхушкою прямо в звезду.

— Хочешь, Барма, — говорит молодец, — я тебе свое искусство покажу, а после ты мне свое покажешь?

— Хочу, дяденька!

— Видишь дерево?

— Вижу, дяденька!

— А гнездо видишь?

— Вижу, дяденька!

— А птичку видишь?

— Вижу, дяденька!

— Так вот я сейчас влезу на это самое дерево и выну из-под этой птицы яички, и птица не заметит.

Полез молодец на дерево, а Барма пустился подсаживать.

И не прошло минуты, жулик на земле был.

— Видишь? — спрашивает Барму.

— Вижу, дяденька.

— Да что видишь-то?

— Яички, дяденька.

Жулик подбоченился: ловко, мол, состряпал!

— А вы, дяденька, сапоги видите?

— Сапоги?! — вижу...

— А подошвы на сапогах видите?

Тут жулик задрал ногу. Повел глазом... сапог сапогом, только подошвы срезаны.

— Это я вам, дяденька, как на дерево вы лезли, я вам подошву и срезал.

— Ну, из тебя человек выйдет, — сказал жулик.

И снова тронулись в путь.

— А как, дяденька, к царю пройти? — допытывался Барма.

— Плевое дело к царю пройти, — толковал жулик, — пойдешь все прямо, завернешь влево, потом опять влево, потом в закоулок и прямиком в царский сад упрешься.

И опять стал рассказывать про свою науку и про всякие хитрости воровские.

Так прошли они лес, в другой вступили.

Жулик сбросил поддёвку, сказал Барме:

— Ты покарауль меня, а я малость сосну.

И растянулся под деревом.

— Слушаю, дяденька! — стал на караул Барма.

Но только что жулик завел глаза, Барма ошарил его, взял себе чего поспособнее, да дралá.

* * *

Прошел Барма и другой лес, прошел Барма и третий лес, прошел острог, прошел кабак и прямо в садовую решетку стукнулся.

А решетка высокая да тесная, пальца не просунешь.

Скинул Барма одежонку, да юрк меж прутьев и прямо в царский сад.

А царь тут-как-тут, — идет царь по дорожке, яблоко кушает.

Мундир у царя горит, как жар, золотые штаны с бриллиантовыми пуговицами так и светятся.

— Чей ты? — крикнул царь.

— Вашего царского величества верноподданный Барма.

— Зачем сюда попал, а?

— К вашему величеству воровать.

— Ах, ты... такой-сякой!

Царь хотел схватить Барму, да шагу не сделал — штаны золотые трах — наземь.

А Барма с пуговицами бежать, — его и след простыл: оттяпал-таки, мошенник, бриллиантовые.

Вот он Барма какой!

Вор Мамыка

У старика и старухи никого не было, один был внук Мамыка. Мамыка — парнишка шустрый, проворный. Старики внука очень любили.

Узнал Мамыка, что у деда есть деньги, — пристал Мамыка к деду:

— Дай, дедушка, мне денег!

— А для чего они тебе, ро́дный?

— Дай, дедушка, мне денег на торговлю!

Дед и так и сяк, — какая уж там торговля, как бы хуже не вышло! — и денег старику жалко, и отказать не может.

Вступилась старуха:

— Чего, — говорит, — жалеешь, дай ему, авось Бог поможет, родное ведь наше, а нам помирать впору.

Подумал дед, подумал и дал внуку денег.

Забрал Мамыка дедовы деньги и, прощай, ушел в город.

Да ничего по уму прибрать не мог из товара, и купил два сапога козловых.

С сапогами и пошел домой опять к деду.

* * *

Шел Мамыка домой, подшвыривал камушки по дороге, песни пел, а устал, присел отдохнуть в канаву.

Сидит Мамыка в канаве, на дорогу глазеет.

А по дороге царские слуги идут, быка ведут.

«Вот бы такого бычка деду, нет у деда никакой скотины!» — смекнул себе Мамыка.

Скрылись царские слуги и бык с ними.

Вылез Мамыка из канавы, обежал сторонкой, бросил сапог на дорогу, сам схоронился и стал поджидать.

Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге.

— Эх, товарищ, — говорит один — сапог козловый на дороге!

— Никуда́ нам с одним сапогом! — говорит другой.

И пошли себе дальше, повели быка в город.

Тут Мамыка подобрал свой сапог, да мимо царских слуг, обогнал их сторонкой, бросил опять сапог на дорогу, сам схоронился, поджидает.

Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге.

— Вот и другой сапог, — говорит один, — взять бы нам и тот, пара б сапогов была.

— Пойдем назад, — говорит другой, — захватим, авось не убежит.

Оставили царские слуги царского быка, пошли назад прежний Мамыкин сапог искать.

Тут Мамыка, долго не думая, за быка, да другой дорогой с быком домой к деду.

А царские слуги дошли до того самого места, где сапог Мамыкин лежал, а сапога-то уж нет.

Поискали они, поискали, да с пустыми руками назад к быку, а там и быка нет, всего один сапог лежит Мамыкин.

Куда им с одним сапогом?

— Как мы теперь к царю на глаза покажемся: и быка кончили и сапог один!

Подобрали царские слуги Мамыкин сапог, и без царского быка с сапогом пошли к царю.

— Вот, — говорят, — вам сапог, а быка потеряли. Увел быка неизвестно кто.

Примерил царь сапог, — хорош и сидит хорошо и в пальцах не жмет, да об одном сапоге далеко не уйдешь, да и быка нет.

Ну, по сапогу стали искать и дознались, что сапог Мамыкин, и увел быка Мамыка.

И посылает царь к деду, требует к себе старика.

Пришел старик, кланяется.

— Здравствуйте, государь батюшка.

— А много ль у тебя семьи, дедушка? — спрашивает царь.

— Один внук, батюшка, один единственный, Мамыкой звать.

— А не украл ли твой Мамыка у царя быка?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого намедни пригнал, едва во дворик прошел.

— Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка украдет у царя коня, а не украдет, казнь ему!

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Скручинился, спечалился старик:

легкое ли дело у царя коня украсть!

А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, — охает дед, — наделал ты дел!

— Чего, дедушка, ну, чего, дедушка?

Унимает парнишка, шустрый такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь своего коня украсть, не то тебе казнь.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится.

Смеется парнишка, проворный такой, Мамыка.

* * *

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи потащился в город и прямо ко дворцу.

Царя во дворце не было, в Сенате сидел царь, законы сочинял.

А Мамыке это на руку, проник Мамыка в царские покои, обрядился в царское платье, да в царском-то платье на крыльцо.

— Эй, — кричит, — коня! коня давайте, в сады поезжаю гулять!

Засуетились слуги, забегали и сейчас коня ему подали, — спросонья за царя признали, обознались!

Сел Мамыка на царского коня и домой к деду.

Приехал Мамыка к деду, кричит старику:

— Отворяй, дедушка, ворота! — смеется.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил коня.

— Слава Богу, спас Господь от беды! — плачет старик: рад очень, что с конем-то внук, царского коня украл.

Вернулся царь из Сената, велит коня подать — в сады ехать, а коня его царского нет-как-нет, укатил на его коне неизвестно кто.

«Это, верно, Мамыка, некому больше, вор Мамыка!» — раздумался царь.

* * *

И посылает наутро царь к деду, требует к себе старика.

Пришел старик, кланяется.

Поздоровался царь с дедом и говорит:

— А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя коня?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого пригнал, едва в домишко прошел.

— Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка из-под царя перину украдет, тогда я прощу, а не то ему казнь!

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Скручинился, спечалился старик:

легкое ли дело из-под царя царскую перину украсть!

А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, жизнь свою решишь!

— Да чего, дедушка, чего ты?

Унимает парнишка, проворный такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь царскую перину из-под себя украсть, не украдешь, — дело плохо.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится.

Смеется парнишка, хитрый такой, Мамыка.

* * *

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночь потащился в город и прямо на кладбище.

И там, на кладбище, он отыскал свежую могилу, разрыл могилу, достал покойника из гроба, посадил покойника на кол и понес на плече ко дворцу, к тем самым покоям, где царь ночует.

Стал Мамыка перед царскими окнами и ну вертеть покойником.

Царь не спал, и не ложился, поджидал царь Мамыку:

придет вор царскую перину из-под него красть, тут он его и словит.

И как увидел царь, что ровно человек в окно лезет, скорее за ружье да из ружья в окно и выстрелил.

— Ну, — говорит царь царице, — подстрелил я Мамыку, не встать больше вору, можно будет спокойно выспаться.

А Мамыка подстреленного покойника бросил да по задним ходам залез в царские покои, отыскал там квашонку с белым раствором, прокрался к самому царю, да тихонько раствор этот белый между царем и царицей в середку и полил, а сам в темный угол, присел на корточки, ждет.

Спал царь крепко, а проснулся да со сна прямо рукой в это тесто.

«Эка, грех-то какой, все себе пальцы измазал!»

Крикнул царь слуг, всех слуг разбудил.

— Снимай перину, стели новую!

А царские слуги подскочили, тычутся, нежными голосами так и ластятся:

— Пожалуйста, сейчас! сейчас!

И сейчас же свежая перина готова, ту замаранную сняли, постелили новую.

И заснул царь.

* * *

А как заснул царь, вышел Мамыка из темного угла, подхватил старую запачканную перину да в окошко, спихнул перину на улицу да и сам за ней туда же, взвалил ее на плечи, понес домой к деду.

— Отворяй, дедушка, ворота! — громыхает Мамыка в ворота.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку с царской периной.

— Слава Тебе, Господи, миновала беда! — плачет старик: рад очень, что с периной-то внук, царскую перину украл.

Наутро, как проснулся царь, и первым делом о перине:

— Где замаранная перина?

А где замаранная перина? — туда-сюда, никто не знает, нет нигде перины и искать негде.

Заглянул царь в окно, а там, на улице под окошком покойник на колу, — лежит покойник простреленный и нет никакого Мамыки.

* * *

Шлет царь за стариком дедом.

Пришел старик, кланяется.

Поздоровался царь с дедом и говорит:

— А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя перину?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую приволок, едва в угол запихал.

— Хитер у тебя внук, — сказал царь, — пускай же Мамыка у царя царицу украдет, а не то голову на плаху, жизни решу.

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Еще больше скручинился старик, еще больше спечалился, пути перед собой не видит:

легкое ли дело у царя царицу украсть!

А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, пропали мы с тобой!

— Чего, дедушка, ну, чего, дедушка?

Унимает парнишка, хитрый такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь царицу украсть, не украдешь, голову на плаху.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится!

Смеется парнишка, смекалистый такой, Мамыка.

* * *

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночь заложил царского коня в санки и помчался прямо во дворец.

Царя во дворце не было, в Синоде сидел царь, приказы давал.

А Мамыке только того и надо.

Кличет Мамыка царских слуг, будто царь за царицей прислал.

— Требует царь царицу в сады гулять, немедленно!

Доложили царские слуги царице.

Оделась царица, вышла на крыльцо, видит, конь царский, да и села в санки к Мамыке.

И помчал царицу вор Мамыка да не в Синод к царю, а к себе, к своему деду.

— Отворяй, дедушка, ворота! — кричит вор Мамыка.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку, впустил с Мамыкой и царицу.

— Слава Богу, услышал Господь, спас! — плачет старик: рад очень, что с царицей-то внук, царицу украл.

И царица плачет: страшно ей вора Мамыку, жалко ей деда.

Вернулся царь из Синода, спрашивает царицу.

— Нет царицы, — отвечают царские слуги, — поехала царица в сады гулять, сам ты и послал за ней.

— Когда посылал? — ничего царь понять не может.

— Да из Синода, — говорят царю слуги.

— Как так?

— Да так.

Никто ничего толком не знает, друг на дружку валят.

«Это все вор Мамыка!» — раздумался царь.

* * *

И велит царь привести старика деда.

Бросились за дедом, привели старика.

Усадил царь старика и говорит:

— А не украл ли твой Мамыка у царя царицу?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую краса́вую в дом привел, такую барыню.

— Хорош твой внук, дедушка, — сказал царь, шустер парень, проворен, смекалист! Пускай же он все наворованное царю представит: быка, коня, перину и нашу царицу. Все дела ему прощаем, всю вину снимем, получит награду.

Побежал старый дед домой.

А уж Мамыка ему навстречу, а с Мамыкой царский бык, царский конь, царская перина и сама царица.

И остался Мамыка у царя.

Подчистил Мамыка царских слуг ротозеев, всех воров переловил, а деду, старику своему, у царя звезду выхлопотал, и звезду, и коня, и коровушку, чтобы жил старик покойно.

НЕЧИСТЬ



Леший



Леший живет в лесу, — леший живет в большой избе.

Изба у него кожами укрыта, теплая.

Леший не старик старый, какой старик! — леший молодой, и ни усов еловых, ни бороды осочьей у него нету.

Желтый зипун на нем, красная теплая шапка.

А жена его — лешачка.

А дети — лешата.

Полное хозяйство.

Был такой Афоныга, неладный, все бродил по лесу, *лешней* жил.

Вот идет Афоныга лесом, дошел до болота — топучее болото — и видит, увяз леший в болоте, да и олень, да и медведь с ним.

Не больно речист леший, а как заговорил!

— Иди, — говорит, — Афоныга к моей хозяйке, да скажи ей, на большом, мол, болоте со зверем сохатым, да с медведем Мишей утоп!

И дорогу кажет Афоныге, куда идти ему к лешачке.

* * *

Пошел Афоныга, пошел, как указал леший, и прямо к большой избе.

Входит Афоныга в избу.

Сидит лешачка на лавке.

— Зачем пришел, Афоныга? — говорит лешачка, баба молодая, белая, глаза с поволокой.

Афоныга ей о лешем, о сохатом, о медведе Мише.

— На большом болоте утоп!

— Ну, ладно!

Бросила лешачка Афоныгу, да из избы, да скорее к большому болоту.

* * *

Ждать не долго ждал Афоныга, а страху натерпелся не мало: одолели Афоныгу лешата — цепляются, курлычут, хватают, ну, ничем не отобьешься, ни шлепком, ни подшлепником.

И вернулась лешачка, несет медведя Мишу, — баба молодая, белая, глаза с поволокой.

А за лешачкой сам леший с оленем.

На славу угостили гостя.

Леший указал дорогу и на прощанье отодрал рукав от своего кафтана и дал его Афоныге.

А Афоныга, домой вернувшись, сшил себе из рукава кафтан — кафтан до пят, да рукавицы.

Водяной

Водяной живет в озере, там у него и дом под камнем.

Водяной, не очень великий, даже маленький, черноватый, на черта похож, а ус у него рыжий.

Жена его из русалок — водяниха, Палагеей звать, Поля.

А ребятишки — водяники, вроде чертенят, только что на пальцах перепонка.

Держит водяной много коров бурых, — большое хозяйство.

За большим болотом на круглом озере остров.

И не раз видали, как из воды на остров выходили коровы и траву щипали.

Видали и самого водяного: сядет себе на камень и сидит, медным гребнем расчесывает свои крепкие лохма.

* * *

Ходил по лесу Афоныга — Афоныге что и делать, как в лесу бродить! — и зашел Афоныга к круглому озеру за большое болото, уморился, прилег на траву отдохнуть, да и заснул.

А как проснулся, и видит: четыре бурых коровы на острове пасутся.

Положил Афоныга на себя крест, да прямо на этих коров —

И только что ухватить корову наметил, из воды как свиснет — озеро заволновалось, и коровы в воду.

Ну, Афоныга не больно испугался, не сплошал и как-никак, а двух коров перенять ухитрился, и пригнал домой к себе в лес.

И долго жили у Афоныги эти коровы, по два ведра в день молока давали, вот какие коровы!

Разбогател Афоныга, разбурел, опился молоком сладким, пьет — не лезет, и уж бродить по лесу не может, совесть и заговорила.

* * *

Стало беспокойно Афоныге:

все не так, все не так как-то, не по-настоящему, не по правде.

И вздумал Афоныга этих коров зарезать.

И зарезал.

Ввечеру зарезал, а наутро хвать, ни мяса, ни шкур, и мясо и шкуры украл кто-то, нет ничего.

Досадно стало Афоныге — ни молока ему, ни коров, ни мяса ему, ни шкур коровьих, — ничего.

Как не досадно!

Думал Афоныга, думал и подал в суд: на соседа думал — вороватый такой сосед жил Мамыка.

И пока Афоныгино дело в суде тянулось, подошла осень, а у Афоныги не выходят из головы коровы, не может забыть коров:

нет-нет да и вспомнятся они ему, бурые, сытые — два ведра в день молока давали!

* * *

Сидит раз Афоныга вечером, раздумывает, и все о коровах, а на воле так и шумит и шумит — осень.

И слышит, стучит кто-то.

Афоныга к воротам, отворил калитку, и видит:

так не очень великий, даже маленький, черноватый такой, ус рыжий, в коротком камзоле, а шляпа соломенная, стоит у ворот, на Афоныгу смотрит.

— Напрасно, — говорит, — ты, Афоныга, из-за коровьих кож с соседом тягаться вздумал — кожи я взял!

Сказал и пошел, ходко пошел к озеру.

Афоныга его сейчас же признал, — водяной, конечно! — и помирился с соседом, прекратил тяжбу с Мамыкой.

И по-старому, по-прежнему в лесу бродит, л е ш н е й живет.

Черт

Жил богатый человек и была ему во всех его делах большая удача:

стоило только подумать, пожелать чего, хвать и исполнится.

Сам не понимал Никанор, откуда ему идет такое.

И чем дальше, тем больше.

И чем дальше, тем больше чувствовал он, как с другого конца другим ветром приносило ему совсем другое — недоброе.

Спервоначала-то, как пошло дело в ход, думал Никанор только о деле, о торговле своей, а когда стало много всего, накопил он бочку золота — целую бочку! — и дела уж сами собой пошли, мысли повернули совсем на другое:

думаться стало ему, — узнают люди о золоте, о его бочке и отымут.

И не стало ему покою: спать ляжет, не спится, а заснет, сны нехорошие.

Ровно бы что-то сделать ему надо, и тогда опять придет покой и пойдет жизнь прежняя, по-старому в делах и без всякого, но какое дело это сделать надо, Никанор в ум не возьмет.

Большой был богач Никанор, громкий человек. И бочка золота под кроватью, и пьет и ест до отвалу, и почет везде, а покоя нет —

у последнего бродяги больше, и голи-пьянице кабацкой позавидуешь!

* * *

Раз лежит Никанор ночью, не спится, и слышит, будто кто-то постучал под окном.

Встал, подошел он к окну, окликнул —

никто не отвечает.

Ну, не отвечает, так и не отвечает, и опять лег.

И только что глаза завел, опять стук.

Окликнул —

нет никого.

И вдруг стало страшно:

это воры хотят ограбить его!

Снял он со стены ружье, зарядил пулей и притаился у окна.

И когда в третий раз застучало под окном, Никанор открыл окно и выстрелил.

Выстрелил и похолодел весь:

там, под окном, лохматая рука с птичьими когтями сжала ставень.

Никанор за нож, отрезать хотел чертову руку, а нож выпал из рук —

прямо из ночи глядели на него огромные оловянные глаза и щерилось изрытое темное лицо.

— Иди за мной! — сказал черт.

* * *

Делать нечего, вышел Никанор.

Черт схватил его за левую руку, и они пошли прямо к реке.

Страх подкашивает ноги, а черт тянет за собой —

и убежал бы, не убежишь, от черта не вырвешься.

Пришли к реке, черт и говорит:

— Ты, Никанор, бочку золота накопил, отдай ее мне. Я тебе помогал!

Смотрит Никанор на черта, — вот обомрет.

— А не отдашь, я тебя в воду брошу. Слышишь?

— Слушаю.

Никанор на все соглашался.

— Так, смотри ж, завтра приду, — и черт нырнул в воду.

* * *

Не помнит Никанор, как домой попал.

Не помнит, как прошел день.

Ночью не ложился он спать, черта ждал.

И в полночь застучало под окном.

Взял Никанор бочку, вынес черту бочку.

Черт взвалил ее на плечо, и они пошли.

*

Черт идет, с чертом Никанор идет.

Страх подкашивает ноги, а черт тянет за собой —

и убежал бы, не убежишь, от черта не вырвешься.

Дошли они до реки, спустился черт в реку, вытащил железные цепи, обмотал бочку, спустил ее в воду и сам скрылся под водою, и опять вынырнул, горсть золота подал Никанору.

— Это тебе за твою верность мне, да смотри, не болтай!

И пропал.

* * *

А Никанор вернулся домой и запил с горя.

Большой был богач Никанор, громкий человек.

А стал попивать, стало дело расстраиваться.

Не будь чертовой горсти, чтó черт дал, промотал бы все добро.

В Васильев вечер сидел Никанор с пьяницей приятелем в кабаке.

Разжалобил его приятель, тут Никанор ему по пьяному делу и пожаловался, забыл зарок, все рассказал.

Идут они из кабака, а навстречу им старичок, знакомый будто, зовет старичок в гости.

Отчего не пройти, — пьяному глазу дорога не заказана, пошли приятели.

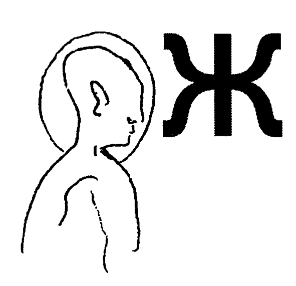
И долго вел их старичок, все в сугроб да в сугроб, — не легко идти.

Никанорова приятеля и разморило, зевнул он, перекрестился и видит, — стоит он над прорубью, а Никанор уж в проруби — с головой влез, и никакого нет старичка знакомого.

Так и пропал Никанор.

НЕЖИТЬ

Лигостай страшный



Жил-был добрый человек, и Бога чтил, и людей не забывал:

Богу — свечка, бедным людям — хлеб.

И жил так добрый человек с женою и сыном, не роптал.

И вот померла жена, заскучал старик без хозяйки, стал прихварывать и почувствовал, что его конец приходит.

Говорит старик сыну:

— Нечего мне тебе оставить, нет у меня ничего: что зарабатывал — все проживали. А вот как помирать твоей матери, пекла она калач, калач подгорел, но я его сберег, — оставлю тебе горелый калач. Съешь ты его с тем моим другом, который никакой с к у п ы не берет.

Помер добрый человек, похоронил сын отца.

Какие оставались деньги, все на похороны пошло. И уж ничего в доме нет, хоть шаром покати, а есть хочется.

Вспомнил тут Сергей об отцовском наследстве — о калаче, отыскал горелый калач, хочет его закусить, да слова отца стали в памяти:

съесть калач с тем другом его, который прибыли себе не берет!

Положил калач за пазуху и пошел отцова друга искать.

* * *

Идет Сергей по дороге.

И встречается ему старичок белый, седáтый.

— Куда, — говорит, — молодец, Бог несет?

— Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет.

И рассказал Сергей старику об отцовском горелом калаче.

— Я отцов друг.

Посмотрел Сергей на отцова друга:

старичок бел седатый, с церковкою в руке.

— Нет, ты Никола угодник!

Поклонился угоднику можайскому и дальше пошел.

* * *

Идет Сергей по дороге.

И едет навстречу ему всадник на белом о белых крыльях коне, золото так и играет.

Испугался Сергей, хочет в сторону свернуть.

А всадник кричит:

— Куда, молодец, Бог несет?

— Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет.

И сказал Сергей всаднику об отцовском горелом калаче.

— Я отцов друг.

Посмотрел Сергей на отцова друга:

по локоть руки — красно золото,
по колено ноги чисто серебро,
во лбу звезда,
на голове зеленый венок.

— Нет, ты Егорий храбрый!

Поклонился пастырю святому и дальше пошел.

* * *

Идет Сергей по дороге, устал, и ночь его настигает, и есть ему хочется.

И попадает ему на дороге страшный, высокий, грудь и бедра толстые, в поясе тонкий, длинные пальцы, зубатый, ребратый, голенастый, л и г о с т а й — страшный.

— Ты куда идешь? — скорчил рожу лигостай страшный.

— Иду отцова друга искать, который никакой скупы не берет.

— Я самый и есть!

Посмотрел Сергей на отцова друга:

л и г о с т а й — страшный.

— Почему, говоришь, отцов ты друг?

— А потому, я у отца душу вынул.

«И вправду, — подумал Сергей, — точно, что друг, только больно уж страшный!»

Вынул Сергей из-за пазухи горелый калач.

Уселись они на пень, съели калач.

Лязгнул зубами лигостай страшный.

— Поди, — говорит, — в город, тамошний царь худ, ищет человека, про свою смерть знать хочет. Поди ты к царю и скажи, что знаешь про его царскую смерть. Меня никто не видит, а ты увидишь. Я без корысти, я отцов друг! Если сижу я в головах у царя, царь помрет; если стою я в ногах, царь будет жить.

* * *

Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в город, ну трубить:

— Я, — говорит, — про царскую смерть знаю!

Дошла весть до царя, послал царь разыскать Сергея.

Нашли Сергея и привели к царю.

Помолился Сергей, посмотрел на царя:

лежит царь на кровати, едва уж дышит, а лигостай стоит в ногах у него страшный, рожу корчит.

Поклонился Сергей царю:

— Трудно хворали, ваше царское величество, тяжело, да Господь Бог даст здоровья, будете живы.

И стало царю полегче, потом совсем легко, а потом и вовсе поправился и позабыл про всякую хворь.

На радостях царь наградил Сергея крестом и велел насыпать ему из казны полный мешок золота.

Нацепил Сергей крест себе на шею, забрал под мышку золото, поблагодарил царя и пошел из города домой:

хватит ему на его век да еще останется!

* * *

Идет Сергей дорогой, застигла ночь, присел Сергей на пень отдохнуть.

А лигостай тут — страшный стал у пня.

— А, — говорит, — здорово, Сергей Иваныч!

— Здравствуй, страшный!

— Много ль собрал?

— Эво сколько, доверху полный!

Сергей показал страшному золотой свой мешок.

— Ну, не очень-то... — лигостай тряхнул мешком, — фальшивые! Иди ты в другую землю, там тоже царь худ, скажи, что про царскую смерть знаешь. Буду я в головах сидеть и ты скажи царю: не будет ему житья, смерть будет. А ему трудно, он только этого и хочет, смерти хочет. И он наградит тебя: царем вместо себя поставит. И ты будешь царствовать тридцать лет. Знай: в который час корону примешь, в тот же самый час через тридцать лет и помрешь. Помни! Приготовься! Я приду.

* * *

Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в ту землю, где царь хворал.

— Я про царскую смерть знаю! — трубит Сергей.

Узнали, кому следует, Сергея схватили, да к царю.

Привели Сергея к царю, и уж на пороге видит Сергей:

страшный расселся лигостай у царского изголовья, рожи корчит.

— Ваше царское величество, помрете!

А царь корону с себя да на Сергея.

— Царствуй, добрый человек, спасибо тебе!

И помер.

* * *

Помер царь, сел царем Сергей.

Хорошо царствовал Сергей и все дела государские исправлял верно.

Тихо, мирно было в его царстве.

Богатели купцы торговлей, мужики много сеяли хлеба, — земли было вволю, собирали и того больше, и было где скоту кормиться, — лугов было вдоволь, разбойники сидели за крепким караулом, никто не жаловался.

Все в делах, все в заботах, и не заметил царь, как прошли годы, и наступил тридцатый, последний его год.

«Ах, — схватился царь, — лигостай придет!»

И такая напала тоска на него, такая до́лит печаль, невесело, неважно все, не занимают дела.

«Лигостай придет, страшный придет!» — печалился царь.

И от печали разнемогся, и ничего уж не помогает, одно на уме:

«Лигостай придет!»

* * *

Наступили последние сутки, пришел последний час.

И кончились последние минуты, осталась всего одна последняя минута.

«Пойду в сады мои, прощусь»...

Царь встал и к двери.

А на пороге лигостай.

— Чего ты, — говорит, — куда собрался, Сергей Иваныч? — сам рожу корчит.

— В сады мои проститься, хочу проститься...

— А ты чего же раньше-то? Я же тебя предупреждал!

Лигостай взял под руку царя:

— Ну, пойдем!

* * *

И они ходили вместе по саду, как два друга, мертвый царь да лигостай страшный.

Царь все прощался.

И не было куста, не было деревца, с кем бы царь не простился.

Со всем белым светом простился царь и говорит:

— А что, страшный, как я помру, будут по мне плакать?

А лигостай как скорчит рожу.

— Ревут, — говорит, — третий день, ревут, уж третий день, как помер: в ту самую минуту, у порога, как встретились мы, ты и помер! Спасибо за любительный калачик!

Лигостай лязгнул зубами, страшный, отвел свою бескорыстную страшную руку.

И остался царь один, не царь — душа человечья.

Хлоптун

Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться.

Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.

Трудно было одной Марье.

Кое-как она перебилась, к осени полегче стало.

Ждет мужа, — нет вестей от Федора.

Ждать-пождать, — не едет Федор.

Да жив ли?

А тут говорят, помер.

Бабы от солдата слышали, что Федор помер.

Ну, а Марья в слезы, убивается, плачет.

— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок!

Так Марья плачет, так ей скучно.

Прожила она в слезах осень, все тужит:

без мужа скучно.

А Федор вдруг на святках и приезжает.

И уж так рада Марья, от радости плачет:

вот не чаяла, вот не гадала!

—А мне говорили, что ты помер!

— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы!

И стали они поживать, Федор да Марья.

* * *

Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом, — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа, — век вместе жили.

Все по-прежнему шло, как было.

Все... да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:

«А что, как он мертвый?»

Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою,

а он, чтобы идти к покойнику смотреть, нет, никогда не пойдет.

Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала, — покойник-то очень уж богатый был, — насилу уговорила.

И пошли, вместе пошли.

Приходят они туда в дом, где покойник:

покойник в гробу лежал, лицо покрышкой покрыто.

Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника.

Тут и все потянулись:

всякому охота на покойника посмотреть.

С народом протиснулась и Марья.

Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.

«И чего же он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.

Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.

Дорогой она его и спрашивает:

— Чего ты, Федор, смеялся?

— Так, ничего я... — не хочет отвечать.

А она пристает: скажи, да скажи.

Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:

— Вот как покрышку с него сняли, а черти к нему так в рот и лезут.

— Что ж это такое?

— А хлоптун из него выйдет.

— Какой хлоптун?

— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной и за людей принимается.

И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.

— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья.

— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-о́борот ь и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.

Вернулись они домой, легли спать.

Заснул Федор.

А Марья не спит, боится.

«А что если он хлоптун и есть?»

Боится, не спит Марья

— не заснуть ей больше, не прогнать страх и думу.

* * *

Куда все девалось, все прежнее?

Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего.

Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется.

Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.

«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной за людей принимается!»

И как вспомнит Марья, так и упадет сердце.

И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.

— Не сын ваш Федор... хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе.

— Как так?

— Так что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала, — последний год живет, кончится год, съест он нас.

Испугались старики:

— Съест он нас!

* * *

Всем страшно, все настороже.

И стали за Федором присматривать.

Глядь, а он уж на дороге коров ест.

Обезумела Марья.

Трясутся старики.

Достали они от жеребца узду-обороть, подкараулили Федора, — подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут...

— Сгубила, — говорит, — ты меня!

Да тут и кончился.

Тут и все.

Мертвяк

Лежал мертвец в могиле, никто его не трогал, лежал себе спокойно, тихо и смирно.

Натрудился, видно, бедняга, и легко ему было в могиле.

Темь, сырь, мертвечину еще не чуял, отлеживался, отсыпался после суетливых дней.

Случилось на селе о праздниках игрище — большой разгул и веселье.

На людях, известно, всякому хочется отличиться, показать себя, отколоть коленце на удивление, ну, кто во что, все пустились на выдумки.

А было три товарища — три приятеля, и сговорились приятели попугать сборище покойником:

откопать мертвеца, довести мертвеца до дому, а потом втолкнуть его в комнату, то-то будет удивленье!

Сговорились товарищи и отправились на кладбище.

На кладбище тихо, — кому туда на ночь дорога — высмотрели приятели свежую могилу и закипела работа:

живо снесли холмик, стали копать и уж скоро разрыли могилу, вытащили мертвеца из ямы.

Ничего, мертвец дался легко, двое взяли его под руки, третий сзади стал, чтобы ноги ему передвигать, и повели, так и пошли —

мертвый и трое живых.

Идут они по дороге, — ничего, вошли в село, скоро и дом, вот удивят!

Те двое передних, что мертвеца под руки держат, ничего не замечают.

А третий, который ноги переставлял, вдруг почувствовал, что ноги-то будто живые:

мертвец уж сам понемножку пятится, все крепче, по живому ступает ногами.

А, значит, и весь оживет мертвец, будет беда!

Да незаметно и утек.

Идут товарищи, ведут мертвеца —

скоро, уж скоро дом, вот удивят!

Ничего не замечают, а мертвец стал отходить, оживляться, сам уж свободно идет, ничего не замечают, на товарища думают, которого и след простыл, будто его рук дело, ловко им помогает.

Дальше да больше, чем ближе, тем больше, и ожил мертвец —

у, какой недовольный!

* * *

Подвели его товарищи к дому, в сени вошли.

А там играют, там веселье — самый разгар, вот удивят!

— А Гришка-то сбежал, оробел, — хватились товарища, и самим стало страшно, думают, поскорее втолкнуть мертвеца, да и уходить, — Гришка сбежал!

Открыли дверь, — вот удивятся! — хотят втолкнуть мертвеца, а выпростать рук и не могут, тянет за собой мертвец.

А правда, в доме перепуг такой сделался, — признали мертвеца — кто пал на землю, кто выскочил, кто в столбняке, как был, так и стал.

Тянет мертвец за собой, и как ни старались — рвутся, из сил выбиваются, держит мертвец, все тесней прижимает.

— Куда ж, — говорит, — вы, голубчики, от меня рветесь? Лежал я спокойно, насилу-то от Бога покой получил, обеспокоили меня, а теперь побывайте со мной!

Совсем как все, говорит, только смотрит совсем не по-нашему!

Нет, не уйти от такого, не выпустит, — совсем не по-нашему!

* * *

Собралось все село смотреть.

А эти несчастные уж и не рвутся, не отбиваются, упрашивают мертвеца, чтобы освободил их, выпростал руки.

А он только смотрит, крепко держит, ничего не сказывает.

Стал народ полегоньку отрывать их от покойника, не тут-то, кричат не в голову, что больно им.

Ну, и отступился народ.

Отступился народ, говорят, надо всех трех хоронить.

И видят несчастные, дело приходит к погибели, заплакали, сильней умолять мертвеца стали, чтобы освободить их.

А он только смотрит, еще крепче держит, ничего не сказывает.

И два дня и две ночи не выпускал их мертвец, а на третий день ослабели мертвецкие руки, подкосились мертвецкие ноги, да тело-то их, руки-то их с мертвым, с мертвецким телом срослись — хоть руби, не оторваться!

И начали они просить у соседей прощенья и у родных.

Простились с соседями, простились с родными.

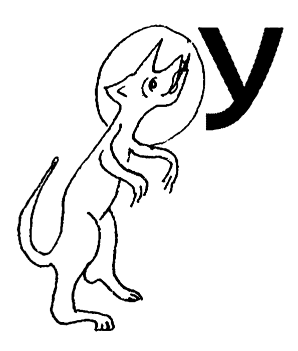
И повели их на кладбище с мертвецом закапывать.

И так и закопали равно вместе —

того мертвеца не живого, а этих живых.

БАЛАГУРЬЕ

Пчеляк



У пчеляка пчел было пропасть, тысячи пеньков стояло, а лошадь не водилась.

А у лошевода, его соседа, лошадей сколько хочешь — хорошие кони, а пчел и в заводе нет.

Раз сосед с соседом и разговорились:

— Скажи, пожалуйста, почему у тебя лошадям вод, а у меня нет?

А тот ему:

— Скажи ты, почему у тебя пчелы, а у меня нет, тогда и я скажу.

Разговор-то зашел мирно, да оба с норовом — не уступают.

Перекорялись, перекорялись, пчеляк первый сдался:

— Изволь, я скажу.

И повел соседа на пчельник.

* * *

Привел в избенку, положил меду полную тарелку, да в подпечек и сунул.

И выскаканула оттуда лягушка и ну мед есть.

И все съела, всю тарелку дочиста облизала.

Да опять назад все в подпечек и отрыгнула.

И стало лягушку раздувать больше, да больше —
и стала лягушка с быка.

— Полезай ей в рот!

— Нет, не полезу! — испугался лошевод.

— Полезай, а то пропадешь!

— Не полезу.

— Не полезешь?

Пчеляк за нож — колоть лошевода.

— Стой, — кричит лошевод, — теперь я скажу тебе, откуда у меня лошадям вод.

Да скорее с пчельника.

И повел пчеляка к своему гумну.

* * *

— Отчего ж у тебя лошадям вод?

— А оттого, что лошадушек моих кормлю: по десяти фунтов муки замешиваю да полмеры овса даю.

— Этак-то я и без тебя знаю: еще бы лошади не водились, коли их кормить!

— А как же ты думал, что не кормя можно?

Ну, на это сказать нечего.

И ушел пчеляк к себе на пчельник.

Кабатчик

Кабак стоял на юру у оврага — овраг осыпался и кабак чуть лепился на овраге.

В народе много было толку о кабаке.

И странно, все целовальники рассказывали одно и то же, будто в полночь кто-то в кабаке вино цедит; когда же зажигали свечку, видели вроде хомяка —

хомяк бёг от бочки и прямо под пол, в норку.

Кабак перестали снимать и даже даром — кабак стоял заброшен.

Один пьянчужка промотался и попал в большую крайность.

А был он человек семейный, не глупый и отчаянная голова.

Ему предложили кабак.

И он согласился:

все лучше, чем ходить из кабака в кабак!

В первую же ночь целовальник заготовил свечку, спичек, положил топор на стойку, выпил полуштоф и завалился спать.

* * *

И слышит целовальник, кто-то цедит из разливной бочки, зажег свечку, топор в руки, осмотрелся и — к бочке.

Видит, печати целы и только кран полуотворен.

Постукал топором о бочку —

звук не тот, вина, стало быть, меньше!

Сорвал печать, накинул мерник —

так и есть: трех ведер, как и не бывало.

— Черт что ли отлил! Коли черт, покажись! Я чертей не боюсь: до чертиков не раз допивался, не привыкать стать видеть вашего брата!

И уж протакаял так, как душе хотелось.

Под полом раздался треск —

стала половица поворачиваться и стало из-под пола дерево вырастать.

Все растет и растет — сучья, ветви, листья.

Все выше и шире, уж закрывает кабак, склонилось над головой.

Взмахнул топором и ну рубить.

Вдруг топор во что-то воткнулся — нет возможности сдвинуть:

чья-то рука удерживала топор.

— Пусти ж! — целовальник не струсил, — знаю, черт, пусти! Буду рубить!

И слышит, над самой головой кто-то тихо так и кротко:

— Послушай, товарищ, не руби! Это — я.

— Да ты кто?

— Будем с тобою друзьями, и ты будешь счастлив.

— Да кто ты? Говори толком? И топор пусти, выпить хочу.

— Ну, брат, поднеси и мне.

— Да как же я тебе поднесу, коли тебя не вижу!

— И никогда не увидишь... впрочем, когда прощаться буду, может, покажусь.

— Правду говоришь?

— Да давай выпьем, потом и поговорим.

— Пусти ж топор!

Топор высвободился.

Целовальник зашел за стойку, взял штоф и хотел наливать.

— Послушай, товарищ, — остановил его голос, — ты много не пей. Для нас довольно и полуштофа. Возьми вон тот, у него донышко проверчено, в нем вино хорошее, не испорчено еще.

— А ты откуда знаешь? Я сам принимал посуду: все полуштофы были целы.

— А ты ходил отпускать вино-то мужику?

— Ходил.

— Тебе нарочно и подменили полуштоф, чтобы наперед узнать, будешь ли и здесь мошенничать.

Целовальник взял полуштоф, посмотрел на свет — и вправду на дне дырка проверчена, воском залеплена.

— Ну, чертова образина, теперь уж я верю, что ты черт.

— А ты не ругайся, друзьями будем. Угости лучше!

Целовальник налил два стакана — свой выпил, сам скосился, что будет —

другой в воздухе и опрокинулся, будто его кто пил, и так сухо, что и капли не осталось, только кто-то крякнул:

— Ну, брат, спасибо за угощение.

— Спасибо-то, спасибо, а ты мне расскажи, кто ты.

— Расскажу потом. А теперь слушай: всякий день в полдень и в полночь ставь в чело на заслонку стакан вина, да на меду лепешку. Этим я и буду кормиться. А ты себе торгуй. И не бойся ни поверенных, ни подсыльных, я буду предупреждать: за версты узнаешь, кто едет и кто подослан. Ложись и спи. Да образов, пожалуйста, не ставь, да и молебны не служи. А как я отсюда через год уйду — от кабака до кабака скитаюсь, вот я какой! — так и ты уходи, а то худо будет. Слышал?

— Слышал.

— Так и поступай.

Целовальник выпил еще стакан и лег.

А дерево стало все меньше и меньше, ниже и ниже, и скрылось под полом.

И половица легла на старое место, как ни в чем не бывало.

И свечка погасла.

* * *

На другой день был базар.

Целовальник поутру встал рано. Торговля открылась хорошая и он, полупьяный, торговал целый день, и ни в чем не обсчитался.

К вечеру проверил выручку и смекнул, что лучше торговать и не придумаешь, а что ночью тот ему говорил, он все исполнил:

не забыл угостить и в полдень и в полночь и вином и лепешкой.

С этого дня целовальник торговал всем на зависть.

Никогда он не попадал под штраф, а продавал вино рассыропленное, он всегда знал, кто из поверенных приедет к нему за проверкой, и был наготове.

Диву давались его ловкости, а больше тому, что хоть и выпивал, но пьян не напивался.

* * *

Прошел год.

И вот в годовую полночь, когда целовальник по обыкновению спал себе мирно на стойке, вдруг услышал голос:

— Прощай, брат, ухожу. Завтра и ты уходи.

— Ну, что ж! ты мне все-таки покажись.

— Возьми ведро воды и смотри.

Целовальник взял ведро, зажег свечу и стал смотреть на воду.

И увидел, прежде всего, себя —

ну лицо обыкновенное.

И долго только это одно и видел, инда в глазах зарябило.

И как-то вдруг с левого плеча увидел другое —

черномазый и, как мел, белый, а в щеках словно розовые листки врезаны.

— Видишь?

— Вижу.

Кто-то вздохнул и все пропало.

И всю ночь в трубе был воп и плачь.

* * *

Целовальник наутро не ушел, а как всегда, отворил кабак — хотел еще зашибить копейку.

Но попался: нагрянул поверенный и оштрафовал.

Тут только он схватился и сейчас же сдал должность.

И уж больше не целовальник, купил он на награбленные деньги постоялый двор, перестал пить и сделался набожным человеком.

Магнит-камень

Шел улицей старец по духовному делу и повстречал молодых: парня с молодой хозяйкой.

Загляделся старец на молодуху —

сколько жил он на белом свете, сколько видывал всяких, а такой не видел.

— Где, добрый молодец, ты такую красавицу взял?

— Бог дал, дедушка.

— Может ли это быть... Дай-ка я помолюсь, даст ли?

— Даст и тебе, дедушка.

С тем и попрощались.

Молодые пошли по своим делам, а старец повернул в свое скитное место.

И год молился старец, просил Бога дать ему такую красавицу, как тому встречному счастливому парню.

А был старец великой веры и молитва его была горяча и чиста и неустанна.

* * *

Случилось о ту пору, задумал царь царевну замуж выдать и кликнул царь клич по всему царству, чтобы охотники ко дворцу явились смотреть царевну.

А была царевна такая красавица, краше ее и не было.

Дошел клич и до старца.

В последний раз помолился старец и вышел из своего скитного места и прямо к царскому дворцу.

Подходит к воротам и просится в палаты с царем поговорить.

Доложили часовые, и велел царь пустить к себе старца.

Пал старец перед царем на колени.

— Что ты, дедушка? — спрашивает царь.

А старец подняться сам уж не может — стар очень.

Поднял его царь, усадил с собой.

Отдышался старик.

— Ну, что же ты, дедушка?

— Да вот наслышался про вашу дочку-царевну, свататься пришел. Отдадите или нет?

Слушает царь, ушам не верит.

Что за притча? Сперва-то даже страшно стало: не указание ли какое?

Стал расспрашивать старика,

откуда он и какой жизни?

И рассказал ему о себе старец, как от юности своей ушел он от мира и в чистоте прожил в скитских трудах.

Видит царь, старик жизни хорошей, и говорит ему:

— Послушай, Федосей, человек ты толковый, до таких лет дожил, дай Бог каждому, сам ты понимаешь, ну куда тебе жениться?

А старик одно свое заладил и ничем его не собьешь и никаким словом не остановишь:

пришел царевну сватать да и только.

— Я с дочери воли не снимаю, — говорит царь, — ступай к ней: как она скажет, так и будет.

* * *

Простился старец с царем и провели старика к царевне.

— Что тебе, дедушка, надо? — спросила царевна.

— Да вот сватать вас пришел. Пойдете или нет?

Переглянулась царевна с сестрами и говорит:

— Подумаю, — говорит, — выйдите на немного в прихожую.

Вышел старец.

Стоит у двери, дожидается, а сам думает:

«Господи, неужели по молитве моей не дастся мне!»

И вспоминает, как тот парень сказал:

«Дастся и тебе!»

А уж от царевны требуют.

— Ну, что, царевна?

— Я пойду за тебя, — говорит царевна, — дай только отсрочки с добром справиться!

А сестры ее тут же стоят, смеются.

— А надолго ль, царевна?

— На три года.

— На три года! Да я до той поры умру, царевна. Нет, либо нынче, либо завтра свадьба.

— Ну, хоть на два года, — просит царевна.

Старик не сдается.

— Ну, хоть на год!

— На три недели, царевна.

— Ладно, — согласилась царевна, — только так просто я за тебя не пойду, а достань ты мне магнит-камень, тогда и пойду.

А сестры тут же стоят, смеются.

Попрощался старец с царевной и пошел себе из дворца.

* * *

Не то, что достать, а он с роду родов не видывал, какой это магнит-камень.

Вышел старец в чистое поле, стоит и повертывается на четыре стороны.

— Господи, даешь мне царевну, а где я магнит-камень найду?

И видит, в стороне леса чуть огонек мигает.

И пошел на огонек.

Шел, шел, — а там келейка стоит.

Постучал —

не отзываются.

Отворил дверь —

нет никого.

И вошел в келейку, присел на лавку, сидит и думает:

«И где же это я магнит-камень найду?»

И отвечает ему ровно бы человечьим голосом:

— Эх, Федосей, выпусти меня, я тебе магнит-камень достану.

— Кто ты?

— Все равно не поймешь, зачем тебе.

— Где же ты сидишь?

— В рукомойнике. Выпусти, пожалуйста!

Старик думает:

чего же не выпустить, коли магнит-камень достанет!

Да насилу отыскал рукомойник: от старости-то очень глазами слаб стал.

И выпустил —

словно что-то выскользнуло — —

не то мышь, не то гад.

А бес разлетелся с гуся и улетел.

«Ну, — хватился старец, — чего это я наделал!»

А уж тот назад летит —

и камень в лапах.

— Вот тебе, получай!

Осмотрел старец камень, потрогал —

вот он какой магнит-камень!

А сам себе думает:

«Как же так, освободил нечистую силу, и за то в ответе буду!»

И говорит бесу:

— Вот ты такой огромный, гусь, а залез в такую малую щелку?

А бес говорит:

— Да я, дедушка, каким хочешь могу сделаться!

— Ну, сделайся мушкой.

И вот из гуся стал бес вдруг мухой, самой маленькой мушкой.

Старец инда присел:

не упустить бы!

— Пожужжи!

Бес пожужжал.

— Ну, полезай теперь на старое место, а я посмотрю, как это ты туда полезешь.

Тот сдуру-то и влез.

Влез, а старец его и зааминил.

* * *

Не с пустыми руками, с камнем — с магнитом-камнем пришел старец к царевне.

— Вот тебе, царевна!

И показывает камень.

Посмотрела царевна:

магнит-камень!

— Ну, стало быть, судьба, собирайся венчаться.

А старец и говорит:

— Нет, царевна. Куда мне? Я год молился. Я только Господа исповедал. И теперь вижу и больше мне ничего не надо. Прощай царевна.

И пошел в свое скитное место —

доживать в трудах последние дни.

Спрыг-трава

Затеял один дошлый на Ивана-Купалу спрыг-траву искать —

цвет купальский.

Известно, и сами морголютки неладные и те тогда ладно жить с тобой будут!

Вымылся он в бане, надел чистую рубаху, достал белый платок, да с платком, как стемнело, и пошел в лес.

И в лесу там на поляне очертил три круга, разостлал под папоротником платок, присел, ждет, что будет.

* * *

Вот слышит шум по лесу, треск — какие-то звери дерутся — а там стук, чего-то делают — и словно земля вся начинает кончаться.

И вдруг набежал вихорь страшный —
приблизилась полночь.
И ровно в полночь тихо расцвел папоротник —
как звездочка.
И стали цветки на платок падать — и насыпало много —
как звездочки.

* * *

Тут зря зевать не годится, завязал он цветы в узелок, но только что ступил, откуда ни возьмись медведи, начальство —
саблями так и машут.
— Брось, — кричат, — а то голову долой!
И за руки хотят схватить.
И вдруг война началась, такая пошла резня — беда!
Из пушек палят, раненые валятся.
— Из-за тебя проливаем кровь, брось!
И появилась высокая каменная стена, и воткнуты в стене копья прямо перед глазами —
того и гляди выколют глаз.
И стала земля проваливаться.
И остался он на одной кочке.
Все водой заливает — буря страшная, волны так и хлещут.
Снег пошел.
Тонет народ, кричат:
просят бросить цветок.
— А то, — кричат, — измаялись наши душеньки!
И вдруг видит, запылала деревня, и дом свой видит — горит —
и какие-то черные с крючками топочут вокруг.
— Не пускай!
— Не пускай его!
— Пускай горит!

А ветер так и воет, подкидывает бревна, несеть головни, вся земля горит.

Ни жив, ни мертв, дрожкой дрожит, а держит узелок, не выпускает из рук — будь что будет!

А они, черные, уж так и этак стараются достать его:
крючки закидывают — —
Да не могут — за кругом стоят.

* * *

И рассвело.
Солнце взошло.
Слава Богу миновалось!
Он и пошел из лесу —
а лес зеленый, птицы поют — заслушаешься.
Шел, шел, — узелок в руках держит.
Вдруг слышит —
позади кто-то едет.
Оглянулся —
катит в красной рубахе и на него.
Налетел на него, да как жиганет со всего маху —
узелок из рук и выпал.

* * *

Смотрит — ночь как была ночь.
И нет ничего, один белый платок под папоротником лежит.
А сам он, как есть, мокрый:
купальская росная была ночь.

Клад

Лоха был большой любитель до всяких кладов.

И был у Лохи товарищ Яков, тоже под стать Лохе.

Оба частенько на Лыковой горе рылись, но ничего никогда не находили.

Клад — с зароком.
И нередко кладется такой зарок:
тот клад добудет, кто не выругается нехорошим словом!
А русскому человеку нешто удержаться?
Ну, клад и не дается.

Пошел Лоха за грибами на Лыкову гору, набрал груздей, спустился с горы, дошел до родничка и присел отдохнуть.

А было это перед вечером, уморился Лоха с груздями, сидит так — хорошо ему у родничка, отдыхает.

* * *

И видит Лоха —

товарищ его Яков с сухими лутошками едет.

— Куда, брат, едешь?

— Домой.

— Возьми меня!

— А садись на заднюю-то лошадь.

Яков на паре в разнопряжку ехал с двумя возами.

Лоха повесил себе на шею лукошко с груздями, уселся, погоняет лошадь.

— Кум, — говорит Яков, — поедем ко мне горох есть. Василиса нынче варила. Уж такой, что твоя сметана.

— Поедем, кум.

Приехали к Якову, распрягли лошадей.

Яков вперед в избу пошел, Лоха за ним.

Вошел Лоха в сени, дверей-то в избу и не найти.

Кричать — а никто голосу не подает.

Вот он лукошко на землю поставил и стал шарить дверь —

бился, бился — нету двери.

Начал молитву читать, а дверей все нет.

И молитва не помогает.

Так руки и опустились.

* * *

И увидел Лоха вдали свет чуть пробивается — и будто в кузнице кузнецы куют.

Поднял он с земли лукошко и пошел на свет.

Шел, шел, дошел до железной двери.

Отворил дверь —

там длинный-предлинный подземный ход, а справа и слева очаги и наковальни, и кузнецы стоят.

Кузнецы большие, в белых, как кипень, одеждах.

И у каждого очага по три кузнеца:

один дует мехами,

другой раскаливает железо,

третий кует.

Подошел Лоха к первым кузнецам

куют лошадиные подковы.

— Бог помочь вам, кузнечики.

Молчат.

Он к другим — шины куют.

— Бог помочь, кузнечики!

Молчат.

Он к третьим — куют гвозди.

— Бог помочь!

И эти молчат, только смотрят на него.

Ну, он дальше —

дальше куют у каждого горна все разные вещи.

Он уж ни с кем ни слова.

И далеко прошел — уставать стал.

* * *

И вот откуда-то из побочного хода появился будто какой приказчик, распорядитель их главный, в кожаной куртке, сам смуглый, ловкий такой парень.

— Как ты, — говорит, — Лоха, попал сюда? Что тебе надо? Денег? Пойдем, я тебе их покажу.

— Нет, родимый, — Лохе уж не до денег, — ты меня лучше выпроводи отсюда, запутался я.

— Ну, вот еще! Я тебе наперед покажу, а потом и на дорогу выведу. Пойдем.

И пошел водить Лоху по разным ходам между кузнецами:

то в тот переулок, то в другой —

Так заводил, так замаял, могуты не стало. —

— Бог с тобой, с твоими деньгами. Выпусти! — запросился Лоха.

— Сейчас!

Да знай себе ведет, не остановится.

Наконец-то подвел к подвалу, повернул ключ в двери, отворил дверь —

там железная лестница, весь подвал фонарями освещен и полон золота, серебра, меди, железа, стали и чугуна.

И все, как жар, горит.

— Видишь, Лоха, богат-то я как! Хочешь золота, хочешь серебра? Бери сколько хочется.

— Да куда мне, родимый? Отпусти! Мне и взять-то не во что.

— Да вот голицу-то насыпай.

— Не донести мне.

— А ты от онуч веревки отвяжи, да и перевяжи рукавицу-то.

Лоха соблазнился:

уж очень красно золото!

Насыпал рукавицу золотом, а другую тот насыпал.

— Довольно, что ли?

— Спасибо, родимый. Дай тебе Бог здоровья на много лет.

— Ну, что там! Благодарить не за что. А ты вот что, ты с Яковом хлеба нам привези. Видел, сколько у меня работников, так их всех накормить изволь. Да, смотри, привези печеного, нам мукой-то не надо!

— Когда ж тебе, родимый?

— Да вот как первый урожай будет.

— Постараюсь, родимый.

— Не забудь же.

И повел, вывел его из подвалу да по коридорам, и к какой-то трещине.

Тут и стал.

— Видишь, Лоха, свет?

— Вижу.

— Иди на него.

* * *

Лоха и пошел на свет-то —

И чувствует, что на воздух вышел.

Осмотрелся — что за чудеса! — сидит он у родничка, где отдыхать сел.

И лукошко его с груздями, как поставил, так и стоит.

Взглянул под ноги, —

а у ног его голицы связанные.

Пощупал — деньги.

Себе не верит, развязал малость, запустил руку

— золото.

Темно было, чуть заря.

Поднялся Лоха, вытряхнул из лукошка грибы, положил в лукошко голицы с золотом, прикрыл травой и пошел себе по дороге.

Да улицами-то не шел, а с заднего двора и прямо к себе в амбарушку.

Рассветало уж.

Вынул он из лукошка голицы, да не развязывая в короб,

короб на замок.

И вошел в избу.

* * *

— Где это ты пропадал столько? — спрашивает жена.

— Да чего, в лесу запутался.

— Все тебя, все село, три дня искали, думали, без вести пропал. Эко дело какое с тобой случилось!

Поговорили, поговорили, дали поесть.

Сильно проголодался Лоха, поел всласть, да опять в амбарушку.

Лег там под коробом и заснул.

* * *

И видит он, явился к нему тот самый распорядитель кузнечный в кожаной куртке, и говорит:

— Ни Боже мой, никому не говори, что ты у меня был и золота взял. Откроешь, худо тебе будет!

* * *

Лоха не только что говорить или кому показывать, а с опаски уж и сам, как положил голицы в короб, так хоть бы раз посмотрел —

какое там у него в коробу золото лежит.

В амбарушку пройдет понаведаться, короб осмотрит, да назад в избу.

И, должно быть, заметили люди, что Лоха в амбарушке что-то прячет — что-то таит — о чем-то помалкивает.

* * *

Раз пришел Лоха в амбарушку, хвать, а короба-то и нет, —

украли!

Украли его короб, нет золота, нет его клада!

кто же украл?
никто, как Яков кум.

Лоха объявил подозрение на Якова.

Стали Лоху допрашивать, где Лоха золотые взял, он и открылся — забыл наказ! — все рассказал и про кузнецов и про золото.

И вернулся Лоха домой с допроса, заглянул в амбарушку.

Постоял, потужил, пошел в избу.

Тоскливо ему было.

Прилег на постель, лежит —
ой, тоскливо!

И чувствует Лоха:
ни рукой ему двинуть,
ни ногой пошевельнуть,
хотел покликать, а язык не ворочается.

Так и остался.

А какой был-то! — одно слово, Лоха.

Пёс-богатырь

Был один охотник — лесной человек.

Шайками на охоту Пришвин не любил ходить —
был у него верный пёс, непростое ружье.

Благословил его ружьем лесник-колдун, как помирать пришел час старику, а пса разжился у знакомого от злой сучки.

И немало забот ему было со псом.

Год растил щенка в погребе, караул держал — пронюхали звери, что будет пёс-богатырь, и сколько подкапывались зубом к погребу, утащить хотели пёсика, зверь это все понимает! — уберег от зверей:
и вышел пёс ему верный, а злой — в мать.

Верный пёс, непростое ружье — куда хочешь.

И ночью надёжно.

* * *

Случилось Пришвину под Егорьев день заночевать в лесу
— под Егорьев день жутко в лесу!

Расклал он огонек, давай на огне сало печь.

И слышит, голос в лесу —
так пастух днем скотину пасет, кнутом хлопает.

Кнутом кто-то хлопает, инда по лесу отголосок идет.

Прислушался: кому б это быть?

А уж треск пошел и близко, все ближе к огню.

* * *

И стали один за другим выходить к огню волки

— подойдет волк и ляжет к огню.

Так и идут гужом, как скот дружный — с полдесятины кругом огня место заняли:

все волки.

А за серыми пошли белые —

начальство волчиное.

И с белыми на белом коне сам Егорий.

— Добрый ночлег тебе, охотник! — сказал Егорий.

Догадался Пришвин: верно, сам Егорий на белом коне среди белых волков — по его повелению и волки пришли!

Поклонился Пришвин Егорию.

— Вот вы, храбрый Егорий, сказали: добрый ночлег! А думаю так, ненаровчатый этот попал мне ночлег, сроду мне случая не было такого — по такому табуну волков видеть.

— А не нужно было под Егорьев день ночевать на охоте! Мне завтра праздник!

Глядит Егорий строго.

Ну, Пришвин и замолчал.

Сам понимает: не нужно было ему в лес ходить на охоту под такой праздник! — против ничего не скажешь, провинился.

А пёс Знайко бурчит и бурчит.

— Да что твоему псу нету покоя, бурчит и бурчит?

Строго глядит Егорий.

— Какой тут покой! Ведь все пёсьи губители, вот он и сердится! — потрепал Пришвин своего верного пса.

— А бывали когда случаи, чтобы пёс твой с волками боролся?

Строго глядит Егорий.

— Как не бывать, случалось: и трое и четверо нападало на пса, да он им не поддавался, Знайко-то!

И стало не по себе Пришвину, чует — лесной человек! — будет беда.

— А ну-ка, вели ему с двумя моими волками побороться! — сказал Егорий.

И жалко Пришвину пса и ничего не поделаешь, согласился — перечить нельзя! — согласишься.

— Что ж, — говорит, — пускай поборются.

Ну, Знайко долго с волками не ворызгался — у Знайки клыки вершка по три торчали —

кроянул пёс клыками одного волка — кроянул другого.

Чуть живые побежали волки прочь от стану.

— Ишь, какой злой, знать, и пятерым не поддастся!

И повелел Егорий пяти волкам со псом драться.

Пять волков напустились на Знайку.

А Знайко еще ярей стал и сердитей —

трех так и кончил,

а двум перервал шарики.

Семь уж зверей перерезано — семь волков.

А псу ничего — ничего не вредилось.

— Десять волков напущу.

И по слову Егория кинулись волки на Знайку —

десять волков.

Да не тут-то —

как пятерых, так и этих кончил пёс.

А сам невредим остался.

— Нет, охотник, — сказал Егорий, — уж теперь и мне своих зверей жалко. А свяжи-ка ты пса!

И связал Пришвин Знайку, ослушаться не посмел, связал своего верного пса:

передние ноги и задние.

И тогда бросились волки на Знайку — стали грызть связанного пса.

И загрызли до смерти.

А скольких порезал пёс, скольких ранил волков и вот покончили пса!

Загоревал Пришвин.

— Вы, — говорит, — святой угодник, а поступили беззаконно: зачем приказали мне связать моего пса!

— Правда, незаконно я поступил, — ответил Егорий, — я за то тебя наказываю, что не должен ты был под мой праздник ночевать на охоте. Я над зверями пастырь! По моему

повелению режут звери скотину. И вот я со своим стадом и настиг тебя, чтобы наказать.

Поднялись волки и пошли от огонька — один за другим —
пошли волки гужом, как скот дружный.

А за серыми белые — начальство волчиное.

И среди белых на белом коне отъехал Егорий.

* * *

Прошла ночь, погас огонек, стало светать.

И пошел Пришвин домой, один, без своего верного пса.

И приснился ему его Знайко, будто говорит ему Знайко:

«Эх, хозяин, Михайло Михайлович, было б тебе не вязать мне всех ног: не поддались бы мы и всему стаду Егорьеву, мы прошли бы леса, все пущи, никаких зверей не боялись! Эх, хозяин!»

Проснулся Пришвин, еще тоскливее стало:
было б ему не вязать всех ног Знайке!
— Эх, пёс мой верный!

Да так затосковал, так затосковал, что от тоски отстал от всякой охоты.

Летун

Был один охотник Архип.

Сам сивый, лоб бараний, усы котовы, а глаз круглый птичий —
на зверя и птицу слово знал.

И как войдет, бывало, Архип с ружьем в поле либо в лес — помолится, поклонится, покурлычит, а их уж видимо-невидимо зверей всяких —

и текут и брызжут,
и мечутся и скачут,
с отцами, матерями,
со всем родом-племенем,
со всем заячьим причетом,
безоглядно, безразлучно,
безотменно, бесповоротно,
шибко и прытко,
белые, красные,
черные, бурнастые,

разношерстные, разнокопытные,
рыси, росомахи —
весь подубравный зверь.

Глядь, — ловушки и ставушки, тенёта и опутины верх полны:
там который прилепился головкою, там задел ножками либо хвостиком, а там всем крылом влез.

Ельник, речка, водотопина были Архипу в честь и радость. И помогали ему, как свой брат, подземные жилы, тайные ключи, поточины.

* * *

Вот и стал раздумывать Архип, как бы ему на небо попасть — поглазеть на Божью небесную тварь —
на солнце, луну, на мелкие часты звезды и на планеты.

Поднялся Архип со светом, помолился на восход красна солнца, на закат светла месяца, на тихую зарю утреннюю и вечернюю и пошел в лес.

Вырубил он лесину, стал строгать стружки.

Строгал, строгал, настрогал большой костер, закрыл мокрой рогожей, зажег стружки.

Загорелись стружки, Архип стал на рогожу:
— жаром его вверх подымать будет, он и полетит! — так держал в уме Архип.

Его и стало подымать вверх на воздух — на вышние небеса дальше и дальше.

И летит уж он без шапки в одном сапоге — перетерял дорогою! —
летит он, как стрела из тугого лука, как молния из облачной гряды.

Летел, летел Архип, а как остановился да осмотрелся:
земля-то вроде Божьей коровки — такая она маленькая, не видать земли!

Вот на какую угодил Архип высоту.

* * *

Ну, и ходит Архип по небесам.

Туда ткнется, сюда сунется — народу никакого нет, и одни-то звезды над тихой водой —

тихо-чистые теплются,
поют божественное.

Прожил неделю Архип, скучно стало — земли не видать:
без земли-то человеку скучно!

И ходил он, ходил по небесам, нашел веревку.

И видит: много накладено ее на облаках и без всякого присмотру. Думает себе:

«Свяжу веревку, спускать буду, до земли хватит!»

И спустил всю веревку, привязал за дерево —
большое стояло, без корня, без листьев, а дерево.

И стал спускаться.

* * *

Спускался Архип, спускался и такой вышел грех:
кончилась веревка — на полверсты не хватает, не больше.

А ветер свистит, качает —
носит его над долиною,
носит его над горами.

Понесет над долиною — все города, все деревни видны.

И кричит Архип, да кому услышать!

А и услышат, чай, за ворону примут!

Вот несет его ветер над гладким местом.

«Развяжу-ка я узел!» — думает Архип.

Летавши-то, измызгаешься и не такое в голову полезет.

И развязал —
только уши запели.

И угодил Архип прямо в дряп по грудь и с руками.

Вылезть не может.

* * *

Прокатилось весеннее время, налетели разные птицы, прилетел и лебедь.

Видит лебедь на болоте сено.

А у лебедя известно: где бы ни нашел кусочек, тут и гнездо делать.

Принес лебедь с берега землицы, огладил лапками кочку — Архиповы-то волосья лебедь за кочку принял! — яйцо положил, другое, третье, и начал па́рить.

А волк-волчище уж чует лебяжье гнездо, только попасть не может.

Подкараулил волк, когда лебедя не было, яйца лебяжьи съел, гнездо разворотил и расселся по нужному делу, серый.

Архип как зубом цап его за хвост.

Волк как прыгнет —

из дряпа Архипа и выдернул.

* * *

Так Архип и вышел.

— Нет, ребята, — сказывает, — не нужно на небо летать: там та-акое!

И с тех пор, словно на смех, как прикатится весеннее время, глядь, а уж который-нибудь охотник рубит лесину, строгает стружки, раздувает костер, тяп-да-ляп —

полетел!

Конечно, без земли человеку скучно, да охота пуще неволи:

хочется поглазеть человеку на Божью небесную тварь — на солнце, луну, на мелкие часты звезды и на планеты.

Мужик-медведь

Жил в лесу лесник, стояла у лесника в лесу избушка:

днем лесник в лесу ходил,

вечером на ночлег в избушке хоронился.

Место было глухое: ни дороги, ни пути, да и не заходил никто в такие дебри и чащи.

И вот приходит к леснику медведь и прямо, не спросясь, идет за печку и там рассаживается, как свой.

Лесник не робкого десятка, а струхнул не на шутку:

стрелять не смеет.

А медведь все сидит, не уходит.

Сготовил лесник ужин, есть захотелось. Поел сам, дал и медведю.

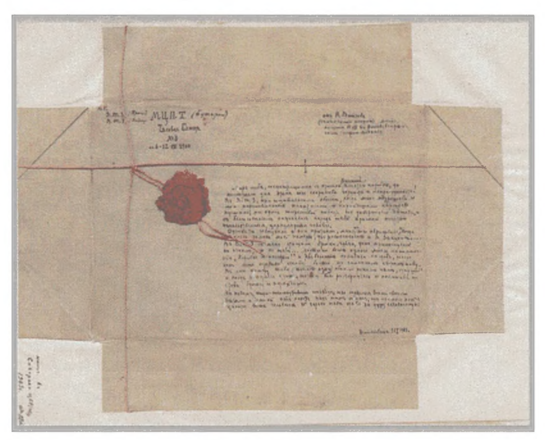
Накормил медведя. Легли спать.

И спали ночь мирно.

Поутру собирается лесник в лес, а медведь из избушки на волю.



А. М. Ремизов. «Хождение мое по этапным мукам 1901 г.». Рисунок. Цв. кар., тушь. 25 июля 1921 г. – РНБ



Крышка коробки с текстом наброска рассказа «Коробка с красной печатью». Автограф А. М. Ремизова. Картон, чернила. 1900, 1901, 1903 гг. – РНБ



А. М. Ремизов. Надпись-автограф: «Глубокий вечер.
Устьсысольская область. Ве<ликая> вол<ьная> пал<ата>».
Фотография. 16 января 1901 г. — РНБ



*А. М. Ремизов, Н. М. Ионов, А. Келза, А. И. Петров, Ф. И. Щеколдин,
М. К. Беринчук, А. П. Завадский, И. В. Тупальский
и неустановленное лицо*. Надпись-автограф: «Вечернее чтение».
Фотография. Устьсысольск. Ок. 1901 г. — РНБ



А. М. Ремизов и Я. Янулевич. Надпись-автограф: «Трудный вопрос. / Пан Ян Янулевич <Поплавский> / Старый карп / Енерал бабий / Krywe-krywejtis / Хрюкало / Мурло / Перфишка-сапожник / и проч<ее> и проч<ее>, с которым в одной комнате прожил я почти что целый год». 27 февраля 1902 г. Фотография. – РНБ



А. М. Ремизов и И. В. Тупальский. Надпись-автограф: «Иосиф Владиславович Тупальский (слесарь)». 19 февраля 1901 г. – РНБ



Л. И. и Л. С. Заливские. Надпись-автограф: «На отдыхе. А у них мальчик Бебка». Устьсысольск. Ок. 1901 г. Фотография. — РНБ. Публикуется впервые



Супруга М. К. Беринчука, М. К. Беринчук, И. В. Тупальский, А. И. Петров, Я. Янулевич, А. П. Завадский, А. М. Ремизов и неустановленные лица. Надпись-автограф: «На берегу Сысолы». Фотография. Устьсысольск. Ок. 1901 г. — РНБ. Публикуется впервые



А. М. Ремизов. Надпись-автограф: «За философией с Федором Ивановичем Щеколдиным». Фотография. Устьсысольск. 31 мая1901 г. – РНБ



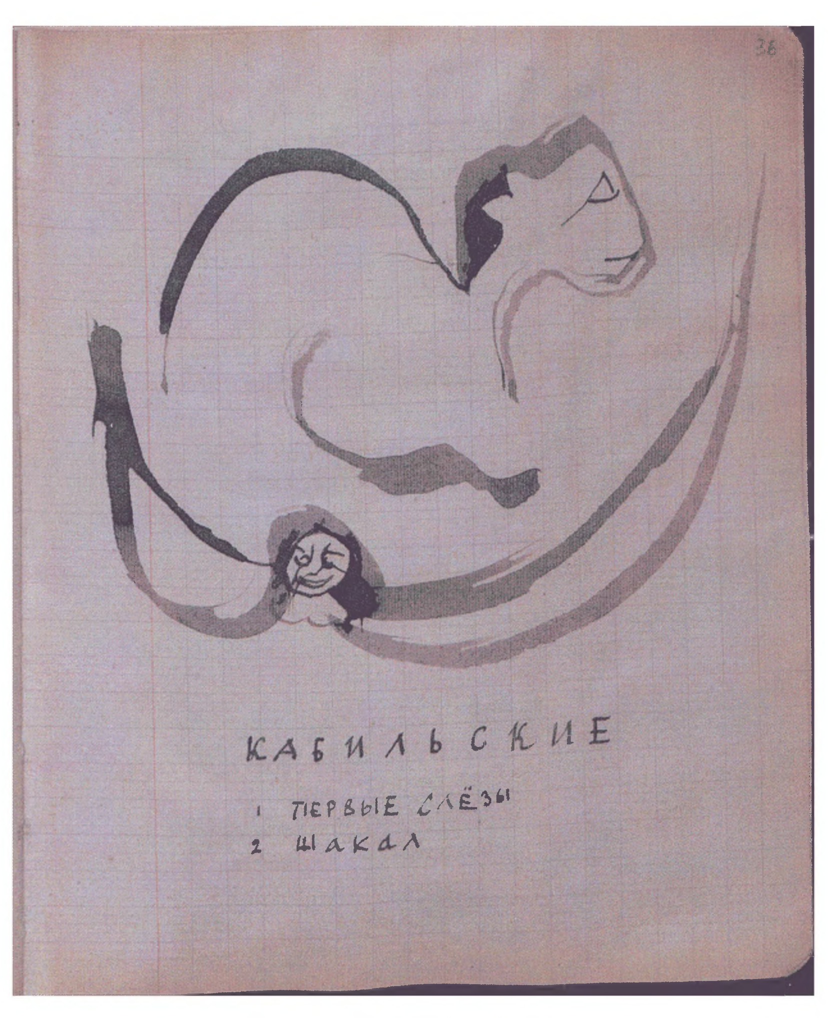
С. П. Довгелло. Фотография. Вологда. 1903 г. – РНБ. Публикуется впервые



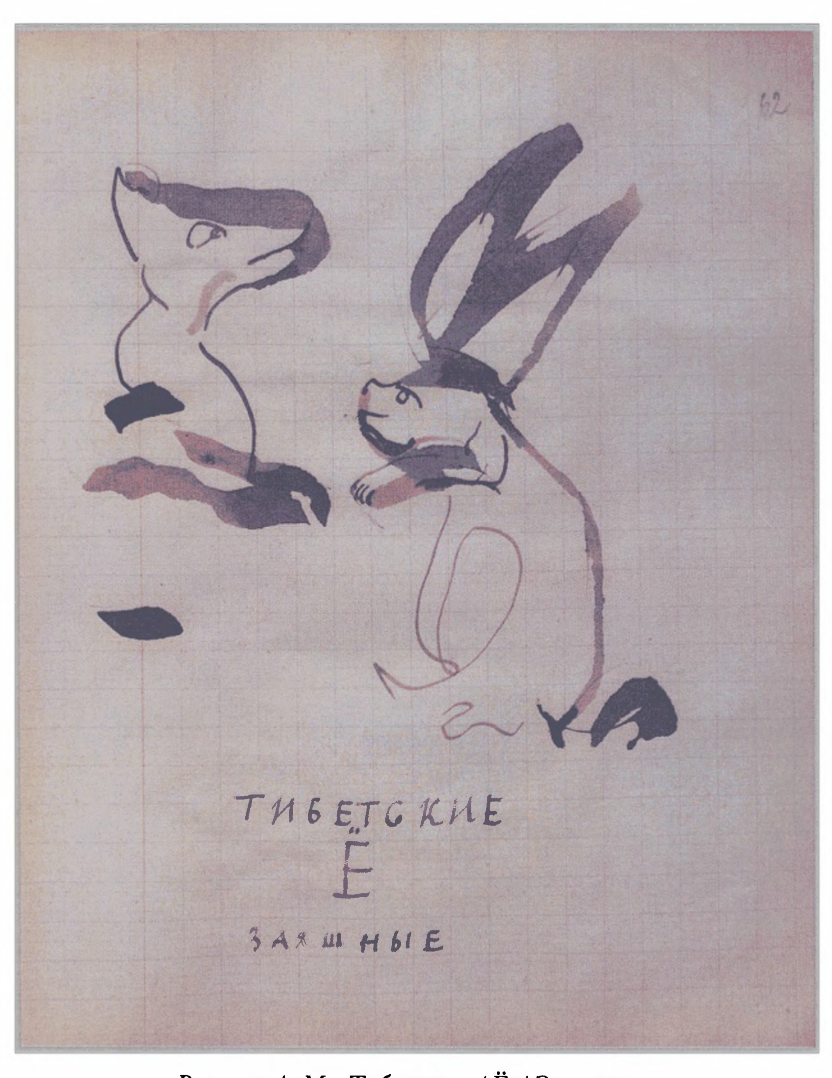
Ремизов А. М. Обложка рукописного сборника «Сказки нерусские».
Бум., черная и зеленая тушь, цв. кар. Париж. 1950-е гг. –
ИРЛИ. Публикуется впервые



Ремизов А. М. «Негретянские / черные».
Шмуцтитул к разделу рукописного сборника «Сказки нерусские».
Рисунок. Бум., черная тушь. Париж. 1950-е гг. —
ИРЛИ. Публикуется впервые



Ремизов А. М. «Кабильские».
Шмуцтитул к разделу рукописного сборника «Сказки нерусские».
Рисунок. Бум., черная тушь.. Париж. 1950-е гг. —
ИРЛИ. Публикуется впервые



Ремизов А. М. «Тибетские / Ё / Заяшные».
Шмуцтитул к разделу рукописного сборника «Сказки нерусские».
Рисунок. Бум., черная тушь. Париж. 1950-е гг. —
ИРЛИ. Публикуется впервые



Ремизов А. М. «Память сказка / Сибирские».
Шмуцтитул к разделу рукописного сборника «Сказки нерусские».
Рисунок. Бум., черная тушь. Париж. 1950-е гг. —
ИРЛИ. Публикуется впервые



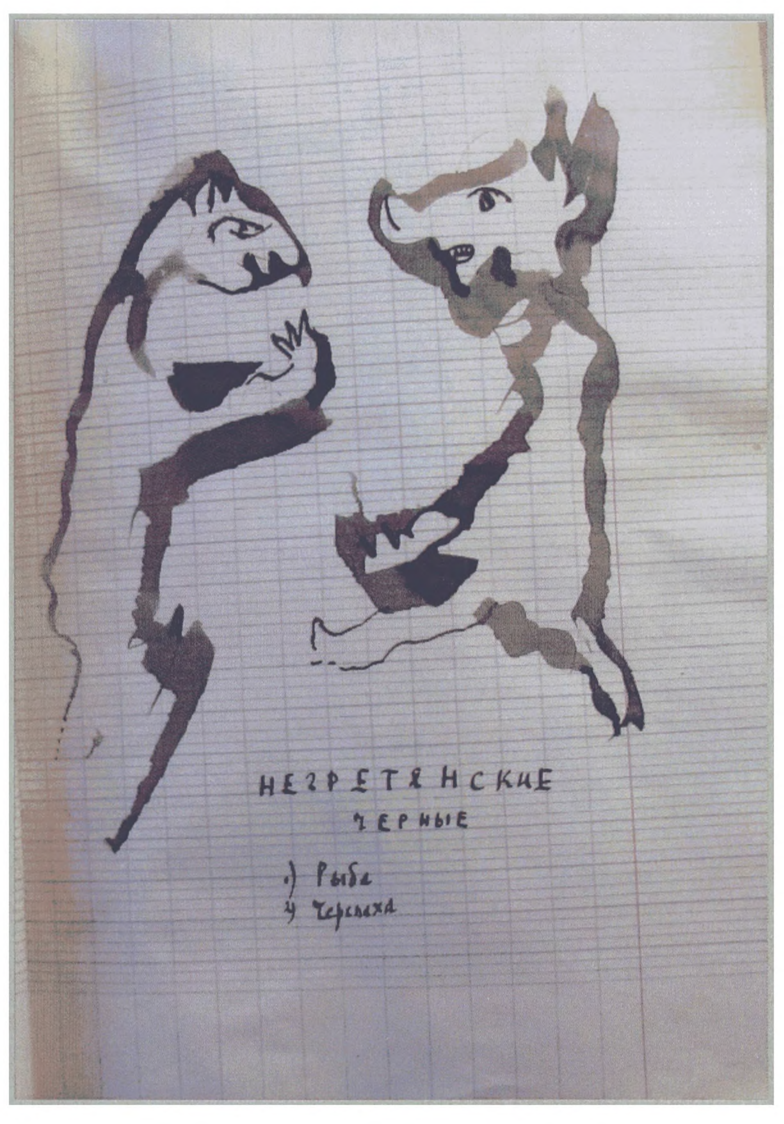
Ремизов А. М. «Кавказские».
Шмуцтитул к разделу рукописного сборника «Сказки нерусские».
Рисунок. Бум., черная тушь.. Париж. 1950-е гг. —
ИРЛИ. Публикуется впервые



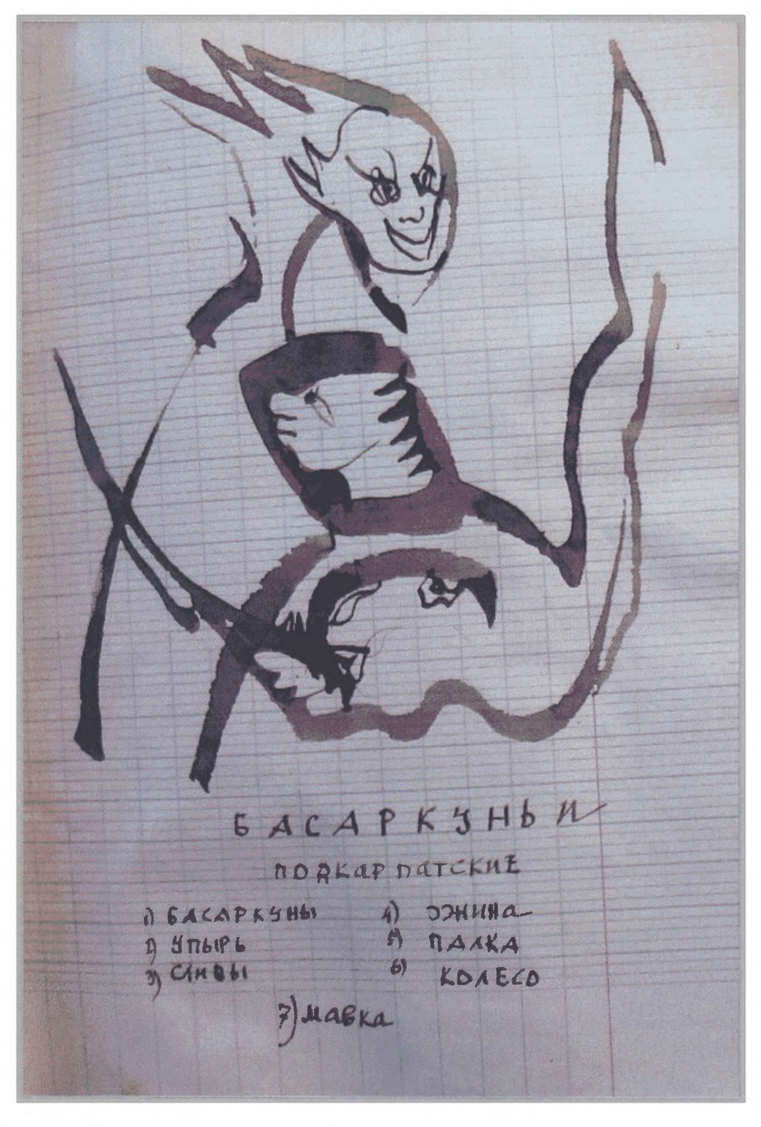
Ремизов А. М. Обложка к наборной рукописи сборника «Сказки нерусские». Рисунок. Бум., черная тушь. Париж. 1950-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые



Ремизов А. М. «Арабские». Шмуцтитул к разделу наборной рукописи сборника «Сказки нерусские». Рисунок. Бум., черная тушь. Париж. 1950-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые



Ремизов А. М. «Негретянские / Черные». Шмуцтитул к разделу наборной рукописи сборника «Сказки нерусские». Рисунок. Бум., черная тушь. Париж. 1950-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые



Ремизов А. М. «Басаркуньи / Подкарпатские». Шмуцтитул к разделу наборной рукописи сборника «Сказки нерусские». Рисунок. Бум., черная тушь. Париж. 1950-е гг. — ГЛМ. Публикуется впервые

И опять лесник сам заправился и медведя попотчевал.

Вышел медведь из избушки, ничего не сказал, только поклонился леснику до земли низко.

Лесник пошел в одну сторону, медведь в другую.

* * *

В крещенскую ярмарку приехал лесник в город.

И вот один богатый приказчик зазвал его в трактир с собой и ну угощать.

И так его угощал, что лесник от удовольствия даже имя свое крещеное запамятовал.

И спрашивает лесника приказчик:

— Можешь ли ты знать, за что я тебя угощаю?

— Не могу знать, — отвечал лесник.

Приказчик ему и говорит:

— А помнишь, как я у тебя ночь ночевал?

— Когда ты ночевал?

— А был ты в своей избушке в лесу и пришел к тебе медведь. Я самый и есть медведь.

— Как так медведь?

— Да так — медведь. Если бы ты взялся тогда за ружье, я бы тебя съел. Три года — три весны ходил я в шкуре медведем: люди испортили — обратили меня в медведя.

Лесник чуть ума не решился.

А потом ничего — отошло.

* * *

Вернулся лесник в лес в свою лесную избушку и стал себе жить да поживать здорово, хорошо.

И уж ничего не боялся.

Заяц ли усатый забежит в избушку, росомаха ли — все за гостей, все как свои:

милости просим!

Вошиные башмачки

Жил-был царь с царицей, и была у них дочь царевна Курушка.

Как-то стали у царевны в голове искать, вошку и нашли.
Положили вошку на овцу —
сделалась она с овцу.
С овцы положили на барана —
сделалась она с барана.
Тут царь приказал убить вошь и выделать шкуру.
А из шкуры сшили Курушке башмачки.

И дал царь по всем государствам знать:
— Кто отгадает, из какой кожи башмачки у царевны, за того замуж отдам.

Поприезжали царевичи, королевичи.
Кто скажет: козловые.
Кто: сафьянные.
Никто не может отгадать.
Узнал колдун Цапарь, пришел и объявил:
— У Курушки царевны башмачки вошиные!
Надо царю слово сдержать.
Назначили свадьбу.

Горевал царь:
страшен колдун Цапарь, как скрыть царю от колдуна любимую дочь?
И придумал царь:
посадить царевну на козла, увезти ее прочь, будто с сеном козел.

Вот поставили столы, за стол поставили клюку, нарядили клюку царевной —
ну, ровно царевна!

* * *

Вот едет на свадьбу колдун, а козленок навстречу.
— Козлик, козлик, дома ли Курушка царевна? — спрашивают поезжане.
— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.
И другая лошадь ехала — спрашивали.
И третья — спрашивали.
И сам Цапарь — спрашивал:
— Козлик, козлик, дома ли Курушка царевна?

— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.
Так и проехали.
А козлик с царевной дальше помчался.

* * *

Цапарь приехал к царскому двору, выговаривает:
— Что же ты, Курушка, что же ты, царевна, не встречаешь меня, не кланяешься?
Да в горницу.
А в горнице стоит за столом обряженная —
не кланяется.
Ближе подошел Цапарь —
все ответа нет.
Да как бросится —
клюка и упала.

* * *

Обманут Цапарь!
Надули колдуна!
Стал Цапарь разыскивать царевну, весь дворец обошел —
нигде не может найти.
Догадался и поехал в погоню за козлом вслед.

* * *

Говорит царевна:
— Козлик, козлик, припади к матери сырой земле: не едет ли Цапарь за нами?
— Едет, едет, едет и близко есть.
Царевна бросила г р е б е н ь:
стань лес непроходим,
чтобы не было птице пролету,
зверю проходу,
Цапарю проезду,
впереди меня будь торна дорога
широкая!
Цапарь приехал — Цапарю застава — лес.
Скликнул Цапарь всю чертячью силу;
навезли топоров, пил,
секли, рубили, просекали дорогу.
Расчистили дорогу и опять Цапарь погнался за Курушкой.

* * *

Нагоняет царевну.

— Козлик, козлик, припади к матери сырой земле: не едет ли Цапарь за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила к р е м е н ь:

стань гора непроходимая до неба,
чтобы не было птице пролету,
зверю проходу,
Цапарю проезду,
впереди меня будь торна дорога
широкая!

Гора и стала.

Скликнул Цапарь всю чертячью силу.

Стали сечь да рубить.

Просекли дорогу.

И снова погнался Цапарь за царевной.

* * *

— Козлик, козлик, припади к матери сырой земле, не едет ли Цапарь за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила о г н и в о:

стань огненна река,
чтобы не было Цапарю проезду!

Приехал Цапарь — нет проезду — горит река.

Кричит Цапарь царевне:

— Брось мне, царевна, твои башмачки, я — Цапарь, я не возьму тебя замуж.

Царевна бросила башмачки.

Сел Цапарь и поплыл.

И доплыл до середки реки — и утонул.

А Курушка царевна поехала в другое царство и там вышла замуж за морского разбойника.

Жадень-пальцы

Были три сына. Жили они с матерью со старухой. Жили они хорошо, и добра у них было много.

Старуха мать души не чаяла в детях.

Только и думы у старой, что о детях —

чтобы было им жить поспокойней, побогаче, повеселее!

И задумала старуха — помирать ведь скоро! — захотелось матери еще при жизни благословить добром сыновей, добро разделить —

каждому дать его часть.

И разделила мать добро свое поровну всем — все сыновьям отдала, а себе ничего не оставила.

Что ей добро, богатство, зачем оно ей на старости лет — помирать ведь скоро! — как-нибудь век доживет, не оставят, небось, любимые детки, дадут ей угол доживать свой век.

* * *

Сыновья получили добро — не разошлись.

Все вместе дружно остались жить, как наперед вместе жили.

Только матери старухи уж никому теперь не надо.

Гнать ее не гонят, да лучше бы выгнали:

трудно, когда ты не нужен!

Сели сыновья обедать, а никто за стол не посадит матери.

Лежит мать на печке голодная.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал!

* * *

А проходил о ту пору по селу старичок-странник, зашел старичок в избу к братьям —

хлебушка попросить.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.

Старичок и спрашивает:

— Что же это так, сами едите, а матери не даете?

— А нам ее никому не надо! — отвечают сыновья, знай себе ложкой постукивают.

— А продайте, — говорит старичок, — коли не надобна.

Братья к страннику — живо все из-за стола выскочили.

— Купи ее, дедушка, купи, сделай милость! Лишняя она, обуза нам с ней.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.

— А выведите ее, робятки, за забор, там и денежки получите!

Сказал странник, пошел из избы — вон из избы пошел.

* * *

Братья к матери.

Стащили старуху с печки, поволокли:
двое под руки,
третий сзади.

Вывели из избы старуху да к забору.

И уж там, за забором, хотели они от нее отступиться —
а рук и не могут отдернуть.

Старуха приросла к ним.

А с тех пор и живут так, не могут освободиться:
сами едят и мать кормят.

Чудеса

Промышлял Гурьян охотой, целый день ходил, убил куницу. К ночи приходит он в лесную избушку.

Думает себе:

«Переночую, а завтра домой!»

Засветил огонек, оснимал куницу —
мясо под лавку,
шкуру на стену сохнуть.

Поужинал.

Сидит так, на шкурку смотрит.

А шкура вдруг зашевелилась и пошла по стенке к двери, трепыхтает, выйти не может.

А из-под лавки кунья морда без шкуры.

— Подай, — говорит, — мне шкурку!

Смотрит Гурьян, глазам не верит.

А куница уж наполовину высунулась из-под лавки —
красная.

— Подай, — говорит, — мою шкурку!

И чувствует Гурьян, встать он никак не может, ноги деревенеют.

— Подай мне шкурку! — вылезла вся куница, у, какая!.. — добром не дашь, нет, сама возьму.

Гурьян кое-как поднялся, добрел по стенке до двери, снял шкуру, да на пол ее.

— Что за чудо, что за диво!

А куница спряталась, только хвост торчит —

помахивает:

— Какое это чудо, какое диво, вот как было под Новгородом в Песочках у Мирона, это так чудо!

* * *

И не помнит Гурьян, как заснул, как ночь пришла, а наутро просыпается:

нет ни шкуры, ни мяса.

Так ни с чем домой и вернулся.

«Пойду, — думает, — под Новгород, отыщу в Песочках Мирона, разузнаю, что у него за чудо счудилось?»

Дождался весны, пока дорога пала, насушил сухарей и отправился в путь.

И отыскал Гурьян под Новгородом Мирона.

Выпросился ночевать. Разговорились об охоте.

И рассказал Гурьян Мирону про куницу и что ему куница-то про Мирона сказывала.

— «Какое это чудо, какое диво, вот как было под Новгородом в Песочках у Мирона, это так чудо!»

— Э! — говорит Мирон, — я самый и есть.

Гурьян и стал его просить рассказать, да за Мироном дело не стало.

* * *

Пошел я за охотой в осеннее время. Ходил с неделю, ничего не убил.

Ну, в печали-то я и взгорячился:

— Хоть бы, — говорю, — нечистый попал, черта б убил!

А он — тут, как есть.

— А, — говорит, — Мирон! — руку сует.

Руку-то я за спину, да за ружье — очень перепугался! — хотел выстрелить, а ружье и выпало.

— Хотел убить, а? — смеется, глаза наставил, инда мороз по коже.

— Да, — говорю, — убить хотел.

— Убил? — смеется, — тебе домой без меня не попасть!

— А нешто, — говорю, — я далеко гораздо от дома?

— Да тебе домой век будет не сойти, помрешь на дороге, не видать дому.

Я к нему:

— Не выведешь ли, сделай милость!

— То-то выведешь! А убить хотел? Хотел? — да глазами так и сверлит, хоть провалиться, — ну, ладно, так и быть. Садись мне на плечи, да крепче.

Я и сел на него, захватился за шею —

деревянная такая.

— Да узнавай свое место, смотри! Узнаешь, да удержишься, будешь дома, а нет — не видать родимого дому никогда.

И понес.

Ровно на крыльях, так и понеслись.

Летели, летели.

Вижу сад, узнал, да за дерево и ухватился.

— Старуха, — кричу, — снимай меня с дерева!

— С какого дерева? — слышу голос старухин, — ты за полати держишься!

— За дерево держусь, в саду я!

И вижу старуху — крестит.

И верно, держусь за полати.

Огляделся, — в избе, и все благополучно.

И с той поры отстал ходить за охотой, будет!

Клекс

Из всех дней первый — Пасха.

В ту святую ночь стоит сама земля раскрытая.

Отправился Семен к заутрене, а идти ему было на погост мимо озера.

Вот и идет он берегом, а там, на другом берегу, какой-то так к о л ы ш е к из воды лукошком что-то в лодку таскает.

«И кому в такую пору, — думает Семен, — в воде бултыхаться!»

Тут в колокол ударили и тот колышек вдруг пропал.

* * *

Перекрестился Семен, прибавил шагу, обошел озеро и прямо к лодке.

А в лодке полно клексу.

«Эка невидаль, чешуя рыбья! Али взять?»

И набрал в карман клексу и в церковь.

* * *

Хороша на Пасху служба, не ушел бы из церкви.

Похристосовался Семен, освятил паску и домой разговляться.

Шел в обход озером мимо самого того места, а уж лодки не было:

ни лодки, ни клекса.

Так домой и вернулся.

* * *

Сел Семен за стол, закусил паски, да хвать за карман — вспомнил! — а там звяк серебро.

Вот какой клекс серебряный!

И с той поры обогатился Семен.

И с той поры на озере, чуть тихий час, завоет кто-то жалобно —

Ну, да Семена больше не заманишь ни в лес, ни к озеру —

на мешках сидит на серебряных.

Небо пало

Ходила курица по улице, вязанка дров и просыпалась.

Пошла курица к петуху:

— Небо пало! небо пало!

— А тебе кто сказал?

— Сама видела, сама слышала.

Испугался петух.

И побежали они прочь со двора.

Бежали, бежали, наткнулись на зайца.

— Заяц, ты, заяц, небо пало!

— Тебе кто сказал?

— Сама видела, сама слышала.

Побежал и заяц.

Попался им волк.

— Волк, ты, волк, небо пало!
— Тебе кто сказал?
— Сама видела, сама слышала.

Побежали с волком.

Встретилась им лиса.

— Лиса, ты, лиса, небо пало!
— Тебе кто сказал?
— Сама видела, сама слышала.

Побежала и лиса.

Бежали они, бежали. Чем прытче бегут, тем страху больше, да в репную яму и попали.

* * *

Лежат в яме, стерпелись, есть охота.

Волк и говорит:

— Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

— Лисицыно имя хорошо, — говорит лиса, — волково имя хорошо, зайцево хорошо и петухово хорошо, курицыно имя худое.

Взяли курицу и съели.

А лиса хитра:

не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк опять за свое:

— Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

— Лисицыно имя хорошо, — говорит лиса, — волково имя хорошо, зайцево хорошо, петуховое имя худое.

Взяли петуха и съели.

А лиса хитра:

не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк прожорлив, ему, серому, все мало.

— Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

— Лисицыно имя хорошо, — говорить лиса, — волково хорошо, зайцево имя худое.

Взяли съели и зайца.

* * *

Съели зайца, не лежится волку:
давай ему еще чего полакомиться!
А лиса кишки лапкой из-под себя загребает —
И так их сладко уписывает, так бы с кишками и самоё ее съел.
— Что ты ешь, лисица? — не вытерпел волк.
— Кишки свои... зубом да зубом... кишки вкусные.
Волк смотрел, смотрел да как запустит зубы себе в брюхо — вырвал кишки —
да тут и околел.
— Что курица, что волк — с мозгами голова!
Облизывалась лиса, подъела все кушанье, выбралась из ямы и побежала в лес — хитра хитрящая.

Облаежа

Жила-была лисичка-сестричка, воровка страшная, а пуще всего гусей, утят да кур любила.

Уворовала раз гусака, съела и кишочки оставила, сидит, перебирает от нечего делать.

А проходил мимо волк — гораздо отощавши.

— Кумушка, — просит волк, — дала б мне сладких кишочков: смерть есть охота.

— Ату! кум, нешто тебя, облаежу такого, кишками накормишь! Кишки — на загладку. Вон попов Сивка пасется, заведи его в лес да и съешь.

— Да он привязан.

— Ну, так что, а ты отвяжи.

— Да он убежит.

— Зачем убежит! Оберни веревку вкруг себя, он и сам за тобой пойдет.

— Ну, ладно.

* * *

Волк послушал лису, отвязал веревку, окрутил себе вокруг брюха и пошел.

Только не волк Сивку ведет, а Сивка волка.

И все ничего, а как увидел Сивка волка, испугался, да бежать —
и волка за собой — так и волочит.

— Кумушка, кумушка! — вопит волк.

— А ты, кум, ногами шибче бори, бори! — кричит лиса.

— Не, кумушка, бори не бори, а бывать на поповом дворе.

И покуда бежал Сивка, волк и душу Богу отдал.

* * *

Приходит к лисе медведь и гомонит.

— Лисичка-сестричка, не по закону ты поступаешь. На что ж ты волка-то подманула?

А лиса ему:

— Ну, так что! Дураков учить надобно.

Заклад

Заспорил бес с ангелом —

кого люди больше слушают?

Бес говорит:

— Меня.

Ангел:

— Меня.

Спорили, спорили и ударились об заклад: на столько там подземных и надземных царств, по-своему,

а биться до трех раз.

Разлетелись и за дело.

* * *

Ангел принес людям Святырь,

а бес — пёх карты.

Святырь на божницу положили и за карты —

и целые сутки резались, пока не подрались.

Что делать?

Полетел ангел к райскому древу, набрал ладана, с ладаном вернулся к людям,

а бес возьми да и подсунь Жуков.

И сейчас же весь ладан променяли на махорку.

Дело плохо.

* * *

Устроил ангел пир, большое угощение: пей, ешь, покуда ног на лавку не вздынуть. Уж, кажется, сыты, больше и в горло не лезет, тут бес возьми да и высыпь на пол орехов горстку —

бросились за орехами подбирать и такую драку затеяли, в кровь.

Будет!

Так бес и выиграл у ангела его подземный и надземный заклад.

Находка

Жил-был дед и было у деда двое внучат:

дед пас скот,

внучата в школу бегали.

Пристали ребятишки, просят деда:

— Дедушка родимый, сходи за нас в школу, мы за тебя пасти будем.

А был дед до внучат жалостлив и согласился:

забрал сумку да книжки и в школу.

А внучата скот в лес погнали — то-то забава!

* * *

Кончилось в школе ученье, стали расходиться по домам, поплелся и дед —

— за книжкой-то сидеть, не скот пасти!

Идет дед дорогой, споткнулся, глядь — мешок.

Посмотрел, думал, так чего, а там в мешке — деньги!

Вот так находка!

«То-то, — думает, — ребятишкам теперь гостинцу накупит, будет праздник!»

С находкой и вернулся домой.

А там и внучата вернулись из леса, изморились —

— скот-то пасти, не книжку читать!

Дед им ни слова, и никому.

* * *

А прошел день, стали по селу искать:

— Не нашел ли кто мешка с деньгами?

«Ну, — думает дед, — пропали гостинцы!»

А ничего не поделаешь:

и жалко да нельзя!

И заявил:

— Я нашел.

— Как?

— Когда?

— Где?

— Да вот... когда в школу-то ходил...

— Эх, дедушка, — не дали старику и слова кончить, — давно это было, коли ты еще в школе-то учился! Владей находкой: то не наша потеря.

Так мешок у деда и остался — находка!

Гостинцев-то ребятишкам — то-то праздник!

1905—1919
1922
Charlottenburg

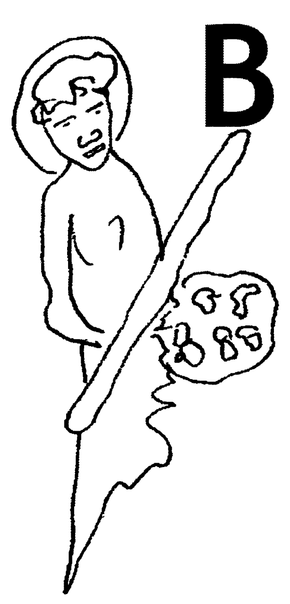
НЕРУССКИЕ СКАЗКИ



АРАБСКИЕ СКАЗКИ



Заваль на заваль



Всякий день по утрам сын ходил на базар: продаст, что с отцом за день сделают, купит матерьялу, а на остальные еды. Так и жили в обрез, ни вперед, ни назад.

Однажды, когда, продав товар, Айюб выбирал материал, подошел какой-то и попросил у него милостыню — и не мог отказать Айюб и отдал нищему всю свою выручку. Вернулся он домой с пустыми руками: ни дела делать, и есть нечего.

Кое-как день провели и ночь прошла. А наутро забрал Айюб, что нашлось в хозяйстве из завалящего, какие-то дырявые две кастрюли, и пошел на базар. Только кому нужна такая дрянь? А все-таки стал, ждет покупателя. Да никто и не смотрит.

И вдруг проходит рыбак — а рыба у него ржавая, раздутая и такой дух — все сторонятся.

— Давай, — говорит, — меняться: заваль на заваль.

А Айюб думает себе: «Что ж, рыба хоть и негодящая, а коли изжарить... Лучше хоть что-нибудь негодящее, чем — ничего!»

И поменялись: рыбак ему рыбу, а он ему кастрюли.

А это был джинн, которому накануне Айюб отдал все свои деньги.

Принес Айюб домой рыбу, а и показать совестно. А как взрезал — и глазам не верит: в брюхе у рыбы жемчужина.

— Посмотрите, — показал отцу, — какая!

Отец осмотрел и видит: жемчужина цельная, не просверленная.

— Дар нечеловеческий, — сказал отец, — милость Божия.

И за эту чудесную жемчужину дал богатый сосед большую цену. И всё у них стало: и матерьял, и работа — и стали они жить куда! — уверенней, и завтрашний день не стал им угрозой.

Лепешки

Было такое повеление от царя, чтобы не подавать милостыню — а кто подаст, тому отрубят руки. И все послушались, потому что кому же не жаль своих рук! Но нашлась одна, когда пришел в ее дом нищий, пожалела его и подала ему две лепешки. Дошло до царя — и ей отрубили руки.

В то время царь задумал жениться и не знал, кого ему выбрать в жены. И мать царя указала ему на эту безрукую: из всех она была самая красивая. Царь женился на ней. И родила она сына. Жили они в любви и дружно, но много было завистников и оклеветали ее, а царь поверил и прогнал ее от себя с ее сыном.

Она шла по пустыне, несла на плечах свою ношу. От печали и зноя очень ей пить хотелось. Она нагнулась к ручью и уронила сына, а поднять не может. В отчаянии посмотрела она на небо — никаких слов у нее не было: ни мольбы, ни проклятия; одна смерть могла избавить ее от этой муки!

И видит: подходят какие-то двое — очень странные, словно и не люди. Посмотрели они на нее, точно проверили, и говорят, называют ее по имени.

А она и ответить не может: все слова сожглись! — а только глазами показала им на ребенка. И они поняли, подняли его с земли и посадили ей на закорки.

— Ты хочешь, чтобы у тебя были руки по-старому? — спросили они.

Она безнадежно наклонила голову.

И вдруг увидела свои руки и, не веря себе, потрогала руки сына, уцепившиеся ей за шею.

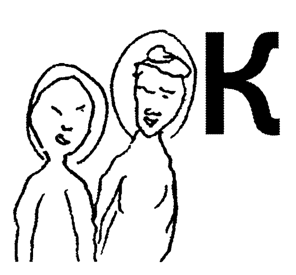
— Кто вы?

Она была уверена, что эти чудесные милосердные не люди — либо святые, либо мудрые джинны.

— А мы лепешки, — сказали они, — те самые лепешки, которые подала ты нищему: пожалела человека, а про себя забыла.

НЕГРИТЯНСКИЕ СКАЗКИ

Рыба



Которую рыбу ест человек и звери, не была когда-то такой самой рыбой, и никому в голову не пришло бы ни так, ни бранно отбрыкнуться: «экая ты, рыба!» И не в море, не в озере, не в речке жила рыба, и плавать не умела, и не молчала. Рыба жила на земле с человеком и зверями, а говорила, как человек и звери.

Жил-был рыбец, друг леопарда: с леопардом дружила рыба! И по всему Калабару шла молва о дружбе двух самых сильных — рыбца и леопарда. Часто в джунглях видели рыбца и леопарда — двух братьев. И дом леопарда был домом рыбы. А была у леопарда жена. И полюбилась рыбцу жена леопарда. И рыбец приходил к леопарду, когда леопард уходил из джунглей. Ничего не знал леопард, и не узнать бы. А ходила в дом к леопарду старуха Свекла. Глаза у карги ничего не видят — или высмотрела она носом? Шепнула карга леопарду: «Какой твой друг рыбец — друг! хороша вера! с твоей женой...» Леопард не поверил: невозможно! и всё, что хотите, только не это! А Свекла шепчет, Свекла учит, Свекла тычет: «Путается — видела — сам увидишь!»

Леопарда не было в джунглях, рыбец гостил у леопарда. Ночью внезапно вернулся леопард в джунгли. И уж не мог не поверить: леопард застал жену у друга. Что ему остается? — убить? Но вера убита и рука не подымается на друга. Он не знает: что надо? А что-то надо: так такое не проходит. Леопард пошел к царю Ейо. Рассказал царю о своем друге: как обманул

его друг, и что ему делать? простить он не может, но и карать — не знает.

Мудрый был царь Ейо, царь над всем Калабаром. Ейо собрал сход: люди и звери. И велел рассказать леопарду о рыбце-друге. Всё без утайки рассказал леопард: как он верил — не мог наговору поверить! — и вот убедился. А рыбец молчит: слова немеют, да и где найдешь такое слово — защитить измену: обманул друга! И сказал царь Ейо: «Леопарду быть на земле, а рыбцу жить в море: и будет земля ему смертью. Кто бы и где бы ни изловил рыбу, убей и съешь». И пошел леопард в джунгли, а рыбец поплыл рыбой в море.

С той поры живет рыба в море, а на землю ей ход закрыт — без воды умирает, и нет у ней голоса — немая плывет. И все ловят рыбу: и человек, и звери, убивают и едят.

Черепаха

Жил-был царь, не простой, звери покорялись ему. И был у царя единственный сын — Экпенион. Когда вырос Экпенион, дал ему отец в жены пятьдесят юных невест — и ни одна не оказалась по сердцу. Экпенион так и сказал отцу: «Ни одна не люба, ни одной мне не надо». Разгневался царь и издал декрет: «Если бы оказалась в его царстве девушка красивее невест царевича и царевич полюбит ее: и ей, и отцу ее, и матери ее — смерть!» Это слышали люди и звери, и всякий намотал себе на ус грозное царское слово. А жила-была черепаха. И была у черепахи единственная дочка — Эдэт. И черепаха и муж ее черепах очень встревожились. «Ничего не остается, мать, — сказал черепах, — такая наша судьба. Тюкнем-ка тихонько нашу черепиченку, много ль ей надо! и выбросим в кусты. А то ведь голова одна, и хвост один, влюбится в нее царевич, и ссекут голову — и тебе, и мне, и ей». А черепаха не согласна: «Нет, Скороходыч, надо выждать: переменится». И припрятала черепиченку. И три года держала она ее в скрытии — три года никто не домекнулся, что у черепаха и черепахи растет дочка.

Ушел черепах с черепахой со двора, осталась дома Эдэт. А случилось Экпениону ездить на охоте, едет он мимо черепашьего дома. И видит: на изгороди сидит маленькая птичка, ну такая чудесная, и куда-то пристально смотрит, а эта птичка залюбовалась на Эдэт и уж ничего не замечает. Экпенион пустил

стрелу и попал прямо в птичку — убитая упала она на изгородь. Послал Экпенион слугу отыскать птичку, а слуга и наткнулся на Эдэт: никогда еще ничего подобного он не видел! — забыл и о птичке, скорее назад, и рассказал Экпениону, какую красавицу он встретил. Экпенион за изгородь и, как взглянул на Эдэт, тут и влюбился. И долго проговорили они — и Эдэт согласилась стать его женой.

Вернулся Экпенион с охоты и дома ни слова, что полюбил черепахову дочь и другой жены ему не надо. А наутро взял у царского управказа, который царской казной управляет, шестьдесят штук материй и триста бронзовых лионов и отослал черепахе. А за послом и сам. И объявил, что хочет жениться на Эдэт. Черепах испугался: ведь случилось как раз то, чего он до смерти боялся. «По декрету, — сказал черепах, — и меня, и черепаху, и нашу дочку царь казнит!» — «Нет, Скороходыч, — этого не будет, — сказал Экпенион, — скорее меня убьют, но ни тебя, ни черепаху, ни Эдэт никто не посмеет тронуть». И черепах согласился. А Экпенион пошел домой и рассказал матери. «Узнает царь, — встревожилась мать, — казнит и тебя: ты его волю нарушил!» Но самой-то ей по сердцу — она согласна. И пошла к черепахам — понесла и денег, и материй, и пальмового масла — выкуп за невесту: чтобы черепаха не отдала другому свою дочку.

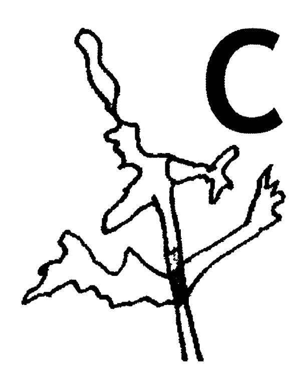
Пять лет ходил Экпенион женихом. И когда выросла Эдэт, сказал отцу, что нашел себе невесту черепаху: «Черепахова дочка Эдэт». Разгневался царь и созвал сход — люди и звери: судить сына. Велит привести Эдэт. И когда появилась Эдэт, все были поражены ее красотой. «Я созвал вас сына судить: он нарушил мою волю. Но когда я увидел Эдэт, не могу его карать за выбор!» И царь простил сына. И все — и люди, и звери — одобрили царя. И велел царь восьми эгбосам идти во все концы царства и объявить: «Если бы оказалась в его царстве девушка красивее невест царевича и царевич полюбит ее, ни она, ни ее отец, ни ее мать не будут казнены». И дал эгбосам денег и пальмового вина. И в тот же день сыграли свадьбу. Пятьдесят дней длился пир: пять жареных коров и вдоволь сладкой фуфу и пальмового масла, и по всем перекресткам горшки с пальмо-

вым вином: пей, сколько душа возьмет. День и ночь шли пиры и пляски. Когда же кончился пир, царь отдал полцарства старой черепахе и триста рабов в помощь; и Экпенион дал ей двести женщин и сто девушек для работ. Были черепахи бедные из бедных, а стали богатыми — первые после царя. А когда помер царь, сделался царем Экпенион, а Эдэт — царицей. И всякий — человек ли, зверь ли — понял тогда мудрую старую черепаху. И с той поры слывет черепаха премудрой среди людей и зверей.

БАСАРКУНЬИ СКАЗКИ

Подкарпатские

1. Басаркуны



Свинья или корова — ну, а если свиней поблизости и в заводе нет, а она у тебя невесть откуда, около твоего плетня трется? Или корова — коров давно загнали в коровник, а она, глядь, корова-то по саду ходит! — и вот ты за ней бегаешь, загоняешь, да не поддается! и уж не ты, она тебя загоняет, и вдруг как в воду. И не в свинье дело и не в корове, а кто под свиньей и коровой, вот в чем дело! Тоже и гусь. Тоже и баба с хвостом: в избу вошла баба — баба как баба, нос шишечкой! — а из избы вышла — у этой самой бабы, сказывают люди, видела хвост соседка! Тоже и конь. Тоже и так...

Так идет раз Михайла ночью — из гостей возвращался домой в Кривы, и слышит: на дереве звук. Прислушался: шепчут. А как глянул: а на дереве-то четыре бабы: три из Крив, узнал своих! четвертая чебринская, из соседней деревни, и с ними какой-то, уж кто его знает. И они его увидели. Тут лег он на землю и затаился. И марно, чутко ему, как во сне.

Слезли они с дерева. «Слышь, — говорят, — никому не сказывай!» А уж он — какую божбу помнил, всё — и чёртом и месяцем — всем побожился.

Не верят. Бабы эти кривские, свои-то, так и ерепят, так и наступают: чтобы, значит, задавить его тут же на месте без всякого снисхождения. Спасибо той чебринской, Марье. «Чего вы, — говорит, — дайте ему спокой: всё равно, коли выдаст, мы его... да мы ж его за его же столом задушим!» Пощипали, полягали и опять полезли на дерево.

Встал он с земли, встряхнулся и пошел своей дорогой.

А на другой день встречает у корчмы ту чебринскую Марью, купил ей бутылку водки.

— В благодарность, что отстояла.

— Не стоит, — сказала Марья, — у нас тоже есть совесть: — зря погубить человека, добро потеряешь.

И он спокойно пошел домой. А навстречу: идет по дороге белая свинья; прошла свинья — идет белый конь; и конь прошел — идет белый гусь... — а это они самые, шли на свое басаркунье сходбище! И в свинье узнал он чебринскую Марью, вот они какие!

Михайла и чёрта видел!

Шел он раз мимо корчмы. А было темно, ветер, дождь — жуткий час. И видит: стоит под дверью: шляпенка лодочкой — муха сдунет, вязаная черная жилетка, и сапоги в руках: никто, как чёрт!

2. Упырь

Ни баба с хвостом, ни чёрт с сапогами, ни басаркунья порода, ни свинья, ни корова, ни конь, ни гусь, а упырь! Инцик упырей не раз видел и знает все их повадки.

Нанялся Инцик сторожить на реке ночью плоты. Пошел на реку и видит: на самой глубине стоит по пояс черный, а ногами упирается в самое дно! Инцик на попятный. Еще не спали, взял с собой кого-то, что сбивал бревна, и повел показать. А пришли на то место, смотрят — и уж нет его, и не человек, корч — и качается: корчом обернулся.

А то ночью ж шел Инцик толоком. И вдруг под плотом как затрещит! — и вылезает — и прямо на толок. Инцик затаился — а тот как начал коней гонять, сам ржет, как конь!

— Будет упырь греться около огня, — говорил Инцик, — на один метр дальше от огня ничего не сделает. А дай ему хлеба и рыбы, и он пойдет прочь.

Пробовал Инцик говорить с упырем, но такой страх его взял, все слова забыл.

Едет Инцик лесом — вез рыбу на базар — а перед ним, откуда ни возьмись, какой-то, сразу-то и не узнать.

— Куда везешь?

— На базар.

А тот понюхал воз:

— Ну, — говорит, — и рыбка! Сколько запросишь, столько и дадут. Да не забудь, купи ты мне какую одежонку.

Инцик дал ему рыбы и дальше поехал. И по дороге распродал весь воз. И так выгодно, никогда такого не бывало: подойдет который, понюхает, и, не торгуясь, — получай деньги, давай товар!

А ведь и рыба-то не скажешь, что первый сорт. И с чего это? И вспомнил он про одежонку, что обещал купить, и испугался: купишь — пропадешь, не купишь — пропадешь.

Думал Инцик и так и этак и решил спросить попа. И рассказал, как встретил какого-то по дороге, и как тот посулил ему удачу —

«И всё так и вышло!»

А поп и говорит:

«Да ведь это ж упырь! Но раз обещал, должен купить».

И как будто стало спокойно: покупать так покупать! И уж он на толкун ткнулся —

И опять взяло раздумье: стало быть, это упырь! А что рыбы ему дал, это ничего, но одежду? — про это что-то не слышно. И какое платье, фасон упыри носят? — купить-то купишь, а не потрафишь, и опять пропал!

И стало ему так: лучше бы и рыбы не продал, а то гнилью людей смутил, и хоть домой не возвращайся! Трезвый, и не только в корчме посидеть, а норовил от соблазна обходить корчму, хотя бы и крюку дать, а тут пошел в корчму. А там полно — базар. И рассказал он, какая ему удача.

— Весь воз распродал, и так выгодно, никогда и не думал.

А те требуют угощения:

— Спрысни!

Поставил он штоф. И когда угостились — стало свободно — он и открылся, что посулил упырю одежонку, и как ему быть:

— Покупать или нет?

— А как же можно? Человек тебе добро сделал, а ты его не уважишь. Конечно, покупать.

И так это они дружно сказали: «покупай!» — Инцик, не выходя из корчмы, сторговал у одного гимнастерку. Заплатил деньги. Спрыснули покупку. И навеселе поехал он домой. А уж ночь.

И ехал ничего, да на том самом месте, где поутру упыря встретил, видит: как из-под земли стал, ждет. Инцик ухватил с воза гимнастерку, да не говоря ни слова, тычет ему — получайте! А тот рукой: не надо!

— В чем дело? — не понимает Инцик.

— А ты, — говорит, — зачем к попу ходил? Мне это неприятно. И не возьму, не надо! Хотел тебе семь слов сказать, а вижу — и одного не стоишь.

А Инцик: «оп» да «уп» — все слова-то и забыл. И не помнит, как домой вернулся.

— Упырь, — говорил Инцик, — человеку годен, как конь годен и пес годен. Кто рыбу ловит, дает упырю есть рыбу. И потом рыбы много будет, возом вози.

Инцик ловил рыбу и кормил упыря рыбой и никогда без рыбы домой не возвращался.

3. Сливы

Драли девки перья в избе. И был с ними Палкан да и еще кое-кто из парней. Вот девки чего-то перемигнулись да вон из избы. А видел это Палкан да тихонько следом за ними.

Тут одна как спохватилась:

— Никто — говорит, — за нами не вышел?

— Нет, — отвечает другая, — никто.

— А знаешь, — говорит, — чего-то мне спелых слив захотелось!

— Да на чем же нам съездить?

А Палкан всё слышит, только не понимает: куда это съездить?

А стояла на дворе зварыльня (котел, в котором белье парят) — они на эту зварыльню и вскочили. Ну, не будь дурак, и Палкан к ним — на краешек. А как засели — зварыльня и пошла — так и идет — как на моторе.

И очутились они в саду. Зима была, а тут всё зелено — деревья, трава, цветы. Девки соскочили и прямо на сливы. Тихонько и Палкан за ними и тоже на сливу, да целый сук со сливами и отмахнул, и себе под свитку. Наелись девки слив и опять на зварыльню — и он за ними. Притаился. А зварыльня пошла — и шла, как тогда в сад, без остановки.

Не успели и оглянуться, как очутились на том же самом месте у избы. И опять девки в избу — драть перья. И Палкан в избу.

И говорит Палкан парням:

— Ели, — говорит, — вы, товарищи, такие сливы? — Да из-под свитки этакий сук и вытащил — потряхивает, а сливищи, во! пуд!

Все так и ахнули.

А те девки поникли: поняли, откуда это он про сливы.

Одна Палкану и поманила:

— Подь, — говорит, — сюда.

Да за руку его, да из избы. И другая за ней.

— Хошь жить или не? — говорят.

— Чего? — говорит Палкан. — Жить или не?

— А вот чего, не! ты чтоб никому не говорил, что там с нами был и сливы ел, слышь! — да как огнем его по глазам, инда искры посыпались.

И с той поры Палкан, как воды в рот, и не только о сливах, а ни о каких фруктах слова боялся сказать. А затеят при нем фруктовые разговоры, он так глядит, будто и не слышит. А раз прошибся.

Случилось ему в дороге: попросился он на ночлег, — и пустили. Хозяйка вдова, молодая, ну и пошли всякие фруктовые разговоры. А уж время позднее. Куда его девать?

— Иди, — говорит, — на подлавку.

А на подлавке во время их разговора чего-то всё дуркало: прислушаются — дуркает, точно кто сердится. Или это ревнивый ветер выл. Недолго думая, взял Палкан лампу и пошел к подлавке. И она за ним. Дурк прекратился. Но когда стал подыматься по лестнице, вдруг лампа загасла, а его как саданет — какие уж там разговоры! — чуть хозяйку не придавил.

4. Ожина

Жил-был человек, и было у него два сына. А был он басаркун. Да никто, даже дети его, про это не знали.

Нес старший сын с мельницы муку. По дороге старая пустая изба, заброшена, давно никто не жил. И странное дело: когда шел он на мельницу, ничего не видел в избе, а назад идет — а сидел он на мельнице не малый срок — время позднее, около пол-

ночи! — и видит: в пустой избе свет. Не утерпел, подошел посмотреть. Да как заглянул в окно — а там басаркунов полна изба.

Не лучина горит, нет и свечей, а набрали в сметье гнилушек, от гнилушек и свет. Видно: все стены обсели, тесно, уж и места нет, стоят: всякие! есть на человека похож, а то так ощипанный курячий зад; шепчут — собрание, видно! — шук да шепот сквозь тающий свет, как пар. И видит: за курячьим задом стоит отец. И все на отца:

«С тебя, — говорят, — Петр, жертва: чего-нибудь должен в дань дать!»

«У меня нет ничего, — говорит отец, — только два сына».

«Ну, давай сына! А не то сам пропадешь».

А пропадать-то, видно, никому не хочется: что человек, что басаркун — одинаково.

«Одного вам сына дам, — сказал отец, — завтра пойдет в лес за дровами, я обернусь ожиной, хряснусь ему на дороге, и, как будет он меня переходить, тут я его и загрызу!»

У! — как загудели — и гуд, как дым, заволок избу.

А тот как услышал, да скорее от окна и домой. Дома уж все спят, брат и отец. Это духом отец басаркунил, а тело его спит! Положил мешок и лег.

Поутру рано все встали — и отец, и дети.

Взял меньшой сын топор. А старший и говорит:

— Ты это куда?

— В лес дрова рубить.

— Ладно, ступай. Да хорошенько смотри себе под ноги. Увидишь ожину через дорогу, переруби ее топором.

— Хорошо, перерублю, коли увижу.

И пошел. Вышел в лес на дорогу. И так идет лесом — и видит: на самой дороге ожина, да такая кустатая — через всю дорогу, и вся-то в ягодах. Тут он вспомнил, что брат наказал — а топор у него вострый! — да как махнет топором и перерубил. А из ожины кровь — весь топор окровавил. Посмотрел: кровь! И дальше пошел. Глядь: идет брат.

— Пойдем, — говорит, — домой: наш отец помер.

— Что ты! утром ведь был здоров.

А тот и говорит:

— Я всё видел: не ожину перерубил ты, отца. А не переруби, тебя б он загрыз.

И рассказал: как в пустой избе ночью басаркуны и с ними отец на собрании решили.

— Наш отец басаркун.

А дома отец лежал мертвый — белый без единой кровинки.

5. Палка

Шел один человек ночью домой. А метель крутит, сви́стень — и в глаза и в уши. Подымался он на гору, село на горе, и слышит: музыка-скрипка: свадьбу играют! Издалека слышит. А поднялся в село: так и есть, свадьба. Он в избу. Народу богато! Песни. Поздравил он молодых честь честью. Отогрелся. И видит: кум сидит за столом. Он к нему:

«Куда, говорит, вы, кум, идете со свадьбой?»

«А к попу Ивану венчаться. А вы, кум, что поздно так идете?»

«Да задержался, кум: уж больно погода. Домой пробираюсь».

«Нет, я вам, кум, скажу: не ходите так поздно».

«Да чего, кум, я страха не знаю».

А тот наклонился, чего-то шепнул соседу.

И видит Василий, как сосед кума — а сидел такой прямой старик зеленый — осел и скользнул под лавку: вино, видно, ушибло. А кум тихонько сует ему в руку:

«Нате вам, кум, палку, да идите скорей: доведет. А придете домой, положите под лавку».

Взял Василий палку, пора уходить. Тут и народ поднялся.

Музыка — скрипка — песни — все вон из избы. Кум со свадьбой в одну сторону, Василий в другую.

И стал пробираться по снегу. Шел ничего — да вдруг как загарагачет — такой свист, хряс и лязг — ко-ло-кол! — не то бревна катают, не то доски рвут, а в загривок так и хлещет: так вот носом и ткнется в землю. Хорошо, что палка.

Музыка — скрипка — песни! Докатилась басаркунья свадьба до попова дома. Стучат, зовут попа — а нет ответа. Крепче, громче — не отвечает. И огня в избе не видно. Дверь рванули: пусто, нет попа дома. Как! дома нет? И ну рвать и метать: кто за косяк, кто за крышу. И лом и тряс, только солома взвырнулась и пучьями, хлеща кострикой, полетела.

Не помнит Василий, как и домой дошел.

И дома, как учил кум, положил он палку под лавку и к столу: ужинать.

— Жена, — говорит, — я видел нашего кума.

— Которого кума?

— Да Петра.

— Да где ж ты его видел? Ведь он помер!

Ну... а он мне палку дал, вон она под лавкой. Со свадьбой пошел к попу Ивану.

Тут жена так и всплеснулась: ведь и покойник кум басаркун! и поп Иван басаркун!

— Говорила я, не шляйся ты так поздно по ночам.

Поужинали, пошумели, легли спать.

На поле метет метель — во всю ночь мело.

А по избе шуршит: ходит Ночник — от стены к стене, от угла к углу; присматривается, принюхивается — вздохнет, заохает.

И видит Василий: из-под лавки вылез старик прямой зеленый — да это сосед кума, узнал Василий, эк его как скоробило! А старик осмотрелся и бочком пошел вдоль стены, в стену вперся, как клин, и пропал.

Не в ранний час поднялся Василий. Жена давно на ногах у печки! Схватился Василий, заглянул под лавку, палку проверить — а палки и нет.

— Жена, палка пропала!

— Ну вот, говорила тебе, будешь по ночам шататься... — и опять пошла мурзыкать.

Тут-то Василий и понял: какую такую палку дал ему вчера кум — не палку, басаркуна!

Это басаркун обернулся палкой, чтобы от других басаркунов схорониться: штрафной, видно!

А там слышут: поп Иван вернулся, да в дом-то ему не войти — крыша вся-то издергана, стоит изба не покрыта.

— Вот они какие: и своего не пощадили!

С той поры Василий всегда засветло домой возвращался, и никогда нигде в гостях не засидится, а на ночь куда — калачом его не заманишь: будет, пошатался!

6. Колесо

Под Юрья говорит отец сыну:

— На тебе, Иван, мартову поясину (в марте прядется такая). Не спи ночь, сторожи скотину: в эту ночь ходят басаркуны.

— А как мне узнать, что басаркуны?

— А всякий, кто будет идти к овцам — собака ли, кошка ли, или конь, или коза, а то, бывает, и колесом подкатит, и ты лови и вяжи за эту поясину.

— Хорошо, спать я не буду: постерегу.

Пришла ночь, не спит Иван: глазами в ночь — на сторожбе. И около полночи показалось: катит колесо — живо так бежит — прямо к овцам. Тут он изловчился, хвать за колесо да к дереву да за поясину и привязал. И опять глазами в ночь — не подкатит ли еще чего? — не спит.

Стало светать, петухи запели. И слышит: кто-то от дерева кличет — женский голос: просит отпустить. И нет колеса, а стоит, просит: «отпусти меня!»

И как совсем рассвело, видит он: Марья стоит, соседская: через рот, через нос поясиной к дереву привязана:

— Отпусти! отпусти! отпусти!

— А ты чего шла?

Та и призналась:

— Шла молоко брать у овец.

— Я тебя отпущу, — сказал Иван, — научи меня ворожить.

— А ты побожись, что никому не скажешь.

— Вот те крест! — побожился Иван.

Она ему и стала рассказывать про свое — басаркунье.

Солнце поднялось, идет отец. А девка так вся и скорчилась — через рот, через нос поясиной к дереву привязана! — стыдно.

— Эк, басаркуня! — крикнул старик. — Мое молоко воровать!

А та уж не просит, только смотрит:

«Отпусти!»

Старик долбнул ее хорошенько — чтоб вперед не шаталась в стадо.

— Побожись! — кричит.

— Вот те крест! — побожилась Марья.

Тогда развязали поясину, отвязали от дерева, отпустили девку.

И! пустилась без оглядки.

Иван всё рассказал отцу: и как колесо катилось, и к дереву поясиной, а из колеса стала Марья, и как Марья отпустить просила.

— Она — басаркуня: не то что колесом, она может козой, может кошкой.

И в другую ночь пошел Иван сторожить скотину. Через Марью он всё знает: отличит какого хочешь басаркуна, его не обманешь!

А наутро, когда пришел отец, — а сына нет. Покликал — нету!

А Иван — там, у дерева, где колесо привязано было, висит на поясине: задушила басаркуня!

Видно, тайна так не дается и никакой поясиной ее не взять.

7. Мавка

Мавки — никак не признать, но сзаду — не ошибешься: внутренности у мавки сзади обнажены. Человеку лучше не видеть, а басаркун увидит — и прямо на нее: есть! — не оторвется, пока не съест. Большая дорога не дана мавкам, а полями вдоль плетня — к плетню пристроен коровник — и ходят они за молоком или портить.

Шел Володарь от всенощной со Страстей, нес страстной огонек. Спустилась у него гача, он свечку на плетень: рукой ее от ветру застит, а сам за гачу. И накапало воску на плетень: ветер! хорошо еще огня не задуло. Поправил он гачу, отлепил свечку и пошел домой.

В ночь под Ивана Купала возвращался он с вечерницы, идет полем и видит — сквозь туман по плетню, как фонарь кто несет, белое катится. Окликнул — не отвечает. Он догонять — а быстро так катится, не поддается. Изловчился, хвать — а это девка! И рвется — а рука, как гвоздем прибита к плетню, кожу содрала, не может отодрать руку: это страстной воск ее держит! А только человеческой рукой можно! — просит: «освободи!»

Володарь ее за руку — и рука ее отлипла.

И как глянет она из тумана: всего его дрожью осыпало!

— Я тебе этого не забуду, — сказала она, — ты не просил у меня награды, так освободил, так вот тебе слово, нет, тайного слова не выдержишь, я дам тебе камень: с этим камнем тебе никто не страшен. Ты его должен носить при себе, никогда не расставайся.

Володарь положил камень в карман.

А она — как воздух выпила, обернулась белым облачным шаром и покатилась белым назад по плетню в туман.

Был Володарь не из смелых, а с этой ночи не знал страху. Сколько раз и в лесу и в поле, в дождь и туман огонь видел и шел на огонек, не боялся: а это басаркуны хлеб себе пекли или сходбище басаркунье. И сколько раз случалось встречать — глаза в глаза — не трогали, первые с ним раскланивались, а какой-то даже руку подал: колючая, как щетка.

И прошла молва: басаркуны Володаря любят!

Идет Володарь лесом — огонек мелькает. Подошел поближе: костер. А вокруг костра они — голые с бородами, хвостатые; пучки волос разных — и серые, и черные, и рыжие в разных местах торчат, и ладони в волосах. И такое творится, не до него. На костре жарят какую-то — и рвут ее: кто за ногу, кто за руку, кто за голову.

Хотел Володарь дальше идти, а к костру еще одну тащут — лица не видать, а со спины мавка, и так жалобно причитает.

Он снял с себя свитку да на плечи ей. И все отступили. И, как тогда из тумана, глянула она через дым — так его в жар и бросило! — обернулась огненным шаром — огненным шаром покатилась от костра по кустам.

А когда Володарь вернулся домой и лег, вдруг как костер осветило его: и он узнал — это стояла над ним мавка.

— Ты меня спас, — сказала она, — и за это я буду к тебе приходить всякую ночь, нет, человеку такое не вынести! — я буду к тебе приходить, обернувшись той, какую ты пожелаешь.

Володарь, губа не дура — выбирал самых гордых, да и таких, на кого лишь глазом скользнет или походя встретит, и та покажется ему. Все, всякая, со всей округи, из сел и деревень, приходили к нему: как ночь, погасит он свет, а она уж ждет из тьмы.

И всегда камень при нем и никогда не ложился он без камня. Но однажды он снял свитку — и в свитке остался камень. Потушил он свет и подумал на Ягну из Густы и увидел: но это была не Ягна, а кошка — кошка смотрела на него.

Он пугнул ее — она побежала. И стала бегать. И куда он ни взглянет — глаза на него, как иголки. Не может прогнать. Бегала она, бегала и убежала в стакан. И он за ней — в стакан же.

Надо было ему пройти огородами по той узкой дорожке, и тогда он попадет вон в тот дом. Он не один, с ним Ягна. Идут

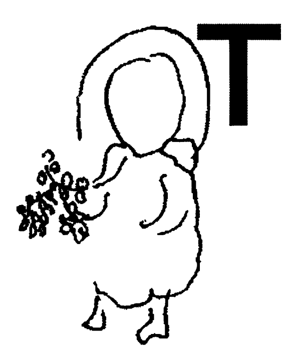
они между плетней. Темно. По дороге шалаш — там кто-то сидит, что-то делает над огоньком: огонек, как плошка. И слышит: его называют по имени. И хочется ему отозваться. А Ягна говорит: «Молчи, это ведьма, пропадешь!» А дальше опять шалаш — и там опять над огоньком что-то делают, и огонек, как плошка. И слышит: задирают Ягну. Он ее за руку: «И чего это, — говорит, — так страшно?» «А верно, или полночь, или близко», — отвечает Ягна. А мимо какие-то пробегают и так близко: вот зацепят и разорвут! А и идти-то всего ничего, вот и калитка — там сторож. И уж у самой калитки откуда ни возьмись бегут ребятишки — Володарь пригнулся — а один из бегущих рукой его по руке: рука загорелась — «припечатал!» Крикнуть хотел Володарь, но, как резина, сжало его, а в глаза ударили горящие плошки.

А наутро нашли: Володарь мертвый — задушила мавка.

КАБИЛЬСКИЕ СКАЗКИ



Первые слезы



Тогда проходил по земле ребенок — ни отца, ни матери он не знал — беспризорный. И никто не позаботится, никто не спросит, почему он печален? А был он очень печален, но не плакал. Слез тогда еще не было в мире.

Увидел его месяц: какой печальный и одинокий идет по земле. И когда пришла ночь, месяц спустился на землю, лег перед ним на земле. «Плачь, — сказал месяц, — но слезами не слези землю: от земли человек есть. Я возьму твои слезы на небо». И заплакало дитя: вся покинутость и безродность, всё одинокое кануло в слезах. Это были первые слезы.

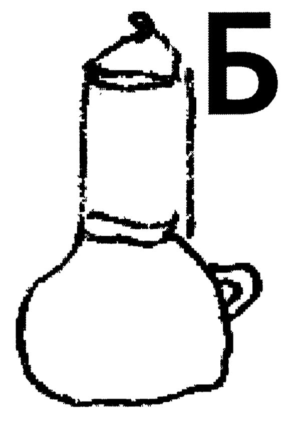
Первые слезы упали не на землю, а на месяц. «Слезы, — сказал месяц, — я даю тебе этот дар, и все тебя будут любить!» И, сказав это, месяц поднялся и поплыл по небу. А тот пошел по земле.

И с каждым днем всё ему по-другому: не было человека, кто бы ни взглянул на него — и все его одаряли. А на месяце видите темные пятна? — не темные пятна — первые слезы покинутого, — первые слезы мира.

БАСНЯ-СКАЗКА
Кабильские сказки

ШАКАЛ

I. Дурачьё



Бежал шакал мимо дерева, глядь — на дереве на самом шпыне гнездо: в гнезде жаворонок, а под жаворонком семь жаворонят — головки высунули. Окликнул шакал жаворонка. И говорит:

— Бросай-ка мне одного сюда! А не то залезу на дерево: и тебя и всех твоих паршивцев съем!

Со страху у жаворонка душа в пятки: птенца он шакалу бросил. Подхватил шакал жавороненка и гоголем побежал домой.

А на другой день опять тащится; и опять ему бросай или всему гнезду крышка. И получил другого птенца. Так и повадился.

И уж всякий день — шесть дён! — подходил шакал к гнезду, страхом стращал. И не семеро жаворонят — к седьмому дню у жаворонка в гнезде один остался.

Сидит жаворонок над жавороненком хмурый, наперился: и жалко и страшно — расставаться не хочется! А проходила теми местами лисица; носом крутя, щерилась, и видит: жаворонок плачет — чудное дело! — приостановилась:

— Чего-й-то ты, акуаба? никак плачешь?

— Э-эх, акуабе, как мне не плакать! Всякий день шакал ходит, страхом стращает: «не дашь, гычит, птенца, залезу на дерево и всех вас — ам!» Было у меня семеро, шестерых я ему бросил и вот дожидаюсь: пожалует, изволь отдать последнего — единственный!

— Шакал залезет на дерево?! Еще скажи: яйцо снесет! Да понимаешь ты, несчастный, шакал горазд по деревам лазить, что

и мы, лисицы, нам это против природы, никак не схитриться! А вот явится прожора, ты ему прямо так и скажи: «сам полезай!» — и больше никаких. Увидишь, какой шакал лазун. Смешно бояться и глупо плакать.

И лиса побежала — ей делов не оберешься.

А уж шакал тут как тут, идет: чего-то нажрался и ладит, шельма, жаворонком полакомиться.

— Ну, ты-ы! — кричит жаворонку, — бросай последнего, нечего там! А то залезу на дерево и тебя заодно.

— Сам полезай! — открикнул жаворонок.

— А чего же, и залезу.

Шакал оббежал дерево — высоко гнездо! — поднялся на задние лапы, уперся. Да как отбрыкнет. А не тут-то! Только о сук хвостом шарахнул.

А жаворонок ни жив ни мертв: что-то еще будет?

Шакал не растерялся, постойте! видел он, как из веток лестницы делают — а по лесенке куда хочешь, хоть на небо! И сейчас же ветки ломать. Сгреб охапку и за работу — и смастерил: лестница в самый раз! И полез. Но ветка хряснула, и шакал кувырк да мордой об пень.

А уж жаворонок облинял весь от страха и опять в слезы.

Летел над гнездом орел: что за причина: жаворонок плачет?

— Ты чего, акуба?

— Шакал! шакал стребовал. Шестерых сожрал, хочет последнего — единственный!

— Не бойся, я тебя в обиду не дам.

Орел принизился, всклекнул, и прямо к шакалу. А шакал бросил лестницу, да, поджав хвост покрепче, прыгает вкруг дерева, цапается — приноровиться не может.

— Чего это ты, ушен, стараешься?

— Как чего? — отсказал шакал орлу: — за пайком! Мне тут паек полагается: всякий день — жавороненок. Шесть дней получал аккуратно, а нынче жаворонок выдавать не желает.

— А хочешь, я покажу тебе такую землю, — сказал орел, — такую жавороночью страну: жаворонков там, как мух, и тебе и всему твоему кодлу не в проед будет.

— Жавороночью страну... — шакал языком прищелкнул, — жаворонок наше любимое лакомство. Покажи, львес, я с удовольствием.

— А садись на меня.

— А ты меня потом спустишь на землю?

— Конечно, спущу. Садись.

Залез шакал на орла, и полетели.

Шакал на орле о жаворонке забыл: ведь там их, как мух, — жавороночья страна!

Орел поднялся высоко.

— Ушен, посмотри-ка на землю, какая она тебе видится?

Шакал заглянул вниз:

— Красная.

— Это бараны, — сказал орел, — твоя жертва: ты их погубил однажды.

И поднялся еще выше.

— Ушен, посмотри-ка на землю, какая она тебе видится?

Шакал боязливо заглянул вниз:

— Белая.

— Это ягнята, — сказал орел, — твоя жертва: ты их погубил однажды.

Да еще выше понесся.

— Ушен, посмотри-ка на землю, какая она тебе видится?

А у шакала от страха в глазах черно. С тревогой заглянул шакал на землю:

— Черно! Совсем она черная.

— Это козы, — сказал орел, — твоя жертва: ты их погубил однажды.

И поднялся за облака.

— Ушен, посмотри-ка на землю, какая она тебе видится?

Но шакал не смел раскрыть глаз.

— Ничего не вижу.

— Так тому и быть!

Орел рванулся, и шакал соскользнулся с его плеч; не удержался да головой вниз, только в воздухе хвост зарулил.

В смертном страхе вспомнил шакал:

— Сиди-Абдель-Кадер-Джиляли, пастырь звериный! — взмолился шакал. — В озеро либо в стог! в озеро либо в стог! в озеро либо в стог! в озеро либо в стог!

И угодил в озеро.

В озере барахтался шакал. Пробовал прыгнуть — да не прыгнешь: вода под ногами. Заливает. И стал тонуть.

— Сиди-Абдель-Кадер-Джиляли, пастырь звериный! Я дам тебе меру зерна, спасай! утопаю.

А вода уж по губы.

И вдруг ткнулся ногой о дно. Шагнул, и еще шаг: мельче — по шейку — по пояс...

И выбрался шакал на берег. Отряхнулся.

— На, выкуси! Мне нечего дать тебе, Сиди-Абдель-Кадер-Джиляли!

Шмыргнул носом и побежал.

II. Свинья

Бежал шакал по дороге — после встряски пробежаться никогда не мешает! На дороге решето брошено. Шакал ткнулся лапой, поднял решето и отошел в сторонку. Там сел на солнышке — решето себе на колени.

— Ну и дурачьё ж! — мурчал шакал; а все-таки ни летать под облаками, ни по деревьям лазить он не может, да и доверяться всякой сволочи тоже не годится...

А шла мимо кабаниха; видит — шакал сидит, согнулся: не то книгу читает, не то молится.

— Что это ты, куманек, делаешь? — приостановилась свинья.

— Проходи, кума, не мешай! — отбрыкнул шакал и облизнулся: — не дадут сосредоточиться! Что, у тебя нет глаз, что ли: видишь, изучаю.

И еще усерднее согнулся над решетом и так замурчал, и вправду, по ученой части ударился.

«Ушен науку разрабатывает!» — уверилась кабаниха. И уж тихонечко подошла поближе.

— Извините, пожалуйста, кум, вижу: читаешь. Вот оно куда хватил: ты, значит, теперь ученым заделался? Хочу тебя попросить: семь у меня малышей, научи ты моих поросят книжки читать.

Шакал оторвался от решета.

— Что ж, тильта, это можно, — и опять уткнулся, — учить — это наше призвание!

— А много ль, примерно, требуется времени научиться читать?

— Как кому: дурака — дураком и помрет; толкового в неделю обработаю.

— Я их тебе пригоню, кум. Куда прикажешь?

— А валяй хоть сюда! — и шакал замурчал еще стервее: заниматься наукой — не по полю бегать!

А кабаниха за своими пошла за кабанятами: когда еще такой случай выдастся, а неграмотному ходить нынче и свинье не полагается! И вот уж назад жалует, и не одна: семеро сорванцов за ней — клыки белые молоденькие так и поблескивают, а хвостики — ниточки.

— Вот они мои все семеро, обучи, сделай милость.

Шакал взглянул из-за решета на поросят, не удержался — облизнулся большим облизом вкусным: вкусно хруптит кабаний поджаристый хвостик!

— А когда, кум, прикажешь мне наведаться?

— А я ж тебе сказал: через неделю. За неделю успеют, посмотришь, кума, как обработаю.

Кабаниха пошла домой одна.

Шакал отбросил решето: чего в нем? пробито и прутья, как зубья — брязг. И погнал за собой кабанят. Шестерых он поставил в закуток, а седьмого — в котел: полпоросенка на обед, полпоросенка на ужин: с хреном. Нажрался и завалился дрыхнуть: и сыт, и впереди целая неделя — сыта!

Всякий день лакомится шакал поросятиной: сегодня заливной, завтра жареной; всякий день по кабаненку выводил он из закутка, а шкуру, растянув, приколотил на дворике: шкура к шкуре рядком.

И полетели мухи на шакалий двор видимо-невидимо на свежую шкуру. И от мушиного шума и зуда такой шум поднялся — весь шакалий дом, как живой бум, забрумбунил. В седьмой день шакал последнего кабаненка прикончил. И семь кабаньих шкур висели на дворе у шакала мухам на утеху.

На восьмой день явилась кабаниха. Шакал вышел ей навстречу:

— Здравствуй, тильта! Как, кумушка, поживаешь?

— Спасибо, кум. Могу я моих ревезят посмотреть? Может, домой им можно?

— Одно тебе, кума, скажу: усердно засели за книгу! Лучше не мешать. А не такие они гораздые, как мне тогда показалось. С лица милые — в мамашу. А насчет смекалки — в отца. Муженек-то твой, видно, не таковский: не тебе чета.

— Хотя мой муж не так умный, как кому нравится, но все-таки не подлец, чтобы по нем, как по свинье, ехать! — обиделась кабаниха, но, нюхнув, раздумалась, — что греха таить, старый-то мой не очень гораздый: ни читать, ни писать, только хрюкает.

— Ну, это твоим детям не помеха. Недаром у них такая мамаша. Не хвастаясь, скажу: прилежания не занимать стать. Хочешь, кума, проверим?

— Очень бы хотелось.

— Пойдем сюда к дому: приложи ухо к двери. Собственными ушами услышишь, как здорово долбят уроки. Да, знаете... — шакал ощерился.

А кабаниха распустила ухо под дверью. А там — ну там такая долбня — ну такой шум и зум, ну как на свежей падали мухи.

— Что, говорил я тебе! каково?

Кабаниха от умиления всхлипнула:

— Очень, очень прилежны.

— Примешь ты их от меня не как дикую дрянь, а совсем порядочных и вполне приличных, образованных, со стажем, понимаешь?

— Очень, очень мне это приятно. А когда ж, куманек, прийти за ними?

— Да через недельку, кума. К тому времени они будут совсем в отделку.

— Спасибо, — довольная пошла кабаниха.

Кабаниха с глаз долой — шакал за работу.

Нимало не медля принялся он мастерить лазейку «на всякий случай» — с другого конца дома: неровен час, улепетнуть чтобы.

А кабаниха, как вернулась домой, и до того без детей заскучалась, нет сил сроку дождаться. День еще кое-как перебыла, а наутро — к шакалу.

Постучалась она в шакалий дом, никто не открыл ей. И принялась дубастить.

— Это я, кум, — кричала она, — я, тильта! отвори мне! Я пришла детей повидать.

Шакал, как услышал голос свиньи, да скорей через двор к лазейке. И юркнул незаметно.

Кабаниха кличет:

— Отвори! Детей повидать.

И никто ей не отвечает.

Постояла она, прислушалась: там брум и зум и зур, как мухи.

«Нет, это не мои дети: мои дети узнали б мой голос!»

Навалилась она всей своей грузью на дверь — и высадила дверь. Да в дом — а нет никого. Она во двор — и там никого. Шкурки висят — семь кабаньих шкур, а над ними мухи: зум и зур и брум. Это шкурки детей: узнала!

Так вот как обманул ее шакал!

Взбесилась кабаниха, бешеная бросилась она в шакалий двор, все углы обежала да в лазейку по следу шакала. Бежал шакал, что есть прыти, — кабаниха следом. Быстер шакал — бешеная свинья спорее. И всё быстрее хрюк, по пятам уж. И видит шакал: не уйти от свиньи.

На дороге нора, он в нору.

А кабаниха сзади тяп! — ухватила его за лапу и потащила.

— Чего ты, — кричит шакал, — за корешок-то тянешь? — Ты думаешь, лапа? Моя лапа рядом.

Свинья сдуру и выпустила лапу.

Лапу шакал подогнул, да хвост не успел. Кабаниха хвать за хвост его.

— Чего ты за корешок-то ухватилась? — кричит шакал. — Ты думаешь, это мой хвост?

— Да, — сквозь зубы сказала свинья, — да, я думаю, хвост.

Да как рванет — и оторвала у шакала хвост. И шакал провалился в нору. И там по проходам выбрался он с другой стороны на волю.

— Ладно ж! — кричала кабаниха, — упустила тебя, стервеца. Ну, да тебе от меня не уйти: меченый! Я тебя, бесхвостого, из тысячи узнаю. Я тебя, подлеца...

Обошла она всех своих родственников, обежала всех знакомых и приятелей. И всем и каждому одно свое о шакале — который шакал детей ее убил и которого — убить мало!

— Подлец, — кричала кабаниха, — ушен украл семь моих поросят и всех убил! и всех сожрал! Кто б и где его ни встретил, тут же его на месте и прикончить, мерзавца! Или меня покличьте, я с ним сама расправлюсь. Я ему, негодяю, оторвала его паршивый хвост: шакал бесхвостый!

И пошла молва по лесам, по полям, по дорогам: ищут кабаны среди шакалов бесхвостого шакала — от кабаньего клыка бесхвостому не уйти!

— Эх, дурачье! с хвостом ли, бесхвостого — голыми руками меня не взять! — Шакал упорно поглаживал себе то место, откуда хвост ему выдернули: все-таки это неприятно, и когда-то новый вырастет.

По дороге к мельнице большое фиговое дерево, давно на него шакал зарился: хорошо с винными ягодами чаю попить, неплохо и свежей смоквой полакомиться.

Только теперь не до чаю и не в лакомстве, другая забота: хвост — как никак, а бесхвостый всякому взарь.

Под угрозой кабаньего клыка стали и шакалы в своей компании шушукать: «который из нас, товарищи, бесхвостый?» И пришло бесхвостому на ум угостить хвостатых фигой.

Вот и скликал он шакалов под дерево на даровое угощение.

— Товарищи, подсадите меня на дерево, и я вам стрясу — всем будет по фиге.

— Не согласны, — заорали шакалы, — мы сами полезем на дерево.

— Никак невозможно: первое дело — ветки не выдержат, а кроме того — подымется спор из-за мест, откуда кому фиги рвать, мельник услышит и, не успеем во вкус войти, всех нас турнет по шеям.

— Правильно.

— Правильней всего будет так: я всех привяжу хвостами к стволу и у всякого под носом будет свободное местечко — в любой момент всякий может подхватить фигу.

Шакалы остались довольны.

А шакал привязал хвостатых шакалов хвостами к стволу, залез на самого большого шакала (это будет повернее всякой лестницы!), а с шакала сиганул на дерево (пустяки!), укрепился на ветке и стал трясти.

Фиги падали — шакалы с визгом бросились подбирать всякий свое. Но не столько визжали шакалы, сколько бесхвостый с дерева унимал их криком. Такое поднялось: не только на мельнице, а и далеко за мельницей слышно.

Мельник взял дубину и прямо к дереву на горячее место.

Шакалы со страху побросали фиги да в бега — да бежать-то не очень, хвостами привязаны к дереву, собственный хвост не пускает. Или погибнуть, или хвостом пожертвовать! И разбежались шакалы кто куда — а оборванные их хвосты остались на фиговом стволе мотаться.

— На-ка-сь! ищи бесхвостого, свинья! — взвизгнул шакал, да с дерева, мимо хвостов, мимо дубинки, мимо мельника, и! — пошел.

А кабаниха рвет и мечет: подавай ей шакала, но чтобы бесхвостого!

И устроили кабаны облаву на шакалов.

Воспользовавшись часом, когда потерпевшие зализывали друг другу хвосты, окружили шакалью стаю да к кабанихе во двор и пригнали.

Глянула кабаниха и глазам не верит: все одинаковые — и хотя бы у одного какой завалящий! — у всех хвосты оборваны, бесхвостые.

«Ну, ладно ж, выведу я тебя, мерзавца, на свежую воду или всех погублю!»

И сейчас же на кухню, сварила такую перцовую кашу «филь-филь» с заговором на «вора-злодея», чтобы «кто зло мне сделал, тот первым, ах, простонет!» Пошептала над кашей, помолилась и выносит шакалам полный горшок этого филь-филь. Она сама знает: понапрасно беспокоила, против них она ничего не имеет, так вот, чтобы загладить — угощение.

— Милости просим, господа, отведайте кашки!

Шакал от угощения никогда не откажется, дружно навалились шакалы на кашу.

А бесхвостый-то кум только вид делает: ест! — а сам всё на землю бухает. И когда шакалы наелись, котел полизали — заговорный перец-то у них там в кишках как зажжет, в один голос все разом и ахнули. А кабаниха, не будь дура, в сад их на пруд:

— Водицы испить!

Шакалы на воду — уж пили, пили, а жжет! да так на бережку и распластались, и не по-сытому, а по-мертвому: лапы кверху.

А бесхвостый кум — ему с чего? — глотнул и довольно.

И как увидел он, что товарищам крышка, с берега шасть — да мимо кабаньих пырь —

— Твой кум тут! — крикнул ей под хвост.

И был таков.

III. Лев в сапогах

Что язык, что слово, — что волос, что хвост.

Подрос хвост у шакала. И опять он — шакал, ушен!

Раздобыл шакал коровью шкуру, взобрался со шкурой на холмик: там ему всё видно, и сам у всех на виду, стесняться нечего, не бесхвостый. Расправил он шкуру, вырезал сапожной кожи и за работу: сандалии шить.

И уж смотрите, ходит по холмику и не просто ходит, а прогуливается: обнову разнашивает — шакал в сапогах!

А проходил мимо лев. Что за диво: шакал в сапогах!

— Послушай, ушен, нельзя ли мне такие?

— Что ж, изум, можно.

— Великолепные сапоги! И ты это всё сам?

— А кому ж! Моих рук дело.

— Сделай, пожалуйста, очень буду благодарен.

— Только твой матерьял, изум! Кожи у меня подходящей нет, а что было, вся высохла, не годится.

— Чего надо, я всё достану, мне отказать не посмеют. Ну, и мастер же ты, ушен.

— Корову надо, да чтоб пожирнее! Чем жирнее корова, тем свежее кожа, тем крепче и мягче обувь. Такие тебе сапоги сошью — сандалии! понимаешь — и век не сносишь. И легко, и покойно: самый вострый шип не уколет и заноза не влезет, хоть по иголкам бегай. А главное, не чувствительно: босиком ты или обутый, сам не разберешь.

— Я тебе, ушен, корову мигом доставлю.

— Живую и пожирнее.

— Ладно.

Лев отбежал за холмик и уж тащит этакую бурену.

Шакал осмотрел, понюхал:

— Вот именно такую мне и надо. А из мяса мы и супу и щей наварим, и котлетов нарубим, и студню заготовим. Ты студень, изум, любишь?

— Не откажусь, ушен: студень с хреном очень вкусно.

— Ну, изум, управься с коровой.

Лев немедля корову прикончил, только пар пошел без единого звука: конечно, против льва и самый толстый зверь — муха. А шакал снял с коровы шкуру, вырезал кусок сапожной кожи.

— Надо иголку и дратву, можешь расстараться?

— Это можно.

И опять лев отбежал за холмик.

Шакал пощупал кожу, помял, потискал — ведь не какому-нибудь зайцу, самому льву сапоги шить, надо постараться!

— А какая жирная корова, такой никогда не перепадало шакалу: то-то вкусно, грудинка!

А лев уж идет: в лапах иголка и дратва — какого-то сапожника прикончил шакалу в угоду.

— Ложись, изум, протяни мне свою лапу, — скомандовал шакал, — надо снять мерку, чтоб уж по ноге, честь честью. А затем прикрепим.

Лев покорно лег, задрал ноги.

Шакал взял его за лапу, ткнул в лапу иголку.

— Что, не очень?

Лев поморщился.

— Зато будет крепко, — и стал пришивать кожу прямо по живому. Лев застонал от боли.

— Ну! маленький, что ли? Чем больнее, тем потом будет приятнее: и не то что иголка, пила ни по чем, прямо хоть пляши по пиле!

А льву было очень больно.

Шакал пришил льву подметки прямо к ступням, перелентил ноги — сандалии! — как раз по ноге.

Чудесно! А теперь на солнце: пятки вверх! Кожа подсохнет, и всякую боль забудешь.

Лев попробовал подняться, ступил на ноги. И хоть ревмя реви — невтерпеж. И так это его разожгло, не удержался да лапой на шакала:

— Мошенник!

— Чего? — шакал отскочил вовремя. — Хорош! Вот — человеческая благодарность!

Забрал мошенник коровью тушу и поволок.

С трудом прополз лев — боль всё жгее, всё туже — лег на солнышко, задрал ноги на самый припек: поверил (поверишь!) — подсолнечнит — поможет. А солнце как ударило в кожу—и стала кожа подсыхать: закорузило! а ноги как в гвоздяных тисках сжаты.

Задрав ноги, лежал лев на солнце, и не стон, вой винтил холмик.

А проходили мимо две рябки: кур и курочка.

— Что это с вами, Лев Иваныч?

— А вот полюбуйтесь: какую со мной штуку удрал шакал!

Рябки не без страха подошли поближе.

— Что ж это такое?

— Мошенник! Сапоги! Пришил к ногам сапоги. Можете вы мне помочь?

Рябки переглянулись.

— А дайте нам клятву, — разом проговорили они, дрожа от страха, — ни сейчас, ни потом, никогда вы нас не обидите и не захотите нас съесть!

— Клянусь, краснолапые теткурты, я никогда не обижу ни одну из вас, я никогда не съем ни одну рябку.

— Сию минуту! — сказали куропатки, в восторге от львиной клятвы, да проворно к ручью.

Там набрали они воды себе в клюв и на крылья. По капельке пролили воду на израненные львиные ноги. Тихонечко клювами, когда размягчилась кожа и раны, вынули дратву.

— В холодок бы вам лечь куда! — посоветовали рябки.

Лев поднялся. И вся боль поднялась с ним — и как рявкнет, да пастью хап! прямо на рябок. С шумом шарахнулись от него рябки, лев инда вздрогнул, и улетели.

— Хорош! — услышал он шакалий голос, — вот человеческая клятва! А за то так тебе и всегда будет: никого не боишься, а какую-то птицу забоялся, и от этого страха ты никуда не уйдешь.

Шакал в холодке дожирал жирнющий коровий огузок.

А ведь это и вправду, лев всегда полошится, когда пролетает близко рябка.

IV. Товарищи

Подружилась рябка с шакалом: куда шакал, туда и рябка; и шакал ни на шаг без рябки.

Так и ходили вместе: глаза, как небо, голубые — рябка на красных лапках и пес какой-то — шакал.

— Теткурта, давай на спор: кто кого рассмешит?

— Я рассмешу тебя, ушен.

— Попробуй.

Рябка привела шакала на поле. Там было двое: один работал, другой так —лодаря гонял.

— Видишь, ушен?

— Вижу: один лодарь, другой работник.

— Постой же!

И рябка полетела. Рябка скружила и прямо лодарю на голову: сидит, как на кочке. Другой заметил, оторвался от работы:

— Не шевелись! я на твоей голове поймаю рябку, — да за заступ.

А тот послушал, замер.

— Так! —да заступом над головой его.

Рябка порхнула. И угодил не в рябку, а по башке.

С пробитым черепом так и присел, несчастный, и не пискнул.

— Ну, и ловчак! молодчага! — шакал живот надорвал от смеха.

Вернулась к шакалу рябка.

— Что? разве не смешно?

— В жизнь так не смеялся.

— Теперь твой черед: ты рассмеши.

С поля вошли они в лес.

Стоит капкан: в капкане под камнем кусок мяса.

Шакал потянул носом:

— Мясо?

— Предательский кусок.

— Но он съедобный?

— Еще какой: парное мясо. Ты не откажешься попробовать?

— А то как же!

Шакал протянул лапу к мясу — капкан захлопнулся — и дурак попался.

Со смехом взлетела рябка над капканом:

— Придет охотник, — рябка задыхалась от смеха, — то-то удивится: каковский заяц! Пересчитает тебе ребра. Не отбрыкивайся и представься мертвым.

И рябка улетела.

— Чай не дурак, сами отлично понимаем! — досадовал шакал: а и в самом деле, глупые шутки.

А охотник долго ждать себя не заставил и прямо к капкану.

— А! это ты, красавец! был бы мне лучше — заяц! Ну, получай свое — награду, — да палкой шакала раз.

Шакал ткнулся и задрыгал ногами.

— Подох окаянный!

Охотник отшвырнул тушу и стал заряжать капкан.

А шакал на ноги и давай Бог ноги. И уж едва рябка остановила: как очумел.

Шакал очнулся:

— Что, тебе смешно?

— В жизнь так не смеялась.

Но ему было не до смеху.

— Ну, давай еще чего-нибудь придумаем, ушен!

— Придумывай.

— Давай так: или ты меня изволь накормить до отвалу, или я тебя, а ты потом.

— Я потом.

И они опять вышли в поле.

Идет по дороге хозяйка, в руках полная миска, а в миске вкусное-превкусное, тушеная говядина — и репка, и морковка, и лук: дочь родила — родильный дар — «кускус».

— Присядь-ка в канаву!

Шакал в канаву, рябка на дорогу: и не летит, а ковыляет — крылом по земле, будто перебито.

И приманула хозяйку: поставила хозяйка миску на дорогу, сама за рябкой — ловить. А рябка в траву. Шакал вышел из канавы и на миску — всю и упер. «Ой, и до чего это вкусно, кускус!» Облизал миску и опять в канаву.

А рябка над хозяйкой: вот-вот поддастся! вот-вот поймает! — ан, упорхнула. Дальше и дальше. Вдруг рябка расправила крылья и улетела. Вернулась хозяйка на дорогу к миске.

— Я всё слопал! — крикнул шакал из канавы.

В сердцах хозяйка шваркнула пустую миску, и хоть домой возвращайся; ни шакал, ни рябка... на себя пеняла, и что позарилась, и на свою нерасчетливую жадность.

Вернулась рябка к шакалу.

А шакал катается на спине, гогочет:

— В жизнь так не обжирался, ну и «кускус»!

— Теперь твой черед, ушен. Я всего больше люблю горох.

— Очень кстати. Этого добра сколько хочешь: нынче гороховый сев.

Шакал размялся — полным-полно брюхо! И пошли не спеша.

И видят — Лисак, сосед хозяйки, что проворонила «кускус», несет мешок гороху. Они за ним. А Лисак развязал мешок, вынул горстку и пошел сеять. Шакал к мешку.

— Послушайте, почтенный, это мое!

Лисак оглянулся: шакал на мешке! Что за нахал! И назад. А шакал не уходит. И только когда Лисак протянул руку к мешку, шакал поднялся и отошел немного. И началась погоня: шакал не бежит, ходит, а поймать не дается, да всё в сторону, с дороги. Рябке вольготно, порх на мешок — и подчистила.

— Горошку съела, — крикнула в поле.

Шакал услышал да позаправдашнему бежать. И пропал.

Лисак назад: надо досеять — а сеять-то нечего: в мешке ни горошинки.

А сеять нечего — в мешке ни горошинки.

— Сколько добра пропало! —тужил Лисак и себя корил: связаться с нахалом, ум потеряешь. А делать нечего: приходилось домой идти за новым мешком.

Вернулся шакал к рябке.

— Довольна?

— В жизнь столько не ела. А какой сладкий горошек!

И они пошли: и сыты и довольны — рябка на красных лапках, глаза, как небесная голубь, и с нею шакал — харя.

V. Коза

Жила-была коза, и было у козы две малые козятины-рогатины. А жили они за холмиком в пещере: тут их был дом, тут они ели и пили, а перед сном коза рассказывала сказки.

Всякий день с утра мать отправлялась на луг, паслась и вечером на рогах приносила травы домой. Она стучала копытцем в дверь и всегда одно кликала — пела козью песенку: «между ног горшок —между рог сена стог» — козьим тоненьким голосом. Постучит, покличет — козлята и знают: мать принесла обед! — и сейчас же бросаются дверь отворять.

Мать не раз учила козлят:

— Смотрите, дети, никому не отворяйте! Голос вы мой знаете, такого ни у кого нет, и такую песню только мы, козы, поем.

Козлята знают: они — никому.

— Не беспокойся.

Как-то вернулась мать с луга и кличет: поет свою козью песню.

А сидел под кустиком по нужде шакал, всё слышал и козлят, как под песню дверь-то матери отворяли, заметил: на обед они ему очень и даже очень подходящи! И решил шакал: «навещу-ка я завтрашний день козлят: целый день в одиночестве без материнской ласки!»

И на другой день шакал не забыл и, как ушла мать, припер к пещере. Ногой толк в дверь, кличет: «между ног горшок — между рог сена стог!»

Козлята слышат слова — козьи, а голос поет — толстый.

— Нет, это не мать, это кто-то другой! — и к двери, а не отворяют, — мы твоего голоса не узнаем, мы вам не отворим!

— Глупые, да ведь это же я, ваша мать — Коза Козовна! —попробовал уговорить шакал.

Но козлята молчок.

Шакал потуркался — заперто крепко — и пошел ни с чем.

А жил неподалеку колдун Амрар. К этому Амрару и притащился шакал: козлята не выходили у него из ума.

— Что мне делать, научи: хочу пищать тонко козой.

А колдун и говорит:

— Очень просто, ушен: заройся мордой в муравьиную кочку, пошире разинь рот, и пускай муравей в тебя налезет и ползет туда и сюда, не сопротивляйся. Накусают тебе горло, куда горчишник, козой запищишь!

Пораздумался шакал: не очень-то соблазнительно в муравьиную кочку ложиться, а и не послушаться Амрара — без козьего обеда остаться. Будь что будет! И побежал в лес, отыскал муравьиную кишь.

Муравьи обрадовались случаю и целым полком в раскрытый шакалий рот, и постарались — всё горло выели, и сделался у шакала голос козе под стать. И когда наступил вечер, шакал к пещере, постучал в дверь, покликал: «между ног горшок — между рог сена стог!»

Козлята услышали: и слова козьи, и голос матери. Бросились к двери, дверь отворили. И шакал схряпал их и с косточками.

Вернулась с луга мать, принесла на рогах травы: дверь настежь, а в доме пусто, и хоть бы «рожки да ножки», как это полагается, — ничего.

— Никто, как шакал, больше некому.

Всякий день с утра мать отправлялась на луг, паслась и вечером на рогах приносила травы домой. Только не пела больше своей козьей песни о горшке и сене и не стучала копытцем — своим ключом отворяла дверь и садилась ужинать одна и без сказок ложилась спать — не было ее козлят.

Раз идет она вечером с луга и попадает ей шакал на дороге.

И не успел шакал поздороваться, она траву с рог как шваркнет и завалила шакала с головкой. А сама скок на него. И шакалу никак не подняться: коза не перышко.

Скликнула коза пастухов.

— Подо мной шакал, — объявила она пастухам, — он моих козляток съел!

И поднялась.

Пастухи за палки, а шакал из-под травы как шаганет и — тютю!

Так и осталась коза без козляток и шакал ушел — на мерзавца управы нет!

VI. Шакалья песня

Занозил себе шакал лапу, идет и хромает. Навстречу старуха; жалко ей стало шакала.

— Что это ты, ушен, хромаешь?

— Заноза, бабка.

— А давай я тебе вытащу.

— Ну, тащи!

Шакал лег на спину, протянул старухе ногу.

Осмотрела старуха ногу, занозу и вынула.

Поднялся шакал; немножко прошелся: чуть-чуть побаливает.

— Ну, ничего, подживет, ушен.

— А куда ты, бабка, мою занозу девала?

— А куда ж, выбросила.

— Как выбросила? Ведь это же моя заноза! Нет, ты мне ее отыщи.

Старуха искать: ползала-ползала,не может найти. Да и не мудрено, заноза не плевок, и глазатому не по глазам.

— Не могу, батюшка, сыскать! А коли такая охота у тебя до заноз, я их тебе из щепочек понавытаскаю целый веник.

— Вот дурака нашла! На что мне твои занозы? Что, я кофей из них варить буду? Мне мою отдай. Понимаешь, мою! А раз не можешь найти, давай за занозу яйцо. На меньшее я не согласен.

Еще поискала старуха: и на себе, и на шакале искала, —шакал отбрыкивался, щекотно! — нет, пропала заноза.

— Ну, яичком уж, Бог с тобой!

И дала она шакалу яйцо прямо из-под курицы, свеженькое. Забрал шакал старухино яйцо и уж твердо идет, как и занозы никакой не было.

Идет шакал по деревне, яйцо в кармане. А смеркалось, постучал в избу, переночевать просится. Пустили.

— Хочу попросить тебя, хозяин, нельзя ли мое яйцо подложить на ночь к курице?

— Отчего не положить, давай.

— Нет, ты мне курицу покажи, я сам подложу: больно уж яйцо-то у меня знатное.

Провели шакала в курятник, выбрал он там курицу повиднее и положил под нее яйцо, и назад в избу. Улеглись. А как заснули, шакал в курятник, тихонечко из-под курицы яйцо вынул, сожрал, а желтком по клюву мазнул курицу. И завалился спать.

Спозаранку встал хозяин, шакал еще дрыхнет. И на поле. А вернулся, видит — шакал рожу скорчил и лапищами глаза себе трет.

— Что это ты, ушен?

— Твоя курица яйцо сожрала.

— Курица — яйцо... не может быть.

— А вот и может! Полюбуйся-ка на курячий клюв, вся морда в желтке.

А и в самом деле: по клюву размазано. Сроду не слыхивал хозяин, чтобы курица яйца ела...

— Я тебе другое дам, ушен.

— Не надо мне никакого, мне мое отдай!

— Чудак человек, не могу же я тебе твоего отдать, сам посуди! Хочешь, я тебе два дам: курица сожрала! Я тебе два дам, пяток... ну, десяток бери, а твоего — откуда же я возьму, чай и у курицы в кишках следа не осталось.

— Не хочу никаких кишок, — не унимался шакал, — или мое яйцо подавай, или курицу, что сожрала.

— Ну, ладно, бери курицу.

Идет шакал, под полой курица. Стало вечереть. Надо ночь перебыть. Попросился на ночлег в усадьбе. Пустили.

— Хочу попросить вас: курочка со мной, нельзя ли ее на ночь к вашей козе?

— Что же, к козе так к козе, — согласился хозяин.

Шакал в хлев: пустил курицу к козе. И в дом — пора спать.

А как все заснули, он теми же ходами в хлев, курицу сожрал, а козе морду курицей вымазал. А наутро в слезы — так и разливается, плачет.

— Что такое?

— Коза мою курицу съела.

— Ну, что ты, ушен, в уме что ли.

— А посмотрите, вся морда у нее в крови.

Пошел хозяин в хлев. И что же вы думаете: шакал прав — коза его курицу подъела.

— Я дам тебе, ушен, другую. Экие чудеса на свете!

— Не хочу, — уперся шакал, — отдайте мне мою и больше никаких.

— Да что я тебе, рожу, что ли? Ну, хочешь, взамен я тебе две дам?

— И десяти не согласен, давай мне мою. Или ту самую козу.

Хозяин отдал шакалу козу.

Шакал ведет козу. Так прошел день. На ночь глядя, мало ли что? попросился ночевать на скотном дворе. И тут пустили — везет!

— Нельзя ли мою козочку на ночь к корове поставить?

— Козу к корове? Ну, что ж.

Шакал сам свел козу в хлев и заметил корову. А ночью козу сожрал, а корову козой помазал. И дрыхнул — буди, не разбудишь. А проснулся — и в слезы.

— Ты что, ушен; или во сне испугался?

— Корова мою козу съела.

— Коровы коз не едят. Ты с ума спятил.

— А поди, осмотри корову, с ума спятил!

Пошел хозяин в хлев, и вправду — у одной из коров губы в крови: ясное дело, ночью корова козой попользовалась.

— Я тебе другую козу дам.

— Не хочу другой, давай мою.

И заладил шакал: «мою, мою».

— Ну, хочешь, я готов тебе две дать.

— Мою, мою, — не унимался шакал, — или ту самую корову.

И отдал хозяин шакалу за козу корову.

Не козу, корову вел шакал. На ночь надумал у агелита остановиться.

Агелит — старшина, первый человек в округе, пустил шакала.

— Разрешите поставить корову к вашей кобыле.

— Пожалуйста.

Шакал на конюшню; корову к кобыле.

А как заснул агелит, шакал из дома тихонько назад, занялся коровой, сожрал: а кобылу коровой помазал. И залег и спал хорошо, а наутро — ему это нипочем: в слезы.

— В чем дело?

— Кобыла корову съела!

— Что вы говорите?

— А полюбуйтесь на вашу кобылу.

Агелит в конюшню: на кобыле коровья кровь.

— Я вам другую отдам.

— Что мне другая! Мне мою отдайте.

— Да откуда ж, из кобылы что ли? Я вам две коровы.

— Не желаю. Или мою корову, или ту самую кобылу.

Агелит отдал шакалу кобылу.

Ведет шакал кобылу — навстречу несут покойника.

— Что это вы, земляки, несете?

— Дурак, не видишь: чай, покойник.

— Извините, а мне показалось...

— Старушенция померла, — приостановились носильщики, — тащим на кладбище.

— А давайте меняться: вы мне покойницу-бабку, — я вам кобылу.

«Да и впрямь дурень, такое придумать! — переглянулись носильщики. — Только ловко ли?»

— Ну, бери, дурак, кобыла теперь наша!

Шакал взвалил мертвую старуху себе на плечи и пошел.

А те умники, налегке, повели с собой кобылу, не шакалью, самого агелита!

К вечеру шакал пришел в деревню.

А там пир горой: свадьбу играют. Всякому гостю рады — просят шакала остаться. Шакал не прочь.

— Мать у меня старуха, натрудилась в дороге. Надо за ней присмотреть. Могу я ее у вас приютить?

Женихов отец согласен.

— Конечно! Молодая за ней присмотрит.

И повел шакала в дом, показал комнату, как раз она соседняя с комнатой молодых. Шакал уложил мертвую старуху, да ножичком ей шею и подрезал. Прикрыл одеялом и тихонечко вышел: старуха заснула!

Веселей не сыскать, всех за пояс заткнул: балагур и фокусник. Очень всем понравился шакал. А наутро, чуть свет, будит отца жениха, воет.

— Что случилось?

— Ой, посмотри-ка: что сделала твоя молодая невестка! Зарезала мать.

— Где? когда? — испугался отец.

— Где? — а вон посмотри!

На кровати лежала старуха, шея надрезана.

— Не знаю, что и делать! — пуще перепугался отец.

— Или я пойду объявлю, или отдай мне молодую!

Отец подумал: «Ведь этак и сына могла б зарезать!»

И отдали шакалу молодую.

Шакал ее в мешок; мешок на плечи.

— Бабку-то похороните!

Да и был таков.

В тот день много прошел шакал, и стало его в жар бросать. Поравнялся он с усадьбой. Не передохнуть ли?

У ворот хозяин стоит; поздоровался шакал.

— Разрешите? Я тут на скамеечке. Больно устал.

— Отчего ж, сделайте милость.

Шакал сбросил мешок на землю, присел.

— Испить бы водицы?

— А вон во дворе колодец. Пей на здоровье.

Шакал во двор к колодцу.

И как отошел шакал к колодцу, молодая-то и зашевелилась в мешке — и надо же такому случиться, занес ее шакал к ее отцу на родимый двор! — узнала она отца по голосу и покликала. И отец узнал ее, развязал мешок — а и вправду, дочь!

— Скорее в мешок чего! а сама бежать.

Отец кликнул двух здоровущих собак да вместо дочери в мешок. Завязал и поставил на место.

А шакал всласть напился — «спасибо!» —подхватил мешок на плечи и в путь. И так ему легко — и сам тяжелый горячий мешок, как перышко.

По дороге холмик, легко он поднялся, положил мешок. И уж больше не мог сдержать своего чувства и запел, какой он шакал, — всем нос утрет и нет хитрее его: из занозы у него вылупилось яйцо, из яйца — курица, из курицы — коза, из козы — корова, из коровы — кобыла, из кобылы — мертвая бабка, из бабки — молодуха.

И как помянул он молодуху, опять бросило его в жар, он за мешок: много он за это время нажрал, а теперь и натешится!

Шакал развязал мешок, а из мешка на него как скоконут собаки — забыл шакал и песню, только пятки сверкнули.

VII. Ловушка

— Ну, ладно ж! один раз вам удалось меня обмануть, а больше уж — дудки!

Вздрагивая и отбрыкиваясь, ворвался шакал к пастуху.

— Я тысячу раз могу провести тебя, а ты, пастух, что можешь? — и вспрыгнул на ягненка.

Пастух скорее к ягненку освободить от шакала. А шакал взял да в ухо ягненку струю пустил и бежать. А ведь это такое, цепче и тянее магнита: как слепой, побежал ягненок вслед за шакалом. Шакал в лес — и ягненок в лес. И тут шакал с ним управился и потащил себе на обед.

Видит пастух, сыграл над ним штуку алаборник, заманил ягненка, ну, постой же! Взял пастух да овцу и вымазал — весь зад, да и пустил, как мушеловку: придет шакал, будет ему угощение!

А шакал пообедал и опять в стадо: надо запасаться на ужин. Осмотрелся да в клейкую овцу и наметил да прямо ей на спину — и прилип; так брюхом влип — не отдерешься.

А овца с перепугу — еще бы: шакал залез! — со всех ног с поля домой. А за ней всё стадо.

Вернулся домой пастух, видит: шакал на овце сидит — да долго не раздумывая, сграбастал паскудника, стащил с овцы и давай лупить.

А шакал — дело испытанное! — взял на глазах у пастуха и подох.

— У! сукин сын! — пастух шваркнул шакала в угол в хлеву: на ночь глядя не хотелось рук марать, завтра стащит он падаль в овраг.

А наутро, когда пастух вошел в хлев, чтобы выпустить стадо, шакал поднялся, как ни в чем не бывало, и выпрыгнул за дверь.

— Что, пастух, я ль не говорил? Нет, брат, меня не осилишь. А я и еще кое-чем у тебя поживлюсь.

— Погоди, хвастун, — погрозил вдогонку пастух, — дай только снежку, зима придет, я тебя вздрючу!

Пришла зима. Пастуховы ребятишки себе для забавы поставили каменную ловушку — камнем бьет, капкан такой. Пронюхал шакал и тут же под ловушкой устроил себе прятку. Попадет ли в капкан птица или какой зверок — шакал сейчас же через отверстие из своей прятки всю себе из-под камня добычу и стянет.

Так шакал пробавлялся на даровых хлебах, а ребятишкам никакой добычи не перепадало. Рассказали они отцу. Осмотрел пастух ловушку и хоть не заметил никакой дырки под камнем, а догадался:

— Это не иначе, как шакал, его работа, — и придумал поставить рядом другую ловушку, да побольше, чтобы уж камень как по башке треснет, не встать.

Долго возились ребятишки и поставили большущую ловушку — прямо на льва. А шакал ничего не знает. Всякий день ему корм, сытно, и нет любопытства, какая такая у ребятишек затея, день-деньской возятся — а может, горку строят — зимнее время.

Попалась птичка, полез шакал доставать из капкана, а из соседней большой ловушки камнем как грохнет — и придавило. Не может выкарабкаться.

Прибежали ребятишки: нет ли чего? А под камнем — шакал. Они на него с камнями — а взять-то его не больно возьмешь:

шакал, сидючи в прятке, так вывалялся в грязи, так одермился, не за что ухватиться, рука прилипнет. Ну, подергали они его за хвост и выпустили.

— Снежок! — крикнул шакал, поминая пастуху его угрозу. — Вот тебе и зима! да еще и не так проведу тебя!

И не оглянулся. А, видно, здорово его стукнуло камнем.

А копнули прятку под ловушкой, а там пять шакалят — ничего, постарался!

VIII. Баранина

Пахал степун поле на двух волах с утра до вечера.

Вечером, когда домой собрался, пришел лев.

— Вот что, степун, — сказал лев, — давай вола, или я убью тебя и твоих волов.

Степун выпряг вола и дал льву. А лев даже и спасибо не сказал, потащил вола.

Вернулся степун домой и сейчас же пошел к соседу и купил вола: на одном попаши-ка!

И на другой день пахал степун до вечера. И опять лев:

— Вола! Или тебя! И тебя и волов убью!

Ничего не ответишь, степун принужден был выпрячь вола, а лев унес. И опять степун купил вола.

И на следующий день пропахал он до вечера, а вечером лев тут как тут:

— Давай вола!

Так всякий вечер лев забирал у степуна волов. И не стало житья от льва: не на что больше покупать волов, а бросить поле тоже нельзя.

Гонит вечером степун уцелевшего вола домой, раздумался. А идет шакал.

— Посмотрю я на тебя, степун, и в толк не возьму: выходишь ты поутру на двух волах, а домой идешь — один вол. Я давно примечаю. Ты что ж, их ешь, что ли?

— Один грех, ушен: не я ем, а лев ест. Как вечер — лев: давай ему вола! А лев, понимаешь: и двух волов отдашь.

— Даешь барана, я тебя огражу от льва.

— Коли сумеешь оградить от льва, баран — твой.

— Вон с того холма завтрашний день, как придет лев и станет спрашивать вола, я тебя окликну не своим голосом: «кто

с тобой говорит, человече?» — сказал шакал, — а ты отвечай: «это чурбан — аско!» Да топорик-то не забудь. Понял?

— Понимаем.

Поутру, как всегда, погнал степун волов на пашню, не забыл и топор, как учил шакал. Вечером явился лев:

— Давай вола! Или тебя и волов убью!

А из-за холма толстым голосом шакал:

— Кто с тобой говорит, человече?

Лев пригнул лапы от страха:

— Чур! — лев подумал, что это сам Бог.

А степун громко тому за холмом львиному Богу:

— Это аско — чурбан.

— А ты возьми топор, человече, и разруби мне чурбан! — еще толще голос из-за холма.

— А ты долбани меня легонько! — прошептал лев и наклонил голову.

Степун за топор да с плеча как ахнет по голове: череп пополам, и льву конец.

И из-за холма идет шакал:

— Поздравляю! Я мое слово сдержал, завтра приду, барашка не забудь.

— Само собой, ушен, спасибо.

Вернулся степун домой, в первый раз двух волов пригнал.

— Ну, жена, шакал нас от льва освободил. Дай Бог ему здоровья! За мной барашек. Заколю пожирнее. И надо упаковать хорошенько. А завтра возьму с собой на пашню: шакал не обманул, надо и его уважить.

И заколол степун самого лучшего барана.

А жена, как запаковывает баранину, и говорит:

— Ой и барашек попался, хоть бы кусочек попробовать! — очень ей захотелось шакальей баранины; и, завернув в шкуру, положила она сверток в плетенку. — Знаешь, что я придумала: посажу-ка я в плетенку Кушку. Кто ж его знает, а ну как шакал не захочет?... Кушка постережет! Или явится какой посторонний зверь — добра-то нам никакого не сделал, а баранину слопает.

Кликнула она Кушку и к свертку ее в плетенку: Кушка собака смирная, но на вора нет ее злее.

Поутру пошел степун на поле. Не доходя холма, откуда вчера шакал стращал льва, поставил он плетенку.

— Ушен, — крикнул он на всё поле, — говорит степун: здесь твой барашек. Еще раз спасибо!

И за работу.

Весь день пахал степун до вечера: нечего ему бояться, лев не придет.

— Вот он какой, шакал!

А шакал, как стемнело, вышел из-за холма за барашком и наткнулся на плетенку: по бараньему духу догадался, что это он самый и есть обещанный баран.

— Вот он какой, степун!

Приоткрыл шакал плетенку да носом туда — проверить, а из плетенки Кушка — тяп его за нос. Шакал бежать, а за ним Кушка: за день-то в клетке насиделась, так и чешет.

А степун, как с поля возвращался, пошел посмотреть плетенку. И очень удивился: Кушка исчезла, а баран цел. И забрал плетенку с собой.

— Ну, жена, ты права: шакал отказался, придется самим съесть — а какой барашек!

IX. Додна

Шел шакал и шмыгал носом: здорово его куснула Кушка, вот тебе и бараний бок с кашей! Нет, никогда он не будет помогать человеку: человек подлец и обманщик

— Вернее со львом, лисицей, козой, шакалом — те начистоту, звери, а человек — бестия, за человека ни в чем не поручиться! душа человечья — злодей!

Навстречу еж.

— А! имюза, — обрадовался шакал.

— Здравствуй, ушен.

— Давай, имюза, вместе работать?

— Что ж!

— Будет у нас бобовое поле, согласен?

Еж согласился. Ударили по рукам. И сейчас же бобы сажать — целое поле.

Пришло лето, растут бобы.

И много к осени уродилось — большой урожай. Тут взялся шакал за работу. А как стали жать и наткнулись: находка!—два горшка: горшок с маслом и горшок с медом. Решили пока что не трогать.

— А как пошабашим, заберем домой, дома и разделим.

Поставили горшки в сторонку и за работу: вечер еще не скоро!

Шакал ходчей ежа — впереди идет.

Только чего-то точно схватит его: станет вдруг и стоит, озирается, — а потом, видно, отпустит и опять ничего.

— В чем дело, ушен, что-то тебе не по себе?

— А веришь, какое дело, имюза... Я тебе признаюсь: у меня прибавление семейства, поздравь, сегодня в ночь вот этакий родился куль-кулька, жена известила. Надо бы мне домой крестины справить.

— Так чего же ты, чудак, иди! Справишь крестины и вернешься.

И еж пошел вперед. А шакал повернул.

Шакал повернул, да совсем не домой — да и где его дом? — а к тому самому месту, где оставил находку. За горшки шакал и принялся: всё масло сожрал — так чуть-чуть на донышке, и весь мед сожрал — только что для подлизу оставил по стенкам. В пустые горшки наклал землю, а по верху один горшок заслоил маслом, другой горшок медом, и опять поставил на место, как и не касался.

Вернулся к ежу на поле, а еж далеко ушел.

— Какое имя дал ты своему мизгуну?

— Додной назвал, — облизывался шакал, — у нас такое имя есть: Додна.

И опять взялся за работу.

И так остаток дня: шакал впереди, еж за ним. К вечеру сжали всё поле.

— Находку не будем трогать: пускай горшки стоят тихо-смирно, — а кончим все работы, тогда и разделим, как ты думаешь, имюза? Сегодня надо всё перетаскать к дому, а завтра обмолотим.

— Что ж, — согласился еж.

— Надо, чтобы один носил, а другой молотить будет. Ты займись ноской.

— Что ж, — согласился еж.

И еж всё перетаскал с поля — работал до глубокой ночи. А наутро, как начинать молотьбу, шакал объявил ежу:

— После молотьбы надо с вилами работать: надо высоко подбрасывать, чтобы зерно могло выпасть. Ростом ты не ахти, имюза, для такой работы не вышел, то уже мое дело, а ты молоти.

— Что ж, — согласился еж.

И за день всё обмолотил. Теперь черед шакалу.

— Опять же надо позаботиться о мулах: перевезти зерно на мельницу, — сказал шакал, — местности ты здешней не знаешь, а у меня тут приятели. Ты, имюза, займись с вилами, а я пойду на разведки, посмотрю подходящих мулов. Я думаю, нам пары мулов будет довольно.

— Что ж, — согласился еж.

И целый день еж веял: подбрасывая вилами, очищал зерно. А шакал только на следующее утро вернулся.

Шакал одобрил ежину работу:

— А ловко это ты обработал, не ожидал! Ну, имюза, теперь делить: одному солома, другому — зерно; себе я беру зерно, а тебе советую солому.

— Как, солому! — еж рассердился. — Да я ж не покладая рук работал: я и таскал, и молотил, и веял. А ты — ты только отвиливал, и ты мне суешь солому!

— Да солома-то, понимаешь, питательнее. Какой вкусный хлеб из соломы! А с бобов только пучит.

— Это у тебя пускай пучит, а я не согласен из соломы. Пойдем-ка к братьям и спросим: кто из нас прав — пусть они нас рассудят.

— Зря время тратить, своего добра не понимаешь.

Шакалу очень не хотелось, а пришлось подчиниться: есть такой у зверей обычай, и ни один зверь не смеет его нарушить: суд братьев!

Среди братьев кого только не было: и лев, и коза, и лисица, и ежи и зайцы, и шакалы — еж и шакал рассказали братьям, как вместе работали на бобовом поле и как урожай делили: и о зерне, и о соломе: кому чего?

— Ваш спор решит бег взапуски, — сказали братья, — кто первый придет к той вон куче зерна, тому зерно, а который останется позади, тому солома.

Еж улучил минуту и пришепнул другому ежу:

— Затаись здесь, имюза, в этой ямке у кучи зерна, ты обнаружься первым, понимаешь?

Братья показали место — начало бега.

И еж и шакал отправились туда: их сопровождали четыре свидетеля: заяц, мышь, лисица и коза.

— Посмотрю я на тебя, имюза, — сказал шакал, — ведь я в пять, куда! — в десять раз быстрее. Ну, что ты можешь на своих розовых лапках, один смех! Твое дело пропало. Впрочем, как знаешь.

Они пришли на место, стали рядом, и начался бег.

Большими шагами побежал шакал, а еж шагу не сделал, свернулся в клубок и покатился в яму. Шакал бежал во всю прыть — конечно, он придет первым! Но когда добежал он до кучки зерна, другой еж высунулся из ямки.

— Уже! — крикнул еж.

— Еж пришел первым! — закричали свидетели: заяц, мышь, лисица и коза.

И присудили братья ежу владеть бобами, а солома шакалу.

— Что ж, солома тоже не худо, — бурчал шакал, — хорошо печку топить: горит жарко. А бобы даже вредно, если много напрешься: пучит! Тоже и бобовые супы однообразны.

А еж был очень доволен.

— Теперь, ушен, давай делить находку!

— Ладно, пойдем, посмотрим.

И они пошли на поле к тому месту, где оставили горшки: горшок с маслом и горшок с медом. Горшки оказались целы и на том же самом месте, как поставили, так и стоят.

Еж царапнул поверху масло — а там земля.

Еж царапнул поверху мед — а там земля.

Ни масла, ни меда — горшки с землей.

— Это ты, ушен?

— Ну вот, поди, сам сожрал!

— Я?

— А кому же?

Еж не захотел даже спорить.

— Пусть нас рассудит Абумсгану.

— Мне все равно, — насмехаясь, сказал шакал, — я готов хоть к аутулу: любой заяц скажет.

И они пошли на суд к самой маленькой и самой мудрой птичке, которой открыто и самое глубокое желание, Абумсгану.

Всю дорогу шакал дергался:

— Больно нужен мне твой мед сопливый! А масла я и в рот не беру. Да и брезгаю: может, отравлено. Не понимаю твоих капризов.

Еж шел молча.

А когда пришли они к мудрой птичке, птичке всё было известно: и о бобовом поле, и о находке, и об уговоре не трогать находки, и как шакал бегал справлять крестины — Додной назвал шакаленка, такое шакалье имя Додна! — и как вместо масла и меда в горшках оказалась земля: кто-то сожрал.

Еж на шакала, шакал на ежа.

— Я не трогал ни меда, ни масла, а сожрал ушен.

— И мед и масло сожрал имюза, а мне и даром не надо!

Абумсгану сказал:

— Как спать ложиться, пускай каждый из вас положит под себя по черепку от горшков. У того, кто сожрал масло и мед, покажется наутро масло и мед на черепках.

Шакал и еж вернулись домой. И как ночь пришла, каждый положил под себя по два черепка: масляный и медовый, и спать.

Среди ночи проснулся шакал и за черепки проверить, а на черепках у него и мед, и масло; лизнул — нет, не ошибся: на черепках и мед, и масло. Он тихонечко к ежу — еж спит с присвисточкой, ничего не слышит! Ежу свои черепки и подложил, а ежовы себе. На ежиных и залег.

Проснулся наутро еж, смотрит — черепки-то под ним и в меду, и в масле.

— Ушен, ночью ты подменил?

Шакал не отзывался.

— Ушен, ты поступил, как человек!

Шакал молча подошел и ударил ежа — и тотчас выпустил еж свои иглы и до крови расцарапал шакалу лапу.

Шакал взвизгнул и бросился кусаться — и окровянил себе всю рожу. А еж в комок да на шакала: и куда ни попадет — там кровь, и что ни тронет — там как пила прошла.

Шакал бежать.

X. Конец

С расцарапанной рожей, ободранный, с выдранными клоками по всему телу, измызганный, бежал шакал, сам не зная куда.

«Что, нарвался? Очень неосторожно, так можно было и глаз повредить. Шутки шутками, а знай меру. “Поступил, как человек!” А человек обманщик и подлец, и нет ему места среди зверей. Что, нарвался?»

От ежиных игл пуще Кушкина куса жгло.

«Уйти бы куда подальше в горы, скрыться от этой сволочи!» — но шакалу хотелось и от себя уйти, но куда?

И видит: рябка. Обрадовался:

— Теткурка!

Рябка с горы спускалась, важно: глаза, как небо, голубые, красный клюв, красные лапки, а вся, как осенний лес.

— Что ты сделала, теткурка, чтобы стать такой?

Рябка сказала:

— Я каталась по лесу — оттого перья мои, как пестрые листья; я ходила по скалам, клевала, оттого мои ноги и клюв, как красный камень; я смотрела на небо, оттого и глаза мои, как лазурь.

— И я хочу быть таким прекрасным, как ты!

Шакал прибежал в лес, продрался в самую лесь, перекувыркнулся и стал по земле кататься — по корням и листьям. Шкура его в клочья. Треснула кожа. Вскочил и опрометью к горе, горел, как ошпаренный.

Вскарабкался высоко на скалу и ударился мордой о камень. Как градины, разлетелись зубы, рожа залилась кровью — красная, как пузырь, и не сушеет!

Но этого ему мало. Ступил — каждый шаг одна боль! прямо мясом по камню, а лезет выше. Там с самой вершины — небо! всё небо! И он взглянул на небо — голубое, как глаза рябки: уставился прямо на солнце. А не сморгнет, смотрит, и вдруг красная волна прыснула ему в глаза: красные жаворонки полетели; красная хапала львиная пасть; ежиные красные иглы затаращились; взметнулись песьи языки, и один, самый острый, как ежиная игла, лизнул его больно — и всё свернулось.

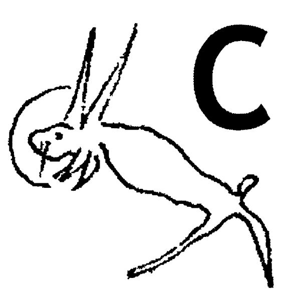
Шакал зажмурился.

И из черна выступил перед ним голубой круг и поплыл; снежный ободок округа сверкал серебром. Шакал ступил шаг — а в глазах одна бездонная голубь. Зажмурится: голубая река! И снова взглянет: голубая дорога!

Слепой, над пропастью шакал в восторге завыл — теперь он прекрасен, как рябка! И сорвался. И полетел в пропасть. Там боком дернулся о камень, перекувырнулся. И из распоротого брюха вывалились, теча, кишки.

ЗАЯШНЫЕ СКАЗКИ
Тибетские. Ё

1. Заячья доля



Созвал Бог всех зверей полевых, луговых и дубровных, — и слонов, и крокодилов; поставил перед ними миску, а в миску положил Божью сладкую пищу — разум:

— Разделите, звери, кушанье себе поровну.

Ну, звери и стали подходить к миске, — кто рогом приноравливается, кто клыком метит: всякому ухватить лестно Божью сладкую пищу.

— Стойте, куда прете! — прикрикнул на зверей заяц, — мы не все в сборе: человека нет с нами. Станет он после пенять, станет Богу выговаривать, не оберемся беды.

— Да где же он, человек? — приостановились звери.

— Где? Да тут за пригоркой.

— А ты зови его, мы подождем.

Заяц побежал и за пригоркой нашел человека.

— Слушай, Кузьмич, Бог дал нам, зверям, кушанье, этакую мисищу с разумом, велел разделить поровну. Все наши сошлись на угощение, уж метили заняться едой, да я остановил. Иди ты скорей в наше сборище, да не мешкай, а сделай так, как я научу тебя. Выдь ты на середку да прямо за миску: «А, мол, моя доля осталась!» — да один всё и приканчивай, а как съешь, миску мне. Понимаешь?

— Ладно.

И пошел человек за зайцем на звериное сборище управляться с Божьей сладкой пищей — разумом.

И как научил его заяц, так всё и сделал: вышел он на середку, ухватился за миску:

— А! моя доля! — Да всё и съел, а миску зайцу.

Заяц облизал миску.

Тут только и опомнились звери.

— Что за безобразие! — роптали звери.

А тигр-зверь пуще всех сердился.

— Бог дал нам кушанье, — кричал тигр, не унимался, — велел разделить поровну, а оно двоим досталось. Так этого оставить не годится. И уж если на то пошло, пускай всякий год родятся у меня по девяти детенышей и пускай поедают они зайчат и ребятишек.

Как заяц услышал про зайчат-то, насмерть перепугался да из сборища скок от зверей в поле и там под колючку.

Известно, какая у зайца защита: ни клыка, ни рога, ни шипа, а под колючкой и заяц — еж.

Ну, а звери погомонили-погомонили и стали расходиться: кто в поле, кто в луга, кто в дубраву, слоны к слонам, крокодилы к крокодилам.

Пошел и тигр.

* * *

Идет тигр полем, твердит молитву:

— Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей, пожирают и поедают! Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей, пожирают и поедают! — и так это ловко выговаривает, вот-вот от слова и станется: услышит Бог тигрову молитву и пойдут рождаться у тигра по девяти детенышей ежегодно, беда!

Поравнялся тигр с колючкой.

— Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей, пожирают и поедают!

А заяц не выдержал да перед самым носом и выпрыгнул.

Тигр вздрогнул — из памяти всё и вышибло.

— Чего ты тут делаешь? — крикнул тигр на зайца.

— Я ничего, Еронимыч, очень страшно. Как ты сказал, что твои детеныши будут поедать моих зайчат, я и выскочил. Я тебя боюсь, Еронимыч!

— Постой, о чем это я молился-то, дай Бог памяти.

— А ты твердил, — сказал заяц, — «Го-осподи, пусть через каждые девять лет родится у меня по одному и единому детенышу!»

— Ах, да! Ну, спасибо.

И пошел тигр от колючки.

— Господи, пусть через каждые девять лет родится у меня по одному и единому детенышу! — твердил тигр молитву — и так это ловко выговаривал, вот-вот от слова и станется: Бог услышит молитву и будет у тигра через каждые девять лет рождаться по одному и единому детенышу.

Да так оно и будет.

А заяц бежал по полю, усищами усатый пошевеливал: эка, ловко от тигра отбоярился, все нынче целы останутся, — и ребятишки голопузые, и зайчата любезные.

2. Заяц добрый

Жила-была старуха, и был у нее один сын. Бедно они жили: земли — сколько под ногтем и всё тут. И повадился на их поле заяц: бегает усатый, хлеб травит.

Дозналась старуха.

— Самим есть нечего, а тут еще... уж я тебя! — точила на зайца зуб старуха.

У соседа росла в саду старая вишня, пошла старуха к соседу за вишневым клеем.

Дал ей сосед клею, сварила старуха да с горяченьким прямо на поле.

А лежал на поле камушек, на этом камушке любил отдыхать заяц: наестся и рассядется, усами поводит от удовольствия. Старуха давно заприметила, взяла да этот заячий камушек клеем и вымазала.

Прибежал в поле заяц, наелся, насытился и на камушек, сидит облизывается. А старуха и идет, и — прямо на него. Он туда-сюда, оторваться-то не может: хвостиком прилипнул.

Ухватила старуха зайца за уши — попался! — и потащила.

— Изведу ж тебя, будешь ты у меня хлеб таскать, проклятущий!

А заяц и говорит старухе:

— Тебе меня, бабушка, никак не извести! А уж если приспичило, так я тебе сам скажу про мою смерть: ты меня, бабушка,

посади в горшок, оберни горшок рогожкой да с горки в пропасть и грохни, — тут мне и смерть приключится.

Посадила старуха зайца в горшок, обернула горшок рогожкой, полезла на горку — горка тут же за полем — вкарабкалась на горку да и ухнула горшок в пропасть.

— Слава Тебе, Господи!

Горшок хряснул и вдребезги, — а заяц скок и убежал.

И дня не прошло, заяц опять к старухе — опять хлеб травить. Не верит глазам старуха: он! — жив, проклятущий!

— Ну, постой же! — еще пуще заточила на зайца зуб старуха.

Опять пошла она к соседу за клеем, сварила да с горяченьким прямо на поле к тому самому любимому камушку; вымазала камушек клеем.

— Уж не спущу!

Зашла старуха за кустик, притаилась.

А зайцу и в голову такое не приходит, чтобы опять на него с клеем; наелся, насытился и на камушек, сел на камушек и попался.

— Не спущу! — ухватила старуха зайца за уши, — не спущу!

И потащила.

— Бабушка, не губи! — просит заяц.

— И не говори, не спущу! — тащит старая зайца и уж не знает, чем бы его: и насолил он ей вот как, да и обманул опять же.

— Бабушка, я тебе пригожусь! — просит заяц.

— Обманул ты меня, обманщик, не верю!

Тащит зайца старуха, уж не придумает, чем бы его: ли задавить, ли живьем закопать?

— Бабушка, чего душе хочется, всё я для тебя сделаю, не губи!

— А чего ты для меня сделаешь?

— Всё.

Приостановилась передохнуть старуха.

— В бедности мы живем.

— Знаю.

— Есть у меня сын.

— Знаю.

— Жени ты моего сына!

— Это можно. У соседнего царя три дочери царевны, на младшей царевне его женить и можно.

— Жени, сделай милость, — обрадовалась старуха, — а ты не обманешь?

— Ну, вот еще! Раз сказал, — сделаю.

— Постарайся, пожалуйста! — Старуха выпустила зайца.

Заяц чихал и лапкой поглаживал уши.

Позвала старуха сына, рассказала ему посул заячий. Что ж, сын не прочь жениться на царевне. И сейчас же в дорогу.

— А как тебя величать, Иваныч?

— Ё, — сказал заяц (ё — по-тибетскому — заяц), — так и зовите: Ё.

— Ну, и с Богом! Идите.

И пошел заяц со старухиным сыном к царю по царевну — будет старухин сын сам царевич.

* * *

Идут они путем-дорогой, заяц да сын старухин, а навстречу им на коне какой-то верхом скачет — одет богато и конь под ним добрый.

— Куда, добрый человек, путь держишь? — остановил заяц.

— В Загорье, в монастырь, по обету.

— А мы как раз оттуда. Только ты чего ж это так? — покачал головой заяц.

— А чего?

— Да уж больно нарядно, и на коне!

— А разве нельзя?

— И думать нечего: ни верхом, ни в одежде в монастырь ни-почем не пустят, только и можно — пеш да наг. Оставь свое платье и коня, тут пройтись недалеко.

Тот зайцу и поверил: слез с коня, разделся.

— Мы побережем, не беспокойся, — сказал заяц, — иди вон по той дорожке, прямехонько к монастырю выйдешь.

А в том монастыре в Загорье как раз о ту пору чудил один, под видом блаженного, проходимец, монашки догадались да кто чем, тот и убежал из монастыря голый.

Монашки, как завидели голыша, на того блаженного и подумали: возвращается! — да кто с чем, окружили его и давай лупить.

А заяц, как только скрылся из глаз несчастный, нарядил в его богатое платье старухина сына, посадил на коня и прощай!

Путь им лежал мимо часовни, там у святого камня понавешано было много всяких холстов и лоскутки шелковые — приношения богомольцев.

Зашли приятели в часовню, постояли, оглядели камень. Заяц, какие лоскутки похуже, в сапог сунул к старухину сыну, а понарядней себе за пазуху.

Сел старухин сын на коня и дальше.

Целую ночь провели они в дороге, а наутро в соседнее царство поспели, и прямо к царскому дворцу.

Остановили часовые:

— Кто и откуда?

Ну, тут заяц не задумался: старухин сын — богатый царевич, а явились они к царю по невесту.

— У царевича в его царстве, — рассказывал заяц, — такое дело случилось, — мор: родители его, царь с царицей, и весь народ перемерли без остатка и остался во всем царстве один царевич и всё с ним богатство. Хочет царевич посватать младшую царевну.

Часовые к царю. Зовет царь к себе гостей. Пришли, выслушал царь зайца и отправил к царевнам: пускай познакомятся.

Пошел заяц со старухиным сыном к царевнам и завели там игру вперегонки — кто кого обгонит?

Старухин сын побежал и запнулся — сапог соскочил. Заяц к сапогу, вытащил из сапога шелковые лоскутки.

— Экая дрянь! — швырнул лоскутки прочь, а на их место, будто стельки, из-за пазухи другие, нарядные, вынул да царевичу в сапог.

Как увидели царевны, какие шелка царевич в сапогах носит, все три сразу и захотели за такого богача замуж выйти.

Тут заяц игру кончил и к царю.

А уж до царя дошел слух, царь рад-радехонек.

— Берите царевну, благословляю!

А заяц и говорит:

— У жениха на родине ни души не осталось, мором все перемерли, некому и за невестой приехать. Уж вы сами как-нибудь ее привезите.

Царь согласился: раз ни души не осталось, чего ж разговаривать? — и снарядил за невестой свиту.

— Я с женихом вперед поеду, — сказал заяц, — буду волочить по земле веревку, а они пускай по следу за нами едут.

А жил на земле того царя Сембо, по-нашему чёрт, пускал поветрия и жил очень богато, людям-то невдомек, а зайцу всё известно. К нему-то, в его дом чертячий, заяц и направил.

Увидел их черт, раскричался.

— Как смели вы войти, вон убирайтесь, пока живы!

А заяц и говорит:

— Потише! Мы не просто к вам, а по делу: пришли предупредить вас. Пронюхал про ваши дела царь и послал войско: велено вас изловить и предать злой смерти. Прячьтесь скорее, а то все равно убьют. Не верите? Посмотрите в поле.

Чёрт к окошку: и правда, по полю скачут, — народу невесть сколько. А это была царская свита, — везли невесту.

— А куда ж я денусь-то? — оторопел чёрт.

— Да вот хотя сюда! — заяц показал на котел.

Чёрт послушал да в котел.

Заяц взял крышку, крышкой его и закрыл, а сам под котлом развел огонек.

Стал огонек в огонь разгораться, стало в котле припекать.

Чёрту жарко, — куда жарко! — жжет.

— Ой, ой, больно!

— Тише! — останавливает заяц. — Услышат, откроют, убьют ни за что! Потерпите! — А сам и еще огня прибавил.

Терпел, терпел черт, больше не может.

— Близко! Услышат! — унимает заяц да еще дровец под котел.

Поорал, поорал в котле чёрт и затих — растопился несчастный.

* * *

Навеселе прикатила царская свита с невестой: дернули на проводинах, галдят.

А заяц, будто в жениховом доме, выходит гостям навстречу, всё честь честью, одна беда — не успел угощенья наготовить.

— Есть только суп у меня вон в том котле, не пожелаете ли?

Гости не прочь: с дороги перекусить не мешает. И угостил их заяц супом — развар чертячий — каждому гостю по полной чашке.

А как кончили суп, повел заяц гостей жениховы богатства показывать.

Ведет заяц в первый покой: там золото, драгоценные камни.

— Это приданое за невестой: когда женился женихов старший брат умерший, за невестой ему досталось.

Входят в другой покой: там полно человечьих костей.

— Это чего?

— А это вот что: напились гости на свадьбе старшего брата, безобразничали, буянили, за то и казнены.

Ведет заяц в третий покой: а там — полужив-полумертв.

— А это?

— Тоже гости: напились на свадьбе среднего брата, задирали, безобразничали, а за то и заточены навечно.

Переглянулись гости — как бы беды не вышло, в голове-то с проводин у всякого муха! — да тихонько к дверям, пятились, пятились, да в дверь, там вскочили на коней да без оглядки лататы домой, и про невесту забыли.

Сбегал заяц за старухой.

И стали жить-поживать старухин сын с царевной да старуха в большом богатстве.

При них и заяц жить остался.

Перенесла ему старуха с родного поля его камушек, на этом любимом камушке и отдыхал заяц.

У старухина сына родился сын. Со внучонком старуха, а пуще заяц возился.

Так и жили дружно.

* * *

Захотелось зайцу испытать, чувствует ли старухин сын благодарность или, как это часто среди людей бывает: пока нужен ты, юлят перед тобой, а как сделано добро, за добро же твое первые и наплюют на тебя! И притворился заяц больным, лег на свой камушек любимый, лежит и охает.

Сын старухин услышал: что-то плохо с зайцем.

— Чего, — говорит, — тебе, Иваныч, надо? Может, сделать чего, чтобы полегчало? Скажи, что нужно.

А заяц и говорит:

— Вот что, сходи-ка ты к чернецу, в пещере спасается, и спроси у пещерника: он всё знает. Да иди обязательно песками, а назад горой.

Старухин сын сейчас же собрался и пошел по песчаной дороге пещерника искать. А заяц скок с камушка да по другой, по горной дороге и прямо в пещеру и сел там. Сидит, как чернец, молитвы читает.

Отыскал старухин сын пещеру, не узнал в потемках зайца, думал, это пещерник.

— Чего тебе надо, человече?

— Заболел у меня благодетель. Скажи, чего надо, чтобы помочь ему?

— У тебя сын есть, — сказал пещерник, — вырежь у него сердце и накорми больного: будет здоров.

Пошел сын старухин горной дорогой, едва ноги тащит, а заяц скок из пещеры да песками, вперед и пришел домой, и опять улегся на камушке, лежит и охает.

Вернулся и старухин сын.

— Был у пещерника?

— Был.

— Что же он сказал?

Тот молчит.

— Чего ж ты молчишь?

Молча отошел старухин сын от камушка, взял нож и начал точить.

— Чего ты хочешь делать?

А тот знай точит.

И наточил нож. Покликал сынишку. Пришел сын.

— Раздевайся!

Разделся мальчонка.

— Чего ты хочешь делать? — крикнул заяц.

Старухин сын поднял нож и показал на сына:

— Его.

— Зачем? — заяц приподнялся с камушка.

— Сердце сына моего тебя исцелит.

— И тебе не жалко?

— Мне и тебя жалко. Ты для меня всё сделал. Потеряю тебя, навсегда потеряю, а сына даст мне Бог и другого.

Тогда заяц поднялся со своего камушка и открыл старухину сыну всю правду.

— Хотел испытать тебя. Теперь — верю.

И в тот же день заяц убежал в лес.

А молодые со старухой стали жить-поживать и счастливо, и богато.

3. Разные зайцы

Подружились волк, обезьяна, ворона, лисица да заяц и стали жить вместе в одной норе. Жили ничего, да год подошел трудный, весь хлеб подъели, а про запас ничего нету.

Терпели, терпели, а выкручиваться надо.

— Ты, Иваныч, самый у нас первый, ты всё знаешь, выручи! — пристали к зайцу звери.

— Дайте, братцы, подумать, сам вижу, дело наше плохо.

Ну, и стал заяц думать: туда сбегает, сюда сбегает, — зайцы бегом думают! — и говорит приятелям:

— Не горюйте, братцы, я нашел лазейку, живы будем.

А сидел у царя лама, по-нашему чернец, сколько дней и ночей все молитвы над царем читал. И подходил ламе срок восвояси убираться и, конечно, не с пустыми руками. Вот этим ламой и задумал заяц поживиться.

— Выйдет лама от царя, а я на дорогу. Буду под носом у него кружиться, подбегу так близко, только руку протяни. Лама соблазнится, погонится за мной. Далеко не убегу, буду его обнадеживать. Он мешок свой с плеч сбросит, подберет полы да налегке и пойдет сигать по полю, а вы хватайте мешок и тащите в нору. Понимаете?

— Понимаем, Иваныч.

— Живо хватайте мешок и тащите в нору! — повторил заяц.

Одному только намекни, и уж говорить не надо, всё поймет, другому один раз сказать довольно, а третьему, чтобы втемяшить в башку, обязательно надо повторить, и не раз.

— И тащите мешок в нашу нору! — повторил и еще раз заяц.

Царь ламу за молитвы вознаградил щедро: с таким вот мешищем вышел лама от царя, Бога благодарил, — теперь ему от царской милостыни пойдет житье сытное.

А заяц, как сказал, так и сделал.

Заяц обнадежил ламу, соблазнился лама, захотелось зайца поймать, а когда приятели ухватили мешок, заяц ушел от ламы.

* * *

Приволокли звери мешок в нору, тут и заяц вернулся.

И сейчас же мешок смотреть.

Развязали мешок, а в мешке чего только нет: и съедобного всякого — пироги, аладьи, печенье, и из носильного платья порядочно — штаны, сапоги, и четки, и свирель такая из человечьих косток.

— Вот что, братцы, — сказал заяц, — по-моему, нашу находку следует использовать вовсю! Ты, серый, надевай-ка сапоги и иди в стадо: в сапогах тебя всякий баран за пастуха примет, и ты пригонишь целое стадо, тогда нам и горя мало, с таким запасом надолго будем едой богаты. Ты, обезьяна, напяливай-ка штаны и иди в царский сад, залезай на яблоню и рви, сколько влезет, а яблоки в штаны складывай. Полные накладешь, возвращайся, опорожнишься и за грушу примешься. И варенья наварим, и пастилы всякой наделаем, будет сладкого у нас на загладку вдоволь. Ты, ворона, надевай на шею четки, садись у дворца на березу, да грамотку повесь на ветку и каркай. Заприметят тебя, и всякому будет в диво: «Что это, скажут, за ворона такая в четках!» — и понесут тебе пирожных, конфектов, пряников, леденцов, а ты не моргай, всё бери. Будет с чем нам чай пить. Ну, а ты, лисица, забирай свирель и бубен, отправляйся в поле, где живут твои лисы, лисята и лисенки, труби, свисти, барабань — сбежится к тебе весь твой род лисий, ты их и веди с собой. Будет нас большое сборище, будет нам весело!

Выслушали звери зайца — умные речи любо и слушать! — и принялся всяк за свое дело.

Напялил волк сапоги да в стадо, идет гоголем: так вот сейчас и побегут за ним бараны, баранины-то будет — объешься! Да не тут-то: бараны, как завидели волка, шарахнулись кто куда, а за ними овцы. На шум выскочили пастухи, да с палкой. Пустился волк улепетывать, а сапоги-то не дают ходу, — едва к норе выбрался.

Обезьяна в штанах забралась на царскую яблоню, полные штаны наклала яблоков и только было собралась спускаться, бегут ребятишки. Увидели на яблоне в штанах обезьяну, загалдели, закричали, да камушками и ну в нее. Цапается обезьяна с яблони, а штаны мешают, ни туда, ни сюда, уж кое-как понад-

садилась да с ветки и прыгнула. Вот грех, чуть было ребятам в лапы не попалась.

А ворона в четках взлетела на березу, подвесила грамотку и закаркала, — поверила, так сейчас вот ей и потащут лакомства! А вышло-то совсем наоборот. Увидали ворону, да камнем. Ворона хотела взлететь, а четки за сук, запуталась, выдраться не может. Только чудом выскочила и уж едва жива полетела.

И с лисой тоже неладное стало, как затрубила она, забарабанила, и уж куда там в сборище собираться, пустились от нее все звери улепетывать, собственные лисята и лисенки убежали без оглядки.

Идут товарищи печально: у кого глаз подбит, у кого ноги не тверды, у кого бок лупленный. Сошлись у норы и поведали друг другу о своем горе.

— Заяц — обманщик! Заяц подстроил всё это нарочно, чтобы сожрать одному добычу. Давайте-ка его, ребята, отлупцуем хорошенько.

А заяц, проводив товарищей, засел на мешок, наелся хлеба и сыру и всяких печений, весь мешок подчистил. Нашел в мешке красную краску, вымазал краской себе губы, десна и прилег в уголку, ровно б разболелся.

Нагрянули товарищи с кулаками, а заяц и слова им сказать не дал.

— Ну, братцы, и хитрящий же этот самый лама: мешок-то у него с наговором! Я всего этакую малюсенькую корочку пожевал, так что же вы думаете, — кровь горлом так и хлынула.

Звери смотрят: точно кровь — и на губах, и во рту кровь. Сердце-то у них и отошло. И принялись они за зайцем ухаживать. Уложили они зайца, закутали потеплее, — кто водицы подаст, кто чего.

— Ой, Иваныч! И как это тебя Бог спас, долго ль до беды. Какой ты неосторожный! — ходили звери на пяточках, ухаживали за зайцем.

А про себя уж ни слова: уж как-нибудь подживет, не стоит зайца расстраивать.

Ночью заяц потихоньку выбрался из норы и убежал.

* * *

Проснулись наутро товарищи, а зайца нет.

— Заяц убежал, заяц — обманщик.

— Конечно, обманщик.

— Сожрал весь мешок и притворился больным. Обманщик.

— Пойдемте, ребята, изловим его и отлупим. Чего в самом деле!

И пошли по зайцу.

Долго не пришлось приятелям путешествовать: заяц тут же забрался на гору и сидит, плетет корзину.

Завидели приятели:

— А! — кричат, — попался! Так-то ты по-приятельски с нами! Опять нас обманул: мы из-за тебя натерпелись, а ты мешок сожрал да еще и больным притворился, мошенник!

— Что такое? Какой мешок? Каким больным? Ничего не понимаю. Кто вы такие? И чего вам от меня, зайца, надо? — заяц отставил корзинку.

— Кто такие? Сам знаешь! Слава Богу, по твоей милости пострадали. Кто такие?!

— Да позвольте, я вас в первый раз вижу. Вы ошиблись. Над вами мудровал какой-то другой заяц. Зайцев на свете много, и все разные зайцы. Есть зайцы — плетут корзинки, есть зайцы — разводят огонь на льду, а есть зайцы — над дураками мудруют. Я из тех зайцев, которые плетут корзинки, видите? А с вами жил какой-то особенный заяц. Давеча пробегал тут один заяц и спустился вот с этой горы в долину.

— Извините, пожалуйста, мы ошиблись.

— Ну, что делать, со всеми бывает! А это, пожалуй, тот самый и есть заяц.

— Не можете ли указать нам дорогу, по которой пробежал тот самый заяц? Уж больно нам хочется изловить его и отлупить хорошенько: он — заяц плут и обманщик.

— Да вон она, дорога, — показал заяц ушами, — с горы и вниз. Только мудрено вам изловить этого самого зайца, больно уж прыток. Хотите, я вам скажу одно средство и заяц будет в ваших лапах. А не то ваше дело пропало, нипочем не догнать.

— Мы на всё готовы.

— Ну, вот что: я посажу вас в корзину, спущу с горы, и вы будете в долине куда раньше вашего зайца.

Заяц открыл корзинку. И когда звери кое-как втиснулись, закрыл крышку, крепко увязал корзину лычком да с горы вниз и грохнул.

Что только было, — корзинка ударялась о камни, перевертывалась, и не помнят звери от страха, как очутились они на дне.

Слава Богу, кончилось! Попали куда-то да вылезти-то не могут, — корзинка лыком туго скручена! Не выйти! Уж ковыряли, ковыряли, доковырялись-таки и вышли на свет Божий. Вышли в чем душа, а заяц-то, приятель-то их сердечный, сидит — он самый, ей-Богу, сидит на льду и греется у огонька, мошенник!

— Какой заяц-то наш умница, без него нам никогда бы не настигнуть плута. Ишь, себе греется, мерзавец!

И звери бросились к зайцу.

— А! Попался! Не выпустим.

Заяц ничего не понимает.

— Что такое? Что вам нужно?

А они так и наступают.

— Нет, брат, вилять нечего. Научил ты нас уму-разуму, едва живы остались, да еще и больным притворился. Дай Бог здоровья зайцу — есть зайцы, которые плетут корзинки — заяц нам твой след указал, мошенник.

— Понимаю, вас обманул какой-то заяц и убежал! Постойте, только что спустился с горы заяц и спрятался в той вон скале. Должно быть, это и есть тот самый заяц.

— Извините, пожалуйста, опять мы обознались! Мы ищем того самого зайца, который спрятался в скале.

— А вы очень хотите поймать этого самого зайца?

— Поймать и отлупить хорошенько! — сказали приятели разом.

— За этим дело не станет, только вам придется перебыть ночь, а на рассвете вы двинетесь и сцапаете вашего зайца. Присаживайтесь-ка к огоньку. Вы должны сидеть тихо, не шуметь и громко не разговаривать, а то заяц услышит, забоится и убежит.

Приятели стали покорно рассаживаться на льду.

— Тише! — прикрикнул заяц. — Повторяю, будете шуметь и разговаривать, не видать вам зайца.

* * *

Тишком да молчком сидели звери и с ними заяц.

Заяц всё подбрасывал дров, и от костра лед таял, и вода подтекала под хвосты. Приятели мокли, а боялись шевельнуть-

ся — боялись спугнуть зайца: заяц услышит, забоится и убежит!

Среди ночи дрова все вышли, костер погас и вода стала замерзать.

— Пойти сходить за дровами, — поднялся заяц, — ну, я пойду, а вы сидите смирно.

Пошел заяц за дровами и пропал.

Ждать-пождать, нет зайца, не возвращается, пропал.

Сидят звери одни, зуб на зуб не попадает, а уж светать стало.

— А что, братцы, не надул ли нас и этот заяц?

Шепотком, потом погромче, потом во весь голос заговорили звери: решили приятели, не дожидаясь зайца, самим идти на свой страх к скале и сцапать того самого обманщика зайца.

И опять беда, попробовали подняться, ан, хвосты примерзли!

И натерпелись же бедняги, уж и так, и сяк, едва отодрались: у кого кончика нет, у кого из середки клок на льду остался, у кого основание попорчено, — инда в жар бросило.

Ощипанные, продрогшие — лица нет! — бежали товарищи по льду к скале. А заяц-то ихний сидит себе у колодца, а в лапах камень.

— Чего ж ты нас обманул, бессовестный!

— И не думал, вы сами во всем виноваты. Я набрал хворосту, иду к костру, тут вы чего-то зашумели, заяц испугался и бежать. Я погнался. А заяц — не знает, куда деваться, вскочил в этот самый колодец и сидит на дне, притаился. Хотите посмотреть зайца?

Приятели за зайцем потянулись к колодцу.

А и в самом деле, на дне колодца они увидели заячью ушатую мордочку.

— А! Это он, наш обманщик! Он самый! — обрадовались товарищи.

— Сколько часов сижу я здесь с камнем и караулю, — сказал заяц, — одному никак невозможно. Хотите доконать вашего зайца, бросайтесь все разом! Когда скажу: три! — разом соскакивайте в колодец, и заяц — ваш.

Звери приготовились.

— Раз, два, три! — крикнул заяц.

И разом все четверо кинулись в колодец.

И назад никто не вернулся: ни волк, ни обезьяна, ни ворона, ни лисица.

А заяц пошел себе из долины в гору, всё ходче и прытче, мяукал, усатый.

4. Заячий указ

Овца жила тихо-смирно, и был у овцы ягненок. Как-то сидит овца под окошком и тут же ягненок ее трется. И случился такой грех — прошел мимо Волк Волкович.

Увидала овца волка, — затряслись поджилки, и уж с места не может подняться, сидит и дрожит.

А бежал мимо заяц, видит — ни жива ни мертва овца, и никого нет, приостановился.

— Что такое?

— Ой, Иваныч, смерть пришла.

— Какая смерть?

— Волк прошел: не миновать, съест.

— Ну, вот еще! Я тебя выручу.

— Выручи, Иваныч!

— Ладно.

Заяц сел на овцу и поехал, а ягненок сзади бежит.

Куда заяц едет, овца ничего не знает, а спросить боится, так и везет вслепую.

Выехали на большую дорогу, — там была покинутая стоянка, валялись всякие отбросы.

Заяц увидел лоскуток войлока, велел поднять ягненку. Красная тряпочка валялась, и красную тряпочку поднял ягненок. А потом красный ярлычок от чайной обертки тоже велел подобрать ягненку.

Тут заяц повернул овцу с дороги, и поехали тропкой, и доехали до самой до норы волчиной.

Волк высунулся из норы: что за чудеса?

А заяц и говорит ягненку толстым голосом:

— Постели белый ковер!

Ягненок постелил войлок.

— Покрой красным сукном!

Ягненок разостлал тряпочку.

Заяц слез с овцы и стал на красную тряпочку, как на орлеца.

— Подай царский указ!

Ягненок подал красный чайный ярлычок.

Заяц взял ярлычок в лапу.

— От царя-государя и великого князя обезьяньего Асыки: велено от всякого рода зверя доставить по сто шкур. От волков доставлено девяносто девять шкуров, одной шкурки не хватает... —

Заяц остановился, будто передохнуть.

А волк хвост поджал: одной шкуры нет, не за ним ли черед? — да бежать, да бежать без оглядки.

* * *

Бежит волк, навстречу ему лиса.

— Куда это тебя несет, серый?

— Ой, смерть пришла.

— Какая такая смерть?

— Заяц царский указ привез: обезьяний царь мою шкуру требует.

— Не может быть!

— Ну, вот еще, сам видел: указ с печатью.

— Нашел дурака, а ты и веришь. Пойдем, я этого зайчищу на чистую воду выведу.

Волк уперся.

— Да ты убежишь, Лисавна, меня и сцапают!

— Да зачем бежать-то?

— А затем и бежать; давай схвостимся, а то иди одна.

Лиса согласилась: привязала свой хвост к хвосту волчиному. Волк подергал: крепко ли? Крепко.

И побежали волк да лиса выводить зайца на чистую воду.

И легко добежали они до норы волчиной.

Сидит заяц на красной тряпочке, как на орлеце, в лапах красный чайный ярлычок.

— От царя обезьяньего Асыки велено доставить сто лисичьиных шкур. Доставлено девяносто девять шкуров, одной шкурки нет.

Лиса как услышала — и! куда прыть! — да дра́ла и волка за собой.

Волк прытче, лисе не угнаться. Бежали, бежали, упала лиса.

Уж мордой назад тащится, боком трется о камни, вся шкура долой.

Волк оглянулся.

— Бессовестная, еще и шубу снимает! — и погнал в гору.

А когда добрались до самой верхушки, мертвая лиса скалила зубы.

— Мучаешься, стараешься, а у вас одни смешки! — Волк едва дух переводил, пенял лисе.

5. Злой заяц

Жил-был медведь, и было много у него медвежат. Медведь один — дела по горло: встанешь утром, иди по дрова, за детьми некому и присмотреть.

И раздумался медведь: неладно так— без призору медвежата, мало ли грех какой, и подерутся, и зверь какой обидит, обязательно надо глаз.

Насушил медведь мешок сухарей, взвалил мешок на плечи и пошел в путь-дорогу: отыщет он человека, человек и будет его медвежатам за няньку.

Навстречу медведю ворон.

— А! Медведь! Куда пошел?

— Ищу человека, медвежатам няньку. Без призору невозможно, а мне дела по горло, приходится из дому отлучаться.

— А что это у вас в мешке?

— Сухари.

— За три сухарика я, пожалуй, готов присмотреть за твоими медвежатами.

— Сухариков мне не жалко, — усумнился медведь, — а ловко ль ты нянчить-то будешь?

— Очень просто: кар-гар! кар-гар! — закаркал ворон.

— Нет, такая нянька не подходяща.

И пошел медведь дальше.

Навстречу медведю коршун.

— А! Медведь! Куда пошел?

— Ищу человека, медвежатам няньку. Без призору невозможно.

— А что это у вас в мешке?

— Сухари.

— Ну, что ж, за три сухарика я согласен нянчить.

— Трудно тебе их нянчить-то! — усумнился медведь и в коршуне.

— Чего трудного-то? — и коршун закричал по-коршуньи, в ушах засверлило.

Медведь и разговаривать не захотел, пошел дальше.

Навстречу медведю заяц.

— А! Куда, Миша?

— Ищу человека, медвежатам няньку. Сам знаешь, без призору невозможно, а мне и так дела по горло, приходится из дому отлучаться.

— А что это в мешке-то?

— Сухари.

— Дашь сухари, буду нянькой.

— Да ты сумеешь ли нянчить-то?

— Еще бы, мне да не суметь! Останусь я с твоими медвежатами. «Медведюшки, скажу, милые, мои медвежатушки-косолапушки, тихо сидите, не ворчите, лапками не топочите, вот вернется из леса батя, принесет меду, малины: соты-меды сахарные, малина сладкая». Буду им говорить, буду их поглаживать по спинке, по брюшку по мяконькому. «И! медвежатки, у! медвежатушки-косолапушки!»

Медведь слушал, слушал, растрогался.

— Ну, Иваныч, согласен: хорошо ты нянчишь.

— Еще бы! — заяц шевелил усами. — Ну, давай мешок посмотрим.

Развязал медведь мешок, заяц всунул туда мордочку, перенюхал сухарики и остался очень доволен.

— Я согласен.

Взвалил медведь мешок на плечи — зайцеву плату — и повел зайца в свою берлогу к медвежатам.

— Вот вам, медвежата, нянька, слушайтесь!

И возгнездился заяц в медвежьей берлоге на нянячью должность.

* * *

Поутру ушел медведь по дрова. Слава Богу, теперь ему очень беспокоиться нечего: заяц присмотрит.

А заяц, как только медведь из берлоги, скок к медвежатой кровати да всем медвежатам головы и оттяпал, положил головы рядком на кровати, прикрыл одеялом, только носики торчат. А сам сгреб туши да в котел, налил воды и поставил суп медвежий варить.

И пока суп варился, прибрал заяц берлогу, медвежатые мордочки молоком измазал, закусил сухариком и присел к огоньку старье медвежье чинить.

Вернулся медведь в берлогу.

— А! вернулся! А я медвежат накормил и спать. Да, тут купцы ехали, оставили говядинки. Я суп варю. Садись-ка: поди, проголодался?

— Спасибо, Иваныч, проголодался! — свалил медведь дрова и к котлу.

И принялся суп хлебать.

Медведь с голодухи-то навалился, ничего не соображает и медвежьего духу не учуял, а как стал насыщаться, в нос и пахнуло. А тут, как на грех, зачерпнул ложку, а на ложке медвежий пальчик. Вскочил медведь и прямо к кровати, отдернул одеяло — нет медвежат, одни мордочки медвежьи.

И догадался — замотал головой — догадался да на зайца, а заяц скок из берлоги и — поминай как звали!

* * *

Бежит заяц, выскочил в поле. Бежит полем прытче, — а за ним медведь лупит.

Навстречу пастух.

— Ай, пастух, спрячь от медведя: медведь вдогон, хочет съесть.

— А полезай в мешок!

Заяц — в мешок, а медведь тут как тут.

— Где заяц?

— Какой заяц?

— А такой, давай зайца!

— Да нету никакого, — уперся пастух, — нет и нету.

— Врешь, мерзавец! А еще пастух! Съем, давай зайца!

Пастух испугался, развязал мешок, заяц выскочил и — прощайте.

Бежит заяц полем, — за зайцем медведь.

Навстречу человек: копает гусиную лапку — коренья.

— Послушай, добрый человек, спрячь от медведя: медведь меня съесть хочет.

— А садись в мешок!

Заяц вскочил в мешок, а медведь тут как тут.

— Давай зайца!

— Какого зайца?

— Съем!

Ну, тот испугался, развязал мешок, а заяц прихватил горстку кореньев, да бежать.

Бежит заяц — за зайцем медведь.

Навстречу тигр.

— Еронимыч, отец, сделай милость, спрячь: медведь гонится, хочет меня съесть!

— Садись ко мне в ухо.

Заяц скокнул и прямо в ухо к тигру, там и притаился.

А медведь тут как тут.

— Подай сюда зайца!

— Зайца?

Уставился тигр на медведя, медведь на тигра.

— Убью!

— Посмотрим.

Да друг на друга, и сцепились, только клочья летят.

Бились, бились, и пал медведь под тигром.

А заяц, как увидел, что медведю крышка, выскочил из тигрова уха.

— Спасибо, Еронимыч, дай Бог тебе здоровья.

— Послушай, заяц, ты, сидючи у меня в ухе, ровно жевал что-то.

А заяц коренья грыз — гусиную лапку.

— Я, Еронимыч, глазом питался.

— А дай попробовать!

Заяц подал тигру коренье — гусиную лапку.

Съел тигр.

— Вкусно! Очень! Нет ли еще, Иваныч?

— Что ж, можно. Только теперь твой будет.

— Валяй, с одним глазом управлюсь.

Заяц глаз у него и выковырял, спрятал себе, а подает опять корешков.

Съел тигр.

— Вкусно! Знаешь, Иваныч, я еще съел бы.

— Да взять-то неоткуда.

— А коли и правый выколупать?

— Что ж, можно и правый.

— А когда я слепцом сделаюсь, будешь ли ты меня водить, Иваныч, слепца-то?

— Еще бы! Я тебя так не оставлю. Поведу тебя по дорогам ровным да мягким, где ни горки, ни уступа, ни колючек. Так и будем ходить.

— Спасибо тебе, Иваныч, ну, колупай!

Заяц выковырял у тигра и правый глаз и уж подает не корешков, а глаза тигровы.

Тигр съел, но без удовольствия.

— Что-то не то, больно водянисто.

— Глаз и есть водянистый, чего ж захотел? Ну, а теперь в дорогу.

И повел заяц слепого тигра.

* * *

Не по мягким ровным дорогам, — по кручам, по камням, по колючке нарочно вел заяц слепого тигра.

— Ох, Иваныч, ой, тяжко!

А заяц нарочно выбирал дурные дороги и не давал передышки.

Пришли к пещере.

Заяц посадил тигра на край, спиною — в пропасть, сам собрал хворосту, развел огонь перед тигром.

— Не жарко ли, Еронимыч? Подвинься немного.

Тигр попятился и очутился на самом краешке.

Заяц подложил огоньку.

— Подвинься-ка еще, Еронимыч!

Тигр еще попятился и ухнул в пропасть, да, падая, ухватился зубами за дерево и повис.

И хочет тигр зайца на помощь позвать, да ничего не выходит, только мычит.

— Еронимыч, где ты? — кличет заяц.

А тот мычит.

— Еронимыч, подай голос, да где же ты?

— Я тут! — крикнул тигр, ветка выскользнула изо рта, и угодил тигр в самую пропасть, да там и расшибся.

* * *

Бежит заяц.

Навстречу купец.

— А! Купец! Я убил тигра, не хочешь ли шкуру?

— А где она?

— А вон, у пещеры.

— Ну, спасибо.

Оставил купец товар на дороге, а сам к пещере за тигровой шкурой.

Бежит заяц.

Навстречу пастух.

— А! Пастух! Под горой у пещеры купец шкуру снимает с тигра, товар на дороге, хочешь попользоваться?

— Спасибо!

И побежал пастух купцов товар шарить.

Бежит заяц.

Навстречу волк.

— А! Серый! Пастух ушел за добычей — купцов товар без хозяина на дороге, стадо пастухово без призора, ступай, поживишься.

— Спасибо, спасибо.

И побежал волк пастухово стадо чистить.

Бежит заяц.

Навстречу ворон.

— А! Ворон! Волк побежал пастухово стадо чистить, волчата одни. Не желаешь ли полакомиться?

— Спасибо.

И полетел ворон к волчиной норе волчат клевать.

Бежит заяц.

Навстречу старуха с шерстью.

— А! Бабушка! Ворон улетел волчат клевать, попользуйся вороньим гнездом — дров тебе будет довольно.

— Спасибо, Иваныч, дай тебе Бог здоровья.

Старушонка положила шерсть за кустик, побрела к воронье-му гнезду гнездо снимать.

Бежит заяц.

А на него ветер — —

А! Ветер Ветрович! Старуха пошла за вороньим гнездом, не желаешь ли поиграться с шерстью, эвон за кустиком трепыхает.

— Спасибо.

Ветер подул на дорогу, выдул старухину шерсть, закрутил, завеял, растрепал ее бородой и! — понесся — —

* * *

А там купец снял с тигра шкуру, вернулся со шкурой на дорогу, где товар оставил, а товара нет — пастух унес, и погнался купец за пастухом — —

Пастух пришел с купцовым товаром к стаду, хвать, а волк овцу угнал, и погнался пастух за волком — —

Волк приволок овцу к норе, а у волчат глаза выклеваны — пропали волчата! — и погнался волк за вороном — —

Ворон поклевал волчат и назад в гнездо, а гнезда-то нет, старуха на дрова сняла, и погнался ворон за старухой — —

Старуха снесла гнездо к себе в избу, вернулась на дорогу, хвать, а ветер несет ее шерстку, и погналась старуха за ветром — —

Ветер дул, завивал старухину шерсть, гнал ее полем, свистел, игрался. Ветер дул и кружил — —

И увидел заяц — по дороге в ветре кружилось: купец, пастух, волк, ворон, старуха. И как увидел заяц — смотрел, смотрел и захохотал.

И захохотал заяц, и так хохотал заяц — от хохота разорвалась губа.

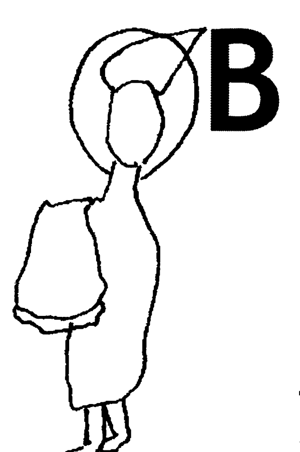
6. Звериное дерево

Четыре зверя
сошлись у дерева:
слон, обезьяна, заяц и ворон.
Без головы жить невозможно.
Кому быть старшим?
Я слон, я помню, как было дерево чуть от земли, я старший.
Слон стал под деревом — ничем не сдвинешь.
«Нет, я постарше!»
И обезьяна прыг на ветку и уцепилась над слоном.
«Я заяц, я видел, как на дереве зазеленели первые листочки,
я всех старше!»
Да скок — и стал над обезьяной.
«Нет, ворон старше всех: я принес зерно,
а из зерна и дерево пошло!»
И ворон взлетел над всеми.
Так и живут четыре зверя!
Слон,
над слоном обезьяна,
над обезьяной заяц,
а над зверями выше всех
ворон.

СИБИРСКИЕ СКАЗКИ

Сибирский сказ

Люди и звери
Манегрская



В начале был огонь и вода.

Огонь и вода опустошили всю землю.

Потом Бог создал человека — брата и сестру, в тех самых землях, где живут орочоны, от китайцев далеко.

И говорит сестра брату:

— Давай жить как муж и жена, а то пропадем, и кончится человек на земле.

Брат заплакал, да раздумался и согласился.

Через год родился у них сын, потом две дочери и еще сын.

Большого сына звали Манягир, дочерей — Учаткан и Говагир, меньшого — Гурагир. А имя отцу — матери было Ойлягир, и детей, что родились после, назвали Ойлягир.

Так пошли пять родов.

*

Жили люди на земле, а ничего-то у них не было: ни оленей, ни лошадей, ни собак.

И говорит старая мать детям:

— Убейте меня, снимите с меня кожу и мясо, разделите кости. Кости разбросайте ночью во все стороны. А бросая, говорите: «Это пусть будет лошадь, это олень, это корова, это собака, это жена, это дочка!»

Младшая дочка Говагир заплакала — нет, она такого не может исполнить!

А ночью, когда все спали, больший сын Манягир убил старую мать и сделал так, как она наказала.

И вот поутру около стойбища послышался шум — лошади, олени, коровы, собаки и люди сходились со всех концов, как обещала старая мать.

Так пошли люди и звери.

Люди и звери, китайская водка и водяные
Манегрская

Жили-были семь братьев.

Раз случилась им большая удача: набили они много всякого зверя.

Три шайбы наполнили сушеным мясом, — шайба это амбарчики на столбах в тайге, — надолго запасли себе корму.

И стали братья, кроме одного брата, ловить зверей живьем.

С живого зверя бережно, чтобы не повредить жил, сдерут шкуру и пустят так бесшкурого на волю.

Ну, зверь голый — смешно.

Смеялись братья, кроме одного брата.

И вот однажды, натешившись над зверями, пошли братья к шайбе за едой.

А шайба, как живая, всё дальше и дальше от них.

Долго братья гонялись за ней, а она уходит и уходит, как живая. Стреляли из луков — ничем не остановишь. Голодные завыли, как звери.

И перемерли братья голодной смертью, кроме одного брата.

Не помер тот, что не обижал зверей.

Тогда шайба остановилась и накормила его.

*

Было семь братьев, остался из семи один.

И стало ему одному без братьев скучно.

И пошел он куда глаза глядят.

И так шел он, шел и дошел до китайцев.

Ласково приняли его китайцы: один буду предлагает, другой кукурузу, третий лепешки.

А он всё отказывается: срода не видывал такого, — есть-то ему боязно.

— Ну и чудак!

И решили китайцы угостить его китайской водкой.

Боё водку выпил, как воду, — три чашки, и что потом было, ничего не помнит.

А поутру проснулся, видит — всё те же китайцы.

И говорят ему китайцы:

— Приводи к нам свой народ, у нас жить хорошо.

И стали собирать его в дорогу: научили, как печь лепешки, дали ему и буды, и водки — да с Богом.

С китайскими дарами добрался боё до тайги, до своего дома, созвал народ.

И первым делом угостил водкой — хотелось ему посмотреть, что такое бывает с водки, какая ее сила, сам ведь тогда у китайцев заспал всякую память.

Выпили товарищи, пошумели, ну, один задрал, другой сказал, повздорили, а как помирились, скакать принялись, наскакались, смеха было, да тут же и спать бухнулись.

А как глаза продрали: он им лепешек.

И рассказал всё о китайцах.

— Да, — говорят, — надо идти к богдо, хорошо живут!

И согласились: собраться всем и идти всей тайгой в землю дауров.

*

А жили в речке около стойбищ водяные человеки, и много они боё докучали. И чего только бывало ни придумывают, а извести их никакими силами невозможно.

Вот, чтобы с водяными покончить, и придумали боё такую хитрость: сошлись они к речке, расселись на берегу и ну пить воду — один чашку выпьет, передаст другому.

Сами-то воды напились, а в чашку водки налили и оставили эту чашку на берегу да по домам.

И как опустел берег, водяные сейчас на берег и прямо к чашке — подсмотрели, как люди-то пили.

Чашка — немного, да много ли надо водяному: глотнет и готов!

Осоловели совсем водяные — ни рукой, ни ногой, — да кто как был, так и полегли влежку.

Тут боё всех их до одного и переловили.

Вся тайга сошлась на такое диво.

А как поближе рассмотрели, и ничего особенного: человек как человек, только что голышом — ни на нем ормуз, паголинков по-нашему, ни на нем штанов, а как мать родила, — кланяются.

Вот они какие — водяные.

Китайская шапка
Манегрская

Было это в те далекие времена, когда на берега Зеи не ступала нога ни русского, ни китайца, и кочевали боё на оленях.

Боё, как и соседи их — орочоны, и соседи их соседей — бирары и гольды, были они большим народом — не десятками, как нынче, а в тысячах считались.

Люди рождались и проходили по земле, как красная рыба кета, узилась широкая тайга, и от тесноты вражда подымалась среди людей.

Брат пошел на брата. Род забывался, и каждый думал только о себе и жил по себе. Никто никого не хотел слушать. И своеволью не было никакого упора. Полуголовый и безголовый считали себя головою. Вся жизнь перевернулась, и никому житья не стало. Худые люди, а такие везде найдутся, дано ли тебе тысяча оленей или ни одного, худые люди стали обижать хороших. А жаловаться некому было, и заступы негде искать.

Жили боё крепко и дружно родом, а замутилось, и стали друг другу как самые первые враги.

Вот и сошлись кто помудрей да потолковей и решили, что без царя никак невозможно.

А был один самый зоркий — Касяки Ойлягир.

Взял он себе на плечи котомку с соболями, рогатую пальму в руки, покликал свою серую собаку, умылся из родной Силирин-биры и в путь — царя искать.

*

Долог и труден был путь.

На юг Силирин-биры шел Касяки. Немало встречалось разного народа по дорогам. И сначала понимали, что говорил он, а потом речь его стала другой, как таежный шум, как птичий клик, и сам он перестал понимать других.

И только одно: как заговорит о царе — где ему найти царя? — всякий указывал дорогу.

Большие ноены — правители богатых родов, случалось, звали себя царями, но Касяки всегда угадывал обман и шел дальше. Царское имя — где найти царя? — было ему верным поводырем.

Так дошел он с серой своей собакой до самого дома, где жил царь китайский.

А к царю его не пускают.

— Зачем и откуда? — не хотят пускать, хоть что хочешь.

Стало Касяки обидно:

— Как! Его не пустить? А вот возьмет он свою рогатую пальму, да пальмой.

Царь услышал шум.

— Что такое?

Говорят царю про Касяки.

Царь подумал:

«Вот какой смелый, никого не боится: один со своей пальмой на всех!»

Велит привести к себе Касяки.

И вошел Касяки к царю, положил перед царем подарки — сорок черных соболей.

Царь копнул мех, а из-под черного, как небеса, заголубело, — глаза у всех и разбежались: впервые увидели китайцы соболиную шкурку.

— Пришел царя искать, — сказал китайцу Касяки и помянул о смуте, о родной реке Силирин-бире, — от смуты житья не стало.

Выслушал царь Касяки, велел принести отдарки: золота и серебра.

Да Касяки-то ничего брать не хочет: золото — он отроду не видел золота — и золото в глазах его, что медь, а серебро сошло за олово.

Подумал и кусочек серебра взял — на пули пригодится.

А царь подумал:

«Вот он какой: и смел, и щедр, и ничем не прельстишь — ни золотом, ни серебром. Да это и есть царь!»

И велел принести шапку: китайскую шапку с синим корольком — шарик такой, и еще просто шариков горсть.

И когда подали царю шапку и шарики, царь надел шапку на Касяки.

— Ты будешь царь над боё, — сказал царь, — а эти шарики раздай приятелям, кому поверишь, и будут они твои полковники и урядники. А кто тебя не послушает, возьми палку, да палкой — послушают! По своей-то воле жить, надо, чтобы у человека было и тут, и там, — царь показал на голову себе и сердце и, подняв руки, распростер, как крылья, над головой, — да и здесь вот.

*

В китайской шапке с синим корольком вернулся Касяки домой на Силирин-биру и объявил боё, что он царь их, и указал на шапку.

Подняли на смех. И кто поверит — китайская шапка с шариком, царь! — и такой галдеж пошел, прохода нет.

А Касяки позвал приятелей, ро́здал им шарики, — сказал царское слово.

Полковники и урядники взяли палки.

И те, кто смеялся, живо поджали хвост — такой уж смерд человек, коли нет в нем — нет ни тут, ни там, ни здесь вот.

Палка гуляла вовсю, лупила смехунов прямо насмерть.

Видят — Касяки большой начальник, и стали слушаться.

А воры попрятались, горланы поумолкли.

И завелся настоящий порядок.

До глубокой старости царствовал над боё Касяки Ойлягир. А по смерти его шапка с синим корольком перешла его сыну, а от сына внуку.

И по смерти полковников и урядников, приятелей Касяки, шарики их пошли их детям.

Так нарядились боё.

И доныне крепки их роды: Ойлягир, Манягир, Говагир, Учаткан — и привольней житья ни один народ не знает.

Белый ворон
Чукотская

Жил-был большой богач, и было у него двое детей — сын да дочь.

Вырос сын, и задумал старик сына женить. И по богатству старика немало нашлось невест. Старику-то они по душе, да

сыну неладны: поживет молодая жена день-два и назад к родителям ступай! Уж старик рукой махнул и перестал сватать.

Говорит Эйгелин сестре:

— Сшей мне, сестра, десять пар обуток, наклади их полны жиром: за море иду!

Послушала сестра, приготовила брату десять пар мягких обуток, наполнила оленьим жиром.

Забрал Эйгелин обутки, простился с домом.

*

Идет Эйгелин день, идет ночь, — не спит, не присядет. И только как башмаки запросят каши, остановится переобуться, поесть.

Так и идет.

Встречу ему белый ворон.

— Ты куда пошел, Эйгелин?

— Иду за море.

— Не ходи: сгинешь!

— Эна!

— Говорю, не ходи: не пройдешь.

— Нет, все равно пойду.

До трех раз остерегал ворон и трижды был один ответ: Эйгелин стоял на своем.

Вынул ворон из-под левого крыла длинный нож.

— На, булат на случай! — и улетел.

*

Идет Эйгелин день, идет ночь. На пути ему застава — полынья, да такая, конца краю не видно.

«Знать, и вправду не пройдешь!»,

И хоть назад иди.

Да вспомнил про воронов батас, — отошел, разбежался, взмахнул батасом и, как на крыльях, стал на другой стороне.

Идет дальше — опять застава: впереди камень, как гора, и весь в снегу.

Подошел поближе — камень шевельнулся, не камень — белый медведь.

Взмахнул Эйгелин батасом да на медведя и духом вскочил зверю на спину.

Кинулся медведь, заревел и ну бегать, бегать-скакать — хочет сбросить, да цепок Эйгелин, держится крепко. И обессилел медведь, а батас его кончил.

Отрезал Эйгелин у медведя из-за уха длинный волос, как аркан олений, длинный, скатал кольцом и себе в колчан.

Идет дальше. А впереди заставой белеет снежный хребет. Ближе подошел — шевелится, и не хребет это снежный, — белый горностай.

Кинулся Эйгелин на горностая, вскочил на спину.

Как бешеный, побежал горностай, завертелся, закувыркался, да сделать ничего не может и упал под острым батасом.

И у горностая срезал Эйгелин из-за уха волос, скатал в кольцо да себе в колчан.

Идет дальше. Перешел море. Берегом идет. И опять застава — яр, да такой крутояр, и между прогалин снег. Всмотрелся, а яр как живой, не яр — пестрая гусеница.

И как тогда на медведя, как там на горностая, бросился Эйгелин на гусеницу, крепко уцепился.

Билась, извивалась гусеница — и ничего не помогло: Эйгелин убил и гусеницу, как медведя и горностая. И у гусеницы отрезал волос, скатал кольцом и в колчан к себе.

*

Идет Эйгелин день, идет ночь.

Много стоит руйт — больших кожаных юрт.

Подошел поближе и в сторонке прилег.

У руйт молодежь пинала мяч. Ловко шла игра.

И из всех особенно одна, — длинные косы до пят, — приковала к себе его глаза: когда она бежала, ее косы, как прутья, стояли за спиной, — так была она быстра.

И еще две другие показались Эйгелину: схожие с лица, они бегали все рядом, не перегоняя и не отставая друг от дружки, словно сшиты.

«Вот которую одну из этих и возьму в жены!» — решил Эйгелин.

И когда стемнело и пошли сестры, он за ними следом.

Нагнал у руйты.

И когда одна из них ступила в руйту, он схватил за руку другую, — та оглянулась и ввела его с собою в руйту.

— Вот наш гость!

*

В руйте сидел старик. Стал расспрашивать: куда и откуда?

— Из-за моря, — сказал Эйгелин.

— Ну и даль! Как это ты умудрился?

Эйгелин велел принести колчан, вынул медвежий волос.

Посмотрел старик, покачал головой.

— Ну, и бедового ж ты зверя уходил. Кому доводилось на море ходить, сети метать, встреча с этаким —— погибель: много кого не вернулось!

Эйгелин достал волос горностая.

— А этот еще лютее, — сказал старик, — заприметит и готово: все равно, где хочешь настигнет, не увернешься. Немало погубил народа.

Эйгелин показал волос гусеницы.

— Ну, а это уж, как сам страх: кому, охотясь за диким оленем, случалось встречаться, живым еще никто не уходил! — старик посмотрел пытливо. — Зачем ты к нам пришел?

— Так, — сказал Эйгелин.

— За хозяйкой?

— Да.

— Вот мои две: бери любую! — Только не выйдет дело. Такого, как ты, всякий заметит. Помяни мое слово: женит тебя на себе высокая, видел? с длинными косами.

— Ну, нет, я хочу взять твою дочь.

— Мало б что хочешь. Очень жаль мне тебя, да не будет потвоему.

В руйту вдруг вошла та длиннокосая; она принесла новую одежду: от шапки-малахая до обуток всё было белое без единого черного волоска, и деревянное блюдо с мясом.

— Не хочу! — отстранил Эйгелин.

Ничего не сказала, мигом умчалась из руйты и так же мгновенно вернулась, но уже с другой, с черной одеждой, и поставила перед Эйгелином блюдо с оленьим жиром.

А у старика еще варится, не поспел обед.

Эйгелин вынул нож и взялся за еду.

Запечалился старик, да уж поздно: Эйгелин съел всё блюдо.

— Ну, обувайся, пойдем ко мне! — сказала длиннокосая.

— Веди, разве я знаю, куда! — поднялся Эйгелин.

И они пошли.

*

— Вот моя! — она показала на большую руйту.

И стала.

И он остановился.

— Побежим наперегонки: кто первый придет, тот и будет главным. Только знай, прибежишь первым, прыгай прямо в теплый полог, не зевай!

И побежали.

И обогнал Эйгелин — первым прыгнул в руйту.

Две собаки, прикованные железными цепями у входа, рванулись на него и оторвали у него полы.

Следом вошла и она в полог.

И трое суток провели они вместе.

В последнюю ночь слышит Эйгелин — шипит что-то.

Высунулся он, осмотрелся: железная руйта, на пологу черепа человечьи, а за деревянным столбом рассованы трупы — все как на подбор молодые, сильные, как сам он.

И не убежишь: вход сторожат собаки, а отверстие вверху и высоко, и узко.

«Тут мне смерть!» — подумалось Эйгелину.

*

Наутро говорит ведьма:

— Ты соскучился: хочешь, пойдем пинать мяч?

— Пойдем.

И пошли. Собралась молодежь, завели игру.

И никто не мог справиться с ведьмой: когда она бежала, косы, как прутья, стояли за спиной, — так была она быстра.

А сестры неразлучно бегали вместе, словно сшиты.

И всех обгонял Эйгелин. И никто не мог пнуть мяч так далеко, как он.

Стало смеркаться.

— На, возьми одежду, иди вперед, я догоню! — позвал Эйгелин жену.

И когда ведьма скрылась, подошел он к сестрам.

— Скучно мне, — сказал он сестрам, — не спите ночью, пусть одна из вас караулит. Что-то случится, чую.

*

Живет Эйгелин с женою. Без нее ни шагу: одному все равно от собак не выйти и не войти в руйту. Мало на людях, больше в теплом пологу. И с каждым днем всё скучнее ему в теплом пологу.

— Ну, ты совсем заскучал. Давай играть хоть в пятнашки.

— Давай.

И она ударила его и отскочила. Он за ней, нагнал — не увернешься! — и сам ударил.

И пошла игра.

Играют ночь, играют день, и еще день и еще ночь.

Стала она уставать, нет-нет да и задремлет. А ударит он ее, она встрепенется и опять уснет. И ударом он ее опять разбудит, но она уж не может ему отвечать.

На третью ночь, как убитая она заснула и что он ни делал, не мог ее поднять: бил, толкал, тряс — ничего не берет.

И сам уморился

Прилег — скучно ему.

*

В пологу у задней стены против входа чуть светит лампа.

И видит Эйгелин — полог начинает подыматься. Шелохнулся, и тень, как в воде рыбка, плеснула.

Лежит Эйгелин, не шевельнется, в щелку смотрит. И вот опять поднялась тень над лампой. Всмотрелся и видит: старая, сморщенная старушонка нагнулась к нему, а в руке ее нож, как серп, пекуль.

Тут он шевельнулся, а старуха бесшумно метнулась, как рыба.

«Вот она, моя погибель!»

Эйгелин поднялся к жене. Но сколько ни будит: спит она, не слышит.

Взял он батас, отрезал жене ее длинные косы, надел ее платье, а ее нарядил в свое, перенес на свое место и так ее положил, чтобы не видно лица, сам же подвязал себе ее косы и лег на ее место.

Лежит Эйгелин, полузакрыты глаза, не шелохнется.

И вот показалась старуха, костлявая, — пекуль в руке. Постояла, посмотрела на спящих, шагнула — и еще раз шагнула — нагнулась костлявая над переодетой женой, и задрожал пекуль в костлявой руке. Протянула руку да назад: или ошиблась? Что-то бормочет, не верит? И опять нагнулась, долго смотрела и вдруг как ударит.

Только вскрик, и кровь залила полог.

Кинулся Эйгелин да в руйту, пригнулся и прыгнул кверху к трубе. И только что ухватился за шест, звякнула цепь — сорвалась собака да его за ногу.

Висит Эйгелин, высунулся из руйты по пояс, держится крепко, а собака на его ноге висит.

И закричал Эйгелин.

*

Не спала одна из сестер, караулила. Слышит крик, разбудила сестру да к отцу:

— Гость кричит, не случилось ли что?

Вскочил старик, схватил копье и поднял народ.

Всем народом побежали к железной руйте.

Эйгелин висел на руках по пояс над руйтой, и собака держала его за ногу, не отпускала.

Старик залез на руйту, спустил по ноге Эйгелина копье, заколол собаку.

И выбрался Эйгелин на волю.

Убили и другую собаку да в руйту. А там, за пологом, за лампой, сундук. Открыли сундук — старуха: на корточках сидела костлявая — пекуль в руке, выла.

Живо порешили старуху, принялись за руйту. Разбили железную руйту. Много нашли мехов и всяких богатств — дорогие бобры, росомахи.

*

Живет Эйгелин у старика в руйте.

Две дочки у старика, а была и еще — постарше, да незадолго до прихода Эйгелина померла и мертвая валялась в тундре, брошенная зверям и птицам.

Раз поутру говорит старик Эйгелину:

— Неладное что-то во сне мне снилось. До сей поры лежит моя дочь, никем не съедена, — нехорошо. Ты бы ее оживил.

— Да разве я могу такое?

— А что ж? Ты прошел море, убил медведя, горностая, гусеницу, ты победил столько напастей!

Задумался Эйгелин: а и в самом деле — не испытать ли силу?

И когда настал вечер, взял он бубен и начал камлать. И долго колотил он в бубен, потом гаркнул, как ворон — и мертвая

сестра влетела в полог. Кинул он бубен, тряс и ворочал — и мертвая зашевелилась, ожила!

*

Живет Эйгелин у старика в руйте.

Две дочки у старика и третья, что оживил Эйгелин, а есть и четвертая, самая меньшая, ее старик не показывал.

Говорит старик Эйгелину:

— Много ты нам сделал добра, от многого ты нас избавил. Теперь можем спокойно ходить на море и в горы, изводить нас больше некому, и наши сыновья будут жениться, наживать большие семьи. Пора и тебе жениться, да и домой отправляться на свою сторону.

— Ладно, — согласился Эйгелин.

— А пригони наперед оленей табун, — сказал старик.

Эйгелин пошел за табуном.

А старик сделал сани и балок — возок крытый. Всё приготовил к кочевке. И когда Эйгелин пригнал табун, старик разделил табун: половина ушла в гору, другая — осталась у чумов.

Это твоя и будет! — показал старик. — Теперь кочуй.

Смотрит Эйгелин, а та старшая дочь старика, которую оживил он, у саней хлопочет, готовится к отъезду, и такая проворная, одно горе — и коса, и крива.

*

Идут и идут — путь за море далекий.

Не покладая рук работает кривая: и ставит и собирает руйту и весь олений караван на ней, — и хоть бы одно доброе слово от Эйгелина!

Как-то Эйгелин был в табуне, а кривая влезла в балок, где тайно ехала с ними и самая младшая сестра, которую скрывал старик от Эйгелина.

— Надо тебя ему показать, — сказала кривая, — тогда он и со мной будет лучше. Больше сил моих нету.

Сестра согласилась.

А вечером говорит Эйгелину кривая:

— Не буду я ставить руйту, больно погодно. Ты ложись в балок, а я пойду в табун.

И ушла.

Сидит один Эйгелин, горько задумался о своей судьбе бесчастной, — вернется домой, и все будут над ним смеяться: косая — кривая!

И с чего это она выдумала, чтобы лег он в балок, и совсем не так уж погодно!

Не хотелось ему и с места трогаться, всё было постыло.

И все-таки стал он, повернул балок дверьми от ветра. Странно: больно тяжелый. Заглянул — а там сундук. Открыл сундук и понять ничего не может: в сундуке горит лампа, а около лампы сидит, да такая, никогда про такое не снилось.

Он в сундук и всю ночь не выходил на волю, просундучил.

Поутру приходит из табуна кривая: не узнать Эйгелина, — и ласковый, и добрый, и во всем помогает!

*

Кончился путь. Вот и родная сторона.

Услыхали люди: Эйгелин вернулся, привез жену из-за моря! — и понаехало народу со всех концов.

Встретила Эйгелина сестра. Старик-то не дождался сына, помер. Обрадовались друг другу.

Велит Эйгелин на радостях убить десять оленей, чтобы гостей угостить, а еще убить оленя, чтобы помазаться свежей кровью — станет он венчаться.

А сестре приказал настлать от возка до самого полога тюленей, а сверх покрыть бобрами и росомахами.

И всё было исполнено.

Кричит кривая:

— Торопитесь мазаться, кровь стынет!

А сама с сестрой Эйгелина пошла к возку.

И вывели они под руки невесту.

И как увидели парни такую, с ума посходили: кто дотронулся до ее руки или случайно коснулся одежды, кто прямо посмотрел ей в глаза, тот затрясся на месте, а которые тут же на месте и померли.

Пришлось отложить венчанье до другого дня, а невесту пока что спрятать.

И когда разъехались гости, повенчался Эйгелин и зажил счастливо с молодой женой.

А кривая заняла в доме место старшей жены: уважал ее и любил Эйгелин, как родную мать.

Судьба
Карагасская

Жил в своей юрте один бедняк Тутарь. Оленей у него было мало, юрта старая, и ни одна кыс (девушка) не хотела выйти за него замуж.

Горько задумался Тутарь о своей горькой доле и решил: продаст он оленей, юрту, займется торговлей.

И распродал Тутарь добро, выехал к русским в деревню, купил три коня и товару на три коня. Навьючил коней и назад в тайгу — торговать.

Первую ночь заночевал Тутарь в тайге. А ночью волк задавил коня и разбросал товар.

Встает поутру Тутарь: конь задавлен, товар испорчен, и тут же волк смотрит.

Рассердился Тутарь, взял ружье: застрелить хотел. А волк стоит, зубы оскалил, хвостищем машет, смотрит.

«Нет, не буду стрелять!» — решил Тутарь.

И собрал Тутарь остальных коней и поехал дальше.

На вторую ночь волк опять задавил коня и товар испортил, а сам не уходит.

Еще пуще рассердился Тутарь, прицелился.

А волк стоит, зубы оскалил, хвостищем машет, смотрит.

«Нет, не могу застрелить!»

И поехал Тутарь дальше уж с одним конем.

На третью ночь волк задавил последнего коня и весь остальной товар испортил.

Тут уж Тутарь себя не помнит, схватил ружье, прицелился, только вот-вот собачку нажать.

А волк стоит, зубы оскалил, хвостищем машет.

И опустил Тутарь ружье.

Тогда волк подошел совсем близко и говорит:

— Ты — добрый человек, Тутарь, иди назад в свою юрту, будет у тебя всего много — и оленей, и зверя много добудешь.

А был этот волк сама судьба: не по судьбе, видно, чтобы Тутарь купцом стал.

Бросил Тутарь торговлю и зажил опять в своей юрте, и всего у него стало много — богатым сделался Тутарь.

Три брата
Карагасская

На Уде-реке, повыше Буртуш-айа, есть небольшое озеро — есть ли оно там еще или нет, не знаю! — А когда ни души еще не было на белом свете, вышли из озера три брата.

И стали братья подумывать, чего бы себе промыслить для корму — не было тогда ни ловушек, ни капканов, ни ружей.

Вот собрали братья в лесу хмелю, сплели из хмеля сети и стали сетями рыбу ловить. Наловили много рыбы, насытились.

Так и жили братья.

Стал большой брат упрекать братьев, что работают плохо.

— Едят много, а работать не хотят.

И повздорили.

— Не хочу с вами жить! — сказал средний брат и ушел в лес.

И там в лесу обернулся медведем.

— И я вас не хочу больше видеть! — сказал меньшой и ушел в землю.

И там, такой черный, обернулся в корень медвежий.

И остался один большой брат — карагаз.

И живет человек на земле, убивает брата медведя, а медведь ест корень медвежий — брата.

Стожары
Якутская

Говорит однажды богатый Кудунгса — Огненный рот — старому шаману Кремню:

— Эй, ты, старый хрыч, откуда берется зимняя стужа?

— А! — отвечает шаман. — Это дыхание той вон звезды, что огнем бороздит небеса.

— Эй, ты, ну-ка, — надо разрубить ее нить.

— А! — отвечает шаман. — Конечно. Я постараюсь. Надо б мне два топора.

И дают по слову Кудунгса старому шаману два крепких роговых топора.

*

Пятого дня новой половины месяца Сосны — на Купалу — шаман начал камлать.

Шаман велел закрыть окна и двери, запретил строго-настрого, даже носу не смей высовывать наружу! Двум крепким подручным приказал попеременно разжигать огонь. А сам надел волчью доху, шапку с рогом, туго завязал себе рот.

И семь дней и семь ночей без устали камлает шаман.

Нечем дышать от жары, а нет места на нем — весь с головы и до ног покрыт инеем, и текут, леденея, сосульки. На руках рукавицы из передних лапок волка, а его палец от мороза коченеет, как сук. Топоры же его, два роговых топора — от лезвия и до проуха — затупились, стираются.

И каждый раз, как ударит шаман топором, огонь студеной звезды, с шумом и брязгом рассыпая огни, пуржит.

Семь дней и семь ночей рубил шаман звезду и расколол большую звезду на семь звезд.

*

Стуча громко в бубен, шумно нисходит шаман на землю.

И, очнувшись, ропщет, указывая на хлевное окно:

— Негодная баба! Сказывал ведь, и носу не смей высовывать, нет же, высунула харю, и вот не осилил звезду! Однако ж, месяца этак на два поубавил морозу.

С той поры студеные стожары из большой звезды, как полный месяц, раскололись на семь звезд, — излетев огнями, как огни из большого огнива.

Серкен-сехен
Якутская

Вещун земли и мира,
добрый советчик богатырей,
сын старой царицы тынгырын,
а по отцу из рода одун — ревущий;

штаны — брюшко синей белки,
шуба — беличья спинка,
пояс — бельи обрезки,
шапка — белий затылок,
навески — бельи ушки,
шейный кушак — бельи хвосты,

сапоги — бельи задние лапки,
посох — костяная трава;

а дом его
— на росстани дорог —
пень дуплистый;
а жена его
— старуха —
от уха до брыл семь заплатков;

сам с ноготок,
борода по пупок,
голени — деньги,
руки-ноги — заячий ус;

а звать-позывать вещуна:
дедко
серкен-сехен!

Крот и королек
Якутская

Положили уговор крот и птичка.

Крот обещался пустить зимою птичку в свою нору и поделиться от своих запасов.

Птичка обещалась, когда по весне вода зальет кротову нору, пустить крота в гнездо на корм и отдых.

Пичужка сдержала слово: и крот из всей ее добычи только и выбирал, что по душе ему было.

Так дружно провели в гнезде весну и лето крот и птичка.

Осенью, еще до снега, крот, по уговору, пустил к себе птичку, но кормил ее отбросом, больше корешками, и изголодавшейся в норе грозило помереть бедной смертью.

Не видя исхода, отчаялась несчастная птичка:

— Как это так! Я отдавала тебе одно только лакомое, а ты — что негоже. На будущий год — врозь!

— Тварь неблагодарная: расточала всю зиму мои запасы, и ты еще смеешь!

Крот когтями ударил по темени птичку.

С той поры над землей летает — кровавый королек.

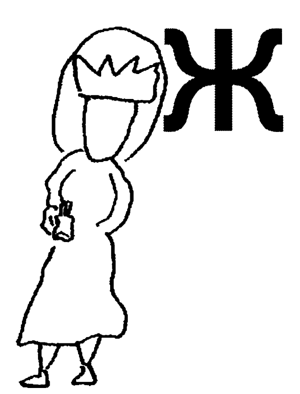
А крот каждую весну, как только вода зальет его нору, выходит на холмик.

И сидит под ивой.

Дрожа.

КАВКАЗСКИЕ СКАЗКИ
Лалазар
Кавказский сказ

Золотой столб
Армянская



Жил-был старик со старухой. Изба их стояла у озера, и такая древняя, давным бы давно развалилась, да большой толстый столб посередке подпирал потолок, на нем всё и держалось.

Старики только Бога благодарили.

И сколько лет стоял столб, держал избу, и ничего, и вдруг заговорил.

— Я попов сын! — сказал столб.

Так сказал он в первый раз на Благовещение, потом под Пасху и в третий раз на Рождество.

— Я попов сын!

Старики не знали, что и думать. Сколько лет жили, а такого, чтобы бревно заговорило, никогда не слыхали.

И почему вдруг заговорило?

И уж пробовали старики сами со столбом заговаривать, то старик подойдет, то старуха, а то и вместе примутся приставать, но столб стоял, как стоял, поддерживал потолок да крышу.

— Должно, к беде какой! — решили старики.

И вот в Ильин день разразилась гроза с большим ливнем, и ливнем дочиста смыло всё: ни бревна, ни щепинки, — пустое место, — прощай, избушка! И как еще старики-то уцелели!

И пришлось им на старости лет искать себе другое место.

А стояла неподалеку старая заброшенная черная баня, баню век не топили, в ней старики и поселились.

Старик и говорит старухе:

— Пойду-ка я, Ануш, по бережку поброжу, посмотрю наш столбик: унесло его водой к попу или тут где прибило?

А тем временем попов сын старшой проезжал по берегу, увидел толстенное бревно — столб стариков, — думает себе: «на дрова годится!» — забрал к себе на телегу и повез к отцу в дом на другой конец озера.

Пришел старик к берегу. Утихло озеро, и весь берег открытый лежал. Но сколько ни ходил старик, сколько ни смотрел, след как будто и был, а столба никакого.

И вдруг увидел по следу в колдобине золото — десять золотых.

Вот чудеса! Подобрал старик золото и домой в свою баню.

И говорит старухе:

— Столба нет, а вот тебе принес что.

Старуха взглянула, да так и ахнула.

— Золото!

— Десять золотых. На-ка, посчитай.

Сосчитала старуха, верно — десять.

— Я, старуха, к попу наведаюсь, посмотрю на столб, знать, к нему попал!

И на другой же день снарядился старик.

Приходит на попов двор, а у сарая под навесом лежит столб. Узнал его старик, как не узнать, столько лет!

— Ну, так я и думал, и недаром говорил он: «Я попов сын!» — так и есть попов!

Во дворе, кто с чем, — поповы ребята по хозяйству управлялись.

Поздоровался с ними старик и говорит:

— Принесите мне, ребята, пилу.

— На что тебе, дедушка, пила?

— А вот этот столб пилить, он у нас в избе много лет стоял, избу поддерживал. Распилите его с концов, сами увидите.

Послушали старика, принесли пилу.

И как стали ребята столб пилить, пила скрып да скрып, а на землю золото.

И что же вы думаете, — полон столб золота!

— Откуда это ты узнал, дедушка?

Тут им старик рассказал, как трижды говорил столб: «Я попов сын!» — да невдомек было, к чему, — одно, что недаром.

Вышел и сам поп, а был он человек справедливый.

— Твое счастье, дедушка, бери половину.

А старик и слышать не хочет: не его столб, не ему и золотом владеть. Да и страшно: столб-то не простой.

И сколько ни уговаривали: уперся старик, и ни по чем! Даже осерчал и ушел домой.

Жалко стало попу старика, знал поп — старик в большой нужде. Вот и придумал он, как поделиться добром: велел невесткам испечь каравай, вынуть весь мякиш и набить хлеб золотом.

От хлеба грешно отказываться, примет старик хлеб, будет и у старика золото.

Невестки постарались, и на другой день были готовы двадцать караваев. Поп понапихал в них золота, — половину всего золота, и отрядил ребят к старику.

Наложил каждый по пяти караваев в кошель и понесли.

И случись такой грех по дороге, и оставалось-то всего ничего до стариковой бани, — напали разбойники.

— Чего несете? — остановили разбойники.

Поповы ребята не сплошали.

— Несем, — говорят, — хлеб одному бедному старичку.

— Покажи!

Развязали кошель — и точно: хлеб.

Развязали другой — и там хлеб.

А были разбойники очень голодны, от хлебного духу еще больше засосало.

— Давайте, братцы, — говорит самый из разбойников главный, — давайте закусим хлебца! — взял каравай, разломил, а из него золото. Ну, тут разговаривать много не стали, живо всех до одного положили и ускакали с богатой добычей.

Настал вечер, а сыновей всё нет.

Забеспокоился поп: давно бы им пора домой. А потом подумал, — верно, старик угостил их и ночевать оставил. И лег спать. Наутро по обедне сел поп чай пить: вот придут! А их всё нет. Затревожился, — не беда ли? — Вышел из ворот посмотреть.

И пошел по дороге, и увидел: лежат на дороге и все четверо мертвы.

Поплакал, потужил отец, похоронил сыновей.

Не надо ему теперь и золота.

«Эх, — думал поп, — было б мне отдать старику всё его золото — его столб, не случилось бы беды!»

А старик со старухой всё в своей бане.

Задумали старики припрятать куда поскрытней свое золото — десять золотых — не ровен час, разбойники!

И припрятал старик.

А как-то хватились проверить, — туда-сюда, — и хоть убей, не помнит.

Так и запроторил.

«Эх, — думал поп, — было б мне отдать попу и это золото: его ведь столб, не случилось бы беды!»

А разбойники с голодухи объелись хлебом и до табора не доехали, — порастеряли золото.

Так прахом всё и пошло.

Сарки-шун
Армянская

Знаешь, за Армянским базаром есть церковь Сурб-Саркиса? Так вот у святого Саркиса был пес — «шун», Саркси-Шун, умный такой, хороший пес, всегда при церкви находился, и все его любили и вроде как за мудреца почитали.

И однажды пропал пес. Туда-сюда, нет нигде, потом уж нашли: убит.

Убит! Очень все горевали: такой ведь умный был пес, хороший.

И положено было в память его всякий год справлять пост — неделю Саркси-Шун.

В неделю Саркси-Шун обыкновенно на ночь выставляли на двор горшок каши, и замечают: останется след лапы на камне, значит, Саркси-Шун помнит, приходил.

И всякий год постились всю неделю.

Но сколько ни старались: горшок как на ночь поставят, так не тронут до утра и остается, а следа и звания не бывало! Не вспоминал Саркси-Шун.

Или испытывал?
Или усердия не было такого, кто ж знает?

А был один парень — весельчак: где б ни показался, куда ни придет — только и слышно — лясы да смех. И за то парня любили, и был он в дому желанный гость.

Вот к ночи говорит мать:

— Сын мой, нынче неделя Саркси-Шун, надо выставить на двор кашу: пусть Саркси-Шун придет поесть.

— Хорошо, мать, всё будет.

И, как улеглась мать, взял он горшок с кашей и за дверь.

А был у него конь. Подвел он коня к каше, поднял его ногу да копыто и опустил в горшок. И остался след на камне.

То-то обрадует мать!

Поутру будит его мать:

— Вставай, сын, иди, посмотри-ка: Саркси-Шун сам приходил, — его след!

И пошла молва:

— Саркси-Шун приходил, оставил след!

И повалил народ к их дому смотреть след.

От калитки до приступки, где стоял горшок с кашей, и вправду виден был след.

Все смотрели, верили, и видели:

— Его след!

И была большая радость.

Помнил, значит, Саркси-Шун, не забывал их.

А парень — весельчак, еще пуще смешил и смеялся.

И еще веселее было от его смеха.

Царь Нарбек
Армянская

Жил-был молодец, охотник, стрелок первый — Тархан.

Задумал Тархан жениться, да нет ему жены по сердцу: какую ни встретит, всё не его, всё не такая — и мила, да не чиста, и чиста, да не люба.

А был у Тархана волшебный конь — Раши. Оседлал он коня и поехал из города прочь.

— Живите, мне у вас не житье!

И — как поехал!

На безлюдье в лесу у старой часовни построил себе дом Тархан и стал себе жить-поживать один в лесу.

Утром с солнцем встает, умывается из лесного ручья, постоит в часовне, помолится, а потом на охоту. И весь день на охоте. Оленя ль убьет или лань, очистит — шкуру выбросит, вырежет хороший кусок и домой. А дома его никто не ждет. Даже собаки не было.

Один, да с ним конь.

И наскучила Тархану одинокая лесная жизнь.

Там, в городе, от людей никуда не денешься, а тут, в лесу, от себя не уйдешь.

Заскучал Тархан, — и не мил ему лесной ручей, старая часовня не молитвенна, и охота не в охоту, и сам суровый неизменный лес постыл.

И покинул Тархан свой лесной дом, повернул коня родной земли на чужую сторону.

Вот заехал Тархан далеко в дальнюю деревню. У околицы стоит девица: проводила ли кого, дожидает ли?

Соскочил Тархан с коня, поздоровался.

— Что, красавица, принимаешь гостя?

Обернулась, посмотрела на него.

— У меня, — говорит, — шесть братьев, и все шестеро, как ты, такие. Отведи коня в сарай, вином тебя угощу. Только не могу я быть с тобой, пока братья не вернутся.

Вечером вернулись братья и всяк с своей добычей: кто с медведем, кто с оленем, кто с лосью, кто с волком.

Увидали братья Тархана — сидит Тархан за столом, вино распивает — и прямо с расспросом: кто такой, зачем и откуда?

— Как величать тебя, брат наш седьмой?

— Я вам не брат, я с чужой стороны, Тархан.

— Кем же ты желаешь быть нам? — спросил старшой.

— А хочу я взять замуж вашу сестру.

И не думали братья, не сговаривались, ударили по рукам и в ту же ночь свадьбу сыграли.

Простилась сестра с братьями. Посадил ее Тархан к себе на коня, да только и видели.

И! как мчал их конь с чужой стороны через горы, через реки, в родную землю, где у лесной часовни тихий ручей течет и ни души кругом, один неизменный лес.

*

Хорошо было житье в лесу на безлюдье у лесного ручья.

С солнцем вставал Тархан, шел в часовню, постоит на молитве, а потом на охоту. И весь день на охоте и только к вечеру с добычей домой. Дома встречает жена. И пока он готовит ужин, жена час-другой водит коня и, поводив, уберет и накормит. Тут и стол готов. Поджидает жену Тархан. И входит она, целует его, молятся вместе и ужинать.

Хорошо было житье в лесу у лесного ручья.

А проходил по тем местам непроходным чужой молодец, тоже охотник, так, не чета Тархану, млявый. И видит — сидит на крылечке жена Тархана. Долго стоял молодец, всё глядел на жену Тархана и ушел, прошел лес, вышел к городу, в город шел, а в глазах неизменно: на крылечке жена Тархана.

Что ему делать? Отыскал он в городе старуху-ворожбуху. И рассказал старухе, как встретил и не может забыть, а кто она, чья, не может сказать.

— Как бы так, бабушка, сделать, познакомиться с ней?

— Можно, — сказала старуха, — это жена Тархана, живут на безлюдье. Это можно.

И обещала старуха: она купит товару, с коробом пойдет к тем местам непроходным, зайдет у ручья в часовню, станет молиться, ее окликнет жена Тархана, ну, и всё тогда будет.

— Будьте покойны!

Дал молодец старухе на товар денег, простился и стал себе ждать-поджидать добрых вестей.

Как сказала старуха, так всё и сделала. С коробом пробралась она до лесного ручья, зашла в часовню, стала молиться. Окликнула ее с крылечка жена Тархана. Вышла старуха из часовни, сбросила с плеч короб, раскрыла его, развернула товары.

— Не купите ли? — а сама так и смотрит.

Стала жена Тархана рассматривать товары.

Стала ей старуха свое выговаривать.

— Ой, какая, — говорила старуха, — день-то-деньской всё одна! Какая красивая, а живешь, ровно зверь, одна в лесу. Ты слыхала ли про царя Нарбека? — царь такой самый первый! Вот пойдешь за него замуж, вот тебе будет жизнь. Будешь царицей, — жена царя Нарбека! Да разве можно такой в лесу жить,

и всё одна. И кто твой муж? Да царь Нарбек твоего мужа схватит и, как яблоко, сдавит, только сок потечет. Вот он какой, царь Нарбек!

Молча слушала старуху жена Тархана, перебирала товары, а уж глаза где-то далеко бродили.

— А как, бабушка, устроить это дело, я хочу к царю Нарбеку!

А старухе этого-то только и надо, и рассказала старуха жене Тархана, что ей перво-наперво делать, чтобы попасть к царю Нарбеку.

— Вернется муж, — учила старуха, — а ты не выходи, ты не встречай и коня его не бери водить, а спросит, всё и скажи: что, мол, ты за человек такой? и где мы живем? и разве мне такое надо?

— И я попаду к Нарбеку?

— Попадешь обязательно. Сам придет.

Взвалила старуха к себе на плечи короб и пошла, понесла от крылечка добрые вести.

Осталась одна жена Тархана, и с ней дума одна: дума о царе Нарбеке.

Уж едва дождалась она вечера. Места себе не находит. Всё ей постыло: и дом, и текучий лесной ручей, и часовня, и лес. Так бы с землей и сравняла. Нет, и по шейку поставь ее в золото, ни за что не останется. Едва дождалась она мужа: и увидела, а не вышла, увидела — не встретила и коня не взяла.

— Что такое? Что случилось? — ничего Тархан понять не может.

С сердцем крикнула мужу:

— Обманщик! Обманул ты меня! Думала я, нет никого на белом свете сильнее и нет больше такого, как ты, и что же? Царь Нарбек лучше тебя!

— Ладно, — сказал Тархан, — я вот поеду сейчас, и увидим! Будет тебе голова Нарбека.

Да как свистнет, да таким свистом, и на посвист стал его Раши, конь волшебный, — как и дня не бывало.

Вскочил Тархан на коня, крепко плетью ударил.

— Завтра же к утру в царство царя Нарбека!

Конь рванулся, только ветер свистит —

Только ветер свистит —

Только ветер —

Конь, как ветер —

И что в сутки, то в час. Ночь пролетела. Уж заря занимается.

Верный, к утру конь домчал Тархана и у дворцовых ворот Нарбека стал.

Спрыгнул с коня Тархан у дворцовых ворот, поводил коня — пар так и валит! Сам коня водит, сам кричит во весь голос, зовет Нарбека.

— Выходи, выходи, царь Нарбек, хочу с тобой драться!

А стоял у крыльца стражник, слышит, кто-то недобро кличет, заглянул — человек какой-то чужой, — да скорее к царю.

— Какой-то человек у ворот коня водит, сам царя лает: «Хочу, говорит, драться с царем!»

— А поди и скажи ему, — сказал Нарбек, — пускай идет во дворец, выпьем вина, а потом уж, коли такая охота, будем драться. Мне все равно.

Пошел стражник к воротам, отворил ворота и передал Тархану царское слово.

— Да что ж это, — сказал Тархан, — это я-то пойду вино пить, я хочу драться! Еще пойдешь, свяжете, обманете, я живьем не дамся!

Три раза посылал Нарбек, три раза ходил от царя к Тархану стражник, и всякий раз одно и то ж.

И надоело Тархану с этим вином — «иди вино пить, а потом драться!» Привязал он коня у ворот и пошел во дворец — будь что будет!

На крыльце встретил Тархана сам царь, поздоровался и, как гостя, ввел в свою царскую горницу.

— Что, по какому делу пожаловал? — и просит к столу.

А на столе кувшин, так и манит — —

Присел Тархан к столу — ничего не поделаешь! — и рассказал всё по правде, как они жили с женой в лесу на безлюдье и как хорошо они жили, и потом как жена его встретила, и как ему горько от ее неправых упреков.

Засмеялся Нарбек.

— Ну, и молод же ты, Тархан, ничего еще не понимаешь! — налил гостю вина и себе взял чарку.

Сидел Тархан за столом, пил вино, а и вправду, ничего-то не мог понять.

— Знаешь, — сказал Нарбек, — первая жена моя померла, и я женился на другой. Был я очень богат, а когда женился, стал беднеть. Много было у меня лошадей, много табунов. И кормил я лошадей кишмишом, — хорошие были кони! И вот стал я замечать, стали мои кони худеть. Позвал я конюха.

«Что, — говорю, — за причина с конями? Коли кишмиша не хватает, можно еще добавить!»

Конюх мне в ноги.

«Не вели, — говорит, — казнить, вели слово молвить», — ну, и порассказал.

И что же оказалось! Всякую ночь ровно в полночь приходила моя жена к конюху и приказывала оседлать лошадей для себя и для матери — моей тещи. И с конюхом всякую ночь выезжали они в лес. А в лесу разбойники жили — двенадцать разбойников, шайка, — и как раз к этим разбойникам они и приезжали. Там их встреча, там уж их ожидают — и шла гульба до третьих петухов, а потом домой. И всякий раз конюху попадало либо кулаком, либо плетью по морде.

Я ему и говорю:

«Вот что, давай-ка мне свою одежу, и лягу я нынче в твоей каморке».

Еще с вечера обрядился я конюхом, жду полночи. И в полночь, как говорил конюх, так и вышло: пришла жена, велела лошадей оседлать. Ну, у меня загодя всё было приготовлено, и сейчас же поехали, и прямо в лес к тем разбойникам. И шла гульба до третьих петухов. Пришло время домой ехать. С полпути я схватился.

«Как быть, — говорю, — я там уздечку забыл!»

«А, — говорят, — забыл!» — да по морде: то одна, то другая.

А делать нечего, вернуться мне надо. Я и вернулся. Вхожу в разбойничий дом, а там пьяным-пьяно. А была у меня хорасанская шашка — чуть ударишь, пополам перережет. Тут я их всех двенадцать — всем головы прочь, да в сумку, и с сумкой домой. Не нагнал уж, один приехал. Поблагодарил конюха.

«Отнеси, — говорю, — сумку, положи ко мне под кровать!» — а сам снял конюхову одежу и пошел к себе.

Наутро вызываю жену. Пришла жена.

«Что тебе надо? Что ты меня беспокоишь?»

«Ох, — говорю, — какой я сон видел! А снилось мне, будто ехал я с тобой да с тещей в лес, заехали к разбойникам, а возвращаясь, забыл я у них уздечку, сказал тебе, и ты меня крепко ударила, вот какой сон дурной! — а сам руку под кровать, вытащил сумку, развязал, вывалил головы, — а не знаешь ли этих?»

«Не знаю».

«Двенадцать, — говорю, — а это вот тринадцатая!» — да шашкой ее по шее.

К теще я сам пошел и сумку понес — тринадцать голов. Разбудил тещу. Рассказал ей сон. Вывалил головы. Тоже не узнает.

«И эту не узнаешь?» — показываю на тринадцатую.

Не узнает.

Тут прибавил я к тринадцати и четырнадцатую!

Сидел Тархан, опустив голову, слушал царя Нарбека, а мысли там были, у лесного ручья в лесном доме.

— Ну, — сказал Нарбек, — поезжай-ка скорее домой, желаем тебе всего хорошего! — и проводил гостя до самых ворот.

Стрелой летел конь. Не за счастьем спешил Тархан. Теперь понял он, только не верил, верить не хотелось. За бедой спешил Тархан.

И когда достиг он ручья, как он просил, чтобы всё было не так, чтобы его обманул Нарбек — и сердце билось, как его просьба.

Никто его не встретил, никто его не ждал.

И вошел он в дом и увидел жену: была жена с молодцом, так себе, млявый такой.

Схватил Тархан шашку: кого наперед?

— Стой! Это сам царь Нарбек! — закричала жена.

И вспомнил Тархан о коне, о своем верном коне: надо коня поводить! — бросил шашку и вышел.

А тот, Нарбек, в чем был, лататы.

Так и остался Тархан с женою жить-поживать у лесного ручья на безлюдье. День на охоте, а вечером вернется домой, гость уж сидит, какой Нарбек.

Хорошо житье на безлюдье, там лесной ручей течет и часовня стоит и кругом один лес неизменный.

Под павлином
Грузинская

Жили-были два брата. И была у них сестра-красавица. Жила она у братьев. И так ее они любили, и такая ей была вера: найдет ли кто из них на дороге чего, и сейчас же к ней — она разделит.

Пришло время, поженились братья. А делиться не захотели, одной семьей жили, и с ними сестра.

Любили братья своих жен, верили им, а сестру любили пуще и вера ей была крепче: с ней они выросли, первую думу думали — она от них никогда не отступит, и они ее не покинут. И как было до женитьбы, так и осталось: найдет ли кто из них на дороге чего, и сейчас же к ней — она разделит.

И стало женам братьев обидно, закипело сердце: отомстят они свою обиду — изведут сестру.

А какая была она красавица, — ты все горы пройди, немало встретишь, а такой не найдешь!

И решили так: кинуть жребий и кому из них выпадет, у того ребенка зарежут, а кровяной нож золовке в карман сунут.

И как решили, так и сделали: зарезали дитё, а кровяной нож золовке в карман сунули.

Утром просыпаются чуть заря.

— Вайме! Вайме! Кто убил?

Повскакали братья.

— Кто убил?

И давай искать.

Перерыли братья весь дом, ничего не нашли, а нашли у сестры — нашли у сестры кровяной нож.

Посмотрела сестра на братьев — верная на любимых.

— Что ж, — сказала, — такая судьба моя!

Раздели ее братья донага, отрубили руки, привязали ей на спину мертвого ребенка, вывели за ворота, там и пустили.

*

А какая была она красавица, — ты все горы пройди, немало встретишь, а такой не найдешь!

Идет она, — мертвый ребенок за плечами, как камень, и рук у ней нет, — идет она — свою судьбу приняла, да с сердцем не сладишь! — и плачет, и так она плачет — из слез ручей течет.

Куда ей дорога, и кто ее примет, верную, с неверной судьбой?

Идет она — и так она плачет — из слез ручей течет.

Целый день она шла и к вечеру пришла к царскому саду. Головой раздвинула ежевику и в кустах заснула. Чуть стало светать, проснулась — мучила жажда. Тихонько пробралась она на арбузную грядку, облюбовала арбуз поспелее, легла и прямо зубами. А насытилась, и опять в ежевику.

Утром явились в царский сад садовники, смотрят — царская грядка попорчена, оглядели, в толк не возьмут.

— Что за чёрт! След человечий, а укус зверя.

И приходят к царю с отчетом.

— Ну, что, ребята, — спрашивает царь, — как мой сад? Всё ли в порядке?

— Ничего, — говорят, — всё благополучно, только грядку с арбузами кто-то попортил, кто, не знаем: укус зверя, а след человечий.

— Подстеречь и схватить! — сказал царь.

Еще с вечера, помня царский наказ, залегли садовники в арбузную грядку и навострились: подстеречь и схватить! Прошел вечер — нет никого, и ночь — нет никого, а чуть стало светать, вышла несчастная из ежевики, тут ее и схватили. Ребенка мертвого со спины отвязали и в саду зарыли у арбузной грядки, а ее наутро к царю.

— Поймали!

— Поймали!

Смотрит царь, что за чудеса? — и вовсе не зверь, а уж такая красавица, ты все горы пройди, а такой не найдешь! — и только что рук нет, руки обрублены.

Пришел царевич, да как увидел, и уж не может глаз отвести.

— Батюшка, — говорит, — я на ней женюсь!

— Что ты, — унимает царь, — на безрукой?

— Ничего, — и так пристал, так пристал, — ничего да ничего.

— Ну, Божья воля, бери! — согласился царь, благословил их.

И женился царевич на несчастной, и так полюбил ее, и так ей поверил: дело без нее не сделает, думу без нее не подумает, вот как!

Ждал уж царевич себе наследника и всё беспокоился, и такое случилось — война. Простился царевич с женою и поехал —

на войне без него невозможно, там ему первое место — грузинский царевич!

А уезжая, наказал царевич народу:

— Что бы ни было, что бы ни родилось, берегите, вернусь — рассужу!

С тем и поехал.

*

Шла война, гремела громкая. Везде, во всех делах был первым царевич. Не жалел своей жизни ради родной земли и народа. А пока шла война, родился у царевича сын. И не виданно дело — волоса золотые: волос к волосу вся голова золотая, и что другой в год растет, он в час.

На царских крестинах собрался народ, и написали письмо к царевичу на войну о его диковинном сыне и дали письмо старику.

— Иди, дедушка, с миром, передай письмо царевичу и, что знаешь, всё расскажи.

А этот самый старик, Бог его знает, шел, шел и как раз возьми да и заночуй у ее братьев. Ну, а жены их, как услыхали, зачем и куда бредет прохожий, давай его угощать.

И не помнит старик, как спьяну заснул, и не помнит, где спал: ли на воле, ли в избе? Утром поднялся, очухался и дальше в путь, и сам того не знает, что письмо-то несет подменное: братнины жены не дуры, у него у сонного письмо вынули, да свое написали.

Пришел старик на войну, разыскал царевича, поздравляет.

— Родился у тебя сын: золотые волосы, и что другой в год растет, он в час! — и подает письмо.

Смотрит царевич, а в письме пишут:

родился щенок чего с ём делать

Переспросил старика. Клянется и божится старик: правду сказал.

— Так скажи, чтобы ждали, приеду, рассужу! — и письмо написал передать народу.

А этот самый старик, Бог его знает, шел, шел и опять и с этим письмом угодил к ее братьям. А там ему, как белому свету, так рады, и так наугощался старик, наутро едва поднялся, — уж и сам не рад.

Приходит старик домой. Собрался народ.

— Ждать нам царевича, — сказал старик, — сам приедет, сам рассудит! — и подает письмо.

Смотрят письмо, а в письме написано:

гоните взашей не подходяча

Что делать? Не оставлять же! Привязали мальчонка к груди несчастной, вывели за город на дорогу, там и пустили.

*

А какая была она красавица, — ты все горы пройди, немало встретишь, а такой не найдешь!

Идет она — родной ребенок на груди, как камень, и жалко — идет она, и за что ее гонят? — и плачет, и так она плачет — из слез ручей течет.

Куда ей дорога, и кто ее примет, невинную, с виновной судьбой?

Идет она — и так она плачет — из слез ручей течет.

Целый день она шла, и попадается ей навстречу татарин. Посмотрел, посмотрел на нее, отвязал ребенка, швырнул на дорогу.

— Иди за мной!

И пошла — куда ж ей безрукой? — пошла она за татарином.

А сама всё оглядывается, жаль ей ребенка: на дороге один валяется, как голышек-камушек придорожный.

Шли и шли, и пришли к реке, ну, как Кура. И просит она напиться. Нагнулся татарин воды набрать, а она его сзади как пхнет ногой, он — в речку, и потонул.

Потонул татарин, одна осталась на берегу.

И видит: на берегу весь в белом на белом коне — во лбу звезда.

— Нагнись и выпей из Куры горсть воды!

Нагнулась — послушала, а сама себе думает:

«Господи, как я могу в горсть взять, когда рук нет?»

Еще ниже нагнулась, смотрит, а у нее руки, — ее белые руки, как прежде.

Зачерпнула воды в горсть, напилась.

Да скорей на дорогу, туда, где ребенок лежал.

А как он обрадовался, уцепился ручонками за ее белые руки.

— Мама моя, мамочка! — и смеется и тельцем дрожит весь.

И пошли они вместе, за руку крепко — уж ни в жизнь не расстанутся!

Приходят в большую деревню. Встречается им старуха.

— Где бы нам, бабушка, переночевать?

— А идите ко мне, у меня просторно.

И приютила их на ночь.

В той деревне наутро собиралось большое собрание выбирать старшину.

Оставила она сына на старуху, сама выбежала на народ посмотреть.

Стал народ в круг, достали павлина, подкинули: на кого павлин сядет, тому и быть старшиной.

Летал, летал павлин и сел ей на голову.

— Это не считается! — загалдел народ. — Чужая! Кидай еще раз.

И снова кинули.

И снова павлин сел ей на голову.

— Гони ее, что она тут мешает! — пуще загалдели.

Она и пошла, в дом пошла к старухе, где оставила сына: крепко спал ее сынок с дороги.

Стала она его люлюкать, стала его голубить.

А в дом в крыше сделано было окно, чтобы свет в дом был. И в это светлое окно залетел павлин и сел ей на голову.

И слышит она — бежит народ. Растворили дверь, вошли старики, и как увидели ее с павлином, поклонились.

— Твоя судьба. Быть тебе старшиной.

Вывели к народу. Окружил народ.

— Быть тебе старшиной! — сказали враз.

— Грамотная?

— Грамотная.

— Ну, и с Богом!

Так она старшиной и сделалась.

И любил ее народ, и такая ей была вера, пуще всех.

*

Стала она старшиной, и большие пошли урожаи, такие большие, что последний бедняк не знал, куда девать хлеба.

А о ту пору помер старый царь, вернулся царевич с войны и царем сделался. И поехал царь по своему царству хлеб закупать и приехал как раз в эту большую деревню.

— Почем хлеб цените?

— А поди, — говорят, — спроси старосту.

Ну, царь и пошел. Да не признать ему своей жены: без рук ведь была.

Столковались о цене.

— Поди, отправь хлеб, — сказала она, — а потом приходи ко мне ужинать.

А сама ощипала дичину — какаби и хохоби — петушка да курочку, поставила жарить.

Живо обделал царь свое дело, распорядился с хлебом и уж идет к старшине ужинать, а она жарит.

И пока какаби и хохоби жарились, стала она сказку сказывать о двух братьях и сестре, всё про себя, до того самого места, как старшиной она сделалась и пришел к ней царь ужинать.

— Глазынько лопни, правду я говорю, — поднялась она, — правду я говорю?

— Правду! — пропищали какаби и хохоби, жареные, и без голов, совсем уж готовые.

Тут поднялся царь — узнал!

И повез ее к себе, несчастную и таланную, жену свою — грузинскую царицу с сыном-царевичем.

Мтеулетинские камни
Грузинская

Давным-давно, где лежат теперь камни и нет человеку проходу, ни зверю прорыску, когда-то Нина пасла стада, тут и изба ее стояла, — тут укрывалась она на ночь.

И полюбил Нину горный дух — великан.

А Нина любила Михако.

И вот однажды подстерег великан их нежную встречу.

Задымилось каменное сердце. Но как! И не унять ему каменного сердца.

Или камнем расплющить на месте, когда Нина целовала Михако, а Михако ей клялся в верной любви...

— Я только и живу для тебя, Нина.

— Михако!

— Мое счастье — жить для тебя, Нина.

— Михако!

— И больше ничего мне не надо.

Нет, в любое время он мог бы убить их!

И видел, как и после смерти, обнявшись, неразлучно будут витать их души над горами, — верный Михако и любимая Нина.

Нет, сделать так, чтобы она прокляла его душу, — показать ей верность человеческой верной любви! — и тогда одинокая душа ее одна подымется на белую гору, любимая Нина.

В одно из свиданий Нины и Михако горный дух великан поднял с белой горы белый легкий снег и тихо засыпал избушку.

И когда наутро они увидали, что отрезаны от мира, им и горя мало: и пусть занесено кругом, и пусть все дороги заложены — они одни в целом мире, верный Михако и любимая Нина.

И день прошел в поцелуях.

И не заметили, как ночь пронеслась.

А наутро смотрят: всё так же.

И загрустил Михако.

— Михако!

Нет ему пути.

— Михако, ты клялся... Михако! И мое счастье — быть с тобой.

Нет ему пути на волю.

И ни клятвы, ни ласки не рассеют тяжких дум.

Уныло прошел день. А так тяжка была долгая ночь.

Настал третий день — смотрят: снег, те же сугробы, и не пройти и не выйти.

И завыл от голода Михако.

Ничего ему не надо!

Он кинжалом рассек ногу любимой Нины и впился губами в струившуюся кровь.

А там каменное сердце великана стало так горячо, как горяча струившаяся кровь, и захохотал он.

Вот она, его верная правда, вот человеческая верность!

И от смеха его посыпались камни тяжелые, — летели камни, как легкий снег, засыпали черным снежную долину.

И увидел великан — выше белой горы неслась душа за белую гору, и такая печальная, и такая беспросветная, одна одинокая, любимая Нина.

А когда пришли откопать из-под снега избушку, ничего уж там не было, кругом одни камни.

И с тех пор нет человеку проходу, ни зверю прорыску, — одни камни.

Беков мед
Татарская

Бил молодой пастух мать-старуху, бил да приговаривал:

— Иди, старая карга, к беку, скажи, чтоб дочь за меня отдал.

Сам брал кувшин с мацони (вроде простокваши) и шел в степь к стаду.

Ну, мыслимо ли дело, у бека просить такое? Старуха побои терпела: легче от своего, чем от бека.

И вот однажды, отколотив мать, взял пастух кувшин и ушел в степь, гоня стадо.

И случилось — дождь. Что делать? Степь, никуда не схоронишься. Вылил он мацони наземь, снял с себя всё, запихал в кувшин, сам сел на кувшин, да так на кувшине и переждал ливень.

Показалось солнышко, тут он опять оделся и идет как ни в чем не бывало, а кругом грязища.

Навстречу шайтан.

— Ва! Шел дождь, а ты сухой?!

— Как видишь!

— Скажи секрет, почему?

— Эге, чего захотел! Нет, ты какой свой мне скажи, тогда и я скажу.

— Ладно. Вот тебе молитва: если скажешь ее на еду врага, украдешь язык.

— Ладно. А ты коли сухим хочешь быть в дождь, носи всегда с собой кувшин с мацони.

— Ва! — Шайтан плюнул с досады и пошел.

Так и разошлись.

*

Вернулся пастух домой и застал мать: собиралась куда-то старуха, в руках чашка с медом.

— Что такое? Откуда такой мед?

— Беку, — сказала старуха, — велел бек достать.

— Дай сюда!

Взял он из рук чашку да молитву шайтанью и прочитал над медом.

— Ну, ступай, мать, к беку.

И пошла старуха.

С медом-то куда хочешь, с медом и к беку — пожалуйте!

Ну, что, старуха, хорошего меда принесла?

— Сам, батюшка, отведай! — поклонилась старуха беку, поставила перед ним чашку.

Бек сунул в мед палец, обсосал хорошенько.

— Хор-хоро-хррр... — хрипит, языком крутит, надсаживается, а ничего уж, — жен-на-нна!!! — только и выпалил.

Прибежала бечиха, видит — бек как бек, мед перед беком, чашка и палец в меду, — сама и сунь палец в мед попробовать.

— Что-то-то-то... — да как на весь дом вовсю, — ка-ра-ул!

Тут, кто был, дворовые, лекаря, соседи — все к беку.

И первым делом палец в мед: пробовать. А как попробует кто, и готово дело: ровно тебе там защемит чего, и нипочем не повернуть языком.

И такое поднялось, такой гвалт, — не то режут, не то пожар.

Прибежал стражник. Да понять-то ничего не поймешь, одно: мед — в меду все.

И тоже медку отведал. Да к приставу.

— Ваш-ст-ссс-чи-чи... — чивит, свистит, выпучил глаза.

Пристав к беку.

А там не только в доме, а и на улице такое творится, не дай Бог.

— В чем дело?

Все на мед.

Ну, и пристав палец в чашку.

И готово — зачивил.

*

Ходит пастух да посмеивается — известно, когда у богача что случится, бедняка не позовут! — ходит пастух, сам посмеивается.

Мучился бек с лекарями, уж они ему и то, и другое, над языком его мудрили: и шелковинкой-то его перевязывали, и щип-

чиками дергали, и перышком, и волоском щекочут, а ничего не выходит.

И не вытерпел, объявил бек: тому, мол, кто его вылечит, даст он что угодно.

А пастух тут как тут.

— Отдай за меня дочку, вылечу.

Ну, конечно, бек и всех дочерей отдать рад, только бы вылечил.

Взял пастух чашку, — пальцем-пальцем, а уполовинили-таки порядочно! — что делать, и над тем, что есть, пошептал он над медом отговор и дает беку на пальце.

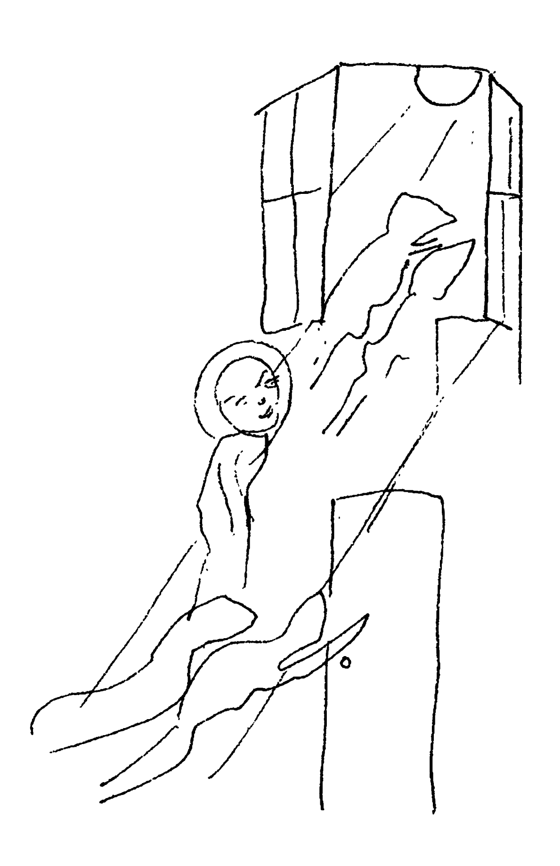
И как только обсосал бек пастухов палец, так всё опять и вернулось.

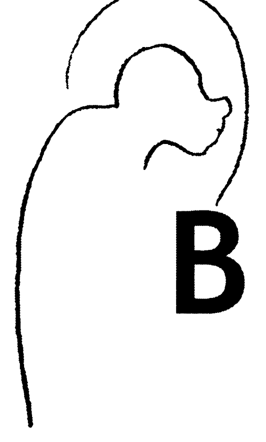
А тут и все, кто был, дворовые, лекаря, соседи, и стражник, и пристав, и бечиха сейчас же на пастухов медовый палец — и как рукой сняло, заговорили разом по-прежнему.

И отдал бек за пастуха свою дочку.

БЫК-КОРОВА

Тюремная поэма





Высокое солнце,
ты высоко плаваешь в синих сумрачных
реках небес — там волнистые поля
облаков неустанно бегут —
И ты, сын солнца, белый свет,
ты озаряешь землю —
И ты, ухо ночи — луна,
ты тихо восходишь, следишь за ростом
трав, за шумом леса, за плеском
рек, за сном —
И ты, семицветная радуга — Бык-корова
небесных полей,
ты пьешь речную громовую воду —

пожелайте счастья мне от земли
сколько в ночи частых звезд!
пожелайте счастья мне от золотого востока,
сколько белых цветов земляники!
пожелайте счастья мне от синего запада,
сколько алых лепестков дикой розы!
пожелайте счастья мне от ледяного севера,
сколько зеленых цветов смородины!
пожелайте счастья мне от грозного юга,
сколько на ниве зреет зерна!
пожелайте счастья мне от темного дремучего леса,
сколько скрыто в нем птиц!

пожелайте счастья мне от темного бора,
        сколько зреет ягод в бору!
пожелайте счастья мне от топких болот,
        сколько сосен стоит кругом!
пожелайте счастье мне — солнце, свет, радуга, луна!
пожелайте великим пожеланием
                с поверх головы
                до подножия ног!

В СЕКРЕТНОЙ

1

Звонит колокол — —

Всполохнулось сердце, вскочил, одеваюсь.

Не отдаю отчета: куда зачем?

Я чувствую то же, что однажды в детстве: ночью в наш дом привезли икону, я спал и вдруг меня разбудили —

Надзиратель выводит на тюремный двор.

Еще ночь — искристо-морозная ночь.

Сонными желтыми огнями горит тюрьма.

Хожу по кругу —

Не могу проснуться.

— — — в наш дом привезли икону, тогда я был совсем маленький и была у меня игрушка Бык-корова, я прикладывался к иконе и Бык-корова со мной. Потом игрушку куда-то закинули — — —

Прищурившись, фонари следят за мной.

2

Оловянный свет — непробудные сумерки.

Или на воле снег идет?

Или солнце больше не светит?

Надзиратель открыл форточку в двери.

*

Где-то чуть слышно читают молитву.

*

Внизу против камера раскрыта.

У двери — мне видно — на коленях старик, руки трясутся

Кто-то закашлял

— Кто там плачет?
Да это ветер.
Мой сторож — ветер.
Надзиратель захлопнул форточку

*

Глухо стучит по трубам.

И ветер.

Мне все видится старик, стоит на коленях, руки трясутся.

И вдруг я почувствовал, будто где-то тут под одним со мной кровом живет Бык-корова — не игрушка, зверь. Зверь проснулся: ни света ему, ни простора — стены давят.

Ломает зверь когти — непокорный.

Мимо двери по коридору звенят кандалы, как смеются.

3

Моя камера — нора.

Побуревшие, перегорелые от нечистот и насекомых нары. Серая в пятнах постель. Качающийся черный столик. Качающаяся черная табуретка с цепляющимся гвоздиком.

Обгрызанная ложка в углу за образком. Узенькое продолговатое окно, густо замалеванное белилами. За двойной рамой снаружи железный щит.

Под потолком лампочка — косящий огонек.

*

С сыростью и испарениями весеннего вечера проникает через стены долгая тюремная песня.

И летит, высоко уносится песня.

И кажется мне, она вылетает на кровлю и выше — — и падает там на белую грудь облаков и с облаками несется к черной небесной ограде, где родится весна, роятся слезинки-листочки, и ткут узорные ткани цветов.

И я вижу тех, кого нет, кто далеко —

Мне протягивают руки и пропадают, как сон.

Кто-то окрикнул.

И песня спорхнула.

Монотонно позвякивая шашками и стуча сапогами, ходят по коридору часовые, как тюремные дни, позвякивая шашками и стуча сапогами.

4

— Отчего тут темно так? — я спросил в первый день, когда перевели меня из одиночной камеры в «секретную».

— Темно? а потому темно — и днем и ночью одна цена — такое строение.

Поправил дежурный лампочку и вышел.

В полдень, когда принесли обед, я опять за свое:

— Отчего ж не светает?

А дежурный, помню, посмотрел на меня сурово, а сказал, жалеючи:

— Много тут греха было! Днем ли, ночью одна цена: темно. Гимназист один на третьи сутки повесился.

И стало еще темней.

А сегодня и в мое окно пробился весенний луч.

*

По-зимнему лампа горит.

А где-то тут у тюремной стены пробивается первая робкая трава —

а где-то там, за тюремной стеной, на воле —

Я не знаю, живу или нет?

5

— Сегодня дочку похоронил!

Это сказал, забыв инструкцию, такой исполнительный и отмалчивающийся подстарший: видно, сильно ударило.

А вот другой тоже надзиратель: усы так чуть-чуть — из молодых, растерянный чего-то.

— Что такое?

— Да мочи нет, хоть в Турцию бежать: жизнь каторжная!

Татарин уборщик, пометет-пометет и станет, как вкопанный: два года просидел, еще год сидеть.

— Лошадь украл. И не нарочно, а так произошло!

Цыган-кандальник все песни поет под дверью: поет, кандалами постукивает.

— Сахарцу пришлите с Авдеевым.

Авдеев — арестант, прислуживающий в секретной.

Сахар я послал цыгану.

— Цыган весь ваш сахар проиграл! — вечером сказал Авдеев.

А на следующий день опять поет цыган — старая песня:

— Сахарцу пришлите с Авдеевым.

Есть в тюрьме и дети — отец с собой в тюрьму взял — пятилетняя девочка.

Конечно, не понимает, но и не улыбнется.

— Тя-тя! тя-тя! — все просит чего-то.

А он возьмет ее на руки, баюкает цепью.

И понесет ее на каторгу.

*

Все, что за моей дверью, идет ко мне, просит о помощи.

Но как помочь и чем помочь?

Кто им поможет?

Мыши скребутся: то тонко-домашне, мышка, то со злостью, так, кажется, и перегрызла бы тебе горло, крыса.

6

Пасхальная ночь.

Все камеры заперты.

Мы тоже ждем полночи — первого колокола.

Изредка вырвется смех и сейчас же погаснет.

Надсаживаясь, кто-то закашлял.

— — из конца в конец одиноко и глухо ходят часовые — —

И ударили в колокол там — на воле

И зазвонил тюремный колокол.

*

А как с Волги до Поморья
с Поморья до Сурожа
печалью взошла ночь
по русской земле.
И полегла печальная:
ни зги, ни зова.
«Отчего такая тьма и печаль
на русской земле?»
— Это души разбойничьи

из преисподней, из глубокой тьмы,
из пропастей, из темных темниц
потекли в отпуск
на светлую родину
за каплей росы —
утолить запекшие уста.
— И с родных полей подымаются —
вон мать моя, братья.
— Еще вижу я: много их —
покинутые и замученные,
измаявшиеся без пристанища.

И ударил звонкий колокол —
Зажгли красные свечи.
В вихре вихрем свернулась тьма — рассеялась.
С лю́бым, с милым христосуются,
и мертвый, как живой,
с живым целуется.
А [святая мать] — Трехдневное Воскресение,
омывшись весенней росой,
зажгла зарю.
И повела ее воскресную.

И раскинулась заря —
от востока до запада,
с Волги до Поморья,
с Поморья до Сурожа.
И в заре поднялся крест.

Горел крест воскресный
солнцем
над русской землей,
горел по заре в восходе.
А кто ждал его, видел.

*

— — Далеко за тюрьмой перезванивают к обедне — —

7

Только в первую ночь я спал на нарах.
Обыкновенно же делал так: тюфяк клал на пол и

кругом тюфяка поливал водой ручейком.

Клопы, мокрицы и мыши не решались переходить водяной заставы, и я на несколько часов мог спокойно спать.

И вот снится мне, будто лежу я на полу, окруженный водой. Бесшумно раскрылась дверь, и вошел какой-то в коричневом халате.

Я не знаю, кто это, но я почувствовал, что ему все известно.

— Когда меня выпустят? — спрашиваю.

А он наклонился надо мной.

Что-то говорит.

А ничего не могу разобрать, делаю страшное усилие и
открываю глаза.

И вижу стоит надо мной в коричневом халате,
глаза запали —

«Когда?»

И он сказал число и день.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— Вставай, дежурный! Надзиратель вставай. Пора
по камерам, дежурный!

Гремя ключами, прошел старший.

И ударил тюремный колокол.

И неизвестный в коричневом халате
растаял в глазах.

8

Бесцельно хожу взад и вперед —

Мне все чего-то холодно, а там на воле все за[зе]ленело.

По ночам долета[е]т до меня тук взбурлившейся
весенней жизни.

А иногда мне кажется, там — ничего, и я один спасся
из людей, я один — в тюрьме.

Бесцельно хожу взад и вперед.

*

Музыка!

Мимо тюрьмы проходят солдаты.

И я долго гляжу в мертвые, замазанные белилами стекла.

Я ничего не вижу, а звуки хлещут по сердцу.

И кажется мне, там — пожар, земля горит.
Бесцельно хожу взад и вперед.

*

Все также тихо.
Мутно светит лампа.
Мне все чего-то холодно.
И судорожно я думаю о теплых звездах.

9

Тюремные часы уныло бьют — —
От лампы по стене и на полу уродливая тень.
На стене умирала муха — у меня единственная с воли гостья.
Лапки судорожно вытягиваются, все тельце сжимается, а расплывчатое пятнышко тени — ее последней спутницы — дрожа, плывет.
Она залетела ко мне в камеру совсем недавно, и я очень ей обрадовался, следил за ней. —
Пробовал разговаривать —
и вот умирает.
Что же тебе в твой мушиный последний час вспоминается?
Моя желтая камера, когда там за стеною светит солнце —
мое забеленное окно, будто замерзшее в ясный теплый день —
неповоротливые скучные мокрицы по углам, где зеленеет струями плесень —
сонные и черные, как чернослив, тараканы на панели —
ленивые налитые кровью клопы —
чуть заметные — и самые злые! — желтые клопиные шкурки —
юркий хвостик мышонка —
зубатая рыжая крыса —
пятнышко тень вдруг сгустилось сосочком и — застыла.
Муха умерла.

10

Светлая летняя ночь —
Там зарницы, шныряя, колосят колосья.
Там одинокая звездочка смотрит на землю.
Слышу, где-то на воле поют —

Собачонка затявкала тупо — — экая!
И песня уходит.
Как мертвенно тихо!
Слышу время: стучит, убегает —
Ничего не хочу.
Ничего мне не надо.
Слышу время: стучит, убегает —

11

Я чувствовал себя, свои замирающие мысли, тревогу, гнетущие предчувствия и никогда не покидавшую меня надежду, что наконец настанет предсказанный мне день — кто-то придет, подымется в коридоре суматоха защелкает замок и меня освободят.

Я вспоминал свое прошлое до мелочей.

И дни, прожитые мной, ко мне входили сначала бледно и расплывчато, потом, сгущаясь, росли и обращались в чудовище — в какого-то искалеченного.

Калека протягивал сухие руки —

И глядя в лицо своих дней, я просил простить меня, — я давал клятвы — лучше погибнуть, но чтобы не видеть — чтобы не было вовсе никого с протянутой сухой рукой, лучше пусть измучаюсь, понесу непосильную тяжесть —

И проходило передо мной все выраженное в поступках, потом только бродившее в мыслях, а потом и то, о чем я боялся даже думать, и оно всплывало —

Я винил себя и за такие мысли, которые жили во мне совсем неясно под ясными мыслями, за которые каждый должен дать ответ, как за поступок.

А вспоминая встречи, я вспоминал все, о чем болела душа.

Всю жизнь на земле до последней травинки я принял в сердце.

И не видел существа, сердце которого не забилось бы больно, хоть однажды.

*

Так незаметно и невольно я закручивался в водоворот бед, невзгод и мучений.

Я метался, как в клетке.

И изнемогая от ходьбы, от беспомощности своей, застывал на месте, как тот татарин-уборщик.

*

Мне вспоминалась лягушка с оторванной лапкой —
желторотый выкидыш из разоренного гнезда —
рыба с оборванным крючком во рту —
разорванный полураздавленный червяк —

*

По тюремному двору ходил козел.

Я часто встречал его на прогулках.

Ходил козел по двору и, ровно понимая, что творится со мной, посматривал на меня.

И я с ним здоровался, как с человеком.

И мне казалось, не только люди, не только звери, а
и вещи понимают.

Избитая собака и заморенная лошадь —
и вся эта недорвавшаяся и измученная скотина —
горящие деревья —
желтеющие листья —
измятая трава —
истоптанные цветы —
ощипанные бутоны —
изъеденные побеги —
стертый каблук —
сломанная табуретка —
изгвозженная полка —
вырванная с мясом пуговица —

*

Чувствуя себя, свои мысли и все, что живет за дверью и за стеной —
все, что совершается и что было, я чувствовал каждый миг жизни.

И не проходило песчанки времени, даже в снах.

И я не знал, как оправдать и чем оправдать
все, что есть, все, что было, все, что пройдет по земле —
боль жизни.

12

Зашипели шашки конвойных.
Раздалась резкая команда
И выстроенные, как солдаты, у тюремных ворот

арестанты пошли,
торопясь и звеня,
торопясь и обгоняя друг друга —

На волю!

И я увидел сразу все, что было, и на минуту осветилась тьма завтрашнего дня.

Ледяные руки обняли меня.

И лед жег мне сердце.

И страждa от жестокости человеческой, я почувствовал нестерпимую боль от жалости к человеку.

ПО ЭТАПУ

1
В вагоне

Открыты окна.

За вагоном летит солнце такое блестящее, а еще холодное и лучами бьется о решетку.

Мелькают сонные поля высокие и желтые.

Вагон просыпается: сопят, кашляют, плюют, выходят и приходят, цепляясь за ноги.

— Осенью-то ехать и не доживешь! — говорит сморщенная старушонка, пережевывая корку.

— Чего не доживешь-то, тридцать годов хожу во все времена года, жив, цел и невредим! — отзывается старик, арестант Яшка.

Яшка важно пьет чай, вкусно присасывая сахар. Белая оправа очков приросла к носу и переходит в длинную белую бороду, зеленую у губ.

— Молодому куда еще, а мне на седьмой-то десяток, Господи, всю-то разломило!

Заплакали дети.

Поднялись бабы, заорали.

Старик роется в своем мешке и ухмыляется.

— Книги, вот эти, получил я от самого господина начальника! Проповедник был у нас англичанин, посещал арестантов. П о з н а н и е, говорит, у с м и р и т ч у в с т в о т в о е и о с в о б о д и т о т н е г о. Лучше бы от тюрьмы освободил! А то к а н д а л ы в д у ш е т я ж е л е в а ш и х. Попробовала бы этакая пиголица наши-то поносить, дарма что англичанин.

— Одно развлечение, а то и слушать их нечего! — глухо отозвался сосед, высокий, сухощавый арестант с темным лицом.

— Да и без проповедников сами все знаем. Еще покойный Державин сказал: в добре и зле будь велик! А то англичанин.

— Спи ты, чего поднялась! — скаля зубы, уговаривает конвойный молодую арестантку, полаживаясь и заигрывая.

— И приятно, любо ходить мне, — продолжал старик, — и хожу. А сколько я этого народу на моем веку обманул. Родного брата надул...

Хихикает.

Старуха стонет.

Кто-то немилосердно чешется и зевает.

Становится душно.

Пепельно-желтый табачный дым широкой и густой полосой тянется от двери до двери.

К арестантке пристают и задирают.

Кто-то запел.

—Д-да, — слышится голос старика, — и живу так, приятно, хорошо мне, одно — устал, тело болит, да и вино уважаю.

И все слова и крики сливаются в тупом жужжаньи.

Скоро станция.

Конвойные собирают чайники.

Арестанты спорят и грызутся.

Поезд остановился.

Пассажиры и публика, прогуливаясь по платформе, трусливо и любопытно заглядывают в решетчатые окна.

И смуглое личико сияет теплющимся светом.

Вдруг с резким свистом, шумя, шипя и киша горячими стальными лапами, подлетел поезд.

И сразу что-то отсеклось.

И крик смешался с равнодушием, и жгучая тоска припозла и лизнула сердце ледяным жалом, и что-то тянущееся, глухое и безвыходное заглянуло прямо в глаза красным беспощадным глазом.

— По местам! — закричал конвойный.

[2]
В больнице

Лежу в больничной камере.

Куб. сод. возд. 7 с. 11 ар.

Лампа горит.

Какая огромная, уродливая моя тень!

За тюрьмою на реке пароход пропел.

Пищит вентиляция, тикают часы в коридоре.

По двери крадутся тени — —

Лампа туманится.

Кто-то наклонился надо мною, — пихает в нос вату. Хрипит.

На потолке сгущается черное пятно.

Упадет пятно, и я сольюсь с ним.

— Кто там. кто стучится?

Терпение — терпение! — отвечает протяжный стон.

Жужжит муха.

— Да-да-да-да! — бойко поддакивают часы.

— Высший подвиг в терпенье...

— Затворите форточку! Дует. Холодно. Да затворите же форточку!

На желтых стенах грязные клопиные гнезда.

— Зачем вы душите меня? Что я вам сделал? Что надо от меня? Я всех, всех, всех раздавлю. Закраснеет огромное пятно!

— Ты в роты идешь, раздевайся, снимай чулки! — кричит над самым ухом надтреснутый солдатский голос.

Колкие усы касаются щек.

— В роты, роты... ты... ты! — тянет ветер, врываясь в форточку.

Кто-то снова наклоняется надо мною, пихает вату в нос.

К двери подходит, шлепая валенками, надзиратель.

— Не уйду, я никуда не уйду!

— Уйду, уйду! Высший подвиг в терпенье—

— —

Мигает лампа.

И огонь убегает.

[3]
Коробка с красной печатью

Мир тебе, коробка с красной печатью!

До последнего дня этапа ты сохраняла гордость и неприступность и окончила долгий и трудный путь.

Что за вкусные сласти несла ты!

— Коробка с печатью! — гордо говорил я.

И начальственные головы благоговейно склонялись перед тобою, и пальцы их — щелчки — не смели коснуться тебя.

А меня принимались тормошить и оглядывать.

Но щелкал замок.

Мы одни с тобою.

Постукивая, где-то ходят. Дремлет сонный в о л ч о к.

И ты раскрываешься —

Папироса за папиросой. — дым на всю тюрьму!

А помнишь, раздетый донага. Я стоял на каменном холодном полу, ты же с зеленого сукна надменно глядела вокруг.

И потом, осторожно, обеими руками взял тебя сам с т а р ш и й и, как святыню, держа тебя перед собою, направился к моей камере. Сзади вели меня, гремели шашки.

— Их нет! — шепнул я.

И ты распахнулась.

И я вынул бумагу и карандаш.

Когда же мы вместе вышли на волю, ты тряслась от хохота всеми своими нитями над тем миром, где так высоко чтут красную печать... к о н д и т е р а.

Мир тебе!

Мне же горько стало и за мир и за землю и за душу человека.

ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ

1

Стою на трапе.

Над рекой раскинулась ночь — последняя.

Месяц широким густым ключом падает в реку — серебром убегают дрожащие струйки; нагоняя друг друга, извиваются кованной лентой.

Там, вереди словно остров — заброшенное, утонувшее
в снеге —
А там — вереницей идет и впивается в сердце —
Легкий ветер, шелестя, доносит гулы.
И чудится в гулах голубеющей ночи.

*

Омель и Ен
два голубя
два божества.
Отчаяние
двух одиноких
переполненных сердец.
И встреча — мир.
Ен — небо, реки, звезды, человек.
Омель — болото, мхи, огни, уроды, духи.
Ен — вершина Брусяных гор — покой.
Омель — тоска.

*

— налево! куда правишь, налево! —

— а-ах! — ответили с биржи.

— налево! коли надо, прими чалку, а то отходи, поверни что ль еще!

— а-ах! — ответили с биржи.
Медленно спокойно плывет река.
Только у колеса парохода встают волны и, откатываясь,
бьются о берег.
Из трубы вылетают крылатые красные рыбки —
И расплываются в ночи.
— На правой, вперед!
— Де — вять, де — сять — отвечают с баржи.
И протяжно и гулко запел пароход.
Вздрогнул лес —
Вздрогнул берег —
Громким голосом отрявкнув, погрузились в сон.
И страх вошел в ночь.
Замелькали огоньки пристани.
— Тут тебе и дом — ни вперед, ни назад!

2

Снегом заносит. Ветром опевает.
Рвется в белые окна метель.
— А вчера еще цвел василек, жали рожь!
— В одну ночь!
Стынет седая река.
Слушаешь вьюгу, жмешься.
Нет ни дороги, никуда не уйти: как за верной стеной, — снег.

Заклинание ветра

Что ты, глупый, все гудишь,
разметываешь листья,
стонешь —
Ветер, бабушка жива!

Полетел по реке,
поднимаешь волны:
еще холоднее —
Ветер, бабушка жива!

Или не слышишь:
не плачет,

никто не горюет, напротив, —
Ветер, бабушка жива!

Перестань же, глупый дуть:
выдуешь тепло, замерзну:
Заклинаю, ветер —
Ветер, твоя бабушка жива!

3

Зеленоватая ночь, туманная, в колеблющихся тучах.
Не слышно ни звуков, ни голоса.
Но все живет, завеянное зеленоватым светом.
Пройдут века и ничто не шелохнется, не откликнет.
Бесшумно подымаются мысли, идут и замирают, сливаясь с зеленоватым светом.
И то, чего минуту назад так сильно желал, отступает.
С отчаянием я вызываю прошлое —
А все замолкло, запряталось.
Прямо через окно идет зеленоватый свет — идет и проникает в душу.
Не смерть, нет смерти в этой ночи — странная своя жизнь.
Вечная жизнь?
Медленно впитывается зеленоватый свет.
Беспросветно обволакивает душу.

Бубыля

В тесном подполье, глухом,
онемелый в беде бедовик.
Бубыля.
Плесень и черви точат стены,
нечем дышать.

— Закрывайте плотнее двери!
— Не говорите громко о счастье!
— Без оглядки живите!
Неровен час — ты счастлив? —
а он на пороге.

Слышишь, скользнуло?
Мышь это? нет —
Без кровинки, как сумерки, серый,
водянистый наводит глаз;
— Ты помнишь? Забыл?
— А припомни!
И темные мысли: чего не вернешь;
и память: чего не поправишь —
тянут душу, изводят.
— Места мне нет!
Места нет —
Бубыля,
бедой все углы занял.

Кутья-войса

— бесноватая крещенская ночь, бесконечная —
их много
Кутья-войса!
а я один

*

В полночь они, полуночные
в полночь помчались, проклятые,
с визгом, со свистом —
одна ночка гулять!
Грудь их, как снег,
зеленые волосы,
зеленые волосы рассыпались в тучах
вьются,
перебрасывают месяц, как мяч.
На колокольне рванули за колокол:
зазвонил колокол,
как попало.

*

Идите, спешите:
есть много беспечных,
двери их настежь,
врывайтесь —
одна ночка гулять!

*

Хороводы несутся, —
полчища идут, метут,
стая гнетет, разрушает.
Крест с колокольни сшиблен,
намело сугробы, не видно.
Одежда проклятия сброшена в прорубь,
прорубь заледенела.

— бесноватая крещенская ночь, бесконечная —
их много
Кутья-войса!
Не дождешься рассвета!
Один.

4

Здравствуй, сорока!
Откуда прилетела?
Побелел твой передник —
Или примерз к тебе снег?
Что, сорока, мерзнешь?
Под моим окном не найдешь тепла.
Сорока, ты дрожишь. — — Спрячься под крышу: там и дождешься.
Я ничего не могу тебе дать.
Ты давно тут, обжилась! — после долгой зимы, чуть пригреет, ты летишь.
Сорока, как ты выносишь морозы?
Научи меня, как учишь детей своих.
Сорока! я замерзаю.

*

Кто это в лунную ночь
жалобно так стонет?
Кто осыпает с деревьев
инёвый жемчуг?
И в белые ночи
смущает тоскою?

*

Икёта,
порожденье загадок Омеля,
пленница Ена.

*

Твоя мать — лесавка.
Твой отец — охотник.
И никогда не стать человеком,
и в лесу — не своя.

*

Человек пошел с человеком,
зверь со зверем
и дух с духом —
лесные с лесными,
водяные с водяными.
А ты — ни на что не похожа —
одна
Икёта
обменок несчастный.

5

В бледном тающем свете темная тень на крыльце.
В белом венчике месяц.
Не зимние звезды.
А вдоль леса тяжелая туча — самка — весенняя вестница.
Скрыпят сосны.
И вдруг переклик петушиный.
И, кажется, солнце играет —
И прыгает сердце — глупый малый зверок.

6

Лебеди!
Белые лебеди!
Снова к нам — не забыли.
От вашего крика, от шелеста крыльев земля сбросила белую шубу, зазеленела.

Помните, вы улетали, и гнался за вами снежный буран.
Я провожал вас — безнадежно.
Сколько дней бесконечных —
Лебеди, как высоко вы!
Если б и мне полететь — —

7

Солнце неугомонное —
В теплой сини птицы.
Яркая зелень.
А река — голубое поле, изборожденное золотом — растет с часу на час, заливает острова, подходит к лесу, врезаясь в глубь леса, плывет меж седых старых елей по хрустящим мхам.
К вечеру на ало-пурпурной заре она займет всю землю —
зальется к солнцу под его пунцовую кровлю.
Такая поднялась повсюду жизнь: и по дорогам, еще сырым и вязким, и по дворам —

*

Миновав серый частокол острога, я спустился под гору к кладбищенской ограде.

Цветник крестов встретил меня весело.

И мшистые надгробные гробницы защурились.

У свеже-желтой могилки под крестом копошился живой цветник ребятишек.

А на зеленой кровле белой церкви старая ворона, как нянька, чистила лапкой затупелый клюв.

А высоко, выше колокольни, шумели кедры.

Лес зеленых хвой разыгрывал на мягких травинках кедровые песни: и разгульные и плакательные.

Падают кресты — последняя память мешается с песком и щебнем, а зеленые кедры, не переставая, шумят над крестами.

А под крестом ребятишки разыгрались.

Отрывисто ударили на колокольне.

Спеша прошла краснощекая женщина в ярко-кумачовом платье, простоволосая: на руках у нее покачивался тесовый гробик.

— Христос воскрес! — выкрикивали тоненькими голосами ребятишки, вприпрыжку догоняя гробик.

На колокольне звонили отрывисто.

Шумели кедры.

А издалека гул половодья.

8

С рассвета реяла птичка, переговаривала песню.

Толклись без устали толкачики.

Белые тучи, бродившие по востоку, полднем протянули пуховые руки, схватились, и ластясь, поплыли — —

И вдруг зарычала протяжно — не белые — одна тяжелая туча.

И упали на землю первые капли.

И западали быстро и шумно.

Это Весна трубила в олений рог, Весна с лицом Белой ночи в венке белых цветов лесных ягод, шла по бледным мхам, увитая мхами.

дождик, дождик, перестань
мы поедем в Аристань!

Притаптывали босыми ногами ребятишки, вытягивали руки под весенние небесные цветы — дождинки.

*

Я поднялся на берег с крутым спуском к затихающей реке.

Ярко-омытое солнце.

Сквозь тающую тучу врезается в реку широко — Бык-корова, выгнанная на водопой с небесных полей.

Внизу у воды у старой промокшей избушки, прислонившись к косяку, Водяной — лунь борода, белая рубаха, серебряный кольчатый пояс.

А по реке шныряет черная лодка — два Лесака, по пяткам узнал — выворочены.

— Белый! — звонко крикнул Лесак.

И над спиной у него взвилась серебристая рыбища.

— Червей подложи! — курлыкнул другой.

Туда к затопленному половодьем острову улетает лодка — белые раздувающиеся платки, как чайки.

И жалобный оклик —

И взрывчатый хохот —

И топочущая воркотня —

Это Лесавки, это безутешная Икёта, это ребятишки бегут на перегонки к реке.

Бабочки, жуки, муравьи — шум, жуж, стрекотня.

Чья-то шапка бултыхнулась в воду.

— Га! ха-ха — ха-ха-ха-ха-! — загоготала Кикимора.

Сколько взъерошенных голов, плеск и брызги и слезы.

А вот и еловый Лешак.

— Здорово! — сжимает мне руку смолистой рукой.

— Здравствуйте!

— То-то, пришел, а зимой и ввек не заглянешь!

И ковыляет к избушке — к Водяному.

*

Река — небо безбрежное — и плывет и покоится.

Уйдут тучи, не успевшие рассыпать по земле дождинки, спадет теплынь, и река завечереет такая густая.

Остроносые черные лодки, скользя, оставят по ней синий след.

А восток алеет и будет рдеть пока не дыхнет без сумрака белая ночь, не зарябится голубой островок.

И тогда запад сольется с востоком.

По небу раскинутся малиновые лучи.

И полунощное солнце глянет на свет.

Юрко шныряет черная лодка.

Лесаки наклонились, тащут огромную удочку — поплавок, как полено.

Из окошка высунулась Бабушка — она как сук — и скалит от солнца длинные зубы.

— Бегай ты, башмаков издерешь, на неделю не хватит! — ворчит старая на внучку.

А у внучки — глаза речные, нипочем не унять.

Бегут ребятишки и машут и кричат и дерутся — плеск и брызги и слезы.

Я стою и греюсь.

Вот-вот взовьются крылья —

И я полечу — туда, где Бык-корова с небесных полей пьет ненасытно.

9

Она к ночи пришла бледная и голодная.

Пристально взглянула в красный закат.

И спутники ее — стальные вихри пустились с визгом по реке и по полям.
Взрывали реку, ломали лес, топтали траву.
Я слышал, как кто-то постучал ко мне в окно, — Весна?
И тишина настала.
Вдруг вой прорезал небо.
Метель кричала, бросая снегом.

*

На утро выглянуло солнце.
Зима плясала — быстро-быстро.
И с ней плясали ели.
Измученные волны бились в берег серой пеной.
Черемуха смешалась со снегом.
И свистам вторя, ржали кони на берегу.
Где были птицы?
Петухи молчали.

— — падает снег, падает тихо — —

Ни берегов, ни озими.
Смородина завяла.
Река. как сталь.
В тревоге птицы — нахохлились.
Комары замерзли.

— — падает снег, падает тихо — —

Птицы перелетные, цветы доверчиво распахнувшие алые и белые грудки, бабочки-недотроги, жуки, червяки, — зачем вы ожили? зачем прилетели?

— — падает снег, падает тихо — —

А где вы, дети?
И только кукушка, тоскуя, кукует —
ку — ку —ет

10

Белая ночь — —
Весь горизонт багровый, опушенный пурпуром.
Из-за реки — в ней свет родится зорь — кресты маячат елок
Небо — жерло желтого густого света.

Темь — скрытница — летает далеко за лесом, там тоскует.

Остров, затопленный половодьем, теперь нарядный в цветистых мхах.
Тяжелый медный свет
Застыло время.
И полночь с полднем шепчутся.

*

Белая ночь — —
Весь горизонт багровый.
Пылают две зари.
На свет свечи летят ночные бабочки — летят и тащут мне с полей и голубую сеть и росяной алмаз и маленьких Быков-коров —
Скорее!
Зной вас иссушит, а дождь прибьет, а снег поставит заставы!
Рдеют зори бесстрашно.
Колеблется ненужная свеча.
Запел петух.
Заря — огонь.
Окно — горит.

Полёзница

Она из красных лучей —
пых полуденных ветров;
　　　　　　сердце — зной,
　　　　　　жаждет,
полудённая Полёзница.

Рыжие косы — зарницы —
растрепанный колос:
с трав сметает росу,
стелет душную засуху,
покрывает дороги корой.

Она не знает, откуда пришла
и живет в этом мире.
Кто ей мать и отец,

она ничего не знает.
И с зари до заката тоскует.

Глаза ее васильковые —
В васильках изо ржи
сторожит:
— не попадет ли кто из ребят?
Кто ей сказал, она не знает,
она знает: выкусишь шарики,
съешь — станешь другим!

*

Ярая тишь наступающих гроз.
Туча ползет по небу —
там ветры-псы
языки разметали.
И нет утоленья!
Не обернуться зверем,
не стать человеком,
ничего не поможет.

*

Мрачный Омель — туманность,
вьющая непохожие неутоленные жизни!

11

На разные лады пошло веселье: тут и щекочут кого-то и кто-то, запыхавшись, говорит, смехи-всхлипы и серебряные капельки голосов.

Впереди Степка кудлатый в красной рубашке.

Степка кричит мне, — в руках у него смятые затасканные васильки.

А вприпрыжку за Степкой —
черномазая Манька голубая с пучком кашки,
взлохмаченная Настя в красном с одуванчиками,
Аленушка с фиалками,
Катька с земляникой,
Таня с дикою розой —

А сзади бабушка Васильевна в табачном платке, такая ворчунья, а нынче подобрела.

В руках у Васильевны веник — желтые цветы, купальница.

Цветным веником снуют ребятишки по дороге к реке.

*

В раскрытое окно влетают комары.

Комары везде: под потолком, в углах, над головою — однотонно тонко поют.

А небо и река отдыхают.

А солнце так высоко: нырнуло от жары куда под небесные вербы и сидит.

У крыльца, уткнувшись в сено, спит конь.

Еще совсем недавно ребятишки гладили коня и подползали под него и теребили хвост и холку.

Степка сказал: «Конь кусается!»

А у коня и зубов-то нет.

Во взбитом сене выглядывают примятые купальницы — желтые птички.

Остроухая шаршавая собачонка Лайка проводила ребятишек с Васильевной на реку, задремала у бревен:

«День-деньской набегаешься, да и под вечер тявкать опять же!»

*

Ни души — нынче все на реке.

Нынче венки в воду закидывают — Ивана Купала.

Бледное личико мелькнуло в окне.

— Паранька, ты чего? — окликнул я девочку.

И опять большими глазами глянула на меня: прижавшись подбородком к подоконнику, она как застыла в истертой плисовой кофточке и в валенках не по-летнему.

— Что же ты не пошла? И цветочка у тебя нет?

Паранька ничего не ответила, поправила белый платок, осторожно вскарабкалась на окно, заболтала ногами.

А раньше-то какая была веселая.

— Я тебя с собой возьму, хочешь пойдем на реку?

— Испугалась! — ответила девочка и так вся и сжалась, а руки крепко впились в подоконник.

Какая-то птичка, вспорхнув на бревна, одиноко кликала.

И вдруг Паранька, как кошка, прыг с окна.

И пропала.

*

На пороге стоял гость.

Мутными страдальческими глазами искал чего-то.

Поздоровались.

Иван Степанович запахнулся и сел.

Пошарив в карманах, вытащил он осколок кости, запустил руку поглубже, вытащил пузырек и высыпал на ладонь горстку серовато-блестящего песку.

— Вот, — сказал он глухо, — амальгамный. Ночь напролет рылся, в самую глубь нырял: жила россыпей.

И в глазах его таяла тоска.

— Непромытое! — ответил я.

— Амальгамное, жила россыпей самородных! — горько и презрительно гость скривил губы и, взяв лоскуток бумажки, высыпал немного песку на бумагу, — может, пуд какой схоронен непромытого твоего.

И глядел уж гордо и снисходительно.

— А это мамонта клык допотопный. Да ты след-то видишь: пласт отщепился!

Иван Степанович днем на берегу роется, а по ночам в реке сидит: ищет он и золота и всякие клады.

Сживут *они* меня: вчера вот белым подходило и комаром поет, страшно. *Они* все знают, и знают и чувствуют. И сила их в том, что чувствуют. А мы что? И знаем немного, а того меньше чувствуем. Но дай срок, нырну я в самую глубь, найду я такое место.

*

В алую реку за золотой берег село солнце.

Потянулись по его следу черные облака и красные тучи.

За рекой у вспыхнувшего огонька затявкала Лайка.

И нахмурился лес по-вечернему.

А месяц, покинутый светом, медленно всплывал к кресту колокольни.

Мы повернули за холм и пошли берегом.

По реке плыли венки и в е н и к и из желтых цветов купальницы, плыли в море — счастливые.

Навстречу нам бежали ребятишки.

А впереди, прижимая руки к груди и наклонив голову, бежала затравленная Паранька.

Ребятишки кричали:

Крыса седая!
Крыса седая!

И острый камушек скользнул мне по руке.

Бабушка Васильевна едва плелась, но была еще добрей: ее веник не утонул!

От ребятишек уж стоял столбик пыли.

И месяц был куда выше креста — с каждой минутой он таял и от медного света двух зорь печалился.

— Вот тут, — шепнул Иван Степанович.

Он вытащил из-под полы веник из желтых цветов и, показав на темный омут, бросил:

— На счастье!

Веник завертелся, запрыгал, вдруг скрылся и опять выплыл, выплыл и канул.

— Вот тебе и счастье!

И там, где толпились черные облака и красные тучи, взрывом заполыхали сухие зарницы.

И была тишина — комариная.

Северные цветы

Цепкий плаун колючими лапками
ложится на темно-зеленую грудь лишаев.
Вереск бесстрастный стоит в изголовье.
Сохнет олений мох, грустно вздыхая,
когда в изумрудах ползет зеленица.
В медных шлемах, алея, стройно идут
тучи войска кукушкина льна.
А кругом пухом северных птиц зеленые мхи.
Из трясины змеей выползает линея,
обнимает лесных великанов:
пробираясь по старым стволам,
отравляет побеги.
Бледно-пур[пур]ный, будто забрызганный кровью,
по болотам раскинулся мертвый мох,

желанья будя подойти и уснуть —
навсегда.
Запах прели и сырь покрывают
черты ядовитые, полные смерти.

12

Прощайте, метели, и ты, лес, и вы, вихри!
Не увижу вас.
Не услышу вашего голоса.
Я в плену у вас прожил, один.

Бледный иней парчою лежал на цветах, осень шла по реке, пенила синюю воду и бросала по желтым дорогам красные листья.
Не успели хлеб убрать, как примчалась зима,
вся в пушистых снежинках
река куталась в лед зимовать.
И белая крышка покрыла мой дом.
Ночью дразнили метели —
Тишина пугала —
Никого не дозваться в зимнюю пору!
В белые ночи падал свет тихо.
А вот и лето проходит.
Гнезда пустеют, поспела морошка и поляника.
Скоро осень.

Прощайте!
Не увижу вас.
Не услышу вашего голоса.
Я в плену у вас прожил один.

1900—1913

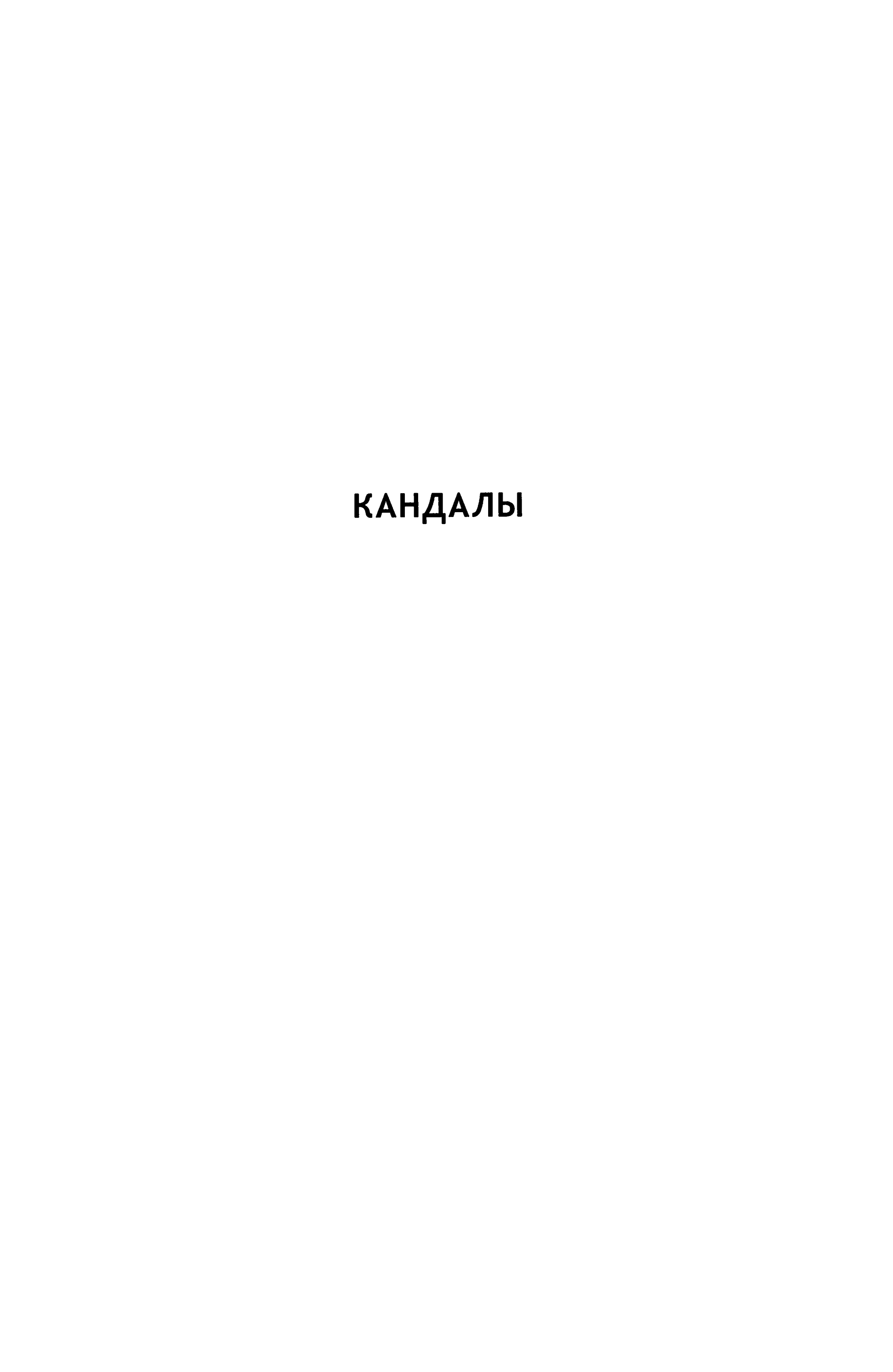
Charlottenburg 1922

БАРАНКИ

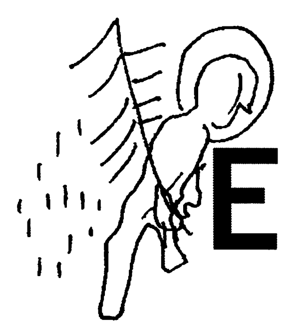
Заключевные рассказы

Посвящаю
С. П. Ремизовой-Довгелло





КАНДАЛЫ



ОПЛЕШНИЧКИ

1.

Есть такие города на Руси, куда в Христосову ночь не только серебряный кремлевский ясак, а зазвони и сам царь-колокол, царь-колокол не донесет.

В Сольвычегодске на пустынном усолье, где поверх низких домов, как над могильными холмами, церкви-кресты стоят, задастся счастливый год и в пасхальную полночь чистые сердцем слышат звон — разливной и гульливый гудеть по Устюжине шире Сухоны, Лузы, Юга и Вычегды.

А Сольвычегодск на полпути от той дебери печорской, где выпало на долю проводить подневольные дни Винокурову с замоскворецких Толмачей.

Человек по языку и ухваткам московский, жилистый и упорный, от крепкого кореня гостя московского, был Винокуров не без того.

И чем кончил, одному Богу известно.

А ожидать всего можно было, и сказывали люди — лет пять назад такой слух прошел — будто уж вольный, очищенный от грехов всяких поднадзорных, попался он уж по воровскому делу и угнан под наказание.

А может, все это одни злые выдумки — ошельмовать человека здорово живешь страсть человеческая и первое наше удовольствие!

И никуда ни по какому воровскому делу он не угнан, а живет себе, слава Богу, где у печенгских старцев на море-океане в духовной работе да китов мурманских ловит, либо, совсем наоборот, на золотом Алтае, где золотые дела делает да казну копит, а то, и такое возможно, заморенный, гнет свою какую-то

линию неделовую на Неве-реке либо на своей Москве белокаменной.

У нас про него так говаривали:

— Винокуров? — семь бесов.

А окрестил так смутьяна Костров Федор Иванович, человек учительный и верховой.

С тем и пошло.

— Семь бесов да семь бесов.

Ну, а он ничего — посмеивается.

И Бог его знает, что эта улыбка его означала, только не обижался никогда, чудно́й человек.

А ведь придешь к нему, сидит, бывало, ничего — вечно под носом книга. Любил книгу. И за какой год комната его прибралась, что библиотека.

Тоже и невзначай так спросишь о чем, толково-таки ответит и еще пример приведет.

И бывали вечера, соберутся гости, и все по-путному, примется он какую историю рассказывать, и скажу, ей-Богу, прямо за сердце тронет.

И уж думаешь: да не ошибаемся ли все мы кругом, бесов-то в человеке выискивая, и не в тебе ли они самые завелись, оплешнички, за нос тебя водят?

И станет неловко.

Уж придумываешь: и чем бы такое вину свою мысленную перед ним загладить за напрасные осуждения?

Пройдет день и другой и только что приладишься покаянную петь, а он такое тебе выкинет — и весь как живой тут и все его бесы.

— Семь бесов!

Был один из заключевников Шведков несчастный, глаза в жизни за работой лишился и при жене своей жил, вроде как помогал ей: если приходилось жене шитьем заниматься, машину вертел. И такой, ну, в чем душа, а по этой части, хлебом не корми.

У Винокурова, как известно, частенько и хозяйские и соседские девицы находом гостили, а Шведкову это на руку — ему, ведь, несчастному, с его несытой страстишкой, около постоять и то праздник! Вот он вечерком под каким-нибудь предлогом,

чаще всего будто за книжкой, увильнет от жены и притащится к Винокурову.

И войти-то войдет честь-честью, да только Винокуров-то, ему все это известно, и хоть и свой, а все заприметит, да как, бывало, свиснет подрушным — такие всегда водились из своих же — а уж те знают, да на Шведкова разом, да все с него и сорвут срывом.

И уж в чем мать родила при всем честном народе визжит несчастный, тычется и ловит, чтобы как-нибудь прикрыть, — потеха!

Всем потеха, от хохота трясутся.

И без пира вечер осточертеневший долгий проходит весело.

И был еще один, Штык по фамилии, в деле своем дельный, тихий и работящий, простой человек, и затеял этот самый Штык в своем досуге подневольном заняться каким-нибудь научным предметом, — все мы скуки ради в заключевье своем поднадзорным для собственного развития за что-нибудь ученое принимались.

Вот Винокуров и взялся развивать Штыка, да вместо того, чтобы научить человека по-русски грамотно писать, он стал учить его по-итальянскому.

Штык несчастный из кожи лез, старался, но и в русской грамоте нетвердый, взявшись за итальянскую, совсем с толку сбился.

И как, бывало, примется с Винокуровым, учителем своим, по-итальянскому объясняться, со смеха живот надорвешь.

И много смеялись, провождая дни и вечера, долгие, такие осточертеневшие.

Да, Винокуров какую хочешь дурость над человеком сделает, не облизнется.

Тоже вот студент Салакин, был такой у нас большой спорщик или как сам величал себя и выставлялся, общественный человек: дома у себя сам-друг и минуты не посидит, а как с утра, бывало, выйдет и до ночи по знакомым пропадает и все говорит — и как говорил! с одного, вот как! — не поспеешь слова ввернуть.

И влюбился этот Салакин в устьвымьскую учительницу Налимову, ну, и все, слышно, сговорено у них было, и только ждали, дай кончится срок и обвенчаются.

Конечно, дело велось в большой тайне, да разве утаишь чего от людей и, особенно в таком деле? Винокурову все было известно.

И случилось, поехал Салакин на родину к себе в отпуск, пробыл там с месяц и благополучно назад вернулся.

И дернула же его нелегкая чуть ли не с парохода прямо к Винокурову с своим разговором.

Слушал его Винокуров, слушал и час и другой и третий, да всего не переслушаешь, а перебить — поди перебей! да все-таки как-то изловчился да в передышку так, будто мимоходом:

— А слышала, — говорит, — Василий Васильевич, Налимова-то учительница замуж вышла!

Василий Васильевич только глаза вытаращил — заплеснуло в голове, сказать уж ничего не может.

— Точно не знаю, — продолжал Винокуров, — за Колесникова, кажется.

А уж того, ровно варом: Колесников-то телеграфист, действительно, приударил за учительницей!

— Что вы говорите? — только и пролепетал несчастный, да живо за дверь, да бегом.

И с той поры — будет! — никаким разговором к Винокурову с разговорами не затащишь: учительница-то устьвымьская Налимова, само-собой, и не думала за телеграфиста выходить замуж, а Салакин Винокурову поверил и чуть не рехнулся.

Да то ли еще! Много мы видывали, немало и слышали, а больше того испытали от бесов Винокуровых, от его пакостных оплешничков: замутить, в грех втянуть человека ему ничего не стоило.

Спутал молодежь с «наблюдающим» — кормился такой наблюдающий при полиции забитый человек Фырин.

Должность его была проверить нас, вроде сыскной. А дара ему сыщицкого не было отпущено: проследит, бывало, за нами то, что под дозволением, и обязательно проворонит такое, — того и гляди, самого в шею погонят.

С этим-то Фыриным наших и свел Винокуров.

Ну, и началась всякая дурь и удаль по пьяному делу. И уж сам исправник Сократ Димитриевич Гусев кое-кому замечание сделал, а бесталанного сыщика под надзор поставил.

2.

А скучное было житье!

В других городах съедутся ссыльные и сейчас же друг против друга суды начнут. А у нас и такого не полагалось. И не потому, что некого было судить, — ну, того-же Винокурова! — да судная орава-то, подымающая суды, совсем перепутанная Винокуровым, сама завязла вот покуда.

Сидишь, бывало, у окна, — печка натоплена жарко, — пригреешься и смотришь.

А в окно — белый снег, и пока глаз хватает, снег — ровный да такой белый, и лишь стороной частокол черный — это лес, и в лесу там не только медведь, а и Яга Ягишна домик имеет свой собственный на козьих рожках, на бараньих ножках: там ей попить, там ей поесть, поваляться!

Любо и ветру — безрукому деду, у! выйдет безрукий, по воле гуляет, крыши долой рвет.

Конечно, кто испоколенно трудится на промерзлой и белой земле, тот так свою жизнь поведет, ему не до скуки. За работой нешто скучают? За работой само дело спорится и весело. А работу ты везде найдешь: и в аду найдешь, коли обживешься, а не то, что тут, среди снегов и теми в большую зимнюю пору и кратких белых, как день, ночей с незакатным весенним солнцем.

Ну, а так человеку пришлому, да еще подневольному заключевнику, чужаку, ссыльному скучно.

Скучно — белый снег — пустынно.

Хорошо на возрасте лет для души в пустыне пожить, подумать.

Да опять же без работы никак и в пустыне не справиться, и как пить дать, с лестницы-то спасительной вот-вот скувырнешься.

Сами старцы богоугодные, уходившие доброй волей в пустыню, прямо говорят, что в пустыне без работы жить невозможно.

«Там уныние находит, — говорят старцы про пустыню, — и печаль и тоска велика».

А в наш возраст — голоус и думать нам да раздумывать не о чем было.

Еще не было у нас в жизни ни белого дня, ни красного солнышка, ни блеклой луны, ни частых звезд, ни глухой вещей полночи, — надо было добыть их.

Еще ничего мы в жизни не сделали — дело нам делать надо было, не покладая рук, силы расточать свои ради достоинства человеческого, землю строить, людей смотреть да себя не в дураках показывать.

И так худо — безвременно, да еще и дела никакого — совсем плохо.

Сами видите, и как осудить человека, коли другой раз не выдержишь да и поддашься бесам Винокуровым, — на удочку его попадешь.

И скажу в осуждение, эта дурацкая участь не миновала ни единого из нас: все мы так или этак, а в каверзных лапах его побывали.

И один только, старейший из всех, Костров Федор Иванович, человек учительный и верховой, стоял твердо на страже неприкосновенно.

У всякого грешки водились, ну, человеческие, по слабостям душевным и телесным, а что касается Федора Ивановича, его ни в чем не попрекнешь.

И потрудился он немало на своем веку, с народом на народе пожил, сам поучился и другого уму-разуму научил.

И живи он одиночно, был бы большой прок для него и в сем нашем житии пустынном: по лествице-то спасительной исхитрился бы куда подняться и, трудясь, за год дошел бы даже до «рассмотрения дел и рассуждения».

Да беда в том, что не одиночно жил он, а с нами — нас орава неприкаянных вечно на глазах у него: тот клянчит, другой жалуется, третий нюнит, пятый беснуется.

Зрителем да безгласным наблюдателем он по совести своей никак не мог оставаться, вот и хороводился с нами. И за нашим назоем уж о своем-то ему, о душе, подумать и часу за день не доставало, и разве что в ночи.

За год заключенной жизни снискал себе Федор Иванович всеобщее уважение.

И сам Сократ Димитриевич Гусев, исправник, если что надобно было — выходило ли какое распоряжение от губернато-

ра, либо по собственному какому своему наказу, — вызывал, бывало, из всех одного только Федора Ивановича. И наоборот, если случалось заключенное какое недоразумение, шел к исправнику за всех ссыльных Федор Иванович, всех нас отстаивая и выгораживая.

И на почте доверенность Кострова стояла высоко.

Писем получал он со всей России и сам часто писал и во все края земли русской, и по этим письмам почтмейстер Запудряев доподлинно удостоверился, что Федор Иванович человек правильный. Да, кроме того, по собственному же признанию Запудряева, Костровы письма доставляли ему большое развлечение и сердцу сладкую отраву.

Федор Иванович кореня костромского, и речь его округлая.

И как станет, бывало, в красный угол под вербу, — власы поджелты, брада Сергиева, — умилишься, глядя.

«Эх, — подумаешь, — Федор Иванович, отец родной, да стоять бы тебе в старчестве, проводить житие в пустыне среди полей и лесов Богу на послушание, человекам в научение. Какие там цветы цветут, а какие колокольчики любимые! Жить бы тебе в пустынной келье у березок — белых сестер благочестивых!»

Нет, Федор Иванович в миру жил, с нами, Федор Иванович хотел устроить жизнь нашу совестно. С малых лет от житий угодников, хранителей милосердной Руси, запала ему в душу эта совестность.

Федор Иванович в миру жил и, делая дело прямое и полезное, видимое и понятное на сей день с его бедой и горем, несправедливостью и бессовестностью, и, как всякий из нас, ошибаясь и плутая в выборе средств устранить этот тягчайший «сей день», никогда не забывал от пустыни заповеданное — «совестное».

Он помнил, храня свой пустынный завет, что лишь «отречением» и «жертвою» подымается духом человек для совершения дел, направляющих жизнь нашу спутанную, и своими домашними житейскими средствами — враждой и ложью — не распутываемую, бедовую.

Так в задушевной беседе сам он мне однажды признался, когда я ему о пустыне — колокольчиках его любимых, да о березках, белых сестрах благословенных, мысли свои вслух говорил.

Кстати сказать, эти белые березки не раз мирили его с Винокуровым: от сорока ли сороков московских, либо по дару своему чуял Винокуров тайное слово земли русской с ее белыми печальными березками.

В заботах о нас проходила жизнь Федора Ивановича.

Ему хотелось собрать нас беспастушных, растерявшихся в безвременной жизни заключевной среди дебери печорской о бок с медведем да Ягой Ягишной.

И тут немало досаждал ему Винокуров.

Как-то на Святках, наткнувшись на озорное обнажение Шведкова и прочее содомское бесстудие, отряс он прах от ног своих и уж больше к Винокурову ни ногой не наведывался.

— Семь бесов!

3.

Прошли Святки, прошла пора золотого венца, понаехала на маслену самоед с оленями да с оленюшками, — и весною повеяло.

Как почернело вдруг небо над белым снегом — я никогда не видал такого черного неба над таким белым снегом! — да как завыло в лесу — ой, не Яга ли Ягишна: окрещу окно скорей! — ударили к службе по-великопостному, помянулось на сердце о Пасхе и все помирилось.

— Скоро Пасха!

И все семь седмиц прошли мирно.

Что-то не слыхать стало о Винокуровых оплешничках, — ни разу, кажется, за весь пост не обнажали Шведкова, хоть и таскался Шведков к Винокурову по-прежнему языком почесать, и сам итальянский язык на время оставлен был, а Штык несчастный без итальянского понемножку приходил в себя. Или и сам Винокуров не такой сделался?

Заглянешь к нему: все сидит у окна, смотрит на черную тучу, с белобокими разговаривает — сорочьё у него под окнами так и прыгает.

Или и впрямь, и не только в Чистый понедельник, а и во весь пост бесу скучно!

Федор Иванович загодя зашел к Винокурову, вместе идти на заутреню в собор к Стефану Великопермскому.

Все на нем было по-праздничному и только не умудрился подстричься.

В нашей печорской дебери ни цирульников, ни парикмахеров, а стриг городовой Щекутеев: весь пост собирался Федор Иванович к Щекутееву, да что-то так и не собрался.

— Позвольте, Федор Иванович, — у Винокурова так глаза и загорелись, — я вам не хуже Щекутеева поправлю.

Другой бы раз Федор Иванович, может, и подумал бы, даваться ли? — но тут, под Пасху...

— Так с боков разве немножко! — поглаживал Федор Иванович свои водоросли.

И откуда-то точно под волшебной палочкой появился одеколон, вата и пудра, — этого добра у Винокурова всегда водилось, — и само собой ножницы — большие, редакторские для газетных вырезок, и кургузые — ногтевые.

Только бритвы не доставало.

— Ничего, — утешал Винокуров, и больше себя, чем Федора Ивановича, — я вам ножничками чище бритвы сделаю.

И еще что-то нахваливает ножницы, несвязно как-то, а сам все поперхивается.

И вдруг на минуту исчез.

Не предайся Федор Иванович своему умилению пасхальному, и на дворе: метет, наверное, тут бы вот и спохватился, — время еще было.

Ведь, что говорить, выбегал Винокуров не за чем-нибудь, а просто напросто тихонечко выхохотаться: мысль о стрижке, — какую такую бородку смастерит он Федору Ивановичу? — занялась неудержимой игрой, не моргали бесы, все семь оплешников.

Зеркала стенного не было, печорская деберь не Париж, а было маленькое, стоячее, его-то и поставил Винокуров на стол прямо против Федора Ивановича.

И, хоть Федор Иванович никак себя поймать в зеркале не может, а все-таки сидит перед зеркалом, вроде как по-настоящему.

И все шло по-настоящему: подвязал ему Винокуров белое — занавеску белую, запихал под воротник ваты, щелкнул в воздухе редакторскими ножницами.

Был час девятый — в соборе у Стефана Великопермского ударили к Деяниям.

— В одну минуту!

И заработали ножницы.

«Хорошо бы поспеть к Деяниям!» — подумалось Федору Ивановичу.

— И к Деяниям успеем! — стрекотал Винокуров.

Работа кипела.

И под ножничный стрекот неугомонный кипели воспоминания о часах грядущих.

Винокуров припоминал свою московскую Пасху и, мыслью ходя по стоглавым векам, заглядывал в церкви и монастыри и часовни московские.

— У нас в Костроме, — сдунул волос Федор Иванович, — Деяния все до конца прочитают и начинается полунощница. И после канона, как унесут плащаницу, до слез станет и чего-то страшно.

— Игумен и прочие священники и диаконы облачатся во весь светлейший сан, — истово, как по-писанному, словами Иовского служебника выговаривал Винокуров под ножничный стрекот, — и раздает игумен свечи братии. Параклисиарх же вжигает свечи и кандила все церковные пред святыми иконами, приготовит и углие горящие в двоих сосудах помногу. И наполняют в них фимиама благовонного подовольну, да исполнится церковь вся благовония. И ставят один сосуд посреди церкви прямо царским дверям, другой же внутрь алтаря. И затворят врата церковные — к западу. И вземлет игумен кадило и честный крест, а прочая священницы и диаконы святое евангелие и честные иконы по чину их, и исходят все в притвор. И тогда ударяют напрасно в канбанарии и во все древа и железная и тяжкая камбаны, и клеплют довольно.

Винокуров забрал глубоко и из брады Сергиевой вытесывался помаленьку колышек под Мефистофеля.

— Выходят же северными дверями, — продолжал Винокуров, — впереди несут два светильника. И войдя в притвор, покадит игумен братию всю и диакона, предносящему лампаду горящую. Братия же вся стоят со свечами.

Время шибко бежало — Деяния окончились! — бегло бегали ножницы.

А еще только одна сторона бороды подчищалась, другая кустатая неровно кустела.

— По окончании каждения, — слово в слово выговаривал Винокуров под ножничный треск, — приходит пред великие врата церкви и покадит игумен диакона, предстоящего ему с лампадою, и тогда диакон, взяв кадило от руки игумена, покадит самого настоятеля. И снова игумен, держа в руке честный крест, возьмет кадило и назнаменает великие враты церкви, затворенные, кадилом крестообразно и светильникам, стоящим по обе стороны, и велегласно возгласит:

«Слава святей и единосущней и животворящей нераздели-мей Троице всегда и ныне и присно и во веки веков». И мы отвечаем: «Аминь». Начинает по амине велегласно с диаконом:

«Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи, и сущим во гробех живот дарова!» — трижды. И мы поем трижды.

«Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его». Мы же к каждому стиху «Христос воскресе» — трижды. И скажет высочайшим гласом:

«Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи!» — и крестом отворив двери, ступит в церковь. И мы, поющие за ним, подхватим: «И сущим во гробех, живот дарова!» И тогда ударяют напрасно во все древа и железная и тяжкая камбаны и клеплют довольно, — три часы!

— Три часы, — протянул за Винокуровым Федор Иванович.

И как в ответ внезапно ударило — ударил из темной воли пасхальный колокол и покалился.

И катился над белым снегом разливной — вестница-туча! — пасхальный, над снегом, над лесом, над Ягиным домом, над медвежьей берлогой.

И катился — колокол за колоколом — по белым снегам за Печору к Железным воротам за Камень.

Не трыкнув, запрыгали ножницы —

Федор Иванович поднялся.

— Федор Иванович, еще немножко! — чуть не плакал Винокуров.

Оставалось и вправду немножко: левая сторона совсем была готова и только с правой все еще кустики грязнели.

Кустики срезать — и делу конец.

— Сию минуту! — чуть не плакал Винокуров.

Федор Иванович опять уселся.

Но если и у нас в Пассаже, у нашего придворного Орлова, где и бритва и сам автостроп действуют, и то не одну папироску выкуришь, дожидаясь очереди, а ножницами — ножничками только с первого взгляда пустяки: отрежешь волосок, за ним другой, за этим третий, — а ты попробуй-ка волосок за волоском, да и не как-нибудь, а начисто, да и свету такого нет, одна лампа — одна лампа не обманет темную пасхальную ночь.

Молчком трудился Винокуров.

Время бежало, минуты летели, летели, как ветер — дед безрукий.

Ветер — дед безрукий — летал за окном: разбудил его пасхальный звон.

— Ничего, ничего, еще успеем, — утешал самого себя Винокуров, — ризы долго меняют, у нас, в Толмачах сто риз батюшка на заутрене переменит.

Федор Иванович сидел под ножницами, на себя не похож.

— Ничего, ничего, — утешал его Винокуров, — кто пропустит и девятый час, да приступит, ничто же сумняся, ничто же боязся, и кто попадет лишь в одиннадцатый час, да не устрашится замедления: велика Господня любовь! Он приемлет последнего, как и первого!

Федор Иванович сидел на себя не похож.

Ус его необыкновенно тонкий и длинный, и если не поднять его кверху, что-то вроде печенега получается, а поднимешь — Мефистофель.

И притом бородка.

И уж когда зазвонили к обедне и, наконец-то отвязал Винокуров белую занавеску, прошелся пуховкой, сдунул волос и так навел зеркало, чтобы можно было посмотреть, Федор Иванович увидел себя, — свой ни на что непохожий образ.

И безнадежно замотал головою

— Что это! — безнадежно потягивал он себя за бородку. — Не понимаю.

— Ничего, колышек!

— Колышек?

Федор Иванович стоял, на себя не похож.

Волей неволей, а пришлось усы кверху поддернуть, — пусть уж лучше Мефистофель, чем печенег, — ничего не поделаешь.

Винокуров ему и закрутил их, на кончиках тоненькие, что мышиный хвостик.

И вышли на волю.

В соборе у Стефана Великопермского звонили к обедне.

Хлопьями снег летел, несло и мело.

И в крещенской крути со звоном, с железом и тяжким кампаном выла метель, завывала отчаянно —

— Воистину воскресе!

НОВЫЙ ГОД

1.

Снежный был новогодний сочельник.

Весь день тихо летели снежинки, — конца не видать. Пришел Васильев вечер, принес темь. И в темноте без пути шел снег, засыпая дороги и крыши и городьбу.

Было тепло. Так в февральскую распутицу бывает тепло.

В запушенных окнах горели огоньки. Тиририкала где-то одноголосая гармонья. А на колокольне поверх жилья с оттяжкою звонили ко всенощной. Ветер мешал звонить, уносил звон в поле да в белый лес.

Винную лавку заперли.

Сиделец с ключами пропал в снегах: больше не проси — ни вот столько не даст!

У покачнувшейся убогой избы копошилось лохматое и взъерошенное, а из распахнутой двери белый валил пар.

— Фекла, паскуда! — гудел запекшийся мужской голос.

— Не пущу, говорят, не пущу! — с воем в ответ визжала баба.

— Фекла, будет, говорят тебе, слышишь...

— У, окаянный, разорвала б тебе харю твою поганую, голова твоя занавозная!

— Заткни глотку, Фекла, слышишь, не в комнатах орешь, слышишь!

— Рвань ты коричневая, рвань полосатая! Пялить бы тебе пугалы свои дурацкие... Ишь, барыни! Да наплевать мне на твоих барынь! Не допущу я срамоты на себя.

— Ну, не пойду, слышишь, и на черта мне Маркса, не пойду! — Сдался было сапожник, да видно, шило кольнуло куда, развернулся и ну колошматить.

— Душат!!! Черт! — взвизгнула баба.

И закувыркалось лохматое и взъерошенное.

Не звонит колокол ко всенощной, замолчала одноголосая гармонья, тихо на улице.

В окнах огонек подергивался краснотою, сочась сквозь снеги тихо на улицу.

Не тявкает Лайка, дремлет пушистая собачонка в пушистом снегу, и только не спят ее вострые уши да тоненький нос.

Кудрин, закутанный в огромную шубу, весь в снегу пробирался среди снега: вышел он из дому, когда чуть еще померкал день, обошел город десятки раз и теперь опять возвращался домой.

Новогодний ли канун — Васильев вечер, или пустынность и глушь и без конца дорога пробудили в нем память о других годах и другом городе.

Там было не так, в те годы.

Застроенность города, живые, движущиеся улицы, фонари, экипажи, суетня, сутолока, спешка на всех парах, а над всем одна мысль — вся душа его пронизана была только одною мыслью: он хотел все по-своему сделать, хотел завоевать какую-то волю и дать ее людям.

Да, там было не так.

С зарею подымалась в нем мысль о воле — зари там не видно, и замирала с зарею — зари там не видно, и ночью будила его. В книжках, в театре, даже в опере — музыка — он искал ее образ.

Так проходил год за годом.

Не улегалось сердце, не остывала горячка. Не было буден, не было ненужных, докучливых минут. Шибко и гордо бились минуты, час за часом, год за годом.

И та, которую он встретил, представлялась ему вечною спутницею до последней минуты. Так повелось: в конце того пути, на который тогда ступил он, стоит столб, на столбе перекладина, — награда и венец. И какое было бы счастье тогда умереть! А кончилось — попал сюда, в эту пустынность и глушь.

Налево пойдешь — много верст один снег.

Направо пойдешь — много верст один снег.

И, вспоминая те годы, Кудрин вспомнил первую встречу, ночь, когда он провожал ее из театра. Ему стало тогда вдруг ясно, что он всю жизнь свою только и искал ее, только и думал о ней, и казалось, что и она в ту же минуту то же подумала.

Или ему это только показалось тогда?

И клялись на всю жизнь: они вместе — у них один путь — и умрут вместе, никогда не забудут, не оставят друг друга.

« А может быть, и умерла»...

Кудрин схватился за карман: в кармане на донышке в истрепанном синем конверте хранились ее письма. Давно, три года назад, в первый год ссылки, он получил от нее эти письма...

А теперь он ничего о ней не знал, и жива ли она или умерла, он ничего не знал.

— Забыла!

Весь в кулачок, он сморщился. И одиноко было и холодно. И забился бы он в снег и плакал бы... Странно ему: он когда-то уж все это пережил. Да, гулял он с нянькой, отстал от няньки и заблудился. А потом его хватились. Нет, не все так: на нем теперь огромная неуклюжая шуба и позвать некого.

«Ай, ай, ай, какой он смешной! — смехом протягивается из глуби сердца нехороший голос, — какой он смешной!»

Но ему уж нет дела, какой он: смешной или не смешной — ему все равно. И если бы сию минуту мир провалился или — пускай мир в тар-тарары летит — ему ничего не надо.

«Ай, ай, ай, какие говорит он глупости!» — смехом протягивается из глуби сердца нехороший голос.

«Свобода! — заливается смехом нехороший голос, — какая свобода!» — и, трыкнув, острой слезинкой шпыняет сердце.

Кудрин стоит на дороге и, кажется, весь он не больше горошины, тоньше соломинки, а шуба на нем гора горой.

Беспомощно глядит он вокруг, а позвать некого.

«Ай, ай, ай, какой он смешной!»

2.

Дом Пятновой, в котором жил Кудрин, стоял особняком, прямо под ветром на берегу.

Дурная о доме идет слава.

И веселые красные занавески в окнах хозяйской половины настраивали на игривый лад. Впрочем, как водится, всякий, говоря о Пятновой, считал нужным плюнуть и выругаться, а шепотом сказать такое, отчего слюнки текли. Такой уж подлец человек, большего с него и не спросится.

Зимою в доме жутко, без огня вечером зря не шатайся: то в баню волк затешется, а то и еще какой грех — и укокошат спьяну и надругаются, за этим в карман не полезут.

А ветер свистит, освистывает дом, выворачивает с реки белые широкие полосы — белые лыжи, подымает столбом на небесную высь и, закалив в поднебесном холоде, пускает вьюжным гребнем на землю, ледяными зубами расчесывает белую землю до пара, до черной плеши.

Солнце такое красное после долгих сумерек выходит на масленицу из морозного дыма, как из жаркой бани, и наступает весна.

Пройдет лед, пробудится лес, зацветет берег, заалеет остров, и над землею белая раскинется — медная ночь. Белый — медный свет все обнажит, прогонит всякую тень, и, Бог знает, что только не скажется в этой белой медной ночи.

Чарую весну сменит знойное лето, а за знойным комариным летом настанет ясная осень.

Летит золотой лист, краснеет брусника, и из полей в лес перебираются змеи и уходят в землю, тешится Леший последние дни, — и ему приходит черед провалиться сквозь землю и до весны не показываться. «Колесом дорога!» — закричат ребятишки, провожая гусей. Ну, кричи не кричи, гуси не услышат, не остановятся, зимы не задержат.

Ночь обтычется частыми звездами, постелется белый путь, займутся девичьи зори, затрясет ветер голыми ветками, станет баюкать. В доме свет зажигай!

И веселые красные занавески надуются в покосившихся пятновских окнах.

Налево пойдешь — много верст один снег, направо пойдешь — много верст один снег.

*

Пятновскую дверь отворил Кудрину ссыльный, наборщик Козел.

Кудрин поскорее протер очки.

— Там такое творится, все глаза залепило, даже до... слез.

— А я давно поджидаю вас, Андрей Петрович, — подмигивая единственным глазом, семенил юркий и вертлявый Козел в валенках, — жду, а сам думаю: и куда это могло занести вас в такую пору? Почта пришла, перечитал все газеты, мне, сами знаете, Андрей Петрович, все пригодится.

Кудрин поставил самовар, приготовил все, что нужно, к чаю.

И уселся к столу за газеты.

Козел, не умолкая, тараторил.

Козла не любили. Всякий день слоняясь из дома в дом, Козел рассказывал одну и ту же историю о своей тюремной жизни, и как болят у него глаза, и что поделывают остальные товарищи. Работы у Козла не было, подходящего к его ремеслу ничего не могло найтись в городе, — одна слава, что город, а любое село просторнее! Никаких книг и газет не издавалось. Но Козел не мог примириться. Не пропуская ни одной газеты, он вечно критиковал их, разбирая по косточкам все тонкости печатного дела. И было так, будто завтра же он начнет свое дело на удивление не только этой норе дьявольской, но и всему честному миру. Жил он не один, а с женою. Жена его — портниха, как ни как, а без работы не сидела. Ну, а ему что делать? Дома болтаться, только мешать, вот и, знай, шатается. Козла не любили.

— Я вам скажу, Андрей Петрович, по истинной правде, — тараторил Козел, — все они, с позволения сказать, свиньи. И чем они заняты? Им бы только пьянствовать. Кирилл с Феклой чем свет за драку принимаются. Казаков шашни завел со здешней учительницей: удавиться хотел. К жене помогать девочка ходит, девочка рассказывала, сама видела. Подумайте, Андрей Петрович, пошел Иван в сарай, отстегнул себе помочи, да на помочах и стал прилаживаться... Хорошо еще, вовремя захватили. Тоже и компанию водят! Нечего сказать, хорошая компания: телеграфисты, писаря и так гулящие. И я, как старший, я не могу сказать слова, не могу остановить? Больно видеть, Андрей Петрович, я в тюрьме двадцать два месяца высидел, глаза лишился...

Правда, другие ссыльные находились в лучших условиях, чем Козел.

Слесаря и сапожники скорее могли найти себе заработок, но выпадавшие на их долю заказы были так незначительны, возиться с мелочами не было охоты. Все больше грошовые починки, которые под стать разве мальчишке, но никак не мастеру. И мастера сидели, сложа руки. А сидеть, сложа руки невозможно. Ну и бывал грех, запивали на последние. Все это трезвый Козел принимал к сердцу, а еще раздражала его и та непочтительность, с которой относились к нему.

— А интеллигенты! — перекосился Козел, — Бирюков знать никого не хочет, его вон и дома никогда не застанешь, тоже и Ревякина... Да нешто можно так: я, как рабочий человек, и потому, значит — *толпа*. Да какая же я толпа, сами посудите?! — Козел петушком прошелся по комнате, — раз я толпа, Андрей Петрович, я — же все: и дурак, и негодяй, и скотина... Жене тоже за кофточку второй месяц не платит.

Кудрин бросил газету, — он хочет сказать Козлу, что все это неправда, Ревякина никогда так не говорила, и деньги за кофточку давным давно заплачены, и стучит спичкою о коробочку и говорит глухо:

— А не скоро еще нам отсюда...

— Мне, как агитатору, — жеманится Козел,— сами знаете, Андрей Петрович.

Закипел самовар.

И понемногу стали подходить гости.

Кудрин собирался чем-нибудь занять новогодний вечер, выделить его из других вечеров, таких однообразных, с пересудами и переругиваниями.

Он выбрал небольшой рассказ Глеба Успенского и решил прочитать его гостям.

Он напомнит им о их прошлой жизни, вызовет их лучшие воспоминания, введет их в тот мир, где они раньше жили, и разбудит те мысли, которые их двигали и беспокоили.

И разве они не были правы? Разве их борьба не сама правда?

Они хотели жить лучше. Кто же не хочет жить лучше?

Они верили, добьются своего, победят *старый мир*, а на его место воздвигнут новый. И будет на земле — рай. Они глубоко верили, что будет на земле рай.

И не от одного же отчаяния обрекали они себя на голод и тюрьму и смерть. Они, не боясь ее, шли к ней: пусть их телами она задушит этот старый мир и сама задохнется, а из крови их возникнет новый и бессмертный мир.

Кудрин читал рассказ.

Рассказ мало подходил к его мыслям.

Но ему казалось, именно словами рассказа он и передаст всю свою душу.

«И может быть, в этой борьбе за новую бессмертную жизнь таится бунт против того железного закона, которым раз навсегда положено человеку здесь лишь мечтать о рае земном и никогда не увидеть. И почему я должен пресмыкаться и в награду за мое рабство только мечтать? Кто положил закон? Зачем положен закон? И разве нет силы снести с земли эту твердыню и рассеять ее? А если нельзя, где же свобода, где искать воли? Нет, он верит, есть воля: человеческою жертвою, человеческою мукою земля возьмет свою волю, свой бессмертный рай!»

Кудрин слышал свой голос, но этот голос был не его, а чей-то повелительный и грозный, — ее голос, той, которой он клялся, и которая ему клялась, что и умрут вместе, и никогда не забудут, не оставят друг друга, и которая забыла его.

Она забыла его, а он не забыл и не может не повиноваться ей.

Он поползет за нею, и будет просить, не смея сказать, просить только глазами.

— Да, человеческою жертвою, человеческой мукою будет побежден старый мир и настанет новый бессмертный — рай земной!

— Был у нас один сапожник Флотов, — сказал не громко, но внятно сапожник Казаков Козлу, — колбасу Флотов любил до страсти. И Флотов тоже говорит, будто рай действительно будет и самый настоящий вроде огромной повсеместной немецкой колбасной: и ешь, и нюхай, сколько влезет.

— В колбасных ловко пахнет! — прищелкнул языком Козел и, отвернувшись от Казакова, закрыл свой единственный глаз.

— А еще был у нас такой Лаврун, — не унимался Казаков, — хоть что хочешь, сделать мог, смерть ему не страшна, отчаянный. Вот и вышел у нас спор, кто в какой храбрости отважный? Он и говорит: «Хотите, говорит, я вам сейчас нагишом в муравейник сяду и, не пикнув, высижу ровно четверть часа?» «Ан,

говорим, не сядешь!» «Ан, говорит, сяду!» Лес-то у нас рукой подать. Вот мы и отправились. Нашли муравьиную кочку, муравьи так и кишат. А Лаврун, хоть бы лоб перекрестил, прямо и плюхнулся в кочку. И они его, поверишь ли, как есть всего выели, сам я после осматривал. А ему хоть бы что, оделся да и домой. Только после почесывался.

— Конечно, — отозвался шорник Лупин, — муравей не бумажка...

И кто-то, не удержавшись, громко захохотал.

Кудрин продолжал чтение.

Он ничего не видел вокруг себя и ничего не замечал, что творилось в комнате, — он видел ее: она одна стояла перед ним такая, как тогда, когда он ее встретил в первый раз, когда они клялись друг другу, что умрут вместе и не оставят и не забудут друг друга.

Комната между тем набивалась гостями.

Это уж не свои, а с хозяйской половины завсегдатаи — пятновские гости.

Дверь в комнату Кудрина была не заперта, и вот какой-то один пятновский зашел полюбопытствовать, а за ним другой пятновский, а за этим и третий пятновский.

Сначала все было тихо. Но потом от тесноты, должно быть, хоть кричать не кричали, кудринского чтения вовсе не стало слышно.

Комната дымилась.

По полкам и потолку лез табачный дым и медленно спускался на пол грудою окурков.

А гости все прибывали, не свои, с хозяйской, пятновские.

Уж в комнате свободного местечка не было.

Чьи-то руки, отделенные от туловища, висели в увязающем дыме и слипались друг с дружкою и разлипались, и нога выскакивала из дыма и, лебезя, все ходила кругом по комнате, да подковыривала.

И вот палец кривым толстым ногтем принялся водить Кудрину по книге.

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут, милостивый государь?

Но Кудрин все еще читал, отгоняя от книги назойливый палец, как муху.

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут, милостивый государь?

И шаршавое что-то погладило руку Кудрина.

Кудрин отдернул руку.

И книга упала под стол.

— Я вас где-то встречал, милостивый государь, — тянул спотыкающийся голос.

— Вы господин Кудрин, позвольте с вами познакомиться, я — Пундик!

Кудрин оторопел.

— Я ничего не понимаю, — сказал он Пундику.

— А я все понимаю, я — Пундик, паспортист, и все это ерунда.

— Вот, вот видите, — загородил Пудника Козел, — вот она компания!

— Вы, как хозяин, — тянул спотыкающийся голос, — эту ночь веселей... проведемте, друзья.

— Это черт знает что! — слесарь Гаврилов обозленный, поднял кулак.

— Ура! — заорали, — ура!

Должно быть, пробило полночь, — новый год.

Хлопали пробки, булькало, пузырило.

Чокались.

Руки без туловища потянули Кудрина к столу, — за дымом туловище не было видно.

Кудринский стол был весь в бутылках. Натащили гости, не свои, пятновские.

— Обязательно, как хозяин, с новым годом!

Тыкали Кудрина со всех сторон, тыкая в рюмку, будто кота в молоко.

— Андрей Петрович, а Андрей Петрович, — подчивал Кудрина сапожник Кирилл, — это мое приобретение, Фекла принесла, сам коптил, сам солил.

— Яичка-с, яичка-с, — латошил скользкий писарек с крысьими усиками.

Кудрин не сопротивлялся,

— Колбаски, Андрей Петрович, а Андрей Петрович, сам коптил, сам солил.

В глазах зеленело. Подкашивались ноги. И отшибало память.

— Может, нам продолжить чтение? — спросил он с растерянною глупою улыбкою.

— Черт с вами, лучше уйти отсюда! — слесарь Гаврилов треснул пивной стакан об пол.

— В сарай! — захихикал захмелевший Лупин, — туда тебе и дорога.

— Во пиру была, во беседушке... — завизжал пьяный старушечий голос самой Пятновой.

Гости расступились.

Старуха Пятнова не ходила, а сигала посреди комнаты, размахивая сулеей во все стороны. И наплясывая, — прямо на Кудрина, — зацепила его незанятою левою рукой и, проливая водку, полезла целоваться.

— Во пиру была, во беседушке! — визжала старуха. Кудрин не сопротивлялся и, как ни противно, поцеловал пьяную бабу.

Но ей мало показалось, — она хотела еще, еще раз.

И липкий, беззубый ее рот тыкался в его губы, она старалась прикусить его и подержаться, а ее лягушачий ошпаренный водкою язык норовил послаще всунуться...

Хохот перебивал крики.

— Ай да бабушка!

— Андрюшенька, а Андрюшенька, — хрипела старуха, — ух, хвостом пройдусь, сверлит, тело пры-ает, ух! да во пиру была, во беседушке!

— Андрей Петрович, а Андрей Петрович, — жужжал на ухо сапожник Кирилл, — сам коптил, сам солил... варененькой... копчененькой колбаски немецкой.

— Я вас обидел, раз-дра-жил! — хватал Кудрина за руку потный телеграфист, — я, можно сказать... мы пришли без позволения... чтение послушать... как какие-нибудь свиньи-нахалы и тому подобное.

— Ну что ж, что старуха, — кричал кто-то, словно прося о пощаде, — я знал одну старуху, караул закричишь, вот какая!

— Дохлая кобыла.

— Сам-то ты дохлый.

— Я стыда не знаю, — хрипела старуха, — с какой стати Богу молиться? Я — старуха?!

И пожимая плечом, Пятнова снова зацепила Кудрина и молодецки, будто в двадцать лет, чижиком закружилась с ним по комнате.

Кудрин старался поспевать за старухой, выделывал невероятные прыжки, подпрыгивал мячиком и только одного хотел: удержаться и не упасть.

«А может быть, он просто мячик, а все остальное — недоразумение? Очки у него запотели, и ничего он не разбирает. Только один рот, сжимающийся, как резинка, летает у него в глазах, старухин красный, ошпаренный водкою беззубый рот».

— Али скачет, али пляшет, али прыгает, — причитала старуха, приговаривала, — пойдем, Андрюшенька, в баню, уж пойдем со мною в баню!

Но не выдержала старая нога: со всего размаха грохнулась старуха, а на нее Кудрин.

И кокнулась сулея, — брызнув, полилась водка по полу.

— Я вас обидел, можно сказать, безобразный труп ужасный, я раз-дра-жил? — хватал Кудрина за руку потный телеграфист.

Кто-то бросился на хозяйку. Откуда-то появилась веревка. Стали веревкою скручивать пьяную старуху.

— Сволочь, целую бутылку, эка сволочь! — завязывали узел.

— Охо-хо, перепелястый черт! — стонала старуха. Кудрин брыкнул телеграфиста каблуком и поднялся.

Очков на нем не было.

*

Накинув плащ,
С гитарой под полою...

— затянули хором.

И один голос визгливый взял вразрез всем голосам, и оттого стало Кудрину мутно и душно.

Затиририкала гармонья.

Старуха, со связанными ногами, ползала по полу на цепких руках и плакала.

Ударились в пляс, в пьяный безалаберный пляс, так что и ноги и руки бултыхались, егозя под самым потолком.

С Козла стащили куртку и штаны.

В одних валенках, скрестив руки, семенил он от печки до полки, залихватски заводя ногу за ногу, как заправский танцор.

И было так, будто плясала одна его валенка с черною бородою об одном глазе, и глаз подмигивал.

А перед Козлом не плыла, а скакала Фекла, жена сапожника Кирилла, подбирая высоко вязаную юбку, и так скалила зубы, будто кусать сейчас кинется.

Шерстяные вязаные паглинки на толстых ногах ее заполняли комнату, и непреодолимо тянуло поймать ее толстую ногу и ущипнуть.

В кучке, у полки с книгами, разместившись поудобнее, тишком кусали упившемуся шорнику Лупину пупок для отрезвления.

И кто-то сопел и захлебывался.

А руки без туловища тащили Кудрина к столу выпить.

— Вы, можно сказать, как хозяин... с новым годом!

— Я, — Пундик, — икал паспортист Пундик, — я все понимаю, я — Пундик.

— Сам коптил, сам солил... это мое приобретение.

Накинув плащ,
С гитарой под полою...

— снова затянули хором. И один голос визгливый взял вразрез всем голосам.

И среди топотни и визга длинный с рыжею бородою навалился грудью на гармонью.

И гармонья хряснула.

А слесарь Гаврилов, развернувшись, ударил рыжего по голове — и молча стал бить его и по голове и по лицу.

И слышал Кудрин, как тоненько заревел рыжий, словно ребенок, тоненьким голоском, жалобно:

— Хочешь, я тебе всю рожу раскрою, хочешь?

Тоненький голосок наполнил всю комнату.

— Я — Пундик, — икал паспортист Пундик.

И проливая рюмку, жаловался, что он все понимает, и что нет для него ничего непонятного, потому что он — Пундик.

Веселая девица из пятновских, ударяя кулаком по столу, растроганно объясняла полицейскому писарю, что жить ей тут невозможно, и что она уедет в Австралию.

— И пущусь я в путь дорогу прямо в Австралию.

Кирилл и Фекла на четвереньках друг против друга упрекали друг друга в измене.

И еще веселые девицы, тоже пятновские, ни на что не похожие, барахтались на кудринской кровати: и не то смеялись, не то рыдали.

Кудрину вдруг захотелось взять перечницу и поперчить всю комнату, — всех новогодних гостей.

Но перечницы, как ни шарил, не мог найти, и в досаде ткнул каблуком, будто нечаянно, сначала Кирилла, потом Феклу.

— Я вас обидел, я вас раз-дра-жил? — хватал Кудрина за руку потный телеграфист.

А старуха со связанными ногами ползала по полу на цепких руках и плакала.

А за старухою, вообразив себя связанным, ползал Козел без всего в одних валенках, и подмигивал единственным глазом.

3.

Знать, надоела гостям кудринская комната. Погнал их хмель на улицу.

На улице метель мела, оснежала окна, птицею заглядывала в трубы, обваливала кирпичи.

У Кудрина темно в комнате.

Но он не мог успокоиться.

За стеною все пищала одноголосая гармонья, тяжелый каблук дробно выбивал по полу. Дверь поминутно отворялась: кто-то, шарахаясь, бродил по комнате, сбивал со стола бутылки, натыкался на стулья и тыкал в Кудрина пальцами.

Все горело: подушка, кровать, воздух.

Хоть бы каплю ему холодной воды, один глоток холодный.

— Попить! — просил Кудрин, как малое дитё.

И вдруг холод сковал его, а душа ушла в пятки.

Показалось, что у него не две, а целых пять ног, он их все пять ясно почувствовал.

И онемевшею рукою стал пересчитывать: пересчитал один раз и другой раз и не может понять, откуда их столько, и онемевшей рукой пересчитывает.

А какой-то нехороший голос точит, стыдит его за его пять ног, точит, стучит маленьким красным язычком прямо под сердцем.

— Попить! — просится Кудрин, как малое дитё, — попить!

Но никто не слышит его.

— Свинья! — отрыгнулось в ответ под кроватью мертвое тело и, широко зевнув, захрапело, поскрипывая зубами.

А он уж больше не может ни слова выговорить, он забыл все слова и не помнит, чтобы знал их.

— Агу! Агу! — только и может, как грудной, проагукать.

И лежит он пластом и водит руками, ощупывается, пересчитывает свои пять, целых пять ног...

— Агу! Агу!

И только.

По-другому он не может позвать, да и позвать некого.

А за стеною пищала одноголосая гармония, тяжелый каблук дробно выбивал по полу.

И звонили в церкви к ранней обедне. Далеко в поле относило колокол. И уж по хлевам скот договаривал свой ночной новогодний разговор по-человечьему. Так всегда под новый год скот разговаривает по-человечьему.

И пробуждался белый дневной свет такой же метельный, как метельною прошла ночь, вставал новогодний день и торопился прибавиться на куричий шаг.

Востроухая Лайка, проспавшись за ночь, лаяла на ветер.

— А там еще спи не спи!

БЕБКА

1.

Долгая зима ушла, такая вьюжная, опоясанная студеным льдистым северным сиянием. Всю зиму вьюга засыпала снегом, и снег лежал, погребая и лес, и реку.

Дом, где я жил, чуть виднелся, и только клубы пугливого дыма говорили о жизни. И в доме было тихо по-зимнему, лишь изредка постукивал молоток, да визжала дратва у моих соседей.

Теперь весна, такая нетерпеливая, северная.

Каждое утро дверь в мою комнату сначала вздрагивает, потом немного поддается вперед. И наконец приотворяется.

— Бубука пусти, пусти Бубука! Бу-бу-ка! — слышится настойчивый голос.

И входит маленький толстенький мальчик или в сером халатике, или в красной рубашечке и синих штанишках.

— Бубука, сделай мне пищик!

— Какой пищик?

— Как у парохода!

— Не умею я пищиков делать.

— Так я тебе пищик покажу.

— Ну хорошо, только не теперь, после, я сейчас занимаюсь.

— А ты надень пальто, шапку, застегнись и идем, а потом и занимайся.

Я ничего не отвечаю, я стараюсь сосредоточиться на моей работе и строю сурьёзное лицо.

Бебка отошел от стола.

Бебка ползает по полу, собирает лоскутки цветной бумаги и бережно свертывает бумажки.

— Ты что там делаешь?

— Конфетку делаю маме, она съест. Вчера мне дала мама много-много больших конфетов, а тебе не прислала!

— Отчего ж не прислала?

— Я тебе сам принесу, когда приедет папа.

— А скоро папа приедет?

— Скоро.

Бебка влез на стул и долго глядит на цветы:

— У тебя, Бубука, цветов много?

— Много.

— И желтых?

— И желтых.

— Дай мне один цветок?

Я вынимаю из стакана цветы.

— Вот, бери, Бебка, все и поди погуляй, а после я пищик тебе сделаю.

Как у парохода?

— Лучше, чем у парохода, иди и погуляй.

Бебка берет цветы и, роняя их по дороге, уходит.

В открытое окно мне долго слышится голос — это Бебка поет вроде песенки:

Бубука все цветы отдал!
Бубука все цветы отдал!

Снова принимаюсь за работу, но ничего не выходит.

Мне видится Бебка: он роняет цветы и поет...

Не проходит и часа, снова за дверью голос.

Бебка быстро подбегает ко мне:

— Бубука, на тебе! — и вынув изо рта замуслеванную конфету, подает ее мне.

Я делаю вид, что сосу.

— А теперь давай!

И отобрав у меня конфету, Бебка идет в соседнюю комнату, где работают сапожники: Иван Онуфриевич — Длинный и Петр Андреич — Рогатый.

И у сапожников повторяется то же самое.

— А теперь давай! — настойчиво требует Бебка свою замуслеванную конфету.

Я опять принимаюсь за работу, но ничего не выходит.

Мне все видится Бебка: в одной руке у него замуслеванная тоненькая конфета, в другой цветы, — он роняет цветы и поет:

Бубука все цветы отдал!
Бубука все цветы отдал!

2.

Или зима обернулась?

Или весна устала греметь ручейками и выводить на свет желтые бебкины цветы?

Стало холодно.

Утром серебряный тонкий покров лег на нежную озимь, а коричневые волны с белыми, как груди чаек, гребнями мечутся от берега к берегу, под крики стального вихря, прилетевшего с тундры.

Бебка скрылся, больше не показывается.

Случайно я проходил мимо дома, где живет Бебка, и в окне увидал его: он по-зимнему играл в комнатах с ребятишками, в своем сером халатике и в высоких с резинами калошах, надетых на чулки.

А сегодня, когда вихрь улетел, и солнце, играя, пошло собирать стада пушистых облаков, снова вздрогнула моя дверь.

И вошел Бебка.

— Ты где это пропадал?

— Пчелов ловил.

— А я тебя видел!

— Где ты видел?

— Я в лесу тебя видел, да ты не узнал меня. Ты меня совсем забыл, Бебка. А ну-ка скажи, как меня зовут?

— Бубука!

— А еще как?

Долго молчит Бебка, потом хватает меня ручонками за шею, лезет ко мне на колени.

И шепотом на ухо говорит мне на нос:

— Иседи — бу-бука.

Так по-своему переделывая имя Алексей на восточное сказочное «Иседи».

Пароход идет!

Вижу его из окна: далеко мелькает, словно серая льдина.

Все бросаю, спешу на пристань, первый пароход после долгой зимы.

Дорогою попадается Бебка: он в длинном пальто со штрипкою ниже талии, на голове пушистая синяя шапка блином, с пампушкою посередке.

— Бубука, пароход идет, возьми меня с собой! И мы беремся за руки и бежим на пристань.

На пристани Бебка усаживается на перила лестницы.

Долго ждем. Наконец, пароход подплывает и пронзительно ревет.

И во все время Бебка вытягивает губы — тоже старается за пароход.

— Ну, Бебка, поедем к самоедам?

— Сам поезжай, а я не поеду!

Бебка таращит глазенки, словно бы хочет еще увидеть что-то.

— Тогда пойдем домой, больше уж ничего не увидим.

Медленно взбираемся на берег.

Бебка поминутно оглядывается: не уйдет ли пароход обратно. По реке скользят лодки.

Чайки кричат.

— Как пройдет пароход, — говорит усталым голосом Бебка, — ты беги, Бубука, беги!

После обеда пришел Бебка и, молча, стал.

— Здравствуй, Сака-фара!

— Сам ты Шака-фара! — недовольно ответил Бебка.

— Что это ты губы-то распустил, ишь какие они длинные у тебя, словно у Агаги какой! Побил тебя кто?

Бебка молчит.

— Ты не обедал?

Бебка молчит.

— Чаю хочешь?

Бебка молчит.

— Вот что, Бебка, пойдем-ка да заснем. И я с тобою лягу, расскажу тебе страшную сказку!

И беру его на руки, и несу на кровать.

Делаю ему долгую-долгую козу и сороку с холодненькой водицей и, дуя, грею животик, но он не улыбнется.

Я закрываю глаза и начинаю посапывать, будто заснул.

— Бу-бу-ка! — тихо говорит Бебка.

— А! Это ты, Бебка, а я думал, Агага пришел!

— Ска-зку!

И начинается сказка древняя пермская о лисе и мерине:

Когда-то в старину жили-были мерин да лиса, жили они дружно, приятелями, в лес ходили...

— На пароход ходили?

Бебка зевнул и затаращил глазенки.

— И на пароход ходили, вместе спали после обеда и цветы собирали желтые, пищики делали.

— Как у парохода? — сонно спрашивает Бебка.

Личико его розовеет, губки надуваются и оттопыриваются.

— И вот случилось раз, не стало у них хлеба, а есть хочется. Мерин говорит: «Лисенька, лисенька, давай жребий бросим, кто кого съест?» И стали кидать жребий. Кидали, кидали, упал жребий: мерина съесть. Мерин говорит: «Иди ты, лисенька, ступай к волхву за ножом!» Ушла лиса и стала петь...

Но Бебка спит.

Я тихонько слезаю с кровати. Но недолго спит Бебка. Просыпается вдруг: испугался, — весь мокрехонький!

И заплакал.

3.

Хмуро, холодное утро.

Все северные реки тронулись, и идет лед к Студеному морю. Оттого, должно быть, и хмуро, и холодно, и река посерела, и дождь пошел мелкий, осенний.

Я сижу у окна.

Ветер протяжно гудит.

Вдруг вижу Бебку: он стоит на берегу, подсучил себе до колен штанишки, глядит в даль реки.

— Здравствуй, Бебка! — кричу.

— Бубука! — звонко отвечает Бебка, — пароход пришел?

— Не знаю. А пищик?

— Свистульки у меня нет, ты сделай мне, Бубука!

Я принимаюсь делать свистульку.

Делаю для Бебки и забываю хмурое холодное утро.

— Я тебе цветов желтых принес! — вбегает ко мне Бебка, расстегивает штанишки и вытаскивает измятые одуванчики.

Я беру цветы, застегиваю ему штанишки.

— Ну, а теперь, пойди лучше к Ивану Онуфриевичу, я сейчас занимаюсь, Бебка! Кончу, я тебя позову.

— Тогда я к тебе никогда не приду!

Бебка недоволен, ворчит и отправляется к соседям, к Ивану Онуфриевичу — Длинному и Петру Андреевичу — Рогатому.

Из соседней комнаты до меня доходит такой разговор:

— Ты козла содрал, Рогатый? — спрашивает Бебка.

— Содрал.

— Пищит?

— Сейчас запищит, слышишь?

И Рогатый начинает пищать.

— Мама говорит, заяц у нас убежал с кашей.

— Я его съел! — замечает Длинный.

— А козла?

— И козла.

Длинный входит в мою комнату, ставит два стула, вешает на стулья нитки и начинает мотать.

Бебка молча ходит за ним, помогает.

Если нитка путается, ждет терпеливо, пока Длинный не распутает узел.

Бебка работает!

Смотав нитки, сапожники сучат дратву.

А Бебка в длинном сапожном фартуке ходит с молотком по комнате.

Он заглядывает на полки с книгами и постукивает по корешкам.

— Эти мне нравятся, они хорошие, — говорит Бебка показывая на те книги, где наклеены разноцветные билетики, — а эти нехорошие, и почему книги не падают?

Бебка работает!

После долгой зимы, встретив неистовую невиданную горячую весну, я собирался уезжать, навсегда покидая дремучий Пермский край.

Догорал вечер, такой малиновый, лежал на тихой реке. Река устоялась. Уже по берегам зацветал шиповник.

Принесли ко мне Бебку проститься, — его укладывали спать.

— Простись с Бубукой, он больше никогда не приедет к нам.

Бебка сонный вытянул губки.

И вдруг увидал он на моем столе собранные в кучку пестрые речные камушки.

— Что это, Бубука?

— Это мне кушанье на дорогу.

— Отдай мне!

— Ну бери, тебе на память, Бебка.

Бебка сразу оживился, собрал все камушки в шапку и заторопился домой.

Но когда хотел надеть шапку, камушки посыпались на пол, и захныкал.

— Иди-ка, Бебка, спать, все камушки принесу тебе. Ну, прощай, Бебка, прощай!

И Бебку унесли.

А я остался один с камушками, да и те теперь не мои, Бебкины.

КАЗЕННАЯ ДАЧА

1.

Время приспело весеннее. Не хотелось дома сидеть, тянуло бросить все и идти.

И уж как завидно было тем, кто мог бросить все и идти.

Василий Пташкин, человек с обязанностями, связанный по рукам и ногам жалованьем, мог, пожалуй, только помечтать о таком блаженном состоянии, да и то не без раздражения. Работы, как нарочно, с каждым теплым днем прибывало. И часто с утра до позднего вечера приходилось просиживать ему в полутемной, прокуренной конторе над премудрою книгою счетов и расчетов с повторяющимися изо дня в день цифрами и записями.

А смысл этих пташкинских цифр и записей заключался в том, что без них не могло существовать дело, не могла ходить фабрика, а без фабрики не мог держаться город, а, следовательно, и его жизнь, как одного из тысячи тысяч винтиков городской машины.

Но какой был смысл всей этой городской машины и Пташкиной винтовой жизни?

И неужели в борьбе за завтрашний строго-размеренный несвободный день?

Или за освобождение от каторги этого завтрашнего дня?

«А если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго-размеренного несвободного дня, то какой был смысл того свободного дня, который в конце концов все-таки будет завоеван и должен прийти?»

Ни спрашивать дальше, ни отвечать не мог Пташкин, просто сил не было.

Дневная жизнь, наполненная от часа до часа обязательным трудом, явственно сказывалась и в закрывающихся усталых глазах и в том охватывающем глухом сне, который без милосердия валил Пташкина на кровать и держал до утра, когда каторжный день уж снова протягивал губастые лапы, чтобы, впившись в своих невольников, высасывать силы и мысли и затыкать беспокойную глотку, требующую ответов.

К счастью Пташкина у него еще удерживалось то, что могло еще удержаться у невольника, душа которого под постоянным

гнетом: Пташкин еще видел смысл своей жизни в борьбе за освобождение от каторги назначенного ему судьбою дня.

Пташкин слыл за человека беспокойного и не подходящего к тому мирному жителю, скрипя и охая выносящему тяготы жизни и не знающему иной, кроме данной, маленькой и забитой, маленькой и скучной, которую если представишь невзначай, так скулы от зевоты треснут, и сердце сожмется от всей ужасающей ее бессмысленности.

«Нет, лучше быть болотной жабой, зимою засыпать, а летом квакать, чем человеком, из-за какой-то затхлой норы и пустых щей век свой вечный сгибающим спину».

Так будто бы выражался беспокойный Василий Пташкин.

Да и на самом деле, Пташкин был беспокойный. Ведь это его совсем еще недавно посадили в кутузку за то, что толпился. Но при всем своем беспокойстве Пташкин был и весьма чувствительный, а вся его испитая фигурка весьма деликатна. Ведь, это ему барышни в письмах писали: Васечка — цветочек!

Вот почему всякий раз по весне, как прилетать птицам в родные леса открывать веселые дни, Пташкина захватывало на мечтательный лад и неудержимо тянуло за город от фабричных труб, суеты улиц, от этих булыжников, от которых каменели сами чувства, — бросил бы все и пошел...

Да нет уж, куда там пойдешь, куда идти Пташкину!

Нет уж, хоть бы так куда за черту города выбраться.

И будь у Пташкина хоть какая-нибудь возможность, он по примеру других, более осчастливленных судьбою, и как это ни глупо, а переехал бы на дачу.

Но так как и такой возможности не предвиделось, то оставалось Пташкину только мечтать и, мечтая, корпеть в городе.

2.

Был конец марта — теплая пришедшая с весною ночь. И черный горизонт чернее ночного беззвездного неба сулил дружное таяние и первые цветы.

Пташкин возвращался домой хоть и усталый, но весь уходящий, Бог знает, за какие черты возможностей и мысленно проходил по полям и лесам, через жаркие пустыни и топкие болота, к самому морю, которое, впрочем, знал больше по картинкам,

да во сне как-то видел. И когда достиг он, мечтая, но не моря, а закопченного, переполненного жильцами дома, где снимал комнату, какие-то люди так окружили его, маленького и невзрачного, словно был он опаснейший из опасных зверей, а после всяких никому ненужных формальностей и несообразностей обыска предупредительно усадили его на извозчика, и жандарм — спутник его добродушно сказал извозчику:

— За город, милый, на дачу, самая пора теперь на дачу, пошел!

*

Долго ожидаемый тюремный начальник, наконец, явился. Старик, видимо, давно уж улегся на боковую, и взбуженный, спросонья имел вид не то отчаянно-пьяного, не то угорелого, которому не только двигаться и делать что-нибудь, а просто тошно на свет взглянуть. И, выполняя предписанные ему инструкциями правила приема арестантов — осматривая Пташкины вещи и голого Пташкина и ощупывая Пташкина, он сопел и тыкался, а когда принялся записывать в большущую книгу, тоже установленную инструкцией, его морщинистая сонная рука сажала кляксу на кляксе и, не слушаясь здравого смысла, попадала как раз не туда, куда следовало, — и в графе поступления в острог стоял март месяц, а в графу месяца попал В а с и л и й П а ш к и н.

Окончив с грехом пополам всю чепуху приема арестанта, старик надел форменный теплый картуз и старую затасканную шинель и, не глядя, вышел из приемной, чтобы идти досыпать свой старческий сон, беспрестанно прерываемый и острожным днем и острожною ночью.

«Эх, — думал старик, — и есть же такие счастливцы, как полицеймейстер, спи, сколько влезет!»

«Эх, старик, старик, не в том дело!» — подзвякивали на его же собственных обузных сапогах его смешливые шпоры, нагоняя бессонницу.

Появившийся, словно выросший из-под земли, бородатый надзиратель в валенках повел Пташкина по лестнице через путанные коридоры в верхнее помещение и, помешкав у дверей камеры, принял от другого надзирателя жестяную лампу, привычно и легко, отпер камеру и, как скотину в хлев, впустил Пташкина.

— Сегодня из вашей только-что одного выпустили, гладкого из себя, пожалуйте-с! — поправился надзиратель, произнеся острожное пожалуйте-с.

— Клопов много? — спросил Пташкин, принимая лампу и зная по опыту, что о клопах спросить никогда не мешает.

— Попадают в щелях, известно, народу тут всякого пребывает много, напролом так и идут, спокойной ночи!

И, заперев камеру за Пташкиным, надзиратель пошел ходить по длинному коридору между спящих камер от окна к окну, загороженному лето и зиму крепкою решеткою.

«Эх, — думал бородатый, — и есть же такие счастливцы, как начальник, спи, сколько влезет!».

«Эх, бородатый, бородатый, не в том дело!» — подшлепывали его же собственные ворчливые расползающиеся валенки, нагоняя знакомый с детства лесной страх.

3.

Пташкин, оставшись один, внимательно осмотрел свое новое помещение — свою дачу.

По размерам камера оказалась просторнее всех комнат, какие приходилось ему занимать на воле. Видно было, камера не одиночная, а общая — душ на десять и, должно быть, предназначавшаяся для тех, кого собирались подержать подольше. Два высоких окна, обеденный стол, и если бы не огромные нары вдоль всей стены, смежной с другой необитаемой камерой — умывальницей, просто танцуй и дело с концом. И нельзя сказать, чтобы было нечисто, — деревянный пол заботливо вымыт, а тюфяк в углу нар такой тугой, словно бы не соломою, а мочалом набит. Лечь можно, да и как еще выспаться, а выспаться самая пора.

Пташкин разделся и лег.

И, мысленно пройдя все дни, слившиеся в один вчерашний день, и все вечера, собравшиеся в один вчерашний вечер, Пташкин принял всю начавшуюся свою острожную жизнь, как неизбежное и необходимое, что должно было рано или поздно наступить.

Но в душе его вдруг поднялся поперечный голос и задавил все уживающиеся голоса.

«Эх, и счастливые же, счастливые эти все там, за дверью, на воле!»

А ламповый огонек, среди глубокой ночи такой нестерпимо яркий, пробившие сквозь веки вглубь глаза, запрыгал изводящей, убегающей огненной точкой.

И Пташкину казалось, будто идет он куда-то, а огненная точка все прыгает перед ним и поймать ее — не дается, а уйти от нее — не схоронишься. И не огненная точка, а живое огненное существо кривлялось перед ним:

«А меня таки можно поймать, ну-ка — ну-ка —!»

Проснулся Пташкин, уж день начинался. Проснулся Пташкин от страха: приснились ему красные раки, будто ползут на него такие красные, как вареные, и явственно живые, и загребают клешнями, хотят его сесть и больше никаких.

Сон оказался в руку: вся подушка и простыня пестрели кровяными пятнами, но это были не рачьи загребущие клешни, а раздавленные клопы, и кругом тюфяка целая стая клопов, недовольно уползающая в темные и тайные, одному Богу ведомые норы и гнезда.

«Вот тебе и дача!»

Грязь и скорбь старой просиженной камеры при скудном свете, проникавшем через полузабитые пыльные окна, выступала во всей своей неприкрашенности, сиротливости и тоске подневольного приюта.

— Да, конечно, дача! — уже громко сказал Пташкин, вспомнив, как один хозяин-дачник клялся жалующемуся дачнику-жильцу на всякие дачные беспокойства и уверял всеми святыми, что дача без клопа, что птица без крыла, ничего не стоит.

4.

Там на воле уж так хорошо — все распустилось, река пошла, — так хорошо, что лучше и не могло быть.

Одна беда, ведь, там на воле всегда некогда, не было времени ни пройтись, ни книгу прочесть, а тут, на этой д а ч е, когда книга была пропущена, читай да читай, сколько влезет.

И Пташкин по целым дням читал.

И незаметно проходило его дачное время.

— Ну, что клопы?

Бородатый надзиратель, незаметно, как клоп, вползал в камеру. И книга откладывалась, начинались дачные разговоры.

— Ничего, понемногу покусывают, вот тоже блохи.

— Это оно, жи́лище-то ихнее, его надо заделать, тогда они сгинут. У меня на кухне завелись клопы, я их жи́лище-то и замазал, и хоть бы один, все пропали. Против шкурки их — от шкурки уж житья нет, ничем ты ее не выведешь. Вот прусак, тот кусает больнее, зато редко.

И бородатый вдруг, как прусак, пропадал.

Камера заперта. Пташкин один с книгою.

Под дверью Пташкиной камеры излюбленное место каторжан.

— И идет нас целая партия и все на восток прямо до Ядовитаго океана до города Ихняго, к которому нет приступа, а на север Кавказские горы станут, — повествует какой-то каторжник из своей каторжной географии.

— А Урал? — перебивает неуживчивый голос.

— Зачем Урал?! Урал, вон где, а Кавказ тут станет, а вон Ядовитый океан, всю землю омывает.

— А Херсон?

— Дура! Херсон под Киевом, Херсон на другом конце света. И идем мы, и сами уж не знаем, куда идем, лес за лесом, реку за рекою, море за морем, конца краю не видно.

Каторжная география путаная. Каторжная повесть долгая. И никогда бы не кончалась, и никогда бы не распуталась, если бы за мирною беседою не следовала непременная ссора.

И долго перекатывается под звон кандалов отборная русская ругань, и кажется вовсе не руганью, а полевою свирелью, свиреющей наперекор птичьим ладам и свистам в широких лугах у Ядовитого океана, омывающего всю землю у города Ихняго, к которому приступа нет.

— Кусают?

Другой уж безбородый надзиратель, незаметно, как клоп, вползал в камеру.

— Кусают, — вздрагивал Пташкин.

И книга откладывалась, начинались дачные разговоры.

— Сковырнуть надо это их жи́лище... Ты его лови, не лови, клоп жить будет, раз его жи́лище цело. Вот прусак, этот редко, а клоп... жить будет.

И безбородый вдруг, как прусак, пропадал.

Камера заперта. Пташкин один с книгою.

И оканчивался день.

Долго гремела молитва.

И не молитвенно — разухарской песнею, разухабистою погудкою катились по тюрьме последние слова —

крестом твоим жительством!

Наступал вечер. Запирались все камеры.

И только часовые ходили по длинному коридору между затихших камер от окна к окну, загороженному лето и зиму крепкою решеткою.

— Вот это, скажем, яйцо курица снесет в апреле, а другая в мае, ну так вот разные бывают яйца...

— А у вас давно куры несутся?

— Слава Богу, с Пасхи несутся.

Пташкин прислушивался, и ему казалось, не часовые под дверями разговор вели, а в щелях нар разговаривало.

В восемь велено было спать.

Пташкин ложился, но спать не спал, все ворочался, слушал, все прислушивался.

А там на воле уж так хорошо — поспевали красные ягоды, дозревал хлеб, — так хорошо, что лучше и не могло быть.

5.

Всякий день Пташкина водили на прогулку.

С прибауткою выводили Пташкина на прогулку.

— Без пяти минут пять, пожалуйте гулять! — сказал бородатый надзиратель и добавил, — в баню пожалуйте!

«Дача дачей, а все-таки не мешает и в город съездить, поразвлечься!» — вспомнился Пташкину разговор двух приезжих в город дачников, входящих на бульваре в отделение для прохожих.

Предстояло развлечение.

— Нынче в новую, — тряс бородатый бородою, — потому, как старую сломали, а находится она за стеною.

Пройдя через двор, Пташкин с бородатым вышли за ворота и свернули на огород вдоль острожной стены.

Среди гряд стоял шалаш. Это и была новая баня.

— Вы сюда, под рогожку, нагнитесь, сюда, вот так. Походная, лагерная, проход небольшой, вот так.

Пташкин, не рассчитав, ступнул слишком, — и попал в яму для стока.

И началось развлечение.

Извлеченный из ямы, Пташкин покорно разлегся на лавку. И заработал березовый веник.

— Пригнитесь, вытяни ноги! — кричал в раже бородатый, напаривая на смерть до смерти перепуганного Пташкина.

Хлеб насущный дашь нам есть!

Разухабисто неслась по коридору вечерняя молитва, когда, выпарившись, возвращался Пташкин к себе в камеру.

А в глазах у него мелькали и капустные гряды, и синее вечернее небо, и пчелы, опевавшие заходящий день.

И запертый снова, оставшись один в камере, где даже стенам опостылело стоять, Пташкин почувствовал вдруг, что читать он больше не в состоянии, не может он читать книгу, не понимает ничего, и пускай книга сама по себе вещь очень хорошая, но тут она противна ему, невыносима, совсем не нужна, и также почувствовал он, что больше не может спать и не отоспаться ему в этом проклятом логовище, в плену у какого-то всемогущего великого к л о п а, от которого все зависит, и его жизнь, и жизнь всей земли, омываемой Я д о в и т ы м океаном, с неприступным городом И х н и е м. Все, что угодно, только ни минуты здесь, ни одной минуты он не хочет оставаться.

И пускай лучше пристрелят его, но он уйдет отсюда, — он бросит все и пойдет.

— Эй, караул! — закричал Пташкин, ударив кулаком в дверь, и вся его жалкая фигурка заколыхалась от поднявшейся в нем силы, готовой разнести не только дверь, но и побольше.

— Чего вы кричите? — клопом вполз бородатый и невозмутимо смотрел на возмущенного, не унимавшегося Пташкина.

— Прокурор! Караул! — кричал Пташкин.

— Прокурор был и только что уехал на дачу.

— На дачу?

— Известно, летнее время, куда ж больше ехать. Все господа ездят на дачу, а прокурору казенная полагается, — бородатый ухмыльнулся и, желая, должно быть, объяснить разницу казенных дач, добавил с расстановкою, — это вот на вашей даче, ваш брат все в одном положении и лето и зиму, а господа только летнее время ездят на дачу. Спокойной ночи!

6.

Прошло лето, и осень. Осенью, как и весною, особенно тяжко за стенами. Началась зима. А Пташкин и вправду оставался все в одном положении на своей даче.

И дачная жизнь его была похожа на ту отупляющую, недачную жизнь его на воле, только вместо работы, под тяжестью которой мутились все его мысли, тут расседался он от праздности и тоски. Каторжный день сменялся ночью, ночь приносила убогий сон и, уходя с рассветом, передавала убогую жизнь каторжному дню.

— Если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго-размеренного несвободного дня, то какой был смысл того свободного дня, который в конце концов будет завоеван и должен прийти?

Ни спрашивать дальше, ни отвечать не мог уже Пташкин, — просто сил не было.

Одно желание, единственное наполняло все его существо: на волю!

И эта желанная воля везде одна стояла перед ним.

Она гляделась из глаз старика начальника, полицеймейстера, прокурора, она таяла в улыбках бородатого и безбородого, она разливалась лазурью по небу, она говорила в лесном шуме, она чирикала в воробушке, она сверкала и гремела в грозе, она цвела в цветке, она колосилась в травах, она подымалась паром с земли и, звездами вспыхивая в ночи, неслась над землею, везде она — одна она, единственная — воля.

— По местам! — закричал бородатый.

А безбородый с другого конца ответил:

— По местам, черти!

И тюрьма замерла.

Прокурор приехал: привез Рождественские инструкции.

Обошел прокурор камеры, напугал тюрьму. И, напугав, уехал.

— Пожалуйте, одевайтесь, в контору пожалуйте, господин Пташкин!

— Зачем в контору? — Пташкин туго соображал, посматривая сонными глазами на подтянувшегося надзирателя.

— Да уж видно с дачи уезжать пора, — бородатый играл ключами, — загостились долгонько!

Пташкин, не торопясь, собирал книги, и ему было все равно, тут ли оставаться в неволе, или там на воле, гулять в каторжном дне.

А неумолимый каторжный день поджидал у острожных ворот, чтобы, захватив губастыми лапами, высасывать силы и мысли, а потом искалеченного бросить, как бросал он труп за трупом и загнанных и гордых, — всех обреченных, не имевших силы бросить все и идти...

МУЗЫКАНТ

1.

Бородкин хотел петь...

Когда случалось ему бывать в концертах, он размахивал руками вслед за дирижером, а лицо его строилось под пьесы — гримасничало, особенно губы: то оттопыривались, то прикусывались, то расходились чуть не до ушей, а голова тянулась по сторонам, помогая музыкантам, подымался на цыпочки, пристукивал каблуком, раскачивался — из кожи лез.

Нередко видали Бородкина у витрин музыкальных магазинов.

Подолгу и сосредоточенно выстаивал он, рассматривая, нет ли новых, только что полученных нот.

А потом нехотя отходил прочь и шел по улице, сгорбившись, неровной, подплясывающей походкой, чему-то улыбаясь, от чего-то хмурясь, летом помахивая тоненькой тросточкой, а зимою счищая пальцами напорошенный снег с подоконников и заборов.

Денег у Бородкина не было, покупать ноты мог он только изредка.

И приходилось ему подчеркивать в каталогах те пьесы, которые хотелось ему иметь.

И каталоги — а у него их был целый ворох — пестрели разноцветными крестиками, кружочками, точками, чертиками.

Что-то непобедимо тянуло Бородкина к музыке.

Запоет ли под окнами шарманка, пройдут ли мимо солдаты с музыкой, так и подпрыгнет весь, — сердце ходуном ходит, битый час прослушает.

А потом затоскует: будто то, что рвалось в душе его и уж прорывалось, снова стискивалось и захлопывалось, и теперь разливалось точащей жалобой, — просилось выпустить.

Уродливо состроенный, — посмешище! — глубоко расходился он с тем, что чувствовал до боли близко, тут рядом с собою и перед собою.

И сознание своего уродства стесняло до смехотворности, особенно когда в первый раз входил он в незнакомый дом или проходил в театр, где было много народа.

Говоря, он путал, коверкал слова, заикался — и слушатели прыскали от хохота, наступал на ноги и на подол, — огрызались.

В детстве его дразнили.

А впоследствии нередко на улице прохожий так, зря, пускал ему вслед обидную остроту.

Когда жена его брата была беременной, его мать как-то сказала ей:

«Не смотри ты на эту уродину, нехорошо!»

И почему-то замечание матери глубоко врезалось ему в память.

И, несмотря на все свое стеснение, он всюду проникал в такие дома, где и рояли водились, и музыка была.

Бородкин хотел петь.

*

Был конец февраля.

Взрыхленные сырые улицы звенели под копытами и сухо лязгали под ненужными полозьями.

С крыш давно уж сошел снег, и по просыхающим желобам едва сочились последние мутные капли.

Переваливало к ночи, а небо все еще зеленелось, и только кое-где выглядывали крохотные звездочки, не зимние.

Прохожие женщины в легких кофточках с воздушными шарфиками проносились, такие нарядные.

С замиравшим сердцем подходил Бородкин к дому Сухановых, где уж несколько месяцев давал уроки и настолько освоился, что сам напросился петь.

К счастью, уроков оказалось мало.

По какому-то случаю учителя позабыли задать, — так объяснил ученик Бородкина Боря. И только была одна запутанная арифметическая задача, которую Бородкин второпях сделал алгебраически.

«Все равно, сойдет!»

И почувствовал он, как что-то огромное, звучащее, чугунный набор черных нотных значков навис над его мыслями и повторял на самое ухо:

«Пропой, Бородкин, пропой, пожалуйста!»

Предложили чай.

Но он отказался и прямо прошел в зал, где у раскрытого рояля горели приготовленные свечи, и на пюпитре лежали его любимые ноты.

Заискивающе полу-серьезно, полу-шутливо попросил он аккомпанировать.

Боря согласился.

И он уселся за рояль. Перелистал ноты, повторил слова, в которых всегда при пении чувствовал себя не твердым, выкурил папироску, выкурил другую.

Конечно, стесняться он не станет, гостей у Сухановых нет, правда, пришел Феоктистов, сухановский бухгалтер, но Феоктистов настоящий певец, вон он говорит: «Что-то сегодня голос у меня не звучит...» Феоктистов настоящий певец и все поймет, и притом же он какой-то невозмутимый, ничего не замечает.

«Но отчего Боря не идет? Сказал: сейчас, а не идет... Позабыл. Нет, нарочно... Конечно, нарочно!»

Бородкин принялся, неумело и, путаясь, подбирать мелодию.

Бородкин хотел петь.

А в столовой пили чай, смеялись.

Потом, должно быть, заслышав игру, вспомнили о Бородкине, задвигали стульями.

В зал вошел Боря и с Борей Феоктистов.

Боря уселся за рояль.

Но как всегда, как только дело доходило до пения, Бородкин петь не решался, он откашливался, он все мычал какую-то свою неопределенную первую ноту.

И только после упорных поднукиваний, пение началось.

Пропустив высокую ноту, Бородкин сдавленно взял, наконец, следующую, более низкую, но так тихо, почти шепотом.

Феоктистов невозмутимо прослушав несколько тактов и, видимо, желая помочь, принялся подпевать.

И сильный его голос наполнил весь зал.

Запел и Боря.

А Бородкин силился взять громче, брал громче — но все не так как-то.

И замолк.

Согнувшись, он закурил папироску и, деланно улыбаясь и разевая рот, как можно шире, чтобы не выдать своего молчания, посматривал то на папироску, то на ноты.

Кажется, и Боря и Феоктистов так сейчас вот и заметят его молчание.

А этого ему не хочется: ведь он может петь, у него тоже есть голос, он знает наизусть всю пьесу.

«Уходи ты подобру-поздорову, уходи, Бородкин, пожалуйста!» — долбит ему кто-то на ухо.

И он пускается напряженно подыскивать какой-нибудь предлог, чтобы выйти из залы.

И, пробормотав ни к селу, ни к городу, на цыпочках выходит в столовую.

В столовой ему предложили чаю.

Молча, уткнувшись в стакан, проливая, он пьет стакан за стаканом и, кроша и чавкая, долго и много ест, хотя ему совсем не хочется.

Он старается показать, что в сущности ему все равно: поет он сейчас или не поет.

А из залы, дразня, выплывали звуки такие большие, —

И как бы он все это исполнил! Он бы вот так это исполнил!

О Бородкине забыли.

В столовой никого, давно уж все перешли в зал.

«Хорошо, очень хорошо: они не заметили!..»

И жмурясь, Бородкин припоминает, как не раз по деланной его улыбке Боря догадывался, в чем дело, и говорил:

«Вам одному хочется петь?» — и улыбался, а глаза жалели, как жалеют слепых щенят.

Он вспомнил все вечера.

И те вечера, когда неизвестно почему его просили петь, но он упирался и все-таки начинал и на самом интересном месте останавливался... Почему он останавливался?

Он вспомнил все вечера.

И те вечера, когда, казалось ему, он был в ударе, волновался, но приходили другие, подпевали, заглушали его голос или ни с того, ни с сего настаивали, чтобы пел кто-нибудь другой... Почему другой?

Или у него голоса нет? Нет, у него есть голос, только маленький. Голос у него маленький, а хочет он петь по-большому. А хочет он петь по- большому потому, что любит музыку.

Почему же дана ему любовь и желание, а больше ничего?

Пение, между тем, расходилось.

Казалось, все предметы начинали звучать, — все предметы пели с Феоктистовым.

Бородкин вдруг приподнялся со стула и, мерно притоптывая каблуком, стал раскачиваться из стороны в сторону в такт музыке, а губы вытянулись и причмокнули, и пальцы запрыгали.

Пели стены, пело окно, пела весенняя ночь.

2.

Серо — холодяще-пыльное утро.

Дежурный городовой, заспанный, зеленый, позевывая. Без отдышки звонит телефон.

— Где дела о пожарных — вознаграждение медалями? Да, медалями. Не—ет —?!— надсаживается околоточный.

В полицейское управление вваливается нагруженный почтальон.

Седой стриженый старичок-писец разбирает пакеты:

— Это статья не нашенская, — бормочет себе под нос стриженый старичок, — не нашенская.

— Ваше благородие, — голос с заднего хода, — ваше благородие, третий месяц толкусь, явите Божескую милость.

— Ты Снегирев, — околоточный говорит на телефонный лад, — ты, Снегирев, иди в воинское присутствие, слышишь, там и подожди, подождать маленько не беда.

На заднем дворе заиграла шарманка.

Стучат, громыхают ломовики.

Тучи тупо ползут на солнце и, золотясь, грязные расплываются.

Немилосердно скрипит перо.

— Подождите, скоро приедут, — басит городовой, впуская просителя в приемную полицеймейстера.

Ударили по-постному к поздней обедне.

И звон в постный колокол выматывает душу.

«Должно быть, покойник, — подумал Бородкин, — а то бы давно пора кончить»!

И перевел глаза от пробитого матового стеклышка д в о р я н с к о г о п о м е щ е н и я на стену, оглядел ее всю и опять остановился на выскобленной надписи К у с к о в ф о к у с н и к и опять перечитал висевший под надписью розовый лоскуток афиши, извещавшей о заезжей опере, судорожно потянулся и, не зная, за что еще приняться, зевнул по-собачьи.

Соломенный продырявленный стул хряснул и закачался.

*

Бородкин припоминал все происшедшее с ним с самого начала, припоминал не только злополучный вчерашний вечер, окончившийся д в о р я н с к и м п о м е щ е н и е м, но и всю свою жизнь с самого начала и там в Петербурге, и в этом дырявом городе, куда занесла его нелегкая.

Так проходило время в ожидании полицеймейстера.

От полицеймейстера зависело: сидеть ему тут на противном стуле взаперти или гулять по опротивевшим улицам на свободе.

Бородкин пользовался славой хорошего репетитора; дети, которых он подучивал, переходили в следующий класс без всяких переэкзаменовок. О прошлом его мало кто не знал, и все относились к его н е б л а г о н а д е ж н о с т и не то, чтоб одобрительно, а с некоторым сожалением, как если бы у него в самую скверную осень единственное пальто украли, ну, как у Замятина украли. И он ходил на глазах у всех один не то кургузый, не то без пальто в промокшей прилипающей к телу одежде, и,

если даже погода стояла ясная, казалось, будто дождик его помачивает. Безобидный и никого не укусит.

И случись же этой проклятой опере, — залетела она чуть ли не с самого неба. Не послушать оперы, когда нет под боком даже солдат-музыкантов, которые на трубе играют, это все равно, что водить пчелу, а меду никогда не отведать.

Подыскав себе компанию из страстных любителей музыки, которыми в таких городах хоть пруд пруди, Бородкин заблаговременно взял ложу.

И сделан был уговор крепко, чтобы во время действия вести себя, как подобает: не подпевать и не разговаривать, а главное — и это пуще всего, — в театр не опаздывать.

Когда-то еще выпадет такой счастливый час — послушать оперу!

Но видно уж кто-то вообще этими нехорошими делами занимается, иначе и объяснить нельзя все те случайности, от которых не больно поздоровится.

Такая нехорошая случайность произошла с Бородкиным, а от нее уж и все остальное и то, что сидит он в дворянском помещении, ждет полицеймейстера, от которого зависит, сидеть ему тут на противном стуле взаперти или гулять по опротивевшим улицам на свободе.

Бородкин в театр опоздал.

Он явился в театр, когда занавес еще не подымался, но покато разделся, да пока отыскивал ложу, опера началась.

И дверь в ложу оказалась запертой.

Все-таки под дверью стоять невозможно, ведь он не виноват, его ученик задержал, Степанов третьеклассник — тупица, и часы у него на минуту отстали, он не виноват.

Попробовал постучать, но ответа не последовало.

И не будет ответа, потому что сам же он и уговор этот сочинил: ложу запереть и на стук не отвечать.

Опера была в самом разгаре.

А как пели, кажется, нигде не поют, и ни в одном, даже заграничном театре так не поют. Какой-то тенор выводил такую ерунду и так ловко, ну кажется, нет его выше во всем мире и ничего уж не хочется — вечно бы слушать или уж быть самому этим тенором и вечно петь ерунду.

До Бородкина долетали обрывки, дразнили.

А он, потеряв всякое терпение и наплевав на уговор, принялся из всей мочи дубасить, требуя открыть ему дверь немедленно.

Он не виноват, он пришел во время, он не виноват, что у него капельдинер пальто долго не снимал и что он близорук и сразу ложу свою не нашел, ведь он с четырнадцати лет очки носит, он не слыхал оперы вот уж пятый год, пять лет будет, как его сюда без его согласия в этот город впихнули, он долго в тюрьме сидел, ему должны открыть, он требует, он имеет право требовать...

«Пустите меня, слышите, отворите же, наконец, ведь это подло, понимаете!»

И руками и ногами и всем своим голосом требовал Бородкин и с таким упрямством и ожесточением, что на другом конце театра с другой стороны слышны были эти все настойчивее и упорнее выражавшиеся требования.

Между тем, приехал в театр полицеймейстер, и тотчас два пристава, придерживая шашки и нюхая воздух, направились прямо на беспорядок.

И, найдя беспорядок, оба одним голосом и одними и теми же словами принялись не без вежливости увещевать Бородкина прекратить бесчинство.

Они говорили не громко, но внушительно.

Они говорили:

«Послушайте — начальник полиции — не безобразничайте!»

А Бородкин, ничего уж не слыша и зажмурившись, колотил в дверь.

И вдруг затопали, закричали, — акт кончился.

И что-то вдруг с размаху стукнуло его в грудь, и он почувствовал, что ткнулся куда-то и летит, а ногу его кто-то крепко сжимает и, кажется, он перестал уж лететь, конечно! — дверь закрыта, а его волокут.

«Завтра разберем, — стучит над ним тенор-пристав, — начальник полиции, беспорядок».

И та же рука под долетающие хлопки поддевает его, будто рыбу крючком, и, закинув высоко, шлепает о твердое, и как сквозь сон, дребезжит пролетка.

Бородкина отправили из театра в часть, где он и провел ночь в дворянском помещении.

*

Бородкин, покачиваясь на дырявом стуле, не может подогнать время.

А время так медленно идет и упирается, словно не хочет дойти до той роковой минуты, когда приедет полицеймейстер.

«Да он, может, и не приедет? А если не приедет?»

И ухватясь за колени и крепко зажмурившись, переносится он туда, в Петербург, к тем дням, когда он ходил такой гордый, когда он оперы слушал такие — с Шаляпиным.

* * *

За дверью вдруг сразу все стихло.

И за окном тоже.

И в церкви не звонят.

И тучи не идут.

Только дребезжит одна единственная полицмейстерская пролетка.

Бородкин быстро поднялся и, вытирая вспотевшие руки, пробормотал осипшим голосом:

— Господин начальник полиции...

А выскобленный на стене Кусков фокусник — счастливый фокусник, скользнув по стене вместе с розовым лоскутком афиши, юркнул страха ради в окошко на улицу.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЛОЖКИ

1.

Третьего дня Певцова выпустили из тюрьмы.

Обегал он весь город, туркался по хозяйкам: просил сдать комнату, чтобы только дождаться решения своего дела.

И ничего не выгорело.

Уговорится, уж по рукам ударит, а как дойдет дело до паспорта, — крышка! — проваливай. Конечно, можно было ему и в гостинице поселиться. Да гостиница — не дом. Живо вытурят. На пятачок далеко не проедешь!

Уж эти теплые да сытые города с кулебякою, когда благополучно все, и трусливые, когда стрясется беда. С голоду подо-

хнешь на мостовой, под забором, — палец об палец никто не стукнет.

Решился Певцов идти к приятелю. Куда ни шло, может, и вспомнит, и дело на лад пойдет.

Приятеля застал он дома.

Сейчас же за самовар уселись.

Певцов нашел у Тюховых большие перемены: сгорел дом, и новый успели выстроить, Федор Петрович университет кончил, округлился, бабушка его занудилась.

Пили приятели самовар за самоваром на открытой террасе.

Терраса Тюховых по-чудному устроена — над крышей нового дома сделана была площадка с перилами, — вот какая терраса! Пили они чай до седьмого пота.

Мутные столбы пыли беззастенчиво носились внизу по городу и, распыляясь, проникали всюду. От того и на зубах хрустело, и щекотало в носу и мазалось по лицу и на руках, мешаясь с потом.

Вытягивая длинно жилистую шею и лихорадочно перекидывая из стороны в сторону тонущие глаза, Певцов выкладывал с малейшими подробностями и повторениями день за днем из своего тюремного времяпровождения.

Продолжительное молчание прикусывало ему язык, и слова захрясали в горле, а самая суть — то, о чем хотел рассказывать, — прыгала перед носом, поддразнивала и все увертывалась.

Федор Петрович поминутно кивал огромной лысеющей головой в знак одобрения:

— Я понимаю. Я понимаю. Я все понимаю.

— А выпустили меня — рассказывал Певцов, — при таких обстоятельствах, уму непостижимо. Полковник, который вел дело, чудак из чудаков. Привезут, бывало, тебя на допрос, заставит он свою дочь в соседней комнате на рояли играть, а сам допрашивает. Или начнет рассказывать, как накануне он в театре был и что видел. На чувствительных местах плакать примется. Поплачет, а потом подзовет дежурного, и опять тебя в тюрьму везут. А в последний раз привезли меня рано утром. И чем-чем только не пичкал он меня: и обедом, и вином угощал. А как завечерело, и говорит: «Хотите, говорит, со мною в летний театр идти?» «Хочу, говорю, отчего же!» Ну и пошли.

В театре народу битком. «Акт посмотрим, а там в тюрьму!» — сказал мне полковник и пошел к своему месту. И очутился я вдруг один среди тысячной толпы, ну совершенно один. Стоял я, как одурелый, хватался то за одно, то за другое: уйма предположений возникала в голове. Уже не то, что бежать хотел, куда! — давно, казалось, убежал, и вот стою, вернулся опять: поймали меня, нет, не поймали, а поймают сейчас. Спустили занавес, кончился акт, заиграла музыка. Вышел полковник. «Пойдемте, говорит, прогуляемся немного, а потом завернем на выставку, певичек послушаем, а там в тюрьму»! Гуляли. Народ расступается. Смотрит на нас. И вся толпа, будто один глаз, смотрит на нас. Обошли мы весь театр. Повернули на выставку. Тут я почувствовал, что ноги у меня подкашиваются, ослаб очень. Гуляем по выставке. Певички поют. И словно сквозь туман и резкие голоса, услышал я голос полковника: те же самые фразы, те же слова, что утром на допросе. А певички поют само собой, и музыка играет само собой, и вдруг полковник, оборвав на полслове, схватил меня за руку. «Идите, говорит, куда хотите, только скорее!» Я в толпу. Вижу, подходит губернатор. Спрашивает о чем-то полковника, указывает в мою сторону. Но полковник качает головой. Меня уже нет. Я иду. Поют певички. Кто-то говорит в мою сторону: «Смотрите, шпион».

— Понимаю. Я понимаю. Я все понимаю! — кивал Федор Петрович огромной лысеющей головой в знак одобрения.

Спокойно и безучастно носилась пыль, теплая, запыляя широкий горизонт и желтые поля, и лес.

2.

Все бы хорошо, живи у Тюховых, как у Христа за пазухой, одно горе — бабушка Тюхова одолела.

Ни днем тебе, ни ночью нет от старухи покоя: бурчит и бурчит.

Все не по ней.

И зачем жара стоит и дожди редки, и зачем мухи так жужжат и кусаются? И зачем поселился в доме чужой человек беспаспортный.

— Какой он такой, может, и фальшивые бумажки подделывает, путаник, — бурчит бабушка.

Сядут за стол, разговор один — о пожаре.

Случился пожар год назад, а до сих пор мучает бабушку.

— Господи, добра-то, добра погорело! Задуванило во флигеле, услыхал Федюша, да ко мне, а я дрыхну. «Бабушка, говорит, бабушка, вставайте!» — да в охапку меня, старуху, как дите малое, и вынес. Сапожки-то Федюшины новенькие, из Питера привез, мундирчик и все мои платьишки, какие были, ровно языком слизнуло. Господи, добра-то, добра погорело!

Федор Петрович сопит и, ровно кот, уписывает.

После обеда чай. Тут держи ухо востро: бабушка все замечает.

— Расходы пошли огромадные, обдерут они тебя, Федюшка, приятели-то твои ненаглядные, как липку... Сахару вот тоже нынче много выходить стало.

И так до самого вечера бабушка пилит, бурчит и охает.

И только когда отдыхать ложилась старуха, наступал тихий час.

Певцов выходил из дому, усаживался где-нибудь в тюховском саду и ждал ночи.

И ночь подплывала, стрекоча и вздыхая по-летнему.

Туман подымался. Гул города догрохатывал свою последнюю сутолку.

Что-то тихое незримо жило в сени дремлющих листьев под созревающими яблоками, словно наступавшая осень уж посылала земле своих первых вестников.

А ночь вся в звездах, принявшая и день с его заботами и работой, и вечер с его хмелем, текла манящая, вся в звездах.

«Ты шпион!» — вдруг будто говорил кто-то, закрытый ночью.

И целый рой мыслей окружал его сердце.

Опять выплывала тюрьма, все дни и все ночи в тюрьме, все допросы и все уговаривания чудака-полковника.

«А если однажды ты был уж готов выдать?» — начинал Певцов допрашивать себя.

И сам же отвечал.

«Нет, никогда».

«А если однажды ты подумал о том, чтобы выдать?»

«Подумал — однажды — Меня все выдали! Я никогда никого не выдал. Но однажды — Да, однажды я подумал».

«Ты шпион».

«Нет же, неправда».

«Подумать и сделать — цена одна».

Певцов робко подымался со скамейки и шел из тюхова сада, не оглядываясь, в тюхов дом.

Долго стучался.

И бесполезно.

Наконец выходила бабушка, заспанная, в широкой ночной кофте, в той самой, в которой Федюша вынес ее из пожара.

Отпирала бабушка.

— У! Путаники! Нет от вас покою мне ни в сем веке, ни в будущем, — ворчала старуха.

И Певцов на цыпочках входил в комнату, стлал на пол пальто и заваливался, чтобы только как-нибудь заснуть.

3.

В один прекрасный день в доме перевернулось все вверх дном.

Бабушка уехала.

Бабушки не было больше в доме, и некому было ни пилить, ни бурчать, ни охать.

То-то житье пошло.

По вечерам у Тюхова гости. Сиди хоть до утра, никто тебе слова не скажет.

И сидели гости до утра, засыпали пьяные, где кто попало, вповалку.

Не какое-нибудь пальто, а бабушкина мягкая перина часто в ходу была для ночлега.

Водки выходило, — не лезет, силом пей — вот сколько!

Все яйца, запасенные бабушкой на зиму, превратились в скорлупу, и скорлупа не убиралась, а сваливалась в угол.

Яблоки тоже поснимали и схряпали.

Яблоки и яйца на закуску пошли.

С полудня начиналась веселая жизнь.

В полдень вставали, дули чай, не обедали, а там приходил кто-нибудь.

Певцов обвыкал.

Угарные дни задавили хмелем и тошнотой всякий непрошенный голос, всякие изводящие допросы.

И подымался в душе смутный образ другой жизни, не тюховской, от которой голова трещит.

Только бы вышло решение по его делу, а там после приговора пойдет по-другому!

Так утешал себя Певцов.

И новая жизнь, другая, не тюховская, казалась уж близкой.

Впрочем, не раз все выворачивалось.

Следствие подходило к концу. Допрашивались для округления дела. И всякий раз, когда кто-нибудь из допрашиваемых отвечал уклончиво, чудак-полковник заявлял, нисколько не смущаясь, что стоит ему призвать Певцова, и вопрос решится немедленно:

«Певцов скажет всю правду».

Певцов редко выходил из дому. А когда выходил, редко не случалось истории:

то знакомый руки не подаст, то перейдет на другую сторону, чтобы не встретиться.

— Сколько вы получаете из полиции? — спросил один из привлекаемых по его делу.

— Шесть рублей, — ответил Певцов, не задумавшись.

Шесть-то рублей будет он получать, когда его сошлют. А теперь он ни копейки не получает. Почему же это он сказал так? Да сам не знает. И разве об этих шести рублях его спрашивали?

Пробовал Певцов кое с кем объясняться. Не помогло — еще хуже запутало.

Рассказывая, путался он и терялся.

А надобен был прямой ответ: шпион он, или не шпион, да или нет, и больше ничего.

И всегда, после пьяной ночи, Певцов не засыпал, а какими-то прожигающими словами, неумолимо допрашивал себя.

И, не находя вины, выдумывал себе вину, выскабливал ее из мелочей и навязывал себе на шею огромный камень — вину, которую человек не может простить.

И лишь белый день сшибал его с ног и валил куда-нибудь в угол в груду окурков, скорлупы и плевков на темный сон.

Но и в темном сне долбил его голос:

«Подумать и сделать — цена одна!»

От бабушки получилось письмо. Писала бабушка Федюше, чтобы дом берег, глядел за имуществом, а главное за серебром — покойного отца наследство, да за приятелем поглядывал бы: мало ли что бывает...

А Федюша давно уж заложил дом. Деньги понадобились на свадьбу: надумал Федюша жениться.

А тут и ремонт подоспел.

Как-то на рассвете застучали плотники молотками, и дом наполнился сиплыми и ахающими звуками отдираемого теса.

На стружках среди душистых опилок примостились приятели: надо было все обдумать и приготовиться к свадьбе.

Толки о свадьбе заняли время.

А для присмотра за домом наняли кухарку Нюшу.

Нюша скоро подружилась с плотниками. Пошел дым коромыслом.

Так весь Успенский пост хороводились.

Только после Успеньева дня Федюша уехал в пригородное село венчаться. Хотел и Певцов ехать шафером, да не пустил губернатор.

И Певцов остался один в тюховском доме.

Оставаться же одному в доме не было никакой возможности. Такой кавардак воцарился: не дом, а постоялый двор.

Певцов решил переехать от Тюховых.

Комнату теперь нашел он себе без всякого затруднения: подействовали толки о его шпионстве.

Уж эти городишки, запуганные и пришибленные, рады они всякой сволочи, лишь бы сохранить благополучие. Жулик ты, вор, но из-за тебя не посадят, из-за тебя не отымут твоей рухляди, — и тебя всякий примет.

Что произошло, когда вернулась бабушка, одному Богу известно.

Хватится старуха одного — нет.

Хватится другого — недохватка.

Вспомнила о серебре, толкнулась в чулан — замка и помина нет.

— Он, — кричала бабушка, — каторжник, другому некому, ограбил он меня, беспутный, ограбил окаянный... Матернина-то анисовка, цвет то какой был, все пожрал!

4.

На новой квартире в темной комнате с единственным окном в пристройку шли у Певцова дни ровные, чуть видные, серые, — серели и туманились в промозглом тумане поздней осени.

Не наступала другая жизнь. Словно выглянув, захрясла она где-то, и теперь, как запоздалая трава, билась и топталась дождем и грязью.

Думал Певцов: придет решение, сошлют его в другой город.

А оказалось, такие дела так скоро не делаются, ждать, да пождать надо немало времени.

Думал Певцов: оставшись один, он возьмется за какую-нибудь работу и уйдет в нее с головой.

И тут обманулся: такой работы не оказалось.

А та полоса, по которой раньше он шел, выскользнула изпод ног, затерялась и следов не отыщешь.

Или надо было, во чтобы то ни стало, найти потерянный конец, захватить его, уцепиться и тянуть во всю без отдыха, без раздумья, без оглядки: начать снова ту жизнь, какою жил он до тюрьмы или сложить руки и пригнуться под тем глухим молчанием, которое расплющивает всякое несокрушимое да и всякое неприступное н е т.

Певцов шел по скользкому дощатому тротуару под мелким тончайшей пыли осенним дождем.

Измокшие, приевшиеся глазу, дома сиротливо встречали его.

Он шел и думал о их жизни и сиротливой, и прихлопнутой, такой ненужной, которую следовало бы вытравить и выдернуть с корнем.

А взамен мелкой лжи, взаимной маленькой травли, гаденького злорадства знает ли он другую жизнь?

Назовет ли ее?

Скажет ли ее имя?

Вот придет решение, сошлют его в другой город, там он скажет —

Певцов вздрогнул: чем-то мокрым шлепнуло его по плечу.

Бабушка —

Бабушка Тюхова тычет зонтиком:

— Подай мне мое серебро, подай, бессовестный! Не оставлю я так, найду я на тебя слад, похитил ты мои ложки — серебряные ложки, покойного отца наследство.

Певцов молча переминался.

А бабушка кричала все о ложках, которые Певцов украл у нее.

Останавливались прохожие, глазели, хихикали:

— Ложки украл!

Мелкий тончайшей пыли осенний дождь сетился за окном, постукивал в окно и стерег, и подсматривал.

Со свечой рылся Певцов в своей рухляди.

Перетряхивал всякие тряпки, заглядывал в каждую дыру.

И складку.

Искал серебряные бабушкины ложки.

И какой-то голос долбил над ним:

«Подумать и сделать — цена одна».

ЭМАЛИОЛЬ

1.

Хлебников какой политик! — аза в глаза не смыслит. И если его фотографическая карточка попала в альбом политических и хранится в жандармских и полицейских управлениях по городам России, то ничего тут нет странного и все это в порядке вещей.

Освобожденный до приговора, Хлебников год прогулял на свободе. Когда же пришел приговор, — назначалась ссылка на север — его снова арестовали.

Идти по этапу манило его: тут он разберется во всем и скажет себе, как ему дальше жить?

И он никого не просил, не подавал никаких прошений, а как сказали, так и сделал: собрал кое-что из необходимого и с городовым отправился в тюрьму.

Начальник тюрьмы распорядился оставить Хлебникова в конторе, а не запирать в камеру: каких-нибудь пять-шесть часов оставалось до отправки этапа.

Начальник был очень внимателен, сам пересмотрел узелок Хлебникова: зубную щетку позволил, а зубной порошок запретил.

— Теперь пошел такой народ, живо под суд угодишь, — сказал начальник, — один ферт в прошлый этап ухитрился целый транспорт оружия провезти.

Хлебников заглядывал в окно.

Перед окном ходил часовой, и тут же, кудахча, ходили куры.

Часовой — старый знакомый и, как коза в сказке, поздоровался глазами.

Когда же начальник, пошуршав бумагами, вышел, часовой тихонько окликнул и, не глядя на Хлебникова, заговорил, будто рапортуя:

— Попутчиков из политических нет — всех с прошлым этапом прогнали, а с уголовными идет к н я з ь.

— Какой князь?

— Князь, — часовой закосился, голос его дрогнул, — никому не сказывайте: настоящий.

Старший надзиратель Илья Иванович спугнул часового.

— Пожаловали к нам неожиданно, — старший подал руку по-бабьи деревяшкой и плюхнулся на кожаный диван.

Старший был в хорошем расположении и, обыкновенно такой строгий и молчаливый, разговорился. Ему повезло: бросает тюрьму и переходит на другую службу — старшим городовым находиться в прихожей у губернатора. Должность хорошая.

— Трудно простому человеку в люди пробиться: всякий норовит тебе ногу подставить. Один Бог видит!

Илья Иванович ударился в воспоминания:

— Пошел я на ярмарку, на Успенье у нас ярмарка бывает, думаю себе: покатаюсь на каруселях, солдату и это в развлечение. Вот хожу я так около палаток и слышу: разговор такой идет подозрительный о политике. Прислушиваюсь: так и есть о политике. Туда-сюда, заглянул в палатку, а там наши — офицеры из нашего же полка это обсуждают, нехорошо. Я в часть: так и так, говорю, пойдемте. Тут мы их, голубчиков, и накрыли. Ну, а потом всех — под расстрел. Хуже последней собаки такой человек, и все женатые, дети маленькие остались — как дети-то помянут такого отца — ведь по миру дети пошли!

Илья Иванович сплюнул не то от удовольствия, не то от негодования.

А из-под белой, кругом подстриженной бороды так и заблестела, так и полезла в глаза большая золотая медаль — з а у с е р д и е.

— Подлецы народ, — продолжал Илья Иванович, — только в уважение к чину расстреляли, а повесить бы таких! Пусть бы себе поболтался. Хе! на повешенного-то и смотреть неприлично: так человек тот, с позволения сказать, и уж мертвый, а, как кобель самый рассучий, все в таком виде, неприлично.

И, полагая, что слушатель не раскусил весь позор виселицы, старший попросту непечатным словцом выразил этот позор и неприличие у повешенных и, рассолодев, понес всякую белиберду о каких-то правилах, выгодах и разницах — ни два, ни полтора.

И даже запел или так показалось, что запел, как когда-то певал молодым тонкоголосым солдатом сложенную в казармах песню:

Пахнет казенкой, пахнет любовью...

Хлебников дремал.

И заснул, как всегда в тягостные минуты, когда крепко наседало на его душу, и он терялся, не подбирая ни слов, ни действия на ответ.

Ему приснилось, сидит он будто в подвальной комнате, а с ним Мазуров-провокатор, и оба они, голодные, уписывают жареные сосиски, густо посыпанные красным перцем, инда на зубах хрустит. Вот заглянул он в окно: тучи страсть, гроза. И они поехали на вокзал. Ехали — тряслись, как бочки. А когда у подъезда вынул он кошелек, чтобы расплатиться, извозчик обругал слезавшего Мазурова: будто Мазуров, едучи, стянул у него из-под сиденья пирог. А на самом деле стянул у извозчика пирог Хлебников. И это взорвало Хлебникова: выхватил он кнут, нарочно закусил перед извозчичьим носом извозчичьим пирогом, да как жиганет извозчика кнутом, только искры посыпались. Ай, ай, — что он делает? Ведь это же не извозчик, это мальчик офицерский — расстрелянного офицера сын! Но кнут не соглашается, кнуту все равно, сын или дочь, отец или мать. —

— Пожалуйте в общую! — разбудил Хлебникова, будто из-за тридевять земель дошедший до него знакомый суровый голос.

Хлебников открыл глаза:

Илья Иванович тряс его за плечи без милосердия.

Час отправки этапа наступил.

По коридорам зажигали лампы, и входил в тюрьму уют жилья, сглаживая суровость стен и решеток.

Что-то семейное, простое и тихое выступало из-за крепко запертых дверей, и не верилось, что за железными дверями оканчивали кандальники свой постылый день.

В общей, куда в сопровождении двух конвойных отправился Хлебников, уж считали и проверяли пересыльных.

Каждый арестант подходил к начальнику, а конвойный стаскивал шапку с арестанта, переспрашивая, как звать и по фамилии.

В толчее Хлебников сразу узнал того самого князя, о котором таинственно сообщил часовой, князь стоял поодаль один и особенный, в длинном черном сюртуке и высоких воротничках.

Хлебникову показался он необыкновенно красивым.

Около князя кричали, но он не обращал никакого внимания.

И только когда конвойный взял его за руку, чтобы надеть наручники, он тревожно вскинул глаза — и тревога и нетерпение засветились в глазах.

Спор о порционном хлебе и дорожных деньгах, начавшийся после поверки, перешел в ожесточенную схватку, грызню и ругань.

Крик команды оборвал спор.

Арестантов выстроили попарно и, как солдат в баню, погнали из тюрьмы на вокзал.

Впереди шли в кандалах бритые каторжане, звенели цепями, за каторжанами просто уголовные в наручниках, потом пересыльные — рвань всякая.

Хлебников попал в самый конец, шел в хвосте с детьми и бабами.

Медленно подвигалось шествие нестрашное — любой пожарный в каске куда пострашнее — и все казались и жалкими и ничтожными — несчастными, и в голову не приходило, что среди этих смирных и покорных шли и такие, у кого руки в крови и грех на душе.

— Как тебя звать? — спросил Хлебников девочку-подростка, с которой поставили его.

— Вольга́, — ответила девочка, и слезинка, как звезда в вечере, мелькнула в ее вспугнутых глазах.

2.

Июльское утро красное.

Хлебников стоял у открытого решетчатого окна.

Было ветрено, и хлеб по полям падал, словно кланялся. И кому он кланялся? Не ему же, собравшемуся, как еж в свой игольный панцирь, и не битком набитому арестантскому ваго-

ну, зашевелившемуся после скрипучей, душной до тошноты ночи?

Вольга́ с взъерошенными волосами — девочка только что умылась — любопытная, цепляясь за решетку, засматривала в поле.

— А ты доктор? — спросила она Хлебникова.

— Нет, — ответил Хлебников.

— А я думала, доктор: в тюрьме ты все с книжкой ходил, мама и говорит: доктор с нами поедет.

— Я настройщик, музыку настраиваю.

— Настройщик? — переспросила удивленная Вольга́.

И так вдруг захохотала, словно бы чуднее имени отродясь не слыхивала и уже стала разговорчивая не по-вчерашнему, болтая и про то, и про се, что ни попадет на глаза и ни долетит до ее, как у зверка, острого розового уха.

Девочка шла в каторгу с матерью. Мать осудили за убийство: родного брата убила.

— Мама, как венчалась, — рассказывала Вольга́, — дядя был против, не хотелось ему. И как сели за стол, мама вдруг почернела вся и обмерла. Стали искать и нашли под веником три огарка, и все с концов зажжены были. Пустил дядя огарки на воду, мама и ожила. Мама мне сама рассказывала, как ее испортить хотел дядя. А потом лошадь у нас была хорошая и вдруг слезами плачет — захворала, чем-чем ни лечили, не помогло, — пала. И корова и теленок и все свиньи подохли. Стали искать, и нашли: на столбе в конюшне лежат в тряпочке обвязаны женским волосом лапки по локоток — три крысиных и три беличьи. А дядя все к маме пристает. Мама и согласилась. Пошла с ним за амбар да там и задавила его. Так ему и надо.

— Так ему и надо! — повторялись Вольгины слова да где-то там, под вагоном.

Но кому бы там быть под вагоном?

— На-строй-щик! А ты... кого ты убил? Настройщик!

Смеялась Вольга́.

Хлебников тоже смеялся.

Как странно: ему и в мысли никогда не приходило убивать.

И почему его спрашивают?

Поля волновало ветром, — падал хлеб, словно кланялся.

Вот крикнула Вольга́ по-птичьи, и скрылась.

Где Вольга́? Под лавкой? — Нет.

Да не в окно же улетела? — Нет.

— Вольга́!

У Хлебникова была открытка и огрызок.

Прилаживаясь, он стал писать — выходили вместо букв каракули и блошьи ноги.

Но это было неважно, только бы написалось.

А хотелось ему написать на волю, какая жалкая та жизнь, которая идет на воле по-прежнему, как вчера и третьего дня, и все-таки такая завидная, такая дорогая, дороже всего.

Хлебников передал письмо конвойному.

Конвойный по складам принялся за чтение. Выходило очень смешно. Конвойный подсмеивался.

И другие солдаты подхохатывали: уж очень смешно.

Молча отошел Хлебников от солдат. Едва протолкался к окну.

Окно облепили арестанты: всем хотелось посмотреть на город, к которому подходил поезд.

Вольга́ тоже карабкалась.

Какой-то рваный, безносый бродяга держал ее подмышки, — девочка визжала.

— Арестанты, эй, арестанты! — подбрасывая шапки, кричали на откосе пузатые ребятишки, как в царские дни кричат у плошек ура.

Поезд остановился.

И в вагоне поднялась давка. Достать кипятку и как можно больше, — вот что занимало всякого. Гремели посудой, кричали, столько рук протягивалось за кипятком, шпарились. Дело дошло до драки.

Часовые, охранявшие дверь — шашки наголо — унимали и уламывали и так и сяк: кулаком и шашкой.

— Ты мне голову проломишь, морда, одна голова-то! — оборонялся облезлый.

Старушонка-пересыльная тыкалась с чашкой — воды в чашке капля, все расплескалось.

— Как кот наплакал, — жаловалась старуха, вся засиверелая, клюквенная.

— Всем хватит, — утешал часовой, передавая чайник, — обопьешься, паскуда.

— В горле пересмякло, — хныкала старуха, расплескивая последнюю каплю.

*

Снова тронулся поезд. Поехали.

Вагон размещался. Словно за самоваром, так мирно и тихо.

В чем в чем, а в чаю да в хлебе вагон дружен. Уж не задирали и не ругались.

Странник в рыжей скуфейке, сам тощий, с козьей бородкой и в синих большущих очках, примостился в бабьем углу около баб.

Вел странник с бабами душеспасительную беседу, за словом в карман не лазил.

Странствуя, о. Михаил все святые места обошел: был и на святом острове Соловце, и в Иерусалиме и на Афоне.

На Афоне о. Михаил питался о с ь м и н о г а м и.

— Вроде копченой колбасы, один фимиам эти осьминоги, — о. Михаил сухо покашливал, — а еще был я и в Царьграде, а живет там русь, литва, ляхи, грецы, жиды; русь одесную, прочие же народы ошую.

— А турки, батюшка?

— Турки в изобилии по той местности не водятся, попадается какой и то больше из негодящих: сарацын. И бесчисленное множество в земле той всех благ и благорастворений видимых и невидимых: всякое деревцо цвет свой выпускает, и ель и сосна розаном цветут, на дубе же маврийском тюльпаны. А Москва-река там шире Волги...

Охали бабы.

Вот бы туда попасть, хоть на денек!

А на другом конце вагона шел другой разговор. Чай располагал, такой уж словесный напиток.

— Эмалиоль. Что такое э м а л и о л ь?

— Да ты толком рассказывай.

— Эмалиоль, — вступился конвойный, — это неприятель, как японец, в желтых морях живет.

— Нет, не неприятель, — взъерошенный перестал улыбаться.

Он готов сызнова рассказывать: авось найдется такой, кто скажет ему, к добру его сон или к худу.

— Эмалиоль, да, вот снится, будто почесалось мне в боку, стал я бок чесать и вырвал бородавку. Смотрю, а на бородавке

насекомое — вроде собачьей блохи — белое, шея длинная, туловище кольцами свернуто, с ногами, а на голове семь зубов, — ест бородавку. Я и говорю: «Бородавка мертвая». А сама блоха будто подняла голову: «Теперь, говорит, я умру». И стала вянуть. И говорит мне чей-то голос: «Имя насекомому Эмалиоль». Тут я и проснулся.

Слушатели прихлебывали чай, дули на блюдечко.

Никто ничего сказать не мог.

— Надо спросить князя, князь все знает, — отыскался, наконец, выход.

— Князю виднее, — подхватил вагон.

Князь тоже пил чай.

Кругом него стояло много народу. Не подступишься. Всякий с своим. Жаловались, просили защиты.

Древняя старушонка повеселевшая — на ее долю пришлось целых три чашки, да с верхом — приставала к князю жалостно:

— Заступись, кормилец, ваше сиятельство, спаси, родной, кровь нашу крестьянскую пьют, Шарыгин-староста от Покрова по миру пустил...

Хлебников едва протолкался.

— Что я для них сделаю, я такой же, как все! — князь подвинулся, чтобы дать Хлебникову место.

Но и Хлебников почувствовал, что князь не такой, как все, и если захочет, все сделает.

— На вечере я был в гостях, там меня и арестовали, не дали переодеться, — князь запахнул сюртук и улыбнулся.

И вот в улыбке его и сказалось все: почему так тянет к нему и все ждут от него чуда.

Кто он, за что арестован? — спрашивать не решались.

И ходили по вагону самые невероятные истории и задавались вопросы вокруг да около.

В бабьем углу душеспасительная беседа оживлялась.

Речь о. Михаила проникновенна, голос умиленный.

— Восстав Макарий зело рано, и иде сквозе пустыню и срете на пути беса, на камне сидяща, удом аки цепом некиим пшеницу молотящи. Искушеше, бес, преподобнаго, вопроси его: имаше ли сицевый? И изъем преподобный уд, бе бо велий зело, яко же досязати ему до пят. И возвратиться бес в место свое посрамленный, в себе дивяся бывшему.

— Так ему и надо!

— И сокрушени бяху врата адовы.

— Эмалиоль! Что такое э м а л и о л ь?

— Э-ма-ли-оль, ваше сиятельство, эмалиоль, — арестанты притиснулись к князю.

— А вот если приснится тебе: увидишь ты ноги у змеи, это к смерти, — зашамкала старушонка.

— Эмалиоль? Я ничего не знаю, — князь опять улыбнулся.

— Ваше сиятельство, одолжите папироску? — ледящий, ощериваясь, семенил как трактирный половой около кутящего столика.

Князь пошарил по карманам, но портсигара нигде не было: портсигар украли.

Жулик народ пошел, — заметил старик с позеленевшей бородой, — против американского замка силу взял.

— Без табаку скверно, — ледящий хихикал.

— Был у нас начальник — зверь, неладно кончил: окунули его с головой в парашку, — старик подсел к князю, — ты хоть руки на себя накладывай: табак воспрещал. А без табаку, не куривши, известно, хоть помирай. Что делать? И пристрастился я веник курить, такой веник был, всякий день парашу им чистили. И ничего, попривык, и папироски не надо. С год веником пользовался.

На воле полдень. Морило. Кто дремал, кто слоняется. Кажется, лень рта раскрыть.

Странник чего-то напутал в бабьем углу, бабы его от себя прогнали.

И, обиженный, отошел он к окну.

— Всякое дыхание да хвалит Господа, — бормотал о. Михаил и такую строил скорбную рожу, не выдержит ни одна баба, упадет на колени и будет просить у батюшки прощения.

Нет, и бабы умаялись, не глядят бабы на скорбную рожу. Все надоело. Нет ни до чего дела.

Князя оставили в покое. Князь один ходил по вагону. В этот час и князю можно.

— А ты ложись, егоза, я тебе сказку скажу, — безносый бродяга клещом прилипал к Вольге.

Вольга́ капризничала.

— Ты не умеешь.

— Испытай! Не умеешь!

— Ну, рассказывай.

И безносый шипел, рассказывал сказку.

Но девочке скучно. Сказка нескладная.

— Ты не умеешь, я слушать не буду.

— А про слепую невесту, хочешь?

— Ну, про слепую невесту.

А безносый — мастер, сам знает. Его учить нечего, он еще и не то сладит, дай ему волю.

Безносый шипел:

— Жила была мать и дочь, дочь была слепая. Тычется туда-сюда, ничего рукой поймать не может. Крот тоже слеп да кроту в земле, что днем. Кротова доля куда завидней! Что поделать — не обернешься. Приехал жених слепую сватать, а уже соседи тут как тут, шепчут жениху в уши: «Эй, мол, слепая она, глазом глядит, а ничего не видит». Приехал жених, сели за стол, угощаются, невеста и говорит: «Матушка, матушка, подбери иглу под порогом!» А иглу-то раньше мать под порог положила, так уж было у них сговорено для отвода. «Вот, думает жених, сказали, слепая, а она под порогом иглу увидала!» А как остались одни, жених, для проверки, так ли хорошо видит невеста, снял с себя все да и говорит: «Ну, давай-ка, милая, поцелуемся!» «Давай!» Протянулась слепая, — чмок! Тут уж жених — не надуешь! — скорее прощаться. А она к матери: «Матушка, матушка, как все из избы-то вышли, я с женихом целовалась, ой как целовалась, только нос у него длинный, да горячий, а губы толстые...»

3.

Вечерело. Переволновал ветер поле, улегся. Стало прохладней.

Как хорошо на воле!

И лениво склонился вечер, зрела нива. Такие вечера не забываешь.

Как хорошо на воле!

Вагон осветили.

И опять все по-старому.

Затеяли спор: где жить лучше — в России или в Сибири?

И оказалось, нигде: только там, где нас нет.

— У англичан лучше всего, — сказал кто-то, позевывая, когда спор уж затих.

Стали укладываться.

Долго укладывались. Перебирали тряпье. Ссорились из-за места. Упрекали друг друга. Вспоминали обиды.

Духота была смертельная.

К Хлебникову, занимавшему с князем одну лавочку, присоседился б е г л ы й.

Беглый по привычке настороже и спать будто не спит — убежал с Сахалина, а гонят его по чужому имени под Тулу.

Беглый завел длинный рассказ о своих похождениях и о разбойниках, каких разбойников видел он на Сахалине, и вообще о всяких порядках.

Рассказчик, что охотник, — врет, но уж без этого и рассказа нет.

— Как ехали мы на Сахалин, везли нас по Индейскому океану, жарища, — рассказывал беглый, — голыми везли. Едем, дорога дальняя, по-индейскому разговариваем, а в голове все об одном крутит: как бы бежать! Все об одном только и думали. И куда бежать, неизвестно: только и есть Китай, да море. А подъехали к Сахалину, холодно стало. Поддали пару — не помогает: зябко. Ну, устроился я на Сахалине, работа легкая, одно только название работа, у хозяина тяжельше. Три года так прожил, всего насмотрелся, полевой суд видел. Водили. Сидит это человек, приговоренный, только что лицо видно да шею, и знает, смерть ему предстоит. И все знают, всем плакать хочется. Сердце дрожит. Выйдет защитник, просит. Да это только так... эмалиоль!

— Эмалиоль!

Храпят, стонут, скрипят зубами. И кажется, снится всем один и тот же сон безнадежный — эмалиоль ест вагон.

Вольга́ угомонилась: свернувшись калачиком, спала она на коленях у бродяги, — безносый ей как старая нянька.

— Так ему и надо, — бредила Вольга́.

Часовой приоткрыл дверь. А то дышать стало нечем.

Пусть воздухом с воли прохладит!..

Из вагона от каторжан, а может и с поля, не разберешь в ночи, долетала песня:

А палач в рубахе красной
Высоко занес топор...

— Так ему и надо.

— Эмалиоль.

И барахтались распластанные тела, не могли одолеть неволи.

Без конца тянулась ночь.

*

Еще ни свет, ни заря арестантов подняли на ноги. Перекликали, пересчитывали.

К ранней обедне зазвонили, поезд пришел.

Долго высаживали арестантов, собирали рухлядь на подводы, возились, пристегивая наручники. Потом выстроили и погнали с вокзала в тюрьму.

На одной из людных улиц арестантам навстречу несли покойника. Неприглядные похороны.

Голова покойника болталась во все стороны и на каждой выбоине ударялась то в один, то в другой край ничем не обитого с огромными щелями гроба.

Один из кандальников, такой тихий и незаметный, вдруг вырвался из строя и, рванув цепи, вскрикнул исступленно:

— Воскреснет! Он воскреснет! В третий день по писанию!

И в страшных корчах упал на мостовую.

Поднялась сумятица. Чуть гроб не опрокинули. В суматохе кто-то из арестантов дал тягу. Свистки, гам, погоня.

Все перепуталось.

И путалось.

Нескоро улеглось.

Мешкали — не торопились, торопиться некуда: покойника успеют зарыть — земля примет, а в тюрьму в любой час впустят — дверь в тюрьму настежь.

Сумасшедшего скрутили веревкой, посадили на подводу, и серая стена бритых голов, позвякивая цепями, тронулась в путь.

Трудно было идти. Припекало.

И хоть бы дождик пошел! Ни облачка.

— Эмалиоль! — сказал князь Хлебникову, показывая на свои загрязнившиеся воротнички и на пыльные пятна, всплывшие на сюртуке.

4.

Князя поместили с Хлебниковым в одной камере.

Было суетливо и людно. Только вечерами свободно.

И как ни отгоняли часовые, камера их была полна народа.

Все к князю: кто за советом, кто с жалобой, кто просто так — душу отвести.

Вот в сумерки прокрался какой-то сектант.

Второй уж год сидит он в тюрьме и пойдет в Сибирь.

— За истину иду, все мои братья осуждены, жду, когда и меня отправят. И глаза его так и горели: такому ничего не страшно, резать будут — не пикнет, все вынесет, все вытерпит.

А вот черномазый с огромными черными маслянистыми глазами, прислуживающий в камерах, он не раз уж заглядывал в дверное окно, а теперь принес лампу.

И не уходит.

— Всемилостивейшие господа, — говорил он нараспев и при этом как-то приседал, — из духовного звания я, из Санкт-Петербурга, имел сан священнический. Арестовали меня в городе Одессе, всемилостивейшие господа, на заграничном пароходе и с жандармами привезли сюда. Пять лет в таком положении нахожусь. Лишен был священнического сана, всемилостивейшие господа. Священнодиаконом я был в Ярославском монастыре и с высокопоставленными лицами в сношении находился, как с вами, беседовал. И как почетный гражданин усердием их оставлен здесь, а не изгнан в роты. А папа мой протоиерей. Ро́маны читал я и проповедывал...

Но черномазому не везло: надзиратели его невзлюбили, всегда гнали из камеры.

— Шпион, — сказал надзиратель, — гоните его в три шеи, живо что стянет, шпион проклятый.

А вот кузнец Тимофей — высокий здоровенный; морщина, разрезающая его лоб, делала лицо его таким грозным, что все его побаивались: и арестанты и надзиратели. Он все думает, слова не проронит.

Вечером накануне Ильина дня трудно, что ли, пришлось кузнецу, и его прорвало.

— Господи, — вздохнул Тимофей, — полтора года еще!

И без просьбы начал свою повесть.

Он — кузнец, имел под Тулой хорошее заведение, держал работников. Сын его, Николай, сошелся с одной девушкой, и родился у них ребенок. Узнал об этом какой-то граф и взял ее в кормилицы. А потом граф вызывает Тимофея к себе.

— Прихожу. Выходит граф с графинею и уговаривают меня женить сына на этой девке. Я отказываюсь. Пуще прежнего уговаривают, кузницу обещают в приданое дать, землю тоже. «Да у меня, говорю, один ведь он, нешто можно, чтобы он ушел от меня, а такую девку гулящую не возьму я в дом и полагаю так, что никто из порядочных людей не взял бы такую». Графиня так и заерзала — граф-то ее взял у одного мужика, такая она была до замужества, как гулящая, и с работниками связывалась и буквально все делала, — вот она все на свой счет и приняла. С той поры все и началось. Прихожу я домой, жена брагу ставила. «Сходи, говорит, муки принеси!» Вышел я, подхожу к колодцу, общий был колодец — все оттуда воду брали, и вижу, стоит мужик из деревни. «Что это у тебя, говорит, кузница отперта?» Бросил я ковш, побежал, смотрю, так и есть: дверь отперта. Сначала подумал на Николая: пошел, думаю, Николай за гармонией и забыл запереть. А потом вижу, замок сломан. Ну, думаю, гости были. Вернулся я домой, сказал жене, и решили мы к старосте сходить, чтобы обыск произвести. А сын-то мой, надо вам сказать, опять спутался с одной девкой, и та тоже родила. Узнал про это граф, вызвали меня в суд и заставили этой девке по три рубля в месяц платить. И думаю я тогда: никто, как брат этой девки Иван сломал у меня замок. Обшарили Ивана — ничего нет, и уже хотели покончить, да урядник полез на чердак и вытаскивает оттуда кое-какие инструменты. Началось следствие. И вот как-то вечером приходит этот Иван и прощение просит. Я ничего, поругал его, да и говорю: «сумел своровать, сумей и подкинуть». А сидел у меня в кузнице мужик один, слышал разговор и за день до суда приходит опять и просит свезти его к члену, как свидетеля. Ездил я с ним, засвидетельствовали. А как стали судить, мужик-то и говорит, будто я его подкупил. Ивана оправдали, а меня-то вот в тюрьму. После уж приходил этот мужик, каялся мне, говорит, подговорили: пять рублей дали да колбасу, вот и оклеветал.

*

Много еще разного народа порассказало много разных повестей и историй.

И из всего рассказанного одно выступало ясно, что никто виновным себя не считал, а винил другого, винил какого-то Ивана, а этот Иван какого-то Якова, а этот Яков какого-то Петра, и так один на другого, пока не замыкался круг:

Никто не виноват, и каждый виноват перед другим.

Все терпели жизнь, как наказание. Но зачем надо было терпеть и за что наказаны? — ответа не было, кроме одного: такова судьба — воля Божья, непостижимая уму человека.

И, терпя жизнь, каждый верил, что есть одно средство облегчить свою участь — переделать жизнь. И таким средством представлялась в о л я, а уж с волей как-то само собою должны были явиться все блага и счастье.

Да вправду ли воля поправит жизнь? Но такого вопроса в неволе не было и быть не могло.

Вечерами Хлебников вел рассуждения с князем.

Князь безучастно слушал, точно все у него решено было и не было никаких загадок, а если что и было, то об этом думать не стоило.

Так выходило из ответов князя.

Хлебников рассказал князю свою историю. История Хлебникова была несложная.

С тех пор, как начал он сознательно относиться к жизни, к тому укладу жизни, какой ведется изо-дня в день, его мучило что-то неладное в этом укладе: к а к а я - т о   н е п р а в д а   и   н е п р а в и л ь н о с т ь   ж и з н и.

Пробовал он отгонять от себя эти мысли, и иногда это удавалось, но потом снова беспокойнее и мучительнее напоминал ему голос, что нельзя так жить, нельзя жить, поддерживая то, что неправда и неправильно.

Надо поправить, изменить жизнь.

Но как изменить жизнь?

Тут-то и подсунулись простые средства, очень простые и очень доступные.

И он все бросил, стал п о л и т и к о й заниматься.

И так побежала жизнь, вовсю закипела, дела не оберешься и думать некогда. Лучшего времени не припомнит.

Ну, конечно, — за делом-то не разберешься, — попались друзья, выдали.

И готово дело.

— Ну, а теперь вы как думаете? — спросил князь.

— Я думаю, не все так просто, как тогда мне казалось.

— Как же вы жить будете?

— Вот в этом все и дело. Уж очень все разное.

В самом деле: как же ему жить?

Одни могут, не спрашивая, так жить просто, а другим непременно подавай ответ, иначе и жизнь не в жизнь.

И есть же такие люди, которые ответили себе и живут спокойно.

Где они отыскали ответ?

— Вещи вы любите?

— Люблю. А вы знаете, князь, как жить?

Но князь только улыбнулся: будто и знал, будто и не знал.

Хлебников несколько раз подходил к этому вопросу, но всякий раз вместо ответа встречал улыбку.

И светилась в ней не то чистота младенца, не то последнее проклятие.

— А вы, князь, за что попали?

Князь улыбался.

5.

Из тюрьмы в тюрьму, от этапа до этапа.

Грязные и оборванные еле ноги передвигали арестанты — эти несчастные, попавшие в ад грешники.

Случалось, мерли: и как спокойны были лица покойников — являлась им смерть не врагом, а избавительницею доброй, и совсем не страшным скелетом, с косою, как приходит она в разгар жизни, туда, где веселье и смех и жить хочется.

Один оставался знак — память о минувшем неугасимом огне: там, где скованы были руки, лежали, как браслеты, лиловые геенские подтеки.

Из тех, кто вышел с Хлебниковым, осталось немного.

Затерялась где-то Вольга́ и безносый рассказчик, и пропал куда-то старик-курильщик с позеленевшей бородой, и сам Эмалиоль, и многострадальный странник о. Михаил.

В Москве строго.

В Москве сейчас же всех рассортировали: князь — уголовный, пустили князя к уголовным, Хлебников — политический, засадили в башню.

*

Не успел Хлебников осмотреться в башне, как впустили к нему соседа. Это был еще не старый щеголеватый господин, которого почему-то в конторе один из надзирателей назвал жуликом из Самарканда.

Жулик из Самарканда оказался важным министерским чиновником Василием Васильевичем Петровым из Петербурга. Обвинялся он в выдаче секретного документа.

На самом же деле, как выяснилось, он и не думал выдавать, а просто кто-то из приятелей, любопытства ради, взял у него эту секретную бумагу и списал, а после и совсем неожиданно появилась она в каком-то заграничном листке. Так ни за что, ни про что попал весельчак, и вовсе не жулик из Самарканда, в списки политических.

Жизнь с Петровым пошла легкая.

Разговор — препровождение времени.

Петров читал Библию, но чтение его не развлекало и, отрываясь от книги, он без умолку рассказывал анекдоты, анекдоты переходили в воспоминания, а, вспоминая, он начинал дурить: то представлял из балета, то из оперетки, то цыганские песни в лицах, то цирковых лошадей.

Днем полагалась прогулка.

Около башни маленький дворик, там и гуляли.

Со двора был виден кирпичный корпус для уголовных. В верхнем окне корпуса появлялись два негра.

Эти негры стали вроде представления.

— Арап Иваныч, — обращался Петров к неграм, — спой нам что-нибудь, Арап Иваныч!

И негры, гремя кандалами, выли, прищелкивая белыми, как снег, зубами.

Печальное и жуткое, пустынное пелось в их песне, и не было ничего смешного.

Но Петров и надзиратели, поджав животы, гоготали.

— Ну, теперь довольно, Арап Иваныч, сейчас старший придет, будет, Арап Иваныч! — махал ключами надзиратель, до слез нахохотавшись.

Вечерами — под замком в башне.

Тишина была в башне, только мыши скреблись да вели тонко свою мышиную песенку.

Вечерами Петров караулил мышей.

Как-то в неурочное время вошел в башню старший — бородатый седой старик с масленым лицом.

Накануне у Петрова пропала тряпка, Петров заявил старшему, старший обещал отыскать, и вот явился.

— Вы, господин, насчет тряпки давеча спрашивали, пропала она куда-то, нигде не отыскал.

— Не мышь ли уж взяла? — подмигнул Петров, вскидывая пенсне.

— Мышь не мышь, а вот рассказывал мне один, тут же сидел, будто по ночам черт ходит. Говорит, своими глазами видел: белый весь, а борода черная, черт настоящий.

— Какой черт?

— Уж не знаю, правда ли, а страшно: один ни за что бы здесь не остался. Завтра я еще поищу тряпку.

Старший ушел и стало страшно.

Стало казаться, что по ночам кто-то ходит, весь белый с черной бородою — черт настоящий.

И вся легкость пропала.

Петров не балагурил.

И когда надзиратель — хохотун по прозвищу Ну-с перед тем, как отправиться погулять в Петровский парк, щуря сладенькие глазки, попросил помады усы помазать, Петров подал ему баночку с кольд-кремом и хоть бы слово.

И под негритянское пение Арапа Иваныча Петров уже не смеялся, а понуро вздыхал.

— Политику разрабатываете? — заводил разговор другой надзиратель П л о т в а.

Петров, такой охотник языком чесать, теперь и Плотве не отзывался.

Так смутил башенный покой непрошенный б а ш е н н и к-черт, — который ходил ночью по башне и воровал у Петрова тряпки. И уж нескладно пошла жизнь.

*

После вечернего чаю под Успеньев день, когда Хлебников с Петровым расхаживали молча из угла в угол, а в окно прони-

кал дальний гул кремлевских колоколов, в башню привели новенького.

Это был маленький изможденный арестант Котов, по ошибке посаженный в общую к уголовным, где провел он несколько дней, перевернувших в нем все вверх дном.

Весь вечер Котов рассказывал о порядках в общей и о всяких насилиях, постоянных среди замкнутой арестантской жизни.

— Попал к нам один молодой арестант, красивый такой. Привели его днем, и целый день арестанты присматривались к нему, берегли его. А как пришла ночь, и камеру заперли, тут-то и началось: словно по знаку набросились на него и чего-чего с ним только ни делали, а какие-то два негра... вспомнить страшно! Так на утро и снесли в мертвецкую. Говорят, какой-то князь из аферистов.

— Князь?! —

Хлебников описал наружность своего спутника.

— Он самый, — подтвердил Котов, — князь из аферистов.

И много всяких невероятных историй порассказал Котов и не только из тюремных подновленных скитаний, но и из самой обыкновенной серенькой жизни, проходящей незаметно и с виду скромно и даже примерно.

И из всего рассказанного одно выступало ясно, что человеческую природу аршином, пожалуй, не измеришь и не разложишь ее по клеткам и судом одним не осудишь.

6.

От Москвы дорога ходчее пошла.

Долго по тюрьмам не задерживали, не мучили проволочками.

Важных преступников не было: всех задержали в Москве, чтобы в Сибирь гнать.

Шел всякий сброд.

Проститутка Амурчик — девица петровского роста, поверх шляпки повязанная платком, необыкновенно веселая и совсем не падшая: по своей воле пала и, пока хватит сил, гулять будет.

Проживала она в каком-то дорогом притоне, звался притон Золотые львы, жила-была, веселилась.

— Сто чашек в день кофею выпивала, сам вор Козырев, экспроприатор, мне письма писал, эх вы, жулики, не вашего ума дело! — приплясывала Амурчик.

От ее россказней все приободрялись.

Так были жизнерадостны повести ее публичной жизни.

Кроме Амурчика, попутчиками Хлебникова оказались два предателя.

Один тихонький и угнетенный, другой задирчивый и озлобленный, но и тот и другой очень мучились.

За предательство свое они не получили никакой награды, никакого послабления, а предали они, потому что испугались — есть такие робкие, хорохорящиеся люди.

— Да зачем же вы совались не в свое дело? Знали же вы, чем это кончится? — допытывали предателей.

— Сами не знаем, поддались. Мы не выдавали. Мы только подтвердили. Нас обманули. Полетаев всех выдал, — оправдывались предатели, и тихонький, и задирчивый, валя вину на какого-то Полетаева.

— Бес попутал, — ввертывался старик, мелкий воришка.

— Каждому обязательно предстоит проявиться, — замечал философ, исколесивший этапный путь с севера на юг и с юга на север не раз и не два по всей России, — вот ты живешь тихо-смирно, и есть ты на белом свете или вовсе нет тебя, сам хорошенько не знаешь, а как уворуешь или поймают тебя или еще что, так ты уж другое дело, ты — есть и существуешь на земле, как следует во человечестве.

— Тоже и по глупости бывает, по неразумию, — поправлял мудрец философа, совсем на мудреца не похожий, а на какой-то финик.

— Полетаев всех выдал. Мы не выдавали! — тянули свое предатели.

— Жулики, не мудрите, все вы пропащие, — приплясывала Амурчик.

*

В последней тюрьме, до которой дотащил поезд, началось очень по-глупому.

Начальник — человек солидный и совсем не глупый, распорядился отобрать у Хлебникова книгу и очки, объясняя свое

распоряжение, как меру пресечения могущего возникнуть побега.

— Ну что вам стоит: каких-нибудь три-четыре дня посидеть так.

— Да я близорук, ничего не вижу.

— Тут в тюрьме и видеть нечего.

Первый злополучный день Хлебников провел в общей с другими политическими. В этот первый день почему-то их держали впроголодь. И разговор вертелся около съедобного.

— Щей бы горячих, вот бы хорошо теперь.

— А мне бы рыбной селянки, я селянку люблю!

— Телячьи ножки куда!

— Ну вот еще ножки... поросенок под хреном, этот все покроет.

— Чаю горячего хоть бы с хлебом!

— Хорошо еще стерлядку разварную с соусом!

— А я и вареной говядины съел бы.

Вечером без вечернего чаю рассадили по одиночкам. И было холодно, и есть хотелось, и пить хотелось.

И только утром принес надзиратель кипятку.

— А чаю такого, какой у вас Цоги-Лук написано, такого нет больше, Высоцкого есть. Пожалуйте выписку на завтра.

Но Бог с ними, и с чаем и с едою!

Первый раз за весь этап Хлебников остался один. И было как-то хорошо думать в одиночке.

За тюрьмой играла музыка — сиплая труба, как голос старого кузнеца Тимофея, проданного за пять рублей и колбасу.

Хлебников болтал сам с собою.

Да, он любит вещи.

А как он любит лес, поле, реку!

Весною оживает с последнею козявкою.

Вот его выпустят на волю — а волю он больше всего любит.

«Ну а дальше-то что? Что дальше?»

Перед глазами проходили всякие события, а в ушах повторялись всевозможные истории.

И все представлялось таким, что, кажется, и имело право быть на свете и вместе чем-то совсем недопустимым, самозванным, бесправным.

«А как нужно-то? И нужно ли, чтобы было по-другому? Может быть, так и надо всему быть, как оно есть. А вся беда в его глазе. Ведь он близорук, и сидит без очков, ведь он во всех смыслах близорук и потому не может видеть всех пружин и не понять ему, что именно так и надо быть всему, как оно есть».

После двух бессонных ночей, проведенных одиноко с своими мыслями, в беспощадных допрашиваниях самого себя, на третью ночь Хлебников почувствовал то знакомое ему утомление, какое охватывало его в тягостные минуты растерянности, и он заснул.

И приснился ему на загладку сон, будто лежит на поле великан Цоги-Лук, и не связан, и не убит, живой лежит великан, и ест великана насекомое вроде собачьей блохи — белое, шея длинная, туловище кольцами свернуто, на голове семь зубов — эмалиоль.

Когда Хлебников очнулся, в городе звонили к обедне: разбитый колокол вяло брякал.

Раннее ненастное утро смотрело в запотевшее окно.

— Собирай вещи! — кричал надзиратель, обходя камеры.

И началось новое путешествие и уже не по железной дороге, а по способу пешего хождения.

Тысячу и больше верст прошел Хлебников.

Осень кончилась. Белым снегом легла зима.

Хлебников не ждал, как ждали его спутники, того завидного дня, когда окончится путь и странно ему было даже подумать, что наконец, все-таки скажут ему: вот выбирай себе любую избу и живи!

Да как же он жить будет?

Он не может жить, как прежде жил. И не послушает он. Уйдет он, чтобы где-нибудь в лесах, где-нибудь на берегу реки или в самой толкотне самого большого города найти себе такое, что откроет глаза ему.

«Ведь не может быть, чтобы все так и было, как видится ему, не может быть, чтобы была в мире неправда и неправильность. Иначе что же? Издевательство какое-то, ерунда на постном масле!»

В Михайлов день дорога кончилась. Дальше этап не шел, дальше не гоняли. Дальше только птица летала да плыли льды.

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ БАРИН

Неделю назад Сенька Быстров, черномазый слесарь с завода, смеясь как ребенок, палил под пулями; пули, топая, разрывали в клочья и выламывали крепкие бревна, а сегодня он фертом сидел в Царьграде и, комкая свежие шведские перчатки, пил кофе.

Так все обошлось по-хорошему. И цел Сенька и невредим и хоть на рожон лезь.

В Царьграде было шумно и гвалко по-всегдашнему.

Машина заливалась цыганскими песнями, и Сенька, глядя беспросветными, как оливы, глазами на своего зоркого спутника, наивно улыбался безусым детским ртом.

Песня располагала.

И в замуравленных темных глазах проходила Сенькина жизнь.

Никогда Сенька не думал так рассиживаться, и никогда в голову не приходило ему, чтобы сделать что-нибудь такое важное, на что он был готов.

Вспомнилось ему детство, как бывало, вечером к отцу приходили гости, и под пьяные крики, ругань, гармонью читал он книжку и вдруг прорывало, вступал в споры с отцом и гостями, и, не выдержав, лез с ними в драку, и лупили его, как Сидорову козу, лупили тумаками по шее, по лицу, под бока, не хуже, чем в клоповке, куда как хулиган попал он поначалу. Потом беспробудное пьянство с отцом на заводе. Потом месяцы, вереницы дней, — все опротивело и хотелось порешить с собою.

— Конечно, от бездействия больше, от скуки главное, — ухмыльнулся виновато Сенька, допил до донышка кофе и опрокинул чашку.

Трудно ему было рассказать свою жизнь, а хотелось непременно и все.

И пока половой прибирал стол и готовил новую порцию, Сенька рассказывал:

— Вот вхожу я в вагон. Темно. Вынул я нож, говорю: «Кто строил вагон? Мы строили вагон. Кого в вагоне возят? Нас. Кого нас? Рабочих. А где свет? Нету свету. Почему нету?»... И стал я окна бить. Тут публика безусловно бросилась из вагона. Вхожу я в другой вагон. Светло. «Почему, говорю, тут свет, а там нет света? Почему там нет света? Давай свет!» И стал

я окна бить. Тут безусловно публика опять бросилась из вагона. Перебил я все окна. Окровенился. Входит кондуктор. «Ты, говорит, окна бил?» «Я, говорю, окна бил». Кондуктор запер дверь. Я было к другой, а там опять кондуктор. Тут я трахнул раму, да, Господи благослови! головою вниз, да прямо из вагона в сугроб. Закопался я в сугроб, лежу. Ничего, только голову больно. Ну, думаю, теперь не миновать в клоповку...

Половой принес новую порцию.

Сенька схватился за чашку.

— То ли еще было, все и не расскажешь! — и, глядя на своего зоркого спутника, ухмыльнулся, — конечно, от бездействия больше, от скуки главное. Вы меня извините, это когда я в хулиганах состоял. Вот тоже раз идем мы из столовой. Работы не было. Идем тихо-смирно. А навстречу нам околоточный Жуков. Поравнялся с нами Жуков и говорит: «Чего, вы, говорит, сукины дети, бежите?» «Как, говорю, бежим, мы идем тихо-смирно», «Обыскать, говорит, их мерзавцев!» Ну, нас и обыскали. Я и говорю: «Товарищи, — обидно мне стало, — изведу я этого Жукова, за что он в самом деле?» А они говорят: «Дурак, ты, дурак, что такое Жуков? Ты, говорят, кого уж почище, а то Жукова?!» Отговорили. Тут купил я полбутылки казенки. Пошел к знакомому фельдшеру. «Дай, говорю, мне ядов разных, да пожестче». Дал фельдшер мне в с т р я х н и н у. Знаете, яд есть такой крепкий. Взял я в с т р я х н и н, наклал в бутылку. Развел белого сургучу, залепил пробку. Потом взял копейку приложил копейку к пробке, вот и орел вышел. Забрал я эту бутылку, идем с товарищем по базару, орем песни, ругаемся. Едет патруль. «Братцы, говорю, казаки, сделайте Божескую милость, отхлещите моего товарища поздоровее, никакого с ним сладу нет, обижает!» Повскакали казаки с седел, да и ну меня хлестать. А товарища след простыл, удрал. Лупили меня, лупили, обыскивать стали. Ухватили и бутылку. «Давай, говорят, водку!» Уперся, не даю. «Ежели б, говорю, вы его отделали, тогда б я вам отдал, а то чего же я так понапрасну». Ну, бутылку отняли. Сели сами в седла. Выбили пробку. Стали пить. А я завернул за угол, да и смотрю. Выпил один. Ничего. Выпил другой. Ничего. Выпил третий. Ничего. А как четвертый начал пить, первый с седла, — кувырк! и свалился, а потом и второй, а потом и третий... Тут

пошел я домой, умылся. Наутро, гляжу, четыре мундира на завод приволокли хулиганы... ихние краденые, казаков.

Сенька мял свои свежие шведские перчатки, оживлялся.

Царьград оживлялся.

Набиралась царьградская публика с черными ртами. Горланила пустым пропойным горлом.

И другие приходили без улыбок, никогда уж не улыбаясь, а в глазах, словно ножички сверкали.

И третьи приходили, ошаривали глазами.

А там за окнами восходили белые звезды.

— Конечно, от бездействия больше, от скуки главное... — стучал Сенькин голос.

СВЯТОЙ ВЕЧЕР

1.

Нет, если уж где справлять канун Рождества — рождественский сочельник, то, само собою, не в Петербурге.

Первым делом как есть кутью садиться, отвори окно, да, бросая за окно, на волю, первую ложку, проси деда Корочуна кутью есть.

Дед Корочун над зимою первый: Корочун и зиму строит и горы насыпает, чтобы на санках кататься, и рядит инеем деревья, чтобы покрасивее было, Корочун же, по рассказам старых людей, и Христа-Младенца пустил о Рождестве к себе в хлев, когда Ирод-царь велел избивать младенцев, Корочун и разные кудесы знает и такие сказки сказывает, от которых и страх берет, и еще хочется.

Любит Корочун, если кто медведем ряженый пляшет, и сам, на старости лет, так пройтись может, что любого молодого за пояс заткнет, — седой ворчун и затейник, без него и кутья не в кутью!

Но об этом в Петербурге и думать не годится, если ты хоть сколько-нибудь благоразумен и дорога еще тебе — не опостылела, твоя нищенская, до отупения однообразная, в постоянных заботах о куске хлеба, мелочная жизнь.

Как известно, по петербургским правилам, за окно бросать ничего не полагается. И всякое выбрасыванье, хотя бы и такой

всем приятной сладости, как вареный ячмень на меду с грецким орехом, может кончиться не совсем приятно: там разбирать некогда, подберут твою кутью до последнего зернышка и повезут ее, под охраной, в часть...

А затем еще неизвестно, захочет ли сам дед Корочун под такой большой праздник в Петербурге находиться? Ой, что-то очень сомнительно, чтобы приятно было старому по Невскому путешествовать или где на Островах сидеть. И скорее всего, перекочевывает он об эту пору в самые дальние степи, в дикие и широкие, и уж там, на просторе, гуляет, ест кутью, да зиму кует, коротя дни, последние и студеные.

И как ни верти, а выходит, что если даже ты смельчак такой и не страшно тебе ложку кутьи за окно бросить, все равно, даром: Корочуну она попасть не попадет, а в лучшем случае собаке, а ведь собака, обнюхав ее, еще, чего доброго, и сесть не откажется. Вот как!

Раздумывал Скороходов, раздумывал, как поступить? И кутьи хочется поесть по-настоящему, и боязно. И боязно, и досадно. Что ж в самом деле, одному, без Корочуна кутьей наедаться?

И решил, уж тряхнет он по всем — в долги влезет, а уедет из Петербурга, чтобы хоть один раз — единственный в своей стесненной жизни отпраздновать по-людски Святой вечер.

2.

В дальние степи, в дикие и широкие к Корочуну путь долгий и беспокойный. Остановки и пересадки, — конца краю не видно.

В тесном вагоне холодно. С боку на бок — больно все.

Скороходов кое-как примостился, хотел отдохнуть, и заснул на ключах. Проснулся, — ноет в боку. Переложил ключи в другой карман, — заснул на кошельке. И обомлел весь бок. Лег на спину. И опять беда: свеча в фонаре догорает, — стеарин потек, и фонарь запылал.

Гарь, копоть.

Растворили двери, прогнали угар. Стало еще холоднее: зуб на зуб не попадет.

А пассажир ходит, дверей за собою не притворяет.

«Экий, ты, пассажир, глупый, ну что тебе стоит, рука не отвалится!»

А поезд с каждою верстой опаздывает и все медленнее движется.

«Экий ты, поезд, скучный, ну что тебе стоит, паров что ли не хватит!»

Только бы прошла поскорее ночь, а там, завтра, как зажжется звезда, настанет и Святой вечер.

Медленно ползет скучный поезд.

И версты как будто длиннее стали, и верст будто больше.

Скороходов перекладывался с ключей на кошелек, с кошелька на ключи, ложился и так и сяк: и ничком, и навзничь, а уж заснуть не было сил, только дремалось.

По соседству переругивались муж с женою — мастеровые.

— Осип головою фонарь прошиб! — пилила мужа жена за какого-то Осипа, выскочившего по пьяному делу из вагона, когда уж тронулся поезд, и угодившего башкою прямо о фонарь.

— Компания! Ничего! Прямо теперь в участок! — смеялся муж, подлаживаясь к жене: тянуло его еще выпить, а водка у бабы была спрятана, и не было ходов уломать бабу.

Юнкер, примостившись на верхней лавочке, спрыгнул не без ловкости и, толкнув сундук с бабьей водкой, вежливо извинился перед мастеровым.

— Пожалуйста, пожалуйста! — закивал мастеровой.

— Пожалуйста! — передразнила баба.

— Знаем обращение, нам не впервой! — и вдруг обозлился, — экие вы, бабы, и чего прешь на этот вокзал? Давно б дома были, разбрва, вот вы... Когда теперь приедем? На Пасху? Ведь, говорил же я, нет...

Баба видит, что проштрафилась, сдается:

— Винить невинного человека! Вы меня не вините, я не виновата этим делом.

И уж доносится жадное бульканье.

Наливается бабья водка, и надо думать, из большой посуды в стаканчик, а пьется стаканчик с таким вкусом, непьющий запьет.

— Водка хлебная, а хлеб пшеничный, здорово!

— Здорово! — шипит баба, — прохвост ты, обормот, здорово!

Какой-то, белесый и такой постный, словно где-то из спины у него, из какого-то спинного позвонка святое деревянное мас-

ло точится, совсем уж умаслившийся, потерял свое место и ходит по вагону, пристает без пропуска к каждому:

— Кто ты и куда едешь?

Кое-кто отвечает, но потом отвертываются, а потом уж посылают к черту.

Постный человек, наконец, остался один, он уселся на кончик лавки.

И ему кажется, что едет он один во всем вагоне, из хребта у него сочится святое деревянное масло.

Кто он? — сам уж не соображает и вспомнить не может.

— Кто ты и куда едешь? — бормочет постный.

А безбилетный, разместившись под лавкой, так уплетает на сон грядущий, будто не две, а четверка скул у него, а кушанье такое вкусное, и объешься и еще запросишь.

Потом все затихает, и затихшее несется, перебрасываясь из кулька в рогожку. И поспеть во время нет уж надежды.

Стучат колеса. Поднявшаяся метель воет — стучит в колесах.

Огарок в закопченном фонаре чуть светит.

3.

«Нет, лучше уж было б в Петербурге остаться, куда ни шло!» — ерзает после бессонной ночи Скороходов и укоряет себя и оправдывается.

Кончается долгий день, вечереет.

Скоро там, среди широкой дикой степи, в закутанном снегом, как белым вишневым цветом, старом доме, за кутью сядут. Скоро зажжется Рождественская звезда.

Но станция, на которой Скороходов вылезет, так еще далеко, страшно подумать.

Метель не дает хода, да проклятые пересадки.

«Постелют стол сеном, поставят миску с кутьей, засветят свечи, сядут вокруг стола... Святой вечер!» — поддразнивает себя Скороходов и тянется весь, не находя места.

Шляпа, с острым подвижным лицом — по вагону говорят, что это и есть агитатор — читает вслух газету.

Шляпа выбирает в газете что почище и позабористее и, снабжая прочитанное собственными приложениями, предо-

ставляет публике жестокие выводы из прочитанного и добавленного.

— «Приходите в трактир Парамонова, — отчеканивает шляпа газетное сообщение, случайно подслушанный разговор по телефону, — спрашивайте дворника с рыжей бородою, по пятьдесят копеек на человека, бить жидов и интеллигентов...»

Скороходов дальше не слушает, кого еще бить за пятьдесят копеек, а может, за ту же цену и убить. Да и слушать нечего! Сам дворник лучше всяких газет знает, кого бить и когда бить, потому что он, рыжий, все знает. И от него, рыжего, все зависит: и судьба Скороходова, и судьба всей земли, и судьба всего белого света. Вот он, может, заодно уж, и самого седого Корочуна укокошил и лежит себе где-нибудь под лавкой, лежит, как залег, ему и горя нет, спит. Да и как не спать ему счастливому, ведь ему нет дела ни до Скороходова, ни до земли, ни до белого света, ни до седого Корочуна — сыто брюхо и Слава Богу. И уж ждать нечего, ни ждать, ни надеяться. Он убил это слово, — надеяться, вычеркнул его из русского словаря. И лежит счастливый, растрепанный и путанный, спит. И оттого все безнадежно треплется и путается.

Представилось Скороходову, будто он поднялся, чтобы посмотреть, отчего шум такой по вагону, а вагон будто весь рыжего цвета, как борода дворника, и все пассажиры рыжие, и слушает Скороходов, и ушам не верит.

— Ура, рыжий дворник от Парамонова! Ура! — надсаживается вагон и вдруг ухает в рыжую кашу.

— Ваш билет! Ваш билет! — тряс и пихал кондуктор задремавшего Скороходова.

Вваливаются стражники. Испитые, продрогшие, в рваных полушубках с винтовками в окоченевших руках, они садятся неудобно, кучкою.

— Вихри враждебные...

Ладно затягивают песню на другом конце вагона: поет гимназист, кадет и какой-то солдат.

Стражник поплоше робко подходит к шляпе:

— Дайте, барин, папироску по бедности! — просит стражник и не отходит: в одной руке винтовка, а другая совочком сложена.

— На бой кровавый!..

Не унимается, несется песня, подхватываемая тесным вагоном.

Поезд остановился. Скороходову опять пересадка.

— В свое время поспеем! — утешает привыкший к стоянкам кондуктор.

Рядом отправляют поезд с запасными, не попавшими на войну. Шум, гам.

— Подавай поезд! — орет кишмя-кишащая платформа.

И летит ругань, небу жарко, да и весело: загибаются винтиля, какие не загнет ни один язык, кроме русского.

«Экий ты, язык русский, нет тебя ругательнее, что же ты не выручишь!»

Скороходов покорно садится в новый вагон, стараясь забыть, кто он и куда едет, как тот вчерашний маслоточивый пассажир.

В вагоне много солдат, — едут солдаты в деревню на побывку.

Курносый мужичонко с лицом, вдоль и поперек перетянутым, будто бечевкой, мелкими, глубокими морщинами, уплетает сало в соседстве с огромным петербургским кавалеристом.

Они земляки. Разговор у земляков ладный.

— Ну, как, погром у нас был?

— Был, — мужичонко лукаво подмигивает.

— Что такое погром? — кавалерист проглотил вкусный кусок и принялся за другой, не менее вкусный.

— Погром... капиталистов били, потому как они имеют. Но откуда они имеют? Кто им дал? У всех спервоначала одно было. Откуда они взяли, а?

— Усердием.

— Усердием! Так вот за это самое усердие и погром.

— Разбоем-то ничего не возьмешь.

— Верно, совершенно верно, — мужичонко постукал о столик пальцем и, загнув палец, поднес его, прокопченный и замазанный, к засаленному рту земляка.

Кавалерист вкусно обтер себе рот, поправил усы и вдруг рассвирепел.

— А таких вот субъектов, которые так говорят, знаешь ли ты, что с такими субъектами в Петербурге делают?

— ?

— А вот так — в порошок.

— !

— Да ты сам-то откуда?

— На мыловаренном служил. Я — сердцелист.

— Сердцелист, а ты до которого места?

— До Глистницы, — плутовато подмигивает мужичонко и начинает вилять, — конечно, поляки все и жиды.

— Они все отобрать хотят, — закуривает кавалерист, успокаиваясь.

— Да я и сам думаю, — хихикнул вдруг мужичонко, — приглашали меня, а я себе думаю: шиш! Сам я так думаю.

Святый вечер!

Донесло заунывным гулом древний колядский припев и, повторяя припев, покатило все дальше и дальше за поездом в широкую дикую степь, где зажглась уж Рождественская звезда.

Святый вечер!

— Боязно, — шепчет солдат с верхней лавочки, — вот едешь, а в тебя бомбой...

— Упаси Матерь Божия, Царица Небесная! — вздыхает соседка.

— Едем мы как-то в разъезд, — шепотом рассказывает солдат, голос у него оробелый и перехваченный, либо простудой, либо страхом, либо водкой, либо, Бог весть, еще чем крепким, — едем мы ночью, а навстречу нам шайка. Я как пальнул, один хлоп на землю, а потом другого, а потом третьего. Кричу околоточным, и те стреляют. Наутро командир спрашивает: «Ты, Замерчук, стрелял?» «Так точно, ваше высокоблагородие». «Спасибо тебе, братец». «Рад стараться». Д-да. А то едешь другой раз, думаешь: уж приведет ли Бог домой вернуться?

— Морда! Измучаешься! Домой вернуться?! Не найдешь себе места! — замечает хмурый сапер солдату.

А в другом конце идет спор о войне.

— На иконы надеялись, хе, хе!

— А вы на что?

— Я с вами не разговариваю.

— В рот тебе кол! — огрызается задетый.

И опять спор, перебираются имена и печатные и непечатные, не то грызутся, не то ладят.

— А я порченая, потому и спать не могу, — говорит с растяжкою, по-московскому, молодая баба, уступая место старухе, — а вложила в меня эту болезнь моя подружка. «На, говорит, милая, надень сорочку!» Как надела я, бабушка, эту сорочку, так и пошло...

— Что же это такое, Господи, на свете-то делается! — шамкает старуха, крестя свой утиный рот.

— И не в ней причина, а в нем, постылом, он ее и подослал ко мне с проклятой сорочкой. «На, говорит, милая, надень сорочку!» А работали мы с ним на одной фабрике за заставой и бастовали вместе. Вот за забастовку в тюрьму сажают, а за это, небось, не тронут.

— Руки коротки! — зевнул кто-то из-под лавки.

— У нас в деревне тоже, девушка, глазом портят, а был один старичок, волчьим лыком от зубного ноя лечил: помогает.

— Это тебе не забастовка! С этим средством и почище дело можно сделать! Да я-то чем виновата? — жаловалась порченая.

И исступленно смотрела через сонные, спутанные головы в ночь, словно бы искала кого-то, кто придет, снимет с нее порчу, сковавшую ее по рукам и ногам.

Святый вечер!

Донесло заунывным гулом древний колядский припев и гудело близко, будто на самое ухо, и далеко, кругом, из измученного сердца терпеливой перепутанной земли.

Святый вечер!

Скороходов посмотрел на часы: часы стояли. А узнать не у кого.

Вышел он на площадку, поискал звезду.

Темно, снег идет.

А уж должна бы гореть звезда!

И достал хлеба, раскрошил, и, закликая Корочуна, взялся за хлеб, как за рождественскую кутью:

Корочун, Корочун,
иди к нам
кутью есть!

КРЕПОСТЬ

1.

Под воротами опустевшей одноглазой облупленной башни с золотым кованым ключом на стальном шпице толкалась кучка сухопарых баб с поджатыми злющими губами.

Забрались бабы в крепость спозаранку, выстояли обедню в крепостной церкви, истово приложились к иконам и отправились ходить по нежилым тюрьмам, будто по святым пещерам.

Раз десять побывали они и в каменной старой тюрьме и в новой кирпичной, раз десять заглянули в каждую камеру, все перетрогали, про все расспросили.

Пора бабам домой уходить, обедать, а бабы не уходили, наступали на жандарма, — жандарм водил их по тюрьмам, терпеливо показывал всякую мелочь.

— И не пойдем — хорохорилась самая старая, — ты нам главного не показал.

— Ей-Богу, все показал! — божился жандарм.

— Все, да не все, а еще божится! Ты темную показал? виселицу показал? мельницу ты показал-а?!

— Какую еще мельницу!

— А такую, нечего дурака-то валять, известно, мельница, где людей мололи.

Жандарм обиделся:

— Грех тебе, тетка, болтать зря.

— Грех в орех, а зерно в рот, не тебе меня учить, толстомордый.

— Ну, проваливай, проваливай! — вступился часовой.

— Как бы ни так, ты наперед покажи, а потом и лайся, клык!

Жандарм на минуту вспыхнул, потом вдруг ощерился.

— Покажи, да покажи, — сказал жандарм, постукивая сапог о сапог, — да что я тебе в самом деле покажу — —

— Тфу, окаянный! — заплевались бабы.

Смехом подхватили другие жандармы — околачивались жандармы без дела у часовой будки.

Было воскресенье.

Бабы ничего не сказали, молча поплевали на жандарма, поплевали трижды таинственно, как на нечистое, отчего отпле-

ваться надо, чтобы не пристало ни к следу, ни к глазу, и молча, еще злее пожимая сухие губы, пошли к берегу.

Темные, закутанные в теплых платках, хороня в узелках взятое на счастье тюремное добро — сушеные цветочки, обрывки исписанной бумаги, камушки — уносили они на волю каплю мысли, каплю сердца и каплю души заключенных когда-то в этой крепости.

Сгорбленный мужичонка, вынырнувший из-под снега, принял баб в лодку.

Закачалась лодка, покатила.

— Окаянный ты, окаянный! — выл ветер в лад бабам, ударяя под воротами двуглазой облупленной башни с золотым кованым ключом на стальном шпице.

Ехали бабы по черной полынье на ту сторону, грозили костлявыми пальцами.

Засыпало их снегом.

Не показал бабам жандарм главного. О чем они теперь расскажут на другой стороне?

Видели они тюремную ванну, видели тюремные электрические лампочки, тюремную мастерскую, тюремный человечий скелет, но главного не видели.

— Окаянный ты, окаянный! — выл ветер в лад бабам, лизали волны крепостной вал, выли, взъерошенные ветром и веслами.

По-черному белая уверенно плыла — уплывала лодка.

— Ох, уж эти бабы, пристанут как банный лист, нипочем не отвяжешься! — ворчал жандарм, поколачивая сапог о сапог.

2.

Белый белыми пушинками порошил снег дорожку вкруг крепости, запорошил золотой кованый ключ, надворотный двуглавый орел, темные окна — глаза.

Меж двух отдаленных глухих башен, обращенных к озеру, шагал, как на часах, похрустывая снегом, с воли любопытный.

С утра весь день ходил он по тюрьмам в хвосте сухопарых баб и, как бабы, все трогал и спрашивал и, как бабы, заглядывал в каждую опустевшую камеру.

Теперь он один был под стеною между башнями.

Над ним белое небо и ветер и снег.

Все мысли его ломались, как соломинки, и оттого кололо где-то в мозгу, и сердце наливалось кровью.

Пожар за пожаром подымался в душе его и сжигал все, чем жил человек: утро, вечер, ночь.

И пускай бы ветер подкосил его и ударил бы головою об стену и засыпал бы его бесследно снегом!

У него нет больше ни утра, ни вечера, ни ночи, у него нет больше крова.

И не надо ему крова.

Тянулась перед ним белоснежная дорога без конца и безнадежная, и другой дороги он не видел.

Так все виденное и слышанное в этой опустевшей крепости с одноглазой облупленной башней и золотым кованым ключом на стальном шпице потрясло его душу.

Вот уйдет зима, повеселеют луга и поля, зацветет каждый холмик, каждый бугорок, и подымется над землей солнце, согреет лучами, вспрыснет дождем мертвое и заснувшее, — и мертвое и заснувшее пробудится живым под солнцем.

Но ему не надо ни солнца, ни лугов, ни весеннего поля.

Зачем солнце, зачем цветы, когда каждый цветок напоен кровью, каждая пядь земли не дождем смочена, кровью?

И стелились перед ним дни — вся жизнь человеческая, день за днем.

Не год и не два и не двадцать лет, а как стала земля и жив человек, утвердилась и эта крепость. И схороненные в ней под замком люди жили, и не знали дня, — придет ли свободный день, раскроются ли двери? Под замком люди жили в этой крепости, запертые в ящики, как в гроба. Вязали их по рукам и ногам, волоком волокли по винтовой железной лестнице и по асфальту на двор и дальше по двору до ворот, где принимал их каменный застенок и поглощала сырая черная дыра навсегда. И лишь караульные следили и подслушивали их последний сон и предсмертный их час. И наряжали их перед казнью и сколачивали ящик-гроб, когда живой, непреклонный и смелый висел под белым саваном над землею, рыли яму вон там и закапывали без следа, и никто никогда не закрыл их мертвые глаза.

Он отомстит за эти гроба, за все жизни в гробах, за жизнь смятую, связанную по рукам и ногам, которую убивали медленно и подтачивали беспощадно безнадежным одиночеством.

Он найдет тех, кто приказывал и повелевал мучить, и отомстит им.

За каждый час, за каждую минуту, за каждый кратчайший миг пролитых в мир страданий, — а людское горе возрастало год за годом, не год и не два и не двадцать лет, а как стала земля и жив человек! — он найдет жесточайшую казнь и отдаст на казнь тех, кто приказывал и повелевал мучить.

И конца не будет казням.

Весь белый, запорошенный снегом, уверенно повернул он от стены и башен на другую дорогу по следам сухопарых баб.

Сгорбленный мужичонка, вынырнувший из-под снега, принял его в лодку.

Закачалась лодка, покатила, понесла по черной полынье на ту сторону реки.

*

Белый белыми пушинками порошил снег дорожку, человечьи следы, обледенелый крепостной вал и черную перекладину для рыбацких снастей под черным навесом — черный крест на тайных могилах.

Прошлогодняя сухая трава, стебли замерзших цветов торчали из-под снега, качались под ветром.

И казалось, Горе-злосчастное носилось с ветром по снегу, по сухой траве, по замерзшим цветам над черным крестом тайных могил.

Безысходное подымалось оно белым пламенем в снежном столбе и там, за облаками, перед холодным лицом звезд безответно и безнадежно тосковало вместе с недосмеянным смехом, с недоплаканным плачем, словами не высказанными.

3.

Было тихо и жутко по-вечернему.

Отошла вечерня.

Сменились часовые у одноглазой облупленной башни.

Заперли крепостные ворота.

Сумрак, сгущаясь, кутал пустынные здания.

И пропал в сумраке тесовый крест на фундаменте заложенной церкви против окон кирпичной тюрьмы.

Жандармские жены укладывали спать ребятишек.

Ребятишки хныкали.

Звякали шпоры в казармах.

И подымалась по лестнице жандармская шашка, шла пугать ребятишек.

Старый вахмистр, щетиня седые брови, прошел в дежурную, громыхая ненужными тюремными ключами.

Совсем затормошили старика любопытные: все хотят знать и о всем расспрашивают.

Старого вахмистра ко сну клонило.

В белом комендантском доме засветились огни.

Раскладывали в гостиной зеленые карточные столы. Ставили на стол по две свечи.

Старый хозяин, комендант, приглашал за карты гостей. Улыбалось его мягкое масляное лицо, и маленькие глазки, черные, как жгутики, прыгали от любезности.

Начиналась в белом комендантском доме игра.

Узорные стрелки старинных часов на крепостной колокольне шаг за шагом подвигались к ночи.

Ветер, зацепляясь за стрелки, толкал их к полночи и шипел от ярости.

Но медлила полночь.

В угловой камере каменной старой тюрьмы, темной и глухой, сновало что-то и ломалось в невыносимой тоске.

Исполосованная, исцарапанная стена, одетая тьмою, не заглядывала в окно камеры.

И смотрело окно, как проломленный глаз.

В углу камеры висел образок В о с к р е с е н и я.

Он висел с тех самых пор, как в первый раз привели в застенок и навсегда захлопнулась дверь.

И странный лик, дробя тьму странным светом, глядел из угла с образка.

И поднималось с углов и со стен камеры все затаенное, все убитое и пропавшее, чему не было выхода, чего нельзя было высказать — поднималось в угол к странному свету.

Но свет мигал дьявольским глазом и не принимал нестерпимой тоски человеческого горя.

Надежды, замеревшие, желания, сожженые в сердце припадали они к камню, к непреклонной стене, неутоленные, неутолимые.

И не светлое воскресало среди скорби и отчаяния, темное воскресало в царстве муки и неутоленности, чтобы мучить безответно, чтобы повелевать мучить человека человеку и мстить за казни казнями.

В пустынных зданиях крепости мелькали огоньки.

Часовой на часах у одноглазой облупленной башни с золотым ключом на стальном шпице, кутался в тулуп.

Ему казалось, там, по крепостному двору от церкви до манежа прохаживался кто-то в красном, как палач, подпоясанный веревкою, в красной шапке, как палач, и покручивал плетью.

И в ветре визжала плеть.

В белом комендантском доме над зелеными столами нагорали свечи.

Шла игра.

Старый хозяин-комендант уверенно играл, обыгрывал гостей. Везло, как всегда.

Вытягивая щетинистые усатые губы и сопя, будто думая, уверенно резал комендант.

И вдруг с тревогою опускал он руку в карман.

И похолодевшими пальцами нащупывал теплую счастливую веревку, снятую когда-то с шеи казненного.

Мягкое масляное лицо его улыбалось, а маленькие глазки, черные, как жгутики, прыгали от любезности.

И пробила полночь.

За рекой перекликнулись петухи.

ПРИДВОРНЫЙ ЮВЕЛИР

1.

— Они сами не знают, чего хотят! — говорил одинокий старик-ювелир, проживший сотню лет и в сердце похоронивший века.

Сгорбленный, совсем карлик, шутя и балагуря, казалось, он охаживал вкруг человеческого сердца, отыскивая своими тон-

кими пальцами глубоко запрятанные живые и теплые тайники и раскрывал их легко и проворно, как свои шкатулки, наполненные жемчугом и редкими камнями, и упорно засматривал в самую душу и слов и помыслов, кишевших в тайниках сердца.

День и ночь, не расставаясь, он возился с своими камнями, перемывал их, перекладывал: то рассыплет по бархату и шелку, то прикинет к себе, к своему рубищу.

И глаза его наливались, маленькие, становились как тарелки.

По вспыхивающим мельчайшим граням драгоценных камней он читал вековые тайны.

И одно за другим выступали перед ним преступления, становились они рядами, как солдаты, и он играл в них, как в солдатики.

И не было уж преступлений, было одно преступление, и оно гнездилось во все времена и на всех концах человеческой жизни.

Из всех времен и со всех концов собирались к старику драгоценности в его убогую, изъеденную молью и плесенью конуру, ютившуюся в подвале на главной, самой людной улице.

Давно старику мечталось перебраться в горы и там построить такую неприступную башню, чтобы с высоты ее безопасно и незаметно наблюдать землю.

Но этой мечте не дано было осуществиться.

А время было любопытное, и было что посмотреть с нагорной высоты в башенное окошко.

Не город, не деревня, — вся страна от моря и до моря охвачена была одним безумным желанием.

Все желания из самого тягостного и каторжного обихода скручивались и вырастали в грозный бич, и ураганом подымался бич, тяжелый и слепой, летел от моря и до моря, крича на крик свой единый крик:

— Воля!

— А вы знаете, что такое воля? — подмигивал одинокий старик.

Жизнь человеческая ценилась пустым плевком, и плюнуть и растереть ничего не стоило.

Казнили людей, как блох. Подстерегали, ловили человека, и тут же прихлопывали, как блоху на ногте.

Как милость, вводили в тюрьмы с эшафотов и, как милость, давали жизнь, заточая навечно.

Никогда еще подозрительность человека к человеку не вырастала до таких размеров, и друзья, встречаясь и пожимая друг другу руки, на случай хоронили в кармане нож.

По темным углам, по закоулкам творилась лютая измена.

И копались подкопы под последние твердыни и устои жизни.

Разрывные снаряды изготовлялись на широкий сбыт, как самый легкий и ходовой товар, и изо дня в день сбывались и оптом и в розницу, как спички.

По темным углам, по закоулкам, душили и вздергивали на веревочке приятели приятелей.

На улицах повсюду перемащивались забрызганные кровью мостовые: камни, накаливаясь от зноя, пропитывали воздух хмельным заразительным запахом крови.

Мирные улицы, хмелья, впадали в исступление.

И лошади бесились, нося на подковах кровь.

А в деревнях на поле колосились червонные колосья, и созревал хлеб, чтобы закровенившимся зерном отравить людей.

На улицу выходили мертвецы. Останавливали мертвецы своих знакомых, вмешивались, как живые, в их будни.

А живые, как мертвецы, бросали дом и уходили на кладбища и там, вступая в царство мертвых, устраивались в гробах, как у себя дома.

Пророки проповедовали новое царство и бесстыдно продавали свое пророчество.

А верующие сходили с ума, и убивали себя, с горечью бросая земле свое последнее слово:

— Нет на земле правды!

А беспощадный безумный бич взвивался, тяжелый и слепой, и ураганом летел от моря до моря, гремя громом свой грозный крик:

— Воля!

— А вы знаете, что такое воля? — подмигивал одинокий старик, проживший сотню лет и в сердце похоронивший века.

2.

Накануне великого дня, который обещал открыть новый свободный день и перевернуть всю землю, рано утром разбудили ювелира, посадили в черную гербовую карету, в какой возили только важных сановников, и под конвоем повезли во дворец.

Через опущенные занавеси окон старик чувствовал сотни вонзающихся в него острых, заостренных ненавистью глаз.

И казалось ему, от этих колющих глаз накаливались стекла, и дребезжало под колесами, готовое вдребезги разнести карету.

За последние дни совершилось много насилий всемогущими временщиками, в руки которых попадали города и жизнь и смерть народа, и подобные сановные кортежи провожались не добрым взглядом и не всегда кончались добром.

Но ювелир — простой человек.

Старику никто не давал права ни карать, ни миловать, ему только приказано было вычистить начисто золотую корону, в которой появлялись короли в редкие дни объявлений государственных актов исключительной важности.

Кому же, как не ему, старому и испытанному, умевшему так мудро держать за зубами свой острый язык, доверить ослепляющую своим блеском королевскую корону?

Шутя и балагуря, поднялся ювелир по золотым дворцовым лестницам.

И там, в отведенном ему зале, запертый, под замком, взялся за работу.

Это был редкий случай увидеть вещи, о которых старик только мог догадываться.

Не мало чудес совершилось у него на глазах, и не раз обезумевший народ сгонял с престола своих законных властителей, и всегда в таких случаях выплывала на свет корона для нового короля, и старик призывался подновлять и заделывать прорехи, но никогда еще из заваленных дворцовых кладовых не появлялось столь великолепного произведения человеческих рук.

Подлинно, в завтрашнем великом дне таилось неслыханное.

С великой бережливостью, трясясь, как над святыней, которую, ревнуя, может всякую минуту попрать нелегкая, повынимал он камни из короны и, чуть заметный в огромном зале, кутая сухие зябкие плечи в теплый драный платок, забегал тонкими пальцами по сокровищам.

И играл он сказочными яхонтами, сине-синими, и алыми, и черными камнями, и изумрудами, пышащими весною, перевертывал, перебрасывал, вдыхал, как живое, на ловкий змеиный язык, катал на чуткой ладони, строил рядами, сгребал в кучу и замирал, весь зеленый, и алый, и сине-синий, и черный в смешанном первородном свете.

Тьма тем человеческих голов мелькнула перед ним, тьма тем рук протянулись к нему.

И вереницы прошли и заполнили весь зал, унизали сверху донизу все стены, и там, под звездным куполом зала, повисли и закачались безрукие, безногие.

И глянули отовсюду глаза.

Задыхался старик, рассыпал камни.

Цеплялись камни, прилипали к его рухляди, катились, перекатывались по коврам, по парче, по мрамору, и гудели, как колокол.

Этот гул и блеск выворачивали ему глаза.

И глаза его наливались — маленькие становились, как тарелки.

Он видел и первый, и последний день человеческой жизни.

Он чистил, торопился, начищал камушки и, делая всевозможные сочетания и располагая их, как находил лучшим, вставлял в корону.

Он узнал ее, древнюю, на которую посягнуть не решится ни одна сила в мире, и которая притягивает к себе человека.

В сумерки, когда зажглись люстры, и поднялся старик с своего места и в короне, как король, стал посреди зала, корона дала такой блеск, от которого дрогнули несокрушимые дворцовые стены.

Так и завтрашняя воля, долженствующая перевернуть землю до основания, завтра же, в новый свободный день полетит к черту под этим блеском, и в три дуги согнутся рабьи спины и трижды на смерть поклянется глухая подпольная месть разбить трон и рассеять самоцветные камни несокрушимой королевской короны.

— Они сами не знают, чего хотят!

Старик спускался по золотым лестницам среди подобострастных рядов, провожаемый льстивой улыбкой, под которой наглость брала города и дрожала мелкая душонка.

3.

Час ночи прошел.

Просыпался свободный день.

Желание воли, рвавшееся с такою болью и безумием, притупилось.

И безумный бич, тяжелый и слепой, не летел летом, не бил набатом, желание, заглушенное королевским обещанием, бичом гнало на улицы, собирало на площади, приковывая и старого, и малого друг к другу.

И толпы с перекошенными подозрительностью глазами, тысячу и один раз обманутые и обманувшиеся, тесно и угрюмо шли с подкатывающим к сердцу отчаянием.

Старик, кутая сухие зябкие плечи в теплый драный платок, сидел в своей конуре.

И глаза его маленькие становились, как тарелки.

И был в его глазах сам ужас и тоска, и хохот.

А мимо окна шли и шмыгали тысячи ног неуверенно, как пьяные, и пьяные от отчаяния.

И, потирая руки, старик, как посаженный на кол, корчился весь при мысли о сегодняшней воле.

И поднявши однажды из глуби человеческих жизней всю жизнь и взглянувший однажды в глаза первому и последнему дню, он смеялся, бросая в свободные толпы насмешки и шутки.

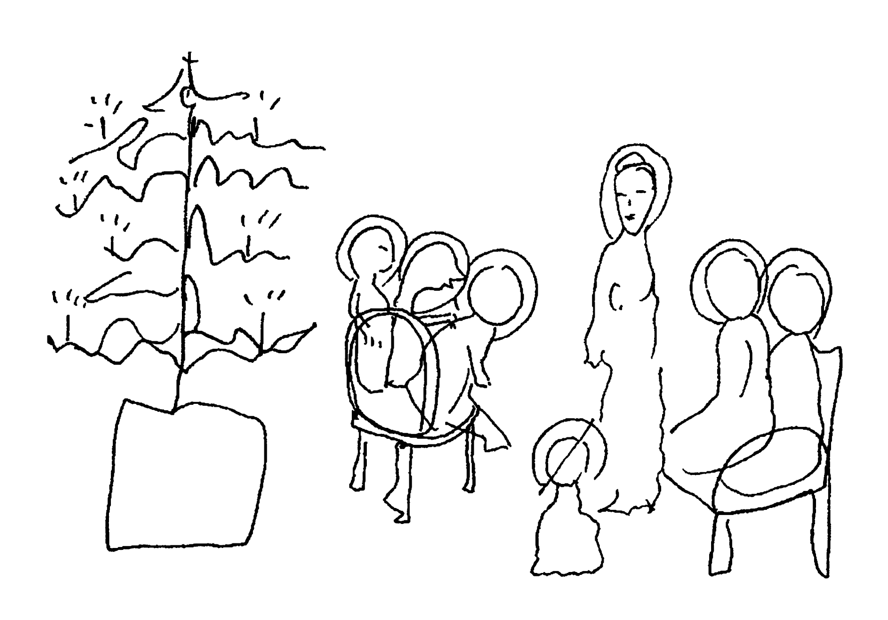
А на воле свободная занималась заря над свободным городом и, наливаясь тоской, разгоралась, чтобы кровавой и тоскующей завековать век.

1900—1915
1922
Charlottenburg

ВЕРЕНИЦА

Рассказы
о свете человеческом

Человек человеку свет



БЕБКА

Долгая зима ушла, такая вьюжная: опоясанная льдистым северным сиянием. Всю зиму вьюга засыпала снегом промерзшую землю и белый снег лежал, погребая и лес, и реку.

Дом, где я жил, чуть виднелся, и только клубы пугливого дыма говорили о жизни. И в доме было тихо по-зимнему, лишь изредка постукивал молоток да визжала дратва у моих соседей.

Теперь весна, такая нетерпеливая, горячая, северная весна.

Каждое утро дверь в мою комнату сначала вздрагивает, потом немного поддается вперед, и, наконец, приотворяется.

— Бубука пусти, пусти Бубука, Бу-бу-ка! — слышится детский настойчивый голос.

Входит маленький толстенький мальчик или в сером халатике, или в красной рубашечке и синих штанишках.

— Бубука, сделай мне пищик, — и подходит к столу.

— Какой пищик? — не отрываясь от работы, спрашиваю Бебку.

— Как у парохода!

— Не умею я пищиков делать.

— Так я тебе пищик покажу!

— Ну хорошо, только не теперь, после, Бебка, я сейчас занимаюсь.

— А ты надень пальто, шапку, застегнись и идем, а потом и занимайся.

Я ничего не отвечаю, стараюсь сосредоточиться на моей работе, и делаю сурьезное лицо.

Бебка отошел от стола. Бебка уж ползает по полу, собирает лоскутки цветной бумаги и бережно свертывает бумажки.

— Ты что там делаешь, Бебка?

— Конфетку делаю маме: она съест ее. Вчера мне дала мама много-много больших конфетов, а тебе не прислала.

— Отчего же не прислала?

— Я тебе сам принесу, когда приедет папа.

— А скоро папа приедет?

— Скоро.

Бебка влез на стул и долго глядит на цветы.

— У тебя, Бубука, цветов много?

— Много.

— И желтых?

— И желтых.

— Дай мне один цветок!

Я вынимаю из стакана цветы.

— Вот, бери, Бебка, все и поди погуляй, а после я пищик тебе сделаю.

— Как у парохода?

— Лучше, чем у парохода, только иди и погуляй.

Бебка берет цветы и, роняя их по дороге,уходит.

В открытое окно мне долго слышится детский голос — это Бебка поет в роде песенки:

Бубука все цветы отдал!
Бубука все цветы отдал!

Снова принимаюсь за работу, но ничего не выходит.

Мне видится Бебка: он роняет цветы и поет...

Не проходит и часа, опять за дверью голос. И Бебка быстро подбегает ко мне:

— Бубука, на тебе! — и вынув изо рта замуслеванную конфету, подает ее мне.

Я делаю вид, что сосу.

— А теперь давай!

И отобрав у меня конфету, Бебка идет в соседнюю комнату, где работают сапожники; Иван Онуфрич — «Длинный» и Петр Андреич — «Рогатый». И у сапожников повторяется то же самое.

— А теперь давай! —настойчиво требует Бебка свою замуслеванную конфету.

Я опять принимаюсь за работу, но мне видится Бебка: в одной руке у него замуслеванная тоненькая конфета, в другой цветы — он роняет цветы и поет:

Бубука все цветы отдал!
Бубука все цветы отдал!

* * *

Или зима обернулась? Или весна устала греметь ручейками и выводить на свет желтые Бебкины цветы?

Стало холодно.

Утром серебряный тонкий покров лег на нежную зеленую озимь, а коричневые волны с белыми, как груди чаек, гребнями метались под крики стального вихря, прилетевшего с тундры.

Бебка скрылся, больше не показывается.

Случайно я проходил мимо дома, где живет Бебка и в окне увидел его: он по-зимнему в комнатах играл с ребятишками, в своем сером халатике и в высоких с резинами калошах, надетых на чулки.

А сегодня, когда вихрь улетел в свою тундру, и солнце, играя, пошло собирать стада пушистых облаков, снова вздрогнула моя дверь.

И вошел Бебка.

— Ты где это пропадал, Бебка?

— Пчелов ловил.

— А я тебя видел!

— Где ты видел?

— Я в лесу тебя видел, да ты не узнал меня. Ты меня совсем забыл, Бебка. А ну-ка скажи, как меня зовут?

— Бубука!

— А еще как?

Долго молчит Бебка, потом хватает меня ручонками за шею, лезет ко мне на колени. И шепотом вместо на ухо говорит мне на нос:

— Иседи-бу-бука... — так по-своему переделывая имя Алексей на восточное сказочное «Иседи».

* * *

Пароход идет! — вижу его из окна: далеко мелькает что-то, словно серая льдина. Все бросаю, спешу на пристань: первый пароход после долгой зимы.

Дорогой мне попадается Бебка; он в длинном пальто со штрипкою ниже талии, на голове пушистая синяя шапка блином, с пампушкой посередке.

— Бубука, пароход идет, возьми меня с собой!

И мы беремся за руки и бежим на пристань.

На пристани Бебка усаживается на перила лестницы. Долго ждем. Наконец, пароход подплывает и долго пронзительно ревет. И во все время Бебка вытягивает губы — тоже старается за пароходом.

— Ну, Бебка, поедем к людоедам.

— Сам поезжай, а я не поеду!

Бебка таращит глазенки, словно хочет еще увидеть что-то.

— Тогда пойдем домой, больше ничего не увидим.

Медленно взбираемся на берег. Бебка поминутно оглядывается: не уйдет ли пароход обратно?

По реке скользят лодки. Чайки кричат.

— Как пойдет пароход,— говорит усталым голосом Бебка, — ты беги, Бубука, беги!

После обеда пришел Бебка и молча стал около меня.

— Здравствуй, Сака-фара!

— Сам ты Сака-фара! — недовольно ответил Бебка.

— Что это ты губы-то распустил, ишь ты какие они длинные у тебя, словно у Агаги какой. Побил тебя кто?

Бебка молчал.

— Ты не обедал?

Бебка молчит.

— Чаю хочешь?

Бебка молчит.

— Вот что, Бебка, пойдем-ка да заснем. И я с тобой лягу, расскажу тебе страшную сказку.

И беру его на руки, несу на кровать. Делаю ему «долгую-долгую козу» и «сороку с холодненькой водицей» и, дуя, грею животик, — но он не улыбнется. Тогда я закрываю глаза и начинаю посапывать, будто заснул.

— Бу-бу-ка! — тихо говорит Бебка.

— А! это ты, Бебка, а я думал, Агака пришел!

— Сказку! — еще тише говорил Бебка.

И начинается сказка древняя пермская о лисе и мерине.

— Когда-то в старину жили-были мерин да лиса, жили они дружно, приятелями, в лес ходили...

— На пароход ходили, — Бебка зевнул и затаращил глазенки.

— И на пароход ходили, вместе спали после обеда и цветы собирали желтые, пищики делали...

— Как у парохода? — сонно спрашивает Бебка; личико его розовеет, губки надуваются и оттопыриваются.

— И вот случилось раз, не стало у них хлеба, а есть хочется. Мерин и говорит: «Лисанька, Лисанька, давай жребий бросать: кому кого съесть?» И стали кидать жребий. Кидали, кидали — упал жребий мерина съесть. Мерин и говорит: «Иди ты, Лисанька, ступай к волхву за ножом!» Ушла лиса и стала петь...

Но Бебка спит.

Я тихонько слезаю с кровати.

И недолго спит Бебка: просыпается вдруг — испугался: весь мокрехонький — заплакал.

* * *

Хмуро — холодное утро.

Все северные реки тронулись и идет лед к Студеному морю. Оттого и хмуро — холодное утро, и река посерела и дождь пошел мелкий, как осенью.

Я сижу у окна.

Ветер протяжно и долго гудит.

Вдруг вижу Бебку: он стоит на берегу, подсучил себе до колен штанишки, глядит в даль реки.

— Здравствуй, Бебка! — кричу из окна.

— Бубука! — звонко отвечает Бебка, — пароход пришел?

— Не знаю, а пищик?

— Свистульки у меня нет, ты сделай мне, Бубука!

И я принимаюсь делать свистульку и забываю хмурое холодное утро.

* * *

— Я тебе цветов желтых принес! — вбегает ко мне Бебка, расстегивает штанишки и вытаскивает измятые одуванчики.

Я беру цветы, застегиваю ему штанишки.

— А теперь пойди лучше к Ивану Онуфриевичу, я сейчас занимаюсь, Бебка. Кончу, я тебя позову.

— Тогда я к тебе никогда не приду!

Из соседней комнаты до меня доходит разговор.

— Ты козла содрал, Рогатый? — спрашивает Бебка.

— Содрал.

— Пищит?

— Сейчас запищит, слышишь? — и «Рогатый» начинает пищать.

— Мама говорит, заяц у нас убежал с кашей.

— Я его съел! —замечает»Длинный».

— А козла?

— И козла.

«Длинный» входит в мою комнату, ставит два стула, вешает на стулья нитки и начинает мотать.

Бебка молча ходит за ним: помогает. Если нитка путается, ждет терпеливо, пока «Длинный» распутает узел. Бебка работает!

* * *

После долгой зимы, встретив неистовую невиданную горячую весну, я собирался уезжать, навсегда покидая дремучий Пермский край.

Догорал вечер,— такой малиновый, нежась, лежал на тихой реке. Река устоялась. Уже по берегам зацветал шиповник.

Принесли ко мне Бебку, проститься — его укладывали спать.

— Простись же с Бубукой, он больше никогда не приедет к нам.

Бебка сонный вытянул губки.

И вдруг увидал он на моем столе собранные в кучу речные камушки.

— Что это, Бубука?

— Это мне кушанье на дорогу.

— Отдай мне.

— Ну, бери: тебе на память, Бебка.

Бебка сразу оживился, собрал все камушки в шапку и заторопился домой. Но когда хотел надеть шапку — камушки посыпались на пол. И Бебка захныкал.

— Иди-ка, Бебка, спать: все камушки принесу тебе. Ну, прощай — прощай!

И Бебку унесли.

А я остался один с камушками, да и те теперь не мои, Бебкины.

Яблонька

Многое можно понять, чего сам никогда, даже и во сне, не сделал бы, но одного я себе не мог представить и не нашел уклонов в самой тьме сердца, чтобы понять, как это так детей истязают, т. е. не один раз шлепок там дадут ребенку, а изо дня в день больно изводят, и пусть от самого жгучего и нестерпимого, пусть от остервеневшего сердца.

Я немало встречал детей и русских и нерусских — нет, этого я никогда не мог, я никак не могу принять! — и знал я людей, у них вся душа была истерзана и сердце надорвано, и свет уж им не мил был, просто им жить было нечем, и одни только дети, — да посмотрите, какое нежное светлое тельце и как они смотрят! — только дети и возвращали их к жизни.

*

Нюшка отца своего, настоящего, никогда не видала. Ей было три года, когда мать вышла замуж. И первый год Нюшке хорошо было в доме и она думала, что Александр и есть ее настоящий отец, но когда родилась у нее сестренка, она поняла и так, и из слов поняла, что ошиблась.

Жили они за Обуховым мостом, у Пахомовны старухи комнату снимали. А как родилась сестренка, съехали на другой двор.

Пахомовна Нюшку баловала: хорошая девчонка росла, внимательная, и хоть куда — «яблонька молоденькая»!

Начал Александр бить Нюшку: и за дело и без дела, и в праздник и в будни, одинаково. И Нюшка теряться стала: и так сделает — побьет, и этак сделает — опять дёрка.

И мать стала бить.

Вернется Александр с завода, попадет ему на глаза Нюшка, — а ведь как не попасться, ты куда скроешься? — увидит, да так саданет кулачищем под подбородок, инда кровь пойдет: «Известно, мужская да чужая рука тяжелая!»

И не то, что Нюшка не родная ему, а то, что в гульбе родилась — мать там с каким-то путалась! — и ничего уж знать не хочет, противна ему девчонка, и как увидит и как вспомнит — мать-то там до него с каким-то путалась! — как вспомнит, да на девчонку, бить.

А мать кричит:

— Давай, я лучше бить буду!

Думала отвадить этак, уберечь ребенка: свое дитё и побьет, да легонько. Ну, да как ни бей — сердце-то вот как ходит! — все больно будет. Вырвет девчонку от отца, да бить.

Так из рук в руки — от кулака под кулак, да вся избитая и ходит, нянчит сестренку.

Если бы с большим такое, тот нашел бы... а ведь она маленькая, затрясется вся — —

— Давай, я лучше бить буду! — закричит мать.

Стояло в углу сломанное судно. На это судно усаживалась Нюшка: подберется вся, скорчится и сидит тихонько, будто ее и нет в доме.

— Проклятое, скотина! — вдруг вспоминал отец и смотрел, не дай Бог на глаза попасться.

Случалось, что Александр выпивал и тогда всем было плохо: он накидывался на Нюшку и лупил, чем придется — и ремнем, и веревкой, и так, пинками — в кровь изобьет, да за мать.

Нет, он не мог простить матери, не мог забыть ей, что путалась, и эта девчонка... и ничего уж знать не хочет, все вспомнил — и ненавистны ему и мать и дочь.

Когда жили у Пахомовны, тихо было и, даже выпивши, не задирал он мать и не поминал ей, а тут — и до матери добрался.

И как еще целы оставались!

А мать, избитая-то — куда ей девать обиду? — да на девчонку и выместит: ведь не будь ее, было бы все! — да на девчонку, да с размаха как хватит.

А Нюшка — отец и на нее и на мать, мать на нее — а ей-то?

Если бы с большим такое, тот нашел бы... а ведь она маленькая, затрясется вся — —

— У! убила б тебя! — закричит мать.

* * *

С год Пахомовна ничего не слышала о своей «яблоньке», и жива ли она, ничего не знала. Забот у Пахомовны есть о чем, да и со стариком своим мается — чего-чего, а горя довольно у всякого — очень пьющий старик, запойный, и как найдет на него, так все и тащит, а не дай, так кулаки сучит.

На Пасху, на неделе собралась Пахомовна в гости по знакомым наведаться, — слава Богу, со стариком у нее потише стало. Пришла Пахомовна к Машковым, глядит на свою Нюшку, а ее

и узнать нельзя: и что такое сталось с девчонкой, не может в толк взять старуха — почернела вся, как чурка, и ободранная и исцарапанная.

— Давно ль вы ее приобщали? — спохватилась старуха.

Да, так и есть: с тех самых пор, как от Пахомовны съехали, ни разу и в церковь не сводили девчонку, с год уж.

Время было до обеда, поздние обедни еще не кончились. Стала Пахомовна просить мать отпустить с ней в церковь девчонку. Мать сначала-то недовольна, — кто без Нюшки за ребенком посмотрит? — а потом согласилась.

И пошла Пахомовна в церковь, повела с собой Нюшку. И опять дорогой, как взглянет, и глазам не верит: и что такое сталось с девчонкой? Но сколько ни начинала заговаривать, молчит Нюшка, только смотрит, и так как-то смотрит, словно бы Пахомовна бить ее сейчас примется.

Так ничего и не узнала старуха.

Привела Нюшку в церковь, приобщила, и опять домой.

«Вошли мы в квартиру, — рассказывала Пахомовна, — и вижу я, девчонка так в угол и бросилась к судну, уселась смирнехонько, голову наклонила и сидит. Смотрю я и ничего понять не могу. Что же это, думаю, с девчонкой такое сделалось, как обезьянка ученая! А мать и говорит: «Это ее постоянное место, при отце она не смеет больше нигде находиться!» Жалко мне стало девчонку, постояла я, посмотрела, простилась и ушла. Иду себе и раздумалась: зачем же я Нюшку-то с собой не взяла, погостила б у меня! приобщила девчонку, а ей как в темнице! Иду, раздумываю, а ноги так и подкашиваются, и чем ближе к дому, тем труднее мне, невмоготу идти, — и повернула назад. Вхожу я в квартиру, а уж девчонка вся-то избита: вся рука в крови и лицо расцарапано. Как увидела я, так у самой тут и заныло: «Не отпустите ли, говорю, ее погостить денька на два, а то очень мне одной скучно!» — матери говорю. А мать: «Ей сестру качать надо! — и не смотрит, а потом обернулась, — ну, да пускай идет!» Я к отцу: «А вы, папаша, отпускаете?» «А чтоб она сгинула, подохла скорее!» — и рукой махнул. А девчонка трясется вся, да глядит так, а сказать-то и не смеет, «что, мол, возьми меня, Пахомовна!»

* * *

И взяла Пахомовна девчонку — яблоньку свою, умыла и пригладила ее — ведь и узнать было нельзя! — и так запугалась, всего боится, а тут и в себя пришла, успокоилась.

Три недели прожила Нюшка у Пахомовны, а дальше и не знает старуха, куда ее девать: держать у себя больше не может, старик опять за свое взялся, долго ли до греха! а отдать «младенца на поругание» духу не хватает.

Случай выручил Пахомовну: нашлись добрые люди, взяли Нюшку — в хорошие руки попала девчонка. Приглянулась она им, а своих нет — да и как не приглянуться: оправилась у Пахомовны и опять хоть куда, как яблонька молоденькая. И повезли Нюшку в деревню жить.

Пропала бы девчонка, совсем заколотили бы ее, издрожалось бы все ее маленькое тельце, погасили бы дух в нем, горькое сердечко ее задохнулось бы от такой ранней, такой нашей горечи!

А Машковы ничего. Машковы живут нынче тихо и ладно, ну, когда выпивши разве, да и то, куда против прежнего. Растет у них Катюшка — отец-то очень девчонку любит!

Машковы живут, слава Богу, не жалуются, а про Нюшку и словом не обмолвятся, ровно и нет ее и не было. Или так: для него она проклятое, и вот сбыта с рук, не мозолит глаз, он и успокоился; а для матери, забыть-то не забыла она, а будто и схоронила свой грех, ведь заел он ее упреками...

Встречаю я как-то Пахомовну, на паровой конке от Скорбящей ехала: старик ли ее опять смутился, а может, и совсем спокойнее стало.

— Ну, как, — говорю, — Пахомовна, что слышно о яблоньке?

А Пахомовна пошарила в кармане, вытащила платок, узелок развязала и свернутый лист почтовой бумаги мне — письмо подает.

И вижу, сама так и засветилась — от Нюшки письмо:

«Приезжай к нам, Пахомовна,
у нас две яблоньки и
земляники грядка, когда
приедете, я вас угощу».

Аленушка

Родятся на свет такие дети, из тысячи заметишь:

из глаз их, в их улыбке глядит сам свет Божий.

С ребятишками трудно, надо все умеючи, но с такими...

эти никогда не в тягость!

Ну, закапризничает Аленушка и на минуту, кажется, станет самым обыкновенным ребенком, каких не мало, за которым и смотреть надо и терпеливо переносить дела всякие зверька малого, но только на одну минуту, и уж снова смотрит, и опять эта улыбка — сам свет Божий играет в ней.

У Аленушки две коски, — две коски с красненькой ленточкой. Она очень маленькая с розовым носиком — шесть ей вёсен.

Не знает она ни читать, ни писать, знает она только песни петь.

* * *

Однажды осенью в слякотный туманный день ко мне, в мою комнату вошла она —

— Здравствуй! здравствуй, Аленушка!

— Здравствуй!

Аленушка повела как-то носиком, — почуяла! — и прямо к игрушкам.

Вся стена у меня в игрушках.

Правда, их не так много — много о них разговоров разных, много живет в них чувств и моих и тех, кто меня любит, вот и кажется много.

И не настоящие они, игрушки, мало настоящих, покупных, они с а м и ко мне п р и х о д я т — я нахожу их или мне их находят.

— Я это знаю что! — Аленушка показала на подкову.

Подкова на стене под игрушками, я повесил ее для счастья — и вот она первая — счастливая! — бросилась в глаза Аленушке.

— Ну, скажи.

— Копыто! — ответила Аленушка.

Аленушка смотрела уверенно:

«Конечно, копыто!»

Но, заметив мою улыбку, почувствовала, что не так сказала.

— Копыто у коней на подковах! — поправилась Аленушка и смеется.

Я снял со стены обезьянку.

Но этого мало, все снимай, все хочет Аленушка поглядеть поближе, а главное, потрогать.

Я подал ей —

лягушку,

слона,

медведя,

белку,

куринаса — остроносого зверя серого с короткими лапками,

лютого зверя,

лисицу,

единоуха-зайца,

доромидошку-трехпалого, черного длинного с черным
долгим хвостом,

скакуна,

стракуна,

змею-скоропею,

белого зайца.

Всех, все забрала Аленушка, на диван разложила — игрушки к ней льнули, как звери к человеку, когда человек давал имена зверям.

Аленушка давала всему свои имена.

И от ее имен начиналась другая жизнь:

голубая подушка сделалась крышей,
вишневый платок превратился в ночь.

И полегли звери спать, — заснули игрушки.

К ним под платок просунула свою мордочку Аленушка — тоже спать.

Шла долгая темная ночь — и, конечно, прошла.

* * *

Первая — Аленушка, первая поднялась она, подвинула стул к дивану, на стул поставила корзинку из-под бумаг.

Тут проснулись и звери.

Корзинка сделалась клеткой, а под стулом стал дом.

И пошли звери друг к дружке в гости ходить да разговаривать.

«Белка в клетке; смотрит белка на улицу через окошко: веселит дом».

«А дом лягушки-квакушки».

«В доме слон, куринас да медведь».

«Стучит в гости заяц с лисой».

«Приняли гостей, пошел разговор».

«Подглядывала в домик змея-скоропея».

— Лягушка-квакушка... — вела Аленушка игрушечный свой разговор, — лягушка молоденькая, умеет прыгать по деревам всё-таки.

—— Слон... старый слоненок катает людей, живет в лесу, детей нет.

—— Медведь на поле живет, может лисицу катать, жена — медведиха.

—— Обезьянка умеет на деревах лазать, умеет чихать.

—— Куринас-зверь никого не катает, не лазает, просто он ходит по лесам, грибы ест.

—— Лютый зверь — горничная у лисы, служила прежде у зайцев.

—— Вермидошка — великан-зверь, мама зверей, у него зубки есть, руки есть, как у обезьянки.

—— Белка-кухарка, варит орешки, пушистенькая.

—— Скакун-прыгун по кустам в жаркой стране.

—— Стракун-кузнечик, чик-чик...

Находились звери друг к другу, надоело по гостям ходить, настал у зверей вечер — задремали звери.

Заскучала Аленушка.

— Аленушка, а песенку?

Трогаю, глажу ей коски.

И опять так весело смотрит — и опять засмеялась.

Ветер по морю гуляет
И корабель подгоняет...

Поет Аленушка свою песенку...

— Аленушка, когда ты глядишь на меня, весь мир из твоих глаз смотрит с пригорками, с елочками, с березками. А когда улыбаешься, сам праздник, ясный день горит в твоей улыбке — васильки там, кашка, колокольчики там, и кукует кукушка.

* * *

Мы сидим на диване: так — я, так — Аленушка, рядом.

Аленушка рассказывает мне о какой-то Надежде Сергеевне — которую она знает, о каком-то Валерьяне Сервестовиче — над которым долго бьется, выговаривая мудреное имя, и о каких-то

детях — о Тане, Юре, Оле, Наде, Кильке, и о какой-то Лидии Васильевне — которая знает много сказок.

А сама она, Аленушка, знает только одну.

— Какую ж?

— О Дедке Морозе.

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли, красная?»
«Тепло, дедушка!».

Аленушка смотрит — и видит, и светит.

— Аленушка, я очень люблю мои игрушки, я разговариваю с ними, как с тобою. И я их тебе все отдам, если хочешь. И самые любимые: лебедя, коня, петушка, красного слоника, мышку, все тебе дам. Только одну... оставь мне одну, заветную, эту — оленя-золотые рога. Я, Аленушка, задумал большую думу и мне без оленя никак нельзя: он ночью золотыми рогами мне посветит дорогу...

Ни оленя — ничего не взяла Аленушка.

Только посмотрела еще раз на игрушки.

Со стены живые они смотрели — и какие важные:

Заяц ухо оттопыривал,
Лютый зверь ершил свои седые брови,
Лисица носом крутила своим лисьим, одни ноздри чернелись,
Куринас-зверь, легкий и быстрый, у них мудрец первый,
подавал свою шершавую лапу.

Аленушке одна только белка понравилась, белка-кухарка.

И с белкой на минутку скрылась Аленушка.

А когда вернулась в комнату, стала с белкой у окна и долго, молча, все ее тискала.

Потом разговаривала с ней, потом —
хвостик у белки отпал.

Оторвала Аленушка хвост, любя, конечно.

* * *

Пришло время домой уходить, прощаться.

Стали мы прощаться.

И уж как целовала Аленушка белку и хвост — а взять и ее не взяла, и хвост не взяла: все мне оставила.

Пеструю ленточку из-под конфет подарил я Аленушке.

Поцеловал ее в лобик, поцеловал и коски ее, и ту и другую, с красненькой ленточкой.

Мурка

У меня есть два маленьких приятеля: Иринушка и Кира, брат с сестрою.

Я застал их в страшном горе:

собаку их Шумку съел волк.

Из Теремка костромского пришло это печальное известие в Петербург.

— Шумку волки съели, — встретили меня оба в один голос и так же одинаково добавили: — один Шумкин хвост остался.

О хвосте, оставшемся после съеденной Шумки, конечно, из Теремка ничего не сообщалось, они это сами себе сочинили в утешение.

— Шумку волки съели! — повторяли они в один голос на все лады, и другого разговора не выходило, все только о Шумке.

Волк съел Шумку с месяц, и недели две назад, как пришло из Теремка известие, и за эти две недели дети не могли успокоиться, — все мысли их были заняты съеденной Шумкой, собакой простой, дворняжкой, привыкшей к своей конурке, да к костям, какие попадали ей из кухни на обед и ужин.

Детям Шумка представлялась чем-то особенным и ничуть не простым, во всяком случае была она вроде человека, как папа и мама, только что не говорила, говорить по-нашему не умела, а зато на папе и маме не покататься, как на Шумке.

А волк — волки — волк, взял да и съел Шумку, один хвост оставил.

«Ах, волк ты серый волчище, — пел я волку — Ивана-царевича из беды выручал и от смерти спас, а тут такое устроил! Да если б хоть раз в жизни своей волчиной увидел ты Иринушку мою, носик ее (Иринушка — курнопятка у меня), и как она смотрит, да никогда бы ты и не захотел съесть Шумку. «Я твою Шумку трогать не буду, буду ходить по лесу, будет Шумка бояться меня, но уж тут я ни при чем, я волк!» — сказал бы ты, волк, недогадливый. Ну, что бы тебе хоть раз, один раз, посмотреть на Иринушку».

— Ну, вот что, — сказал я моим приятелям, — будет у вас вместо Шумки котенок, Муркой назовем, согласны?

— Согласны.

И я рассказал им о Мурке, какая она такая.

— Маленький, вот такой, котенок с длинною шерсткой, а молочко так хлебает... усы напыжит и мордочкой покачивает, Мурка.

Я сказал им об этой Мурке потому, что как раз накануне был я у знакомого и тот предлагал мне котенка взять: два котенка у него, — кошка Мурка и кот Кузя. Я тогда отказался, но теперь, желая чем-нибудь загладить волкову промашку и утешить Иринушку, решил взять котенка-Мурку: пускай она вместо Шумки в Теремке живет, в Теремке с детьми ей хорошо будет.

И! как обрадовались, забыли и Шумку, хвост Шумкин, лютого серого волка — волков, и уж весь вечер только и говорили, что о пушистом котенке, о моей Мурке.

— Завтра часа в три принесут вам Мурку! — простился я с приятелями.

И утешенные, с Муркою в своих немудреных думках, пошли они к себе в свою детскую: завтра будет у них Мурка.

Я известил знакомого, дал ему адрес и попросил завтра же к трем часам послать детям ту самую Мурку, от которой я отказался.

И знакомый мой ответил мне, что все исполнит непременно: труда ему особенного не будет — от Покрова до Мясной улицы три шага, близко, и котенка не простудишь.

Я так был уверен, что он все исполнит.

«Ну, — думаю, — теперь уж мучают Мурку, но и любят, как, конечно, ни я, ни тот мой знакомый не полюбили бы, и говорят с ней, разговаривают, как только могут одни дети говорить с животными, как-то и запанибрата и с уважением».

Через месяц встречаю их мать.

— Ну, что, — спрашиваю, — как Мурка?

— Какая Мурка? — и рассказала она мне, каких я ей дел наделал, каких хлопот с этой Муркой.

Оказывается, никто и не думал присылать им котенка.

А как дети-то ждали! С утра с самого на всякий звонок бегали к двери, не несут ли котенка, не идет ли Мурка? И за стол не усадишь, не едят ничего, все ждут, до ночи ждали...

Я к знакомому:

— Что же это, — говорю, — там ждали, а вы...

Оправдывается: отдавать будто ему тогда жалко стало.

— Весной, — говорит, — будут котята, вот тогда одного непременно уж пошлю.

Ну, ладно, будет весною новая Мурка, утешился я, да и детей утешил.

— Весной, — говорю, — будет вам Мурка, а теперь холодно еще, простудить можете, она маленькая.

Пришла весна. Вспомнил я о приятелях моих, вспомнил обещание мое, вспомнил, как ждут они, и пошел к знакомому котенка просить.

И что же, опять постарался: кота Кузю испортил, а Мурку держал взаперти, какие уж котяты!

— Да помилуйте, — говорю ему, — что же вы сделали, ведь там ждали, там ждут! Что я-то им скажу? Ведь, если бы вы знали, как ждут...

Смеется, смешно ему, что̀ не понимаю.

— Кот лучше будет, понимаешь, сытый будет, добрый кот, Кузя, да и мебель новенькая, испортил бы мебель...

— Мебель! Да что мне ваша мебель, туда ей и дорога, и пускай был бы кот драный, пускай бегал бы из дому, пропадал бы и виновато возвращался домой исцарапанный, голодный, паршивый. Мне котяток надо, котенка, Мурку! Что я скажу им, Иринушке и Кире, как я им на глаза покажусь? «Где, — спросят,— котенок?» Что я им отвечу, где?

И я ушел с пустыми руками, шел я мимо моего дома, мимо дома Иринушки.

«Иринушка, я тебе котенка достану, ну, если не я, все равно, он у тебя будет, маленький, Мурка. Ведь так ждать, как ты ждала, оба вы ждали, да вам за это все, что хотите, должно быть и будет. Котенок почует — он зверь, как и волк, котенок почует, сам прибежит, без всякого кис-кис прибежит. Он у вас будет. Ведь вы его и не видя любите, и как любите! А любовь тянет, за версту услышишь, из века почуешь, — он будет у вас непременно маленький с хвостиком и с длинной шерсткой, Мурка».

Чудо

За чудом далеко не надо ходить, а за границу ездить и подавно.

Оно тут всякую минуту перед глазами, только смотри и замечай. Жаль, замечают так мало. А не замечают не потому, чтобы котятами, что ли, барахтались в жизни, нет, не так это просто: каждому из нас больше отпущено, чем сами мы о себе думаем. Не замечают совсем по другим причинам: или от своей ужасной занятости, или, странно сказать, стесняются что ли...

Живя в городе, читаешь по утрам газету, днем толчешься с людьми по занятию своему; газетные известия — на бумаге, а бумага все вытерпит! знакомые твои — круг такой тесный, очертенелые суды и пересуды.

А как люди живут, народ живет, все это в миллион раз больше твоего круга, откуда увидишь?

Знал я одного, никогда не выезжавшего из Петербурга, — за делами все, не было и минуты свободной, так для него народ волей-неволей в полотере сошелся: придут полотеры пол натирать, поговорит с ними, ну, будто и к народу, к земле прикоснулся. И сколько лет так через полотера на свет Божий смотрел, да так и помер.

А то один с извозчиками век свой вечный проговорил.

С самим-то с собой, да с событиями из газет, да с людьми с теми, что всякий день встречаешь, так, должно быть, очертеет, тут и полотеру рад и за извозчика возьмешься.

Скажу вам, тоже в трамвае можно видеть много, если смотреть. Разговор, конечно, заводить не придется, и слушать, пожалуй, мало чего — в трамвае разговаривать не принято, но больше и главное смотреть.

*

Сел я раз у Гостиного. Днем это было. И как на подбор, полон трамвай и таких ужасных зверских, не зверских, а насекомых каких-то лиц.

Вы представьте себе таракана, только страшно увеличенного, или блоху, только страшно увеличенную, и отбросьте от всех от них усики всякие, крылышки. Или у червяка ножки его червячьи и туловище. Одну их голову возьмите и увеличьте ее до крайности, — вот какие собрались лица.

Когда идешь по Невскому и встречаются такие чудовища, впечатление как-то сглаживается — все это идет мимо, другим сменяется, ну, а тут на полчаса, на четверть часа ты окружен ими, и невольно смотришь и рассматриваешь.

Так и едешь.

Так мы ехали.

Около Николаевского вокзала у Знаменья вошел какой-то не то мастеровой, не то стрелок трамвайный, что по трамваям милостыню собирает, огромный, опухший весь, а с ним девочка и мальчик:

девчонку он на руках внес,

а мальчишку за руку тянул.

Место освободилось.

И он примостился с детьми прямо против меня.

День был весенний, а все не так еще тепло, чтобы налегке так: ребятишки легко одеты были, только что калоши высокие с резинками у девочки, а у мальчика сапожонки одни, больше росту, задеревенелые.

Девочка примостилась на коленях, а мальчик как-то за спиной отца держался.

Глаза у девочки совсем светлые, а у мальчика совсем черные.

И оба смотрят невесело, молчат оба.

Повернули на Суворовский, едем — —

Смотрю я на детей, и вдруг отец их, мастеровой он или стрелок нищий, мне было совсем неважно, говорит что-то...

Какими словами он это сказал и сказал ли, не разобрать было, но я понял, что просит он, как поняли это все с насекомыми лицами соседи мои.

Поняли они, я это ясно почувствовал.

Но никто не шевельнулся.

И так до следующей остановки проехали, и показалось мне, что очень много и страшно долго.

*

И вот один кто-то из всех нас, таракан какой-то, сунул в руку этому мастеровому.

А за этим тараканом и все потянулись, весь трамвай —

блохи, мухи, мокрицы.

Я посмотрел на чудовищ моих, а у всех глаза опущены — никто не смотрит, ни в окно, ни на соседей.

Одни мои глаза смотрели — —

Нет, еще смотрели те совсем светлые, — девочка смотрела.

И я не узнал никого.

Как странно! Или не тот вагон? Лиц не узнал я.

Это были совсем другие лица,— и ничего-то не осталось ни тараканьего, ни блошиного.

Девочка болтала калошами, а глаза так и светили, такие светлые —

Мальчик что-то заговаривал, в окно посматривал, пальцем по стеклу водил.

Как странно! Я все смотрел, и до последней остановки до Охты — до перевоза доехал, все смотрел. А все сидели, совсем не те.

И у всех глаза были опущены.

Какая-то старушонка — паучихой показалась мне там, у Гостиного — перед тем как вылезать, сгорбленная такая, качаясь, чуть не падая, костлявой жалкой рукой потянулась со своим медяком.

И пошла —

И тут я увидел —

глаза ее запалые, заплаканные — совсем не паучиха! — до того горько смотрели и, может быть, в последний раз смотрели, а завтра там увидят — что-то да увидят,— и, может быть, кому о нас всех расскажут, все наше, это расскажут.

Звезды

Вот, думаешь, иногда, и особенно в минуты, когда проволочным загорождением огородишь себя от мира, или нет, когда в самую гущу жизни войдешь и весь обцарапаешься, — что если бы собрать все улыбки, от которых тлеет на сердце, все взгляды, от которых и в самой густой темноте светлеет, соединить это все и показать миру!

Да ведь как бы тогда ожил мир, земля ожила бы!

Ведь это было бы для мира, что теплый дождь земле, после которого дышать легко.

Я и у больших, и взрослых встречал, но у детей чаще, какую-то такую радость, захватывающую всю твою душу, отчего сердце ходит, и так бы вот вышел куда на площадь и прокричал бы всем о ней, что видел ее —

эту радость,

и зову всех, всех, всех посмотреть, пока еще не поздно.

Моим соседом в трамвае оказался мальчик и с ним нянька, строгая такая, русская, со шрамом на лбу, и сердечная. Я видел, как она все посматривала на мальчика.

Зимой вечером это было в освещенном трамвае — ехал я по Бассейной с Михайловской.

Мальчик повязан был башлыком, личико бледное, а глаза минутами прямо как у большого, и большие такие, ну, звезды.

Не переставая, рассказывал он няньке и все как-то руку подымал — варежку свою черную с одним большим пальчиком.

Из всех разговоров его я понял, что лежал он в больнице, и вот нянька везет его домой: выписала. Матери у него нет, с отцом он живет, и, должно быть, не очень-то живут. Отец служит где-нибудь, чиновник. За мальчиком нянька ходит.

Лежал Женя в больнице, болен был и трудно — шейка у него белым носовым платком повязана.

Что такое могло быть с ним, скарлатина, дифтерит или еще какая болезнь опасная, только видно было, близко подходила к нему его ранняя смерть.

Женя рассказывал няньке, как в больнице к одной девочке мать приезжала и привезла много пирожных разных — «трубочки». И он тоже ел их. И почему-то было очень смешно.

Женя рассказывал, словно только-только что говорить научился, торопился —

все пересказать хотел, что видел и слышал.

И смеялся — это когда он выздоравливать стал, произошло что-то смешное! — смеялся он и рассказывал.

А я думал, не разбирая слов, слыша лишь один его смех,

как ему хорошо все, вся эта жизнь наша хороша,
и так ее много у него, что и девать-то некуда,
всю раздарил бы и еще осталось бы!

И вот она бьет из души у него — из самой глуби ее.

И светится через большие глаза его — звезды.

И светит мне прямо в душу — —

И совсем ведь неважно, что отец его получает гроши какие-то, и в доме нет матери, и квартиренка у них тесная, и холодно, совсем это неважно —

у него сейчас мир весь со звездами — дом его.

И мне не хотелось выходить, так бы все и сидел и слушал и смотрел.

И смотрел бы на него — на его открытые, впервые увидевшие жизнь, такие большие глаза-звезды, на улыбку его, на его белый платок.

Счастливый! как он был счастлив!

И за эти счастливые минуты его — и мои счастливые я благословляю нашу тревожную, жуткую, неверную и, как смерть, неизвестную жизнь.

Белый заяц

Ехал я как-то из Петербурга, скажу прямо, в ожесточении ехал я: много было такого, чего душа никак не могла принять.

И я не только не ожидал встретить хорошее, напротив, сам как-то вызывал дурное, искал его.

В одном купе со мной оказался актер, и этот актер рассказами о всяких закулисах и жалобой на всякую подлость актерскую еще более растравил мое отравленное ожесточенное чувство.

Ожесточение я вижу с головой ежиной, отчаяние представляется мне совсем без головы, вместо головы торчит щетина, но до этого еще не дошло.

Проехали мы тягучую ночь, слез актер, и освободившееся место занял старичок.

Ехали, помалкивали.

Была у меня с собой книжка, думал, почитаю тихонько и успокоюсь. Да куда уж читать: все во мне ходуном ходило. И строчку до конца не доведешь, вспомнишь что-нибудь, вспомнишь день какой, и заслонит жизнь строчку, потеряешь нить, начинай сначала.

Долго я так бился и страницу не осилил, сложил книжку.

Так сидеть — скучно, вышел я в коридор и вижу, из соседнего купе выглядывает мальчик. В другое время, уж наверное, заговорил бы с ним, а тут как-то не до кого было, — пускай выглядывает, все равно.

Стоял я у окна, смотрел.

Весна была, чуть только деревья оделись в свою такую нежную весеннюю зелень, когда каждый листок отдельно видишь,

такой нежный зеленый, и веришь и не веришь, словно не вправду все, и кажется только.

Долго я так смотрел и еще бы смотрел, да остановка: поезд вдруг остановился.

Я — на площадку.

— Что случилось? — спрашиваю пассажира.

Из другого вагона вышел пассажир, как и я, должно быть, посмотреть, что случилось.

— Лошадь под поезд попала.

— Переехали лошадь, — сказал проводник, тоже вышедший на площадку, — хвост нашли, внутренности, кишки, а лошади самой нету, — и он нагнулся к буферам, посматривая на рельсы: — может, где и лежит.

И я нагнулся:

«Тронется, — думаю, — поезд, буду следить, на рельсах коня увижу!»

И вдруг почувствовал, что сзади кто-то протискивается.

Оглянулся: а это тот самый мальчик, что из купе выглядывал, — он слышал наш разговор и тоже тянулся коня на рельсах смотреть.

Я отвел мальчика в вагон, с этого и началось наше знакомство.

И уж не один я стоял у окна, а с Костей.

И Костя как и я, смотрел на зеленые деревца, на зеленое поле.

Костя все ждал, не выйдут ли медведи — медведи в лесу живут, за деревами.

Была большая остановка.

На платформе к окну подошли девочки с молоком, а у самой маленькой в лукошке сидели зайцы: зайцы, как зайцы — уши, как следует, усы нитяные, хвоста совсем нет, вместо глаз черная пуговица и все зайцы разные, одни в зеленых пятнах, другие в малиновых, третьи в кубовых, — пятачок за зайца.

Я выбрал малинового.

Подает его мне девочка.

— Спасибо! — слышу голос сзади, и чья-то рука тянется, за моим зайцем.

Да это Костя, Костя тянулся за моим зайцем.

Ну, и отдал я ему зайца, и началось у нас не просто знакомство, настоящая дружба.

Заяц, конечно, оказался живой, как сам Костя, только спит заяц. Но это не сразу открыл Костя: Костя долго трогал зайца, глаза заячьи пуговицы, и как-то тревожно посматривал на меня, потом уронил его на пол, поднял, поднес ко рту и успокоился: заяц живой, только спит заяц.

Костя не расставался с зайцем и ни на шаг не отходил от меня.

Мы сидели в купе и разговаривали. И молчаливый старичок разговорился. Заяц разговорил его.

Рассказал он нам, как ездил он к сыну, сына проведать, заезжал помолиться к Ефросиний Полоцкой в Полоцк, а теперь домой в Николаев едет.

Старый старик сосед наш, дедушка, нет зубов у него, а у Кости меняются, и хоть осталось, да не очень много.

Сижу, ни о чем не думаю, дремлется.

Старичок и Костя ведут разговор: один другого спрашивает и отвечают друг другу.

Что говорит старик, вряд ли понятно Косте, непонятны и Костины слова старику, но разговор идет мирно.

И вообрази Костя, что старичок, как только настанет ночь, заснут все, тут он возьмет, да и украдет у Кости зайца.

А вообразил это Костя, должно быть, потому, что старик уж очень зайца его гладил и за ус теребил и похваливал.

И до самого вечера только тем и был занят Костя, что зайца прятал, мать свою растормошил совсем, добивался до большого тяжелого чемодана, в самый чемодан хотел запрятать своего зайца.

Съел ли чего Костя или от тряски, разболелся вдруг у Кости животик и уложили его бай-бай и зайца его с ним.

Не простился я с Костей, не погладил его зайца и старичок не простился. Вдвоем без Кости остались мы проводить ночь.

И всю ночь просидели мы друг против друга, всю ночь проговорили.

Не я, старичок говорил: рассказывал он мне свою жизнь большую и долгую и трудную, — и было в ней столько добра и те-

плоты и любви и верности и желания — вся жизнь для других прошла.

Стало светать, уложил я старика и сам прилег.

В соседнем купе Костя спал с зайцем.

Костя спал и Костин враг — старичок спал, оба спали тихо.

И я подумал:

«Чудак ты, Костя, ну, зачем дедушке твоего зайца брать, у него свой есть. И живи он в старое время, его непременно изобразили бы с зайцем, как в житиях затворников пишут. Спи, Костя, ты со своим зайчонком малиновым, а наш дедушка со своим, он, Костя, у него совсем-совсем белый».

Пупочек

Жил я в большой тесноте, снимал комнату от хозяйки.

Придешь, бывало, домой после дневной беготни, сидишь так, что-нибудь читаешь.

А жил по соседству со мной мальчик с матерью.

Мальчика Юрием звали.

Трудно им было — все тех же денег не было! Перебивались так, кое-чем. Подумаешь, подумаешь, бывало, а как помочь, и не знаешь. Место бы ей там какое, занятие достать, чтобы, хоть какое, да жалованье шло. Да откуда его возьмешь, место-то! Ну, кто бы меня послушал, сунься я с человеком, да самое лучшее, всякий меня на смех поднял бы, а в худшем случае... впрочем, это совсем не важно.

Жалко мне было очень мальчика.

А он, бывало, в дверь постучит ко мне — — кулачки такие маленькие.

Ну, и пущу его, разговариваем. Конфет ему давал. А он всего никогда не съест, матери снесет, тоже и мать угостит — Соней звал мальчик мать свою — и Соне перепадет немножко.

Мальчик тоненький такой, шейка — ниточка, и ничего-то не ел, мать все, бывало, жалуется.

Юрием звали мальчика, а мы его — нас у хозяйки немало жильцов было — мы все его, бывало, Василием Васильевичем.

Жил с нами такой учитель Василий Васильевич, чудак такой, и этот вот мальчик Юрий чем-то удивительно на этого учителя похож был: юркий, быстрый, носик торчит, а главное, говорил скоро очень.

И, как нарочно, с учителем были они большие враги: учитель понять ничего не мог, что тот ему говорил, и сердился, а тот ему набор слов всякий говорил и так скоро очень, как сам учитель свой не-набор говорил.

Со смеху помрешь, когда между ними этот разговор начинается, ну, ничего-то понять невозможно.

*

Как-то пришел ко мне мальчик.

Я ему и то и се, шоколадку ему в серебряной бумажке — очень любил он, чтобы в бумажке шоколадка была, так и загорятся глазенки! — и винную ягоду ему на палочке, и фиников — —

Забрал мальчик все в горстку, а я и говорю:

— Знаешь, Василий Васильевич, я у тебя твой пупочек съем!

И что же вы думаете, точно случилось вдруг что, чего и словом никаким не подхватишь: смеется, говорит мальчик что-то скоро и очень вот, так вот и расплачется.

— Не ешь ты пупочка, не ешь моего пупочка, не ешь!

Насилу-то я это разобрал у него.

— Не дашь? — говорю, смеюсь сам.

— Не ешь, не ешь ты моего пупочка!

Только это и повторяет одно, ручонками за рубашечку тянет, чудно!

К матери побежал. И слышно мне, что-то долго говорил ей и скоро очень.

И в кроватке опять говорил, и потом долго не засыпал, — много раз вдруг примется говорить и скоро, очень скоро, едва разберешь.

Да и что разбирать, — все о пупочке, что съесть его хотят у него, а он его ни за что не отдаст, пупочек-то, ни за что и никому не отдаст, никогда не отдаст.

Ах, ты, чудак! Тут только понял я, отчего так забеспокоился мальчик: ну, и в голову не придет такое!

*

И на другой, и на третий день не забывается этот самый пупочек, нет-нет, да и вспомнит о нем мальчик.

И опять, как тогда, так весь и заходит: и смеется и вот расплачется, смеется и вдруг заговорит, так заговорит по-своему

скоро очень, а из всех скорых слов, из набора слов, из всего все одно, все к одному, чтобы его пупочка не ел я.

— Не буду! Василий Васильевич, не буду я! Не буду есть твоего пупочка.

А он удивительно как смотрит, глазенки горят, тоненький такой, шейка — ниточка, и хоть верит, а боится, за кончик блузки держится, значит, боится.

Ну и чудак! Западет же такое в душу и уж все мыслишки, какие есть, все мысли у него к одному, к этому стянулись, а это одно, это все — пупочек, и важное такое, все, главное самое, лишиться чего он просто и представить себе не может, что бы такое было, если бы вдруг да лишился: вот я взял бы да и съел его!

И все перевернулось в таком маленьком мирке, малом и неправдышном...

Юрий был, например, уверен, что они очень богатые, и в подтверждение этой уверенности своей показывал мне как-то новенькие копейки — богатство свое.

*

Что-то, видно, плохо пришлось его матери, на другое место пришлось перебираться, к другой хозяйке, подешевле.

Трудно им было, очень трудно.

Собрались они уезжать, уложились.

Все готово, и извозчик ждет, только вещи снести.

Мальчик ко мне, стучит — прощаться со мной.

Ну, я ему на прощанье целую коробку.

И всяких там: во всяких бумажках конфет разных, — привык я к нему очень и жалко.

— Прощай, — говорю, — Василий Васильевич, вспоминай когда!

А он как-то застеснялся, отступил — отступил к столу — —

Да вдруг ручонками, лапочки свои ко мне... да на ухо скоро мне так, понять едва можно:

— Бери, ешь мой пупочек!

Ах, ты, Василий Васильевич... «Бери, ешь мой пупочек!» — и так это сказал он, и смех тебя берет и заплачешь. Да знала ли душа твоя, знаешь ли ты, на что тебя твое сердце толкнуло? Да ведь ты мне все, все отдать готов был: ведь пупочек-то все, — так ведь? Сердечко колотится, слышу, крохотное, нет, какое! — огромное, не наше! Что же смеяться мне?

— Ну, будь счастлив, когда и вспомни. Я-то вспомню, как ты прощался... расти большой, здоровеньким будь, да смотри, не хворай, и кушать надо, не шеколадну одну кушать, а как следует...

Ах, ты, Василий Васильевич... Если бы только судьба послала вам! Да я верю... ты ведь готов был мне все отдать — и все придет вам, все у вас и будет, все и должно быть у вас, я верю. Ведь ты знаешь, словом-то твоим, сердцем-то твоим мир весь перевернуть можно! Последнее, единственное и все, все ты хотел отдать...

Цветник

Нам совсем не родная, только за что-то полюбившая нас, чужих детей, как родных, встает в воспоминании моем одна древняя старушка, до последних лет присматривала она за хозяйством в соседнем с нами богатом доме, экономка.

Мы, дети, старушку звали бабинькой.

В соседнем богатом доме, в подвальном этаже доживала она в трудах свой век.

И три окна ее комнаты с крепкой железной решеткой подымались прямо с земли, точно в землянке жила она, и уже без счету жила и все такая же — с необыкновенно добрыми, ясными глазами и всегда такой желанной и ласковой улыбкой.

А перед ее окнами вверх в горку разведен был богатый цветник, и сколько там всяких цветов и душистых, и цветущих, и тесных кустов сколько в цвету стояло всяких: приотворишь летом, бывало, калитку, так и пыхнет на тебя дух душистый, и особенно на закате, когда политые цветы дышат, напоенные, всем своим цветом.

А по весне, ну, как рай Божий.

И такая тоненькая пушком росла там мурава-трава, и я помню, белые, маленькие такие цветы были, как жемчужинки на образе, и другие синие, как четки синие, на серебряной ризе — на иконах — в окно видно в киоте в переднем углу, в землянке стояли, и всегда огонек горел, лампадка.

Но бабинька никогда не выходила в цветник из своей землянки, — день, управившись по хозяйству, она у окна сидела, вязала чулок или на клубки сматывала шерсть, лишь изредка

посматривая на цветник — на Божий рай, на эти белые, как жемчужинки, и на эти синие, как четки, цветы.

Она никогда не выходила в цветник.

И только в субботу медленно мимо цветника подымалась она в горку к воротам, так медленно, будто ползла, — шла ко всенощной, да утром в воскресенье той же дорогой мимо цветника к ранней обедне.

У нее никого не было, никаких родственников, она одна жила в своей землянке, а у нас было много родни — вся Москва! — но нигде, только в землянке у цветника было для нас, детей, что-то родное.

Не помню, когда я в первый раз отворил калитку в этот райский цветник и заглянул в окно землянки, я одно помню: всякое утро, как идти в училище, проходя мимо соседского богатого дома, я отворял калитку в цветник и шел по райской дорожке или по скрипучему такому чистому сине-белому снегу к окну землянки, а на переплете железной решетки лежало, поджидая меня, яблоко, а в землянке никого и только огонек перед киотом, лампадка.

А когда на обратном пути, возвращаясь домой из училища, я опять подходил под окошко, у окна за работой сидела бабинька и ласково так встречала своими ясными, добрыми глазами с такой горячей добротой, и снова на решетке между рам лежало яблоко.

*

Нам совсем не родная, только за что-то полюбившая нас, чужих детей, как родных, она сторожила из своей землянки из цветника наши первые дни.

Мы росли беспризорные, какие-то уличные.

Говорили — сладу с нами нет!

И, кажется, мы ничего не боялись, и все, что угодно, выделывали, а если чего и не делали, то только потому, что было кого бояться, но чтобы по сердцу перед кем нам совестно было, такого у нас никого не было, и только одна — эта бабинька.

А это оттого, должно быть, что одна она в землянке своей, в цветнике, одна ждала нас и встречала одна с такой горячей добротой и так ласково, а что она ждала нас, это мы чуяли, это мы знали, это мы видели — яблоко всякое утро на железной решетке.

Я кончил училище, и уже не надо мне было никакого яблока, но я не пропускал утра, чтобы не зайти в цветник под окошко — яблоко всегда на окне лежало! — и всякий день, возвращаясь домой, опять отворял калитку в цветник — а там у окошка за работой сидела бабинька и кивала так приветливо, с такой добротой горячей.

Повернула судьба, и пришлось мне покинуть дом.

И прошло немало, когда выпал мне час побывать на старых местах.

И опять после стольких-то лет я пошел в землянку.

Бабинька не хозяйничала и не сидела за работой; она не могла ходить, она лежала в постели головой к окнам — к цветнику.

Я тихонько вошел — перед киотом по-старому горел огонек — лампадка —

Я стоял тихонько.

Бабинька — такая же, как много-много лет, только вся просветлела.

Она узнала меня.

И тихим светом и слезами тихо наполнились ее глаза.

— —

В тот год она и померла.

Весною она померла, когда в цветнике перед окнами зацвели первые белые, как жемчужинки, и синие, как четки синие, маленькие цветы.

И гроб ее несли мимо цветника.

*

Снится мне как-то бабинька —

Была она маленькая и вся круглая, а тут снится она и маленькая, одни кости, вся высохла. И выходит она будто из своей землянки, на палочку опирается — так последние годы, говорили мне, она все с палочкой ходила. И я будто тут же стою. Посмотрела она на меня и говорит:

«Что же ты никогда не зайдешь ко мне?»

*

И довелось мне снова на старых местах побывать.

Спозаранку собрался я: на другой конец Москвы путь — на кладбище.

И все представлял себе, как найду я могилу, положу яблоко, поклонюсь до земли, и как скажу я, что никогда в жизни не забывал я ни цветника, ни землянки и, кажется, до последнего издыхания моего сохраню всю память в сердце своем, сберегу свет этот — свет доброты горячей и ласки.

— —

Против меня в трамвае сидели две монашки: одна глубокая старица, с лицом главы адамовой, другая молодая — лик безбровый, треугольный. И с ними, рядом со мною, так сын заблудный «благочестивых родителей», из купечества. Куда-то ехал он с ними, по родительскому ли наказу или по своей воле, не знаю, и что-то горькое было в его молодом «красивом» русском лице.

— Вот я и спрашиваю, — говорил он вполголоса, — Божье-то есть в человеке, подобие-то Божье, или это так сказано, для порядку? С подобием-то все куда легче и умствовать и мудрствовать! Весь закон на этом стоит и все правила: и почему так делай, а не этак, и что можно и чего нельзя. Ну, а если это только для порядку положено, закон-то, пожалуй, можно и насмарку?

— Фарисейских книжков начитался, превыше папаши хочешь быть! — мотнула монашка, лик треугольный.

Но он продолжал:

— Ну, и разве это так страшно? И без Божьего, без подобия все останется по-старому. Да как раз ведь и будет то, что есть, что и происходит.

— Рожок антихристов! — безнадежно укорнула глава адамова старица.

— Да разве на самом-то деле, по правде-то, подобие это признается? Кто признает? — уж горячился сын заблудный, — да вся наша жизнь, весь корень нашей жизни отвергает его и все привычки наши, и сам глаз наш...

Монашки не отзывались.

Раскрыли окна.

Большой дождь шел. Полный такой теплый дождь летний, такой благодатный, и словно впервые он проливался на землю, а уж Ильин день прошел, и от полноты и благодати было так полно на воле — полно на сердце, а синие вывески, как само синее небо, густым полным золотом написанные, проносились по дороге все в дождевых полных каплях.

Я смотрел в окно и вспоминал и представлял себе, как отыщу могилу, как скажу, как поклонюсь до земли — — —

— За яблочек!

И сердце было так полно, как этот дождевой воздух, как эти синие, как небо синее, вывески.

Людоеды

Как-то в самую зиму в Вологде появилось на телеграфных столбах объявление: показывается живой дикий страус, который камнями питается, и яйцо страусово — шестьдесят пудов весит!

В Вологде развлечения какие! И я обрадовался случаю и пошел куда-то к собору смотреть страуса и яйцо его.

*

Комната — пустое лавочное помещение — зверинец, куда ввели меня, был жарко натоплен.

И содержатель страуса, человек живой и расторопный, Фиандра какой-то, пересыпая словами изысканными, добро свое нахваливая, а выражался он на смешении вавилонском, сам нет-нет да и подбрасывал поленьев в пышащую железную с большой трубой печку, — на воле крепко, круто морозило и было сурово по-вологодски.

На стене висела лампочка, тут под лампочкой и стоял живой страус, а перед страусом ведро воды и корм его — разбросаны были наши голышки-камни речные.

Страус стоял с закрытыми глазами, весь съеженный, чахлый и линялый: засыпала птица, — конечно, и камнями сыт не будешь, и все-то ему, поди, холодно!

Хозяин объяснял качества страуса, рассказывал о его каменной прожорливости и непоседливости дикой.

— Птица уедливая! — повторял Фиандра-хозяин.

И от страуса за яйцо взялся.

За перегородкой на соломе лежало яйцо, белое — шестьдесят пудов.

И хозяин постукивал ногтем о твердую скорлупу и даже приподнять яйцо пробовал, — до коленок приподнял яйцо:

— Тяжесть непомерная!

Постоял я, посмотрел — шестьдесят пудов! — и вернулся к страусу, все ждал, что глаза откроет.

А не открывал страус глаз — как пленкой задернуто! — засыпала птица.

Хозяин все с яйцом возился, стучал ногтем, приподымал до колен.

Но охотникам силу на яйце померить всем отказывал:

— Не ровен час, кокнешь, и желток и белок вытекут и пропадут твои деньги — скорлупой никого не удивишь!

Завлекал хозяин диковинкой, и я еще раз подошел к яйцу, потрогал —

— Трогать можно!

И пошел к себе на Ивановскую.

*

Немало прошло времени, и вот однажды в Петербурге я наткнулся на объявление — на заборах расклеены были огромные плакаты:

показывают диких людей, папуасов, которые людей едят!

И вспомнил я вологодского страуса с его яйцом в шестьдесят пудов и пошел в Пассаж куда-то людоедов — диких людей смотреть.

Людоедов было двое, был, говорят, и третий, да в Москве помер:

— Простудился.

Людоеды скакали и сигали на эстраде и луки натягивали, представляли, будто стреляют в публику, — все в перьях и нагишом совсем, только пояс на бедрах в раковинках.

Было так же жарко, как в Вологде за собором у страуса, а публики было куда больше, нарасхват разбирались билеты, и совсем недешевые.

Когда кончилось представление, я пробрался за кулисы в логовище, и там еще жарче было, как в бане, и душно.

Людоеды бродили по логовищу и вдруг бросались на кровать и лежали ничком на брюхе, — не двигались, словно обмирали, и опять подымались и бродили как в клетке.

Прислуживал людоедам китайчонок:

китайчонок в печку дров подбрасывал,
китайчонок и корм давал — бананы.

И сказывал мне Фиандра, содержатель диких людей, мой старый знакомый, как вечером, как спать укладываться, —

а спали людоеды ничком на брюхе, — перед сном своим диким становились они на колени и кланялись китайчонку, как идолу своему, поклонялись, — конечно, он им и тепло давал, он и кормил, и поил их.

Так объяснил мне живой и проворный Фиандра на своем вавилонском смешении.

Языка людоедского я не знал, и они моего не знали, никакого они не знали, кроме своего.

Но как-то так обернулось, и стал я с ними объясняться, и что-то выходить стало понятное и мне, и им.

А потом подарил я им

к о р о к о д и л а - з в е р я

такая большая игрушка, змея есть: если за хвост ухватить ее, так будет она из стороны в сторону поматываться, будто жалить собирается, черная, белыми кружочками, а пасть красная и зубатая, — очень страшный корокодил-зверь!

И с каким восторгом приняли людоеды эту игрушку, они пугали змеей друг друга, пугали Фиандру-хозяина, только не китайчонка.

А у нас пошла дружба.

Не остались и дикие в долгу, дали они мне по пучку волос своих жестких, кокосовых — это, должно быть, хорошо считается, — а как смотрели доверчиво и ласково!

И всякую мелочь в своих нарядах показывать стали и объяснять, что и к чему.

И когда все было показано и рассказано, старший людоед кротко так приподнял свой пояс.

— Вика, — сказал людоед кротко так, — вика!

И мне так жалко стало и больно —

столько было доверчивости и такого детского, и такого невинного, о чем нам и подумать трудно.

Потом и другой людоед, младший, то же проделал.

И оба отошли в сторонку, деловито копались, что-то такое подозрительное ели...

А я остался стоять один в логовище, в гнезде их диком и думал, один не-дикий,

о страусе думал и о приятелях моих этих — людоедах.

*

Да, в Вологде тогда зимой так и заснул страус, я помню, и хоть на столбах все еще стояло, что страус живой и камнями питается, а уж показывали одно яйцо его в шестьдесят пудов.

А как же эти?

Добрались с Фиандрой до Петербурга, — до которого места дотянут?

До Риги?

Или подальше?

Птица ничего сказать не умела, без стона стоял страус с закрытыми глазами и засыпал, — молча умирала птица.

А эти?

А эти с викой своей скачут на эстраде и на ночь китайца молят, тоже молча, на коленях, кланяются ему и просят, — да о чем они просят?

Благодарят, конечно, прав Фиандра, за тепло благодарят, за бананы, ну, а еще-то о чем они так молят и отчего так смотрят?

Да спасти просят, отпустить туда, в леса их дремучие и в горы толкучие, в пустыню, где они жили с птицами и со зверями и улыбались доверчиво и кротко, как каждый кротко мне улыбнулся и так невинно, когда поднял свой пояс — —

*

«Страус камни ест, а эти, не тут, не в логовище петербургском, а там, в лесах и пустынях, людей ели... Но Ты не оставишь их, простишь и страусу, что камни Твои речные, голышки-камушки поедал, за его терпение — с закрытыми глазами молча умирала птица! — и диких людей, людоедов, простишь, что людей ели — при мне они бананы ели, китайчонок давал им, да насекомых... простишь, не оставишь их за их кроткую улыбку и невинность, а нас — —? Мы несчастней и покинутей их, и страуса, и людоедов диких, терпения нет у нас и улыбки этой нет у нас, невинности их детской, и твердости — молча терпеть, и сердце у нас каменеет, сердце у нас мерзнет. И кто же нам даст тепла и света, и очистит душу, и прояснит совесть, и зажжет сердце, и пробудит дух, чтобы все снести, все вытерпеть, стерпеть даже — — »

*

Я стоял в логовище один, в диком гнезде, не-дикий один и думал.

И было мне больно и жалко.

Звонок зазвонил на эстраде.

Выскочил откуда-то китайчонок и такой вдруг важный погнал диких людей на сцену:

сигать и скакать им и представлять, как из лука стреляют там, в лесах дремучих, в горах толкучих, в пустыне.

Покров

Чего только беда не делает —

беда да нужда.

Измучит, унизит, согнет до земли, сожмет унынием, придавит, да так, что весь, как мертвец, вытянешься, да на загладку еще и подсмеется — насмеется вдосталь.

А станешь себе голову ломать — на выдумки пустишься, как от беды избавиться, тут-то она и начнет советовать.

Не видишь, за все хватаешься — и какие мечты подымаются, какие радуги! — Все тебе кажется и просто и легко и хорошо, и не тебе только, а и всем хорошо, —

будет от твоего дела хорошо.

А на проверку-то, глядь, и совсем не то! — вот не ожидал! вот не думал! да что же это такое? —

еще большее издевательство, еще большее унижение.

И какую надо силу, чтобы все вынести:

согнуться, пропасть —

и стать из пропада!

* * *

Когда в Петербурге — так одно время было — цветы продавали во всякую пользу, Петербург оживал.

Какие веселые и бодрые лица на улицах, —

щит несут со цветами, пристают к прохожим цветок купить.

И так пристанут, что отказать невозможно:

постоишь, посмотришь, увидишь эту бодрость, и уверенность, да и полезешь в карман за гривенником.

Молодые больше, студенты, барышни — и уж непременно у каждой свой спутник.

День-деньской по улицам бродят со цветками — с улыбкой, со смехом — пристают купить цветок, прикалывают цветки. Под дождем, в стужу, в изморозь ходят, и горя мало.

Когда я вышел на Невский, я встретил эти знакомые, влюбленные лица. У меня был цветок, но я соблазнился и еще купил:

продавали в тот день розовый цветок и бабочку.

Мне надо было к Калинкину мосту — путь долгий.

И всю дорогу на Невском попадались цветы и бабочки —

дорога была веселая, легкая.

На Садовой поредели веселые продавцы.

А за Сенной и совсем стало тихо.

И только ребятишки — один с тяжелой кружкой, другой с пестрым нарядным щитом — выпрыгнули у Спасской части из трамвая, и сейчас же в встречный трамвай вскочили — назад ехать на Невский.

Я шел со цветком и бабочкой и думал, вот что говорю сейчас, о розовых цветках думал, о бабочках, о молодости влюбленной и бездумной и такой уверенной, оживляющей суровый, деловой и тревожный насупившийся Петербург, —

нам ведь, как в манной каше, тесно, и уверенности нет никакой!

Знаю, надоели всем и эти цветки, и эти бабочки, да пускай себе —

за одну их молодость и улыбку пускай себе!

И уж мне беспокойно и скучно стало, что не встречаю больше ни цветка, ни бабочки, что пропали цветки, и никто уж не пристанет ко мне, никто так уверенно не взглянет в глаза:

— Купите цветок!

* * *

У Покрова, где трамвая ждут, собралась кучка народу.

Останавливались прохожие, а час был совсем не разъезжий.

И я подумал:

«Уж не человека ли раздавило?»

И поспешил.

Но увидел совсем другое, —

и никого не давил трамвай!

Старуха стояла с пестрым нарядным щитом:

на щите бабочки и розовые цветки.

А около городовой трудился — кружку разбивал:
кружка оказалась фальшивой!
И городовой хотел ее вскрыть.

Щит у старухи был в цветках и бабочках — бабочки сидели и на груди и на платке, как звезды. И сразу не бросалась в глаза ни беднота, ни дрань. Одни эти нарядные бабочки — звезды.

Народ все подходил. Останавливались. Стояли и смотрели —
на старуху смотрели.
И старуха смотрела —
Старая такая, без кровинки, седая вся, усталая — и эти на ней бабочки и цветки розовые!
Старуха смотрела, не мигала —
и слезы наливались в глазах и не капали.
Никто ее не ударил. Никто не бил. Только смотрели.
А была она, словно избили ее, словно только-только из-под трамвая вылезла — из-под тяжелых колес, колесом придавленная.
Не вытерпел один — один за всех сказал с сердцем:
— Эка, ты — бабочка!
Так и полыснул, не стерпел в сердцах.
И, должно быть, добил —
у старухи вдруг пропали слезы —
сожглись,
пропали
и снова налили глаза и опять и опять сожглись.
Старуха смотрела — —
Нет, не на нас!
А дай только волю, развяжи руки, придушили б старуху!
Старуха смотрела куда-то —
где ее увидят в ее злую минуту, опозоренную,
пойманную воровку, б а б о ч к у —
туда куда-то, где и ей приют будет —

* * *

Кружка крепкая — не поддавалась.
И городовой — Беринчук какой-то! — бормотал себе под нос и совсем неподходящее.
Народ прибывал.

Подходили, останавливались. Стояли и смотрели молча —
так и пыряли глазами пойманную воровку.

Ветром приподымало шляпы, прохватывало нашим петербургским ветром, не холодком, холодным.

Вот кончит городовой свою работу — вскроет воровскую кружку, а старуху в часть заберет с ее нарядным щитом. И когда впихнут ее в холодную и закроется за ней дверь, уж тогда никто так не взглянет и не то в глазах будет, а пока— пока она воровка и ее хоть в канал швырнуть, в Фонтанку.

— В канал ее с головой, воровка, дрянь! — откололось в толпе.

И другое:

— Хоть бы покрыть ее, — пожалел кто-то, — ни ей чтобы нас, ни нам не видеть ее. Нельзя же так человека мучить!

Да чем же покрыть-то, — ты, жалостливое сердце, слышишь! — Это не скроет, не поможет. И через самую густую покрышку увидишь ее, и она всех увидит.

* * *

Старуха смотрела туда куда-то —
и лицо ее было кротко,
и уж не было в ней ни пришибленности,
ни страха, ни унижения,
она тихо плакала —
и тихо, и кротко.
Или уж покрытая?
Или уж п о к р о в о м покрыло ее?
за ее страду, как и всех таких,
— воров и убийц —
за их страду в их злые минуты
последние, потерянные.

Голубь-знамя

Чувствовал я такую убитость, на край света ушел бы — —

Трудно живется. И знаешь: коли пришла беда — «Бог посетил». Да уж так подойдет: не надо и Бога самого и пусть лучше без всякого Бога, только бы хоть как-нибудь, хоть — — ну, сви-

ньей пожить, только бы достать покой! Знаешь: навалит на тебя, принимай, все бери и неси — «пришла беда, Бог посетил!» — терпеливо и кротко неси. Все это знаешь, тысячу раз переслушал и передумал, ладно, хорошо это все — после хорошо, когда вынесешь, а пока —

До края света далеко — до Парижа доехал.

* * *

Помню, как впервые попал я в Париж, ну, как домой! так мне все близко, и все, как свое, московское. Я все ходил и смотрел: позанимаюсь, как дома, погнусь у стола над рукописями, и смотреть — всякую диковинку хотел высмотреть, — а диковинки там со всей земли собраны, есть посмотреть чего! Да и так, если и нет ничего, там себе придумают: последний твой сарай — *палэ* у них называется, дворец по-нашему, *палац*, и самый грязнющий постоялый двор за *отель* идет, — гостиница! «метрополь»!

И есть, на Больших Бульварах видел, туфельки из перьев самой маленькой птички — «райской», из перышков ее тоненьких сшиты, в окне стоят, за стеклом выставлены, семьдесят пять тысяч франков цена! тысяч тридцать! — по-нашему.

Прочитал я «молитву Богородичну» — на сто дней отпущение грехов себе получил; лазил и не раз на Notre-Dame к колоколам, химеров смотрел, — и у нас такие в Москве на Спасской башне стоят, только попригляднее. А под Яковой башней тоже чудища, те зеленые, как и во дворике в музее Клюни́ — без доброго слова мимо пройти невозможно: понятливо так глядят, чего-то знают!

И когда все, кажется, пересмотрел и перетрогал, просто по улицам стал ходить, камни топтал.

> В камне своя *цена* есть, *сила*: проживет камень много веков, за века кругом жизнь кипит, получает камень свою «цену» — ничего ему не делается, ни сжечь, ни извести нельзя!

И когда ходишь по улицам, топчешь эти камни, а камни там ценные, — ведь нигде на земле не прошло так близко и так недавно столько кровно-человеческого и всего такого! — эта «цена», эта сила, скрытая в них, и в тебе зарождается.

Май, а в мае там всякий вечер всенощную служат в честь Божьей Матери, всякий вечер ходил я по церквам: как заслы-

шишь колокол — так у нас в Новгороде да во Пскове в старинное время на вече сзывали! — «вечевой колокол», и так где-то ровно в памяти вздрогнет, и чаю не допьешь, выбежишь из отеля: всякий вечер орган слушал.

И помню, уезжать, все прощался, расставаться не хочется, мимо Клюни едем, шапку снял:

«Прощайте, звери каменные (лешатые! кудлатые! приятели!), камни мои — ценные!»

И Собору поклон положил — — там, у колоколов на кровле чудища все «осанну» орали своим каменным гласом, и один, такой носатый (химер) успел-таки зайчатину клыком прихватить, прихватил, а сам, бестия, сам подкрикивает!

Все то же и теперь, и в этот раз, так же огоньки на Сене-реке — —

Вышел я на улицу — и не наша, не наши дома, не наши названия, а словно в Таганке, так все знакомо до последнего камушка. По этой Таганке иду, а чего-то жутко, тревога растет, — это от убитости моей все стало таким, враждебно все! — и одни эфиопы (в Париже страсть эфиопов сколько, учиться приезжают по-французски), одни они, черные — «мурины» — чем-то близким кажутся, цветом отверженные от нас, чувствуют свою отдельность, и оттого смотрят так — — знай язык ихний, заговорил бы!

> А жил один эфиоп в нашем отеле — а в отеле при входе полочка такая есть: ключи от комнат вешают, и письма консьержка выставляет под твой номер, — не утерпел, думаю, узнаю хоть имя-то святое, фамилию эфиопскую! И подсмотрел: «Шы-шы» оказалось, — такая фамилия Шыши! И этот самый Шыши первый стал со мной раскланиваться, — почуял!

Идешь по улице стиснутый весь, тревога растет — шум, гам, стук, кричат, выкрикивают: — «Раки-живые! Раки-живые!» — будто наш разносчик Анисим кричит. И тревога больше, не смотришь, одно только и смотришь, как бы под автомобиль не попасть.

Музыка в кафе — прежде, бывало, услышишь и всегда зайдешь, «кафе-о-ле», кофе с молоком спросишь, дадут тебе большущую рюмку (в рюмках, не в чашках подается!), и сидишь,

кофейничаешь, и легко, а теперь и калачом не заманишь, дальше, куда-то все дальше — — пройдешь мимо Клюни, мимо садика с каменными чудовищами — которые чудища так понятливо смотрят! — поздороваешься, и дальше — да куда же? — на край света!

* * *

Последние майские дни — —

Только что прошел «Праздник Господен» и по вечерам за всенощной с Дарохранительницей крестным ходом обходили церковь, по церкви: впереди девочки (причастницы), покрытые фатой, с белоснежным знаменем — на знамени шелками вышита Божия Матерь — за ними народ со свечами, одни мужчины, свечи большие, рублевые, а за народом балдахин несут и под балдахином идут священники, главный в обеих руках Дарохранительницу несет, перед балдахином мальчики с красными фонариками на высоких шестах.

Услышал я звон в St. Sulpice, так и толкнуло, вечевой звон! — всякий вечер когда-то я слышал его, вечевой! — да скорее по знакомой улице, по Таганке нашей — и с закрытыми глазами дорогу найду.

Крестный ход вышел — играл орган — шли со свечами — свечей было много, словно у нас на «двенадцать евангелий», на Страсти.

Я так и стал — и смотрел, во все глаза смотрел. И тут-то и увидел: над согнутыми спинами, над головами, над свечами, какое белое — снегово-белое — плыло голубь-знамя Богородицы.

И я увидел, как старые бабушки в черном (им не полагается в крестном ходу со свечкой идти), жались они в проходе и все своих внучат счастливых, покрытых фатой, уряжали и прихорашивали — передавали им это знамя, которое и сами когда-то носили в свои счастливые годы — и плакали, за внучат просили — «Матерь Божия!» — за детей, — за тех, кто идет на смену их — за весь свой народ.

Впереди меня стояли две барышни, так не из казистых, шляпки франковые, сначала-то я и не заметил, а тут увидел: и так они молились — сама держится за спинку стула и все ни-

же голову наклоняет и долго-долго так стоит, нагнувшись, прижмется лбом к спинке, и брови сдвинуты туго.

И о чем это они так молились? и к знамени белому поворачивали голову, смотрели так, провожая знамя, чего они просили? или тужа о чем?

Трудно живется —

Божия Матерь — голубь-знамя — Она и тут, Она у всех — «Матерь Божия!» — Ее они просили.

Трудно живется, тревожно — утром проснешься и подумать страшно, что-то ждет тебя?— неверные дни и часы и минуты. Дома что-нибудь случилось, болен ли кто, или свое, свое тайное личное горе, неудача ли, беда ли настигла — «пришла беда, Бог посетил!» — да, да, так это, верно, а вынести трудно. Помощи они просят, сил уж видно нет, посмотрят на знамя и опять опустят голову и в спинку стула уткнутся, да долго-долго так, словно и не дышат, нет, дышат, по спине видно — мурашки по спине бегают, видно.

* * *

Погасили свечи, поставил священник Дарохранительницу на престоле, унесли знамя и стал народ расходиться — бабушки в черном, ста-арые. И я пошел за ними.

И как-то, ровно в первый раз, — раньше-то я все диковинки смотрел и живые камни, а тут людей увидел живых! — и шел прямо, не таясь, не сжимаясь.

Какой-то старик у Люксембургского сада едва слышно — от старости у него и всякий голос пропал — сипло выговаривал, а сам, поди, думал, что выкрикивает, название газеты, и тут же кричали, словно их резали:

— Paris Soir! Paris Soir! — кричали на всю улицу.

И старика никто не слышал.

Старик едва на ногах стоит — и куда он пойдет? не покупают у него, и газет у него штуки три, куда ему деваться, на ночь глядя? скоро ночь!

Нет, не проклятый, не отверженный, а как свой, ходил я по улицам.

Я снова обошел все знакомые улицы — через весь Париж и там, у самых нарядных богатых домов, где со всей земли собраны диковинки, и в отдаленных кварталах у бедноты и проголоди всякой, и там — и там — столько попалось беды и такой

тревоги, и такой измученности. Я взобрался на холм к «Святому Сердцу» — на версты тесно жались похожие дома, и глиняные горшки на трубах торчали, как обрубки молебно-простертых рук.

И я вспомнил, те две барышни, те — в St. Sulpice, как провожали они голубь-знамя, и как похожи были лица их на эти похожие дома, тесно прижатые друг к другу с обрубками молебно простертых рук.

Странник

Слышал я раз в трамвае, разговор зашел, — сел в трамвай так из мастеровых какой-то, видно, больной, и горло подвязано и лицо такое нездоровое.

— А доброе-то желание, по-вашему, куда же денется? Доброе желание не пропадет, — и уж совсем уверенно, это тот мастеровой своему соседу говорил, — конечно, куда же ему пропасть!

Раздельно и ясно, хоть и негромко говорил мастеровой.

Этим дело и кончилось, больше ничего я не запомнил, да и не вслушивался.

И одно скажу, слова эти о добром желании, непропадающем, к душе относились, к бессмертию души, — вот как доказательство бессмертия ее и выставлял мастеровой это доброе желание, которое не пропадет: злое, значит, сгинет, а доброе — всегда, вечно останется, потому что Бог — добро, и пойдет оно, доброе, прямо к Богу, а Бог не может пропасть, Бог не пропадет, и душа не пропадет, бессмертная, как Бог.

Бессмертная она или не бессмертная, меня это не занимало тогда, и не в рассуждениях тут было дело, а в слове.

«Доброе желание не пропадет!»

Эти несколько слов, сказанные мастеровым, и попали мне в самую сердцевину, — я дремал в трамвае после бессонных тревожных ночей, — зацепили меня и взбудоражили и к тревоге моей вывели.

Сколько уж дней и больших дней мучило и изводило меня и не находил я нигде пристанища с этим добрым желанием.

Я на себе, на своих делах останавливался, и возмущался весь: ясно увидел я и почувствовал, что добрые желания мои не только не приносили людям добра, а каждый раз были тем

узелком, откуда развертывалось большое зло, вред и мучения всякие и тем, для кого я хотел сделать добро, и самому мне, — дело, которое я делал, вело меня совсем не туда, куда я хотел.

То хорошее, что хотел я сделать людям, делало им только дурное, и даже, к ужасу моему, вопиющее дурное: люди страдали от моего доброго.

И я совсем спутался, совсем потерялся, я и не знал и не видел, откуда начинать следует и за что ухватиться такое, чтобы и из моего добра не зло, не вред, не мучения, а добро шло.

Повторяю, то доброе, что хотел я сделать, от всего сердца хотел сделать, приносило только вред, и этот вред был большим злом и для тех, кому желал я добра, и для меня.

Как же это так, думал я, доброе желание, искорка Божия, — Бог, ведь, добро! ведь, добро? — приносило вред, становилось злом и для того, кому я открывал источник Божий, и для меня, носившего этот источник, — из добра выходило зло?

«Доброе желание не пропадет!» — мастеровой тогда в трамвае сказал, — а мое? Мое тоже не пропадет? А если не пропадет, то ведь и к Богу не примется? Разве Бог примет зло? Нет, конечно, не примет, — злу сгинуть суждено.

И значит, я сгину.

А мастеровой? Тот мастеровой трамвайный со своим добрым желанием, он останется? А что если доброе-то его желание от моего доброго не очень отличается, ну, чем поручиться, что оно другое?

Значит, и мастеровой этот сгинет.

И вот нас двое сгинут, две души человеческие, — а у Бога, ведь, что две, что двадцать две, что два миллиона, все одно...

Впрочем, Бог с ним, с рассуждением, не умею я рассуждать, и если бы только в рассуждениях, в мыслях я запутался, было бы куда с полгоря, но я жил и делал — я действовал, и бросить свое дело, а дело мое было как раз помочь другому, передать то доброе, что, как думал я, лежало во мне, это дело — сердцевина моя, и я его не хотел и не мог бросать.

Отчаяние взяло меня, тьма какая-то несусветимая, я стал бояться всякого своего шага, когда шаг этот направлен был к цели моего дела, и страшно стало слов своих, скажешь, и жуть охватит, всего своего стал бояться, своего почину, и хоть дело-

то делал, — без этого я просто и жить не мог, — не опускал рук, но оторопь такая брала, в глазах темнело.

Все это вспомнил я потому, что встреча, о которой рассказать хочу, поразившая меня, как раз отвечала на мой вопрос и отвечала не простым ответом, не первым попавшимся на язык словом, совсем наоборот.

То, что услышал я, было совсем другим... разрешающим светом.

Я сидел на станции у лавочника Сергея Петровича и пил чай с *нерабелью*, — через улицу от вокзала лавочка Сергея Петровича: занимался он торговлей и промышлял лесом. В гостиной, наверху, где мы чаи распивали, висел над диваном увеличенный с карточки портрет его, и со стены глядел Сергей Петрович совсем уж внушительно: еще не старый, крепкий, чуть с сединкой, и цепь на шее — пятнадцать лет прослужил он волостным старшиной. Всякое доверие и уважение внушал к себе Сергей Петрович. Хозяйничала дочка его, Таисия Сергеевна, миловидная тоненькая барышня и совсем не похожая на учительницу — в балете где упражняться ей было бы куда пристойнее, Таисия Сергеевна разливала нам чай.

Разговор шел всякий.

Сергей Петрович говорил крепко и метко, — хотелось ли ему показать товар лицом и весь свой, виды, виданные им за свою деятельную жизнь, представить, или просто на сегодня в делах его уже удача выпала, и был он в ударе.

От хозяйства и всяких хозяйственных дел разговор перешел к политике и народу.

Сталкивался Сергей Петрович и не с одним десятком, и, надо полагать, слов не бросал на ветер. Как блюдце с горячим чаем, таким вкусным после жаркого дня, подносил Сергей Петрович и народную мудрость: а и умница же и умственный.

Тот, кто украл, — так по его выходило, — несчастный, а тот, у кого украли — дурак, все дармоеды, и только поп, нищий да странник — настоящие.

В трех словах укладывал Сергей Петрович суть всю и затем, развивая мысль свою, примерами поддваивал, словно проконопачивал крепкий сруб.

— Украл ты, вор ты пропащий, а запрячут тебя в кутузку, и ты уж несчастный, и уж пальцем тебя нельзя тронуть, а баранок и калачей тебе надо, жалеть тебя надо, негодяя. А тот, у кого украли, купец обкраденный, дурак, и, конечно, дурак: чего зевал, чего дал над собой мудрить всякому, эка, карман подставил, сущий дурак... Поп, батюшка наш, как ты ни верти, и пускай он и такой и сякой и пьянчужка и что хочешь, а без него нельзя, без него ни начала, ни конца нет, вся жизнь с ним, за его глазом: и окрестит, и повенчает, и похоронит. Без попа невозможно. И без нищего никакой жизни нет: нищая братия — обязательно, надо же человеку и о душе подумать. И страннику место есть, в слове Божьем о страннике сказано, и странник для души. Так? А по правде вам сказать, — Сергей Петрович хлебнул горяченького, облизнул усы, — по-настоящему-то, настоящих-то и нет никого, все дармоеды.

И тут малость перегнул Сергей Петрович, сам на себя поклёп возвел!

Мне припомнилось, когда шли мы с вокзала, около будки сидел нищий безрукий — одной руки совсем нет, а другая култышка, мы остановились, Сергей Петрович вытащил три копейки, мельче не оказалось, а положил он для души семитку дать, и говорит: «Копеечку сдачи?» — да чтобы долго не мешкать, сам в жилетку к нему и запустил пальцы, пошарил, вынул копеечку и мы пошли, и я видел, какое умиление и покой душевный сияли на лице его!

Нет, перегнул малость Сергей Петрович, нищих-то он признавал за настоящих, о душе помнил, и, думаю я, случись с ним грех какой — Сергей Петрович все в гору идет, с лесом дела растут, мало ли грех какой! — так он в духовной тысячу какую на колокол запишет, чтобы вызвонить свою душу из ада.

— Дармоеды, все дармоеды! — знай себе, твердил Сергей Петрович и не благодушно, а уж всурьез.

Священников я не раз встречал и очень хороших, большое добро сделавших народу, и понимаю, как без начала и конца трудно человеку, прямо невозможно, не всякий, ведь, вынесет простор бескончинный, это я понимаю, а насчет странников — вещь темная.

— А много тут по вашей местности странников ходит? — полюбопытствовал я.

— Этого народа, сколько хотите! И все им с рук сходит, — Сергей Петрович даже покраснел весь, словно бы осердился, а может, и не осердился, а такая пришла на человека точка, — дармоеды, разбойники, только мутят, народ губят, Россию погубят, они-то и погубят Россию! — Другой тебе попадется и такой смиренник, и такой постник, и такие слова божественные, уши развесишь, прямо в угодники метит: «Затеплил — скажет — перед Господом Богом лампаду!» — и глаза опустит. А это запалил, значит, деревню спалил! Вот какую лампаду затеплил, вот тебе какая лампада, дармоеды, все дармоеды!

Хозяйственный человек Сергей Петрович и хоть поговорить он не прочь, да видно, долго рассиживаться ему не полагается, может, он и осердился, что уж очень я долго сижу за чаем, уж и вечер стал и в комнате засумерилось, пора Сергею Петровичу в лавку, пора по хозяйству наведаться.

Допил я, не знаю который, стакан, без счета пили, стал прощаться.

Таисия Сергеевна, дочка Сергея Петровича, вышедшая во время нашего разговора, тут вернулась:

— На дороге у школы, — сказала она, — странник стоит, очень чудной, хотите посмотреть?

Признаюсь, когда она это сказала, мне вдруг страшно не захотелось никаких странников, а идти бы мне прямо домой, пока доберусь, пока что, — жил я в пятнадцати верстах от станции в усадьбе, и хотелось дома одному посидеть в своей комнате, но потом раздумался, простился с Сергеем Петровичем, поблагодарил и вышел за Таисией Сергеевной.

Издалека еще увидел я народ, много было народу, но ни шума, ни гама не слышно было.

И чем ближе я подходил и чем яснее разглядывал лица, тем тише становилось, а и без того был тихий вечер.

И скоро я увидел его.

Тесно, но не близко стоял народ.

Впереди ребятишки, потом бабы, и стояли молча — никто не решался заговорить, стояли тихо и смотрели, и было так, будто он совсем далеко и, если скажешь, все равно, не дойдет до него твой голос, и оттого можно только смотреть и ждать, — не подойдет ли поближе! — только смотреть и ждать.

У изгороди стоял он.

И тоже смотрел и смело так и с тем правом своим, которого из всех нас никто в себе не чувствовал: в парусиновом хитоне — в ряске, в черном суконном плаще, без шапки — и волосы по плечи, чуть взбиты, на ногах сандалии, большой крест на груди и в руках посох, — лицо было совсем молодое, только изнуренное очень, левой рукой он держался за изгородь, чуть наклонясь, и рука его казалась необыкновенно белой, не рабочей, белая такая, — у простых не бывает.

Когда я подходил к нему, я уж делал усилия над собой, а когда подошел и стал лицом к лицу, страшно стало, как я заговорю с ним.

И заговорил, и он ответил мне, и так улыбнулся такою улыбкой.

Я подумал:

«Боже мой, да это одно самое доброе желание и засветилось в этой улыбке его!»

Ребятишки поближе подвинулись.

Народ не расходился, еще и еще подходили, еще теснее стало, стояли молча, смотрели, прислушивались, и видно было, что улыбка его не только светит...

Начал я с расспросов, о старцах расспрашивал, где нынче старцы у нас спасаются и много ль их и как отыскать их.

И он мне толково рассказал о всяких пустынях, и всякие дороги объяснил, до тропочек, — прямо, прямым путем доведут, куда хочешь, и имена назвал старцев, о которых я до тех пор ни от кого и ничего не слыхал.

От старцев перешел разговор к тем лицам, шумевшим за последние годы по России за свою святость — тоже старцы, чьи имена всякий дурак знал.

— Рано за дела принимаются, — сказал странник, — все чудеса хотят творить, а вместо чудес, смотришь, один вред выходит, и себе вред и другим. Ты сперва Бога в сердце прими, и тогда одно Божие будет в сердце, и уж никому не будет вреда.

И опять сам перешел, но уж к своим старцам, которым *закон не лежит*, а потому не лежит, что приняли они в сердце Бога и творят волю Божию.

— Товарищ мой в послушание к старцу пошел и живет так, — ему так и надо жить у старца. А вот я хожу... *расточаю*!

И опять улыбнулся и через улыбку его прошло столько добрых желаний.

И хотелось просто, ничего не спрашивая, только смотреть, как смотрели ребятишки, смотрели бабы, старики и старухи, смотрел народ.

— Что же это такое расточать? — спросил я.

— Божьи дары расточаю, — сказал он, — сердце надо очистить, вернуть Богу дары Его, и уж в чистое сердце Бога принять... и тогда одно Божие будет в твоем сердце, и уж от дела твоего никому не будет вреда.

Я хотел и еще спросить, хотелось мне знать, как же так вернуть Богу дары, и много ль даров и как поступить с теми дарами, которые Богом благословенны, ну, с милостыней и милосердием, их тоже вернуть? и детей? и любовь вернуть?

А не решился спросить, молча стоял и смотрел.

— Кваску бы мне испить! — весело вдруг сказал странник, и немного подвинулся от изгороди к народу.

И какой-то парень бросился в школу и, не прошло и минуты, в обеих руках тащил полный ковш квасу.

Не торопясь, принял странник ковш, отпил большой глоток, — и тут заметно было, как сильно мучила его жажда, но больше не притронулся, рукою вытер губы.

— Квас, да не про нас! — сказал странник и посмотрел.

И все отступили.

И он пошел, не обернулся, по дороге пошел по нашей, по просторной.

И твердо и легко ступал по земле один со своим посохом, странник.

Птичка

Я вам про птичку еще не рассказывал, какая это была птичка умная и чудесная — ласточка.

Лапочки остались да перышко на красной нитке приделал, на листке в особой книжке храню. Там же и цветы у меня, такая книжка есть.

Расскажу все по порядку.

* * *

Зиму живешь в Петербурге и ничего, а как весна покажется, так и начинается:

куда бы проехать!

И тут, как нарочно, все соберется, чтобы только никуда не пустить тебя — всякие мелочи загородят все дороги. И всегда так выйдет: смотришь,

а там и опоздал, поздно уж!
а туда не доберешься — дорого:
хуже того, добраться-то доберешься,
да назад не выберешься.

Просидел я весь май и июнь в Петербурге, и даже слишком, и просто уж места себе не нахожу. И делать ничего не делается.

С утра до позднего вечера граммофон орет, — двор у нас колодцем, гулко, — и такое выводит, тоска возьмет:

и вот-вот сам собакой завоешь.

Ночью голуби, — на самом на верху живу, тут же и голуби, — да так заворкуют: проснешься, слушаешь —

так вот там у них, кажется, в зобу, что ли, где, и разорвется все.
И вороны какие-то появились:
сядет на подоконник, смотрит —

И оставить на ночь за окном ничего нельзя:

все стащат.

Я подкараулил, — на самой на заре, под утро таскают! умная это птица, эти вороны: знает, когда можно.

Сосед у нас — хороший человек; одно горе — музыкант большой.

Самому-то ему и невдомек, а мне очень чувствительно!

В праздник, ну, в праздник всякому полагается, и в праздник и в простой, будний день, как отработается и — за гармонью. А она у него басистая, ладов не пересчитаешь. И так начнет играть и уж без передышки зажаривает, —

граммофон свое, а он свое.

* * *

И вспомнил я, что мне один приятель зимой писал из Риги, как соблазнял он меня куда-то проехать на раздолье, а главное — когда угодно можно, и все, что угодно:

и охотиться
и на лодке кататься
и верхом
и море совсем под боком — купанье.

Вспомнил я все соблазны, разыскал письмо, перечитал и решил ехать.

Местность, куда завлекал меня приятель, приморская; посмотрел я на карте: правда, по карте-то близко, а так не очень. Ну, это все равно, до воды я не охотник — плавать умею и, если надо, нырну, с детства обучен, да на воде мне не по себе как-то:

и почвы под ногами никакой, и все колеблется,
совсем неудобно!

И верхом я не мастер: сроду на коня не садился; и когда вижу, как на конях мчатся, не завидую, разве что на картинках...

И охотник я неважный, разве в шутку сказать, охотник! — когда мчится мимо поезд, люблю послушать, дух захватывает, а с американских гор кататься, да чтобы палили над ухом, нет, спасибо.

Сколько удовольствий ожидало меня после воркотни голубиной, ворон, граммофона и гармоньи.

Сообразил я все с делами, помешкал еще с недельку и — прощайте.

До Риги хорошо доехал, не заметил.

А там пересел — и по узкоколейной потащились.

И дотащились — Зесвеген.

И уж на лошади повезли меня неизвестно куда — полем, потом в гору, да опять в гору — —

Смотрю по сторонам, рот разинул:

как хорош вечер в поле!

* * *

День ушел на осмотр усадьбы.

Хозяин — мельник, не очень бойкий в немецком, употреблял на подмогу руки — они и были самой красноречивой речью.

И я тоже больше руками действовал.

У мельника всего оказалось вдоволь.

Мельница, хоть и не работала, — стояла засуха, но хорошо, должно быть, работала, когда вода прибывала. Машин стояло всяких немало, а пол и стены мучные — белые.

И когда мы вошли в соседнее помещение, где мельник сукно себе выкатывал, я совсем посерел.

Осмотрели мельницу и всякие к ней пристройки, повернули берегом к хлеву.

Первые выскочили на нас свиньи, и такие огромные, даже страшно, — мне свиньи всегда как-то страшно: главное, не знаешь, что у нее там, на уме; и где она свинью подложит!

Хорошие коровы водились у мельника — штук сорок их держал мельник. И все у мельницы паслись на лугу — по дороге к кладбищу.

Тут же и овцы, — я насчитал дюжину и белых, и черных.

Из хлева заглянули в конюшню.

Постояли в сарае у машин — около молотилок, сеялок, веялок. Осмотрели зубья всякие, пилы, ножи. Все было новенькое такое и блестело, как начищенное.

Зашли и в ригу — тоже смотрели и все трогали.

Выпили ячменного сусла — прохладились — и, не заходя в дом, садом прошли в клеть.

В клети хранилось масло — такие окоренки! окорока висели. На полке — хлеб. И тут же три новеньких тесовых гроба: — яблоками от гробов пахло — яблоки в гробы от ребятишек складывали, чтобы повадки не было таскать. И около гробов, к стене приставленные, стояли три белых креста.

Мельник смотрел на меня так победительно, что мне со своим н и ч е в о м просто пригнуться захотелось — все это его, все это он сам завел, сам сделал, этими самыми руками:

осушил болото,
прокопал пруд,
пустил мельницу,
обзавелся скотом.

На левой руке не хватало большого пальца: в год женитьбы, лет десять назад, машиной отрезало.

— Жена целый день плакала!

Мельник растопырил беспалую руку и держал ее перед собой.

Из клети перешли в сад и взялись за пчел — пчелиные домики прямо под окнами, — и уж понятных слов не хватило, ни слов, ни рук, и мельник заговорил по-своему.

И в доме после пчел мельник говорил по-своему, и, должно быть, очень интересное — историю своего кирпичного дома, но я ничего не понял.

* * *

Дом разделялся на две половины.

Две комнаты в сад к пчелам и пруду, за которым шла лугом дорога на кладбище — парадные комнаты. И два хода: чистый — в прихожую, черный — в кухню.

Это одна половина, где меня поселили, другая — хозяйская.

Прихожая с кухней отделяли парадные комнаты от хозяйских, там были три комнаты: одна совсем маленькая, в ней ютились теперь хозяева с ребятишками, и две просторных, опять с какими-то машинами.

До последнего уголышка все показал мне мельник и оставил меня в моих комнатах.

И до вечера я один сидел в моих парадных комнатах — вещи разбирал, к столу прилаживался.

Вечером опять появился мельник и не один, а со своей мельничихой.

А за ними ребятишки.

Мельник с вином, мельничиха с подносом — на подносе лепешки и хлебцы всякие.

Покивали мы друг другу, покланялись.

Из одной выпили:

мельник пригубит и мне даст,
отопью глоток и ему назад.

Мельничиха лепешками потчевала, — сладкие лепешки, дети на них так и засматривали.

Трое их было у мельника:

старший Андру — так его кликали,
поменьше Мильда — так ее кликали,
и совсем маленький, все за мать цеплялся, просто Иван.

— Старший будет хозяином, младший пастором, — показывал мельник, — а эта — Мильда.

И какая чудесная, умная смотрела эта Мильда, такая крепкая девочка с овсяными косками.

Сели, посидели, помолчали.

И опять стали друг другу кланяться:

хозяевам на покой пора — спокойной ночи желали мне,
и мне с дороги не мешает отдохнуть — пожелал и я им доброго сна.

Всякий по-своему и по-своему говорил.

Мельник с вином, мельничиха с подносом, а за ними ребятишки — гуськом.

И я опять остался один.

Мельник вернулся:

— Рано утром, — сказал он и так ясно и понятно, будто по-другому сказать и не мог никак, — рано утром прилетит птичка, постучит носиком в окно,

вставать!

«Рано утром прилетит птичка, постучит носиком в окно,

“вставать!”»

И мне чудно стало:

ишь, какой мельник!

А ведь и правда, я проснулся от стука —

маленькая птичка стучала ко мне в окно из сада.

Вот чудеса!

И уж я знал, когда подыматься.

И нарочно другой раз до солнца глаза открою, чтобы мне мою птичку посмотреть, как будет будить меня.

Чуть станет солнце над лесом, и она уже летит —

такая умная птичка!

Подлетит — метнется, заглянет, сплю иль не сплю, и носом в стекло —

какая умная птичка!

Постучит в стекло, посидит, поотдохнет и опять —

какая умная птичка!

В воскресенье заложил мельник линейку и повез меня осматривать землю — свои владенья.

— Ваша, — говорил мельник, кнутом по сторонам показывая на лес и землю, — ваша, и это все ваша!

* * *

Дни проходили так: я вставал по птичьему стуку, пил чай, потом начинались передвижения по комнате:

то подсяду к окну, в поле смотрю,

то к другому окну, в сад посмотрю.

Пчел послушаю — все гудит, работает!

Потом лягу на кровать и лежу —

из окна мне — луг.

А после обеда, как станет спадать жара, отправлялся я через кладбище лесом к речке.

И всякий раз неизменно появлялась Мильда.

Как моя птичка, чуть подымется солнце, и уж летит — так и Мильда:

вечереет, иду по дороге, и она
тут как тут.

Мильда, как зверок: то забежит и начнет кувыркаться, то далеко уйдет за деревья и кричит, —

и звонко надносится по лесу голос, как самая первая и голосистая птичка.

Мильда собирала землянику и рвала цветы.

Землянику она давала мне в горстке, а цветы положит на дорогу или пустит на воду в речку, а сама спрячется — и я вижу, как зорко следит.

И когда я догадывался и вытаскивал из воды цветы или подымал цветы с дороги, Мильда кричала от удовольствия —

и звонко, еще звонче надносился ее голос по лесу.

Мильда ничего не понимала, что я говорил ей, и ни одного слова я не слыхал от нее —

Мильда только смотрела,
смеялась
и кричала.

И скоро я понял:

и ее глаз
и ее смех
и ее крики.

И я покорно нагибался с берега за цветами и к земле на дороге — за цветами.

Вечером, когда зажигали огни, заходил ко мне в комнату мельник, садился к окну у двери, брал папироску, закуривал и молча курил.

Я пил молоко и ходил перед мельником от окна к двери.

Тут же неизменно была и Мильда, она тихонько забиралась в угол и из угла высматривала зверком, — следила.

А мельник все сидел, курил и о чем-то думал.

— Дождю довольно! — говорил мельник.

И начинались поклоны: на покой пора.

Я выходил в сад.

В саду, в домиках спали пчелы, на клети спал аист, и дом спал и мельник:

снилась мельнику ясная погода и луга, — во лузьях, во зеленых лузьях расхаживал мельник.

Так я и жил.

Я привык к мельнику, привык к пчелам, привык к Мильде, привык к своей птичке —

птичка меня разбудит,
мельник меня накормит,
Мильда дорогу покажет.

* * *

На Ильин день, когда я поднялся, уж на кладбище звонили к обедне.

— — — птичка меня не разбудила!

— Как же так, птичка... на такой день не разбудить? — пенял я птичке.

И на себя пенял.

— Проспал я птичку, не слыхал птичку, а она, поди, носиком так колотилась и беспокоилась, что не встаю. И колотилось сердце — с горошинку такое, не больше. И как, поди, тревожно в окно засматривала, будила: «Вставай ты, вставай!» Моя маленькая умная птичка.

Подхожу к окну.

Смотрю —

а на подоконнике моя птичка.

И уж нет моей птички, —

одни ее лапки лежат и перышко.

— — — вот эти самые лапки и перышко!

День был пасмурный, печальный.

А вечер пришел — еще тише.

Мильда не кричала, не смеялась.

Мильда была, как день, печальна: забежит далеко по дороге, упадет в траву и лежит ничком, будто обмирает, —

больше не было птички!

И три дня мы так жили.

Вставал я без времени и спал плохо: долго не спится, а потом как убитый.

Уж подумывал, не попросить ли будильник.

— —

И вдруг, под утро, стучит — —

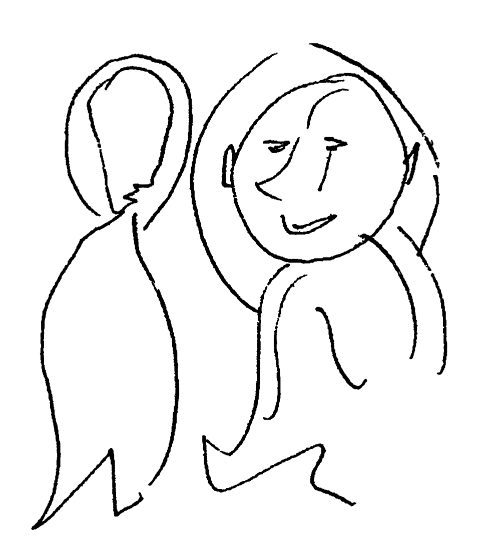
Открываю глаза —
птичка?
Бросился к окну —
Мильда!
Мильда, как птичка, быстро пряталась за кусты.

* * *

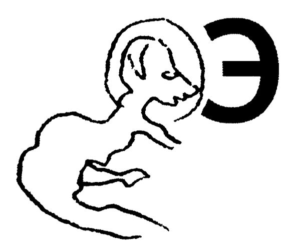
Милая моя птичка, умная и догадливая, — с этих пор, как птичка, час в час будила меня Мильда! — навсегда сохраню я мою счастливую память о этом утре, и я кланяюсь тебе и твоей земле — аисту, пчелам, лугу и речке, мельничихе, твоим братьям.

1912—1913
1922
Charlottenburg

ПРИЛОЖЕНИЕ



ЖУК



Это не тот жук, о котором рассказывает Бунин, как летним вечером «сеет тишину», это Жук — собака.

Когда Вера сказала, что ей учительница обещает подарить песика, Фрида Лазаревна очень забеспокоилась: и возни с собакой много, смотреть надо, да и налог!

Жили Шрейберы не дома, не в России — в Берлине они жили, в Вильмерсдорфе — не дома: обо всем подумай.

А Вера так размечталась, в слезы: хочется ей непременно песика!

Фрида Лазаревна уступила, но с одним уговором, чтобы Вера его и гулять водила, и накормить должна, и пол за ним подтереть, если грех какой.

И завелся у Шрайберов песик: сам черный, лапы коричневые, грудь белая — Жук. А уж крошечный, не бывает таких, — Жуком и прозвали. И ко двору пришелся, скоро обвык — везде бегает, следит по всем углам; и все ему прощается: и маленький-то, и мягкий-то, и ласковый.

Все говорили, что таким Жук и останется — таким крошечным, каких не бывает, а он, знай себе, растет и растет. И чем больше становится, тем крепче его любят, за ласковость его особенно: придет Яша домой со службы — Яша в «Бинте» работу себе достал — а он уж ему навстречу, — и лает, и прыгает, и ластится; а то и такую повадку взял, увидит кого из хозяев, и от радости, что ли, по всем комнатам бегать примется — из комнаты в комнату — и не остановить ничем.

Купили Жуку сбруйку с ремешком, обрядили честь-честью, да куда там! — всю, как есть, порвал. И уж пошел все грызть, — и грызет, и рвет: мохнатый коврик у постели выщипал, Верин

коврик прогрыз, считали белье, и тут постарался, — манжеты и два воротничка Яшиных сожрал, как и не бывало; мало того, стал сорочки таскать, или на постель взберется и грызет простыню, а раз даже скатерть со стола стащил, и всю посуду вдребезги.

Невмоготу стало с Жуком, и каждый вечер, как придет Яша из «Бинта», на Жука ему жалоба. А Вера плачет, за Жука своего боится, — Жучиха: Жучихой прозвали Веру.

Что тут делать? И без Жука забот много, и Жучиху жалко. Яша на все хитрости пустился, чтобы и Фриду Лазаревну успокоить, и Жучиху не обидеть, думал, угомонит Жука: и вечерами стал его водить с собой и учить его, — а сладу нет.

И решает Фрида Лазаревна прогнать со двора Жука — ничего с ним не сделаешь!

Решить-то она решила, а и тяжело ей: всякое утро приходит Жук в ее комнату, садится около постели, и сидит тихонько, хвостиком не пошевельнет, дожидается, и только, когда окликнут его, только тогда бросится, вскочит на постель и такую подымет возню и так кружится, ну, словно год не виделись! Да и как не тяжело: целый день ведь одна, — Яша в «Бинте», Вера в школе — и только Жук с ней. Научился Жук лапу подавать и «служить» немного умеет: станет на лапки — правда, недолго продержится, и набок.

И вот пришлось Шрейберам расстаться с Жуком — пришлось отдать его назад учительнице.

Вера Жука два раза в неделю видеть будет, а изредка и Жук к ним в гости ходить будет, — кажется, лучше и не придумать!

* * *

Каждый раз в слезах возвращалась Вера от учительницы.

«Не хорошо там было Жуку, не любят там Жука, не знают, какой он ласковый, любимый песик!» — и в слезы.

Да и старшим невесело: дом опустел, нет чего-то без Жука — или шумливости? — жизни нет какой-то.

Жук как-никак развлекал, — и обиду всякую забудет: постегают его, а он и опять ластится, как ни в чем не бывало, идет —

Обиду забывал... а ведь трудней это трудного!

Помыкались, помыкались и опять взяли Жука в дом.

И уж на радостях Яша и Вера обещались вдвоем заботиться о Жуке, чтобы только развлекал и радовал.

* * *

Жук остался — зажил Жук опять с Шрейберами в Вильмерсдорфе на Нассауерштрассе.

Раньше Жук все рвал и грыз, и таскал, и пачкал. И все, бывало, прячь от него, — стащит и изваляет! — да повыше запрячь, чтобы и концы не торчали, а то обязательно стянет — и пропало. А теперь резвостью одолел.

Спустит его Яша с ремешка по улице побегать — и уж не дозовется. Битый час простоит у дверей, кличет — и лаской приманивает, и угрозой стращает, нет, Жук и ухом не поведет. Раз как-то до двух часов провозился, не хотелось на ночь Жука на улице оставлять, но так и не дождался — а Жук-то смекнул, бедовый пес, и уж на оклик не прибегал больше. И уйдет, бывало Яша — набегается Жук, навозится с собаками, все собаки разбегутся по домам, а он скулит под окном: и в три, и в четыре часа изволь, одевайся, выходи на улицу.

А случалось и днем: отобьется от рук и пропадет. Думают, пропал, ан, нет, — Жук возвращался, и в каком виде! — весь-то в грязище, измызганный, места живого нет, истерзанный весь, сонный. Впустят, — а он по стенке, так по стенке и жмется, ну, прямо по полу стелется. И уж рука на него не подымается.

А глаза грустные — —

Что он думал? Или винился, что прогулял день, — и как прогулял! — и вот вернулся — куда же ему вернуться! — и хозяева на него сердиться могут, сколько угодно, и постегать могут, если надо (мало ли, может, это всегда так надо!) сколько хотят, что хотят, только чтобы не гнали!

И смотрит так грустно — —

. . . .

Шрейберы Жука очень любили, и Жук это знал, что его очень любят. Но чем дальше, тем невозможней с ним становилось.

И решил Яша сразу все покончить: взять и завести Жука куда подальше за Заков, чтобы и дороги домой не нашел, совсем пропал.

Но Фрида Лазаревна и Вера просто в ужас пришли:

«Как, Жук, и один! — голодный один бродит где-то за Заками!»

И уж не рад Яша, что такое придумал, а, главное, не подумавши, бухнул. Насилу успокоил, — тысячу всяких обещаний дал и клятв самых страшных: никуда и никогда не уводить Жука, а дома держать, как прежде! — успокоил, успокоилось в доме, и несколько дней кротко сносили все Жуковы проказы, потакали ему и все прощалось.

И все-таки, в конце концов, решено было расстаться с Жуком.

* * *

Отдали Жука соседке прачке, фрау Швох — за короткое время Жука все по соседству знали и полюбили — фрау Швох, старуха одинокая, Жуку обрадовалась.

В прачешную ход с улицы, и привязала старуха Жука на веревку к двери, чтобы привыкал.

Да, видно, ни Жук, ни Шрейберы не могли привыкнуть!

Идет, бывало, Яша мимо прачешной, хоть и по другой стороне идет, а завидит его Жук и так рвется к нему! А в доме пусто — Вера все вспоминает и плачет, Жучиха!

И пошла Фрида Лазаревна к прачке: Жука назад просить.

А старухе-то и не хочется расставаться — она одна, у нее нет никого, а Жук — он и приласкается, и развеселит ее, у нее нет никого! — не хочет старуха отдавать Жука.

А все-таки Фрида Лазаревна упросила — не одна, с Жуком она вернулась домой.

И словно все переменилось в доме.

На радостях купили матрасик Жуку и новую сбруйку, и зажили по-старому.

И знает Яша, вернется домой, — а ему навстречу так и кинется Жук, и так завертится, закружится, залает так — — Жук.

* * *

Вышел Яша с Жуком погулять. Отошел от дома, — рвется Жук побегать. И стало Яше жалко, спустил он Жука с ремешка — Жук так и пустился. Яша за ним, — не тут-то! Гонялся, гонялся, а Жук все от него, и все ближе они к фрау Швох. Бежит Яша, самого страх берет: а вдруг да старуха перехватит! — а совсем уж близко.

Да так и вышло, забежал Жук к старухе, а она цап-царап, да его на веревку.

— Я, — говорит, — и простить себе не могу, что отдала вам тогда Жучка, а теперь хоть шутцмана зови, не выпущу, мой!

Слышать ничего не хочет, не получишь: — пошел Яша домой.

И опять вернулся:

— Фрау Швох! — просит, — um Gottes Willen! (ради Бога!)

Да нет, упустил, и думать нечего.

И Фрида Лазаревна пошла — и тоже, ничего не помогает: не отдает старуха, стоит на своем.

И так Шрейберам горько было, а пуще обидно — на Жука обидно:

сам ведь к фрау Швох по своей воле и своею охотой пошел, их променял!

И за сердце взяло:

«Ну, когда так, и не нужен ты нам!»

А легче не стало.

А Жук, глупый, пес несмышленый, как завидит кого из них, так и рвется, — так и рвется и визжит, назад просится. А нет никакой надежды, — разве, что старуха помрет! — и ничего не придумать, и проходят, не смотрят, а он так и рвется — —

И оторвался!

Оторвался Жук, сам прибежал, да так и с веревкой прямо.

И вот опять у Шрейберов!

И положили все вместе согласно, — и Фрида Лазаревна, и Яша, и Вера — все терпеть от Жука, ну, что бы он такое ни сделал, все терпеть, и никогда не расставаться с ним!

* * *

А какой умница стал Жук — всегда просится: и долго, бывало, терпит, пока не заметят! — но в комнате никогда. И не озорничал уж. И всего только раз, да и чудно как вышло!

Пришли к Шрейберам Вишняки. Все называли Вишняка племянником «Современных Записок», а сам он себя не Абрашей, а Геликоном, и для важности курил вонючие сигаретки вроде стручков такие. Яшу как раз о ту пору из «Бинта» вычистили и подбивал его Абраша редактировать технический отдел в «Хрящике». За разговорами засиделись, а как стали домой со-

> бираться, хвать — муфты нет, и везде-то обшарили, нет нигде, заглянули под стол, а там Жук: и тихонечко сидит себе и перья, только перья около разбросаны — Жук муфту съел!

Умнел Жук — не на что было и пожаловаться! — но с умом и сметкой стало находить на него, тоска какая-то: стал Жук задумываться.

Сядет Фрида Лазаревна, шьет что-нибудь, и Жучок сейчас же поближе пристроится, и не ляжет, а так только лапы пригнет, словно сидит, и сидит так, закроет глаза, дремлет — голова все ниже опускается — — и вдруг вздрогнет, и опять закроет глаза.

И куда бы ни пошла Фрида Лазаревна, Жучок за ней — медленной сонной походкой тянется за ней: она присядет — и он усядется, она станет — и он поднялся, говорит ли с кем — и он тут, стоит, словно слушает.

Или примется Жук ходить по стенке, и ходит, каждый угол обнюхивает и ничего не тронет, не скувырнет, ничего не зацепит — осторожно так ходит и все обнюхивает: начнет с карниза и покуда мордочкой достанет.

> Смотрят, бывало, как это он обнюхивает все и осторожно так и внимательно — с карниза и покуда мордочкой достанет — и жутко смотреть, а спросить не спросишь, да и сказать-то он не скажет, Шрейберам-то сказал бы, да не может, да и не поймут, пожалуй.

Походит, походит, обнюхает все, и опять к Фриде Лазаревне, смотрит так, точно и говорит и понимает — —

. . . .

Соседка Шрейберов фрау Лисак собралась в гости и скучно ей одной, попросила Жучка — Жука она очень любила, и много ему от нее всяких косточек перепадало (известно, старый человек обглодать кость хорошенько не может!), большое бывало Жуку угощение! Шрейберы отпустили Жука, посидела фрау Лисак в гостях, и домой уж пора, а Жук, между тем, ремешок-то свой и съел — что ей делать? Привязала она веревку, на веревке и привела Жука домой. Так без ремешка Жук и вернулся к Шрейберам.

«Вечером, — рассказывал Яша, — понадобилось мне в лавку за папиросами, а Фрида Лазаревна и просит: “Возьми, — гово-

рит, — Яша, Жука, ему погулять пора!” И не хотел я его без ремешка брать, знаю, заупрямится и уж силой домой не затащить, да взял, — думаю, как-нибудь да справлюсь: в самом деле, не сидеть же Жуку дома из-за ремешка! Лавка через улицу. Зашел я в лавку, зову Жука — а он уж разыгрался, куда там! “Ну, думаю, — ничего, — подождет на улице!” Купил папирос, выхожу, а он — у дверей сидит. Покликал я его и пошел. Перешел к дому на другую сторону — а он все сидит у лавки, не отходит от двери. Я свистнул, — не идет. “Ну, — думаю, — что же ему там ждать, пойдет!” И правда, оглядываюсь — а Жук сорвался и такой веселый, так и скачет — — а там автомобиль! И как увидел я, так ноги у меня и подкосились. И вижу, и Жук понял: приналег, да как скоконет... Автомобиль умчался. Стою, и двинуться не могу. Метнулся Жук, заковылял. Свистнул я — и, должно быть, узнал он и широким кругом повернул на зов — повернул и упал. Собрался народ, все соседи, все Жука знали, что-то говорят. А я стою, ничего не разбираю. Подошел, вижу, и хозяин, папиросы у которого я купил, положил он Жука в сторонку к тротуару: “Капут!” Я домой. “Яша, где Жук?..” И поняли: никогда к нам не вернется Жук!»

У Шрейберов номерок есть Жука, у Веры хранится, да письмо — «Жук написал» (Вера лапкой его водила). Письмо, как в поминаньях пишут, большой прописной буквой — о Жуке память:

«Яша, поздравляю тебя с днем твоего рождения... Жук».

Всемирная сказка Алексея Ремизова

Репутация Ремизова-сказочника сложилась непосредственно при вступлении в «большую» литературу с первой отдельно изданной книгой «Посолонь», задолго до принятия его художественных экспериментов современниками и заслуженного признания в исторической ретроспективе одним из наиболее значительных явлений русской словесности прошлого столетия. Даже попытки обвинить писателя в плагиате фольклорных источников лишь упрочили его положение в ряду корифеев жанра во главе с Пушкиным и Лермонтовым. И это отнюдь не случайно, ибо сказка занимает исключительно важное место в обширном наследии Ремизова. Без преувеличения, по степени интереса к этому жанру ему нет равных в русской литературе, по крайней мере, в XX в. Писатель работал над сказками на протяжении всей жизни, хотя период наиболее интенсивных штудий фольклорных и этнографических материалов пришелся на 1900—1910-е гг. Тогда же он создал несколько сотен пересказов народных сказок и в течение 1900—1920-х гг. опубликовал восемь специальных сборников: «Посолонь» (1907), «Докука и балагурье» (1914), «Укрепа» (1916), «Русские женщины» (1918), «Сибирский пряник» (1919), «Заветные сказы» (1920), «Ё» (1921 и 1922) и «Лалазар» (1922), не считая тома «Сказки» в составе собрания сочинений (1912) и самостоятельных изданий отдельных произведений из названных циклов. Наконец, в 1923 г. в Берлине вышла в свет итоговая книга «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым».

Эти сборники сыграли существенную роль в становлении стилистических и композиционных принципов ремизовской прозы 1910—1920-х гг., а та, в свою очередь, повлияла на развитие повествовательных форм в русской литературе пореволюционного периода. На рубеже XIX—XX вв. отчетливо обозначил-

ся «кризис» крупных эпических жанров, прежде всего романа. И Ремизов после довольно долгих опытов выбрал наиболее приемлемый для себя способ его преодоления, заключавшийся в создании произведений большой формы путем коллажирования мелких новелл. Этот монтажный прием был впервые использован им при работе над сборниками сказок.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что сказочные мотивы и сюжетные ходы присутствуют в большинстве произведений Ремизова. К настоящему времени данной темы касалась по существу лишь О. П. Раевская-Хьюз, обнаружившая элементы волшебной сказки в его мемуарной книге «Иверень»[1]. Между тем круг ремизовских текстов, в которых без труда угадывается характерный для фольклорной прозы образный строй, используются сказочные формулы, композиционные приемы и языковые клише, значительно шире. Со временем под этим углом зрения должно быть проанализировано все художественное наследие писателя. Тем более что целый ряд мотивов его сказок «кочует» из одного текста в другой, превращаясь в мифологемы, которые «обеспечивают» внутреннюю преемственность ремизовского творчества. Однако систематическое выявление «сказочного» субстрата его произведений других жанров, а также анализ степени влияния фольклора на литературную практику Ремизова по-настоящему возможны, лишь когда представление о самой сказке будет более полным[2].

Вместе с тем сказка во многом определила не только поэтику, но и проблематику ремизовского творчества, так как при

---

[1] *Раевская-Хьюз О.* Волшебная сказка в книге Ремизова *Иверень* // Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer / ed. by Greta N. Slobin. Columbus, 1987. P. 41–49. Отдельные частные наблюдения, прежде всего на уровне выявления конкретных мотивов, можно встретить во многих ремизоведческих исследованиях. См., например, работу С. Н. Доценко «Кремлевские звезды Алексея Ремизова», где восходящий к якутской сказке писателя «Стожары» мотив анализируется путем сопоставления текстов разных жанров (Культура русской диаспоры. Эмиграция и мемуары: Сб. статей. Таллинн, 2009. С. 213–216). Но все же приходится признать, что подобные находки носят в основном случайный характер.

[2] Относительно недавнюю монографию Ю. В. Розанова «Ремизов и народная культура» (Вологда, 2011) можно рассматривать как один из первых шагов в этом направлении.

выборе фольклорных текстов-источников писатель неизменно учитывал их созвучность современности. Именно поэтому его сборники сказок воспринимались читателями как вполне актуальные произведения. Причем, в отличие от Ремизова-писателя и драматурга, в свое время много претерпевшего от рецензентов, Ремизов-сказочник, автор «Посолони», был безоговорочно признан критикой разных направлений. А сама «литературная маска»[3] сказочника закрепилась за ним навсегда, определив стилистику его литературно-бытового поведения, выбор жизнетворческой стратегии и место в иерархии культурного сообщества. Когда в последние годы жизни Ремизов создавал миф о самом себе, он неоднократно касался проблем языка, культуры, а также собственной поэтики именно в связи с размышлениями над сказкой.

Образ Ремизова-сказочника полигенетичен по своей природе. С одной стороны, он восходит к традиции немецкого романтизма, выдвинувшего на авансцену европейской культуры целую плеяду выдающихся собирателей фольклора и писателей-сказочников. А с другой — к непосредственным носителям и исполнителям сказки из народной среды. Именно последним Ремизов как бы передоверяет сферу языка и живой разговорной речи в своих произведениях. Вместе с тем чаще всего он идентифицирует себя с фигурой фольклорного медиатора — скоморохом. Так, например, характерная стилистика и система «социальных жестов» скомороха как особого культурного типа отчетливо просматривается в игровой логике бытового поведения писателя, прославившегося своими мистификациями. Поэтому включение Ремизовым сказок о скоморохах в сборники переложений фольклорных текстов стоит рассматривать как знак авторского присутствия. Недаром в эссе 1918 г. «Тулумбас» именно скоморохи являются «гласом народа», то есть выполняют закрепленную за русской литературой общественную функцию: «В страдный год жизни — в смуту, разбой и пропад <...> в минуты горчайшей народной беды и обиды выступали

[3] Тыняновский термин, предложенный А. Д. Синявским для характеристики ряда аспектов творчества Ремизова и получивший широкое хождение в научной литературе о писателе. Подробнее см.: *Синявский А.* Литературная маска Алексея Ремизова // Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer. P. 25—39.

вперед скоморохи. <...> С широким поклоном всему народу под звон, гуд и писк шли скоморохи по русской земле, а за ними катила волна — русская правда»[4].

До сих пор исследователи ведут споры о принадлежности Ремизова к конкретному литературному направлению начала XX в. Прояснить этот вопрос помогает история обвинения писателя в плагиате, предметом которой стали сказки «Мышонок» и «Небо пало», основанные на фольклорных записях из сборника Н. Е. Ончукова «Северные сказки» (1908). Громкий литературный скандал, разразившийся летом 1909 г., вынудил его выступить с «Письмом в редакцию», являющимся единственным в дореволюционный период ремизовским литературным манифестом и содержащим ценные указания на подлинные мотивы и генезис его «фольклороцентризма»[5]. Эта декларация не оставляет сомнений в близости установок писателя мифотворческим устремлениям русских символистов, с которыми он активно контактировал в тот период.

Ремизовское представление о мифе и сказке формировалось под непосредственным влиянием научных исследований XIX — начала XX в. — трудов этнографов, медиевистов и фольклористов[6]. Не меньшее значение для самоопределения писателя в вопросе о характере взаимодействия литературы и фольклора имели дружеские и профессиональные контакты с учеными. Именно штудирование специальной литературы, особенно кропотливая работа с аутентичными фольклорными записями, способствовало выработке оригинальной сказовой манеры Ремизова, его безошибочно узнаваемой интонации — одного из основных инструментов, с помощью которого осуществлялась искусная аранжировка текста-источника. В заглавии своей итоговой книги переложений русских народных сказок писатель наконец нашел точную формулу: «Сказки русского наро-

---

[4] Цит. по: *Ахру-РК VII.* С. 26.

[5] Подробнее о самом инциденте см.: *Данилова И.* Литературная сказка А. М. Ремизова (1900—1920-е годы). Helsinki, 2010. С. 99—124 (Глава 2. Писатель или списыватель? Литературный скандал и манифест мифотворчества).

[6] См. об этом: *Розанов Ю. В.* Научная книга в творческом сознании Алексея Ремизова // Алексей Ремизов: Исследования и материалы 2003. С. 33—42.

да, сказанные Алексеем Ремизовым», позволившую навсегда «закрыть» тему авторства подобного рода произведений. И встав в один ряд со сказочниками из народа, еще раз напомнил своему читателю, что сказка отнюдь не анонимный продукт традиционной культуры — имена наиболее ярких ее исполнителей сохраняются в памяти следующих поколений.

Сам сборник был выпущен в начале 1923 г. Издательством З. И. Гржебина в Берлине[7]. После отъезда из России в августе 1921 г. Ремизовы поселились в берлинском районе Шарлоттенбург. Полтора года пребывания в столице Германии стали для писателя временем интенсивных усилий по встраиванию в эмигрантскую и одновременно в европейскую культурную ситуацию. Это привело к тотальному пересмотру всего, что было ранее опубликовано в России. Наиболее значимые произведения подверглись авторской редактуре и предназначались к печати. Ряд текстов был переведен на немецкий и французский языки[8]. Ремизов подводил черту под «петербургским периодом» своего творчества и выстраивал перспективу на будущее. Не удивительно, что в качестве образца, идеального «протографа» новой, «шарлоттенбургской» редакции переложений фольклора он выбрал знаковые для отечественной культуры «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева. Императивом берлинского издания стало окончательное утверждение сказки как актуального жанра русской прозы XX в. Вместе с тем этой книгой писатель поставил окончательную точку в многолетней работе с фольклорным материалом. Более он уже никогда не обращался к сказке в таких масштабах.

Связь этого сборника с «Докукой и балагурьем», в которую как бы включены тексты из «Укрепы», очевидна и всячески поддерживается на уровне состава, композиции, наконец, в предисловии «Павлиньи перья». Однако сюда не вошел открывавший издание 1914 г. цикл сказок о русских женщинах, а также

---

[7] Подробнее об этом издательском предприятии, и в том числе о публикации в нем шести книг Ремизова, см.: *Янгиров Р.* Из истории русской зарубежной печати и книгоиздательства 1920-х годов: (По новым материалам) // Диаспора: Новые материалы. СПб., 2004. Т. 6. С. 547–573, 581–590 (особенно с. 572, 581, 586 и 589).

[8] О судьбе книг Ремизова так называемой «шарлоттенбургской редакции» см.: *Русский Берлин 2003*. С. 171–172.

сказки о Николае Угоднике. К концу 1910-х гг. они уже выделились в самостоятельные темы творчества писателя: «Русские женщины» и «Русская вера», и публиковались отдельно. Вместо этого в новой редакции первым номером Ремизов делает сказку «Христов крестник» — пример народного переосмысления истории библейских персонажей Иова и Магдалины, которые совершают свое «хождение по мукам» на пути в небеса. Эта сказка становится своеобразным автобиографическим зачином книги, чей автор и сам превратился в странника, скитальца на чужбине.

Наконец, еще одной важной конструктивной особенностью сборника является отсутствие в нем примечаний и датировок каждой конкретной сказки. Общая дата под текстом гласит: «1905—1919 1922 Charlottenburg». Таким образом, Ремизов отказывается от той стратегии литературного поведения, которой придерживался на протяжении 1910-х гг. Отныне он предлагает воспринимать свои сказки как целостное, последовательно разворачивающееся и самостоятельное повествование, без связи с фольклорным источником.

В фонде Ремизова в Рукописном отделе Пушкинского Дома хранится макет неосуществленного издания — две тетради с вклеенными в них газетными и журнальными вырезками, подвергнутыми авторской правке, а также с десятью рисунками на обложках и шмуцтитулах[9]. Тетради называются «Сказки нерусские» (арабские, негритянские черные, басаркуньи подкарпатские, кабильские и тибетские (собственно «Ё») сказки) и «Нерусские сказки» (сибирские и кавказские). Большинство включенных сюда произведений было опубликовано как в периодике, так и отдельными изданиями (сборники «Сибирский пряник», «Ё», «Лалазар»).

Появление в творчестве писателя циклов «нерусских» сказок стало закономерным результатом его обращения к фольклору, не знающему границ. К тому же та научная среда, с которой контактировал Ремизов, побуждала его к сравнительно-истори-

[9] См.: ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 9. Он подробно проанализирован публикатором оставшейся неизданной при жизни автора книги ремизовских сказок «Павлиньим пером» (1994) Н. Ю. Грякаловой (см.: *Грякалова Н. Ю.* Человек модерна: Биография — рефлексия — письмо. СПб., 2008. С. 272—283).

ческим экскурсам в инонациональный материал, что неизбежно вело от интересных аналогий к работе над самими понравившимися текстами. В первую очередь в этой связи следует назвать имя ученика А. Н. Веселовского Е. В. Аничкова[10], но, конечно же, и других активных участников культурной жизни начала XX в. из числа представителей гуманитарной науки, например, П. Е. Щеголева.

Еще одним важным фактором, бесспорно, является тот исторический контекст, на фоне которого произошел поворот Ремизова к «нерусским» сказкам. В 1913 г., буквально накануне череды катаклизмов, полностью изменивших ход ее истории, Россия отмечала 300-летие Дома Романовых и подводила итоги своего трехвекового развития. Грандиозные праздничные мероприятия заставляли современников по-новому осмыслить масштабы и разнообразие Империи, владеющей огромными «экзотическими» территориями. И ремизовские циклы стали опытом их культурного освоения.

Европейский XIX в. прошел под знаком самосознания национальных культур. Тогда как едва начавшийся XX-й с его мировыми войнами, революциями, расцветом и гибелью империй резко расширил представления о границах национального, стремясь выйти за его пределы в космическое пространство всемирного, чтобы на фоне тотального распада обрести чувство всеобщей связи. В эту «глобальную» повестку новой эпохи логично встраивалось обращение Ремизова к материалу международного фольклора.

Если в начале 1920-х гг. русская сказка как самоценная тема отошла на второй план, полностью растворившись в прозе писателя эмигрантского периода, словно жемчужина в драгоценном вине, то работа над циклом сказок о русских женщинах и над образцами устной словесности больших и малых народов мира продолжалась вплоть до смерти Ремизова в ноябре 1957 г. Когда-то он вступил в литературу книгой сказок и, описав «посолонный» круг судьбы, сказкой же завершил свой творческий путь.

И. Ф. Данилова

---

[10] Подробнее о влиянии его «Весенней обрядовой песни на Западе и у славян» на замысел первой книги Ремизова «Посолонь» см.: *Данилова И.* Литературная сказка А. М. Ремизова (1900–1920-е годы). С. 59–78.

КОММЕНТАРИИ

От редакции: Общие эдиционные принципы подачи текстов в настоящем томе подробно изложены в преамбуле к XI тому Собрания сочинений А. М. Ремизова, вышедшему в 2015 г. (*Зга-Росток XI*. С. 3–8). Она предваряет тома Собрания сочинений А. М. Ремизова, которое является продолжением издания, увидевшего свет в 2000–2003 гг. (*РК I–X*). Произведения Ремизова публикуются с учетом авторских особенностей орфографии и пунктуации.

СКАЗКИ РУССКОГО НАРОДА, СКАЗАННЫЕ АЛЕКСЕЕМ РЕМИЗОВЫМ

Печатается по изданию: Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. Берлин; Пг.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1923 (вышло в свет не позднее 2 января 1923 г.).

Книга включает выполненные в период между 1905 и 1922 гг. авторские переложения русских народных сказок и подводит черту под многолетней работой писателя с материалом национального фольклора. Ее основу составляют ранее опубликованные в повременных изданиях, а также частично в седьмом томе собрания сочинений Ремизова (1912) сказки, которые затем были объединены в жанровые сборники «Докука и балагурье» (1914) и «Укрепа» (1916) (подробнее об этих изданиях см.: *Докука и балагурье-РК II*. С. 642–669). Три сказки 1915–1916 гг.: «Облаежа», «Чудеса» и «Заклад» – вошли в сборник рассказов «Среди мурья» (1917; разд. «Лясы»). А две сказки 1919 г.: «Дар» (под названием «Ефим плотник») и «Находка» – в первую опубликованную в эмиграции книгу писателя «Шумы города» (1921; разд. «Сказки»), выпущенную издательством «Библиофил» во время его краткого пребывания в Ревеле на пути из Петрограда в Берлин. И только написанные уже в столице Германии сказки «Сторона небывалая» и «Судьба» (обе в 1922 г.) впервые увидели свет в составе «Сказок русского народа, сказанных Алексеем Ремизовым». Всего текстов 66.

Композиционная структура книги со всей очевидностью ориентирована на сборник «Докука и балагурье». Это не раз подчеркивается с помощью специальных элементов оформления и в самом тексте. Так, на шмуцтитуле, отделяющем традиционное посвящение жене писателя С. П. Ремизовой-Довгелло от предисловия «Павлиньи перья», выставлено: Докука и балагурье. Та же тема затрагивается в предисловии. Первый и заключительный восьмой разделы сборника названы соответственно «Докука» и «Балагурье» и, таким образом, поддерживают идею его завершенности, окончательности, эталонности, выраженную в кольцевой композиции. Сама «Докука и балагурье» открывалась разделом «Русские женщины», а в книгу «Укрепа» вошли сказки, героем которых был Николай Угодник. К 1923 г. сказки о русских женщинах и св. Николае выделились в самостоятельно разрабатываемые темы ремизовского творчества. Еще в 1918 г. петроградское издательство «Скифы» выпустило книгу «Русские женщины. Народные образы». Новая «шарлоттенбургская» редакция, переведенная на немецкий язык А. Элиасбергом, вышла в свет в 1923 г. под названием «Russische Frauen» в мюнхенском издательстве «Drei Masken Verlag» (см. об этом: *Русский Берлин 2003.* С. 171). Однако на этом история цикла не заканчивается. Ремизов продолжал работать над ним вплоть до самой смерти. Об этом свидетельствуют две сохранившиеся *НР* под названием «Образы русской женщины», ныне находящиеся в *РГАЛИ* (Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 15) и *ГЛМ* (Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 211). Николины сказки тоже неоднократно издавались отдельными сборниками начиная с конца 1910-х гг.: «Николины притчи» (1917), «Никола Милостивый» (1918), «Звенигород окликанный» (1924), «Три серпа» (1927). Венчало цикл исследование «Образ Николая Чудотворца» (1931). Вместе с тем Ремизов особо подчеркивал связь этих трех тем на расположенном уже после Оглавления заключительном шмуцтитуле книги 1923 г.: «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым: / Докука и балагурье / Русские женщины / Русская вера». И вновь возвращался к своей идее в дарственной надписи жене: «В этой книге собраны мудрые думы русского народа, перевитые балагурьем» (*Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 24).

В первый раздел «Докука» в несколько измененной последовательности (сказка «Берестяный клуб» была отделена от прочих (№ 3—14) и оказалась на 22-й позиции) целиком вошел пятый раздел «Докуки и балагурья» «Мирские притчи». Сюда же были включены шесть сказок из «Укрепы»: пять из раздела «На все Господь» и одна («Белая Пасха») из раздела «Страдной России».

Во второй раздел «Царские», который в «Докуке и балагурье» тоже шел вторым номером и назывался по включенным в него двум сказ-

кам «Царь Соломон и Царь Гороскат», из «Укрепы» была добавлена третья сказка «Царь Петр», ранее носившая название «Нужда».

Следующий раздел «Солдатские» составили сказки из «Укрепы»: четыре сказки из раздела «Страдной России» и одна сказка («Морока») из раздела «Земные тайности».

В четвертом разделе «Скоморох» собраны сказки о скоморохах, с которыми ассоциировал себя Ремизов-сказочник. В «Докуке и балагурье» сказки «Скоморох» и «Медведчик» открывали и заключали раздел «скоморошьих» сказок «Глу́мы». В новой редакции к ним добавились сказки «Вавила» («Скоморошик» из раздела «На все Господь» в «Укрепе») и «Товарищи».

Пятый раздел «Воры» без каких-либо изменений перекочевал в «Сказки русского народа» из «Докуки и балагурья», где он был третьим по счету. Тогда как шестой и седьмой разделы «Нечисть» и «Нежить» в прежней редакции составляли один (четвертый) раздел «Хозяева».

Наконец, завершающий книгу восьмой раздел «Балагурье» включает по шесть сказок из разделов «Земные тайности» («Укрепа») и «Глу́мы» («Докука и балагурье»).

Сами сказки подверглись значительной авторской правке. Прежде всего в соответствии с новыми стилистическими тенденциями в прозе Ремизова рубежа 1910—1920-х гг. полностью изменена их ритмическая организация, и в частности, сделано новое членение текста на абзацы, а «внутренние монологи» персонажей даны с дополнительными абзацными отступами. Стремясь выполнить заявленную в названии программу, писатель пытается максимально выявить и подчеркнуть интонационный строй собственной речи. Он последовательно избавляется от избыточной метафоричности, добиваясь классической ясности и большей динамичности повествования. Кроме того, снимает ряд реалий недавнего дореволюционного быта (например, обозначения полицейских чинов), которые утратили свою актуальность и могут затруднить восприятие текста. Вместе с тем областные слова, восходящие к тексту-источнику, сохраняются в неприкосновенности как представляющие особую художественную ценность, несмотря на то что в итоговой книге полностью отсутствуют такие важные для писателя в предшествующий период метаданные, как год написания сказки, указания в комментариях на фольклорные источники и первые публикации. Нет здесь и самих примечаний, которые ранее составляли самостоятельный раздел в сборниках подобного типа.

«Сказки русского народа» вышли в свет в один из драматических эпизодов берлинского периода жизни Ремизовых, когда они были изгнаны с квартиры и стали жертвами антиэмигрантской кампании: полицейские власти предписали им в двухнедельный срок покинуть

пределы Большого Берлина, обвинив в спекуляции, и лишь заступничество Томаса Манна поспособствовало отмене этого распоряжения (подробнее об инциденте см.: *Ремизов А. М.* «За спекуляцию. Берлинские документы». Альбом. [Фотокопии]. 1934 г. // *ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 211). Разорение опубликовавшего книгу в своем издательстве З. И. Гржебина, экономический кризис в Германии и, как следствие, неустойчивое положение осевшей здесь русской диаспоры привели к тому, что это принципиальное произведение Ремизова так и не получило ни одного критического отклика. Даже дружественная писателю «Новая русская книга» лишь упомянула о самом факте выхода, к тому же исказив название: «Русские народные сказки» (Новая русская книга. 1923. № 3/4. Март—Апрель. С. 51; разд. IV: Писатели. Судьба и работы русских писателей, ученых и журналистов).

Павлиньи перья

С. 5. *...рассказывала наша старая нянька сказку — о каких-то павлиньих перьях.* — Образ старой няньки с ее характерным обращением «девушка» (независимо от пола) запечатлен во многих произведениях Ремизова, начиная с первого романа «Пруд». Впоследствии в книге «Подстриженными глазами» пассаж со сказкой о «павлиньих перьях» получил следующее уточнение: «И еще о “принцессе-павлиньи перья”, эту сказку с феями-джиниями рассказывала нянька» (*Иверень-РК VIII.* С. 29). Следует также отметить, что «павленное перо» встречается в сборнике Н. Е. Ончукова «Северные сказки» (*Ончуков.* № 10. Прибакулоцька прибасеноцька), который является «протографом» ремизовской «Докуки и балагурья». В 1950-е гг. писатель работал над своим последним сборником «нерусских» сказок «Павлиньим пером» (см.: *Звезда надзвездная-Росток XIV.* С. 295—482, 650—683).

Припади к матери сырой земле. — Традиционная формула, содержащая архаическое представление о магической продуктивной силе земли и встречающаяся в фольклорных произведениях разных жанров.

С. 6. *...сон и сказка, это брат с сестрой — и есть сказки-сны, как сны-сказки.* — С большой долей вероятности эта, прозвучавшая здесь впервые авторская формула восходит ко второй главе исследования «Сказка» профессора мюнхенского университете Фридриха фон дер Лёена (*Leyen F. v. d.* Das Märchen. Ein Versuch. Leipzig, 1911. S. 33—44; Zweites Kapitel: Die Ursprünge des Märchens). Не исключено, что Ремизов познакомился с этой работой именно в Берлине, хотя о ее существовании ему было известно ранее. Для писателя связь сказки со сном особенно актуальна, так как он давно проявлял интерес к последнему. Более того, начиная с 1908 г. культивировал в своем творчестве

особый жанр «снов». Нельзя не отметить, что сформулированная в предисловии к итоговой книге сказок мысль укладывалась в общий вектор развития ремизовского творчества в направлении синтеза разных форм словесного и визуального искусств.

ДОКУКА

Христов крестник

Впервые опубликовано: Речь. 1909. 29 марта. № 86. С. 4, с подзаг. «Народное сказание».

Прижизненные издания: *Шиповник 7*. С. 93—99, под загл. «Иов и Магдалина»; Веретено. 1922. № 1. С. 189—196; *Сказки русского народа*. С. 11—19; Перезвоны. 1927. № 33. С. 1034—1038, 1-я в составе цикла «Из “Голубиной книги” русского народа»; *Ремизов А*. Звезда надзвездная: Stella Maria Maris. Париж: YMCA-Press, 1928. С. 70—74; *Ремизов А*. Голубиная книга. Гамбург: Родник, 1946. С. 5—16; *НРС*. 1956. 29 апр. № 15646. С. 5.

Тексты-источники: *Афанасьев*. № 8. Христов братец; *Ончуков*. № 119. Христов крестник; *Веселовский А. Н.* Собр. соч. СПб., 1909. Т. 2. Вып. 1 («Нерешенные, нерешительные и безразличные дантовского ада»).

Сказка написана в 1909 г.

В сказке переосмысляется история ветхозаветного страдальца, благочестивого Иова из страны Уц, которая изложена в Книге Иова, и равноапостольной последовательницы Христа Марии Магдалины. В частности, не Иов, а именно Магдалина поражена здесь проказой (ср.: Иов 2: 7).

Сторона небывалая

Впервые опубликовано: *Сказки русского народа*. С. 20—23.

Сказка написана в 1922 г.

С. 13. *Коблы* — ср. ремизовское пояснение в книге «Мышкина дудочка»: «“Кобл-кобель-коблы” в сказках существа сторожевые с песьими мордами...» (*Петербургский буерак-РК X*. С. 40).

С. 16. *Грёкнуться* — исчезнуть, пропасть, перестать существовать.

Муты

Впервые опубликовано: Солнце России. 1912. № 112/113. С. 14, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: Волны. 1912. № 4. С. 28, с подзаг. «Народная сказка»; *Докука и балагурье 1914*. С. 191—192; *Сказки русского народа*. С. 24—25.

Текст-источник: *Ончуков*. № 194. Шишко и старцы.

Сказка написана в 1912 г.

С. 16. *Бурак* — берестяное ведерко с деревянной крышкой.

Леший-шишко — «шишкó — черт, леший» (*Ончуков*. С. 642).

Инда — так что, даже.

За овцу

Впервые опубликовано: Заветы. 1912. Кн. 9. Отд. I. С. 11—14, 2-я в цикле «Сказки и росказни: Сказки».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 195—199; Северная звезда. 1915. № 11. С. 17—19; *Сказки русского народа*. С. 26—30.

Тексты-источники: *Ончуков*. № 292. За овцу; № 293. Леший увел.

Сказка написана в 1911 г.

С. 17. *Складня* — складчина, взнос доли (деньгами или припасами) для общих расходов.

С. 18. *Перемёт* — рыболовная сеть, которая ставится на кольях.

С. 19. *О конец Филиппова заговенья...* — накануне Рождества, после дня св. апостола Филиппа (14 ноября ст. ст.), когда начинается Рождественский (или Филипповский) пост (заговенье).

Полуволок — «от волок — лесная дорога между селениями без жилья; на полуволоке — на полдороге» (*Ончуков*. С. 603).

Золотой кафтан

Впервые опубликовано: Огонек. 1911. 25 дек. № 52. С. [6—7], с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: *Шиповник 7*. С. 173—175; *Докука и балагурье 1914*. С. 203—205; *Сказки русского народа*. С. 31—34.

Текст-источник: *Ончуков*. № 188. Кафтан с золотом.

Сказка написана в 1911 г.

С. 21. *Калика прохождающий* (калика перехожий) — так называли странников, убогих, слепцов, которые сочиняли и исполняли духовные стихи.

Господен звон

Впервые опубликовано: Заветы. 1912. Кн. 9. Отд. I. С. 9—10, 1-я в цикле «Сказки и росказни: Сказки».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 200—202; *Сказки русского народа*. С. 35—37.

Текст-источник: *Ончуков*. № 195. Старик и крестьянин.

Сказка написана в 1911 г.

С. 23. *Калика прохождающий* — см. комм. к с. 21.

Чужая вина

Впервые опубликовано: Солнце России. 1912. № 2 (110). С. 5, под загл. «Святой работник: Народная сказка».

Прижизненные издания: Волны. 1912. № 1. С. 41, под загл. «Святой работник: Народная сказка»; *Шиповник 7*. С. 167—168; *Докука и балагурье 1914*. С. 206—208; *Сказки русского народа*. С. 38—40.

Текст-источник: *Ончуков*. № 189. Святой работник.

Сказка написана в 1911 г.

С. 25. *Клеть* — неотапливаемое помещение, примыкающее к русской избе через сени, или отдельное строение хозяйственного назначения.

Чаемый гость

Впервые опубликовано: Скэтинг-ринг. 1910. № 1. С. 12, под загл. «Гость: Народная сказка».

Прижизненные издания: *Шиповник 7*. С. 169—170; *Докука и балагурье 1914*. С. 209—211; *Сказки русского народа*. С. 41—43.

Текст-источник: *Ончуков*. № 115. Гость.

Сказка написана в 1910 г.

Пасхальный огонь

Впервые опубликовано: Солнце России. 1910. № 25. С. 14.

Прижизненные издания: *Шиповник 7*. С. 171—172; *Докука и балагурье 1914*. С. 212—214; *Сказки русского народа*. С. 44—46.

Текст-источник: *Ончуков*. № 113. Чудесный огонь.

Сказка написана в 1910 г.

Рыбовы головы

Впервые опубликовано: Запросы жизни. 1911. № 11. С. 767, 2-я в цикле «Сказки и россказни: Народные сказки».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 215—217; *Сказки русского народа*. С. 47—49.

Автографы и авторизованные тексты: «Рыбовы головы и другие сказки» <1. Рыбовы головы; 2. Ослиные уши; 3. Мышонок; 4. Лев-зверь; 5. Горе злосчастное>. — Макет сборника, печатные вырезки // *ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 575.

Текст-источник: *Ончуков*. № 72. Рыбьи головы.

Сказка написана в 1911 г.

С. 30. *Рыбник* — пирог с рыбой (*Ончуков*. С. 605).

Ослиные уши

Впервые опубликовано: Новый журнал для всех. 1909. № 3. С. 91–92, с подзаг. «Сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 218–219; Красные севы: Детский альманах. Гомель: Гомельский губернский комитет, 1919. С. 30–32; *Сказки русского народа*. С. 50–52.

Автографы и авторизованные тексты: «Рыбовы головы и другие сказки» <1. Рыбовы головы; 2. Ослиные уши; 3. Мышонок; 4. Лев-зверь; 5. Горе злосчастное>. — Макет сборника, печатные вырезки // *ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 575.

Текст-источник: *Ончуков*. № 185. Ослиные уши.

Сказка написана в 1909 г.

Мышонок

Впервые опубликовано: Италии. Литературный сборник в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине. СПб.: Шиповник, 1909. С. 151–152.

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 220–221; *Сказки русского народа*. С. 53–54.

Автографы и авторизованные тексты: «Рыбовы головы и другие сказки» <1. Рыбовы головы; 2. Ослиные уши; 3. Мышонок; 4. Лев-зверь; 5. Горе злосчастное>. — Макет сборника, печатные вырезки // *ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 575.

Текст-источник: *Ончуков*. № 190. Мышонок.

Сказка написана в 1909 г.

С. 32. *Престольный праздник* — праздник в честь святого, во имя которого освящен храм или придел в нем; особо отмечается прихожанами этой церкви.

Лев-зверь

Впервые опубликовано: Копейка. 1909. № 20. С. 2, под загл. «Хмель: Народная сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 222—224; *Сказки русского народа.* С. 55—57.

Автографы и авторизованные тексты: «Рыбовы головы и другие сказки» <1. Рыбовы головы; 2. Ослиные уши; 3. Мышонок; 4. Левзверь; 5. Горе злосчастное>. — Макет сборника, печатные вырезки // *ИРЛИ.* Ф. 172. Ед. хр. 575.

Текст-источник: *Ончуков.* № 161. Хмель.

Сказка написана в 1909 г.

Горе злосчастное

Впервые опубликовано: Русская молва. 1912. 25 дек. № 17. С. 2, с подзаг. «Сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 225—232; *Ремизов А.* Горе злосчастное: Сказка. Берлин: Книжный кустарь, 1922 [свиток; печать на ткани]; *Сказки русского народа.* С. 58—64.

Автографы и авторизованные тексты: «Рыбовы головы и другие сказки» <1. Рыбовы головы; 2. Ослиные уши; 3. Мышонок; 4. Левзверь; 5. Горе злосчастное>. — Макет сборника, печатные вырезки // *ИРЛИ.* Ф. 172. Ед. хр. 575; «Сказ и росказни». № 1. Горе злосчастное. — Автограф // *РГАЛИ.* Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 21.

Текст-источник: *Ончуков.* № 249. Нужда.

Сказка написана в 1912 г.

С. 39. *Амбар* — строение для хранения зерна, муки и других припасов.

Кузьма и Демьян

Впервые опубликовано: Русское слово. 1911. 25 дек. № 297. С. 6, 1-я в цикле «Золотые легенды».

Прижизненные издания: *Шиповник 7.* С. 141—147; *Сказки русского народа.* С. 65—71.

Текст-источник: *Ончуков.* № 118. Демьян и Кузьма.

Сказка написана в 1911 г.

Кумова кровать

Впервые опубликовано: Стремнины: Альманах. М.: Л. А. Слонимский, 1916. [Кн.] 1. С. 55—60, с подзаг. «Тотемская бывальщина».

Прижизненные издания: *Сказки русского народа.* С. 72—77.

Сказка написана в 1916 <?> г.

С. 44. *Пахорукий* — косолапый, слабый руками, неловкий.

С. 46—47. *...иди ты на кумову кровать. ~ вот какая кровать!* — Ср. этот пассаж в одном из используемых Ремизовым текстов-источников: «Сатана и крикнул: “Тащите-ка его на кумову кровать!” Черт так напугался, что сейчас же достал расписку и отдал сатане, а сатана куму. Вот сват и спрашивает сатану: “Какая это у вас кумова кровать, что даже черт напугался?” — “Да так, кум, простая!” — “Как, кум, простая? нет, смотри, не простая!” — “Ну для тебя, пожалуй, скажу; только ты никому не сказывай! Кровать эта сделана для нас, чертей, и для наших сродников, сватов, кумовьев; она вся огненная, на колесах, и кругом вертится”» (*Афанасьев.* № 27. Кумова кровать).

Человечина

Впервые опубликовано: Ежемесячный журнал. 1916. № 7/8. С. 84, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: *Сказки русского народа.* С. 78—81.

Сказка написана в 1916 <?> г.

Судьба

Впервые опубликовано: *Сказки русского народа.* С. 82—89.

Сказка написана в 1922 <?> г.

С. 51. *Посмотрел Ипат через правое плечо.* — См. комм. к с. 57.

Награда

Впервые опубликовано: Современник. 1915. № 1. С. 34—36, 3-я в цикле «Докука: Народные сказки».

Прижизненные издания: *Укрепа.* С. 115—117; *Сказки русского народа.* С. 90—93.

Текст-источник: *Садовников.* № 97. Пустынник и дьявол.

Сказка написана в 1915 г.

С. 55. *Базучий* — скотский; вероятно, от *баз* — скотный двор.

С. 57. *Погляди-ка мне через левое-то плечо! ~ через правое-то плечо!* — По народным представлениям, за правым плечом человека неотступно стоит Ангел-хранитель, а за левым — черт, который караулит его душу. Именно поэтому плюют исключительно через левое плечо, то есть в лицо дьяволу.

Праведный судья

Впервые опубликовано: Современник. 1915. № 1. С. 32—34, под загл. «Праведный судия», 2-я в цикле «Докука: Народные сказки».

Прижизненные издания: *Укрепа.* С. 108–109; Простая газета. 1917. 2 дек. № 19. С. 2; *Сказки русского народа.* С. 94–96.

Текст-источник: *Садовников.* № 96. О праведном судье.

Сказка написана в 1915 г.

С. 57. *Постоялый двор* — обычно придорожная гостиница, где дают приют как людям, так и лошадям.

С. 58. *Жерёба* — то есть беременна жеребенком.

С. 59. *...проста ее кобыла!* — то есть пустует.

Дар

Впервые опубликовано: Красный балтиец. 1920. № 5. С. 23–24, под загл. «Ефим плотник», 2-я в цикле «Сказки».

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 171–173, под загл. «Ефим плотник», 3-я в цикле «Сказки»; Жизнь (Львов). 1922. № 11. С. 2, под загл. «Ефим Плотник»; *Сказки русского народа.* С. 97–99; Основы. 1934. № 4. С. 3.

Сказка написана в 1919 г.

Берестяный клуб

Впервые опубликовано: Речь. 1912. 30 сент. № 268. С. 3.

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 193–194; Раннее утро. 1918. 24 февр. № 29. С. 5, 1-я в цикле «Русская правда: Мирские притчи»; *Сказки русского народа.* С. 100–102; *НРС.* 1954. 14 февр. № 15268. С. 8, в цикле «Моя литературная карьера», под цифрой IV.

Автографы и авторизованные тексты: «Берестяной клуб». — Автограф <1910-е> // *РГАЛИ.* Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 92.

Текст-источник: *Ончуков.* № 192. Берестяный клуб.

Сказка написана в 1912 г.

С. 61. *...бересту драл, клуб вил.* — То есть свивал березовую кору в клубок; ср. пояснение к тексту-источнику: «<...> к л у б = клубок бересты» (*Ончуков.* С. 621).

Голова

Впервые опубликовано: Огонек. 1914. 30 марта. № 13. С. [7–11], под загл. «За душу. Голова: Народная сказка».

Прижизненные издания: *Укрепа.* С. 93–95; Раннее утро. 1918. 24 февр. № 29. С. 5, 2-я в цикле «Русская правда: Мирские притчи»; *Сказки русского народа.* С. 103–106.

Текст-источник: *Садовников*. № 100. Разбойничья голова.

Сказка написана в 1914 г.

С. 63. *Просится у старика на богомолье сходить*. — В тексте-источнике сын попросил отца женить его, женился и идет по дороге с женой.

С. 64. *Грешен: в мыслях было порешить его*. — В фольклорном источнике старик признается, что удавил разбойника. У Ремизова же кара предполагается за нравственный грех, согрешение помыслом, а не поступком.

Подожок

Впервые опубликовано: Огонек. 1914. 6 апр. № 14. С. [5], с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 96—97; *Сказки русского народа*. С. 107—109.

Текст-источник: *Садовников*. № 105. Дорогой подожок.

Сказка написана в 1914 г.

С. 64. *Подожок* — вероятно, подразумевается небольшой ручной жернов (от *под*).

С. 65. *Айда* — пошли.

Полуштоф — четырехугольная стеклянная бутыль с коротким горлышком, содержащая определенную меру жидкости, объем которой был разным в ту или иную эпоху.

Оттрудился

Впервые опубликовано: Современник. 1915. № 3. С. 16—18, 3-я в цикле «Сказки на Пасху: Народные».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 98—100; *Сказки русского народа*. С. 110—114.

Текст-источник: № VI. Как Бог наказал сына за матерь (*Васильев А.* Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева / изд. А. М. Смирнов // Живая старина. 1911. Вып. 1. С. 128—130). Название своей сказки Ремизов позаимствовал из предпоследней фразы текста-источника: «*оттрудился* за материну обиду» (С. 130).

Сказка написана в 1915 г.

С. 67. *Пасха* — освященный сыр или специальный творог, которым разговляются после пасхальной заутрени.

Белая Пасха

Впервые опубликовано: Вершины. 1915. № 17. С. 3, с подзаг. «Народное».

Прижизненные издания: *Укрепа.* С. 38—39; *Сказки русского народа.* С. 115—117.

Тексты-источники: *Ончуков.* № 233. Поп Пасху забыл; № 260. Рождество или Пасха?

Сказка написана в 1915 г.

С. 69. *...придет Спиридон-солнцеворот, станут дни прибывать на овсяное зерно...* — Речь идет о дне памяти преп. Спиридона, епископа Тримифийского, который отмечается 12 декабря ст. ст. и приходится на зимнее солнцестояние. В народе Спиридон называется поворотом, так как с этого дня солнце поворачивает на лето. Считается, что на Спиридона медведь переворачивается в берлоге на другой бок, а день прибавляется на воробьиный скок или на овсяное зерно. Последнее представление Ремизов почерпнул непосредственно из текста-источника (№ 260).

...кутня с виньгом... — вихрь, метель; от *кутить* — кружить, крутить, вихрить (о ветре, погоде), и *винуть* — дунуть.

Закуделить — дуть.

Обух — противоположная лезвию часть топора, образующая проушину для топорища.

С. 70. *Овин* — строение для сушки хлеба в снопах при помощи огня, который разводится в специальной яме или курной печи.

Забо́йня — снег, прибитый ветром к строению или в овраг, а также собственно сугроб.

Поморье — территории Архангельской губернии, примыкающие к западному берегу Белого моря. Ончуковские сказки, послужившие Ремизову фольклорным источником, записаны на Летнем берегу Белого моря. В первой из них (№ 233) местом действия названо Поморье.

ЦАРСКИЕ

Царь Соломон

Впервые опубликовано: Русское слово. 1911. 25 дек. № 297. С. 6, 3-я в цикле «Золотые легенды».

Прижизненные издания: *Шиповник 7.* С. 183—189; Велес: Первый альманах русских и инославянских писателей. Пг.: Велес, 1912—1913. С. 121—132; *Докука и балагурье 1914.* С. 95—102; Северная звезда. 1915. № 12. С. 11—15; Современная иллюстрация. 1916. № 12. С. 92—96; Речь. 1916. 6 дек. № 336. С. 6, с подзаг. «(Отреченная повесть)»;

Сказки русского народа. С. 121—128; *НРС.* 1955. 4 дек. № 15499. С. 2, 1-я в цикле «Легенды о царе Соломоне»; *Ремизов А.* Круг счастья: Легенды о царе Соломоне. 1877—1957. Париж: Оплешник, 1957. С. 7—13.

Текст-источник: *Ончуков.* № 46. Сын Давыда — Соломон.

Сказка написана в 1911 г.

С. 76. *...молил попутной посóбны.* — То есть молил о попутном ветре.

Царь Гороскат

Впервые опубликовано: Литературно-художественный альманах изд-ва «Шиповник». СПб., 1912. Кн. 17. С. 219—225, 1-я в цикле «Докука и балагурье: (Сказки)».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 103—113; Северная звезда. 1916. № 2. С. 6—13, с подзаг. «Сказка»; *Сказки русского народа.* С. 129—140.

Текст-источник: *Ончуков.* № 49. Царь Пётр и хитрая жена.

Сказка написана в 1911 г.

С. 77. *...ни постоялого двора.* — См. комм. к с. 57.

С. 78. *Золотник* — мера веса, равная $^{1}/_{96}$ фунта (фунт — около 0,4 кг).

Ширинка — полотенце.

С. 79. *Шпулька, бёрдо* — части ткацкого станка.

...мастера и блоху подковать! — Отсылка к сказу Н. С. Лескова «Левша» (1881).

...из царей царь первый... — В сказке речь идет о Петре I, в том числе описываются обстоятельства его пребывания в 1697—1698 гг. в Европе во главе Великого посольства, и в частности, работа на верфях Голландской Ост-Индской компании.

С. 81. *Лынды лындать* — уклоняться от работы.

Царь Петр

Впервые опубликовано: Современник. 1915. № 1. С. 30—32, под загл. «Нужда», 1-я в цикле «Докука: Народные сказки».

Прижизненные издания: *Укрепа.* С. 68—70, под загл. «Нужда»; *Сказки русского народа.* С. 141—144.

Текст-источник: *Садовников.* № 67. Про нужду.

Сказка написана в 1915 г.

С. 85. *Инда* — см. комм. к с. 16.

С. 85. *Бугрина* — бугор.

С. 86. *Выстегнуть* — здесь: выпрячь лошадей из саней.

...тебе, царевич, в корень, а я на пристяжку. — То есть на место коренной лошади (по центру) и пристяжной (сбоку).

С. 87. *...царь первый Петр.* — Текст-источник не имеет отношения к циклу сказок о Петре I, в нем вообще фигурирует барин, а не царь.

СОЛДАТСКИЕ

Солдат-охотник

Впервые опубликовано: Русская иллюстрация. 1915. № 16. С. 1—3, под загл. «Солдат-доброволец: Народная сказка».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 17—22, под загл. «Солдат-доброволец»; *Сказки русского народа*. С. 147—155.

Автографы и авторизованные тексты: «Солдат-доброволец». Сказка. — Автограф // *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 22.

Тексты-источники: *Ончуков*. № 156. Солдат доброволец; № 279. Иван-солдат.

Сказка написана в 1914 г.

С. 88. *Дряби* — здесь: болота. В тексте-источнике болото — *дряп* (*Ончуков*. С. 596).

С. 91. *Прощелыга* — плут, мошенник.

Доля солдатская

Впервые опубликовано: Отечество. 1915. № 3. С. 48.

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 23—24; Голос сибирской армии. 1919. 4 апр. № 4. С. 4; *Сказки русского народа*. С. 156—157.

Текст-источник: *Садовников*. № 80. Солдат и черт.

Сказка написана в 1914 г.

С. 94. *...а тут послали выбивать штыками...* — то есть в штыковую атаку.

Неделя ~ за год показалось. — Скрытая отсылка к тексту-источнику: там договор между солдатом и чертом был заключен на год.

С. 95. *Да стрекача из окопов...* — то есть убежал.

Шишок

Впервые опубликовано: Вершины. 1915. № 15. С. 3, с подзаг. «(Народная сказка)».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 25—26; *Сказки русского народа*. С. 158—159.

Тексты-источники: 1) № 3. Солдат и черт (Литовские легенды / записи Меч. Довойны-Сильвестровича и М. Борейши // Этнографическое обозрение. 1891. № 3. С. 233); 2) Разд. II. Духи. № 3. Водяной (*Колчин А*. Верования крестьян Тульской губернии // Этнографическое обозрение. 1899. № 3. С. 28).

Сказка написана в 1915 г.

С. 95. *Шишо́к* — от *шишига*, то есть бес и вообще злой дух. В тексте-источнике у А. Колчина речь идет о водяном, который назван здесь в соответствии с устойчивой фольклорной традицией чертом. Шишигой именуют также коми-пермяцкий женский мифологический персонаж, обитающий в воде. Ремизов мог почерпнуть эту информацию в работе И. Н. Смирнова «Пермяки» (Известия Общества археологии, истории и этнографии при Имп. Казанском университете. Казань, 1891. Т. 9. Вып. 2. С. 275), тем более что в начале 1910-х гг. имел контакты с казанским профессором В. Н. Ивановским, а подобного рода общение обычно сопровождалось получением труднодоступных этнографических материалов. Само слово «шишок», скорее всего, ремизовский неологизм, результат соединения мужского персонажа водяного с женским — шишигой. Ср. аутентичное фольклорной традиции имя персонажа сказки «Муты» Лешего-шишко.

Морока

Впервые опубликовано: Голос жизни. 1914. № 5. С. 1—3, в цикле «Земные тайности: Народные сказки».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 71—75; *Сказки русского народа*. С. 160—166.

Автографы и авторизованные тексты: № 4 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (*ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 573).

Текст-источник: *Садовников*. № 25. Морока.

Сказка написана в 1914 г.

С. 97. *...загну я тебе загадку...* — Все царские загадки заимствованы Ремизовым из текста-источника.

Четвертной билет — купюра достоинством двадцать пять рублей.

С. 98. *Ан* — здесь: а это.

С. 99. *Околоточный Борисов* — персонаж взят Ремизовым из текста-источника.

С. 100. *Чай* — вероятно, думаю, надеюсь.

С. 100. *Полати* — лежанка на печи.

...сказки-то я ведь нехорошими словами сказываю... — Ср. в тексте-источнике: «я сказки-то ведь пома́терно сказываю» (С. 119).

С. 101. *...и до света ушел.* — В тексте-источнике концовка несколько иная: старик приказал выгнать солдата, и тот ушел, «куды знает, а старик и топерь помирает» (С. 119).

Солдат

Впервые опубликовано: *БВ*. 1914. 25 дек. (утр. вып.). № 14575. С. 3, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: В тылу: Литературно-художественный альманах. Пг.: Кн-во М. И. Попова, 1915. С. 31—38, с подзаг. «Народная сказка»; *Укрепа*. С. 27—34; *Сказки русского народа*. С. 167—177.

Ремизов предполагал заключить этой сказкой, дав ей другое название «Солдат и смерть», небольшой сборник из шести произведений «Рыбовы головы и другие сказки», макет которого хранится в фонде Института истории искусств в Рукописном отделе Пушкинского Дома (см.: *ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 575).

Текст-источник: *Афанасьев*. № 16. Солдат и Смерть. Афанасьев приводит три варианта этой сказки, в том числе два из собрания В. И. Даля. Ремизов контаминирует в своей версии все три текста.

Сказка написана в 1914 г.

С. 102. *Какой такой табак!* — В тексте-источнике речь идет не только о табаке, но и о вине. Подробнее о теме табака в творчестве Ремизова см. наш комментарий к повести «Что есть табак» (сборник «Заветные сказы») в *Докука и балагурье-РК II* (С. 684—692).

Пощунять — пожурить, усовестить.

С. 106. *Заячья доля* — имеется в виду так называемая заячья капуста, растение с кислыми листьями, употребляемое у восточных славян в пищу в сыром виде.

СКОМОРОХ

Скоморох

Впервые опубликовано: Солнце России. 1912. № 151. С. 9—10.

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 235—239; Красный милиционер. 1920. № 10. С. 4, под загл. «Царевна Лисава: Скоморошья сказка»; *Сказки русского народа*. С. 181—186.

Автографы и авторизованные тексты: «Скоморошьи сказки». № 1. Царевна Лисава. — Автограф // *РНБ*. Ф. 1012. Ед. хр. 7.

Текст-источник: № 1. О царе и портном (Сказки: Приложение к заметке С В. Максимова // Живая старина. 1897. Вып. 1. С. 112—113).

Сказка написана в 1912 г.

С. 109. *...стали гнать скоморохов!* — Правительственные гонения на скоморохов начались еще в первой половине XVII в. В период правления царя Алексея Михайловича патриарх Никон добился принятия указов 1648 и 1657 гг. о полном запрете скоморохов, что привело к их исчезновению с карты России как культурного феномена (подробнее об этом см.: Скоморохи в памятниках письменности / сост. З. И. Власова, Е. П. Фрэнсис (Гладких). СПб., 2007; см. также: *Власова З. И.* Скоморохи и фольклор. СПб., 2001). Ремизов в своих фольклористических штудиях пользовался, среди прочего, «Разысканиями в области русского духовного стиха» А. Н. Веселовского (*Веселовский.* Разд. VII: Румынские, славянские и греческие коляды) и известным исследованием А. С. Фаминцына «Скоморохи на Руси» (СПб., 1889).

Лексей — намек на автобиографический характер персонажа, являющегося альтер эго писателя. В качестве литературной маски Ремизов-сказочник предпочитал использовать именно личину скомороха.

...собрались все малюты скурлатые... — имя нарицательное «малюты скурлатые» образовано здесь от имени Малюты Скуратова, руководившего опричниной при Иване Грозном; в народном представлении он был воплощением бесовского начала в человеке.

С. 110. *Меженный* — здесь: страдный.

С. 112. *А как был у меня батюшка ~ занял у него сорок тысяч денег.* — Рассказываемая скоморохом небылица является типичным примером докучной (то есть «бесконечной») сказки.

С. 113. *Потихоньку, скоморохи, играйте ~ у меня сердце щемит!* — Цитируется песня о скоморохе из сборника А. Д. Григорьева «Архангельские былины и исторические песни» (М., 1904. Т. 1. С. XXIII). Ремизов не раз использовал ее в своих произведениях, в том числе в очерке, посвященном режиссеру и теоретику театра Н. Н. Евреинову (см.: *Петербургский буерак-РК X.* С. 359—362).

Медведчик

Впервые опубликовано: Русская молва. 1913. 15 июня. № 181. С. 3, с подзаг. «Сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 260—265; *Сказки русского народа.* С. 187—193.

Автографы и авторизованные тексты: «Скоморошьи сказки». № 2. Медведчик. — Автограф // *РНБ.* Ф. 1012. Ед. хр. 7.

Текст-источник: II. Случай при большой дороге (*Васильев А.* Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева / изд. А. М. Смирнов // Живая старина. 1911. Вып. 1. С. 119—122).

Сказка написана в 1912 г.

С. 113. *Филиппов пост* — см. комм. к с. 19.

Постоялый двор — см. комм. к с. 57.

С. 114—116. *мать-сыра-земля, ты железу мать... ~ а будет мой приговор крепок и долог.* — Точное (лишь с единичными разночтениями) цитирование «Заговора на железо, уклад, сталь, медь» из «Сказаний русского народа» И. П. Сахарова с заменой «раба такого-то» или «меня и моего коня» на «медведя Мишу» и «медведицу Акулину», а также с разбивкой текста-источника на строфы в соответствии с воплощенной в этом сборнике общей стилистической интенцией прозы Ремизова конца 1910-х — начала 1920-х гг., подразумевающей акцент на ритмической организации повествования. Ср.: «Мать сыра-земля, ты мать всякому железу, а ты, железо, поди во свою матерь — землю, а ты, древо, поди во свою матерь — древо, а вы, перья, подите во свою матерь — птицу, а птица полети в небо, а клей побеги в рыбу, а ты, рыба, поплыви в море, а мне бы, рабу такому-то, было бы просторно по всей земле. Железо, уклад, сталь, медь, на меня не ходите, воротитеся ушьми <sic!> и боками. Как метелица не может прямо лететь, и ко всякому древу близко приставать, так бы всем вам ни мочно <sic!> ни прямо, ни тяжело падать на меня и моего коня, и приставать ко мне и моему коню. Как у мельницы жернова вертятся, так железо, уклад, сталь и медь вертелись бы кругом меня, а в меня не попадали. А тело бы мое было от вас не окровавлено, душа не осквернена. А будет мой приговор крепок и долог!» (цит. по: Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым: Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1885. С. 49, № 21. Заговор на железо, уклад, сталь, медь; разд. «Сказания о кудесничестве»). Стоит отметить, что именно этим изданием сахаровских «Сказаний русского народа» Ремизов пользовался при составлении примечаний к другому сборнику сказок «Посолонь», включенному в т. 6 собрания его сочинений и вышедшему в свет в год написания сказки «Медведчик» (см. об этом: *Докука и балагурье-РК II.* С. 625—626).

С. 116. *Маклашка* — удар кулаком или костяшками пальцев.

С. 117. *Коляда* — народное название рождественского Сочельника и следующих за ним Святок (период от Рождества до Крещения), сопровождаемых особым комплексом ритуальных действий. См. также комм. к с. 160.

Вавила

Впервые опубликовано: *Укрепа.* С. 110—114, под загл. «Скоморошик».

Прижизненные издания: Простая газета. 1917. 6 дек. № 22. С. 2—3, под загл. «Докука и балагурье: Скоморошик»; *Сказки русского народа.* С. 194—200.

Автографы и авторизованные тексты: «Скоморошьи сказки». № 3. Скоморох. — Автограф // *РНБ.* Ф. 1012. Ед. хр. 7.

Текст-источник: *Садовников.* № 98. Вавило-скоморох.

Сказка написана в 1914 г.

С. 119. *Кромá* — краюха, наружный ломоть или горбушка хлеба.

Вершковый — от *вершок* — старая русская мера длины, употреблявшаяся до введения метрической системы мер; один вершок равен 44,45 мм.

Товарищи

Впервые опубликовано: Творчество: Детский альманах. М.; Пг.: Творчество, 1917. Кн. 1. С. 3—8, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: *Сказки русского народа.* С. 201—205.

Сказка написана в 1917<?> г.

ВОРЫ

Воры

Впервые опубликовано: Речь. 1908. 25 дек. № 318. С. 5, 3-я в цикле «Разные сказки: про звездочку, про колдуна и про воров».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 117—120; *Сказки русского народа.* С. 209—212.

Текст-источник: запись А. М. Ремизова, сделанная в Сольвычегодском уезде Вологодской губ.

Сказка написана в 1908 г.

Подробнее о пребывании Ремизова в ссылке на Русском Севере см. в его книге «Иверень» (*Иверень-РК VIII*).

С. 126. *Амбар* — см. комм. к с. 39.

С. 127. *Дралá* — пуститься наутек, побежать.

Разбойники

Впервые опубликовано: Сатирикон. 1909. № 35. 29 авг. С. 6—7, под загл. «Про мертвеца и про разбойников: Сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 121—125; *Сказки русского народа*. С. 213—217.

Текст-источник: *Ончуков*. № 45. Муж-еретик и разбойники.

Сказка написана в 1909 г.

С. 129. *...поднял копье, ударил копьем по голове мертвеца. ~ А святой пастырь пошел из избы*. — Подразумевается св. великомученик Георгий Победоносец. В первых двух редакциях сказки этот персонаж назван прямо — Святой Егорий.

Росстань — перекресток, на котором происходит расставание перед разлукой.

С. 130. *Подорожник* — здесь: тот, кто промышляет разбоем и воровством по дорогам.

Жулики

Впервые опубликовано: Весь мир. 1910. № 25. С. 9—11, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: Книга рассказов: (Читатель). СПб.: Весь мир, 1910. С. 76—86, с подзаг. «Народная сказка»; Сборник товарищества «Прогресс». М., 1911. Т. 1. С. 31—40, под загл. «Воровская (Ванька да Васька): Народная сказка»; *Докука и балагурье 1914*. С. 126—138; *Сказки русского народа*. С. 218—230.

Тексты-источники: *Ончуков*. № 168. Вор; № 169. Благодарность покойника.

Сказка написана в 1909 г.

С. 131. *Миллионная* — улица в парадной части Петербурга, идущая параллельно Неве от граничащей с Летним садом Лебяжьей канавки через Суворовскую площадь и Марсово поле до Дворцовой площади.

С. 132. *...и с Сенной и с Гостиного, и апраксинских и александровских...* — Подразумеваются купцы, не только торговавшие, но и селившиеся в главном торговом районе Петербурга, располагавшемся вдоль Садовой улицы от Невского до Вознесенского проспекта: на Сенной площади, в Гостином (угол Невского пр. и Садовой ул.) и Апраксином (Садовая ул.) дворе, на Ново-Александровском рынке (угол Садовой ул. и Вознесенского пр.).

Чухонская телега — то есть финская. До революции карело-финское население Петербургской губернии, именуемое в городском обиходе чухонцами (этноним восходит к временам принадлежности этих земель Новгороду), традиционно занималось в столице извозом.

Озерки — дачная местность под Петербургом по Финляндской железной дороге. Ныне вошла в городскую застройку.

С. 134. *Схохонуться* — испугаться, растеряться.

С. 135. *Три дня стоит чан на Суворовской площади...* — упоминание именно этого петербургского топоса не случайно: с 1873 г. вплоть до начала XX в. на расположенном напротив Суворовской площади Марсовом поле (Царицыном лугу) для народных гуляний на Масленой и Пасхальной неделях устраивались балаганы, карусели, катальные горы, качели и прочие увеселения (подробнее об этом см., например: Петербургские балаганы / сост., вступ. статья и комм. А. М. Конечного. СПб., 2000). Тем самым Ремизов вновь актуализирует связь своей сказки с традицией скоморошества, которой в русской культуре начиная с XVIII в. наследовал балаган.

С. 136. *...на всю Фонтанку улицу.* — Шутливая имитация «народной топографии» Петербурга: подразумевается набережная реки, а не улица. В год написания этой сказки сам Ремизов жил в доме на углу набережной Фонтанки и Малого Казачьего переулка.

Собачий хвост

Впервые опубликовано: Всемирная панорама. 1909. 1 мая. № 2. С. [14, 16], с подзаг. «(Народная сказка)».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 139—146; *Сказки русского народа.* С. 231—238.

Текст-источник: *Ончуков.* № 14. Сиротина — собачий хвост.

Сказка написана в 1909 г.

С. 140. *Ледащий* — здесь: хилый.

Стакнуться — сговориться.

С. 142. *Инда* — см. комм. к с. 16.

С. 144. *Толкун* — здесь: так называемый «толкучий рынок», то есть площадь, отведенная под мелкую торговлю, где народ толчется и толкается.

Барма

Впервые опубликовано: *Наша жизнь.* 1905. 15 сент. № 23. С. 180—182, под назв. «Бармá. Сказка».

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 87—90; *Докука и балагурье 1914.* С. 147—151; *Сказки русского народа.* С. 239—243.

Текст-источник: запись А. М. Ремизова, сделанная в Москве от печника Глухого.

Сказка написана в 1905 г.

В авторском примечании «Сказ», завершающим сборник сказок «Докука и балагурье» (1914), Ремизов перечислил имена сказочников и собирателей фольклора, записями которых воспользовался как ма-

териалом для своих переложений, и включил себя в их избранный круг, поделившись собственным «собирательским» опытом: «Скажу и я про себя, откуда я слышал мою сказку московскую о Барме: это печник Глухой ее мне сказывал. Какой он был печник, я не знаю, я одно знаю, как, бывало, придет он к нам в дом, а приходил он к нам вечерами на Святках да на Масленице, и как, бывало, услышим от няньки, что Глухой пришел, и сейчас же все мы, дети, кубарем на кухню, а уж Глухой в кухне представляет. Печник глухой был, ничего не слышал, да еще и полунемой какой-то, и чтó говорил он, понять трудно было, одно — смешно очень, и только про Барму явственно он рассказывал, и представлял чуднó» (цит. по: *Докука и балагурье-РК II.* С. 334). Сказка делает внятной речь глухонемого и позволяет писателю обрести свободу слова. Недаром именно «Барма» (1905) — самый ранний пример художественного пересказа Ремизовым фольклорного текста как самоценного произведения (подробнее об этом см. в его литературном манифесте 1909 года «Письмо в редакцию»: *Докука и балагурье-РК II.* С. 607—610). Знаменателен и тот факт, что в сборнике Н. Е. Ончукова «Северные сказки», который послужил основным источником для «Докуки и балагурья», тоже представлен, правда, довольно далекий от ремизовского, вариант этой сказки, записанный учителем Д. Георгиевским (*Ончуков.* № 160. Барма). Впоследствии писатель включил вариант рассказа о «глухонемом» печнике в главу «Первые сказки» мемуарной книги «Подстриженными глазами» (*Иверень-РК VIII.* С. 29).

С. 145. *Пошабашать* — здесь: отдыхать после окончания работы.
С. 147. *Дрáла* — см. комм. к с. 127.

Вор Мамыка

Впервые опубликовано: Литературно-художественный альманах изд-ва «Шиповник». СПб., 1912. Кн. 17. С. 226—232, 2-я в цикле «Докука и балагурье: (Сказки)».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 152—161; *Сказки русского народа.* С. 244—253.

Текст-источник: *Ончуков.* № 197. Вор Мамыка.

Сказка написана в 1911 г.

НЕЧИСТЬ

Леший

Впервые опубликовано: Русская молва. 1913. 6 июля. № 202. С. 2, 1-я в цикле «Хозяева: Сказки».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 165—166; *Сказки русского народа*. С. 257—258; *НРС*. 1952. 9 нояб. № 14806. С. 8.
Текст-источник: *Ончуков*. № 227. Большая Лумпа.
Сказка написана в 1912 г.

Водяной

Впервые опубликовано: Русская молва. 1913. 7 июля. № 203. С. 3, 2-я в цикле «Хозяева: Сказки».
Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 167—169; *Сказки русского народа*. С. 259—261.
Текст-источник: *Ончуков*. № 231. Чертовы коровы.
Сказка написана в 1912 г.

Черт

Впервые опубликовано: Русская молва. 1913. 14 июля. № 210. С. 2, 3-я в цикле «Хозяева: Сказки».
Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 170—173; *Сказки русского народа*. С. 262—265.
Текст-источник: *Ончуков*. № 229. Бочка с золотом.
Сказка написана в 1912 г.

С. 160. *Васильев вечер* — Имеется в виду вечер на 1 января ст. ст. В этот день церковь празднует память св. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, отчего в народе он именуется Васильевым днем. Так как этот день знаменует не только самый разгар Святок, когда в знак особой радости по случаю Рождества Христова чертям позволено покинуть ад и пребывать на земле, но и начало года, принято ходить по дворам с колядными песнями, поздравлять с новолетием, обильно закусывать (в обязательный набор праздничных блюд входит свинина, и потому св. Василий считается покровителем этого домашнего животного), а также гадать о суженом, о будущем счастье и благополучии.

НЕЖИТЬ

Лигостай страшный

Впервые опубликовано: Русское слово. 1911. 25 дек. № 297. С. 6, 2-я в цикле «Золотые легенды».
Прижизненные издания: *Шиповник 7*. С. 177—181; *Докука и балагурье 1914*. С. 174—179; Северная звезда. 1915. № 4. С. 29—32; *Сказки русского народа*. С. 269—275.

Текст-источник: *Ончуков*. № 40. Смерть.

Сказка написана в 1911 г.

С. 162. *Скупа* — «откуп, взятка» (*Ончуков*. С. 605); «прибыль» (*Шиповник 7*. С. 203).

...старичок бел седатый, с церковкою в руке ~ Никола угодник ~ Поклонился угоднику можайскому... — В иконографии особо почитаемого на Руси св. Николая Мирликийского, к имени которого обычно присоединяются устойчивые эпитеты Чудотворец и Угодник Божий, наиболее распространенными являются два типа изображения: поясное со скрещенными в благословении пальцами правой руки и Евангелием в левой руке, а также в полный рост с мечом в правой руке и церковью в левой, что символизирует значение этого святого как защитника Церкви от ее врагов. Согласно легенде, именно в последнем образе св. Николай явился в небе над Никольским собором старинного русского города Можайска и защитил его от приближающегося вражеского отряда, чьи воины, пораженные этим видением, в ужасе бежали прочь. Поэтому иконы данного типа в церковном обиходе называются Никола Можайский. В обоих случаях св. Николай изображается в виде седого старца.

...по локоть руки — красно золото ~ на голове зеленый венок. — Традиционная фольклорная формула, используемая как портретная характеристика Егория Храброго — св. Георгия Победоносца — в духовных стихах. См. также комм. к с. 129 и 187.

Лигостай страшный — в тексте фольклорной записи: переслиговатый, то есть «с тонкою, перетянутою талиею» (*Ончуков*. С. 602). Ср. авт. комм.: «*Лигостай* — тощий — смерть» (*Шиповник 7*. С. 203).

С. 164. *До́лить* — одолевать.

Хлоптун

Впервые опубликовано: Новая жизнь. 1912. № 12. С. 35—37, 1-я в цикле «Докука и Балагурье: Сказки».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 180—184; Северная звезда. 1915. № 5. С. 58—60, с подзаг. «Народная сказка»; *Сказки русского народа*. С. 276—280.

Текст-источник: *Ончуков*. № 87. Хлоптун.

Сказка написана в 1911 г.

С. 165. *Хлоптун* — «колдун после смерти; может явиться в семью и жить пять лет, потом начинает есть скотину» (*Ончуков*. С. 607).

С. 168. *О́бороть* — узда (*Ончуков*. С. 601).

Мертвяк

Впервые опубликовано: Запросы жизни. 1912. 21 дек. № 51. С. 2959–2962, под загл. «Мертвец: Сказка».

Прижизненные издания: Руль. 1912. 31 дек. № 387. С. 2, под загл. «Мертвец: Сказка»; *Докука и балагурье 1914*. С. 185–188, под загл. «Мертвец»; Воскресение. 1915. № 34. С. 296, под загл. «Мертвец»; Северная звезда. 1915. № 3. С. 2–3, под загл. «Мертвец»; *Сказки русского народа*. С. 281–284.

Текст-источник: № I. Народ живушшый грех обманывать, а мёртвый важнее ешшо (*Васильев А.* Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева / изд. А. М. Смирнов // Живая старина. 1911. Вып. 1. С. 118–119).

Сказка написана в 1912 г.

БАЛАГУРЬЕ

Пчеляк

Впервые опубликовано: Голос жизни. 1914. № 2. С. 5, 2-я в цикле «Земные тайности: Народные сказки».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 46–47; *Сказки русского народа*. С. 287–288.

Автографы и авторизованные тексты: «Пчеляк». — Автограф с авторской правкой <1912> // *РНБ*. Ф. 634. Ед. хр. 6. Л. 1–2; а также: № 2 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (*ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 573).

Тексты-источники: *Садовников*. № 74в. Про пчеляков; № 116а. О фармазонах.

Сказка написана в 1914 г.

С. 171. *Пчеляк* — то есть заводчик пчел, пчеловод. В «Сказаниях о знахарстве» (главка «Пчельное дело») И. П. Сахаров отмечает: «Пчельное дело в селениях почитается самым таинственным, важным и, сверх того, не для всех доступным занятием. Люди зажиточные, хозяйственные, имеющие до ста и более ульев, всегда, по народной молве, состоят в дружественной связи с нечистою силою. Мнения поселян о пчельном деле столь разнообразны, что одни избирают для него покровителями св. угодников, другие обрекают водяному дедушке. Пчельники, приверженцы этого последнего мнения, называются в селениях *ведунами, дедами, знахарями*. <...> Ведуны думают, что пчелы первоначально образовались в болотах, под рукою водяного дедушки. <...> Знахари полагают, что все пчелы первоначально отроились от лошади, заезженной водяным дедушкою и брошенной в болото» (цит.

по: Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. М., 1990. С. 98, 99). В тексте-источнике № 74в пчеляк впрямую назван колдуном; здесь особо подчеркивается: «А известное дело, если у кого пчел такая пропасть, так это неспроста» (С. 245). Эпизод с лягушкой, раздувающейся до размеров быка, заимствован Ремизовым из второго текста-источника (№ 116а). В первом фигурирует просто огромная лягушка, да и сам пчеляк здесь менее кровожаден: он предлагает лошеводу всего лишь съесть тот мед, который отрыгнула лягушка. В фольклорной традиции лошадь и пчела устойчиво связаны друг с другом и соответствуют середине мирового древа.

С. 171. *Подпечек* – пространство под печью, где обычно хранили домашний скарб (ухват, кочергу, помело и т. д.); считалось, что днем именно там обретал приют домовой, которого поэтому иногда называли *подпечником.*

С. 172. *Гумно* – место, где ставят хлеб в снопах и где его молотят, крытый ток.

Кабатчик

Впервые опубликовано: Огонек. 1914. 4 мая. № 18. С. [12–16], под загл. «Кабачная кикимора: Народная сказка».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 50–54, под загл. «Кабачная кикимора»; *Сказки русского народа*. С. 289–294.

Текст-источник: *Садовников*. № 70. Про кабачную кикимору.

Сказка написана в 1914 г.

С. 172. *...на юру...* – на бойком, открытом месте, торжище или шумном базаре.

Целовальник – кабатчик, сиделец в питейном доме при откупной и казенной продаже вина; назывался целовальником, хотя не присягал и потому не целовал крест во время присяги.

С. 173. *Полуштоф* – см. комм. к с. 65.

Протакаять – то есть подтвердить верность своих слов (от *такать*); возможно, здесь употреблено также в значении «польстить».

С. 174. *...в чело на заслонку...* – Так называется большой дугообразный проем в русской печи, ведущий к ее устью, которое, после того как печь протопится, закрывают заслонкой.

Поверенный – здесь: проверяющий, инспектор по откупам.

С. 175. *...вино рассыропленное...* – то есть разбавленное (от *рассыропить*).

Инда – см. комм. к с. 16.

...с левого плеча увидел другое... – см. комм. к с. 57.

Постоялый двор – см. комм. к с. 57.

Магнит-камень

Впервые опубликовано: День. 1914. № 351.

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 55—58; *Сказки русского народа*. С. 295—300.

Текст-источник: *Садовников*. № 103. Старик и царская дочь.

Сказка написана в 1914 г.

С. 177. *...а достань ты мне магнит-камень...* — Мифологическое представление о чудодейственных свойствах магнита, способного притягивать к себе железо, восходит к глубокой древности. До сих пор оно широко бытует в детской среде. Ремизов, в свое время, тоже не остался равнодушным к таинственному магниту, о чем впоследствии рассказал в мемуарной книге «Подстриженными глазами» (см.: *Иверень-РК VIII*. С. 166—174; глава «Магнит»).

С. 179. *Инда* — см. комм. к с. 16.

Зааминить — здесь: заклясть молитвой, которая заканчивается возгласом «аминь!».

...Господа исповедал. — Здесь в значении «проверил», «испытал».

Спрыг-трава

Впервые опубликовано: Голос жизни. 1914. № 1. С. 2, 2-я в цикле «Земные тайности: Народные сказки».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 64—65; Дело народа. 1918. 28 апр. № 31. С. 2, с подзаг. «Мирская притча»; *Сказки русского народа*. С. 301—304.

Автографы и авторизованные тексты: «Спрыг-трава» (фрагмент). — Автограф с авторской правкой <1912> // *РНБ*. Ф. 634. Ед. хр. 6. Л. 2; а также: № 3 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (*ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 573).

Тексты-источники: *Садовников*. № 75. Про Иванов цвет; № 113. Мельник-знахарь.

Сказка написана в 1914 г.

С. 179. *Спрыг-трава* — сказочная, чудесная трава, от которой открываются замки и запоры, а также даются клады; обычно этим именем называется цветок папоротника.

Дошлый — хитрый, пройдоха, а также знающий.

...на Ивана-Купалу... — Речь идет о церковном празднике рождества св. Иоанна Крестителя, отмечаемом 24 июня ст. ст. Он приходится на день летнего солнцестояния и поэтому в народной традиции соединяется с древним языческим праздником, который именуется Иванов день или Иван Купала. В ночь с 23 на 24 июня выбирают себе

брачную пару, очищаются огнем, прыгая через костры, и водой, купаясь в водоемах. Кроме того, считается, что травы, собранные на Ивана Купалу, обладают целебными и чудесными свойствами. Существует поверье, что в Купальскую ночь расцветает папоротник, способный открывать клады. Именно этой теме и посвящена ремизовская сказка, в которой подробно описывается как сам способ добыть цветок папоротника, так и морок, насылаемый на его собирателя нечистыми духами, охраняющими клады, а в Иванову ночь, по поверью, свободно разгуливающими по земле. Ремизов родился 24 июня. Поэтому в его мифопоэтической системе Иван Купала выполняет важную функцию. Купальская тема лейтмотивом проходит через все его творчество. Более того, этим фактом своей биографии писатель объясняет собственный дар сказочника.

С. 179. *Морголютки* — нечистые духи (от *морготь* — смрад, чад, дым); Ремизов заимствовал это слово из текста-источника № 113.

С. 181. *Жигать* — палить, истреблять огнем.

Клад

Впервые опубликовано: Голос жизни. 1914. № 9. С. 5—7, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 76—80; *Сказки русского народа*. С. 305—311.

Автографы и авторизованные тексты: № 5 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (*ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 573).

Текст-источник: *Садовников*. № 112л. Про клады.

Сказка написана в 1914 г.

С. 181. *Лоха* — от какого имени собственного образовано имя персонажа, не ясно. Возможно, Ремизов подразумевал здесь слово «лох» — разиня, шалопай, или же имел в виду его другое, офенское, значение — мужик, крестьянин вообще.

С. 182. *Лутошка* — липа, с которой снята кора; она сохнет и вся чернеет.

...на паре в разнопряжку... — то есть на паре лошадей, запряженных последовательно каждая в свой воз одна за другой.

Кипень — белая пена от кипения.

С. 183. *Шина* — здесь: железный обруч, туго набиваемый на обод колеса.

Горн — род печи с широким челом и с мехом для накаливания и иногда плавки.

С. 184. *Голица* — кожаная рукавица.

С. 184. *Онуча* — кусок ткани, которым оборачивают ногу перед тем, как одеть на нее сапог или лапоть; портянка.

С. 185. *Амбарушка* — см. комм. к с. 39.

Короб — лубяной (то есть липовый) сундук.

С. 186. *...ни рукой ему двинуть ~ а язык и не ворочается.* — Этот пассаж заимствован из текста-источника.

Пёс-богатырь

Впервые опубликовано: Северные записки. 1913. № 2. С. 48—50, 3-я в цикле «Сказки».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914.* С. 240—244; *Сказки русского народа.* С. 312—316.

Текст-источник: № V. Про охотника и Егория Храброго (*Васильев А.* Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева / изд. А. М. Смирнов // Живая старина. 1911. Вып. 1. С. 126—128).

Сказка написана в 1912 г.

С. 186. *Пришвин* — Используя свой излюбленный прием, Ремизов вводит в текст сказки имя близкого приятеля, писателя, этнографа-любителя, чьи записи были включены Н. Е. Ончуковым в сборник «Северные сказки», наконец, заядлого охотника Михаила Михайловича Пришвина (1873—1954). Подробнее об их взаимоотношениях см., например: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / вступ. ст., подг. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // *РЛ.* 1995. № 3. С. 157—209. В более ранних редакциях Знайко обращается к своему хозяину Михайло Михайлыч. Вероятно, оказавшись в эмиграции, за пределами петербургского литературного круга и вдали от знакомого с современной русской литературой читателя, писатель счел нужным более определенно обозначить связь героя сказки с его прототипом.

С. 187. *Инда* — см. комм. к с. 16.

Гужом — то есть один за другим, гуськом, вереницей.

...сам Егорий на белом коне среди белых волков... — 23 апреля ст. ст. (в день памяти св. Георгия Победоносца) крестьяне выгоняли скот на пастбище, поэтому св. Егорий назывался «загонщиком» скота, а также считался хранителем его от волков и повелителем самих волков, которые иногда именовались «псами».

Летун

Впервые опубликовано: Огни: Литературный альманах памяти В. Башкина. СПб., 1910. С. 95—97, под загл. «Архип Лопин на небо летал».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 245—248, под загл. «Летчик»; *Сказки русского народа*. С. 317—321.

Автографы и авторизованные тексты: «Хлебный голос и другие сказки». № 6. Летчик. — Макет сборника, печатные вырезки // *ИРЛИ*. Ф. 172. Ед. хр. 573.

Текст-источник: *Ончуков*. № 199. Лопарь на небе.

Сказка написана в 1910 г.

С. 191. *Дряп* — см. комм. к с. 88.

Па́рить — здесь: высиживать яйца.

Мужик-медведь

Впервые опубликовано: Тропинка. 1909. № 7. С. 282—283, с подзаг. «Сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 249—250; *Сказки русского народа*. С. 322—324.

Текст-источник: *Ончуков*. № 174. Мужик-медведь.

Сказка написана в 1909 г.

Вошиные башмачки

Впервые опубликовано: Слово. 1909. 29 марта. № 751. С. 3, под загл. «Чудесные башмачки: Народная сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 251—254, под загл. «Чудесные башмачки»; *Сказки русского народа*. С. 325—329.

Текст-источник: *Ончуков*. № 56. Вшивые башмачки.

Сказка написана в 1908 г.

Жадень-пальцы

Впервые опубликовано: Огонек. 1912. 25 февр. № 9. С. [2], с подзаг. «Сказка».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 255—256; *Сказки русского народа*. С. 330—332.

Текст-источник: *Ончуков*. № 280. Жадные сыновья.

Сказка написана в 1912 г.

Чудеса

Впервые опубликовано: Саратовский листок. 1916. 26 окт. № 227. С. 3, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: *Среди мурья*. С. 216—218; *Сказки русского народа*. С. 333—336.

Тексты-источники: Сказки и песни Белозерского края / записали Борис и Юрий Соколовы. М., 1915. № 68. Охотник; № 158. Охотник и Мирон.

Сказка написана в 1916 г.

С. 198. *...оснимал куницу...* — то есть снял с нее шкуру, освежевал.

Клекс

Впервые опубликовано: Современник. 1915. № 3. С. 14, 1-я в цикле «Сказки на Пасху: Народные».

Прижизненные издания: *Укрепа*. С. 83; *Сказки русского народа*. С. 337–338.

Текст-источник: *Ончуков*. № 230. Рыбий клеск.

Сказка написана в 1915 г.

С. 200. *Клекс* — рыбья чешуя. В тексте-источнике: кле*ск*.

Погост — здесь: церковь; погост — место вокруг церкви, на котором бывает и кладбище.

С. 201. *Паска* — см. комм. к с. 67.

Небо пало

Впервые опубликовано: Всемирная панорама. 1909. 22 мая. № 5. С. [10], с подзаг. «(Детская сказка)».

Прижизненные издания: *Докука и балагурье 1914*. С. 257–259; *Сказки русского народа*. С. 339–341; *НРС*. 1954. 31 янв. № 15254. С. 8, в цикле «Моя литературная карьера», под цифрой II.

Текст-источник: *Ончуков*. № 216. «Нёбо пало».

Сказка написана в 1909 г.

Облаежа

Впервые опубликовано: Свободный журнал. 1916. № 1. С. 5, с подзаг. «Народная сказка».

Прижизненные издания: *Среди мурья*. С. 215; Вместо книги. 1919. № 2, под загл. «Облаежка»; *Сказки русского народа*. С. 342–343.

Текст-источник: *Козырев Н. Г.* Семь сказок и одна легенда Псковской губернии // Живая старина. 1912. Вып. II/IV. С. 297–308. № 2.

Сказка написана в 1915 г.

С. 203. *Облаежа* — обжора (*Среди мурья*. С. 251; примеч. А. М. Ремизова).

Заклад

Впервые опубликовано: Обыденная газета «Трудовая помощь инвалидам мировой войны». 1916. 10—11 мая.

Прижизненные издания: Аргус. 1917. № 3. С. 44; *Среди мурья.* С. 219; *Сказки русского народа.* С. 344—345.

Текст-источник: *Козырев Н. Г.* Семь сказок и одна легенда Псковской губернии // Живая старина. 1912. Вып. II/IV. С. 297—308. № 4.

Сказка написана в 1915 или 1916 г.

С. 204. *Жуков* (или: *жуковский табак*) — так назывался высококачественный табак производства знаменитого петербургского табачного фабриканта В. Г. Жукова (1795—1882), прославившийся на всю Россию. О его популярности свидетельствует, среди прочего, и тот факт, что некогда принадлежавшие фирме Жукова и сохранившие свой торговый профиль табачные лавки на Невском проспекте даже в советскую эпоху, спустя столетие после смерти самого коммерсанта, продолжали именоваться горожанами жуковскими. Страстный курильщик Ремизов тоже был потребителем жуковского табака.

Находка

Впервые опубликовано: Красный балтиец. 1920. № 5. С. 23—24, 1-я в цикле «Сказки».

Прижизненные издания: *Шумы города.* С. 173—174, 4-я в цикле «Сказки»; *Сказки русского народа.* С. 346—347.

Сказка написана в 1919 г.

НЕРУССКИЕ СКАЗКИ

Автографы и авторизованные тексты: *Ремизов А.* Сказки нерусские. <Наборная рукопись сборника>.— Авториз. печ. тексты, илл. — рисунки Ремизова (тушь, цв. кар.). <1950-е гг.> // *ИРЛИ.* Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 9. Далее: *Макет I НС*; *Ремизов А.* Сказки нерусские. <Наборная рукопись сборника>. <1956 г.>. — Авториз. печ. тексты, илл. — рисунки (тушь, цв. кар.) // *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 202. 170 л. Далее: *Макет II НС.*

Печатается по *Макет II НС* с сохранением вариантов авторских написаний, орфографии, пунктуации и с исправлением опечаток.

Замысел объединить сказки разных этносов созревал у Ремизова постепенно, по мере освоения и словесного воплощения «нерусского» фольклорного материала (см.: *Данилова И. Ф.* Литературная сказка

А. М. Ремизова (1900—1920-е годы). Helsinki, 2010. С. 152—172). В автобиографии 1923 г. он писал: «Мне пришло на мысль выразить русским голосом — самым в мире свободным и громким по мечте своей — голос народов всего мира, народов отверженных, — “диких”, затесненных, обиженных, погибающих и погибших. / Пусть прозвучит по-русски их заветное на всеобщем суде! <...> Мне удалось положить лишь маленькие камушки — сказ сибирский, сказ кавказский, сказ тибетский: Чакхчыгыс-таасу, Лалазар, Ё» (цит. по: *Русский Берлин 2003*. С. 171). В дальнейшем к ним прибавились другие циклы: сказы подкарпатские, кабильские, а также две арабские и две негритянские сказки. Всего в рамках общего замысла было создано свыше сорока текстов.

Заключительным этапом работы должно было стать издание, которое Ремизов готовил в последние годы жизни. С этой целью он изготовил два макета (*Макет I НС* и *Макет II НС*), которые представляют собой толстые тетради с вклеенными в них вырезками печатных текстов.

В *Макет I НС* на л. 3 приведен следующий перечень входящих в него текстов:

«**I Арабские сказки:** 1) Заваль на заваль
2) Лепешки
II Негритянские: 1) Откуда рыба в море
2) Мудрая черепаха
III Басаркуньи
Подкарпатские: 1) Басаркуны
2) Упырь
3) Сливы
4) Ожина
5) Палка
6) Колесо
7) Мавка
IV Кабильские: 1) Первые слезы
2) Шакал 1) Дурачье
2) Свинья
3) Лев в сапогах
4) Товарищи
5) Коза
6) Шакалья песня
7) Ловушка
8) Баранина
9) Додна
10) Конец

V Тибетские (Заяшные) Ё
VI Сибирские: память 1) Стожары (якутская)
2) Крот – // –
3) Серкен-сехен – // –
4) Три брата (карагасская)
5) Волк – // –
6) Люди и звери (манегрская)
7) Люди, звери и водяные – // –
8) Китайская шапка – // –
9) Белый ворон (чукотская)
VII Кавказские: 1) Золотой столб (армянская)
2) Саркси-шун – // –
3) Царь Нарбек – // –
4) Под павлином (грузинская)
5) Мтеулетинские камни (грузинская)
6) Беков мед (татарская)».

Фактический состав текстов тетради I («Сказки нерусские»):

«АРАБСКИЕ
Заваль на заваль
Лепешки

НЕГРИТЯНСКИЕ
Черные

Откуда рыба в море?
Сказ негритянский
Мудрая черепаха
Сказ негритянский

БАСАРКУНЬИ
Подкарпатские

Басаркуны
Упырь
Сливы
Ожина
Палка
Колесо
Мавка

КАБИЛЬСКИЕ

Первые слезы
Сказ кабильский

ШАКАЛ
Сказ кабильский
1. Дурачьё <Шакалья песня>
2. <Ловушка>
3. <Коза>
4. <Баранина>
5. <Додна>
6. <Конец>».

Состав тетради II («Нерусские сказки»):

«**ТИБЕТСКИЕ**
Ё
ЗАЯШНЫЕ

Ё – ТИБЕТСКАЯ
I <Заячья доля>
II <Заячий указ>
III <Заяц добрый>
IV <Разные зайцы>
V <Злой заяц>

ПАМЯТЬ-СКАЗКА
СИБИРСКИЕ
Стожары. Якутская сказка
Крот. Якутская сказка
Серкен-сехен. Якутская сказка
Три брата. Карагасская сказка
Волк. Карагасская сказка
Люди и звери. Манегрская сказка
Люди, звери и водяные. Манегрская сказка
Китайская шапка. Манегрская сказка
Белый ворон. Чукотская сказка

КАВКАЗСКИЕ
Золотой столб. Армянская
Саркси-шун. Армянская
Царь Нарбек. Армянская
Под павлином. Грузинская
Мтеулетинские камни. Грузинская
Беков мед. Татарская».

Обильная правка содержится только в текстах «басаркуньих» сказок. Описание *Макет I НС* см. также: *Грякалова Н. Ю.* Человек модерна. СПб., 2008. С. 272.

Предположительно во второй половине 1956 г. (в частности, несколько произведений кабильского цикла впервые было опубликовано в *НРС* в июле 1956 г.) Ремизов изготовил 2-й макет под загл. «Нерусские сказки» (*Макет II НС*). Он близок по структуре *Макет I НС*, однако в первом содержатся некоторые расхождения. Так, в *Макет I НС* фактически иной состав имеет цикл «Кабильские сказки», который не соответствует заявленному Ремизовым в перечне произведений; другой состав и последовательность текстов в «Тибетских сказках» (см. с. 568–570).

На обложке 1-й тетради *Макет II НС* надпись:

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ
НЕРУССКИЕ СКАЗКИ

На л. 3 указано содержание:

«**I Арабские сказки**: 1) Заваль на заваль
2) Лепешки
II Негритянские 1) Рыба
2) Черепаха

III Басаркуньи
(подкарпатские) 1) Басаркуны
2) Упырь
3) Сливы
4) Ожина
5) Палка
6) Колесо
7) Мавка
IV Кабильские 1) Первые слезы
2) Шакал 1) Дурачьё
2) Свинья
3) Лев в сапогах
4) Товарищи
5) Коза
6) Шакалья песня
7) Ловушка
8) Баранина
9) Додна
10) Конец
V Ё. Тибетские, заяшные 1) Заяц <Заячья доля>
2) Заяц добрый
3) Разные зайцы
4) Заячий указ
5) Злой заяц
6) Звериное дерево

VI Сибирские сказки 1) Люди и звери
2) Люди, звери и водяные
3) Китайская шапка
4) Судьба — Волк
5) Три брата
6) Белый ворон
7) Стожары
8) Серкен-сехен
9) Крот и королек
VII Кавказские сказки 1) Золотой столб
2) Саркси-Шун
3) Царь Нарбек
4) Под павлином
5) Мтеулетинские камни
6) Беков мед».

Сохранился и авторский макет книги «Павлиньим пером. Сборник сказок» (две тетради; авторизованная машинопись, вырезки, ксерокопии). В 3-ю часть его вошли три цикла «Нерусских сказок»: басаркуньи (сказки Подкарпатской Руси), кабильские (Шакал: Сказ кабильский), тибетские (Заяц: Сказ тибетский). Макет также датируется 1950-ми гг. Тетрадь с 3-й частью хранится: *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 21 (правка Ремизова и В. Б. Сосинского; далее — *МПП*). Кроме того, до нас дошла рукопись сборника «Павлиньим пером» с рисунками автора; хранится: *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 6. Ед. хр. 17; дата: «1948–1956». См. также.: *Ремизов А*. Павлиньим пером / Сост., вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Грякаловой. СПб., 1994; *Грякалова Н. Ю*. Человек модерна. С. 268–272, 275–279; *Звезда надзвездная-Росток XIV*. С. 650–657 (сост. Н. Ю. Грякалова).

АРАБСКИЕ СКАЗКИ

Заваль на заваль

Впервые опубликовано: Докука-сказка: Арабские сказки // Русский инвалид. 1938. Май. № 115. С. 6.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 6 (вырезка из «Русского инвалида»); *Макет II НС*. Л. 6 (вырезка из «Русского инвалида»).

С. 209. *За́валь* — плохой, залежавшийся товар.

Джинн — Слово происходит от арабского *джанна* — «скрытый». Джинны невидимы для людей. Согласно исламскому вероучению, джинны, как и люди, могут выбирать пути добра или зла. Среди джиннов есть праведные (мусульмане) и отступники, служащие Сатане

(шайтаны). Джинн известен также из сборника «Тысяча и одна ночь» как волшебный дух, исполняющий желания; внешне он похож на человека.

Лепешки

Впервые опубликовано: Докука-сказка: Арабские сказки // Русский инвалид. 1938. Май. № 115. С. 6.

Автографы и авторизованные тексты: «Две лепешки». — Автограф // *Amherst.* Box 12. F. 1b. 4 p.; дата: «1938»; *Макет I НС.* Л. 7 (вырезка из «Русского инвалида»); *Макет II НС.* Л. 7 (вырезка из «Русского инвалида»).

С. 210. *...посадили ей на закорки...* — То есть на плечи и верхнюю часть спины.

НЕГРИТЯНСКИЕ СКАЗКИ

Рыба

Впервые опубликовано: Звено (Париж). 1923. 3 дек. № 44. С. 2, под загл. «Откуда рыба в море?», 1-я в триптихе «Три сказки».

Прижизненные издания: Москва (Чикаго). 1931. № 12. С. 2, 1-я в триптихе «Нигерские сказки»; Воля России. 1931. № 10—12. С. 723—724, в составе повести «Учитель музыки» (гл. 3, разд. «4. Черные сказки»).

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 9—10, под загл. «Откуда рыба в море? Сказ негритянский» (вырезка из газ. «Звено»); *Макет II НС.* Л. 9—9 об. (вырезка из ж. «Воля России»).

С. 211. *...ни бранно отбрыкнуться...* — То есть грубо отбиться, отказаться, уклониться.

Жил-был рыбец... — Вероятно, неологизм мужского рода от слова «рыба».

И по всему Калабару... — Калабар — Возможно, имеется в виду город на юго-востоке Нигерии, на границе с Камеруном.

Глаза у карги ничего не видят... — Карга — сварливая, злая старуха.

Черепаха

Впервые опубликовано: Звено (Париж). 1923. 3 дек. № 44. С. 2—3, под загл. «Мудрая черепаха: сказ негритянский», 2-я в триптихе «Три сказки».

Прижизненные издания: Москва (Чикаго). 1931. № 12. С. 3, 2-я в триптихе «Нигерские сказки»; Воля России. 1931. № 10—12. С. 725—726, в составе повести «Учитель музыки» (гл. 3, разд. «4. Черные сказки»).

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 11—13, под загл. «Мудрая черепаха: сказ негритянский»; *Макет II НС.* Л. 10—10 об. (вырезка из ж. «Воля России»).

С. 212. *...нашу черепиченку...* — Вероятно, ремизовский неологизм, означающий «черепашку», «черепашечку».

...никто не домекнулся... — Домекнуться (устар. или диал.) — догадаться.

С. 213. *...триста бронзовых лионов...* — Возможно, имеются в виду бронзовые монеты.

...и пальмового вина. — Алкогольный напиток, получаемый в результате брожения сока плодов некоторых видов пальм: кокосовой, пальмировой, сахарной, винной и др.

...вдоволь сладкой фуфу... — Фуфу — африканское блюдо из вареного и толченого банана; особенно распространено в Западной Африке (Эфиопия, Гвинея, Сенегал, Сьерра-Леоне и др.).

БАСАРКУНЬИ СКАЗКИ
Подкарпатские

Впервые целиком опубликовано: Возрождение. 1957. № 61. С. 78—86, под общим загл. «Басаркуньи сказки».

Автографы и авторизованные тексты: «Басаркуньи сказки». — Рукописный альбом (собр. Н. В. Резниковой) // *РГАЛИ.* Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 26; *Макет I НС.* Л. 14—35; *Макет II НС.* Л. 13—39 (кроме сказки «Мавка», вырезки из *ПН*).

В *Макет II НС*, содержащем небольшую авторскую правку, Ремизов пометил: «послед<няя> редакция» (Л. 3).

Сюжеты басаркуньих сказок Ремизов почерпнул у этнографа, фольклориста Петра Григорьевича Богатырева (1893—1971), который в 1-й половине 1920-х гг. совершил несколько поездок в Закарпатье. Позднее, в 1929 г., П. Г. Богатырев опубликовал книгу «Магические действия, обряды и верования Закарпатья» (на фр. яз.; пер. на русский яз. см.: *Богатырев.* С. 167—296). Ремизов вспоминал о встрече с П. Г. Богатыревым, состоявшейся в 1920-е гг. в пражском ночном кафе «Паук»: «Богатырев только что вернулся из Подкарпатской Руси, собрал “уйму фольклорного матерьяла” — двести волшебных сказок! <...> Богатырев в Подкарпатской Руси не новичок — прошел там

огонь и воду. И за рассказами о басуркунах под свист джаз-банда проскочила ночь» (*СЗ*. 1926. Кн. 27. С. 136). Три сказки («Ожина», «Палка», «Колесо») Ремизов включил в состав раздела «La matiere», 2-й части повести «La vie» (в окончательной версии: «По карнизам», в нее эти сказки не вошли).

П. Г. Богатырев отмечал, касаясь данных сказок : «Вера в чудесные явления, в сверхъестественные существа, так же как и вера в могущество колдунов или в магические церемонии, у закарпатских крестьян и жива и сильна» (*Богатырев*. С. 274).

«Басаркуньи сказки» Ремизов предполагал включить в качестве главы в состав первой части автобиографической эпопеи «Учитель музыки», но затем отказался от этого намерения (см.: *Учитель музыки-РК IX*. С.469).

В 1934 г. Ремизов создал рукописный альбом, в котором воспроизвел каллиграфическим почерком все тексты цикла, дополнив своими иллюстрациями. Библиофил А. Ф. Марков, получивший его в дар от Б. Б. (В. Б.) Сосинского, свидетельствовал: «Однажды писатель изготовил особенно интересный альбом “Басаркуньи сказки”, состоящий из семи сказок с тридцатью четырьмя иллюстрациями к ним. Увидев альбом, В. Б. Сосинский решил, несмотря на трудности, приобрести его для себя» (*Марков Анатолий*. «Басаркуньи сказки» А. М. Ремизова // Панорама искусств. М., 1988. Вып. 11. С. 382). В статье воспроизведен текст сказки «Колесо» (С. 392). Ремизов 18 ноября 1934 г., в частности, писал Сосинскому: «Я знаю, много за мои альбомы не дадут. “Басаркуньи сказки” оцениваю в 300 fr. На большее — не мечтаю» (Там же. С. 385). Анатолий Федорович *Марков* (1924—2012) — библиофил; Бронислав (Владимир) Брониславович *Сосинский* (1900—1987) — литератор, критик, журналист, один из друзей Ремизова.

В рецензии на книгу «Народное искусство Подкарпатской Руси», вышедшей в 1926 г. на французском языке в пражском изд-ве «Пламя» (материалы и пояснительный текст С. К. Маковского), Ремизов писал: «Кому только из русских не мерещилась “Подкарпатская Русь”! Гоголь в своем таинственном — своим “Вием” и “Страшной местью” — глядит из-за Карпат, а с его голоса и всех туда тянет. / Подкарпатская Русь — перекресток, завязь нечистой силы: “там ей попить, там ей поесть и погулять!” — в людях-нелюдях (басуркунах) и в упырях. <...> Следует упомянуть о № 320 (22.11.<19>25) Prager Presse <пражская газета на нем. яз. — *Ред.*>, посвященном Подкарпатской Руси <...>: даны и несколько сказок, написанных по материалам П. Г. Богатырева, которые и есть самая суть искусства Подкарпатской Руси. Предутренний горный туман и сквозь туман огненные движущиеся шары: жизнь — “пить и есть” — трехмерной реальности и сюрреальное многомерное “погулять” явственно и стройно сложены в волшебной под-

карпатской сказке» (цит. по: *Звезда надзвездная-Росток XIV*. С. 214—215). Издание на русском языке вышло в том же изд-ве в 1925 г.

Об истории создания и публикациях произведений цикла см. комм. Н. Ю. Грякаловой: *Звезда надзвездная-Росток XIV*. С. 667—671.

Басаркуны

Впервые опубликовано: *ПН*. 1925. 23 июля. № 1608. С. 3, под загл. «Басуркуны», 1-я в цикле «Сказки Подкарпатской Руси: (По материалам П. Г. Богатырева)».

Прижизненные издания: Возрождение. 1957. Тетрадь 61-я. С. 78, 1-я в цикле «Басаркуньи сказки».

Авторизованные тексты: «Басаркуны». — Авториз печ. текст — корректура *ПН*, дата: «1923» // *Amherst*. Box 17. F. 2b; *Макет I НС*. Л. 15—16 (первоначальное загл. «Басуркуны») (вырезка из *ПН*); *Макет II НС*. Л. 13—15 (вырезка из *ПН*); *МПП* (вырезка из *ПН*).

П. Г. Богатырев привел такой рассказ крестьянина Прокопа: «Ведьм (*босурканъ*) можно видеть ночью. Мой старый тесть их встретил. Как-то в полночь он возвращался домой и услышал в грушевом саду какой-то шум. Он посмотрел в ту сторону и увидел одну еврейку, двух русских женщин и одного умершего недавно мужчину, по имени *Волотир*; все четверо были из Кривы. <...> Он их увидел, узнал, и они его тоже заметили. Он бросился на землю, но они подошли к нему и хотели убить. Он умолял их, плакал и обещал никому не говорить, что их видел. <...> Они собирались его убить, но ведьма из Чербины <...> сказала: “Отпустим его, а если он нас выдаст, убьем прямо за его столом”. Он побожился, что никому не скажет. На следующий день в корчме он встретил эту старуху из Чербины и поставил ей водку, чтобы отблагодарить за спасение. Он часто встречал ее ночью вместе с еврейкой. Тесть не был пьян: он человек трезвый» (*Богатырев*. С. 282; курсив П. Г. Богатырева).

С. 215. *Басаркуны* (зап.-укр. босуркун, босурканя) — в народных поверьях Закарпатья — колдуны, колдуньи, ведьмы.

Так идет раз Михайла ночью... — В книге П. Г. Богатырева упоминается Михаил Палканич из города Хуста (*Богатырев*. С. 276).

И марно, чутко ему, как во сне. — *Марно* — производное от слова «мара», «марево», имеющего несколько значений: видение, наваждение, греза, привидение.

...так и ерепят... — *Ерепить* — Вероятно, от глагола «ерепениться» в значении: горячиться, настаивать, артачиться.

Упырь

Впервые опубликовано: *ПН*. 1925. 23 июля. № 1608. С. 3, 2-я в цикле «Сказки Подкарпатской Руси: (По материалам П. Г. Богатырева)».

Прижизненные издания: Возрождение. 1957. Тетрадь 61-я. С. 79–80, 2-я в цикле «Басаркуньи сказки».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 17–19; *Макет II НС*. Л. 16–20 (вырезка из *ПН*); *МПП* (печ. текст; отрывок).

По мотивам сказки Ремизов создал иллюстрированный альбом под загл. «Вампир. / Подкарпатская сказка» (1935. 8 с.) (*Волшебный мир Алексея Ремизова*. С. 44).

Ср. в книге П. Г. Богатырева один из закарпатских рассказов, посвященных вампирам: «Мы пошли вчетвером стеречь *толоку*. Часам к одиннадцати услышали у изгороди хихиканье и увидели, что там прошел человек. Это был вампир. Он пошел к *толоке*, стал гоняться за лошадьми, и сам ржал, как лошадь. <...> Вампир может быть человеком, лошадью или собакой. Когда удят рыбу, то ему дают попробовать. И после этого можно наловить воз рыбы. Но с ним нельзя говорить. Он такой страшный, что с ним невозможно говорить» (*Богатырев*. С. 279; курсив П. Г. Богатырева).

С. 216. *Упырь* (вурдалак, вампир) – у славян мифологический персонаж, покойник, встающий из могилы; вредит людям и скоту, пьет их кровь.

Инцик упырей не раз видел... – В книге П. Г. Богатырева упоминается Иван Инцик из городка Хуст (*Богатырев*. С. 276).

Нанялся Инцик сторожить на реке ночью плоты. ~ А пришли на то место, смотрят – и уж нет его, и не человек, корч – и качается: корчом обернулся. – *Корч* – рыболовные снасти. Ср. в книге П. Г. Богатырева рассказ одного крестьянина о встрече его тестя с вампиром: у тестя воровали бревна, «и он пошел с ружьем их сторожить. Как только он пришел, то увидел, что в воде, в глубоком месте, стоит черный человек. А в другой раз, когда вязали плоты и народ еще не спал, он увидел, что большой черный человек идет один. Когда он вышел на берег, то стал еще больше. Старик пошел за товарищем, чтобы показать ему этого огромного человека. Как только они пришли, тот обратился в *лум* (искривленный ствол засохшего дерева, нависший над водой)» (Там же. С. 279–280; курсив П. Г. Богатырева).

...шел Инцик толоком. – *Толок (укр.)* – выгон для скота, который в народных поверьях связывался с нечистой силой.

С. 217. *...на толкун ткнулся...* – *Толкун* – место без рядов для торга подержанными вещами.

Сливы

Впервые опубликовано: *ПН*. 1925. 23 июля. № 1608. С. 3, 3-я в цикле «Сказки Подкарпатской Руси: (По материалам П. Г. Богатырева)».

Прижизненные издания: Возрождение. 1957. Тетрадь 61-я. С. 80–81, 3-я в цикле «Басаркуньи сказки».

Автографы и авторизованные тексты: «Сливы». — Авториз. печ. текст — корректура *ПН // Amherst*. Box 17. F. 2b; дата: «1923»; «Сливы — подкарпатская сказка». — Автограф. Б. д. // *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 14; *Макет I НС*. Л. 20–22; *Макет II НС*. Л. 21–23 (вырезка из *ПН*); *МПП* (вырезка из *ПН*).

Ср. в книге П. Г. Богатырева рассказ некоего крестьянина Прокопа о его тесте в комм. к сказке «Басаркуны» (с. 576).

С. 218. *И был с ними Палкан...* — В книге П. Г. Богатырева упоминается некто Михаил Палканич из города Хуст (Там же. С. 276). Отсюда, возможно, имя героя сказки.

Зварыльня —производное от «варильня» — варочная, варочный котел.

Свитка (свита) — название мужской и женской верхней длинной одежды из сукна, разновидность кафтана.

С. 219. *А раз прошибся*. — То есть ошибся, допустил промах.

...на подлавку. — *Подлавка, подлавок* — в деревенской избе место под лавкой.

...чего-то всё дуркало. — *Дуркать* — Вероятно, здесь в значении «ругаться».

Ожина

Впервые опубликовано: *ПН*. 1924. 7 дек. № 1418. С. 2, вместе со сказкой «Палка», в цикле под общим загл. «Басуркун: Сказки Подкарпатской Руси: (По материалам П. Г. Богатырева)».

Прижизненные издания: *СЗ*. 1926. Кн. 27. С. 137–139 (в сост. «La Matiere»); Возрождение. 1957. Тетрадь 61-я. С. 81–82, 4-я в цикле «Басаркуньи сказки».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 23–24 (вырезка из *ПН*); *Макет II НС*. Л. 24–26 (вырезка из *ПН*).

С. 219. *Ожина* (*укр*.) — ежевика сизая.

С. 220. *...набрали в сметье гнилушек...* — *Сметье* — сор, мусор. *Гнилушка* — обломок, кусок гнилого дерева; осиновые гнилушки обладают свойством светиться в темноте.

...шук да шепот... — Шук... — Вероятно, от глагола «шушукать» в значении: «шуметь, шептать».

Палка

Впервые опубликовано: *ПН.* 1924. 7 дек. № 1418. С. 2, вместе со сказкой «Ожина», в цикле под общим загл. «Басуркун: Сказки Подкарпатской Руси: (По материалам П. Г. Богатырева)».

Прижизненные издания: *СЗ.* 1926. Кн. 27. С. 139—142 (в сост. «La Matiere»); Возрождение. 1957. Тетрадь 61-я. С. 82—84, 5-я в цикле «Басаркуньи сказки».

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 25—27 (вырезка из *ПН*); *Макет II НС.* Л. 27—31 (вырезка из *ПН*).

С. 221. *Сви́стень* — от глагола «свистеть», «свистать». Ср. в сказке Ремизова «Ночь темная» (1907): «...свистит ветер-свистень...», «...свистел свистень...».

...уж больно погода. — Здесь в значении: непогода, ненастье.

...хлеща кострикой... — Кострика (костра) — часть стебля волокнистых растений (льна, конопли и т. п.).

С. 222. *...эк его как скоробило! — Скоробить* — скрючить, согнуть, искривить.

...пошла мурзыкать. — От глагола «мурзить» — брюзжать, ворчать.

Колесо

Впервые опубликовано: *ПН.* 1924. 25 дек. № 1433. С. 2, в цикле под общим загл. «Басуркунка: Сказки Подкарпатской Руси: (По материалам П. Г. Богатырева)».

Прижизненные издания: *СЗ.* 1926. Кн. 27. С. 142—144 (в сост. «La Matiere»); Возрождение. 1957. Тетрадь 61-я. С. 84—85, 6-я в цикле «Басаркуньи сказки».

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 28—30 (загл. — автограф) (вырезка из *ПН*); *Макет II НС.* Л. 32—34 (вырезка из *ПН*).

С. 222. *Под Юрья... — Юрьев день* — церковный день памяти Георгия Победоносца, в народной традиции называвшегося Юрием или Егорием. На Руси весной этот праздник отмечался 23 апреля / 6 мая (Егорий Вешний).

...мартову поясину... — Имеется в виду магический нательный пояс-оберег длиной от полутора до четырех метров; изготавливался из разноцветной льняной ткани.

С. 223. *...долбнул ее хорошенько...* — От глагола *долбануть* — сильно ударить.

Мавка

Впервые опубликовано: Новоселье. 1943. № 6. С. 3—5, с подзаг. «Неизданная карпатская сказка».

Прижизненные издания: Возрождение. 1957. Тетрадь 61-я. С. 85—86, 7-я в цикле «Басаркуньи сказки».

Автографы и авторизованные тексты: «Мавка». — Автограф // *Amherst*. Box 12. F. 1b; дата: «1943»; *Макет I НС*. Л. 31—35 (возможно, вырезка из ж. «Новоселье»; загл. — автограф); *Макет II НС*. Л. 35—39.

С. 224. *Мавка* — в славянской мифологии душа ребенка или девушки, ушедших из жизни не по своей воле. Происхождение слова связано с общеславянским значением слова «навь» — смерть, загробный мир.

...внутренности у мавки сзади обнажены. — См. комм. Н. Ю. Грякаловой: *Звезда надзвездная-Росток XIV*. С. 671.

Всенощная — вечерняя церковная служба.

Гáча (гачи) — брюки, штаны, портки.

...рукой ее от ветру застит... — То есть заслоняет, закрывает.

В ночь под Ивана Купала возвращался он с вечерницы... — *Иван Купала* (Иванов день) — см. комм. к с. 179. *Вечерница* — вечеринка в честь этого праздника.

КАБИЛЬСКИЕ СКАЗКИ

В *Макет II НС* Ремизов отметил: «последн<яя> редакция» (Л. 3).

Примеч. Ремизова в *НРС*: «Кабилы — в северной Африке в Алжире. В основу шакальего сказа положены народные сказки, собранные Лео Фробениусом в его труде “Народные сказки кабилов”» (*Макет II НС*. Л. 114). Подразумевается немецкое издание: *Frobenius L.* Atlantis Volks: Dichtung und Volksmürchen Africas. Jena, 1921—1928. Bd. 1—3 (*Фробениус Л.* Народная Атлантида: народные сказки Африки. Йена, 1921—1928. Т. 1—3). *Фробениус Лео* (1873—1938) — немецкий этнограф-африканист.

Первые слезы

Впервые опубликовано: Звено. 1923. 3 дек. № 44. С. 2, 2-я в подборке «Три сказки».

Прижизненные издания: Воля России. 1931. № 10/12. С. 727, в составе повести «Учитель музыки» (гл. 3, разд. «4. Черные сказки»); Москва (Чикаго). 1931. № 12. С. 3, под заголовком: «Кабильская сказка», вместе со сказками «Рыба» и «Черепаха»; *ПН*. 1934. 2 дек. № 5001. С. 3.

Автографы и авторизованные тексты: «Шакал». — Наборная рукопись для публикации в *ПН*. Дата: «1923» // *Amherst*. Box 12. F. 9. 43 p.; *Макет I НС*. Л. 37; *Макет II НС*. Л. 41.

БАСНЯ-СКАЗКА
Кабильские сказки

Шакал

Целиком впервые опубликовано в *НРС* (1956).

Автографы и авторизованные тексты: «Шакал». — Наборная рукопись для публикации в *ПН*. Дата: «1923» // *Amherst*. Box 12. F. 9. 43 p.; «Шакал». — Наборная рукопись для публикации в ж. «Россия». Дата: «1924» // *Amherst*. Box 12. F. 10. 41 p.; *Макет I НС*. Л. 38—61; *Макет II НС*. Л. 42—113; *МПП* (печ. текст *НРС*).

I. Дурачьё

Впервые опубликовано: *ПН*. 1923. 23 дек. № 1126. С. 2, под загл. «Дрозд».

Прижизненные издания: Россия: Общественно-литературный журнал. М.; Л., 1924. № 2. С. 62—65, без загл., под номером I, в цикле «Ушен: Сказ шакалий кабильский»; *НРС*. 1956. 3 июня. № 15681. С. 3.

Авторизованные тексты: *Макет II НС*. Л. 42—48; *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 228. *...на дереве на самом шпыне гнездо...* — *Шпын* — хохол на голове. Здесь, вероятно, в значении: на верхушке дерева.

...гычит... — Возможно, от простонародного глагола «гыкать» — издавать звуки, похожие на лебединые. Либо это опечатка и имеется в виду глагол «рычать».

С. 229. *Ушен* — то есть шакал. По-татарски и по-марийски — ленивый.

...твоему кодлу... — *Кодла* (кодло) (разг.) — компания, ватага, шайка.

С. 231. *Шмыргнул носом...* — Первоначально в тексте было: «Шмыгнул носом...». *Шмыгать носом* — шумно втягивать носом воздух, хлюпать.

II. Свинья

Впервые опубликовано: Россия: Общественно-литературный журнал. М.; Л., 1924. № 2. С. 66—72, без загл., под номером II, в цикле «Ушен: Сказ шакалий кабильский».

Прижизненные издания: *НРС*. 1956. 10 июня. № 15688. С. 5, 7, под загл. «Кабаниха», 2-я в цикле «Шакал: Сказ кабильский».

Авторизованные тексты: *Макет II НС*. Л. 49—62 (вырезка из *НРС*); *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 231. *...мурчал шакал...* — то есть урчал, ворчал.

С. 232. *...вкусно хруптит...* — то есть разгрызается с хрустом.

...как зубья — брязг. — Брязг — стук, бряканье, брезжание. Здесь, вероятно, в другом значении: дрянь, хлам.

...забрумбунил. — Возможно, ремизовский неологизм.

С. 233. *...такая долбня...* — То же, что долбежка, зубрежка.

С. 235. *...всякому взарь.* — То есть виден, заметен.

С. 236. *...да мимо кабаньих пырь... — Пырь* — здесь, вероятно, в значении: внезапный удар, укол.

III. Лев в сапогах

Впервые опубликовано: Россия: Общественно-литературный журнал. М.; Л., 1924. № 2. С. 73—75, без загл., под номером III, в цикле «Ушен: Сказ шакалий кабильский».

Прижизненные издания: *НРС*. 1956. 17 июня. № 15695. С. 7, 3-е в цикле «Шакал: Сказ кабильский».

Авторизованные тексты: *Макет II НС*. Л. 63—68; *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 237. *Лев в сапогах.* — Ср. с названием сказки Ш. Перро «Кот в сапогах».

С. 238. *Дратва* (от нем. Draht — проволока) — прочная просмоленная или навощенная крученая льняная нитка, пропитанная варом для предохранения от гниения, для шитья кожаных изделий.

С. 239. *...вой винтил холмик. — Винтить* — ввертывать, скручивать.

...инда вздрогнул... — Так что даже вздрогнул.

...коровий огузок. — Бедренная часть туши, мягкая и сочная.

IV. Товарищи

Впервые опубликовано: Россия: Общественно-литературный журнал. М.; Л., 1924. № 2. С. 76—79, без загл., под номером IV, в цикле «Ушен: Сказ шакалий кабильский».

Прижизненные издания: *НРС*. 1956. 8 июля. № 15716. С. 8, под загл. «Рябка».

Авторизованные тексты: *Макет II НС*. Л. 69—74; *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 239. *Рябка* — возможно, имеется в виду *рябка* — птица, по размерам схожая с голубем; с английского переводится как «песчаный рябчик». Оперение пестрое. Рябки распространены в засушливых районах Европы, Азии, Африки.

С. 240. — *Ну, и ловчак!* — То есть изворотливый человек, ловкач.

С. 241. ...*«кускус»*. — Пшеничная крупа и блюдо из нее магрибской и берберской кухни; подается с мясом или с овощами.

V. Коза

Впервые опубликовано: *НРС*. 1956. 15 июля. № 15723. С. 4, 7, 7-я в цикле «Шакал: Сказ кабильский», вместе со сказкой «Ловушка».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 47—49 (вырезка из *НРС*); *Макет II НС*. Л. 75—78 (вырезка из *НРС*); *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 243. *Шакал потуркался... — Туркаться* (диал.) — стучаться.

...муравьиную кишь. — Кишь — от глагола «кишеть» — беспорядочно двигаться, копошиться (о большом количестве разных существ); например: кишащий муравейник.

VI. Шакалья песня

Впервые опубликовано: *НРС*. 1956. 22 июля. № 15730. С. 8, под загл. «Песнь шакала» в цикле «Шакал: Сказ кабильский».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 38—44, под № 1, под загл. «Дурачьё» (загл. — автограф); *Макет II НС*. Л. 79—89; *МПП* (печ. текст *НРС*).

С. 245. *...и глазатому не по глазам*. — То есть глазастому, с хорошим, острым зрением. Ср. рассказ-миниатюру Ремизова «Глазатый» (опубл.: *Весеннее порошье*. С. 311—312).

VII. Ловушка

Впервые опубликовано: *НРС*. 1956. 15 июля. № 15723. С. 4, 6-я в цикле «Шакал: Сказ кабильский», вместе со сказкой «Коза».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 44—47, под № 2, без загл. (вырезка из *НРС*); *Макет II НС*. Л. 90—93 (вырезка из *НРС*); *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 249. *Алаборник* — озорник.

С. 250. *...я тебя вздрючу! — Вздрючить* (разг.) — побить, отколотить.

...устроил себе прятку. — Прятка — скрытое, укромное место.

С. 251. *...так одермился...* — То есть вымазался в кале, испражнениях, нечистотах.

VIII. Баранина

Впервые опубликовано: *НРС.* 1956. 29 июля. № 15737. С. 8, под загл. «Волы».

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 50—53, под № 4, без загл.; *Макет II НС.* Л. 94—98; *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 252. *...чурбан...* — Здесь: тупой человек, болван.

IX. Додна

Впервые опубликовано: *ПН.* 1923. 23 дек. № 1126. С. 3, под загл. «Еж».

Прижизненные издания: *НРС.* 1956. 12 авг. № 15751. С. 3, 6.

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 53—59, под № 5, без загл.; *Макет II НС.* Л. 99—110; *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 254. *— А как пошабашим... — Шабашить* (простореч.) — здесь в значении: прерывать или кончать работу.

...родился куль-кулька... — То есть тюфяк-тюфяком, недотепа.

Мизгун (мизун) — маленький, младший; возможно, семантически связано со словом «мизинец».

С. 255. *...бег вза́пуски...* — То есть наперегонки.

С. 256. *Большими шагами побежал шакал, а еж шагу не сделал, ~ Но когда добежал он до кучки зерна, другой еж высунулся из ямки.* — В этом эпизоде мог отразиться фрагмент статьи Н. Ф. Сумцова «Заяц в народной словесности», которая была хорошо известна Ремизову: «В польских сказках еж и заяц бьются об заклад, кто кого перегонит. Еж схитрил: он поставил на том месте, к которому условлено было бежать, другого ежа, и бедный заяц, сколько ни бегал от одного пункта поля к другому, всегда находил уже на месте ежа» (Этнографическое обозрение. 1891. № 3. С. 81).

X. Конец

Впервые опубликовано: *ПН.* 1923. 23 дек. № 1126. С. 3, под загл. «До дна».

Прижизненные издания: *НРС.* 1956. 12 авг. № 15751. С. 3, 6.

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 59—61, под № 6, без загл.; *Макет II НС.* Л. 111—113; *МПП* (вырезка из *НРС*).

С. 258. *...и не сушеет!* — То есть не сохнет.

...вывалились, теча, кишки. — Возможно, от глагола «течь».

ЗАЯШНЫЕ СКАЗКИ
Тибетские
Ё

Впервые целиком опубликовано: *Игра*. Пг. № 2. Ч. 2. С. 35–56.

Прижизненные издания: *Ремизов А.* Ё: Заяшные сказки тибетские. Чита: Скифы, 1921. С. 1–21; *Ремизов А.* Ё: Тибетский сказ. Берлин: Рус. творчество, 1922. С. 7–43.

Автографы и авторизованные тексты: «Заяшные сказки» (Тибетские). — Автограф и авторизованные печ. тексты. <1918> // *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 10; *Макет I НС*. Л. 63–94; *Макет II НС*. Л. 115–127 об. (вырезка из *Игра*); *МПП*.

При первой публикации трех сказок в еженедельнике «Огонек» (1917. № 31. 13 авг. С. 485) Ремизов сделал следующее примеч.: «В основу предлагаемых сказок о зайцевых деяниях (заяц по-тибетски Ё) положены тибетские сказки, записанные Григорием Николаевичем Потаниным (“Жив<ая> Стар<ина>”, 1912 г., вып. II–IV). А, кроме того, этого самого зайца я во сне видел: так, беленький, усатый, ничего особенного, у дверей и в окнах мясной и зеленной много таких висит, — и хвостик шариком, и лапки с коготком, как щеточки». Этот текст, с небольшими разночтениями, был воспроизведен в сб. «Игра» с добавлением: «Сказки написаны в 1916 г., летом в Москве на Собачьей площадке» (*Игра*. № 2. Ч. 2. С. 56). *Собачья площадка* — бывшая площадь в Москве в районе улиц Арбат и Большая Молчановка. По преданию, возникла на месте Псарного, или Собачьего, двора, где находились царские псарни.

Г. Н. Потанин в предисловии к публикации в «Живой старине» свидетельствовал: «Тибетские сказки записаны во время моего пребывания в китайской провинции Сы-чуань, в городе Тарсандо (Да-цзянлу), на восточной границе Тибета, в 1893 году. Самое значительное число записей с тибетского было сделано со слов ламы из монастыря Дочжичжа, который находится близ города Тарсандо... <...> Имя этого ламы мне не удалось узнать; он был гуртеном (прорицателем) при монастыре Дочжичжа... <...> Это был богатый и грамотный лама. Он ездил в Монголию, говорил по-монгольски и провел несколько лет в нашем Забайкалье <...> На русский язык рассказы ламы переводил мой спутник Будда Рабданович Рабданов, бурят из Забайкалья» (*Потанин*. С. 389; разрядка Г. Н. Потанина).

17 октября 1920 г. Ремизов записал в дневнике о том, что читал в Малом зале Петроградской консерватории, наряду с другими произведениями, и «Заячьи сказки» (Минувшее: Ист. альманах. М.; СПб., 1994. Вып. 16. С. 498; публ. А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова).

Читинское издание сказок связано с художником и детским писателем И. М. Левиным, который был знаком с Ремизовым. Ср. запись В. П. Никитина от 5 ноября 1950 г.: «А<лексей> М<ихайлович> <...> говорил мне о Левине, Иос<ифе> Мих<айловиче>, кот<орый> в 1921 г. в Чите издал со своими иллюстр<ациями> Тибетские сказки А. М-ча» (цит. по: *Звезда надзвездная-Росток XIV*. С. 674). На обложке экземпляра, подаренного жене, Ремизов записал: «Эта книга издана в Чите, в Дальневосточной Республике и цена ей 25 к. золотом. Редчайшее издание. Такой один экземпляр перед самым нашим отъездом Ерошин прислал мне из Сибири, а гонорара так и не дождался. / С этой книгой связано наше ожидание: что решит наша судьба — останемся в Петербурге или уедем. И уехали» (цит. по: *Кодрянская 1959*. С. 151—152). Иван Евдокимович *Ерошин* (1894—1965) — русский советский поэт, журналист. Участник гражданской войны в Сибири.

На форзаце подаренного ей же экземпляра берлинского издания 1922 г. Ремизов надписал: «Эти заяшные сказки — я помню, впервые в Кречетниках читал Сергею <брат Ремизова. — *В. Б.*>. Это когда рука у тебя болела, деточка, лето 1916 г. Потом уж в <19>18-м году Порфирий Петрович Мироносицкий приходил на остров поправлять эти сказки для Игры ТЕО, а теперь они меня мучают — надо за них что-то отдавать! У меня нет забвения на долг свой, а долги других не помню никогда и не помнил никогда — это такое же свойство мое, как память твоя — дар Божий, наверное, очень жестокий — на всё. 12. VII. 1922. Scharlottenburg» (цит. по: *Волшебный мир Алексея Ремизова*. С. 22). *Мироносицкий Порфирий Петрович* (1867—1932) — магистр богословия, духовный композитор, литургист; редактор журнала «Народное образование». В 1918—1919 гг. работал в Театральном отделе Наркомпроса.

В «непериодическом издании» Театрального отдела Наркомпроса «Игра» анонимный автор в заметке «О тибетских сказках А. М. Ремизова» отмечал: «Из сообщенных тибетским ламою сказок внимание русского писателя А. М. Ремизова привлекли пять сказок, принадлежащих к разряду сказок о животных. Сказки эти отличаются особенностями, свойственными всем вообще сказкам т<ак> наз<ываемого> животного или звериного эпоса: животные в них очеловечены и наделены теми же свойствами, что и человек. Отличительною особенностью тибетских сказок можно назвать только одну: хитростью и пронырливостью наделен в них не шакал, как у индусов, и не лиса, как у европейских народов, а заяц. Поэтому, несмотря на экзотичность своего происхождения, тибетские сказки носят общечеловеческий ха-

рактер и легко могут быть перенесены на любую почву. Именно это и сделал с ними А. М. Ремизов, перенеся их на русскую почву. / Произведенная А. М. Ремизовым работа приблизила сказки к русскому читателю, сделала их более доступными и более привлекательными для читателя сравнительно с точным, почти подстрочным переводом Г. Потанина. <...> По общему правилу, сказки о животных считаются особенно пригодными для детей младшего возраста. Тибетские сказки не составляют исключения. О мнимой жестокости некоторых мест этих сказок мнения могут расходиться. Нам кажется, что никакого вредного влияния на детей сказки эти оказать не могут, и смягчать их не стоит» (*Игра*. № 2. Ч. 1. С. 15, 17).

19 октября 1956 г. Ремизов писал Д. А. Соложову: «В Н. Р. С. <Новое русское слово. — *В. Б.*> после рассказов о [*нрзб*] ничего не было и ничего не писал. Когда наберусь сил, сделаю. Тибетские сказки о зайце» (Вестник русского христианского движения. 1977. № 2 (121). С. 285). Вероятно, в непрочитанных словах речь шла о кабильских сказках, опубликованных в *НРС* летом 1956 г.

В 1991 г. в Москве вышла книга Ремизова «Докука-сказка “Заяц”: Тибетские сказки» (предисл. Н. Листиковой, послесл. Л. Барыкиной; см. С. 3—4, 28—30). История ее такова. Журналист-международник Владимир Большаков рассказал о том, что в августе 1990 г. его парижская знакомая Марина Юрьевна Дориомедова, дочь Юрия Дориомедова, которого лично знал Ремизов, поведала об одной важной находке. Ее двоюродная тетя Ирина Гржебина (1907—1994), дочь известного издателя, нашла в своем чулане коробку, в которой, помимо прочего, оказалась рукопись: «Алексей Ремизов. Докука-сказка “Заяц”. Тибетские сказки». «Мне, писал В. Большаков, — вскоре удалось без особых трудов уговорить в Москве издательство “Молодая гвардия” издать их отдельной книгой» (*Большаков В.* Кофе и круассан: Русское утро в Париже. М., 2015; гл. «Наша “диаспора”»). Состав рукописи и книги: 1. Заячья доля; 2. Овечий страх: (Заячий указ); 3. Верность: (Заяц добрый); 4. Разные зайцы; 5. Заячья губа: (Злой заяц); 6. Звериное дерево.

См. комм. к данному циклу И. Ф. Даниловой: *Докука и балагурье-РК II.* С. 690—701, Н. Ю. Грякаловой: *Звезда надзвездная-Росток IV.* С. 673—677. См. также раздел «Революция в Тибете: Ё» в книге И. Ф. Даниловой «Литературная сказка А. М. Ремизова (1900—1920-е годы)» (Helsinki, 2010. С. 164—171).

1. Заячья доля

Впервые опубликовано: Огонек. 1917. № 31. 13 авг. С. 485—486, под загл. «Заячья защита», 1-я в триптихе под общим загл. «Ё — Алексея Ремизова — *Тибетские народные сказки*».

Прижизненные издания: Ё: Заяшные сказки (Тибетские): Для рассказывания // *Игра*. С. 35—36, под загл. «Заячья защита», 1-я в цикле из шести сказок; *Заяшные сказки тибетские*. С. 1—3, под загл. «Заячья защита», 1-я в цикле из шести сказок; Ё: Тибетский сказ. Берлин: Рус. творчество, 1922. С. 7—10, под загл. «Созвал Бог всех зверей...»; *НРС*. 1957. 13 янв. № 15905. С. 2, 1-я в диптихе под общим загл. «Заяц: Сказ тибетский».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 63—65, под № I, без загл.; *Макет II НС*. Л. 117—117 об.; *МПП* (вырезка из *НРС*).

Текст-источник: *Потанин Г.* Тибетские сказки и предания // Живая старина. 1912 [1914]. Вып. II/IV. «Ронгу чжу». № 20. Булюк 6. С. 433—434 (отд. отт.: Пг., 1914).

С. 260. *...и там под колючку.* — Здесь в значении: колючий кустарник. В тексте Г. Н. Потанина: колючее дерево (*Потанин*. С. 434).

2. Заяц добрый

Впервые опубликовано: Воля страны. 1918. 28 янв. № 12. С. 2, под загл. «Заяц благодетель (Тибетская сказка)».

Прижизненные издания: Ё: Заяшные сказки (Тибетские): Для рассказывания // *Игра*. С. 37—42, под загл. «Заяц благодетель», 2-я в цикле из шести сказок; *Заяшные сказки тибетские*. С. 4—8, под загл. «Заяц-благодетель», в цикле из шести сказок; Ё: Тибетский сказ. Берлин: Рус. творчество, 1922. С. 14—23, под загл. «Жила-была старуха...»; *НРС*. 1957. 13 янв. № 15905. С. 2—3, 2-я в диптихе под общим загл. «Заяц: Сказ тибетский».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 68—78, под № 2, без загл.; *Макет II НС*. Л. 118—120 об.; *МПП* (вырезка из *НРС*).

Текст-источник: *Потанин Г.* Тибетские сказки и предания. № 19. С. 416—419, под загл. «Заяц (по-тиб<етски> ё)».

С. 261. *Вишневый клей* (камедь) — смола вишневого (а также сливового, черешневого и др.) дерева; применяется и как клеящее вещество.

С. 263. *А в том монастыре в Загорье как раз о ту пору чудил один, ~ и давай лупить.* — По мотивам данного эпизода Ремизовым позднее написан фрагмент главы «Цвофирзон» в книге «Мерлог» (см.: Минувшее: Ист. альманах. М.: Прогресс; Феникс, 1987. Вып. 3. С. 218; *Докука и балагурье-РК II*. С. 699—700).

С. 264. *Путь им лежал мимо часовни, там у святого камня понавешано было много всяких холстов и лоскутки шелковые — приношения богомольцев.* — Ср. в тексте Г. Н. Потанина: «Дорогой они проходили

мимо одной кумирни, в которой было навешано много пожертвованных шелковых материй» (*Потанин.* С. 417). *Кумирня* — небольшая языческая или буддийская молельня с идолами.

С. 265. *...буду волочить по земле веревку, а они пускай по следу за нами едут.* — Примеч. Г. Н. Потанина: «Оставляемый след на земной поверхности в виде черты как указание направления для следующих сзади...» (Там же. С. 419).

А жил на земле того царя Сембо, по-нашему чёрт... — В тексте Г. Н. Потанина: «Приходят в место, где жил *сембо*, дьявол» (Там же. С. 417; курсив Г. Н. Потанина).

...пускал поветрия... — здесь в значении: быстро распространяющаяся эпидемия.

...дернули на проводинах... — *Дернуть* — здесь в значении: выпить спиртного; *проводины* (устар., простореч.) — то же, что проводы.

С. 266. *...без оглядки лататы домой...* — *Задать лататы́* (устар., простореч.) — поспешно, опрометью убежать.

3. Разные зайцы

Впервые опубликовано: Лукоморье. 1917. № 7. 11 февр. С. 11—12, с подзаг. «Тибетская сказка».

Прижизненные издания: Россия в слове: Лит. прил. к газ. «Воля народа». 1917. № 3. 24 дек. С. [1], под загл. «Из заяшной книжки о разных зайцах ребятишкам на елку: Сказка тибетская»; Ё: Заяшные сказки (Тибетские): Для рассказывания // *Игра.* С. 43—47, 3-я в цикле из шести сказок; *Заяшные сказки тибетские.* С. 9—13, 3-я в цикле из шести сказок; *ПН.* 1922. 1 янв. № 526, под загл. «Подружились волк, обезьяна, ворона...»; Ё: Тибетский сказ. Берлин: Рус. творчество, 1922. С. 24—32, под загл. «Подружились волк, обезьяна, ворона...»; *НРС.* 1957. 27 янв. № 15919. С. 2, 1-я в диптихе под общим загл. «Заяц: Сказ тибетский».

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 79—87, под № IV, без загл.; *Макет II НС.* Л. 121—123; *МПП* (вырезка из *НРС*).

Текст-источник: *Потанин Г.* Тибетские сказки и предания. № 20. Ронгу чжу. Булюк 3. С. 426—429.

Критик непериодического сб. «Игра» одобрительно отозвался о ремизовской версии данной сказки: «Всякому читателю, вероятно, <...> будет ясно, как мастерски справился со своей задачею Ремизов, и как выиграла сказка от этой обработки. / Нам кажется, что в таком роде следовало бы обрабатывать однородный сырой материал всякому рассказчику, выступающему с устным “сказыванием” перед тою или иною аудиторией. Научиться этому искусству невозможно; единственно, что можно сделать в данном случае, это — изучать образцы

такой обработки. / Обработка А. М. Ремизова очень близка к своему первообразу. <...> Из записи Г. Потанина видно, что тибетский рассказчик был мастером устного рассказа. Сказка в его изложении всё время поддерживает интерес слушателей на должной высоте. В ней много движения, много интересных событий, и нет ничего лишнего, никаких длиннот. А. М. Ремизов, произведя некоторые вставки <...> тем самым подбавил в изложение красочности, не нарушив должной меры» (*Игра*. № 2. Ч. 1. С. 16).

С. 269. *...на загладку...* — сверх чего-либо, после всего, напоследок.

...садись у дворца на березу, да грамотку повесь на ветку и каркай. — Ср. в тексте Г. Потанина: «...сядь на дерево с хий-мори у царского жилища и каркай...» (*Потанин.* С. 426). Его примеч.: «Хий-мори — белый лоскут с написанными на нем молитвами и изображением лошади, вывешиваемый около жилищ на дереве или на специально водруженной мачте» (Там же).

С. 269—270. *...уж кое-как понадсадилась...* — То есть поднатужилась.

С. 270. *...у кого бок лупленный.* — То есть драный, ободранный.

4. Заячий указ

Впервые опубликовано: Огонек. 1917. 13 авг. № 31. С. 489—490, 3-е в триптихе под общим загл. «Ё — Алексея Ремизова — *Тибетские народные сказки*».

Прижизненные издания: Ё: Заяшные сказки (Тибетские): Для рассказывания // *Игра*. С. 48—49, 4-я в цикле из шести сказок; *Заяшные сказки тибетские*. С. 14—15, 4-я в цикле из шести сказок; Ё: Тибетский сказ. Берлин: Рус. творчество, 1922. С. 11—13, под загл. «Овца жила тихо-смирно...»; Литературная Россия: Сб. современной русской прозы. М., 1924. Вып. 1. С. 39—42, под загл. «Ё: Тибетский сказ» (фрагмент); *НРС*. 1957. 3 февр. № 15926. С. 2, в цикле под общим загл. «Заяц: Сказ тибетский».

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 65—68, под № II, без загл.; *Макет II НС*. Л. 123 об.—124; *МПП* (печ. текст *НРС*).

Текст-источник: *Потанин Г.* Тибетские сказки и предания. № 20. Булюк 4. С. 429—430.

С. 274. *Орлец* — небольшой круглый ковер с изображением орла, который парит над городом; элемент православного богослужения; стелется под ноги епископу в местах, где он находится во время богослужебных действий. Орлец символизирует небесное происхождение власти.

С. 275. *...обезьяний царь мою шкуру требует. <...> От царя обезьяньего Асыки...* — Имеется в виду придуманный Ремизовым мифологи-

ческий персонаж царь Асыка, возглавлявший Обезьянью Великую и Вольную Палату (Обезвелволпал). Подробнее об этом см.: «Обезьянья Великая и Вольная Палата»: Материалы фантастич<еского> общества. [1921—1950 дек. 15] // *ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 13; *Вашкелевич Х.* Канцелярист обезьяньего царя Асыки Алексей Ремизов и его Обезвелволпал // К проблемам истории русской литературы XX века. Краков, 1992. С. 41—50; *Обатнина Е. Р.* «Обезьянья Великая и Вольная Палата»: игра и ее парадигмы // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 185—217; *Докука и балагурье-РК II.* С. 697—698 (комм. И. Ф. Даниловой).

Сидит заяц на красной тряпочке, как на орлеце, в лапах красный чайный ярлычок. — См. комм. И. Ф. Даниловой (*Докука и балагурье-РК II.* С. 698—699).

5. Злой заяц

Впервые опубликовано: Огонек. 1917. № 31. 13 авг. С. 486—489, под загл. «Заячья губа».

Прижизненные издания: Ё: Заяшные сказки (Тибетские): Для рассказывания // *Игра.* С. 50—55, под загл. «Заячья губа», 5-я в цикле из шести сказок; *Заяшные сказки тибетские.* С. 16—20, под загл. «Заячья губа»; *ПН.* 1922. 1 янв. № 526, под загл. «Жил-был медведь...»; Ё: Тибетский сказ. Берлин: Рус. творчество, 1922. С. 14—18, под загл. «Жил-был медведь...»; *НРС.* 1957. 3 февр. № 15926. С. 2, в цикле под общим загл. «Заяц: Сказ тибетский».

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 87—94, под № V, без загл.; *Макет II НС.* Л. 124 об.—127; *МПП* (печ. текст *НРС*).

Текст-источник: *Потанин Г.* Тибетские сказки и предания. № 20. Булюк 5. С. 430—433.

С. 276. — *Очень просто: кар-гар! кар-гар! — закаркал ворон.* — Ср. в тексте Г. Н. Потанина ответ вороны: «Я бы кричала над ними: га! га! (т. е. карр! карр!)» (*Потанин.* С. 431).

С. 277. *...и коршун закричал по-коршуньи, в ушах засверлило.* — Ср. в тексте Г. Н. Потанина: «Я бы кричал над ними: сэрь! сэрь!» (Там же).

С. 277. *«Медведюшки, скажу, милые, ~ медвежатушки-косолапушки!»* — Ср. в тексте Г. Н. Потанина: «Я буду их гладить и приговаривать: вот придет ваша мать и принесет вам лакомых кусков» (Там же).

С. 278. *...копает гусиную лапку — коренья.* — Ср. в тексте Г. Н. Потанина: «Встречается зайцу человек, копающий *чжуму*» (Там же; курсив Г. Н. Потанина). Его примеч.: «*Чжума* — корни гусиной лапки, Potentilla anserina, которые жителями Тибета употребляются в пищу»

(Там же). *Гусиная лапка* (лапчатка гусиная) — многолетнее травянистое растение. Обладает лечебными свойствами.

С. 282. *...и так хохотал заяц — от хохота разорвалась губа.* — Ср. в тексте Г. Н. Потанина: «И так сильно хохотал, что у него рот лопнул» (*Потанин.* С. 433). Примеч. Г. Н. Потанина: «Это может быть намек на раздвоенную верхнюю губу у зайца» (Там же).

6. Звериное дерево

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 52. 25 дек. С. [15], с подзаг. «Тибетская статуэтка».

Прижизненные издания: Ё: Заяшные сказки (Тибетские): Для рассказывания // *Игра.* С. 56, 6-я в цикле из шести сказок; *Заяшные сказки тибетские.* С. 21; Ё: Тибетский сказ. Берлин: Рус. творчество, 1922. С. 42—43, под загл. «Четыре зверя сошлись у древа...»; *НРС.* 1957. 3 февр. № 15. С. 2.

Авторизованные тексты: *Макет II НС.* Л. 127 об.; *МПП* (вырезка из *НРС*).

Текст-источник: *Потанин Г.* Тибетские сказки и предания. № 14. С. 408, под загл. «Дерево Тунбачжи».

С. 282. *Так и живут четыре зверя! ~ ворон.* — Ср. концовку в тексте Г. Н. Потанина: «Поэтому и изображают этих животных одно стоящим на другом в таком порядке: внизу слон, на нем обезьяна, на ней заяц, а выше всех птица» (*Потанин.* С. 408). Его примеч.: «Так в металлических статуэтках; на рисунках же птица иногда рисуется сидящею на ветви стоящего рядом дерева» (Там же). В примеч. от редакции отмечено, что этот буддийский сказ «чрезвычайно распространен» и что «существуют многочисленные изображения» (Там же. С. 409).

СИБИРСКИЕ СКАЗКИ
Сибирский сказ

Впервые опубликовано: Сибирский пряник: Сказки. Пб.: Алконост, 1919, с посвящ. С. П. Ремизовой-Довгелло; обложка по эскизу А. Ремизова.

Прижизненные издания: Чакхчыгыс-Таасу: Сибирский сказ. Берлин: Скифы, 1922, с посвящ. С. П. Ремизовой-Довгелло.

Автографы и авторизованные тексты: «Сибирский пряник». — Беловой автограф и авторизованные печатные тексты. <1918> // *РГАЛИ.* Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 20; «Сибирский сказ»: «Люди и звери», «Китайская шапка» и др. сказки. — Беловой автограф с рисунками автора. 1940 // *РГАЛИ.* Ф. 420. Оп. 6. Ед. хр. 4; «Чакхчыгыс-Таасу», «Люди

и звери», «Белый ворон», «Три брата», «Волк». — Беловой автограф и машинопись. <1922> // *ЦРК АК.* Кор. 12. Папка 16; *Макет I НС.* Л. 101—127; *Макет II НС.* Л. 130—145.

В *Макет I НС* Ремизов под заглавием цикла отметил: «последняя редакция» (Л. 3). Впоследствии он изменил в нем последовательность текстов.

В сб. «Чакхчыгыс-Таасу» под текстами дата: «1917—1921 г.». Однако работа над сказками была начата еще в 1916 г. Так, 17 июня 1916 г. Ремизов уведомлял редактора еженедельного журнала «Огонек» В. А. Бонди: «Посылаю рукопись для Огонька, сказку Белого Ворона Максимилиану Станиславовичу Пропперу» (*РНБ.* Ф. 90. Ед. хр. 27. Л. 14). Вероятно, Ремизов ошибся: подразумевается *Станислав Максимилианович Проппер* (1855—1931), издатель «Биржевых ведомостей», приложением которых был «Огонек». Сказка в этом издании опубл. в № 32 за 1916 г.

В связи с «алконостовской» книгой Ремизов отвечал в рубрике «Вестника литературы» «Чем заняты наши писатели»: «В издании “Алконоста” “Сибирские пряники” — начало затеи моей написать большую книгу “Великая Сибирь”, куда бы вошли заветные сказки сибирских народов» (1919. № 8. С. 4). О том же Ремизов писал Горькому 14 апреля 1919 г., посылая ему этот сборник: «Встреча с представителями сибирских народов, их рассказы о чудесах бывалых и щедростях сказок осенили меня покорить Сибирь. Да не дубьем ермаковым, не плетью и палкой, а сибирской же чудесной и мудрой сказкой — создать такую книгу Великая Сибирь, где бы собрано было всё заветное и сама мудрость, сказанная сказкой, народами живущими (книга живая) и народами погибшими (книга мертвая). И живая и мертвая книги Великой Сибири должна быть книгой не для специалистов-ученых, не этнографическим сборником материалов, а сборником ясных и простых рассказов, которые прочтет всякий грамотный человек в вразумление и в удовольствие» (цит. по: *Крюкова А.* А. М. Горький и А. М. Ремизов: (Переписка и вокруг нее) // Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 206). Ср. также дарственную надпись Ремизова жене на форзаце книги «Чакхчыгыс-Таасу» (1922): «Сибирский сказ. <19>18-й год, помнишь, деточка, нашествие Китая — нашу поездку в буддийскую кумирню, я ведь тогда задумал книгу Великой Сибири, книгу живую и книгу мертвых, но Китай пропал, а без него — я думал (ждал), что в Уч<редительное> Собр<ание> съедутся все народы и через них я узнаю Сибирь. Алексей Ремизов. 12. VII. 1922. Scharlottenburg» (цит. по: *Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 22). Намерение это реализовать не удалось.

На титульном листе «Сибирского пряника» издания 1919 г. Ремизов надписал Серафиме Павловне: «Сибирский сказ — Петербург-

ский, с ним связана память о якуте и о буряте, которые тогда появились у нас на Острове, а издана в великих затруднениях в <19>19 году, когда и книги-то не выходили и писать невозможно стало. В самый темнющий год, доведший нас до Троицкой. Алексей Ремизов. 1923. Берлин» (цит. по: Там же. С. 20). С мая 1920 г. по август 1921 г. Ремизовы жили в Петрограде по адресу: ул. Троицкая, д. 4.

Рецензент журнала «Книга и революция» одобрительно отозвался о «Сибирском прянике»: «Несколько сказок восточно-сибирских инородцев — якутов, карагазов, манегров, чукчей — пересказаны Ремизовым с большим тактом, без лишней раскраски, словесной амплификации и всяческой “стилизации”. Такая простота тона не часто дается этому любящему мудрить и “чертить” писателю. Она внушает доверие и к самой точности его пересказов, а это доверие особенно нужно потому, что он пользовался чужими устными и еще не напечатанными сообщениями. <...> Поистине баснословной древностью и крепкой первобытной мудростью веет от этого эпоса вымирающих племен. “Малым ребятам”, впрочем, “Сибирский пряник” не по зубам, — он доступен только взрослому читателю» (*В. Т.* [Тишин В. Е.] [Рец.] // Книга и революция. 1920. № 5. С. 55).

Мих. Слоним так откликнулся на издание сборника «Чакхчыгыс-Таасу»: «“Чакхчыгыс-Таасу” – ряд небольших сибирских сказок. Большинство из них космогонического характера. Почти все очень любопытны не только как этнографический материал для изучения верований и мифов тунгусов и чукчей, но и как литературные произведения» (Воля России (Прага). 1922. № 20. С. 24).

Рецензент газ. «Накануне», подписавшийся криптонимом А. П., отметил: «А. М. Ремизов – прирожденный художник-фольклорист, явление редкое, приводящее иногда к курьезам – вроде “Песен Западных Славян” Проспера Мериме» — <...> “подлогу”, который ввел в заблуждение самого Пушкина. / “Чакхчыгыс-Таасу”, конечно, могло быть написано и по рецепту Мериме: для этого А<лексею> М<ихайловичу> хватило бы и фантазии, и красок, чему порукой, хотя бы, “Заяшные сказки”. Но, видно, у него не поднялось перо на такой трюк, как рука младшей дочери Говагир – на родную мать (“Люди и звери”). В этом бережном отношении к младенческому лепету почти первобытных людей, представителей вымирающих племен, из которых иные насчитывают человек полтораста – великая гуманность... <...> Рассмотренная в чудесный ремизовский микроскоп, эта поэзия дает пищу и для эстетического наслаждения, и для глубоких размышлений» (*А. П.* [Рец.] // Накануне. 1922. № 35. 9 мая. С. 6).

Об истории создания и публикации сибирских сказок, а также комм. к ним см.: *Докука и балагурье-РК II*. С. 673–677 (сост. И. Ф. Данилова), *Данилова Инга*. Литературная сказка Алексея Ремизова.

С. 158—164; *Вахненко Е. Е.* Рецепция и трансформация фольклорных сюжетов коренных народов Сибири в сказках А. Ремизова // Вестник Томского гос. ун-та. 2018. № 431. С. 19—28.

Люди и звери
Манегрская

Впервые опубликовано: Россия в слове: (Лит. отдел еженедельника «Воля народа»). 1918. № 7. С. 12.

Прижизненные издания: *Сибирский пряник*. С. 17—18, 6-я в цикле; *Чаkxчыгыс-Таасу*. С. 9—10.

Автографы и авторизованные тексты: «Люди и звери». — Автограф // *Amherst*. Box 12. F. 1b; дата: «1922»; *Макет I НС*. Л. 108; *Макет II НС*. Л. 132—132 об.

Текст-источник: «Сказка о происхождении манегров» (запись Д. К. Соловьева) // *РНБ*. Ф. 634. Ед. хр. 269.

С. 283. *Манегрская* — В примеч. к манегрским сказкам «алконостовского» издания Ремизов указал: «...манегры — народ тунгусского племени, охотники, когда-то оленные кочевники, кочуют на лошадях по правому берегу Зеи от Перы до Депа и от Перемыкина до Куматы, шаманисты. / В 1913 г., по свидетельству Дм. К. Соловьева, участника экспедиции в Амурскую область, манегров насчитывали 132 человека. / В основу положена "Сказка о происхождении манегров", безымянная сказка и "Как манегры порядок у себя завели" по записи Дм. К. Соловьева, а сказывал сказки Тудзё Учаткан, горбатый и хромой боё, на реке Депе» (С. 41—42). *Соловьев Дмитрий Константинович* (1886—1931) — русский охотовед, географ, путешественник. В 1910 и 1913 гг. совершил этнографические экспедиции на Дальний Восток, изучая жизнь орочей, нанайцев, эвенков и других народностей. Ремизов познакомился с ним весной 1918 г. 11 апреля того года Г. И. Лебедев сообщал писателю: «...к Вам собирается Дм. Соловьев, исследовавший манегров, карагисов, эрочей. Хочет поговорить относительно карагисских сказок и о многом другом» (*ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 5).

...и детей, что родились после, назвали Ойлягир. — Из этого же рода герой сказки «Китайская шапка» Касяки (см. с. 286—288).

Люди и звери, китайская водка и водяные
Манегрская

Впервые опубликовано: Россия в слове: (Лит. отдел еженедельника «Воля народа»). 1918. № 7. С. 13—14.

Прижизненные издания: *Сибирский пряник*. С. 19–21, 7-я в цикле; *Чакхчыгыс-Таасу*. С. 11–13.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 109–111, под загл. «Люди, звери и водяные»; *Макет II НС*. Л. 133–134.

С. 285. *Боё водку выпил...* — В примеч. к «алконостовскому» изданию Ремизов пояснил: «Боё — так сами себя называют манегры...» (С. 41).

...надо идти к богдо... — Имеются в виду богдойцы, маньчжуры, жившие в Восточном Тянь-Шане.

...в землю дауров. — *Дауры* — народ тунгусского племени, проживающий в северном Китае; представители его говорят на даурском языке, являющемся разновидностью монгольского.

С. 286. *...ни на нем ормуз, паголинков по-нашему...* — *Паголинки* — чулки без носков.

Китайская шапка
Манегрская

Впервые опубликовано: Россия в слове: (Лит. отдел еженедельника «Воля народа»). 1918. № 7. С. 12–13.

Прижизненные издания: *Сибирский пряник*. С. 22–26, 8-я в цикле; *Чакхчыгыс-Таасу*. С. 14–17.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 112–115; *Макет II НС*. Л. 138–141.

Текст-источник: «Как манегры порядок у себя завели». — Автограф (запись Д. К. Соловьева) // *РНБ*. Ф. 634. Ед. хр. 269.

С. 286. *...орочоны...* — *Орочоны, орочены* (от тунгусского оро или орон — домашний олень) — народ тунгусского племени, живущий в верховьях Амура и по его притокам.

...бирары и гольды... — *Бирары* — народ тунгусского племени, живущий в Амурском крае, главным образом в бассейне реки Бурей. Основной промысел — охота. *Гольды* — старое название нанайцев; народ тунгусского племени, живущий в Уссурийском крае на реках Амур и Уссури.

...рогатую пальму в руки... — *Пальма* — у сибирских народов древковое оружие односторонней заточки, большой нож на длинной рукояти, отдаленно напоминающий рогатину; использовалось чаще всего на охоте.

...умылся из родной Силирин-биры... — Возможно, подразумевается река *Бирá*, левый приток Амура.

С. 287. *Большие ноёны...* — *Ноён* (монг.) — господин, властелин, князь.

Белый ворон
Чукотская

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 32. С. [8—11].

Прижизненные издания: *Сибирский пряник.* С. 27—39, под загл. «Эйгелин», 9-я в цикле; *ПН.* 1922. 21 янв. № 542. С. 2—3; *Чакхчыгыс-Таасу.* С. 18—28.

Автографы и авторизованные тексты: «Белый ворон». — Автограф // *Amherst.* Box 12. F. 1b; дата: «1922»; *Макет I НС.* Л. 116—127; *Макет II НС.* Л. 142—152.

Текст-источник: Чукотская сказка // Живая старина. 1912 [1914]. Вып. II/IV. С. 495—502 (публ. И. П. Толмачева).

В тексте-источнике помещено следующее предисловие от редакции: «Записана И. П. Толмачевым во время Чукотской экспедиции 1909 года на Чукотском побережье Ледовитого океана со слов Д. А. Бережнова, колымского жителя, русского по происхождению, но с детства бывавшего много среди чукчей, язык которых он знает в совершенстве. В экспедиции он был переводчиком. Эту сказку он слышал летом 1909 года, живя, в ожидании прихода экспедиции, на складе в устье р. Чауна, от чукчи по имени Номульгин, кочующего на нижнем Чауне» (С. 495). Ср. примеч. Ремизова в «алконостовском» издании: «Ораведлат — так сами зовут себя чукчи — оленеводы и собаководы, живут от Берингова моря до реки Индигирки и от Ледовитого океана до рек Анадыра и Анюя, их около 6000 человек, шаманисты. / В основу положена сказка, записанная И. П. Толмачевым в чукотскую экспедицию 1909 г. на Чукотском побережье Ледовитого океана, а сказывал сказку Д. А. Бережнов, колымчанин русский, а ему сказал ее летом 1909 г. на складе в устье р. Чуана чукча Номульгин, кочующий на нижнем Чуане. / Запись И. П. Толмачева напечатана в Жив<ой> Стар<ине>, 1912 г.». У Ремизова неверное написание чукотской реки: нужно Чаун, а не Чуан. *Толмачев Иннокентий Павлович* (1872—1950) — геолог, географ, исследователь Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В первой публикации имя героя — Номульга.

Сравнительный анализ сказки и ее текста-источника см.: *Вахненко Е. Е.* Рецепция и трансформация фольклорных сюжетов коренных народов Сибири в сказках А. Ремизова. С. 22—23.

С. 289. *Говорит Эйгелин сестре...* — Имя Эйгелин упоминается в одной из чукотских сказок, записанных В. Г. Богоразом; ср. в его примеч.: «Эйгелин, так называемый "тойон оленных чукоч", называющий себя также чукотским королем» (*Богораз В. Г.* Материалы по из-

учению чукотского языка и фольклора, собранные в Колымском округе. Ч. 1. Образцы народной словесности чукоч. СПб.: Изд. Имп. Акад. наук, 1900. С. 391; № 147).

...десять пар обуток... — Примеч. И. П. Толмачева: «Здесь мягкие кожаные башмаки из оленьей шкуры (снятой с ног оленя)» (Там же).

Булат — клинок из особой узорочной стали высокой твердости.

На пути ему застава... — Застава — здесь в значении: преграда, препятствие.

Батас — большой (длинный) нож, тесак.

...впереди камень... — Примеч. И. П. Толмачева: «Слово камень в северной Сибири очень часто употребляется вместо слов гора или хребет» (С. 496).

С. 290. *И опять застава — яр...* — Здесь, вероятно, в значении: глубокий овраг, лощина.

С. 291. *...от шапки-малахая...* — Имеется в виду восточная шапка из кусков меха с большими ушами, иногда с меховым хвостом.

С. 292. *...прыгай прямо в теплый полог...* — И. П. Толмачев отметил, что «полог — внутреннее помещение в руйте, в виде небольшой палатки из оленьих шкур, в котором собственно и живет чукотская семья. Руйта же играет скорее роль крытого двора или амбара, где сохраняются все хозяйство и припасы семьи, а также в плохую погоду находят себе приют и собаки» (С. 498).

С. 293. *...а в руке ее нож, как серп, пекуль.* — По словам И. П. Толмачева, «пекуль — нож, употребляемый у чукчей исключительно женщинами. Он имеет форму более или менее правильного полумесяца с режущим выгнутым краем и с рукояткой, прикрепленной у середины вогнутого края. Это будет скорее режущая лопатка, напоминающая русскую сечку, чем нож в обычном смысле этого слова» (С. 498—499).

С. 294. *...померла и мертвая валялась в тундре, брошенная зверям и птицам.* — Примеч. И. П. Толмачева: «Чукчи обыкновенно вывозят своих покойников в тундру и бросают их здесь, на добычу хищным зверям и птицам» (С. 500).

...взял он бубен и начал камлать. — Камлать (от *сиб.* кам — шаман) — шаманить, ворожить, выкрикивать заклинания под удары бубна.

С. 295. *...и балок — возок крытый. — Бало́к* — в Сибири и на Дальнем Востоке передвижной чум, домик на полозьях.

...больно погодно. — То есть ненастно.

С. 296. *...чтобы помазаться свежей кровью — станет он венчаться.* — И. П. Толмачев пояснил, что у чукчей «новобрачных мажут свежей кровью при совершении брачной церемонии» (С. 501).

...а сверх покрыть бобрами и росомахами. — Примеч. И. П. Толмачева: «Росомахи и бобры очень ценятся чукчами, так что ввозятся на

чукотский полуостров: первые из Якутской области, вторые из Америки» (Там же).

Судьба
Карагасская

Впервые опубликовано: Россия в слове: (Лит. отдел еженедельника «Воля народа»). 1918. № 6. С. 16.

Прижизненные издания: *Сибирский пряник*. С. 14—15, 4-я в цикле; *Чакхчыгыс-Таасу*. С. 29—30; Наш огонек. 1925. № 36. 5 сент. С. 2, под загл. «Волк», в диптихе «Карагасские сказки», вместе со сказкой «Три брата».

Автографы и авторизованные тексты: «Волк». — Автограф // *Amherst*. Box 12. F. 1b; дата: «1922»; *Макет I НС*. Л. 106—107, под загл. «Волк»; *Макет II НС*. Л. 153—154.

С. 297. *Карагасы*, отметил Ремизов в примеч. в сб. «Сибирский пряник» в связи с карагасскими сказками, — «отуреченный народ самоедской ветви угро-финского племени, охотники, живут в Саянских горах по рекам — Оке, Уде, Бирюсе и Кану, крещеные шаманисты. / Насчитывают карагас до 405 человек. / В основу положены сказки, записанные Дм. К. Соловьевым: “Откуда происходят карагасы” и “Карагасы должны промышлять”. А сказывал сказки — и “хорошую” и “нехорошую” — Николай Савельич, по прозвищу Тутарь, одноглазый старик карагас — глаз олень ему выбил, а лет ему за восемьдесят» (С. 41). В архиве Ремизова сохранились записи этих карагасских сказок, сделанные рукой Августа Гансовича Леппа и датированные 1917 г. (*РНБ*. Ф. 634. Ед. хр. 268). А. Г. Лепп работал в Саянах в 1914—1916 гг. под руководством Д. К. Соловьева.

А был этот волк сама судьба... — В карагасских сказках волк нередко является помощником, благодетелем человека.

Три брата
Карагасская

Впервые опубликовано: Россия в слове: (Лит. отдел еженедельника «Воля народа»). 1918. № 6. С. 16.

Прижизненные издания: *Сибирский пряник*. С. 16, 5-я в цикле; *Чакхчыгыс-Таасу*. С. 31; Наш огонек. 1925. № 36. 5 сент. С. 2, в диптихе «Карагасские сказки», вместе со сказкой «Волк».

Автографы и авторизованные тексты: «Три брата». — Автограф // *Amherst*. Box 12. F. 1b; дата: «1922»; *Макет I НС*. Л. 105; *Макет II НС*. Л. 155.

Ср. близкую по сюжету карагасскую сказку, записанную Н. Ф. Катановым: «Место, где нашлись и откуда вышли Карагасы кости <ро-

да. — *В. Б.*> Чо́гду, было у реч<ки> Обугé, протекающей возле казарм (бывшего Удинского форпоста). Было там 3 брата. Один из братьев сделался карагасом кости Кара Чо́гду, другой — кости Чо́гду и третий — дедушкою (медведем). Живя так, дедушка плел сеть. Осердившись, (дедушка) бросил свою сеть на дерево. Потом, ставши зверем и ушедши, он расстался. Затем те братья стали жить. Теперь один из их (потомства) — Чо́гду, а другие — Кара Чо́гду» (*Катанов Н. Ф.* Поездка к карагасам в 1890 году. СПб.: Паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1891. С. 87). Ср. также другую версию сказки: «Дедушка (медведь) был прежде человеком, имевшим младшего брата. Оба брата владели массами озер, происшедших от одного большого озера. Они (братья) рассорились. Младший брат стал Туба (Карагасом) кости Чо́гду, а старший брат стал дедушкой (медведем)» (Там же. С. 67).

С. 298. *И там в лесу обернулся медведем.* — Медведь у карагасов почитался как культовое животное. Ср. в рабочей тетради XII Ремизова запись от 30 ноября 1956 г.: «О медведе говорят “Он”, в сказках-воспоминаниях рассказывается о детях человека — от медведя — якутские сказки. Медведю известны тайны природы, от человека скрытые. Человек был тесно связан с медведем — тут тайна близости: человек и медведь» (цит. по: *Грачева А. М.* Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—1950-е годы). СПб., 2010. С. 382).

...обернулся в корень медвежий. — Вероятно, имеется в виду чайный (красный) корень, излюбленное лакомство медведей, отчего получил народное название «медвежий корень».

Стожары
Якутская

Впервые опубликовано: Россия в слове: (Лит. отдел еженедельника «Воля народа»). 1918. № 6. С. 15.

Прижизненные издания: *Сибирский пряник.* С. 11—12, 2-я в цикле; *Чакхчыгыс-Таасу.* С. 32—33.

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 101—102; *Макет II НС.* Л. 156—157.

О трех якутских сказках («Крот и королек», «Стожары», «Серкен-Сехен») Ремизов в сб. «Сибирский пряник» сделал такое примеч.: «Сакха — так сами себя называют якуты — народ турецко-татарского племени, скотоводы, живут по Лене-реке и ее притокам, и по Яне-реке, и по Колыме-реке до Ледовитого океана, крещеные шаманисты. / По Памятной книжке Якутской области к 1 января 1909 г. якутов числилось до 242000 человек. / В основу положены: сказка, сказание и сказ,

которые передал мне ученый сакха Семен Андреевич Новгородов с Татты-реки, притока Алдана» (С. 41). *Новгородов С. А.* (1892—1924) — якутский просветитель, лингвист, один из создателей якутской письменности, собиратель фольклора. См. о нем: *Дмитриев С. К.* Жизнь и деятельность С. А. Новгородова: (Из истории создания якутской письменности и печати). Якутск, 1960.

С. 298. *Стожары* — народное славянское название звездного скопления в созвездии Тельца; другое название — Плеяды. Используется также наименование «Семь сестер» (в честь семи сестер-нимф, Плеяд древнегреческой мифологии: Альционы, Майи, Электры и др.).

...старому шаману Кремню. — В сб. «Сибирский пряник» шаман носит имя Чакхчыгыс-таасу, что в переводе на русский язык означает «Трескучий камень» (С. 11). Так по-якутски Ремизов назвал сборник сибирских сказок 1922 г.

...месяца Сосны... — По-якутски бэс ыйа — месяц Сосны; означает июнь.

...на Купалу... — См. комм. к с. 179.

...шаман начал камлать. — См. комм. к с. 294.

С. 299. *А сам надел волчью доху... — Дохá* — шуба из шкур мехом внутрь и наружу.

Проух — дыра, проем, отверстие.

Брязг — брезжание, бренчание, резкий, звонкий стук.

...указывая на хлевное окно... — то есть окошко в хлеву, помещении для домашнего скота.

Огниво — приспособление для получения искр, огня; использовалось вплоть до XIX в.

Серкен-сехен
Якутская

Впервые опубликовано: Россия в слове: (Лит. отдел еженедельника «Воля народа»). 1918. № 6. С. 15—16.

Прижизненные издания: *Игра*. № 2. Ч. 2. С. 26, с подзаг. «Песенка Рубабы к сказке “Алинур”» (имеется в виду пьеса-сказка в 3 действиях Вс. Э. Мейерхольда и Ю. М. Бонди: Пролог, картина 2); *Сибирский пряник*. С. 13, 3-я в цикле; *Чакхчыгыс-Таасу*. С. 34.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 104; *Макет II НС*. Л. 158.

С. 299. *Кушак* — широкий матерчатый пояс.

С. 300. *...посох — костяная трава...* — Возможно, имеется в виду костяника — многолетнее травянистое растение.

Росстань — см. комм. к с. 129.

Брылы — губы.

...дедко / серкен-сехен! — Ср. об этимологии этого мифологического персонажа: «В образе Серкен-сехена писатель представил контаминацию двух популярных персонажей якутского фольклора: мудрого старца Сээрккээн Сэсэна, советчика и наставника богатырей, героя народного эпоса олонхо, и шамана, прорицателя, медиатора между людьми и богами. В якутской культурной традиции эти образы несоединимы: Сээрккээн Сэсэн (Прекрасный повествователь) — мифологический герой древних сказаний, старец-мудрец, предсказатель судеб, бог мудрости и знания, тогда как шаман — реальный человек, наделенный свыше духовной силой... <...> в результате создается сказочный дедко Серкен-Сехен происхождением от царицы Тынгырыын (выдуманный писателем образ), из рода Одун — ревущий (в героическом эпосе олонхо Одун Хаан однозначно признается как Бог судьбы; мужское имя Одун в якутской традиции буквально переводится как “молить Бога”). Таким образом, в тексте Ремизова создается образ сказочного героя, а также сохраняются черты сказа, колыбельной песни и сказки» (*Вахненко Е. Е.* Рецепция и трансформация фольклорных сюжетов коренных народов Сибири в сказках А. Ремизова. С. 22).

Крот и королек
Якутская

Впервые опубликовано: *Сибирский пряник.* С. 9—10, под загл. «Про крота и птичку», 1-я в цикле.

Прижизненные издания: *Чакхчыгыс-Таасу.* С. 35.

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 103, под загл. «Крот»; *Макет II НС.* Л. 159.

С. 301. *...кровавый королек. — Королек* — мелкая певчая птица отряда воробьиных. Самая маленькая птица в России. Выделяется желтым или оранжевым хохолком на головке.

КАВКАЗСКИЕ СКАЗКИ
Лалазар
Кавказский сказ

Впервые целиком опубликовано: *Среди мурья.* С. 161—185.

Прижизненные издания: *Ремизов А.* Лалазар: Кавказский сказ. Берлин: Скифы, 1922, с посвящ. С. П. Ремизовой-Довгелло; дата: 1914—1922; «обложка работы автора».

Авторизованные тексты: «Среди мурья». — Наборная рукопись с авторской правкой <1916> // *ГЛМ*. Ф. 156. РО 3687; «Кавказский пряник». — Авторизованные печ. тексты <1918> // *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 11; *Макет I НС*. Л. 130—142 об.; *Макет II НС*. Л. 154—166.

В примечании к сб. «Среди мурья» Ремизов отметил: «Все шесть сказок сообщил мне Николай Андреевич Чернявский... <...> Благодарю его за сообщения» (С. 230). *Николай Андреевич (Колау) Чернявский* (1893—1945) — приятель Ремизова, поэт, переводчик, собиратель русского и кавказского фольклора. См. о нем: *Докука и балагурье-РК II*. С. 705 (комм. И. Ф. Даниловой): *Данилова Инга*. Литературная сказка А. М. Ремизова. С. 154—155.

На стадии подготовки книги в берлинском изд-ве «Скифы» Ремизов 22 июня 1922 г. сообщал жене: «Подняли меня спозаранку: корректура “Кавказских сказок” [Лалазар]. К Шрейдеру в субботу в $^1/_2$ 2-го отнесу обложку (из “яичных” красок)...» (Литературный факт. 2018. № 8. С. 21). Имеется в виду ремизовский эскиз обложки для книги «Лалазар». Подробнее об этом см.: Там же. С. 38 (комм. Е. Р. Обатниной). *Шрейдер* Александр Абрамович (1895—1930) — философ; один из лидеров партии левых эсеров. С 1921 г. — в эмиграции; был в числе создателей и руководителей левоэсеровского изд-ва «Скифы».

Сборник кавказских сказок под названием «Кавказский чурек» Ремизов подготовил для изд-ва С. М. Алянского «Алконост» в 1919 г. Замысел реализовать не удалось. Позднее, 7 октября 1922 г., он на экземпляре «Лалазара» сделал такую дарственную надпись С. П. Ремизовой-Довгелло: «Как я мечтал, деточка, издать эту книгу в России в <19>19-м году. Всё было собрано, стали набирать и когда набор кончили, вышло постановление, типографию реквизировали и всё пропало. Так мне передавал Алянский судьбу “Чурека” — это предполагаемое название теперешнего Лалазара. / Обложка произошла от пасхального яйца: красили яйца; из краски на бумагу клали — краски расплывались и выходили цветы — весенний цвет Лалазара» (цит. по: *Волшебный мир Алексея Ремизова*. С. 22).

Критик газ. «Жизнь искусства», подписавшийся псевдонимом Es, негативно отозвался о сб. «Лалазар»: «Большой писатель, один из своеобразнейших русских беллетристов и редчайший знаток языка, Алексей Ремизов за последнее время настойчиво пошел по той тропинке, что и раньше часто совлекала его с проселочного большака его удивительного творчества. Эта тропинка — мелкие побасенки, сказочки-складочки, поигрунки и прибаутки. В русском сказе эта форма убедительна, законна, естественна, часто неотвратима. Но для Ремизова теперь, к несчастью, она становится привычной и потому докучной, навязчивой. Кавказский сказ — армянские и грузинские сказочки —

оставляют такое именно впечатление. Даже не армянские анекдоты в пересказе московской просвирни. А так просто: скучно» (Жизнь искусства. 1922. № 34. 30 авг. С. 2). Напротив, анонимный рецензент газ. «Время» в кратком отзыве одобрил книгу: «Мастер слова, Алексей Ремизов в сфере народных сказок неподражаем. Ему сродни душа сказки, простая, ясная, безыскусственная, не тронутая духом времени. Наивная, детская душа. / Кавказские сказки выдержаны в тонах. На них грустный матовый налет востока. И люди востока, и душа востока. И медлительная, спокойная, не замутненная никаким чуждым веянием, светлая и глубокая, как озерная гладь, речь востока» (*Б. п.* О книгах [Рец.] // Время. 1922. 6 нояб. № 225. С. 3).

См. комм. к данному циклу И. Ф. Даниловой: *Докука и балагурье-РК II.* С. 701—704.

Лалазар (перс.) — золотой тюльпан.

Золотой столб
Армянская

Впервые опубликовано: Золотой столб: Сказка // Невский альманах жертвам войны: Писатели и художники. Пг., 1915. С. 64—66.

Прижизненные издания: *Среди мурья.* С. 161—164; *Лалазар.* С. 9—12.

Автографы и авторизованные тексты: Золотой столб. — Беловой автограф (наборная рукопись с авторской правкой для «Невского альманаха») // *ИРЛИ.* Ф. 377. Оп. 3. Ед. хр. 590 (там же корректура этого издания с авторской правкой); *Макет I НС.* Л. 130—131 об.; *Макет II НС.* Л. 154—155 об.

Сказка написана в 1914 г. В первой публикации Ремизов сделал такое примеч.: «В основу положена армянская народная сказка. Мне ее передал Н. А. Чернявский, а ему сказывал Аршак, сторож в Бакурьянах (Красная церковь), толмачом был сын священника Валериан Иасонович Лобадзе» (С. 64).

Ср. в дарственной надписи Ремизова жене в книге «Лалазар», датированной 7 октября 1922 г.: «Вл. Мих. Зензинов заметил Тер-Погосяну: почему армянские сказки все глупые. А я скажу (я так и сказал), самая проникновенная — армянская Столб золотой и Саркси-Шун» (цит. по: *Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 22). *Зензинов Владимир Михайлович* (1880—1953) — политический деятель, член партии эсеров; журналист.

С. 302. *...на Благовещение...* — Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется 7 апреля (25 марта по ст. ст.).

...потом под Пасху... — Воскресение Христово — переходящий праздник. Отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

...на Рождество. — Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по ст. ст.).

...в Ильин день разразилась гроза... — День памяти почитаемого св. пророка Илии (Ильи-Громовержца) отмечается 2 августа (20 июля по ст. ст.).

С. 303. *Колдобина* — выбоина на дороге.

С. 305. *Так и запроторил.* — *Запроторить* (диал.) — затерять, запрятать и позабыть, куда спрятал.

...до табора не доехали... — *Табор* — здесь: лагерь, стан.

Саркси-шун
Армянская

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 20. С. [1—2], под загл. «Шун-Саркиси (Грузинская)», 1-я в цикле «Лясы».

Прижизненные издания: *Среди мурья.* С. 179—180, с подзаг. «Грузинская»; *Лалазар.* С. 13—14.

Авторизованные тексты: *Макет I НС.* Л. 132—132 об.; *Макет II НС.* Л. 156—156 об.

Сказка написана в 1915 г. В примечании к первой публикации в «Огоньке» Ремизов отметил: «Сказывал иеромонах Крестового монастыря (Джварис-Сагдари) Иларион» (С. [3]). В примеч. в сб. «Среди мурья» добавлено: «Записал Н. А. Чернявский. “Шун” — пес. “Сурб” — церковь» (С. 230).

По поводу этой сказки Ремизов писал Н. А. Чернявскому 9 января 1916 г.: «Шун-Саркси (не армянская, а грузинская, сложенная в насмешку над армянами)» (*РНБ*. Ф. 634. Ед. хр. 235. Л. 2).

В дарственной надписи жене в книге «Лалазар» Ремизов отметил: «В Саркси-Шуне — вера и по вере всё и радость, по которой красен мир» (цит. по: *Волшебный мир Алексея Ремизова.* С. 22).

С. 306. *Лясы* (простореч.) — болтовня. Ср. крылатое выражение: «Лясы точить», то есть вести бессмысленные разговоры, болтать попусту.

Царь Нарбек
Армянская

Впервые опубликовано: Аргус. 1915. № 6. С. 9—22, под загл. «Царь Нарибег: Кавказская сказка».

Прижизненные издания: *Среди мурья*. С. 165—171, под загл. «Царь Нарибег: Кавказская сказка»; *Лалазар*. С. 15—22.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 133—136 об.; *Макет II НС*. Л. 157—160 об.

Сказка написана в 1915 г. См. примечание Ремизова в сб. «Среди мурья»: «Сказывал старший стражник Сергей Матвеевич Долмазов, крестьянин селения Коды. Записал Н. А. Чернявский. “Раши” — конь волшебный» (С. 230).

С. 307. *Лань* — разновидность оленя средних размеров; олень значительно крупнее лани.

С. 308. *Млявый* — расслабленный, вялый, усталый.

С. 310. *...сам царя лает...* — то есть ругает.

С. 311. *Кишмиш* — группа сортов винограда с ягодами без косточек.

...шла гульба до третьих петухов... — то есть до восхода солнца, до рассвета.

...хорасанская шашка... — шашка, сделанная персидскими оружейными мастерами в провинции Хорассан.

Под павлином
Грузинская

Впервые опубликовано: Огонек. 1915. № 35. 30 авг. С. [1—3], с подзаг. «Кавказская сказка».

Прижизненные издания: *Среди мурья*. С. 172—178; *Лалазар*. С. 23—29.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 137—140; *Макет II НС*. Л. 161—164.

Сказка написана в 1915 г. В первой публикации в «Огоньке» Ремизов сделал следующее примеч.: «В основу положена грузинская сказка, рассказанная бывшим псаломщиком Сионского собора (Тифлис), духанщиком, устою (ремесленником) Леваном Пхавадзе, а рассказана сказка в Крестовом монастыре (Джварис Сагдари), где жил и помер Мцыри Лермонтова, а записал сказку гардемарин Иван Степанович Исаков» (С. [1]). В примеч. в сб. «Среди мурья» добавлено: «“Какаби и хохоби” — горная курочка и петушок. Ср.: А. Н. Афанасьев. Русские народные сказки, под ред. А. Е. Грузинского. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1914 г. Т. IV. № 158; Н. Е. Ончуков. Северные сказки. Записки Имп. Рус. Географ. Общ. по отдел. этногр. XXXIII т. СПб., 1908 г. № 80» (С. 230). В сборнике Н. Е. Ончукова имеется в виду сказка Олонецкой губ. «Оклеветанная сестра» (С. 219—222; запись А. А. Шахматова).

Сюжет сказки близок сюжету пушкинской «Сказки о Царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

С. 318. *...какаби и хохоби — петушка да курочку... — Какаби* (груз.) — куропатка. *Хохоби* (груз.) — фазан.

...и таланную... — то есть счастливую, удачливую.

Мтеулетинские камни
Грузинская

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 20. С. [2], 2-я в цикле «Лясы».

Прижизненные издания: *Среди мурья*. С. 181—182; *Лалазар*. С. 30—31.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 140 об.—141; *Макет II НС*. Л. 164 об.—165.

Сказка написана в 1915 г. В примечании к первой публикации в «Огоньке» Ремизов отметил: «Со слов Ваньки Праведникова, которому сказывал русский техник в Гудауре, по Военно-Грузинской дороге, тридцать лет живущий там» (С. [3]). В примеч. в сб. «Среди мурья» добавлено: «Записал Н. А. Чернявский. “Михако” — Михайла» (С. 320).

С. 318. *Мтеулетинские камни — Мтеулети, или Мтиулети* (груз.; букв.: горная страна) — историческая область в восточной Грузии на южных склонах Большого Кавказа.

...ни зверю прорыску... — Проры́ск — вероятно, от глагола «прорыскать» — пробе́гать, провести какое-то время в движении, в поисках чего-либо.

Беков мед
Татарская

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 20. С. [2—3], 3-я в цикле «Лясы».

Прижизненные издания: *Среди мурья*. С. 183—185; *Лалазар*. С. 32—34.

Авторизованные тексты: *Макет I НС*. Л. 141 об.—142 об.; *Макет II НС*. Л. 165 об.—166 об.

В примечании к первой публикации в «Огоньке» Ремизов отметил: «Сказывал гардемарину Ивану Степановичу Исакову и прапорщику Его Величества Драгунского Нижегородского полка Павлу Андреевичу Чернявскому (†14/I 1916 г.) помещик Пири-Рустамов

в Караязах (Тифлисской губ., Тифлисского уезда» (С. [3]). Ср. более позднее примеч. в сб. «Среди мурья»: «Сказывал помещик Пири-Рустамов в Караязах (Тифлисской губ. Тифлисского уез.). Записали гардемарин Иван Степанович Исаков и прапорщик Его Величества Драгунского Нижегородского полка Павел Андреевич Чернявский (9 IX 1895 – 14 I 1916 г.). Павел Андреевич заходил ко мне нынче осенью в день производства своего в прапорщики, только что вернулся с войны и с Георгием, и с первого взгляда и слова очень полюбился мне, и после я всё вспоминал его и рассказывал о нем, какой он прекрасный. Окна вставлял я на зиму, с замазкой возился, помогал мне вместе с братьями своими Игорем Андреевичем и Николаем Андреевичем. И не могу я постигнуть, как это всё вышло, и тужу и жалею о его смерти» (С. 230–231).

С. 320. *Бек* – дворянский титул у некоторых народов Ближнего Востока и Средней Азии.

Мацони – распространенный на Кавказе кисломолочный напиток.

Шайтан – сатана, представитель злых духов, способный принять человеческий облик.

С. 321. *...чивит...* – то есть издает звуки, похожие на воробьиные.

БЫК-КОРОВА
Тюремная поэма

Автографы и авторизованные тексты: *Алексей Ремизов*. Бык-Корова. <Наборная рукопись>. – Авториз. печ. текст, беловой автограф с правкой. «1900–1913; Charlottenburg 1922» // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 178. 38 л.

Печатается по наборной рукописи, оформленной в виде авторского макета для издания в 1923 г. с сохранением вариантов авторских написаний, орфографии, пунктуации и с исправлением опечаток.

Самодельный макет несостоявшегося издания поэмы помещен Ремизовым под обложку темного картона с надписью красными чернилами на специальной наклейке: «Алексей Ремизов / Бык-Корова». Здесь же снизу имеется надпись карандашом рукой переводчика Д. А. Уманского с указанием адреса писателя в Париже, по которому он проживал с 27 сентября 1923 г. по 25 февраля 1924 г.: «Paris XVI Chardon-Lagauche, 59» (обстоятельства появления этой пометы на рукописи см. ниже на с. 613–614). На титульном листе рукописной книги расположена другая наклейка с надписью красными чернилами: «Алексей Ремизов / Бык-корова / Тюремная поэма / Изд. / Берлин / 1923». На авантитуле также красными чернилами повторено название

поэмы — «Бык-Корова». Внешний корешок макета образован из наклеенной широкой полоски оберточной голубой бумаги с белыми звездами.

Макет объединил «Вступление» («Высокое солнце, ты высоко плаваешь...») и три главы («В секретной», «По этапу», «Полунощное солнце»), из которых все, кроме второй главы, представляют собой беловой автограф, написанный на склеенных в тетрадный блок листах линованной бумаги размером 33,0 × 21,0 см. Текст автографа сопровождается авторской незначительной правкой. Вторая глава («По этапу») представлена в макете в виде печатных страниц, изъятых из второго тома Сочинений писателя (СПб.: Шиповник, 1910), с внесенной авторской правкой и вставками. В целом рукопись в составе макета снабжена авторской разметкой текста цветными карандашами, а также единичными пометами на немецком языке некого издательского сотрудника, отметившего структурное оформление предполагаемой книги: «Titel; Schmutztitel; freie Seite; neue Seite».

Главы поэмы «Бык-Корова» корреспондируются с произведениями, созданными в 1896—1903 гг. (подробнее см. историю создания и первых публикаций: *Оказион-РК III*. С. 598—610). Это два тематических корпуса: первый из них под названиями «Белая башня (В плену)» и «В плену», который в ранних редакциях включал варианты главы «В секретной» и повествовал о тюремном заключении и арестантском пути лирического героя в северную ссылку. Второй корпус содержал стихотворения в прозе, посвященные природе и мифологическому бестиарию Зырянского края, а также этюды из жизни ссыльного в Усть-Сысольске. Они публиковались под названиями «Полунощное солнце», «По весне северной», «В царстве полунощного солнца», а также в письмах Ремизова 1903 г. условно именовались как «Зырянский мир». В 1903—1912 гг. все названные тексты претерпели многократное редактирование, зафиксированное печатными публикациями (см. перечень источников и прижизненных публикаций, соотносимых с содержанием поэмы «Бык-Корова»). Переработка осуществлялась на разных уровнях совершенствования писательского мастерства начинающего писателя, таких как преобразование метрической организации повествования в прозаическую, усложнение метафорической палитры, а также объединение отдельных циклов в составе более крупной литературной формы (поэма, повесть).

Авторская карандашная датировка («1900—1913»), проставленная в конце поэмы «Бык-Корова», имеет, на наш взгляд, две шкалы исчисления. Одна из них — текстологическая — очевидно, указывает на период, в течение которого были созданы начальные редакции и варианты вступления, первой и третьей главы и произведена последняя переработка 1913 г. Согласно трем авторским указателям «Времен-

ник I», «Временник II» и «Азбуковник», отражающим даты создания и хронологию первых публикаций в периодической печати произведений, написанных до 1912 г. (*Шиповник 8*. С. 291—304), самым ранними по времени создания в рукописи «Бык-корова» являются фрагменты, соотносимые с главой «В секретной» из «В плену». Начало этой работы Ремизов датировал 1900 г. Последним в истории публикаций текстов, вошедших в поэму, стал фрагмент «А как с Волги до Поморья ~ А кто ждал его видел» (часть 6 гл. «В секретной»), впервые напечатанный в 1908 г. под названием «Светло-Христово Воскресение». Только в 1913 г. этот текст был приобщен к корпусу текстов, посвященных тюрьмам и ссылкам, которые после значительной переработки составили содержание будущей поэмы «Бык-Корова».

Другая шкала исчисления, благодаря которой возникла датировка «1900—1913», — автобиографическая, согласно которой в 1900 г. началась усть-сысольская ссылка, а в 1913 г. исполнилось десять лет со времени окончания в 1903 г. пребывания писателя «в плену». Содержание поэмы «Бык-Корова» опирается на несколько сюжетов, связанных с повторным (после ссылки в Пензу с 20 декабря 1896 г. по октябрь 1897 г.) осуждением Ремизова за подпольную революционную деятельность (подробнее см.: *Грачева 1993*; *Соболев А. Л. 2013*), когда он был отправлен под гласный надзор полиции на три года в город Усть-Сысольк Вологодской губернии. По своей композиции поэма повторяет повесть «В плену», которая после многократных переработок в окончательной редакции была опубликована во втором томе Сочинений писателя (*Шиповник 2*) с дополнением стихотворений, ранее включенных в поэму «Северные цветы» (*Чортов лог и Полунощное солнце*). Историю создания «Северных цветов» см.: *Оказион-РК III*. С. 598—609. Характерным отличием рукописи 1913 г. от предшествующего литературного опыта, является возвращение к повествовательной форме от первого лица и значительное упрощение, если не сказать, примитивизация стилистической манеры, которая как будто фиксирует авторское «Я» еще молодого писателя. В этом смысле не исключено, что в 1913 г. Ремизов воспользовался самыми ранними набросками к своим произведениям 1900—1903 гг.

Создание белового автографа трех частей будущей поэмы (вступления, первой и третьей главы) в 1913 г. косвенно подтверждается характерной для 1912—1913 гг. манерой Ремизова оформлять наборные рукописи, выделяя красными чернилами начальные буквы первых строк в главах и подглавках, а также цифры, разделяющие главу на части. Кроме того, выбранная для рукописи линованная бумага по размеру и качеству корреспондируется с другими автографами писателя, относящимися к 1913 г. В частности, аналогичная бумага обнаружена в рукописном альбоме Ремизова, начатом в 1913 г. и содержа-

щем его итинерарий а также выборочную переписку за 1913–1919 гг. (*ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 6).

Вторая карандашная датировка — «Charlottenburg 1922», поставленная Ремизовым в конце поэмы, обращена к берлинскому периоду творчества писателя. Известно, что, экстренно покидая Петроград 5 августа 1921 г., Ремизов не имел возможности взять с собой личный архив (подробнее об условиях отъезда см.: *Обатнина Е. Р.* Этюды к творческой биографии А. М. Ремизова: начало эмиграции, 1921–1922 гг. // Литературный факт. 2018. № 7. С. 16). Часть творческих материалов, необходимых писателю для работы, пообещал перевезти через границу А. Орг — состоящий на дипломатической службе сотрудник ревельского издательства «Библиофил». На пункте таможенного досмотра в Ямбурге весь багаж Орга был арестован (подробнее об этом инциденте: *Флейшман Л.* Бегство в Эстонию: Ремизов и ревельское издательство «Библиофил» // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2016. № 4. S. 42–74; *Обатнина Е. Р.* Этюды к творческой биографии А. М. Ремизова... С. 17–18). В одном из ремизовских перечней пропавшего «контрабандного» груза, под седьмым номером значился документ с сокращенной атрибуцией «*зырянск*<ое> — 21» (*Amherst*. B. 1. F. 9. P. 33). Список сохранился в архиве Ремизова вместе с письмом А. И. Рыкова от 25 апреля 1922 г., по распоряжению которого разысканная часть архива была отправлена писателю в Берлин. Как ни странно, «зырянские» материалы не упоминались Ремизовым в другом его списке, отложившемся среди корреспонденции С. П. Постникова. Хотя гипотетически автографы поэмы могли оказаться в числе материалов, которые писатель в «постниковском» списке обозначил как «начатые рассказы мои сказки на отдельных листах, а все в белом листе» (*ГАРФ*. Ф. 6065. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 23). Остается также не проясненным, в каких единицах исчислялось количество содержимого «зырянских» материалов из «рыковского» списка, обозначенное цифрой *21*, поскольку рукописный автограф поэмы «Бык-Корова», для которого характерно единство оформления и авторского почерка, состоит в общей сложности из 29 листов: 11 листов с авторской пагинацией составляют «Вступление» и «В секретной»; 18 листов с авторской пагинацией — «Полунощное солнце».

Временем формирования целостного текста поэмы, очевидно, следует считать весну-лето 1922 г., когда к корпусу рукописных материалов была присоединена глава «По этапу». Еще в конце октября 1921 г. Ремизову были переправлены из Петрограда тома его собрания Сочинений (см.: *Переписка с Осиповым*. С. 232), в том числе и второй том с повестью «В плену» (*Шиповник 2*). Страницы из второго тома, изданного в 1910 г. (*Шиповник 2*. С. 165–166, 179–181), с тремя рассказами из шести, составивших повесть, Ремизов расположил между

первой и третьей главами. Способ размещения главы в наборной рукописи подтверждает догадку о том, что собственно идея трехчастной поэмы со вступлением оформилась в 1922 г. после возвращения в личный архив писателя сначала второго тома Сочинений, а затем и рукописного автографа. Именно весной-летом 1922 г., когда Ремизов еще жил в берлинском районе Шарлоттенбург, была произведена существенная правка в рассказах второй части «По этапу». Тогда же была организована единая композиция глав, каждая из которых ранее имела собственную пагинацию («Вступление», «В секретной», «По этапу», «Полунощное солнце»), и, возможно, проставлены две карандашные датировки. Аналогичная «двойная» датировка встречается на обложке альбома с письмами В. В. Розанова, также оказавшегося в составе «арестованного» на советско-эстонской границе багажа А. Орга (см.: *Обатнина Е.* Вариации памяти: (Творческая история «Кукхи» и других мемуарных свидетельств Ремизова о Розанове) // *Ремизов А.* Кукха: Розановы письма. СПб., 2008. С. 252—253). В истории трансформаций текстов, посвященных тюрьмам и ссылкам, окончательно сформированная в 1922 г. наборная рукопись поэмы «Бык-Корова» представляет собой единственное в своем роде самостоятельное произведение, ранее не зафиксированное ни в рукописных источниках, ни в одной из публикаций.

Создание макета для книжного издания поэмы, скорее всего, произошло уже не в Шарлоттенбурге, а в другом берлинском районе, расположенном между Тиргартеном и Альт Моабитом, куда Ремизов переехал 1 апреля 1923 г. Эта датировка соответствует ремизовскому оформлению титульной страницы, на которой расположена наклейка с именем автора, названием произведения «Бык-Корова. Тюремная поэма» (между названием и подзаголовком зачеркнута строка, вероятно, с первоначальным вариантом названия: «Бык-Корова Поэма» <?>), а также указан год и место «издания» рукописной книги: «Берлин, 1923». До весны этого года писатель пытался устроить печатную судьбу своей «тюремной поэмы», но, очевидно, столкнулся с непреодолимыми препятствиями, связанными с полным упадком издательского дела в инфляционном Берлине. Еще в мае рукопись не была оформлена в виде макета, поскольку в единственном известном нам упоминании самого Ремизова о поэме «Бык-Корова» встречается разночтение с окончательным определением жанра, зафиксированным на титульном листе рукодельной книги: «тюремная эпопея <sic!>». «Бык-Корова» значится в списке неопубликованных книг, прилагаемом к автобиографии Ремизова, которую он написал для журнала «Новая русская книга» и датировал 12 мая 1923 г. (см.: *Русский Берлин 2003.* С. 171—172). Предположительно, макет книги был сделан в начале сентября 1923 г., когда в Берлин приехал для встречи с Реми-

зовым переводчик его произведений на немецкий язык Д. А. Уманский (1901—1977), живший в Вене. По-видимому, именно тогда Ремизов разметил для печати текст рукописи цветными карандашами и склеил в единый блок страницы наборной рукописи. Очевидно, при создании макета появился титульный лист и авантитул, качество бумаги которых аналогично бумажному развороту, куда были вложены страницы печатной редакции «По этапу». Увенчала эту «переплетную» работу темно-коричневая обложка с голубым звездчатым корешком.

Дальнейшая переписка с Уманским подтверждает, что изготовленный макет «тюремной поэмы» был тогда же перевезен в Австрию с целью либо найти для него русскоязычное издательство, либо опубликовать на немецком языке. Не исключено, что Ремизову могла импонировать мысль о публикации его «тюремной поэмы» именно в Вене — городе, с которым была связана одна из примечательных страниц его революционной деятельности, за которую он и последовал в северную ссылку в 1900 г. (подробнее: *Грачева 1993*. С. 421). Однако уже в письме от 30 сентября Уманский отказался от перевода поэмы, очевидно, в силу лексической сложности текста. Он признавался: «“Бык-Корова” чудная вещь! Но я ее боюсь» (*Amherst*. B. 3. F. 1. P. 120a). Тогда же возникла идея передать текст для пробного перевода Бруно Прохаска (1879—1968), работавшему тогда в немецкоязычных изданиях Вены. В том же письме Уманский, рекомендуя своего товарища, предлагал следующий план действий: «Если Вы позволите я [дам — ?] рукопись Bruno Prochaska — пусть прочтет и переведет несколько страниц; — [вышлет — ?] их Вам и Вы сможете [судить — ?] о переводе. Рукопись у него *не* пропадет — будьте совершенно спокойны <...> ручаюсь за честность и порядочность D<r> Prochaska (Россию он и все русское очень [1 сл. нрзб], а переводит действительно из интереса)» (*Ibid.*; текст письма, расположенный с левого края, в ряде мест закрыт приклеенной полоской бумаги. Нечитаемые места отмечены нами квадратными скобками с предположительными вариантами слов, подходящими по смыслу. — *Е. О.*). Сам Уманский достаточно внезапно завершил свою эмиграцию, покинув Австрию в промежутке между 24 января (в этот день он написал Ремизову последнее письмо) и 6 февраля, когда Прохаска почтовой бандеролью вернул писателю его рукопись со следующим уведомлением: «Милостивый Государь! Г<осподин> Уманский перед отъездом в Москву передал мне ваши рукописи Баранки и Бык-корова — чтобы послать их к вам в Париж почтовым путем. Надеюсь, что рукописи благополучно доедут до Вас и прошу несколько слов осведомления. С совершенным почтением Dr. Bruno Prochaska» (*Amherst*. B. 3. F. 4. P. 3).

Сравнительный анализ почерка писем Уманского и надписи на обложке макета с парижским адресом Ремизова убеждает, что надпись

была сделана рукой Уманского при обстоятельствах, о которых шла речь в письме Прохаска. По всей вероятности, именно в период между сентябрем 1923 г. и январем 1924 г. произошло ознакомление с рукописью неизвестных нам издательских сотрудников, которые оставили на страницах поэмы несколько профессиональных помет (см. с. 609 наст. изд.). В частности, письмо Уманского от 16 декабря подтверждает, что он предпринимал усилия для переговоров с издательствами, которые, как отчитывался венский корреспондент Ремизова, из-за «ужасной издательской беды ужасно неохотно издают новые книги» (*Amherst*. B. 3. F. 2. P. 62a). Рукопись поэмы вернулась к Ремизову 9 февраля 1924 г. и при жизни писателя так и оставалась в ряду его неопубликованных произведений.

Текст поэмы «Бык-Корова» воспроизводится в соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации, с сохранением отдельных случаев употребления устаревших слов, авторского написания и знаков препинания. При публикации исправлены авторские ошибки согласования в окончаниях слов, возникшие при внесении правки в рукопись. Пропуски отдельных слов, выверены (при совпадении текстов) по печатным редакциям 1903—1912 гг. и восстановлены в квадратных скобках.

«Высокое солнце, ты высоко плаваешь...»

Впервые опубликовано: Курьер. 1902. 8 сент. № 248. С. 3, за подписью: *Н. Молдаванов*, под загл. «Плач девушки перед замужеством (Бёрдан Кылиас). С зырянского».

Прижизненные публикации: *Северные цветы ассирийские 1904*. С. 75—76, под загл. «Плач девушки перед замужеством», под цифрой 5, из цикла «Полунощное солнце»; *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 268—269, в составе раздела «Полунощное солнце: Поэмы», под общим заголовком «Северные цветы»; *Шиповник 6*. С. 68—69, под загл. «Плача», с датировкой: *<1>903 г.,* в составе раздела «Осень темная» (аналогично в изд.: *Сирин 6*); *Ремизов А.* Посолонь: Волшебная Россия. Париж: Таир, 1930. С. 50—51, под загл. «Плач девушки перед замужеством», в составе раздела «Осень темная».

Автографы и авторизованные тексты: *Н. Молдаванов* [Ремизов А. М.]. «Плач девушки перед замужеством (Бöрдан кылјас). С зырянского». <Наборная рукопись публикации в газ. «Курьер» с регистрационным номером «2070»>. — Беловой автограф с правкой. <1902> // *ИРЛИ*. Ф. 349. Ед. хр. 25. Л. 1—2.

Текст-источник: Плач при выходе девицы замуж. Бöрдан кылјас // *Лыткин Г. С.* Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык, 1383—1501: Пособие при изучении зырянами русского языка. СПб., 1889. С. 175 (здесь же автор указал и другие источники текста

на зырянском языке: *Савваитов П. И.* Грамматика зырянского языка. СПб, 1849; а также сообщения Ф. И. Забоевой).

Текст ремизовского стихотворения опирается на первую песню из свадебного народного обряда, представленного в издании Лыткина 17-ью причитаниями. Ср.:

Спас да Пречистая!
Пожелай мне добра, пожелай
  Великим твоим пожеланием
  С поверх головы до подножия ног моих!
Пожелай добра от Бога
  Столько, сколько звезд;
Пожелай мне добра от востока
  Столько, сколько цветков земляники;
Пожелай мне добра от юга
  Столько, сколько на поле семян;
Пожелай мне добра от запада
  Столько, сколько цветков шиповника;
Пожелай мне добра от севера
  Столько, сколько цветков смородины;
Пожелай добра от земли
  Столько, сколько зеленых трав;
Пожелай добра от воды
  Столько, сколько плещущих рыб;
Пожелай добра от леса
  Столько, сколько летающих птиц;
Пожелай добра от бора
  Столько, сколько растущих ягод;
Пожелай добра от болота
  Столько, сколько болотных сосен.

(*Лыткин Г. С.* Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. С. 175).

Ремизов вел летоисчисление своего литературного пути со времени публикации стихотворения «Плач девушки перед замужеством» (8 сентября 1902 г. в газете «Курьер»). Историю первой публикации текста см. в главах романа «Иверень» — «Эпиталама» и «“Курьер”» (*Иверень-РК VIII.* С. 269—273, 452—455). О ремизовской обработке фольклорной свадебной песни и истории ее публикации см. также: *Розанов 2008.* С. 30—32.

В контексте поэмы «Бык-Корова» литературная обработка зырянской свадебной обрядовой песни была переориентирована на лирического героя, отождествленного с авторским «Я», а традиционная заплачка становится молитвой-заклинанием природных сил солнца,

света, радуги и луны. Ключевым источником в этой системе координат становится радуга, представленная в зырянской космологии образом самого ценного для зырян домашнего скота — быка или коровы Луны, которого выгоняет на водопой Солнце. Разъяснение к этому мотиву зырянской мифологии, Ремизов, очевидно, впервые прочел в статье этнографа К. Ф. Жакова «Языческое миросозерцание зырян» (1901), дискурс научных публикаций которого сочетал фактический материал с лиризмом и образностью опытного литератора. Ср.: «Радуга по зырянски Öшка-Мöшка, буквально бык-корова. Народ говорит, что радуга пьет воду из реки. Кто выгоняет этого быка с небесных полей, с облачных равнин? Свет солнца, лучи его, сын солнца. Поднимаются тучи, появляется солнце на другой стороне неба, на тучах обрисовывается семицветная радуга» (*Жаков 1901.* С. 77). Между тем, избегая полных совпадений с текстом Жакова и, возможно, опасаясь читательского непонимания двойного образа, начинающий писатель в первых редакциях своего стихотворения (в «Курьере» и в сб. *Чертов лог и Полунощное солнце.* С. 268) использовал однородный образ быка Луны. Ср.:

И ты разноцветная радуга, — бык, пасомый луной
на небесных полях и жаждущий
речной воды...

Строки «Вступления» к поэме «Бык-Корова» наиболее приближены к последнему варианту стихотворения «Плач девушки перед замужеством», опубликованному в составе книги «Посолонь» под названием «Плача» (*Шиповник 6.* С. 68), где впервые писатель восстанавливает оригинальный гетерогенный образ зырянской радуги. Ср.:

И ты, семицветная радуга, бык-корова небесных полей,
Ты жадно пьешь речную студеную воду.

Совпадения таких эпитетов и метафор, как «семицветная» радуга и луна — «ухо ночи», с пассажами Жакова позволяют причислить статью этнографа к числу непосредственных текстов-источников варианта ремизовского стихотворения, переписанного как для редакции 1912 г. (в составе книги «Посолонь), так и непосредственно для версии этого же стихотворения, выполнившего в поэме «Бык-корова» функцию лирического вступления.

История тюремного опыта и северной ссылки Ремизова в рукописном автографе, созданном в 1913 г., погружены в мифологию зырянского фольклора. Зырянская доминанта накладывает свой мифологический код даже на реалии детских лет автора, который вспоминает, будто ребенком был привязан к игрушке, названной «бык-корова». См. первую часть главы «В секретной»: « — — — в наш дом привезли

икону, тогда я был совсем маленький и была у меня игрушка бык-корова, я прикладывался к иконе и бык-корова со мной» (с. 327 наст. изд.). Искусственность этого «автобиографического» мотива подтверждается другими, более ранними редакциями фрагмента. Ср. первую публикацию поэмы «Белая башня (В плену)» (1907), которая впоследствии, включая редакцию 1910 г. (*Шиповник 2*), варьируется при неизменном упоминании такой более естественной для московского ребенка игрушки, как «зайчик»: «Однажды ночью в дом привезли чудотворную икону... тогда я был совсем маленький, спал с зайчиком. Прикладывался, и зайчик прикладывался» (*Проталина 1907*. С. 116—117). Мотив игрушки «бык-корова», очевидно, восходит к бытовой культуре коми-зырян, использовавших образ коровы в предметных образах детских игр и святочных представлениях (см.: *Голева Т. Г.* Образы коня, быка и коровы в представлениях коми-пермяков // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Пермь. 2009. Вып. 5. С. 210).

В СЕКРЕТНОЙ

Впервые опубликовано (фрагменты): 1. Начало 6 части («Пасхальная ночь ~ И звонил тюремный колокол») // Новый путь. 1903. № 3. Март. С. 39—40 (рассказ «V. Заутреня», под общим заголовком «На этапе»); 2. Фрагменты частей 4, 5, 11, первая прозаическая редакция под загл. «В секретной» // *Наша жизнь*. 1905. 26 нояб. № 26/27. С. 204—207; 3. Фрагмент части 6 («А как с Волги до Поморья ~ А кто ждал его видел») // Русь. 1908. 13 апр. № 103. С. 2, под загл. «Светло Христово Воскресенье».

Прижизненные публикации: 1. *Проталина 1907*. С. 114—127, фрагментарно в составе Первой части поэмы «Белая башня (В плену); 2. *Чортов лог и Полунощное солнце 1908*: 1) С. 95—102, фрагментарно в тексте рассказа «В секретной»; 2) С. 203—220, фрагментарно в тексте Первой части поэмы «Белая башня» (включая первый абзац Второй части), в составе раздела «Полунощное солнце. Поэмы»; 3. *Шиповник 2*. С. 153—162, как одноименная Первая часть повести «В плену»; прозаическая редакция, с датировкой в конце текста: *1896—1903 г.* (аналогично в изд.: *Сирин 2*); 4. *Шиповник 7*. С. 137—140, под загл. «Светло-Христово Воскресение», датировано: *1908 г.* (аналогично в изд.: Сирин 7) — фрагмент шестой части («А как с Волги до Поморья ~ А кто ждал его видел»); 5. Дело народа. 1918. 4 мая. № 35. С. 5, под загл. «Воскресения день» — то же; 6. Перезвоны. 1927. № 31. С. 966, под загл. «Воскресения день» — то же; 7. Новый путь (Рига). 1944. № 6 (50). 10 апр. С. 3, под загл. «Воскресения день» — то же; 8. *НРС*. 1955. 11 апр. № 15695. С. 2, под загл. «Воскресения день» — то же.

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». – Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ.* Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Глава «В секретной» является поэтическим рассказом о тюремном заключении в Пензе, продлившемся со времени начала следствия (февраль 1898 г.) до вынесения приговора по обвинению в революционной деятельности в мае 1900 г. В ожидании решения суда Ремизов провел полтора года. Самым тяжелым испытанием в этот период для недавнего студента-вольнослушателя Московского университета стало полугодовое пребывание в так называемой «секретной камере» пензенской тюрьмы. В первой печатной версии рассказ о пережитом был написан с позиции наблюдателя за героем, оказавшимся один на один со своим «Я». Отправляя готовую рукопись П. Е. Щеголеву 14 августа 1905 г. для литературного приложения к газете «Наша жизнь», Ремизов, очевидно, ранее устно рассказывавший о своем тюремном опыте, подчеркивал реалистичность повествования: «...не оставьте без внимания посылаему<ю> рукопись "В секретной". Посодействуйте к ее принятию <...>. Рассказ по-моему ничего. Конечно того, что говорил, не получилось, но и что получилось, смахивает на правду. Такого рода Секретная камера подлинно существует и по сей день в г. Пензе. Я просидел 6 месяцев в клоповнике в 1898 г.» (*ИРЛИ.* Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1479–1610. Л. 115). В следующем письме (от 23 августа) он вновь акцентировал подлинность вложенного в повествование переживания: «Очень прошу о помещении "В Секретной". Вещь, известно, не какая-нибудь, право. Нутренности <sic!> человеческие» (Там же. Л. 117). Новая версия автобиографического повествования лишь корреспондировалась с мотивами и выборочными предложениями как прозаической редакции одноименной повести, впервые опубликованной в 1905 г. в приложении к газете «Наша жизнь», так и с фрагментами предшествующих печатных редакций поэмы «В плену» (*Проталина 1907*; *Шиповник 2*).

В составе поэмы «Бык-Корова» глава «В секретной» наряду с переработанным содержанием прежних редакций пополнилась ранее неизвестным эпизодом (часть 7), в котором описываются натуралистические подробности одиночного заточения в «секретной» камере и мистическое видение с предсказанием срока окончания тюремного «плена». По сравнению с редакцией 1910 г. (*Шиповник 2*) в 1913 г. также были кардинально переписаны заключительные строки главы, которые теперь прозвучали как кредо зрелого писателя, сострадающего человеку в жестоком мире: «...я почувствовал нестерпимую боль от жалости к человеку». Ср.: «...и я проклинал человека и, проклиная, падал перед ним» (*Шиповник 2.* С. 162).

С. 330. *А как с Волги до Поморья / С Поморья до Сурожа... — Поморье* — топоним, упоминаемый в «Слове полку Игореве» и других памятниках древнерусской литературы, географически ассоциируемый с населенными готами крымскими землями черноморского побережья, входившими, наряду с Волгой, Посульем, Сурожем и Корсунем, в северную часть Византийского государства (см.: *Ставиский В.* «Поморье» в Слове о полку Игореве // Ruthenica: Альманах. 2009. Т. VIII. С. 218—223).

С. 330—331. *...души разбойничьи ~ потекли в отпуск...* — следует читать отпу́ск; имеется в виду отпущение грехов.

ПО ЭТАПУ

1
В вагоне

Впервые опубликовано: Новый путь. 1903. № 3. Март. С. 27—28; С. 35 — рассказ «1. В вагоне»; концовка рассказа «4. Скандальники», под общим заголовком «На этапе».

Прижизненные публикации: *Проталина 1907*. С. 129—131, фрагментарно в составе Второй части поэмы «Белая башня (В плену)»; *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 19—222, фрагментарно в составе Второй части поэмы «Белая башня»; *Шиповник 2*. С. 165—167; С. 179 — рассказ «I. В вагоне»; концовка рассказа «IV. Кандальники», в составе повести «В плену», часть Вторая «По этапу»; прозаическая редакция, с датировкой в конце текста повести: *1896—1903 г.* (аналогично в изд.: *Сирин 2*).

Текст представляет собой объединенную редакцию рассказов «В вагоне» и концовки рассказа «Скандальники» из цикла «На этапе».

Вторая глава описывает этапирование заключенного Ремизова в северную ссылку, относящееся к весне-лету 1900 г. Как вспоминал писатель в автобиографии 1912 г., «...весной 1898 г. опять меня посадили в острог, а весной 1900 года погнали этапным порядком через Тулу, через Москву — по Москве сквозь Бутырки в Ярославль, а через Ярославль за тысячу верст за Вологду в зырянский город Устьсысольск на 3 года под гласный надзор» (*Грачева 1993*. С. 421). Речевой оборот «через Москву», «через Ярославль» в этом повествовании подразумевал краткие остановки в изоляторах московской Бутырской тюрьмы и в Ярославском тюремном замке с 6 по 12 июля 1900 г. Датировки прохождения через тюремные изоляторы на пути следования в Вологодскую губернию уточняются по самому раннему тексту-источнику

поэмы — прототексту рассказа «Коробка с красной печатью», написанному на сохраненном Ремизовым артефакте — коробке из-под конфет с бутафорской печатью. Здесь же сверху автографа имеется пояснение к обстоятельствам времени и места создания текста. Слева: «А<лексей> Р<емизов> / Я<росл>авский Т<юремный> З<амок> (Ярославль) / В<ологодский> Т<юремный> З<амок> (Вологда) М. Ц. П. Т. (Бутырки) / Часовая башня / № 3 / с. 6—12. VII. 1900». Справа: «от Н<иколая> Ремизова / самые лучшие конфеты) получена 11. VII в 8 часов ясным вечером после второго свидания» (*РНБ*. Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 339. Л. 3). Текст автографа см. в комментариях к рассказу «Коробка с красной печатью» (на с. 621—622 наст. изд.). Особенно подробно в автографе на коробке Ремизов описал «прием» в вологодской тюрьме: «В В<ологодском> Т<юремном> З<амке> с меня стащили брюки, чулки, даже прикоснулись к очкам, но к тебе... достаточно было одного моего напоминания "Коробка с печатью!" И тебя бережно поставили на стол, тогда как меня оставили стоять босого на каменном сыром полу...» (*РНБ*. Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 339. Л. 3). Именно безжалостное обращение с заключенным стало причиной его болезни, прервавшей дальнейшее следование по этапу. Этот эпизод лег в основу новеллы «В больнице». Уточнение обстоятельств пути в Усть-Сысольск под конвоем находим в черновых редакциях романа «В розовом блеске» (подробнее см.: *В розовом блеске-Росток XV*. С. 759). Ср. также об условиях этапирования в статье: *Соболев А. Л. 2013*. С. 184.

«По этапу» представляет собой редакцию одноименной главы из повести «В плену» (*Шиповник 2*. С. 165—181). В весной-летом 1922 г. на страницах печатного текста была внесена существенная правка, касающаяся не только стилистики, но и перестроения повествования под формат поэмы «Бык-Корова». В результате редакция 1910 г. была сокращена до трех новелл («В вагоне», «В больнице» и «Коробка с красной печатью») вместо прежних шести. Таким образом, в макете поэмы остались лишь пять страниц (165—166, 179—181). Текст редакции 1910 г., а также историю создания и публикации см.: *Оказион-РК III*. С. 84—96; 610—613.

С. 337. *Проповедник был у нас англичанин, просвещал арестантов. Познание, говорит, усмирит чувство твое и освободит от него.* — Подразумеваются популярные в России конца XIX в. идеи утилитаризма английского философа Г. Спенсера (1820—1903).

С. 338. *...еще покойный Державин сказал: в добре и зле будь велик!..* — Очевидно, вольный парафраз строки из оды Г. Р. Державина «Добродетель» (1810): «Добра и зла ты вождь един...».

[2]
В больнице

Впервые опубликовано: *Проталина 1907*. С. 133—135, фрагментарно в составе Второй части поэмы «Белая башня (В плену)».

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 225—227, фрагмент Второй части поэмы «Белая башня»; *Шиповник 2*. С. 179—180, одноименный рассказ в составе повести «В плену», часть Вторая «По этапу»; прозаическая редакция, с датировкой в конце текста повести: *1896—1903 г.* (аналогично в изд.: *Сирин 2*).

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда* // *ИРЛИ*. Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

С. 339. *Высший подвиг в терпенье...* — Строка из стихотворения основоположника славянофильства А. С. Хомякова «Подвиг есть и в сраженьи...» (1859).

[3]
Коробка с красной печатью

Впервые опубликовано: Северные цветы: Третий альм. кн-ва «Скорпион». М., 1903. С. 115—116, под загл. «Эпитафия».

Прижизненные публикации: Вопросы жизни. 1905. № 9. Отд. IV. С. 23—24, без назв., как элемент сюжета, в составе первой редакции романа «Пруд» (Часть Вторая. Гл. VII), с художественным описанием автографа 1901 г. (см. ниже «Автографы и авторизованные тексты»); *Ремизов А*. Пруд: Роман. СПб.: Сириус, 1908. С. 205—206 — то же; *Шиповник 2*. С. 180—181, рассказ под загл. «Коробка с красной печатью»; *Шиповник 2*. С. 291—292, в составе третьей редакции романа «Пруд» (как элемент сюжета).

Автографы и авторизованные тексты: «Мир тебе, неустрашимая с красной бумажной печатью коробка...». — Автограф в рукописном альбоме Ремизова «Хождение мое по этапным мукам 1901 г.». Дата: «Устьсысольск. 21. I. 1901» // *РНБ*. Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 339. Л. 3.

Посвящение «коробке кондитера» восходит к сюжету из личного «тюремного» опыта писателя. В рукописном альбоме Ремизова «Хождение мое по этапным мукам» (*1901*) сохранен разворот картонной коробки с сургучной печатью, на котором написан текст, являющийся вариантом по отношению к рассказу. Этот автограф раскрывает реалии, побудившие писателя к созданию произведения в жанре иронического надгробного посвящения. В левом верхнем углу: «А<лексей> Р<емизов> / Я<росл>авский Т<юремный> З<амок> (Ярославль) / В<оло-

годский> Т<юремный> З<амок> (Вологда) М. Ц. П. Т. (Бутырки) / Часовая башня / № 3 / с. 6—12. VII. 1900». В правом верхнем углу: «от Н<иколая> Ремизова / самые лучшие конфеты) получена 11. VII в 8 часов ясным вечером после второго свидания». В центре: «† / Мир тебе, неустрашимая с красной бумажной печатью коробка, до последнего дня этапа ты сохранила гордость и неприступность! В Я<рославском> Т<юремном> З<амке>, при тщательном обыске, когда меня потрошили и мои переполненные папиросами и карандашами карманы пустели, ни один тюремный палец не дотронулся до тебя, и с благоговением опускались перед твоей красной печатью начальственные, циркулярные головы. / Одних ты испугала и они притихли, меня же ты обрадовала, и когда щелкнул замок моей камеры, ты распечаталась и я закурил... / В В<ологодском> Т<юремном> З<амке> с меня стащили брюки, чулки, даже прикоснулись к очкам, но к тебе... достаточно было одного моего напоминания "Коробка с печатью!" И тебя бережно поставили на стол, тогда как меня оставили стоять босого на каменном сыром полу: В мою камеру тебя одну понесли обеими руками сам "старший" и когда я остался один, тотчас ты развернулась и положила на стол бумагу и карандаш. / Но потом, <когда мы очутились — зчркн. — *Е. О.*> на свободе, ты тряслась всеми своими нитями и бумагой от хохота над всем миром, где красная печать ценится выше человека и горько тебе стало за душу человеческую! Устьсысольск. 21. I. 1901» (*РНБ*. Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 339. Л. 3). Эпизод из тюремной «эпопеи» стал для Ремизова одним из первых уроков «школы жизни», раскрывшим самые мизерабельные стороны человеческой натуры. Коробка с красной печатью становится для него символом человеческой внутренней несвободы, лицемерия, о котором он вновь вспомнил, столкнувшись с неожиданным давлением со стороны товарищей по ссылке, как к «другой» личности, сделавшей самостоятельный жизненный выбор (подробнее: *Письма П. Е. Щеголеву I*. С. 125—126). Покидая Вологду, Ремизов писал С. П. Довгелло 30 мая 1903 г.: «...увожу с собой познания, о которых хочется крикнуть на всю землю. Пусть же хоронятся, настанет и для них час. А человеческая душа. "Коробка... кондитера"!... Боже мой, да тут горше, и издевательства ядовитей» (*ГЛМ*. Ф. 165. Оп. 2. Ед. хр. 335. Л. 12).

С. 339—340. — *Коробка с* печатью*! ~ И начальственные головы благоговейно склонялись перед тобою.* — Мотив «печати» как символа власти и тайны восходит к одному из эпизодов романа «Идиот». Ср.: «И видите, как все интересуются; все подошли, все на мою печать смотрят, и ведь не запечатай я статью в пакет, не было бы никакого эффекта! Ха-ха! Вот что она значит, таинственность» (*Достоевский 8*. С. 318—319).

С. 340. *Дремлет сонный волчок.* — *Волчок* — круглое отверстие в двери тюремной камеры для наблюдения за заключенным; глазок.

ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ

Сохранившиеся письма Ремизова к невесте С. П. Довгелло зафиксировали источники представленной в главе галереи образов и время создания стихотворений. Первоначальные познания о бестиарии зырянского фольклора начинающий писатель получил из устных рассказов местного краеведа В. П. Налимова, который в том же году опубликовал свою коллекцию записей. См.: *Налимов 1903*. С. 76–86. Ср. письмо от 26 мая 1903 г., в котором упоминается В. П. Налимов («зырянин) и построена перспектива ближайшей творческой работы, связанная уже с жизнью в Херсоне: «Только что ушел зырянин, оставил материалы зырянских легенд. Как только приеду, примусь за писание небольшого стихотвор<ения> в прозе» (*ГЛМ*. Ф. 165. Оп. 2. Ед. хр. 335. Л. 7). В целом первая редакция стихотворного цикла, который носил рабочее название «Зырянский мир», сложилась спустя месяц. Ср. письмо от 24 июня 1903 г., отправленное Довгелло из Херсона в этот день: «Закончил вчера: “Мир зырянский”. Получилась раскладная картина:

1) Омель и Ен.
2) Полёзница.
3) Быбуля.
4) Икёта.
5) Кикимöра.
6) Кутьи-войсы (исправлено).
7) Заклинание ветра.
8) Öшька-мöска (исправлено)»

(*ГЛМ*. Ф. 165. Оп. 2. Ед. хр. 335. Л. 24 об.).

Для создания стихотворных миниатюр Ремизов использовал также научную литературу, в частности статью уроженца зырянского края К. Ф. Жакова «Языческое миросозерцание зырян» (1901). Ср. авт. комм. к редакции 1908 г., в которой писатель указывает имена своих основных «проводников» в мир зырянского фольклора и быта: «Книги и рассказы просвещенных зырян: книги К. Ф. Жакова и рассказы В. П. Налимова дали мне ту шапку-невидимку, в которой я сам на свой страх пошел по лесам, и полям странной зырянской земли...» (*Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 313). См. также об источниках стихотворений и ремизовских приемах обращения с фольклорным материалом: *Розанов 2008*. С. 34–49.

Глава «Полунощное солнце» начинается с экспозиции, рисующей момент, когда пароход причалил к пристани Усть-Сысольска и Реми-

зов сошел с трапа на берег реки Сысолы. В соответствии с рапортом Жандармского управления Усть-Сысольска, находящийся под гласным полиции москвич прибыл на место ссылки 18 июля 1900 г. (по ст. ст.) (см.: *Соболев А. Л. 2013*. С. 184). Здесь Ремизов описывает эпическое по длительности течения время своего погружения в мир зырянской природы и мифологии, которое в реальности соответствовало трем годам ссылки, завершившейся освобождением из «плена» 30 мая 1903 г. Ср. авт. комм. к редакции цикла 1908 г.: «Живя в Усть-сысольске (Вологодской губернии), в этом центре зырянского населения, я глазами пленника смотрел на неведомое мне нерусское царство и слушал рассказы трех простых людей, с которыми коротал долгие зимние дни-полуночи» (*Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 313). В третьей главе впервые произведена контаминация отдельных стихотворных текстов из поэмы «Северные цветы» (*Чортов лог и Полунощное солнце*) со стихотворениями из третьей части повести «В плену» — «В царстве полунощного солнца» (*Шиповник 2*).

Текстологический анализ главы «Полунощное солнце» опирается на сохранившиеся беловые автографы стихотворных циклов, посвященных зырянской мифологии. Один из них, в результате печатной истории, связанной с альманахом «Северные цветы», отложился в архиве В. Я. Брюсова — редактора этого московского издания (далее: *Херсонская рукопись I // РГБ*. Ф. 386. Ед. хр. 100. Л. 16—29). Он состоит из 6 стихотворений, из которых три (далее отмечены курсивом) являются вариантами и другими редакциями стихотворений, включенных в корпус текстов поэмы «Бык-Корова»: «Сотворение мира» (первоначальное название стихотворения «Омель и Ен»), «Ветер», «Кикимора», *«Бубыля», «Кутья-войса», «Икёта»*. Другая рукопись, не получившая отклика в петербургском журнале «Новый путь» в 1903 г., в начале 1910-х гг. была отдана Ремизовым Иванову-Разумнику, в архиве которого и сохранилась. Она содержит восемь текстов, пять из которых являются вариантами и другими редакциями одноименных стихотворений, вошедших в поэму (отмечены курсивом): I. «Сотворение мира»; II. *«По́лезница»*; III. «Кикимора»; IV. *«Бубыля»*; V. *«Кутья-Войса»*; VI. *«Йкета»*; VII. «Заклинание ветра» («Что ты, глупый, гудишь, ветер...»); VIII. *«Ӧшка-Мӧска»* (*ИРЛИ*. Ф. 79. Оп. 4. Ед. хр. 264). Далее: *Херсонская рукопись II*. Подробнее об истории создания текстов в 1903 г., объединенных тогда под названием «В царстве полунощного солнца», и их печатной судьбе см.: *Оказион-РК III*. С. 592—605. Сопоставление рукописных источников, печатных редакций и вариантов выявило в тексте главы «Полунощное солнце» наличие принципиально новых привнесений. К ним относятся фрагменты: «Омель и Ен / Два голубя...»; «Человек пошел с человеком. ~ Икёта / обменок несчастный»; «Глаза ее васильковые ~ Съешь — станешь другим!»;

«Ярая тишь наступающих гроз ~ вьющая непохожие неутоленные жизни!».

Глава «Полунощное солнце» в поэме «Бык-Корова» состоит из 12 частей (без названий) со вставными стихотворениями (под заголовками):

1. («Стою на трапе...»)

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1902>, *Вологда // ИРЛИ.* Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: *Проталина 1907.* С. 135—136, повесть «Белая башня (В плену)», конец Второй части.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 227—229, в составе поэмы «Белая башня», часть Вторая; *Шиповник 2.* С. 185—186, повесть «В плену», часть Третья «В царстве полунощного солнца», под цифрой 1.

«Омель и Ен...»

Прижизненных публикаций текста и тождественных рукописных источников не выявлено. Стихотворение отчасти отражает концентрированное содержание поэтической мифологии, изложенной в стихотворении «Омель и Ен» из цикла «Полунощное солнце» (впервые опубликовано: *Северные цветы ассирийские 1904.* С. 70—71, под загл. «I. Оме́ль и Е́»).

С. 341. *Омель и Ен / Два голубя...* — Ср. авт. комм. к другой стихотворной версии зырянской космологической легенды, включенной Ремизовым в редакцию цикла «Полунощное солнце» (1908): «Омель и Ен — два главных и собезначальных божества, два творца мира зырянской мифологии. Зырянскому дуалистическому мифу о мироздании находятся параллели в мифологии соседних народностей: у черемисов творят Юма и Керемет, у мордвы — Чам-пас и Шайтан, у вотяков — Инмар и шайтан; та же двойственность сказывается у вогулов, у сибирских маньзов (древних югров), в самоедских, тюрских и монгольских сказаниях, восходивших к финско-угорским и урало-алтайским древним поверьям, к которым близко подходит распространенный среди славян богомильско-христианский миф о совокупном творчестве Бога и Дьявола (Сатанаила), возникший из учения манихеев и павликиан и напоминающий древнеиранские представления о совместном творчестве Ормузда и Аримана. Необходимо отметить особенность в мотивах творчества зырянских богов. Насколько известно, таких мотивов не встречается. И тот и другой, отягченные мощью

и не проявившие своих творческих возможностей, каждый про себя, решаются покончить с собой и, оставляя мир, в своем падении встречают друг друга. <...> все созданное Омелем тяготится своей жизнью, хочет быть обыкновенным, жить от весны до зимы, расти и клониться, как живет и поспевает Еново создание по каким-то его строгим законам непреложно и размеренно. Омелевы дети, очутившиеся в плену у Ена, — одиноки, как чужие, и все их надежды освободиться или смешаться тщетны. Лучше быть чем угодно, только не самим собой в этом белом суровом царстве Ена» (*Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 313–314). Образы двух голубей как творцов мироздания восходит к легенде, приведенной в статье Налимова «Некоторые черты из языческого миросозерцания зырян». Ср. начало одного из вариантов легенды: «Туман... Мрак... Нигде не видно ни живого существа, ни растительности; только один голубь, прекрасный сизый голубь летал. Не раз он подавал голос с целью встретить живое создание. Не раз, томимый одиночеством, пытался он броситься с высоты полета и разбиться, и тем кончить свое существование. Вдруг в ответ слышит он отклик, своему подобный — голос человеческий. Помчались навстречу друг другу... Назвались братьями, родными, милыми; посоветовались, порешили изведать дно мрака и тумана. Один голубь нашел землю. Другой голубь нашел тину» (*Налимов 1903*. С. 80).

С. 341. *Ен — вершина Брусяных гор — покой.* — Речь идет о двух горах, расположенных в северо-восточной части Усть-сысольского уезда на реке Печора и реке Воя. С XVII века в этих отрогах Урала велась добыча точильного камня. Брусяные горы как место обитания высшего божества зырянского пантеона зафиксированы в записях К. Ф. Жакова. Ср.: «Ен, далекий от людей, жил на горах, на небе, около брусяных гор» (*Жаков 1901*. С. 74). Ремизов в авт. комм., сопровождавшем редакцию 1908 г., опираясь на описания этнографа, создал поэтический образ Ена, соответствующий горному ландшафту: «Через отчаянье в миг восторга встречи создает Ен видимый мир — весь белый свет и, успокоенный в сознании своего величия и совершенного дела, удаляется на вершины Брусяных (Уральских) гор, где и до сей поры восседает гордый и недоступный и так высоко, что никакая молитва, никакая жалоба не доходит и не беспокоит его божеского слуха» (*Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 313–314).

«— налево! Куда правишь, налево!..»

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ*. Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: *Проталина 1907*. С. 136, фрагмент в повести «Белая башня (В плену)», конец Второй части.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 228—229, в составе поэмы «Белая башня», часть Вторая; *Шиповник 2.* С. 185—186, фрагмент повести «В плену», часть Третья «В царстве полунощного солнца» (под цифрой 1).

2. «Снегом заносит ~ за верной стеной снег»

Впервые опубликовано: *Проталина 1907.* С. 141—142, фрагмент поэмы «Белая башня», часть Третья.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 236—237, в составе поэмы «Белая башня», часть Третья; *Шиповник 2.* С. 186, повесть «В плену», часть Третья «В царстве полунощного солнца» (под цифрой 2).

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ.* Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Заклинание ветра

Впервые опубликовано: Зори. 1906. № 11/14. С. 22.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 264, в составе поэмы «Северные цветы».

Автографы и авторизованные тексты: *Херсонская рукопись I.* <1903>, под загл. «Ветер»; *Херсонская рукопись II.* <1903>, под загл. «Заклинание ветра».

С. 342. *Ветер, бабушка жива*! — Ср. фольклорную запись одного из народных толкований происхождения ветра: будто его «производит дух или даже внук женщины духа. Внук — это существо довольно глупое: мечется без всякого толку из стороны в сторону. Когда зырянину необходим ветер, он говорит: <...> (“Ветер, ветер, бабушка умерла”)». При этом он думает, «что дух летит на похороны и этим производит ветер, когда же зырянин говорит, что бабушка не умерла, он успокаивает духа, и тот смирно сидит на месте» (*Налимов 1903.* С. 85).

3. «Зеленоватая ночь, туманная, в колеблющихся лучах...»

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ.* Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: *Проталина 1907.* С. 143—144, поэма «Белая башня (В плену)», часть Третья.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 239, поэма «Белая башня», часть Третья; *Шиповник 2.* С. 188, повесть «В плену», часть Третья «В царстве полунощного солнца» (под цифрой 3).

Бубыля

Автографы: *Херсонская рукопись I.* <1903>; *Херсонская рукопись II.* <1903>.

Впервые опубликовано: Прометей. 1906. № 1. С. 10.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 262, в составе поэмы «Северные цветы».

С. 343. *Бубыля* — имя домового. Ср. авт. комм. к редакции одноименного стихотворения 1908 г., в котором мифологический образ охарактеризован как «олицетворение Омелева отчаяния, а может быть, общего исконного богам отчаяния, которое заложено в творении мира. Бубыля — домовой, смущающий покой и счастье, которое, выпав на долю человека, не может длиться вечно во временном царстве Ена» (*Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 315). В первоначальных записях Ремизова об этом мифологическом существе соблюдается написание *Быбуля*. Ремизов отправил стихотворение в составе *Херсонской рукописи I* в издательство «Скорпион» и был очень огорчен, когда не нашел его на страницах «Северных цветов». В письме к жене от 25/26 апреля 1905 г. он оставил свое восприятие демонического персонажа: «поместили только 7 стихов (не поместили: “Заклинание ветра”, “Быбулю” и прозу). Что вышло 7 стихов, это хорошо. Но жаль, нет Быбули. Быбуля — это тень, спутник “Полуночного солнца”. Без него нет солнца. Он оттенял. А, может, я фантазирую, потому что действие происходит в сумерках» (*ГЛМ.* Ф. 165. Оп. 2. Ед. хр. 335. Л. 33).

Кутья-войса

Автографы: *Херсонская рукопись I.* <1903>, под загл. «Кутья-войса»; *Херсонская рукопись II.* <1903>, под загл. «Кутья-Войса».

Впервые опубликовано: Северный край. 1903. 14 февр. № 42. С. 2, под загл. «Кутьи войсы», с авт. комм. к названию.

Прижизненные публикации: *Северные цветы ассирийские 1904.* С. 73—74; *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 260—261, под загл. «Кутья-Войсы», в составе поэмы «Северные цветы».

Стихотворение представляет собой новую версию демонического образа, построенную на сходных мотивах одноименных стихотворений редакции 1903 и 1908 гг.

С. 344. *Кутья-войса* — собирательный образ зырянских легенд, языческое происхождение которых уживалось с православным календарем. В авт. комм., сопровождавшем первую публикацию этого стихотворения, Ремизов пояснял: «языческо-христианское верование христиан: под Рождество пробуждаются от проклятия “Кутья войсы” — демонические существа и властвуют над землей до Крещения» (Северный край (Ярославль). 14 февр. № 42. С. 2). Ср. также авторское пояснение к одноименному стихотворению редакции 1908 г.: «***Кутья-войсы*** — метельные духи, которым дается власть над землей от Постной кутьи — Рождественского сочельника до Богоявления, — двенадцать дней в году. На Богоявление по освящении воды они угоняются в свое царство и метели не слышно. “Чтоб тебя кутья-войса взяла! — говорится в сердцах на обидчика, а уж Кутья-войса спуска не даст, с ней не похорохоришься» (*Чертов лог и Полунощное солнце.* С. 315).

Здравствуй, сорока!

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ.* Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: *Проталина 1907.* С. 143, поэма «Белая башня (В плену)», часть Третья.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 238–239, поэма «Белая башня», часть Третья; *Шиповник 2.* С. 188–189, повесть «В плену», часть Третья «В царстве полунощного солнца» (под цифрой 4).

«Кто это в лунную ночь – Икёта обменок несчастный...»

Автографы: *Херсонская рукопись* . <1903>, под загл. «*Икёта*»; *Херсонская рукопись II.* <1903>, под загл. «Йкета»;

Впервые опубликовано: *Северные цветы ассирийские 1904.* С. 74–75, под цифрой IV, в составе цикла «Полунощное солнце», фрагмент.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце.* С. 258–259, фрагмент в составе поэмы «Северные цветы».

Стихотворение представляет собой новую версию демонического образа, построенную на сходных мотивах одноименных стихотворений редакции 1903 и 1908 гг.

С. 346. *Икёта обменок несчастный.* — Ср. фольклорный мотив, приведенный в статье К. Ф. Жакова: «Женщина с верхнего течения

Вычегды рассказывала мне, что до сих пор лесной дух или его жена уносят новорожденных детей и на место их приносят уродов, которые с виду кажутся людьми, но обращаются в осину, если положить на них корыто и прикоснуться три раза топором этого корыта» (*Жаков 1901*. С. 70). Собственное понимание образа Ремизов изложил в комментариях к одноименному стихотворению: «***Икета*** — так называют ребенка-уродца, рожденного от Лесной женщины и человека охотника. Лесные женщины, отчаявшись в собственном превращении, живут надеждой: соединившись с человеком, родить человека, который выведет их из Енова плена — сделает их своими в Еновом царстве. И никогда не рождается человека, а всегда Икета с вывернутыми пятками» (*Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 314). О психологизации образа Икёты и Полёзницы в ремизовских стихах см.: *Розанов 2008*. С. 45.

«В бледно-тающем свете...»

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ*. Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: *Проталина 1907*. С. 145—146, поэма «Белая башня (В плену)», часть Третья.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 242, поэма «Белая башня», часть Третья; *Шиповник 2*. С. 189, повесть «В плену», часть Третья «В царстве полунощного солнца» (под цифрой 5).

Лебеди!

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ*. Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: *Проталина 1907*. С. 146, поэма «Белая башня (В плену)», часть Третья.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 242, поэма «Белая башня», часть Третья; *Шиповник 2*. С. 189, повесть «В плену», часть Третья «В царстве полунощного солнца» (под цифрой 6).

«Солнце неугомонное —...»

Впервые опубликовано: Северный край. 1903. 17 сент. № 244. С. 2, под загл. «Кыруль» в составе цикла под общим заголовком «По весне северной (Стихотворения в прозе)»; прозаическая редакция.

Прижизненные публикации: *Наша жизнь*. 1905. 23 июля. № 12. С. 96, под загл. «Кладбище»; *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 271—273, под загл. «Кладбище» в составе поэмы «Северные цветы»; *Шиповник 2*. С. 190—191, повесть «В плену», часть Третья («В царстве полунощного солнца»), под загл. «Кладбище» (под цифрой 7).

«С рассвета реяла птичка...»

Автограф: *Херсонская рукопись II*. <1903>, под загл. «Ӧшка-Мӧска».

Впервые опубликовано: Северный край. 1903. 17 сент. № 244. С. 2, под загл. «Ошка-Мошка» в составе цикла под общим заголовком «По весне северной (Стихотворения в прозе)»; прозаическая редакция.

Прижизненные публикации: *Наша жизнь*. 1906. 11 марта. № 9. С. 65—66 под загл. «Радуга»; *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 275—278, под загл. «Радуга» в составе поэмы «Северные цветы»; *Шиповник 2*. С. 191—194, повесть «В плену», часть Третья («В царстве полунощного солнца»), под загл. «Радуга» (под цифрой 8).

С. 348. *Толкачики* — комары.

дождик, дождик, перестань... — вариант народной детской «заклички» — песенки заклинательного характера, адресованной дождю.

Бык-корова, выгнанная на водопой с небесных полей — мифопоэтическое описание радуги. Связь образа со стихией воды этимологически объясняется присутствием в коми-зырянском словосочетании ӧшкамӧшка, которое переводится дословно как бык-корова, а подразумевает природное явление радуги, — корня ӧш (источник). Об образе бык-корова см. в комментариях к «Вступлению» («Высокое солнце, ты высоко плаваешь...») на с. 616. См. также: *Голева Т. Г.* Образы коня, быка и коровы в представлениях коми-пермяков // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Пермь. 2009. Вып. 5. С. 208; *Панюков А. В.* Радуга в фольклоре коми // Живая старина. 2011. № 3. С. 25—27.

...два Лесака, по пяткам узнал — выворочены. — Подразумеваются «лесные люди» — собственно зырянский тип человекоподобных духов, образ жизни и поведение которых обусловлены характером бога Омеля — творца «темных сторон» бытия. Ср. описание этого «народа», собранное по рассказам зырян: «Лесные люди весьма похожи на людей; разница между ними небольшая. У лесных людей пятки ног выворочены (табъя кока); кости их прозрачны, и они легки и быстры на ходу. Лесные люди стоят гораздо ниже людей, но постоянно стремятся стать с ними на один уровень. Говорят, что поводом к этому является частое посещение людьми лесов, где лесные женщины вступа-

ют в сношение с ними, и плодом такой любви является человек» (*Налимов 1903*. С. 77). См. также описание Икёты в авт. комм. на с. 630.

С. 349. *Кикимора* — колоритный персонаж зырянской мифологии. В редакции цикла «Полунощное солнце» (1908) Кикиморе было посвящено отдельное стихотворение (см.: *Оказион-РК III*. С. 56—57). О трансформации образа в творчестве Ремизова см. комментарий к стихотворению (Там же. С. 603), а также: *Розанов 2008*. С. 50—69.

«Она к ночи пришла...»

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда // ИРЛИ*. Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: Северный край. 1903. 17 сент. № 244. С. 2, под загл. «Ку-ку...» в составе цикла под общим заголовком «По весне северной (Стихотворения в прозе)»; прозаическая редакция.

Прижизненные публикации: *Проталина 1907*. С. 147—149, поэма «Белая башня (В плену)», часть Третья; *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 244—245, поэма «Белая башня», часть Третья, без назв.; *Шиповник 2*. С. 194—195, повесть «В плену», часть Третья («В царстве полунощного солнца»), под загл. «Белая гостья» (под цифрой 9).

«Белая ночь — —»

Автографы и авторизованные тексты: «Белая ночь». — Беловой автограф. Б. д. // *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 3. Ед. хр. 8.

Впервые опубликовано: В мире искусств. 1907. № 7. С. 5, под загл. «Белая ночь».

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 279—280, под загл. «Белая ночь», в составе поэмы «Северные цветы»; *Шиповник 2*. С. 195—196, повесть «В плену», часть Третья («В царстве полунощного солнца»), под загл. «Белая ночь» (под цифрой 10); прозаическая редакция.

Полёзница

Автограф: *Херсонская рукопись II*. <1903>, под загл. «По́лезница». Ср. письмо Ремизова С. П. Довгелло от 21 июня 1903 г.: «Вчера сумел овладеть собой: написал “Пöлезницю”» (*ГЛМ*. Ф. 165. Оп. 2. Ед. хр. 335. Л. 22).

Впервые опубликовано: *Северные цветы ассирийские 1904*. С. 72—73, под загл. «Пöле́зница» в составе цикла «Полунощное солнце».

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 255—257, под загл. «Полезница» в составе поэмы «Северные цветы».

С. 352. *Глаза ее васильковые...* — Согласно отчету фольклорной экспедиции В. Кандинского этот персонаж в зырянской мифологии известен как «богиня, жившая во ржи и охранявшая ее» (*Кандинский В.* Из материалов по этнографии сысольских и вычегодских зырян: Національные божества (по современным верованиям) // Этнографическое обозрение. 1889. Кн. III. С. 110). В этнографической литературе указывается на типологическое сходство зырянского образа с полевым духом славянской мифологии — полудницей (см.: *Зеленин Д. К.* Очерки русской мифологии. М., 1995. С. 220—224). Соответственно, от имени этого полевого духа происходит зырянское название растения *василёк*. Ср. также в «Зырянско-русском словаре» (сост. П. И. Савваитов): «пöлудни́ч́а — полудница, живущая во ржи; пöлуднич́а с́ин — василёк» (цит. по: *Лыткин* Г. С. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. С. 90).

Она знает: выкусишь шарики ~ станешь другим! — О ролевой функции Полёзницы Ремизов писал С. П. Довгелло 27 мая 1903 г.: «...открыл еще новое существо, называется “пöлезница”, живет в цветущей ржи, с глазами василька, царит над землей с Петрова дня до Ильина, еще более сладострастна, чем лесные женщины; те хоть все мечтают и ищут взрослых, эта маленьких ребятишек» (*ГЛМ*. Ф. 165. Оп. 2. Ед. хр. 335. Л. 8). Очевидно, что своими познаниями о мотивах сексуального поведения полевого демона начинающий писатель был обязан устным рассказам В. П. Налимова, встречи с которым в конце мая 1903 г. послужили импульсом для дальнейшего изучения и интерпретации образа. В печатных работах этнографа тема сладострастия Полёзницы оказалась вне его тематических исследований. Так, в статье «Загробный мир по верованиям зырян», Налимов упомянул Полёзницу лишь как охранительницу ржи (см.: Этнографическое обозрение. 1907. № 1/2. С. 21). Однако синкретизм каннибалистических и эротических устремлений народных демонических образов описан в исследовательской литературе как общефольклорная черта, наиболее распространенная в сказочном жанре (см.: *Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Е. С., Сегал Д. М.* Проблемы структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам IV. Тарту, 1969 (Уч. зап. ТГУ, № 236). С. 119—122). О мотиве «поедания» человека полудницами (русалками) упоминается, в частности, в этнографическом исследовании Вс. М. Яновского «Пермяки» (Живая старина. 1903 № 1/2. С. 56). Развернутую характеристику фольклорного образа Ремизов составил в авт. комм. к редакции одноименного стихотворения: «Полезница — созданье Омеля, живет на полях, хоронясь в ко-

лосьях. “Не забирайтесь в колосья, там вас Полезница ухватит и все выкусит”, — говорят старшие ребятишкам, когда те отправляются в поле. Не от жестокости занимается Полезница таким истязанием малолетних и тяжким уродованием, она хочет превратиться в женщину-человека и надеется, что это превращение наступит, когда станет она есть живые человеческие органы нетронутые и чистые» (*Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 314). См. также мнение исследователя о «модернистском» решении образа Полёзницы в стихотворении Ремизова (*Розанов 2008*. С. 45).

11. «На разные лады пошло веселье...»

Впервые опубликовано: Альманах кн-ва «Гриф». М., 1904. № 2. С. 43—46, под загл. «Иван-Купал»; прозаическая редакция.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 283—289, под загл. «Иван-Купал», поэма «Северные цветы»; *Шиповник 2*. С. 196—201, повесть «В плену», часть Третья («В царстве полунощного солнца»), под загл. «Иван-Купал» (под цифрой 11).

С. 353. *Шаршавая собачонка* — устар. форма слова шершавый в значении косматый, всклокоченный.

С. 354. *Сживут* ***они*** *меня...* — речь идет о духах царства Омеля.

С. 355. *По реке плыли венки и в е н и к и из желтых цветов купальницы...* — Ср. пояснение к зырянскому обычаю, связанному с праздником Ивана Купала, который отмечался в ночь с 23 на 24 июня (по ст. ст.) и совпадал с днем летнего солнцестояния: «Накануне этого праздника зыряне парятся в банях вениками с купальницами. Молодые люди (в некоторых местах) идут на берег реки, разводят костры, бросают веники в реку, загадывая, что если веник потонет, исполнится желанное, и наоборот» (*Жаков К. Ф.* Языческое миросозерцание зырян. С. 75). К скрытым подтекстам рассказа следует отнести и совпадение 24 июня (6 июля) с днем рождения Ремизова. См. также комм. к с. 179.

Северные цветы

Впервые опубликовано: Северные цветы: Третий альм. кн-ва «Скорпион». М., 1903. С. 116.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 251, в составе поэмы «Северные цветы»; Чтец-декламатор: Худож. сб. Киев: И. И. Самоненко, 1909. № 2. С. 525; *Шиповник 2*. С. 201—202, повесть «В плену», часть Третья («В царстве полунощного солнца»), под одноименным загл. (под цифрой 12, первая часть до пробела).

Автографы и авторизованные тексты: «Северные цветы». — Беловой автограф. Б. д. // *РГБ*. Ф. 386. Карт. 129. Ед. хр. 13.

С. **355**. *Плаун* — мох, растущий на воде.

Зеленица — Тисс ягодный (*лат.* Taxus baceata).

Кукушкин лен — разновидность мха (*лат.* Polytrichum commune).

С. **356**. *...змеей выползает линнея...* — род растений из семейства жимолостных (*лат.* Linneaea Gr.), растущий по мшистым, хвойным, преимущественно еловым лесам.

«Прощайте, метели...»

Автографы и авторизованные тексты: «В плену». — Беловой автограф первоначальной редакции. <1903>, *Вологда* // *ИРЛИ*. Ф. 627. Оп. 2. Ед. хр. 68.

Впервые опубликовано: *Проталина 1907*. С. 149—150, поэма «Белая башня (В плену)», часть Третья.

Прижизненные публикации: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 246, в составе поэмы «Белая башня», часть Третья; *Шиповник 2* С. 202, повесть «В плену», часть Третья («В царстве полунощного солнца»), под загл. «Северные цветы» (под цифрой 12, вторая часть после пробела).

С. **356**. *Поляника* — Малина арктическая (*лат.* Rubus arcticus L).

БАРАНКИ
Заключевные рассказы

Автографы и авторизованные тексты: «Баранки. Заключевные рассказы». <Наборная рукопись сборника>. — Авториз. печ. тексты, беловой автограф с правкой. 1923 // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 200. 87 л.

Печатается по наборной рукописи с сохранением вариантов авторских написаний, орфографии, пунктуации и с исправлением опечаток. Далее: *Баранки*.

Наборная рукопись сборника «Баранки» (*НРБ*) представляет собой конволют печатных текстов с авторской правкой и белового автографа, имеющий жесткий владельческий бумажный переплет. Корешок и переплетные крышки затянуты в тонированный светло-кофейный холст, по центру верхней и нижней переплетных крышек наклеены полосы форзацной мраморной бумаги коричневого цвета. На авантитуле — авторская бумажная наклейка с надписью чернилами рукой Ремизова: «Баранки. Тюремные рассказы». Оформление переплета

и надпись единообразны с переплетенным текстом 5 частей романа-эпопеи «Оля» (см.: *В розовом блеске-Росток XV*. С. 733). На авантитул оформленной в виде книги *НРБ* наклеен лист меньшего размера, представляющий собой вырезанную середину более раннего по времени авантитула сборника с текстом красными и черными чернилами рукой Ремизова: «Алексей Ремизов / БАРАНКИ [КАНДАЛЫ] / [К ВОЛЕ <?>] / заключевные рассказы». Внизу этого обрезанного листа карандашная помета рукой неустановленного лица — указание раннего парижского адреса Ремизова, проживавшего там с осени 1923 по весну 1924 г.: «Paris XVI Chardon Lagache 59». На титульном листе рукой Ремизова черными чернилами: «Алексей Ремизов / БАРАНКИ [3 сл. нрзб красными чернилами] / заключевные рассказы / Изд. <пропуск названия. — *Ред.*> 1923». Сверху и на обороте титульного листа — карандашные типографские пометы на немецком языке. На шмуцтитуле — рукописное посвящение чернилами: «Посвящаю С. П. Ремизовой-Довгелло». На его обороте — карандашная типографская помета на немецком языке. На добавочном шмуцтитуле чернилами надпись: «Кандалы», под ней — густо заштрихованное слово.

По всему тексту *НРБ*: 1) произведена типографская разметка карандашом на немецком языке; 2) введены названия, написанные вручную красными чернилами; 3) изменена строфика; 4) произведена значительная «секуляризация» текста, заключающаяся в правке или вычеркивании междометий и целых высказываний, связанных с религиозными мотивами и выраженных с помощью соответствующей терминологии. Также произведено исправление обозначения внутреннего деления текстов рассказов: описательные названия («глава первая» и т. д.) заменены на цифровые («1», «2» и т. д.). Под текстом замыкающего сборник рассказа «Придворный ювелир» имеется общая датирующая сборник рукописная помета: «1900—1915 / 1922 / Charlottenburg». Проведенная по тексту *НРБ* правка имеет два слоя. На основании палеографического анализа текста можно высказать предположение, что первый слой (правка красными и черными чернилами) соответствует 1922 г. — берлинскому периоду создания *НРБ*. Второй слой неоконченной правки (карандаш, черные чернила) относится к 1923—1924 гг. — ранним годам парижской эмиграции Ремизова.

Оглавление сборника — это вплетенный в конволют беловой автограф. После листа с оглавлением находится вырванный, а затем снова вложенный в состав конволюта *НРБ* текст рассказа «Бебка» — печ. текст *Шиповник 3* с той же характерной правкой черными и красными чернилами, что и остальные тексты сборника. Подобное изъятие, а затем дополнение текста *НРБ* текстом рассказа свидетельствует о существовавшем на промежуточном этапе истории остававшегося неопубликованным сборника желании автора вывести рассказ «Бебка»

за его рамки. Возможно, это было связано с планами издания параллельно со сборником «Баранки» специального сборника рассказов о детях (см. в наст. изд. сб. «Вереница»). Однако наличие в конволюте единственного неисправленного авторского оглавления, включающего в себя название рассказа «Бебка», стало основанием для введения этого вложенного в *НРБ* текста в состав публикуемого сборника.

«*Баранки*» (тюремный сленг) – наручники. Название сборника связано с его главной темой. Реальной основой сборника «Баранки» являются эпизоды биографии Ремизова периода его участия в революционном движении в 1897–1903 гг. – времени арестов и ссылок в Пензу, Устьсысольск, Вологду. См. воспоминания писателя: «В пензенской тюрьме, отправляя меня этапом в Устьсысольск, забыли отметить “политический”; шел я пешком, “черной кареты” мне не полагалось. Меня от моих товарищей не отличали, и только на перегонах было обузно: на меня надевали “баранки” (наручники), соединяя мою правую с левой моего невольного соседа. Хорошо, коли под рост, а выдастся верзила – напрыгаешься» (*Кодрянская 1959*. С. 79). См. также в книге «Иверень»: «Исключительное внимание ко мне будет сопровождать меня до Устьсысольска: на этапах наденут наручники, а в этапе – “баранки” (наручники с рукой соседа) и в Москве в Бутырках попаду в Пугачевскую башню» (*Иверень-РК VIII*. С. 383).

При комментировании сборника «Баранки» учтены комментарии Е. Р. Обатниной (*Оказион-РК III*) и О. П. Раевской-Хьюз (*Иверень-РК VIII*).

Оплешнички

Впервые опубликовано: *БВ*. 1915. 22 марта (утр. вып.). № 14741. С. 6, под загл. «Семь бесов».

Прижизненные издания: Семь бесов // *Ремизов А.* Укрепа: Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе. Пг.: Лукоморье, 1916. С. 118–129; Оплешнички: рассказ // Моряк. 1918. № 2 (май). С. 2–5; частично, под загл. «Северные Афины. История с географией» (подглавка «Федор Иванович Щеколдин: старец») // *СЗ*. 1927. Кн. 30. С. 258–270; частично, под загл. «Вологда. 1900–1903. 1. Прощеный день» // *НРС*. 1953. 1 февр. № 14890. С. 8.

Автографы и авторизованные тексты: «Северные Афины. История с географией» (подглавка «Федор Иванович Щеколдин: старец»). – Подготовительные материалы. Автограф. 1927 // *Amherst*. B. 12. F. 32. 59 p.

Отдельных автографов рассказа «Семь бесов» не выявлено. В 1927 г. текст был частично переработан и включен в произведение «Северные Афины. История с географией» (подглавка «Федор Иванович

Щеколдин: старец»), в ходе дальнейшей переработки включенное в состав книги «Иверень» (см. текстологическую историю этой книги: *Иверень-РК VIII*. С. С. 615–618.

НР рассказа «Оплешнички» в *НРБ* – текст первой публикации в книге «Укрепа» со значительными рукописными вставками и правкой печатного текста. Название вписано вручную красными чернилами. Произведена разбивка на подглавки; изменена строфика текста.

С. 359. *Оплешнички* – Оплешник (др.-рус.) – черт.

Христосова ночь – ночь с субботы Страстной недели (Великой субботы) на Светлое Воскресение Христово.

...серебряный кремлевский ясак... – Ясак – сторожевой клич, сигнал. В православной традиции «Ясак» – прозвище колокола, звон которого дает знать, когда надо начать или прекратить благовест или звон.

Царь-колокол – отлит в 1730 г. Иваном Моториным. Не был поднят на колокольню, так как был поврежден в 1737 г. во время пожара, длительное время пролежал в земле. В первой половине XIX в. был поднят и установлен в Московском Кремле на постаменте.

Сольвычегодск – город, основан в XV в. на правом берегу реки Вычегды, притока Северной Двины. С конца XVIII в. – уездный город Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне: Котласский район Архангельской обл.). Был местом политической ссылки.

Усолье – солеварня, место для добычи и вываривания соли.

...Сухоны, Лузы, Юга и Вычегды. – Сухона – река в Вологодской области, левый крупнейший приток Северной Двины. *Луза* – река, приток реки *Юг* – правого притока Северной Двины. *Вычегда* – река, правый и самый большой приток Северной Двины.

А Сольвычегодск на полпути от той дебери печорской, где выпало на долю проводить подневольные дни Винокурову с замоскворецких Толмачей. – Образ и биография героя (Винокурова) в значительной степени имеют автобиографический характер. Ремизов родился в Москве в Большом Толмачевском переулке. В 1900 г. ему было назначено отбывать ссылку в г. Устьсысольске Вологодской губернии. *Деберь (дебрь) печорская* – здесь: глухая, малодоступная местность в пределах Печорской низменности.

...от крепкого кореня гостя московского... – отсылка к происхождению прототипа героя – Ремизова, по матери происходившего из купеческого рода Найденовых. *Гость* – здесь: купец.

...сказывали люди – лет пять назад такой слух прошел – будто уж вольный, очищенный от грехов всяких поднадзорных, попался он уж по воровскому делу и угнан под наказание. – Скрытая аллюзия на обстоятельства повторного ареста Ремизова в Пензе за организацию марк-

систского рабочего кружка. См. подробнее комм. к с. 431 наст. изд. *Воровское дело* — здесь: политическое; от древнерусского значения слова «вор» — изменник, государственный преступник.

С. 359. *...у печенгских старцев...* — Имеется в виду Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь на Кольском полуострове (совр. адрес: Мурманская обл., пос. Луостари). Самая северная в мире православная обитель, основана в XVI в. преп. Трифоном Печенгским.

С. 359—360. *...а то ~ заморенный, гнет какую-то свою линию неделовую на Неве-реке либо на своей Москве белокаменной.* — Аллюзия на новый этап биографии прототипа Винокурова — Ремизова, после окончания срока ссылки избравшего путь писателя и с 1905 г. жившего не в своем родном городе (Москве), а в Санкт-Петербурге — городе, расположенном на берегах реки Невы.

С. 360. *Костров Федор Иванович* — прототипом героя является Щеколдин Федор Иванович (1870—1919) — видный революционер, социал-демократ. После революции 1905 г. отошел от политической деятельности. Скончался в Петрограде от тифа. Был одним из ближайших друзей Ремизова, который написал ему некролог «Три могилы» (*Русалия-Росток XII.* С. 628—630). О контактах Ремизова и Щеколдина см. подробнее: *Дворникова Л. Я.* Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» // *Алексей Ремизов. Исследования и материалы 1994.* С. 231—242.

Семь бесов — отсылка к евангельской истории о грешнице, исцеленной Иисусом Христом: «Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов» (Лк 8: 2).

Был один из заключевников Шведков несчастный, глаза в жизни за работой лишился и при жене своей жил, вроде как помогал ей: если приходилось жене шитьем заниматься, машину вертел. — Прототип Шведкова — ссыльный наборщик Адольф Келза. См. в рассказе Ремизова «Адольф Келза»: «Как всем надоел: он ходил из дома в дом и рассказывал одно и то же, как в Варшаве он сидел в тюрьме и потерял глаз, а затем — что поделывают товарищи, и никогда ни про кого доброго слова, а всегда осуждал» (*Иверень-РК VIII.* С. 520).

С. 363. *...старцы богоугодные, уходившие доброй волей в пустыню...* — Здесь: *пустыня* — уединенное место для монашеского подвига отшельников. Название происходит от места расположения общин монахов-пустынников в районах Ливийской пустыни, где анахореты подвизались с IV в. н. э.

С. 364. *...дело нам делать надо было...* — идиома, означающая революционную деятельность. Восходит к метафорической лексике героев романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863).

...по лествице-то спасительной исхитрился бы куда подняться... — Лествица (лестница) Иакова — лестница, соединяющая землю и небо, явленная в видении библейскому патриарху Иакову: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт 28: 12—13). Здесь дана отсылка к памятнику аскетической литературы — сочинению Иоанна Лествичника «Лествица райская, Скрижали духовные» (VI в.), которое состоит из 30 глав, описывающих «ступени» добродетелей, по которым христианин должен подниматься на пути к духовному совершенству.

С. 364. *...дошел бы даже до «рассмотрения дел и рассуждения»...* — отсылка к тексту «Лествицы райской» Иоанна Лествичника. Ср.: «45. <...> Кто Духом Святым стяжал тишину, тому известно рассмотрение сих тонкостей. 46. Предварительное дело безмолвия есть отложение попечения о всех благословных и непозволительных вещах; ибо кто отворяет вход первым, тот, без сомнения, впадает и в последние. Второе дело — молитва без лености (т. е. псалмопение); а третье — хранение сердца неокрадываемое» (Слово 27. О священном безмолвии души и тела); «1. Рассуждение в новоначальных есть истинное познание своего устроения душевного; в средних оно есть умное чувство, которое непогрешительно различает истинно доброе от естественного, и от того, что противно доброму; в совершенных же рассуждение есть находящийся в них духовный разум, дарованный Божественным просвещением, который светильником своим может просвещать и то, что есть темного в душах других» (Слово 26. О рассуждении помыслов и страстей, и добродетелей).

С. 365. *...Костровы письма доставляли ему большое развлечение и сердцу сладкую отраву.* — Ироническая стилизация штампов романтической поэзии. Ср. в стихотворении «Любовь» Е. А. Баратынского: «Мы пьем в любви отраву сладкую...» (1824).

Федор Иванович кореня костромского... — Прототип героя — Ф. И. Щеколдин — родился в деревне Санниково Тезинской волости Кинешемского уезда Костромской губернии.

И как станет, бывало, в красный угол под вербу, — власы поджелты, брада Сергиева... — отсылка к иконописному подлиннику — канону изображения преп. Сергия Радонежского на иконах.

С. 366. *...от сорока ли сороков московских...* — Сорок сороков — фразеологизм, обозначающий многочисленность московских храмов.

Ему хотелось собрать нас беспастушных... — Ремизовское определение, характеризующее людей, обреченных в мире на существование без Божьей и человеческой помощи. Восходит к тексту драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (1886): «*Митрич.* А за вашу сестру и спросить не с кого. Так, беспастушная скотина» (Д. 4. Вариант. Сц. 2. Явл. 4). Ср.

в ремизовской характеристике пьесы Толстого: «*Власть тьмы.* <...> Что есть человек. Человек есть скотина беспастушная, самая озорная, и еще — человек это — слякоть, и еще — крот слепой, раздавленный, из тьмы от боли на небо вопиющий к Богу безответно» (Репертуар: Сборник материалов. Пг., 1919. С. 27). Ср. также использование этого концептуального определения в тексте романа-эпопеи «В розовом блеске» (*Росток XV.* С. 521, 776).

С. 366. *Семь седмиц* — семь недель (седмиц), в течение которых длится Великий пост.

Чистый понедельник — неканоническое название первого дня Великого поста.

...вместе идти на заутреню в собор к Стефану Великопермскому. — Устьсысольский (ныне Сыктывкарский) кафедральный собор во имя святителя Стефана Великопермского. Фундамент заложен в 1856 г. Нижняя церковь освящена в 1883 г., верхний храм — в 1896 г., в год 500-летия со дня кончины свт. Стефана Пермского (ок. 1340—1396), епископа Великопермского, просветителя зырян (коми).

С. 368. *Хорошо бы поспеть к Деяниям.* — Согласно Церковному уставу, в ночь Великой Субботы по полунощницы, совершающейся перед пасхальной заутреней, читается вся книга «Деяния апостолов».

Полунощница — служба суточного круга, которая совершается около 12 часов ночи. На этом богослужении происходит поминовение живых и усопших. В Великую Субботу совершается пасхальная полунощница, на 9-й песни которой плащаница с середины храма через царские врата священниками вносится в алтарь и полагается на престол, где она остается до отдания Пасхи.

С. 368—369. *Игумен и прочие священники и диаконы облачатся во весь светлейший сан ~ И тогда ударяют напрасно в канбанарии и во все древа и железная и тяжкая камбаны, и клеплют довольно. ~ И тогда ударяют напрасно во все древа и железная и тяжкая камбаны и клеплют довольно, — три часы!* — Цитаты из текста Церковного устава последовательности пасхальной заутрени. Ремизовский текст дословно совпадает с цитатами, приводимыми С. В. Булгаковым в «Настольной книге для священно-церковно-служителей» (2-е изд. Харьков, 1892. С. 568—572). Подробнее см. комментарий О. П. Раевской-Хьюз (*Иверень-РК VIII.* С. 646).

С. 369. *...по белым снегам за Печору к Железным воротам за Камень.* — «Поясовый Камень» — название одного из хребтов Уральских гор, проходящего по 60-му меридиану, который разграничивает Европу с Азией. Речь идет о пути на Урал и в Сибирь «печорским путем», получившим наименование «чрезкаменного» и проходившим в месте географического сближения бассейнов рек Печоры и Оби. «Железные Ворота» — исторический топоним, обозначавший территории на

Северном Урале и побережье Северного Ледовитого океана. В 1032 г. новгородцы ходили походом на «Железные Ворота».

С. 370. *Но если и у нас в Пассаже, у нашего придворного Орлова, где и бритва и сам автостроп действуют... — Автостроп* — имеется в виду бритва с двусторонним лезвием, запатентованная и производимая американской фирмой «Auto Strop Safety Razor Company».

С. 370. *...кто пропустит и девятый час, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся, и кто попадет лишь в одиннадцатый час, да не устрашится замедления: велика Господня любовь! Он приемлет последнего, как и первого!* — неточная цитата из Слова св. Иоанна Златоуста на Пасху (полное название «Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста»), которое звучит в православных храмах на пасхальной заутрене после того, как верующие целуют друг друга, поздравляя со Светлым праздником Пасхи — Воскресением Христовым.

Федор Иванович стоял, на себя не похож. — См. финал истории со стрижкой, имеющийся в одном из ранних вариантов книги и приведенный в комм. О. П. Раевской-Хьюз к «Иверню» (*Иверень-РК VIII*. С. 646—647): «Но этим дело не кончилось, подлинно “семь бесов”. Когда на Пасху Щеколдин Мефистофелем обходил товарищей и рассказывал о безобразии Подстрекозова, его слушали едва сдерживая смех — без смеха невозможно было глядеть на Щеколдина, но и невольно думалось, да правда ли это: невероятно, откуда такая начитанность у Подстрекозова и что все очень похоже на самого Щеколдина и не сам ли Щеколдин себя обезобразил — “религиозное помешательство”. / Ионов, преданный Щеколдину учитель словесности, записал рассказ слово в слово, помянул и Великого Государя святейшего Иова, патриарха Московского и всея Руси, автора жития последнего царя из рода Калиты Федора Иваныча, и послал в Вологду Ольге Гермогеновне Смидович, сестре Вересаева, а она брату — брат доктор — в Москву. / И Вологда, и Москва в одно слово: “религиозное помешательство”. / Отбыв Устьсысольск, Щеколдин перейдет на “нелегальное положение” и в эмиграции партийный казначей — с самим Ильичем чай пил — а до конца жизни останется: марксист, но склонный к религиозному помешательству. И в 19-м году его не сожгут, а, по-православному, со свечами похоронят в Александро-Невской лавре. / Волосы растут, кохи растут, без стеснения, и за лето Щеколдин заболотел по-старому, и от его колышка и Мефистофеля и помину не осталось. И он спросил себя, да точно ли было безобразие Подстрекозова или только наваждение» (*Bakhmeteff Archive*. 29.8.1.1. Part I, «Семь бесов». Л. 11—13).

С. 371. *Кампан* (церк.-слав.) — название колокола в славянских богослужебных книгах. Происходит от средневекового названия инструмента — campana или campanum (*лат.*).

Новый Год

Впервые опубликовано: Перевал. 1907. № 3. С. 3–11.

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 129–147; *Шиповник 3*. С. 133–150.

НР рассказа «Новый год» в *НРБ* – печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название – красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

В письме от 5 марта 1903 г. Ремизов сообщал П. Е. Щеголеву: «Послал в “Курьер” рассказ “На новый год” из Устьсысольской жизни» (*Письма Щеголева-I*. С. 170). В письме от 29 (11 апреля) 1903 г. автор спрашивал того же адресата о судьбе рассказа: «Буде охота, напишите: не отзывался ли <...> Андреев о рассказе “На новый год”» (*Письма Щеголева-I*. С. 173). Рассказ не был опубликован в газ. «Курьер» из-за его привязанности к «сезонной» тематике. См. письмо секретаря редакции газеты И. Д. Новика Ремизову от 23 ноября 1903 г.: «Из Ваших вещей у меня <...> только: “В новый год”, которая может пойти только в Новый год» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 249. Л. 34). Рассказ был принят в ж. «Перевал», о чем свидетельствует письмо редактора – С. А. Соколова Ремизову от 30 октября 1906 г.: «”Новый год” беру охотно. Только по поводу этого рассказа адресую две маленькие просьбы: нельзя ли устранить звукоподражание: “шран – трибер – питаке” и фразу: “В кучке у полки с книгами, разместившись поудобнее, тишком кусали кому-то пупок”. Исполнением двух просьб меня *чрезвычайно* обяжете» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 14). 6 декабря 1907 г. он же сообщал автору: «“Новый год” намечен для января. *Самое позднее,* – пойдет в феврале, но это – маловероятно. В январе – скорее всего» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 16). Рассказ был негативно воспринят З. Н. Гиппиус, которая в письме С. П. Ремизовой отметила: «А А<лексей> М <ихайлович> меня огорчает: смакует гадости, зачем? <...> Нехорошо он в “Перевале” написал. На себя намазал» (*Lampl H.* Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 166).

Критик К. Чуковский в статье «Вселенская тошнота», анализируя сборник Ремизова «Чортов лог и Полунощное солнце», писал: «Вот возьму для примера характернейший его рассказ – “Новый Год”. Начинается он отвратительно, и каждую минуту хочется бросить книгу <...> Ремизов не был бы поэтом, если бы *механически* вздумал связать те гнусные факты, которые бросает ему жизнь: вся его сила именно в том, что из этих фактов он создает огромный вихрь, дьявольский смерч <...> Это мировое кружение “рвотных, блевотных, тошнотных” сил – есть единственная тема Ремизова, – и здесь он <...> неоспори-

мый властелин <...> И гибнут, гибнут люди у Ремизова <...> гибнет герой “Нового Года”, гибнет Певцов из “Серебряных ложек”, гибнет “Музыкант” <...> и душа их <...> тоже гибнет, навеки <...>, их гибель, и их тоску Ремизов переживает как свою. <...> Его чадное, угарное искусство трагично насквозь, и как бы вы к этому искусству ни отнеслись, вы должны уважать его: оно рождено молитвой» (Речь. 1909. 11 янв. № 10. С. 3).

С. 371. *...новогодний сочельник...* — Сочельник — канун, навечерие праздника Рождества Христова. Здесь: канун Нового года.

Васильев вечер — в славянской традиции канун Нового года, день народного календаря, приходящийся на 13 января (31 декабря по ст. ст.). См. также комм. к с. 160.

Сиделец — ответственный приказчик в лавке.

С. 372. *...и на черта мне Маркса...* — Здесь имеется в виду посещение проводимых женщинами-ссыльными занятий по изучению марксизма, чаще всего состоящих в чтении и толковании основного труда К. Маркса — книги «Капитал».

Сдался было сапожник... — прототип героя — устьсысольский ссыльный Александр Иванович Петров. См. о нем в книге «Иверень»: «Забредший сапожник Петров, тоже ссыльный, из Вильны, лихой гармонист, на грибных ножках, запустил “Варшавянку” (Это все для безобразия!)» (*Иверень-РК VIII*. С. 415). См. также: Там же. С. 483.

Кудрин — герой наделен автобиографическими чертами А. М. Ремизова.

С. 373. *И если бы сию минуту мир провалился или — пускай мир в тар-тарары летит — ему ничего не надо.* — Отражение идей героя повести Ф. М. Достоевского «Записки из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (*Достоевский 5*. С. 174).

С. 374. *...веселые красные занавески...* — отсылка к простонародным иносказательным наименованиям борделя: «веселый» дом; дом «под красным фонарем».

Чарая — волшебная, от существительного «чары».

Ночь обтычется частыми звездами, постелется белый путь, займутся девичьи зори... — В древнеславянской мифологии «*Белый путь*» — название Млечного Пути. «*Девичьи зори*» — древнеславянское название созвездия Орион. «У нас же есть предание о трех вещих сестрах, которым, после их кончины, досталось весь век гореть тремя звездами возле млечного пути — на дороге, ведущей в царство небесное; звезды эти называются *девичьи зори*» (*Афанасьев А*. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. Т. III. С. 209, — репринт: М.: Индрик, 1994).

...наборщик Козел. — Прототип героя — товарищ Ремизова по Усть-сысольской ссылке Адольф Келза. См. о Келзе в кн. «Иверень» (*Иверень-РК VIII.* С. 476, 480, 482); также см. рассказ «Адольф Келза» (*Иверень-РК VIII.* С. 520–526). См также комм. к рассказу «Оплешнички», с. 639 наст. изд.

С. 376. *А интеллигенты ~ Бирюков знать никого не хочет, ~ тоже и Ревякина...* — Отражение авторских воспоминаний о реальном третейском «суде» ссыльных, разбиравших открытое письмо А. Келзы, обвинившего Н. П. Булича (прототип Бирюкова) и будущую жену Ремизова — С. П. Довгелло (прототип Ревякиной) в пренебрежительном отношении к товарищам-рабочим. Подробнее см. рассказ «Адольф Келза» (*Иверень-РК VIII.* С. 520–526). С. П. Ремизова-Довгелло сохранила оригинал письма, ныне находящийся в архиве А. М. Ремизова: *А. Келза.* Открытое письмо Довгелло С. П. и Буличу Н. П. — Автограф. Б. д. // *ГЛМ.* Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1268. 2 л.

...я, как рабочий человек, и потому, значит — толпа. — Отсылка к теории «героев и толпы», разработанной в 80–90-е гг. XIX в. идеологом русского народничества Н. К. Михайловским и изложенной в его статье «Герои и толпа» (1882). Согласно данной теории «толпа» поддается гипнотическому воздействию «героя» и «автоматически повинуется», подражает его действиям.

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — писатель, близкий народническому движению. Один из писателей — «учителей жизни» революционной молодежи 70–90-х гг. XIX в.

Они верили, добьются своего, победят старый мир, а на его место воздвигнут новый. — Отсылка к образности революционного гимна «Интернационал» (сл. Э. Потье (рус. пер. А. Я. Каца), муз. П. Дегейтера, 1871): «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим — / Кто был ничем, тот станет всем».

С. 380. *— Во пиру была, во беседушке...* — слова русской народной песни «Во пиру была, во беседушке...».

Сулея — бутыль с горлышком.

С. 381. *Накинув плащ, / С гитарой под полою...* — романс «Накинув плащ...» (сл. В. А. Сологуба, муз. неиз. авт.), ставший популярной студенческой песней XIX в.

С. 384. *Так всегда под новый год скот разговаривает по-человечьему.* — Согласно распространенному христианскому поверью, в ночь под Рождество животные обретают возможность говорить на человеческом языке.

Бебка

Впервые опубликовано: Курьер. 1902. 24 нояб. № 325. С. 3, за подписью: *Н. Молдаванов.*

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 75—83; *Шиповник 3*. С. 153—160; Иллюстрированный русско-американский календарь на год 1933. Филадельфия, 1932. С. 132—137, вместе с рассказом «Аленушка» под общим заголовком «Рассказы для детей».

Автограф и авторизованный текст: Бебка. — Беловой автограф. Б. д. // *РГАЛИ*. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 92; *НР Вереница I*. Л. 8 об.—11.

НР рассказа «Бебка» в *НРБ* — печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами, а также с находящейся на полях частично неразборчивой поздней дополнительной правкой. Название — красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

Историю создания и публикации рассказа «Бебка» см. в комм. на с. 664 наст. изд. См. также комм. Е. Р. Обатниной (*Оказион-РК III*. С. 594).

А. Е. Редко в рецензии на третий том Собрания сочинений Ремизова, указав на стилевое «гримасничанье» писателя, отмечал: «Если бы он способен был по-иному, просто рассказывать ту жуть, которую он чувствует, он должен бы производить тяжелейшее впечатление, так как у него есть для этого и острое чувство, и дарование. Ведь мог же он без гримас написать рассказ “Бебка”, о дружбе с ребенком, — рассказ, к которому очень подходит слово: “милый” и в котором нет никаких гримас» (Русское богатство. 1911. № 10. Отд. II. С. 155).

С. 384. *Бебка* — о прототипе главного героя см. комм. на с. 664. См. также в книге Ремизова «Иверень»: «В Красноборске др. Заливский и Любовь Семеновна и Бебка, их сын» (*Иверень-РК VIII*. С. 482); «Я закончил <...> рассказ о самом младшем нашем товарище — сын доктора Заливского, сослан в Устьсысольск с отцом — мой чудесный “Бебка”: его мать царская кормилица, здоровый мальчик, и совсем не похож на других моих приятелей косоглазых кикимор из белых ночей и крещенских вьюг» (Там же. С. 446).

Бубука — детское словечко, в дальнейшем вошедшее в авторский словарь Ремизова. См. воспоминания Н. В. Резниковой о ремизовских прозвищах его дочери: «А. М. звал Наташу Кукушка и Бубука» (*Резникова 2013*. С. 66).

С. 386. *...сапожники: Иван Онуфриевич — Д л и н н ы й и Петр Андреич — Р о г а т ы й.* — О прототипах героев см. в книге «Иверень»: «В Устьсысольске: <...> Андрей Петрович Завадский, <...> Ян Янушкевич» (*Иверень-РК VIII*. С. 403Там же. С. 482). См. также фотографию А. Завадского и Я. Янушкевича в альбоме Ремизова (*РНБ*. Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 340. Л. 23).

С. 388. *Делаю ему д о л г у ю - д о л г у ю к о з у и с о р о к у с х о л о д н е н ь к о й в о д и ц е й...* — Имеются в виду пальчиковые игры

с детьми младшего возраста. Игра «коза»: взрослый изображает пальцами «козу» и приговаривает: «Идет коза рогатая, идет коза бодатая <...> Кто каши не ест, молока не пьет, – забодает, забодает, забодает...», и показывает ребенку, как бодается коза. Игра «Сорока-белобока»: взрослый сажает ребенка к себе на колени, берет в руку его ладонь и приговаривает стишок, трогая его за пальчики: «Сорока-белобока / Где была? – Далёко! / Печку топила, кашку варила <...> / Этому дала на блюдечке (загибает мизинец), / Этому — на тарелочке (загибает безымянный палец), / Этому — на ложечке, (загибает средний палец), / Этому — поскрёбышки (загибаем указательный), / А этому – не дала! (трогает за большой палец). / Ты воды не носил, / Дров не рубил, /Каши не варил – / Ничего тебе не дам!».

С. 388. *...сказка древняя пермская о лисе и мерине...* – Источник Ремизова — зырянская сказка о Чокыре (мерине) и лисе, подробно пересказанная в статье К. Жакова «Языческое миросозерцание зырян» (*Жаков 1901*).

С. 390. *Дратва* – см. комм. к с. 238.

Казенная дача

Впервые опубликовано: *Ремизов А*. Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910 [выход из печати: не позднее 18 ноября 1909]. С. 77–88.

Прижизненные издания: *Шиповник 3*. С. 85–98.

НР рассказа «Казенная дача» в *НРБ* – печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название – красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

В 1908 г. С. А. Соколов попросил Ремизова прислать рассказ для нового предполагаемого издания «Бюро провинциальной прогрессивной прессы». См. его письмо от 17 марта 1908 г.: «Бюро провинциальной Прессы разжилось деньгами и воскресло. Весьма буду рад, если Вы пришлете рассказ строк, примерно, в 300. <...> При выборе рассказа очень просил бы принять в расчет, что это – для провинции <...> Очень был бы благодарен, если бы Вы сообщили *заранее* название рассказа, так как рассказы будут аннотироваться *заранее*» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 24–24 об.). 24 марта он благодарил Ремизова за обещание прислать рассказ: «Спасибо за “Казенную дачу”. Только присылайте *как можно* скорее. Материал будет рассылаться нами в печатном виде и потому его придется представлять в ценз<урный> комитет. Все это очень берет время. А тут на носу — пасхальный перерыв работ в типографии» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 25). 29 марта Соколов подтвердил получение материала: «“Казенную дачу” получил. Спасибо. Правда, она – несколько велика (500 строк), но зато

хороша. Пошлем ее в начале мая» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 26). На просьбу автора о высылке гонорара за «Казенную дачу» Соколов отвечал в письме от 7 апреля 1908 г.: «*Весь* гонорар вперед никоим образом выслать не могу. <...> Вчера Вам послано 50 руб<лей>. Остальные вышлем тотчас по отправке рассказа в провинцию, т. е. в середине мая» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 27). 26 мая редактор предполагаемого издания сообщал: «Остальные деньги по “Даче” отправлены одновременно» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 28). Идея нового издания осталась нереализованной, и публикация в нем «Казенной дачи» Ремизова не состоялась.

Критик Вяч. Полонский, анализируя сборник Ремизова «Рассказы» (1910), остановился на рассказе «Казенная дача» и отметил: «Пташкин поставил вопрос — а смыслом рассказа автор хочет подчеркнуть, что если и будет смысл в этом будущем свободном дне, то смысл этот лишен всякого смысла — ибо страдавшим-то Пташкиным будет разве легче от того, что когда-то — через много лет Пташкинские потомки будут наслаждаться солнцем и природой? Разумеется же нет, разумеется же, не будет — и оттого-то жизнь в целом, жизнь вообще представляется писателю безобразной, бессмысленной, бесцельной» (Всеобщий ежемесячник. 1910. № 9. С. 111). В рецензии на тот же сборник рассказов Ремизова А. Закржевский писал: «И ужас <...> забирается в сердце, <...> когда на глазах наших истлевает в цепях и муках серая тюремность обреченных и изувеченных (“Казенная дача”, “По этапу”)» (Искусство и печатное дело. 1910. № 2/3. С. 131). К. Чуковский в рецензии на тот же сборник охарактеризовал общую тему ремизовских рассказов из тюремной жизни: «Мы все рождаемся в мир, чтобы нас ласкала царевна Мымра, но всех нас пожирает зловонная змея Скарапея, — таков грустный смысл ремизовских книг. / “Вот тебе и опера!” / злорадствует Ремизов <...> То же случилось и с каким-то конторщиком Пташкиным из рассказа “Казенная дача”. <...> В рассказе “По этапу” буквально то же самое. <...> Давно уже знает Ремизов: “там наверху” всегда смеются над нами, всегда вместо дачи дают нам тюрьму; вместо оперы — участок; вместо бала — каторгу. <...> “Ерунда на постном масле”, чепуха, бестолочь, дичь, ералаш, кавардак, топотня, — вот что такое, по Ремизову, вся наша жизнь; неистовство дьявольских сил» (Речь. 1910. 14 июня. № 160. С. 3).

С. 391. *Казенная дача* — вариант идиомы «казенный дом» — тюрьма.

С. 397. *...крестом твоим жительством!* — неточная цитата из молитвы — тропаря Животворящему Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

С. 398. *Хлеб насущный дашь нам есть*! — нарочито неточная цитата из молитвы «Отче наш»: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Музыкант

Впервые опубликовано: Музыка // Северный край. 1903. 2 марта. № 56. С. 2; Опера // Всемирный вестник. 1908. № 5. С. 10—14.

Прижизненные издания: Музыка // Наша жизнь. 1905. № 10. С. 77—80; Музыкант // *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 105—111; Музыкант // Рассказы. СПб.: Прогресс. 1910 [выход из печати: не позднее 18 ноября 1909]. С. 105—111; Опера // Там же. С. 89—93; Музыкант //*Шиповник 3*. С. 69—74; Опера // Там же. С. 77—82.

НР рассказа «Музыкант» в *НРБ* состоит из объединенных печ. текстов *Шиповник 3* — рассказа «Музыкант», составившего первую часть нового текста, и рассказа «Опера», ставшего второй частью единого произведения. Соответственно при правке текста рассказа «Опера» с целью унификации произведено последовательное изменение имени главного героя.

Тематически близкие, написанные в 1900 г. рассказы «Музыкант» (первоначальные названия: «Певец», затем — «Музыка») и «Опера» основаны на воспоминаниях Ремизова о его пребывании в ссылке в г. Пенза в 1897—1898 г. Об исходной взаимосвязи двух произведений свидетельствует письмо Ремизова П. Е. Щеголеву от 22 февраля (7 марта) 1903 г. о послании тому цикла рассказов под общим заглавием «Не то»: «Посылаю Вам НЕ ТО (“Певец”, “Вор”, “Опера”), если найдете сносным, хватите куда знаете, в “Н<овый> П<уть>” едва ли примут, чересчур фельетонно» (*Письма Щеголева-I*. С. 168). Публикация цикла не состоялась и в письме от 29 марта (11 апреля) 1903 г. Ремизов просил Щеголева: «Найдете досуг, пришлите мне “Не то” для переработки» (*Письма Щеголева-I*. С. 173). При подготовке сборника «Баранки» Ремизов при минимальной правке соединил два рассказа в один. Текст рассказа «Музыкант» составил первую часть объединенного текста, сохранившего то же название, а текст рассказа «Опера» составил вторую часть единого произведения.

Критик Вяч. Полонский, рецензируя сборник Ремизова «Рассказы» (1910), подробно проанализировал рассказ «Опера» и сделал вывод: «Таких случаев много бывает в жизни. <...> Но Ремизов останавливает нас, и мы видим, что здесь не пустяк, не комизм, здесь что-то большее, и больное, и горькое. Здесь драма, трагедия — что хотите, ибо Слякину-то, душе его бедной — обида эта была, быть может, более тяжка, чем Наполеону — потеря Франции, и два дня в участке, с глазу на глаз со своим пустым сердцем, быть может, более страшны — чем

острова св. Елены. Под таким именно углом зрения и смотрит Ремизов на Слякина, и нас заставляет смотреть. Дело-то, собственно, заключается не в Слякине, и не в спектакле, а в страдании человеческом, которого так много в жизни человеческой и которое обнажено, открыто перед глазами писателя, которому последний не находит, совсем не находит никакого оправдания и в котором не видит смысла» (Всеобщий ежемесячник. 1910. № 9. С. 110). См. также отзыв К. Чуковского (комм. к рассказу «Новый Год», с. 643 наст. изд.) и анализ главной темы рассказа «Опера» в другой рецензии того же критика (комм. к рассказу «Казенная дача», с. 648 наст. изд.).

С. 404. *Околоточный (околоточный надзиратель)* — в Российской империи чиновник городской полиции, ведающий околотком (минимальной составляющей полицейского участка).

С. 406. *Полицеймейстер* (полицмейстер) — начальник полиции во всех губернских и других крупных городах Российской империи.

С. 407. *Он не виноват ~ что он близорук ~ ведь он с четырнадцати лет очки носит...* — Наделение образа героя автобиографической чертой автора. См. в книге «Учитель музыки»: «До четырнадцати лет жизнь моя была волшебная. <...> Я родился близоруким, но об этом никто не догадывался. <...> В четырнадцать лет кончился мой волшебный мир <...> доктор, освидетельствовав, попенял, чего мучили: “одиннадцать диоптрий!”, и я надел очки» (*Учитель музыки-РК IX*. С. 167–169).

С. 408. *Шаляпин Федор Иванович* (1873–1938) — оперный и камерный певец (бас).

Серебряные ложки

Впервые опубликовано: Факелы: Альм. СПб.: Кн-во Д. К. Тихомирова, 1906. Кн. 1. С. 167–177.

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 115–125; Рассказы. СПб.: Прогресс. 1910 [выход из печати: не позднее 18 ноября 1909]. С. 115–125; *Шиповник 3*. С. 55–65.

НР рассказа «Серебряные ложки» в *НРБ* — печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название — красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

Рассказ основан на реальном происшествии из времени пребывания Ремизова в ссылке в г. Пензе. См. в книге «Иверень»: «За два года моей пензенской “поднадзорной” жизни, третий не считается: “на казенной даче” <...>, я переменил тринадцать квартир. <...> То дом сгорит, то помер хозяин, то, как случай с бабушкой Ивановой, украли

у бабушки серебряные ложки...» (*Иверень-РК VIII*. С. 301). См. также подробное изложение сюжета о пребывании Ремизова на квартире у бабушки Ивановой в гл. «На курьих ножках» (*Иверень-РК VIII*. С. 388—396). Первоначальное название рассказа — «Вор». Поначалу входил в цикл «Не то» (см. комм. к рассказу «Музыкант» — с. 649 наст. изд.). В 1906 г. Ремизов пытался опубликовать рассказ под окончательным названием («Серебряные ложки») в редактируемом П. Е. Щеголевым ж. «Былое». См. письмо Ремизова к Щеголеву от 19 января 1906 г.: «Сим вручаю Вам “Серебряные ложки”. С просьбой напечатать их как можно скорее. <...> Размер “Ложек” не больше “Секретной”. Есть и общественное и психология и не фокусно. Я бы напечатал» (*ИРЛИ*. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1479—1610).

См. отзыв К. Чуковского (комм. к рассказу «Новый Год», с. 643 наст. изд.).

С. 409—410. *Полковник, который вел дело ~ А как завечерело, и говорит: «Хотите, говорит, со мною в летний театр идти?» ~ «Акт посмотрим, а там в тюрьму!» — сказал мне полковник и пошел к своему месту. И очутился я вдруг один среди тысячной толпы, ну совершенно один. ~ Гуляли. Народ расступается. Смотрит на нас. ~ вдруг полковник, оборвав на полслове, схватил меня за руку. «Идите, говорит, куда хотите, только скорее!» Я в толпу. ~ Кто-то говорит в мою сторону: «Смотрите, шпион»*. — См. финал эпизода с посещением театра в книге «Иверень»: «Народный Театр — открытая сцена. <...> Когда кончилось первое действие и все устремились к выходу, я стоял у входа, как стал, не двигаясь. <...> меня все видят, я чувствую, узнали, а подойти ко мне кто решится? Вокруг меня пустое место <...> После последнего действия вышел полковник. <...> “Я вас освобождаю, — сказал полковник, — идите”. Он повернулся и твердо пошел, не оглянется. И за ним жандарм» (*Иверень-РК VIII*. С. 387—388). Ср. также неприятную историю, произошедшую во время первого ареста Ремизова: «Со мной всегда недоразумение и путаница. <...> На демонстрации я попал в разгон <...> отправлен с городовым в Тверскую часть <...> когда пригнали других арестованных на демонстрации и я вышел к ним к столу пить чай, меня приняли за провокатора» (*Кодрянская 1959*. С. 79).

С. 413. *Шесть рублей ~ Шесть-то рублей будет он получать, когда его сошлют*. — Речь идет о государственном денежном содержании, выдаваемом ссыльным. Ср. в книге «Иверень»: «Если бы я только получал 6 р. 40, свое казенное содержание, но у меня был урок — 15 р. в месяц» (*Иверень-РК VIII*. С. 348).

С. 414. *Успенский пост* — в православии один из четырех многодневных постов в году. Длится с 14 по 27 августа. 28 августа отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Хватится старуха ~ Вспомнила о серебре, толкнулась в чулан — замка и помина нет. — Он, — кричала бабушка, — каторжник, другому некому, ограбил он меня... — Ср. в книге «Иверень»: «Бабушка хватилась: надо было подать к столу серебряные ложки — перевернула все, перевернутое нами, а ложек помину нет. Я слышал, как в закутке она <...> вычеканивала стальным басом: “Он, каторжник, кому быть!”» (*Иверень-РК VIII.* С. 395).

Эмалиоль

Впервые опубликовано: Новый журнал для всех. 1909. № 9. С. 27–47, под загл. «По этапу: Рассказ».

Прижизненные издания: *Ремизов А.* Рассказы. СПб.: Прогресс. 1910 [выход из печати: не позднее 18 ноября 1909]. С. 104–131, под загл. «По этапу»; *Шиповник 3.* С. 101–129.

НР рассказа «Эмалиоль» в *НРБ* — печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название — красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

Рассказ «Эмалиоль» основан на воспоминаниях Ремизова о реальных обстоятельствах его пересылки в 1898 г. из Пензы к новому месту ссылки (Устьсысольск) этапным порядком через тюрьмы по маршруту: Пенза — Тула — Москва — Ярославль — Вологда. От Москвы писатель шел по этапу вместе с уголовниками. См. свидетельство Ремизова: «Весной 1898 года опять меня посадили в острог, а весной 1900 года погнали *этапным порядком* через Тулу, через Москву — по Москве сквозь Бутырки в Ярославль, а через Ярославль за тысячу верст за Вологду в зырянский город Устьсысольск на 3 года под гласный надзор» (*Грачева 1993.* С. 438). См. также письмо Ремизова Г. И. Чулкову от 15/28 ноября 1911 г.: «А через Москву <...> пешком гнали с проститутками, спутали политическое дело с <1 сл. нрзб>» (Там же. С. 421). Первоначальное название рассказа — «По этапу» было заменено на окончательное название в 1911 г. при публикации в 3 томе Собрания сочинений.

В статье «Противоречия» (1910) А. Блок отметил, что такие рассказы Ремизова, как «По этапу» («Эмалиоль»), «можно считать созданиями законченными, заключенными в кристаллы форм, которые выдерживают долгое трение времени» (*Блок А. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 2010. Т. 8: Проза (1908–1916). С. 112). Критик Вяч. Полонский, анализируя сборник Ремизова «Рассказы» (1910), писал: «И сколько несчастных, раздавленных людей на страницах Ремизова. Да стоит прочесть только “По этапу”— ведь это же “Записки из Мертвого дома”, только в миниатюре, и так мастерски,

так уверенно изображает он пасынков жизни, отверженных — что, право, достаточно одного этого рассказа, чтобы признать в Ремизове большого художника. В прекрасной картине этой все так сжато, красочно, выразительно. Какая в ней масса живых, подлинных людей, изуродованных, загубленных, замордованных, и какие страшные, вопиющие истории рассказываются ими <...> О стиле г. Ремизова можно сказать только хорошее. Он выработал себе собственный, ремизовский язык, красочный и сжатый, изобилующий массой народных, живых оборотов. <...> Что ни лицо — то своеобразное, индивидуальное, и говор у каждого свой, и мысли свои, и свои повадки — и когда читаешь его "По этапу", то перед глазами проходит целая вереница живых разных, не повторяющихся, непохожих людей» (Всеобщий ежемесячник. 1910. № 9. С. 111, 113—114). См. отзыв критика А. Закржевского (комм. к рассказу «Казенная дача», с. 648 наст. изд.). См. также анализ главной темы рассказа в рецензии К. Чуковского (комм. к рассказу «Казенная дача», с. 648 наст. изд.).

С. 416. *Хлебников какой политик!* — Образ Хлебникова наделен автобиографическими чертами автора.

Ферт (простореч.) — самодовольный, развязный человек.

С. 417. *...а с уголовными идет князь. ~ Князь ~ настоящий.* — О реальном прототипе «князя» см. в книге «Иверень»: «В Туле я сидел в одной камере с князем Церетели, так он мне назвался "князь из Житомира". Взяли с какого-то бала, так он был одет блестяще. Спрашивать его было мне неловко, а тюремный дежурный мне мигнул: "ловкач!" Все дни мы не расставались и спали на одних нарах: я с бритой головой — тибетский ламаненок, а он грузинский царевич. Я к нему очень привязался; наше исконное московское пристрастие: грузинский царевич! Все в нем занимало меня: и как говорил он, для моего уха чудно, и о чем рассказывал, и где правда, где вымысел, все мне было за сказку. В Ярославле нас разлучили: меня, как "политического", заперли в одиночку, а его к уголовным. И вот на Курском вокзале мы встретились. Как я обрадовался: "Михако!" Но тут произошло то самое, что сопутствует всю мою жизнь: недоразумение. Я напомнил конвойному, что я "политический", и я сказал это очень раздельно, и на моих глазах князя, для него неожиданно, усадили в карету, как "политического", он поедет за уголовными, а меня "обаранили" с Любой: моя левая рука с ее правой в железе. <...> Любе четырнадцать, "малолетняя проститутка" <...> Я шел с Любой в шпане: впереди на каторгу, за каторжанами в роты, за ротными — шпана на поселение. И вся эта серая стена, растянувшаяся получасовым затором, двигалась без команды в ногу под равномерный перегиб кандалов, однообразно позванивая цепями» (*Иверень-РК VIII*. С. 462). Образ «Князя» —

также травестийное переосмысления образа князя Мышкина («князя Христа») из романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

Успенье — см. комм. к с. 414.

С. 418. *Казенка* — здесь: водка, купленная в казенной винной лавке.

С. 418. *Ведь это же не извозчик, это мальчик офицерский — расстрелянного офицера сын!* — Возможно, отражение в тексте обсуждавшейся в прессе судьбы сына одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 г., казненного лейтенанта П. П. Шмидта (1867—1906). 14 (27) ноября 1905 г. Шмидт поднял мятеж на крейсере «Очаков», на котором он находился вместе с сыном — Евгением (1889—1951). Когда 15 (28) ноября после морского боя с не поддержавшими восстание кораблями царского флота «Очаков» стал тонуть, подросток бросился в море. Ходили слухи, что он или утонул, или выплыл и исчез. В действительности Евгений находился под арестом 40 дней, а затем был освобожден, как несовершеннолетний.

С. 419. *Арестантов выстроили попарно и, как солдат в баню, погнали из тюрьмы на вокзал. Впереди шли в кандалах бритые каторжане, звенели цепями, за каторжанами просто уголовные в наручниках, потом пересыльные — рвань всякая.* — Ср. в книге «Иверень»: «В понедельник арестантов выстроили на тюремном дворе. Конвойные обнажили шашки и, под звяк кандалов, мы тронулись в путь: впереди, что на каторгу, за ними потише, это те, что в роты и на поселение, а за последними шпана — мелкие воры и несчастная дрянь. Я, с моим мешком, в шпане» (*Иверень-РК VIII*. С. 401).

С. 421. *...как в царские дни кричат у плошек ура.* — Царские дни — в дореволюционной России дни празднования высокоторжественных дней коронации, восшествия на престол, дней рождения и тезоименитства государя-императора, императрицы-матери, супруги, наследника престола и его супруги, а также торжественных дней рождения и тезоименитства особ царствующего дома Романовых. В «царские дни» города украшались флагами и иллюминацией.

С. 422. *...на святом острове Соловце...* — Имеется в виду архипелаг островов в Белом море — Соловецкие острова, на которых с XV в. находятся строения Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

Одесную (кн., стар.) — направо.

Ошую (кн., стар.) — налево.

...на дубе же маврийском... — Мамврийский дуб — дерево, под которым, согласно Библии, Аврааму явился Господь в образе трех ангелов (Быт 18: 4).

С. 422—423. *Эмалиоль ~ на бородавке насекомое ~ И говорит мне чей-то голос: «Имя насекомому Эмалиоль».* — Экзистенциальный об-

раз, семантически восходящий к образу Тарантула из сна Ипполита — героя романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Ср.: «Я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно *нарочно* у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад, длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что всё животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенною быстротою, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть» (*Достоевский 8*. С. 323—324).

С. 423. *Покров день* — православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы (1 (14) октября).

И вот в улыбке его и сказалось все: почему так тянет к нему и все ждут от него чуда. — Ср. описание улыбки князя Мышкина: «Улыбка его хороша» (*Достоевский 8*. С. 321).

С. 423—424. *Восстав Макарий зело рано, и иде сквозе пустыню и срете на пути беса, на камне сидяща, удом аки цепом некиим пшеницу молотящи. Искушеше, бес, преподобнаго, вопроси его: имаше ли сицевый? И изъем преподобный уд, бе бо велий зело, яко же досязати ему до пят. И возвратиться бес в место свое посрамленный, в себе дивяся бывшему. ~ И сокрушены бяху врата адовы*. — Апокрифический сюжет, связанный с патериковыми рассказами о духовных подвигах Макария Великого, Египетского (300—391) — отшельника, христианского святого, почитаемого в лике преподобного. См. вариант того же сюжета в изложении фольклориста А. Н. Нечаева: «Ну, а теперь притча. Я расскажу ее, как запомнил со слов Нечаева. Это кусочек из “Жития аввы Макария”. Но прежде надо пояснить некоторые старославянские слова. Ну “уд” — это теперь понятно. Слово “хиропонисатель” — положиться в сан, или, по-теперешнему, “хиропонисать” — “рукоположить”, то есть произвести в церковный какой-то сан... “симо и авамо” — это направо и налево. Так вот, Авва Макарий из града на Неви пошел хиропонисатися во град Иерусалим (авва — это отец). С псалмом и молитвою предстал авва Макарий пред градом Иерусалимовым. И узре он

на вратах града — беса нечистивого. Бес, зря авву Макария, вынул из портов уд свой и, поводяще им симо и авамо, рече: / — Хочешь, благословлю тебя и хиропонисаю тебя сим членом моим? / Тогда авва Макарий, достав из портов своих такожде уд свой и поводя им симо и авамо, рече нечистому: / — А хочешь ли, я сам благословлю тебя удом своим и хиропонисаю и сделаю сие преславно! Тогда бес, узре, что уд Аввы Макария бысть на два локтя горше (больше), посрамлен был. И с превеликим позором бежал с врат града Иерусалимова» (*Асадов Э. А.* Когда стихи улыбаются. М., 2015. С. 332). *Удъ* (др.-рус.) — мужской половой орган.

С. 424. *Всякое дыхание да хвалит Господа* — цитата из Псалма (Пс 150: 6).

С. 425. *Жила была мать и дочь, дочь была слепая. ~ а губы толстые...* — Пересказ сказки «Слепая невеста» (см.: Заветные сказки: Из собрания Н. Е. Ончукова / подг. и вступ. ст. В. Ереминой и В. Жекулиной. М., [1996]. С. 68).

С. 426. *Беглый* — здесь: человек, убежавший из мест заключения.

С. 427. *А палач в рубахе красной / Высоко занес топор...* — неточная цитата из русской народной песни «Казнь Степана Разина», созданной на основе одноименного стихотворения И. З. Сурикова (1877). См.: Русские песни XIX века / сост. И. Н. Розанов. М., 1944. С. 283–286. Песня исполнялась товарищем Ремизова по вологодской ссылке — П. Е. Щеголевым (см.: *Иверень-РК VIII*. С. 489).

С. 428. *Ильин день* — церковный день памяти пророка Илии и традиционный народный православный праздник. Отмечается 20 июля (2 августа).

С. 430. *...его мучило что-то неладное в этом укладе: какая-то неправда и неправильность жизни. ~ нельзя так жить ~ Надо поправить, изменить жизнь.* — См. свидетельство Ремизова об истоках его революционной деятельности: «Я почувствовал обездоленность <...> Также как в церкви перед нищими, так в фабричных спальнях и каморках мне всегда было совестно и мне хотелось поменяться: стать в ряд с нищими и подыматься с гудком на работу. <...> Горечью дунуло в меня и боль канула в мое сердце. <...> А во мне говорилось — как возможно, чтобы не замечать, и как, замечая, не почувствовать? Или самому утонуть в беде или повернуть жизнь по-другому. Как возможно все видеть и оставаться сложа руки? <...> Моя душа не принимала чужой беды» (*Кодрянская 1959*. С. 73).

С. 431. *...попались друзья, выдали.* — Отражение в тексте воспоминаний Ремизова об обстоятельствах его повторного ареста: «Деятельного революционера из меня так и не вышло. А после моего второго ареста в Пензе, где я затеял организацию пензенских рабочих и когда люди не плохие, а только слабые, выдали меня — я потом приписал

все это моей "неспособности" к таким делам» (*Кодрянская 1959*. С. 80). См. также подробнее: *Грачева 1993*. С. 426—433.

...являлась им смерть не врагом, а избавительницей доброй... — Лейтмотивный мотив поэзии Федора Сологуба. Ср. в статье 1910 г. В. Брюсова «Федор Сологуб как поэт» (1910): «В целом поэзия Сологуба — это строгие гимны во славу Смерти, избавительницы от тяготы жизни, и ее двух заместительниц — Мечты и Сна, при жизни уводящих на берега Лигоя, текущего под лучами звезды Маир» (*Брюсов В.* Собр. соч.: В 7 т. М.: Худож. лит., 1975. Т. 6. С. 289). Ср. также в стихотворение Федора Сологуба «Полон дикими мечтами...» (1893): «Где в пустой дали сияет / Утешительница-смерть» (1893).

С. 433. *Петровский парк* — пейзажный парковый комплекс в северо-западной части Москвы.

Кольд-крем — мазь для смягчения кожи лица и рук.

С. 436. *А чаю ~ Высоцкого есть.* — Имеется в виду чай фирмы «В. Высоцкий и К°», основанной в России в середине XIX в. После 1917 г. фирма прекратила свою деятельность в России.

С. 437. *А вся беда в его глазе. Ведь он близорук, и сидит без очков...* — см. комм. к с. 407 наст. изд.

Михайлов день — церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Отмечают 21 (8) ноября.

Без пяти минут барин

Впервые опубликовано: Перевал. 1906. № 1. С. 34—35.

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 165—168; *Шиповник 3*. С. 39—42.

НР рассказа «Без пяти минут барин» в *НРБ* — печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название — красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

10 сентября 1906 г. С. А. Соколов обратился к Ремизову с просьбой дать материал в новый журнал: «Выяснилась возможность начать прямо журнал <...> будет называться "Перевал" <...> Присылайте рассказ (*если возможно*, с известным отношением к общественности, хотя бы и еле уловимым. Впрочем, вполне возможно и без этого отношения» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 11—12). В письме от 20 сентября он сообщал автору: «"Без пяти минут барина" берем. Чуть смущает меня там, признаюсь, "дерьмо на лопате"» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 13) и уточнил в письме от 30 октября: «Ваш "Без пяти минут барин" пойдет в 1 №» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 14). В письме от 20 ноября С. А. Соколов сообщал: «Посылаю корректуру "Без пяти минут барина"» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 15). После

публикации в 1913 г. в ж. «Заветы» романа В. Ропшина [Б. В. Савинкова] «То, чего не было» в том же журнале появилась статья заведующего литературным и критическим отделами Р. В. Иванова-Разумника «Литература и общественность. Было или не было? (О романе В. Ропшина)», в которой утверждалось: «Плагиат, – это, конечно, вздор, о котором не стоит говорить. Но уж если говорить о “заимствованиях”, то <...> могли обвинить В. Ропшина за перенесение в роман целиком рассказа А. Ремизова “Без пяти минут барин” (Собр. соч. III, 39–42). Воображаю, как обрадовались бы литературные обвинители В. Ропшина, если бы в свое время заметили это» (Заветы. 1913. № 4. Отд. II. С. 135). Между Б. В. Савинковым и Р. В. Ивановым-Разумником возник конфликт, поскольку автор романа был оскорблен фактическим обвинением его в плагиате. В письме редактору ж. «Заветы» от 13/26 мая 1913 г. Савинков сообщал: «Я прочел статью г. Иванова-Разумника № 4 “Заветов” о моем романе. В ней г. Иванов, между прочим, утверждает, что я “заимствовал” рассказ А. Ремизова “Без пяти минут барин”. По этому поводу не могу не заметить следующего: 1. Редакции было хорошо известно, что не я заимствовал рассказ у Ремизова, а скорее, наоборот. 2. Во избежание, однако, каких бы то ни было недоразумений, я, по совету редакции, изменил в рукописи соответствующее место романа, настолько, что по утверждению редакции же, глава III-ья моего романа сохранила только внешнее сходство с рассказом Ремизова, фабула же и смысл приобрели отличное от фабулы и смысла Ремизовского рассказа, значение» (Письмо В. Ропшина [Б. В. Савинкова] Редактору ж. «Заветы» [И. И. Краевскому]. 13/26 мая 1913 / публ. В. Г. Белоуса // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 78–79). Тот же факт использования Ремизовым устного рассказа Савинкова как источника своего текста был повторен в письме автора романа редактору «Заветов» от 13 июня 1913 г.: «...г. Иванов-Разумник, как член редакции, был обязан знать то, что знали его товарищи и чего не знают читатели. В. С. Миролюбову и В. М. Чернову было известно, что о “заимствовании” в точном смысле этого слова не может быть речи: рассказ “Без пяти минут барин” записан Ремизовым в бытность мою с ним в ссылке в Вологде в 1902 г. с моих слов» (Письмо В. Ропшина [Б. В. Савинкова] Редактору ж. «Заветы» [И. И. Краевскому]. 13 июня 1913 / публ. В. Г. Белоуса // Там же. С. 79). О конфликте, связанном с рассказом «Без пяти минут барин», см.: *Городницкий Р. А.* В. Ропшин versus Иванов-Разумник: Письма Р. В. Иванова-Разумника к Б. В. Савинкову // Там же. С. 72–78). История с «обвинением в плагиате» Б. В. Савинкова также отражена в комм. Е. Р. Обатниной (*Оказион-РК. III.* С. 597).

В анонимной рецензии на третий том Собрания сочинений Ремизова отмечалось: «Пусть читатель внимательно прочтет крохотный рассказик «Без пяти минут барин», чтобы увидеть, с каким мастерством и выразительностью умеет Ремизов несколькими штрихами рисовать четкий образ» (Новый журнал для всех. 1911. № 35. С. 131).

Святой вечер

Впервые опубликовано: Слово. 1908. 25 дек. № 532. С. 2, под загл. «Святой вечор».

Прижизненные издания: *Ремизов А.* Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910. С. 94–103, под загл. «По воле»; *Шиповник 3*. С. 25–35.

НР рассказа «Святой вечер» в *НРБ* — печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название — красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

Первая публикация рассказа сопровождалась авт. комм.:

«Святой вечор — колядский припев. Колядка — рождественская величальная песня. Колядки поют под Рождество. Кое-где по деревням они и до сих пор поются тайком, так как искони преследуются православным духовенством, увидевшем в них только суеверие. И древние мотивы — отголоски седой языческой старины — замолкают. О колядках см. исследование А. А. Потебни: “Объяснение малорусских и сродных народных песен”. Варшава, 1887.

Корочун — Олицетворение навечерия Рождества. Древнерусское название Солоноворота — 12 декабря, а также Филипповок — время от 15 ноября по 24 декабря. Читателю, заинтересовавшемуся образом Корочуна, могу указать на мою книгу “Посолонь”, изд. Золотое Руно. М. 1907, в которой мною сделана попытка по старорусским поверьям представить миф о Корочуне — его участие при Рождестве Христове представлено мною в повествовании об Иродиаде в моей книге “Лимонарь”, изд. Оры. СПб. 1907, на основании румынских колядок, разработанных акад. А. Н. Веселовским в “Разысканиях в области русского духовного стиха”. СПб. 1883».

С. 440. *Святой вечер* — Рождественский сочельник.

Кутья — каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, пшена с добавлением меда или сахара. Восточные и западные славяне готовят кутью в канун Рождества Христова.

...Корочун же ~ и Христа-Младенца пустил о Рождестве к себе в хлев, когда Ирод-царъ велел избиватъ младенцев... — Ср. в легенде Ремизова «О безумии Иродиадином, как на земле зародился вихорь»: «В этот вечер — святой вечер Христос на земле родился, воссиял нощ-

ному миру мир и свет. <...> Посылает царь перебить всех младенцев от двух лет и ниже, ибо народился царь Иудейский. <...> Один жив младенец свят — один Иисус Христос. У седого Корочуна — укрыл Корочун странников, на том свете старому стократы зачтется! — у седого деда в хлеву лежит в яслях Младенец» (*Лимонарь-РК VI*. С. 5—6).

С. 441. *...или где на Островах сидеть*. — Здесь: сидеть в ресторане. *Острова* — историческое название группы из входящих в территорию Санкт-Петербурга трех островов (Крестовского, Елагина и Каменного), расположенных на севере Невской дельты, омываемых Финским заливом и рукавами реки Невы. В начале XX в. на Островах располагались дачи состоятельных петербуржцев и рестораны.

С. 444. *Вихри враждебные...* — цитата из популярной в годы Первой русской революции 1905 г. революционной песни «Варшавянка» (сл. В. Свенцицкого, рус. пер. Г. М. Кржижановского, муз. Ст. Монюшко).

На бой кровавый! — цитата из песни «Варшавянка».

С. 445. *...поезд с запасными, не попавшими на войну*. — Запасные — солдаты запасных частей и подразделений, предназначенных для подготовки, формирования и отправки в военное время на театр войны для укомплектования частей вследствие убыли в рядах полевых и резервных войск всех родов оружия. Здесь имеются в виду солдаты, не попавшие на фронт в связи с окончанием Русско-японской войны, продолжавшейся с 27 января 1904 г. по 23 августа 1905 г.

Винтиля — здесь: заковыристые ругательства.

С. 446. *Сердцелист* — ремизовский неологизм, созданный по типу неологизмов Н. С. Лескова («лесковизмов»), народный вариант иностранного слова: «социалист».

Крепость

Впервые опубликовано: Адская почта. 1906. № 2. С. 3—7.

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 153—161; *Шиповник 3*. С. 13—21.

НР рассказа «Крепость» в *НРБ* — печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название — красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

В письме 1906 г. Андрей Белый высоко оценил рассказ Ремизова: «Люблю Вас за страдания Ваши <...> Читал Вашу “Тюрьму” в “Адской почте” и очень восхищался» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 6—6 об.).

Рассказ основан на впечатлении от посещения супругами Ремизовыми Шлиссельбургской политической тюрьмы в 1906 г. Она располагалась на территории Шлиссельбургской крепости, которая была основана в XIV в.; построена в камне в XV в.; высота стен достигает

12—15 м. Крепость находится на Ореховом острове на реке Неве рядом с г. Шлиссельбург. Во время революции 1905 г. из Шлиссельбургской тюрьмы освободили всех узников. На короткое время крепость превратилась в достопримечательность и стала доступна для посещения. Однако после 1907 г. Шлиссельбургская крепость снова стала тюрьмой вплоть до Второй русской революции. В феврале 1917 г. все узники снова были освобождены. Крепость стала одним из музеев Революции. Визит в Шлиссельбургскую крепость Ремизовых был связан с посещением ими могилы их друга — эсера И. П. Каляева (1877—1905), убившего московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Каляев был казнен (повешен) в Шлиссельбургской крепости и там же захоронен. Ремизов был знаком с Каляевым со времени своего пребывания в вологодской ссылке в 1903 г. См. подробнее: *Иверень-РК VIII*. С. 441—442, 455.

С. 452. *В углу камеры висел образок Воскресения.* — Имеется в виду икона «Воскресение Христово» (иконографический тип «Сошествие во ад»). См. также воспоминания Ремизова: «Христа ведут на крестную муку — Христос — Спаситель. “Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененные и аз упокою вы”. Подпись под образом — памятная мне: такие образа висели в тюремных одиночках, от Петропавловской и Шлиссельбургской до Пересыльной тульской» (*Кодрянская 1959*. С. 103—104).

Придворный ювелир

Впервые опубликовано: Хризопраз: Худож.-лит. сб. М.: Самоцвет, 1906—1907. С. 38—44.

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 171—178; *Шиповник 3*. С. 45—52.

Автографы и авторизованные тексты: «Придворный ювелир». — Беловой автограф. Б. д. // *РГАЛИ*. Ф. 420. Оп. 3. Ед. хр. 4. 7 лл.

НР рассказа «Придворный ювелир» в *НРБ* — печ. текст *Шиповник 3* с рукописной правкой красными и черными чернилами. Название — красными чернилами. Введено цифровое деление на разделы («1», «2» и т. д.).

В первую публикацию рассказа был включен текст стихотворения «Беспокойные тучи, куда вы?» (отд. публ.: Северный край. 1903. 30 марта. № 83. С. 2). Рассказ был не принят в ж. «Перевал». См. письмо С. А. Соколова Ремизову от 20 ноября 1906 г.: «Возвращаю “Придворного ювелира”, ибо он мне не слишком нравится» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 15).

ВЕРЕНИЦА
Рассказы о свете человеческом

Автографы и авторизованные тексты: 1) Алексей Ремизов. Вереница. <Наборная рукопись сборника>. — Авториз. печ. тексты. «1912—1913. 1922. Charlottenburg» // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 198. 76 л. Далее: *НР Вереница I*; 2) Алексей Ремизов. Вереница. <Наборная рукопись сборника>. — Авториз. печ. тексты. Б. д. // *ГЛМ*. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 197. 46 л. Далее: *НР Вереница II*.

Печатается по: *НР Вереница I* с сохранением вариантов авторских написаний, орфографии, пунктуации и с исправлением опечаток.

В архиве Ремизова в *ГЛМ* (Ф. 156. Оп. 2) имеются две тетради, имеющие название «Вереница». Первая тетрадь (*НР Вереница I*), в твердом коленкоровом переплете, представляет собой макет сборника, на переплете и на корешке наклейка с надписями: «Вереница. Рассказы о детях». *НР Вереница I* — конволют, состоящий из вшитых в тетрадь печатных текстов, вырезанных из разных изданий, в том числе газет, большая часть которых наклеена на листы серой и коричневой бумаги. В *НР Вереница I* частично произведена разметка для наборщика. На авантитуле надпись: «Алексей Ремизов. Вереница. Рассказы о свете человеческом». В правом верхнем углу запись на французском языке: «Alex. Rémizov [59 Rue Chardon Lagache. Paris XVI] 120 bis Av. Mozart 5 Villa Flore». На титульном листе надпись: «Алексей Ремизов. Вереница. Рассказы о свете человеческом. [Изд. ... / Берлин / MCMXXIII]». Вверху страницы карандашом рукой неизвестного лица записано: «Titel». На шмуцтитуле вклейка с печатным эпиграфом: «Человек человеку свет». На первой странице, по-видимому, вариант оглавления, включающий рассказы «Аленушка» и «Бебка» под номерами «1» и «2». На л. 75 под текстом последнего рассказа рукописная помета автора: «1912—1913. 1922. Charlottenburg». На л. 76 рукописное оглавление с правкой.

Сборник был подготовлен к печати в Берлине, некоторые листы фиксируют типографскую разметку, на титульном листе проставлен год предполагаемого издания (1923). Однако тогда издать книгу не удалось. Работа над сборником продолжилась еще в течение длительного времени. Судя по оглавлению, по первоначальному замыслу сборник должен был состоять из 17 текстов, расположенных в следующем порядке: «Яблонька», «Аленушка», «Мурка», «Чудо», «Звезды», «Белый заяц», «Заветное», «Бабушка», «Пупочек», «Бабинька», «Жук», «Дикие», «Беда», «Белое знамя», «Странник», «Страстной огонек», «Птичка». Затем в состав сборника был включен рассказ «Бебка» (не ранее 1932 г.); часть текстов исключена («Заветное», «Ба-

бушка», «Жук», «Страстной огонек»), другим текстам изменены заглавия («Цветник» вместо «Бабинька», «Людоеды» вместо «Дикие», «Покров» вместо «Беда», «Голубь-знамя» вместо «Белое знамя»). Некоторые тексты («Аленушка», «Яблонька», «Голубь-знамя») оказались представлены двумя вариантами. В результате *НР Вереница I* приняла следующий вид: «Аленушка», «Бебка», «Яблонька», второй вариант рассказа «Аленушка», второй вариант рассказа «Яблонька» с заклеенным заглавием, «Мурка», «Чудо», «Звезды», «Белый заяц», «Пупочек», «Цветник», «Людоеды», «Покров», «Голубь-знамя», второй вариант рассказа «Голубь-знамя», «Странник», «Птичка». Окончательный вариант оглавления расставил вошедшие в сборник рассказы в таком порядке: «Бебка», «Яблонька», «Аленушка», «Мурка», «Чудо», «Звезды», «Белый заяц», «Пупочек», «Цветник», «Людоеды», «Покров», «Голубь-знамя», «Странник», «Птичка».

НР Вереница II – тетрадь в голубом картонном переплете, на лицевой стороне надпись «Вереница» и рисунок Ремизова: четыре лица в двух овалах, подпись – анаграмма. *НР Вереница II* состоит из вклеенных в тетрадь печатных текстов. На титульном листе надпись: «Алексей Ремизов. Вереница». На том же листе – рукописное оглавление с правкой. В первом варианте в оглавление под номерами 1–6 были включены тексты: «Жук», «Голубь-знамя», «Цветник», «Пупочек», «Аленушка», «Бебка». Затем под номером 5 был добавлен рассказ «Чудо». Позднее «Бебка» был заменен рассказом «Звезды», однако в оглавлении последнее изменение не отражено. Окончательный состав *НР Вереница II*: «Жук», «Голубь-знамя», «Цветник», второй вариант рассказа «Цветник», «Пупочек», «Чудо», «Аленушка», «Звезды». Эти тексты идентичны соответствующим рассказам *НР Вереница I*. Исключение составляет рассказ «Жук», не вошедший в окончательный вариант *НР Вереница I*. Поэтому в настоящем томе он дается в качестве приложения.

Сборник «Вереница. Рассказы о детях» состоит из 14 рассказов, бóльшая часть которых составляла два цикла в книге «Весеннее порошье» (СПб., 1915). В цикл «Свет немерцающий» входили: «Птичка», «Яблонька», «Аленушка», «Мурка», «Чудо», «Звезды», «Белый заяц». В цикл «Свет незаходимый» – «Бабинька», «Людоеды» (под заглавием «Дикие»), «Покров» (под заглавием «Беда»), «Голубь-знамя» (под заглавием «Белое знамя»), «Странник Божий». Рассказ «Бебка» ранее был включен в сборник «Чортов лог и Полунощное солнце» (СПб., 1908). Рассказ «Пупочек» входил в сборник «Среди мурья» (СПб., 1917). В 1920-е гг. большинство текстов публиковались в эмигрантских газетах.

В настоящем томе в примечаниях к сборнику использованы материалы Е. Р. Обатниной (*Оказион-РК III)*.

Печатается по *НР Вереница I*. В тех случаях, когда рассказ представлен двумя авторизованными вариантами, текст печатается по более позднему варианту.

Бебка

Впервые опубликовано: Курьер. 1902. 24 нояб. № 325. С. 3, за подписью: *Н. Молдованов*.

Прижизненные издания: *Чортов лог и Полунощное солнце*. С. 75–83; *Шиповник 3*. С. 153–160; Иллюстрированный русско-американский календарь на год 1933. Филадельфия, 1932. С. 132–137, вместе с рассказом «Аленушка» под общим заголовком «Рассказы для детей».

Автограф и авторизованные тексты: «Бебка». — Беловой автограф. Б. д. // *РГАЛИ*. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 92; печ. текст: НРБ; *НР Вереница I*. Л. 8 об.–11.

Публикация 1932 г. в Иллюстрированном русско-американском календаре не была учтена в персональных библиографиях Ремизова: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov / Établie par Hélène Sinany. Paris, 1978; Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902–2013) / сост. Е. Обатнина, Е. Вахненко. СПб., 2016.

Рассказ «Бебка» — одно из первых произведений Ремизова, появившихся в печати. В 1902 г., при непосредственном участии Б. В. Савинкова, рассказ был послан В. Г. Короленко, который не раз поддерживал молодых литераторов. Однако маститый писатель отрицательно отозвался о рассказе, в своем письме от 4 сентября 1902 г. он сообщал: «Очерк Ваш “Бебка”, присланный мне Вашим товарищем Б. Савинковым, я прочел. Для журнала он не подходит уже по своей миниатюрности. Написан очерк литературно, но это как будто запись слов и движений одного ребенка, не переработанная в художественный типический образ» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 249. Л. 3). После отказа Короленко Савинков отправил отвергнутое произведение Ремизова вместе со своим рассказом другому литературному мэтру — Максиму Горькому. Последний раскритиковал опусы начинающих писателей, однако переслал их в редакцию газеты «Курьер» Л. Н. Андрееву, в то время заведующему отделом беллетристики. Как вспоминал Ремизов: «Письмо из Арзамаса на имя Б. В. Савинкова, 1902 г. Отзыв Горького о наших рассказах; рукописи передала ему Л. О. Дан (Цедербаум). Горький советует нам (Савинкову и мне) заняться любым ремеслом, только не литературным: “литература дело ответственное”. И все-таки наш “хлам” отослал в Москву Леониду Андрееву. И наши забракованные рассказы появились в праздничном «Курьере»: <...> на Введение — 21 ноября <1902> — мой рассказ “Бебка”» (*Петербургский буерак-РК X*. С. 284). Подробнее об истории публикации рассказа см.: *Иверень-*

РК VIII. С. 453—454, 464—466; *Грачева А.* Алексей Ремизов и Леонид Андреев: (Введение к теме) // *Алексей Ремизов. Исследования и материалы 1994*. С. 41—45.

С. 461. *Бебка* (наст. имя: Ипполит Леопольдович Заливский, 1897—1959) — маленький сын ссыльных Леопольда Ипполитовича Заливского (1873—1961) и его жены Любови Семеновны, соседей Ремизова в Усть-Сысольске, где писатель находился под гласным надзором полиции в 1900—1901 гг. В альбоме Ремизова сохранилась фотография родителей мальчика с припиской: «На отдыхе. Др. Заливский (ссыльный), Любовь Семеновна, его жена, а у них мальчик Бебка» (*РНБ*. Ф. 92. № 340. Л. 22 об.). См. также *Иверень-РК VIII*. С. 446.

С. 461. *Дратва* — см. комм. к с. 238.

С. 462. *...в соседнюю комнату, где работают сапожники...* — реалия усть-сысольского быта. Ср.: «Я жил не один. Еще двое: пан Ян и пан Анжей, ссыльные из Вильны сапожники. Я занимал угол. <...> В моем углу полка <...> Между стеной и печкой кровать. <...> По другой стене две кровати: к окну на волю — пан Ян; к двери — пан Анжей. Между ними наш общий стол. К счастью, товарищи мои на первых порах оказались ладными, по душе тихие, не занозистые <...> Работы никакой — мастера-башмачники, тонкую обувь на холеную ногу в Вильне выделывали» (*Иверень-РК VIII*. С. 403).

Яблонька

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1913. Кн. 10. Отд. I. С. 51—54, в цикле «Свет незаходимый: Рассказы».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье*. С. 21—25, в цикле «Свет немерцающий»; Новая простая газета. 1917. 26 нояб. № 1. С. 2; Сполохи. 1922. № 12. С. 18—20; *ПН*. 1929. 23 марта. № 2928. С. 2, под загл. «Голодная пятница».

Авторизованные тексты: печ. текст$_1$ с правкой — *НР Вереница I*. Л. 12—16; печ. текст$_2$ — *НР Вереница I*. Л. 21—26.

Печатается по печ. тексту$_2$ *НР Вереница I*.

В *НР Вереница I* имеется два варианта текста. Первый, на Л. 12—16, имеет правку. Второй вариант (Л. 21—26), более поздний, учитывает эту правку.

С. 467. *Обухов мост* (вариант: Обуховский) — мост через Фонтанку в створе Московского (ранее Царскосельского) проспекта, один из старейших мостов Петербурга.

С. 469. *Давно-ль вы ее приобщали?* — Приобщать, причастить — совершить над кем-то таинство Святого причащения.

С. 470. *...на паровой конке...* — Линия паровой конно-железной дороги пролегала от Знаменской площади до часовни Скорбящей Божией Матери (см. ниже) и далее до деревни Мурзинки.

...от Скорбящей... — Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость на Стеклянном заводе, находившаяся на Шлиссельбургском (ныне Обуховской Обороны) проспекте, 24. Построена в 1898 г., снесена в 1932 г.

Аленушка

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 3. Отд. I. С. 112—115, в цикле «Свет немерцающий».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье*. С. 26—29, в цикле «Свет немерцающий»; Дни. 1923. 6 мая. № 156. С. 9, в цикле «Из книги “Человек человеку свет”» вместе с рассказом «Звезды»; Иллюстрированный русско-американский календарь на год 1933. Филадельфия, 1932. С. 129—132, вместе с рассказом «Бебка» под общим заголовком «Рассказы для детей».

Авторизованные тексты: печ. текст$_1$ — *НР Вереница I*. Л. 7—8 об.; печ. текст$_2$ с правкой — *НР Вереница I*. Л. 17—20; *НР Вереница II*. Л. 40—44.

В наборной рукописи *Вереница I* имеется два варианта текста: 1) вырезка из Иллюстрированного русско-американского календаря (1932). Л. 7—8; 2) газетная вырезка с авторской правкой (Л. 17—20). В настоящем издании печатается по второму тексту.

Прототипом Аленушки, по предположению Е. Р. Обатниной, послужила племянница Р. В. Иванова-Разумника Елена Николаевна Оттенберг (1906—1965) (см.: *Оказион-РК III*. С. 618).

С. 471. *Вся стена у меня в игрушках.* — Реалия ремизовского быта: «Игрушки появились у меня с “Посолони”. Московский психиатр доктор Певзнер затеял “Посолонью” вернуть душевный покой у одной здравомыслящей, впавшей в “изумление ума”: на нее напала тоска, перед ней копошились и мучили ее чудища. По предписанию доктора она должна была сделать куклы упоминаемых в Посолони сверхъестественных существ. За несколько месяцев увлекательной работы образы Посолони обернулись в чудища-куклы. Видения, мучившие больную, ушли, и тоска рассеялась. С игрушек была сделана копия, и со стены перед моим столом глянул — весь мир “Посолони”» (*Кодрянская 1959*. С. 119).

С. 472. *Я подал ей лягушку, слона ~ стракуна, змею-скоропею, белого зайца.* — Ср.: «В правом углу длинная, сухая, точно вяленая, черная фигурка, с мягкой, доброй мордочкой, в роде лошадиной. Это — “До-

римедошка, прости Господи”. <...> Вот дальше — замусленный, затертый “Заяц-Малиновые усы”. “Сколько он ночей с ребенком спал, сколько ему сказок рассказывал!” <...> Вот — Лиса певучая, Заяц-единоух, Медведь, что Зайчику Иванычу хвост отъел и усы малиной вымазал. <...> вот Змея-Скоропея» (<*Измайлов А.*> В волшебном царстве. — А. М. Ремизов и его коллекция // Огонек. 1911. № 44. С. 10—11). О коллекции игрушек Ремизова в разные годы вспоминали многие знакомые писателя. По свидетельству Н. Кодрянской, игрушки «приходили со всех концов света и до какого-то срока жили с ним, пока он их не раздарит. <...> Но всегда снова появлялись новые <...> его “стрекуны”, “вергуны”, “ногопрыги”, “рукомахи” и “носочуи”» (*Кодрянская 1959*. С. 120). Также см. об этом: *Кожевников П.* Коллекция А. М. Ремизова: (Творимый апокриф) // Утро России. 1910. 7 сент. № 243. С. 2; *Резникова 2013*. С. 95).

С. 472. *...когда человек давал имена зверям.* — Ср.: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт 2: 19—20).

С. 473. *Ветер по морю гуляет / И корабель подгоняет...* — искаженные строки из «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет / И кораблик подгоняет; / Он бежит себе в волнах / На поднятых парусах» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. IV. С. 322).

Мурка

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 3. Отд. I. С. 109—112, под загл. «Котенок» в цикле «Свет немерцающий: Рассказы».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье*. С. 30—33, в цикле «Свет немерцающий».

Авторизованный текст: печ. текст с правкой — *НР Вереница I*. Л. 27 об.—29.

В *НР Вереница I* имеется незаконченная правка.

С. 475. *У меня есть два маленьких приятеля: Иринушка и Кира, брат с сестрою.* — Дети художника Б. М. Кустодиева Ирина (1905—1981) и Кирилл (1903—1971). Ремизова связывали с художником дружеские отношения, Кустодиев неоднократно работал над портретами писателя, в том числе скульптурным. Дочь художника вспоминала: «Часто бывал у нас писатель А. М. Ремизов. Того мы, дети, побаивались. Небольшой, мохнатые волосы, торчащие над высоким лбом, бо-

рода. Он рассказывал страшные сказки про чертиков, приносил нам игрушки, сделанные из коры деревьев, из мха. У него дома было веретено, которое нельзя было трогать, так как если об него уколешься — заснешь на сто лет, как царевна в сказке. Жил он на Таврической улице, в квартире полумрак, все таинственно, страшно, говорил тихо, значительно...» (*Кустодиев.* С. 318). 1 декабря 1912 г. Ремизов сообщал Б. М. Кустодиеву о выходящем в журнале «Заветы» рассказе «Мурка»: «О Иринушке написал рассказ. Пришлю оттиск <...> Иринушке и Кире по поклону» (*ГРМ.* Ф. 26. Ед. хр. 34. Л. 16).

Из Теремка костромского пришло это печальное известие... — «Терем», дом-мастерская Кустодиева, построенный им в 1905 г. близ деревни Маурино Костромской губернии. По свидетельству Ирины, дочери художника, «в "Тереме" написан и мой портрет с собакой Шумкой <...> Шумка жил там постоянно, сопровождал папу на охоту. <...> (Шумку потом зимой съели волки; мы долго о нем вспоминали и горевали о его печальном конце...)» (*Кустодиев.* С. 316).

С. 475. *Курнопятка* (Данковский у. Рязанской губ.) — курносая (Словарь русских народных говоров. Л., 1980. Вып. 16. С. 137).

С. 476. *...от Покрова до Мясной улицы два шага...* — Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне (1798—1803, архитектор И. Е. Старов) находился на Покровской площади (ныне пл. Тургенева). Снесен в 1936 г. На Мясной улице, д. 19, кв. 29, проживал Борис Михайлович Кустодиев.

Чудо

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 3. Отд. I. С. 105—107, в цикле «Свет немерцающий: Рассказы».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье.* С. 34—36, в цикле «Свет немерцающий»; Дни. 1923. 29 апр. № 151. С. 9, в цикле «Из книги "Человек человеку свет"» вместе с рассказом «Пупочек».

Авторизованные тексты: *НР Вереница I.* Л. 30—32; *НР Вереница II.* Л. 36—39.

С. 478. *...у Гостиного.* — То есть у Гостиного двора (в настоящее время: Большой Гостиный двор. Невский пр., д. 35).

С. 479. *Около Николаевского вокзала у Знаменья...* — Теперь — Московский вокзал Октябрьской железной дороги (Невский пр., д. 85). Знаменская церковь — церковь во имя Входа Господня в Иерусалим на Знаменской площади (ныне пл. Восстания). Разобрана в начале 1941 г.

Повернули на Суворовский... — Суворовский проспект пролегает от Невского пр. до пл. Пролетарской Диктатуры (до 1918 г. — Лафонская площадь).

С. 480. *...до последней остановки до Охты — до перевоза доехал...* — В рассказе описывается маршрут трамвая № 13, курсировавшего от Покровской площади (ныне пл. Тургенева) по Садовой улице, Невскому проспекту, Знаменской площади, Суворовскому проспекту до Пальменбахской улицы (ныне ул. Смольного). Здесь находился перевоз на Охту (нынешний адрес: Смольная набережная в створе Смольной улицы).

Звезды

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 3. Отд. I. С. 107—109, в цикле «Свет немерцающий: Рассказы».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье*. С. 40—42, в цикле «Свет немерцающий»; Дни. 1923. 6 мая. № 156. С. 9, в цикле «Из книги “Человек человеку свет”» вместе с рассказом «Аленушка»; *НРС*. 1957. 23 июня. № 16066. С. 2, с портретом Ремизова, работы худож. Борисова. Юбилейный номер газ. по случаю 80-летия писателя.

Авторизованные тексты: *НР Вереница I*. Л. 33—34; *НР Вереница II*. С. 45—46.

Рассказ написан под впечатлением от случайной встречи в трамвае, 20 октября 1912 г. Ремизов записал в дневнике: «В трамвае встретил мальчика: глаза, как звезды» (*ИРЛИ*. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 17 об.).

С. 481. *...по Бассейной с Михайловской.* — Бассейная улица — ныне ул. Некрасова. Михайловская ул. соединяет Невский проспект с площадью Искусств (ранее Михайловской). По этим улицам пролегал трамвайный маршрут № 4, проходивший далее по Суворовскому проспекту до Охтенского моста.

Белый заяц

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 3. Отд. I. С. 115—118, в цикле «Свет немерцающий: Рассказы».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье*. С. 43—46, в цикле «Свет немерцающий»; *НРС*. 1957. 9 дек. № 16234. С. 8 <посмертная публикация>.

Авторизованный текст: печ. текст с правкой — *НР Вереница I*. Л. 35—36 об.

Рассказ подвергся стилистической правке, язык повествования стал более лаконичным, исключено наименование старичка генералом, изменено графическое оформление текста.

С. 484. *...заезжал помолиться к Ефросиний Полоцкой...* — Евфросиния Полоцкая, преподобная (Предслава Святославична; между 1100

и 1104–1173 (или 1167?)) – инокиня и просветительница периода Полоцкого княжества, основательница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Скончалась во время паломничества в Иерусалим, в 1187 г. перезахоронена в Киево-Печерской Лавре. В 1910 г. состоялось торжественное перенесение мощей в Спасо-Евфросиниевский монастырь Полоцка. Память 23 мая (5 июня).

С. 485. *...его непременно изобразили бы с зайцем, как в житиях затворников пишут.* – По традиции на иконах некоторых святых изображены животные, о контактах с которыми повествовалось в житиях. Например, преподобного Герасима (V в.) изображали со львом, преподобных Сергия Радонежского (XIV в.) и Серафима Саровского (XIX в.) – с медведем.

Пупочек

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 3. Отд. I. С. 102–105, в цикле «Свет немерцающий: Рассказы».

Прижизненные издания: *Среди мурья.* С. 69–73, в цикле «Среди мурья и неурядицы»; Дни. 1923. 29 апр. № 151. С. 9, в цикле «Из книги “Человек человеку свет”» вместе с рассказом «Чудо».

Авторизованные тексты: *НР Вереница I.* Л. 37–40; *НР Вереница II.* Л. 32–35.

О сокрытой в образе мальчика Юры аллюзии на религиозного философа, литературного критика, публициста В. В. Розанова (1856–1919) см.: *Обатнина Е. Р.* «Магический реализм» Алексея Ремизова // *Оказион-РК III.* С. 588–589.

С. 485. *...учитель Василий Васильевич...* – Прямое указание на Василия Васильевича Розанова.

С. 486. *Винная ягода* – сушеные плоды инжира.

С. 487. *...показывал мне какие-то новенькие копейки...* – Намек на увлечение Розанова нумизматикой.

Цветник

Впервые опубликовано: Ежемесячный журнал. 1914. № 1. С 42–44, под загл. «Бабинька» в цикле «Весеннее порошье: Рассказы» вместе с рассказами «Заветные сказки» и «Боченочек».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье.* С. 55–59, под загл. «Бабинька» в цикле «Свет незаходимый»; Студенческие годы. 1923. № 4 (8). С. 8–11, в цикле «Из книги “Человек человеку свет”» вместе с рассказом «Покров»; *НРС.* 1957. 21 апр. № 16003. С. 2, под загл. «Райский яблочек».

Авторизованные тексты: печ. текст с правкой — *НР Вереница I.* Л. 41—47; *НР Вереница II.* Л. 19—24; *НР Вереница II.* Л. 25—31.

С. 488. *...одна древняя старушка...* — Имеется в виду Анисья Алексеевна Ладыгина (1820—16.V.1911). О ней см. также рассказ «Крест» (*Россия в письменах XIII.* С. 43—44).

С. 491. *...с лицом главы адамовой...* — Адамова голова — изображение человеческого черепа, символизирующее освобождение от смерти и спасение в христианском смысле. Здесь: обтянутое кожей лицо старого человека.

...Божье-то есть в человеке, подобие-то Божье... — Христианская теология различает образ Божий как неотъемлемое, хотя и ежечасно оскверняемое достояние, и подобие Божие, которое утрачено человеком в состоянии греха и поставлено перед ним как идеал и цель его усилий: низшая природа человека должна до конца принять форму, налагаемую на нее «умом» человека, а «ум» — форму, налагаемую Богом (см.: Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2001. Т. 1).

С. 491. — *Рожок антихристов!* — Здесь в значении: еретик, богоотступник. Ср. в послании дьякона Феодора: «несть царь, братие, но рожок антихристов» (Письмо дьякона Федора к семье протопопа Аввакума // *Барсков Я. Л.* Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. С. 69). В православном толковании под «рогом антихриста» понимается царь-богоборец (Дан 7: 8: «Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог... и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно»).

Ильин день — 20 июля (2 августа), день памяти пророка Илии и традиционный народный праздник у славян. В славянской народной традиции Илья — повелитель грома, небесного огня и дождя, поэтому в ночь на Ильин день ожидались грозы. Считался календарной границей лета, когда появляются первые признаки осени, меняется погода.

Людоеды

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1913. Кн. 10. Отд. I. С. 57—60, под загл. «Дикие» в цикле «Свет незаходимый: Рассказы».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье.* С. 68—72, под загл. «Дикие» в цикле «Свет незаходимый»; Сполохи. 1922. № 12. С. 16—17.

Авторизованный текст: *НР Вереница I.* Л. 48—51.

С. 492. *Людоеды* — Ремизов использует обывательское представление о жителях Океании как о людоедах. Мотив встречи с «папуасами-людоедами» затрагивался ранее в романе «Пруд» (1905), рассказе «Галстук» (1911).

...показывался живой дикий страус ~ яйцо страусово — шестьдесят пудов весит! — Ремизов рассказывал об этом событии П. Е. Щеголеву в письме от 21 мая 1902 г.: «Привезли в Вологду страуса и до сих пор еще висит афиша; содержания точно не помню, говорится что-то об яйце в 40 пуд и о том, что съедает этот страус ежедневно по 15 ф<унтов> камней; особенно приглашаются вологодские дамы, чтобы, глядя на страуса, расширить свои знания, ибо на шляпы идут страусовые перья» (*Письма Щеголеву I.* С. 131).

...Фиандра какой-то... — Ремизов дает своему персонажу имя реального лица — Эдуарда Фиандра (Eduard Fiandre), владельца пансиона в Фунэ (Швейцария), где Ремизовы прожили с 30 мая (12 июня) по 19 июня (2 июля) 1913 г. (*ИРЛИ.* Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 1).

С. 493. *...в Петербурге я наткнулся на объявление ~ показывают диких людей, папуасов, которые людей едят!* — В мае 1912 г. в Петербурге открылся «Луна-парк» (Офицерская ул., 39; ныне ул. Декабристов). Одним из «аттракционов» увеселительного парка служила «Деревня сомалийцев». Здесь привезенное африканское племя демонстрировало особенности своих обрядов и быта. Петербургские газеты называли его «Гвоздем Луна-Парка». Отрицательное отношение к этому представлению как к издевательству над людьми, содержащимися в нестерпимых условиях, неоднократно высказывалось в печати. См., например: Петербургская газета. 1912. 23 мая. № 139. С. 5; 5 июля. № 182. С. 3.

С. 493. *Людоеды скакали и сигали на эстраде и луки натягивали, представляя, будто стреляют в публику...* — Ср. в рассказе «Галстук»: «...дикие, приняв его, должно быть, за своего бога, натянули луки, выпустив свои стрелы, и став из маленьких огромными, как Петр Великий, пустились так неистово прыгать по-кенгуручьи и так зарычали вепрем, что публика, давай Бог ноги, скорее к двери» (*Оказион-РК III.* С. 493—494).

С. 494. *И когда все было показано и рассказано, старший людоед кротко так приподнял свой пояс.* — Ср. в романе «Пруд»: «...дикие стали показывать <...> свои украшения и какие-то подозрительные кабаньи хвосты, которыми были увешаны их руки, а потом подняли свои кокосовые пояса, и название при этом сказали, и так серьезно, так наивно, что никому стыдно не было и никто не хихикнул...» (*Пруд-РК I.* С. 98).

Покров

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1913. Кн. 10. Отд. I. С. 54—57, под загл. «Беда» в цикле «Свет незаходимый: Рассказы».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье*. С. 73—76, под загл. «Беда» в цикле «Свет незаходимый»; Студенческие годы. 1923. № 4 (8). С. 8—11, в цикле «Из книги "Человек человеку свет"» вместе с рассказом «Цветник».

Авторизованный текст: *НР Вереница I*. Л. 52—55.

С. 496. *...в Петербурге ~ цветы продавали во всякую пользу...* — Идея проведения «Дней цветков» принадлежала Европейской Лиге по борьбе с чахоткой при Международном обществе Красный Крест. В России они проводились с 1911 г. Средства собирались для больниц и приютов, обществ помощи бедным и т. п. Сборщиками, как правило, были лица не моложе 17 лет, прилично одетые, с именной карточкой и особым жетоном. Деньги опускали в специальные кружки, взамен выдавался цветок. Это могли быть бумажные белые ромашки, букетики вереска и т. д. Например, 26 апреля 1912 г. в Петербурге проводился день Розового цветка в пользу Общества попечения о бесприютных детях.

С. 497. *...к Калинкину мосту...* — Местность в районе Старо-Калинкина моста в устье Фонтанки и Мало-Калинкина моста при впадении канала Грибоедова (бывшего Екатерининского) в Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

На Садовой... — Садовая — улица, проходящая полукольцом вокруг центральной части Санкт-Петербурга; начинается у Михайловского замка и заканчивается недалеко от устья реки Фонтанки.

...за Сенной... — Сенная площадь расположена на пересечении Московского проспекта и Садовой улицы Санкт-Петербурга. Название получила в конце XVIII в. по рынку, где торговали сеном, соломой и дровами.

...у Спасской части... — до февраля 1917 г., Спасская часть — часть города, ограниченная рекой Фонтанкой, Мойкой, Крюковым каналом, по преимуществу торговая. В настоящее время входит в состав Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

У Покрова... — Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне. См. также комм. к с. 476.

Голубь-знамя

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 11. Отд. I. С. 3—7, под загл. «Белое знамя» в цикле «Свет незаходимый».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье*. С. 77—81, под загл. «Белое знамя» в цикле «Свет незаходимый»; Париж накануне войны в монотипиях Е. С. Кругликовой: [Сб.]. Пг.: Унион, 1916. С. 69—72, под загл. «Белое знамя».

Авторизованные тексты: печ. текст$_1$ с правкой — *НР Вереница.* Л. 56—60; печ. текст$_2$ с правкой — *НР Вереница I.* Л. 61—63; *НР Вереница II.* Л. 13—18.

Печатается по печ. текст$_1$ *НР Вереница I.*

В рукописи рассказа названия парижских достопримечательностей были приведены по-русски и по-французски. В первой публикации, по рекомендации Л. Гуревич, заведовавшей литературным отделом «Русской мысли», Ремизов исключил французские названия. Однако позднее они были возвращены. Об истории первой публикации рассказа см.: *Оказион-РК III.* С. 623—624 (комм. Е. Р. Обатниной).

С. 500. *...впервые попал я в Париж...* — В первый раз Ремизовы побывали в Париже в 1911 г., с 22 апреля (5 мая) по 21 июня (4 июля).

П а л э — *фр.:* palais.

О т е л ь — *фр.:* hôtel.

Большие Бульвары — Grands Boulevards — название восьми улиц, тянущихся вереницей от церкви Мадлен до пл. Бастилии и образующих одну большую оживленную улицу. Проложены в конце XVII — начале XVIII в. на месте старых крепостных стен. Являлись средоточием светской жизни Парижа.

С. 500. *...туфельки из перьев ~ семьдесят пять тысяч франков цена!* — В письме Блоку из Парижа от 8 мая (25 апреля) 1911 г. Ремизов сообщал: «Есть тут, в Париже, в магазине выставлены туфельки из перышек маленькой птички колибри, стоят 4000 frs. Собственными глазами видел» (*Блок.* Кн. 2. С. 92).

Notre Dame — Собор Парижской Богоматери (фр. Notre Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа (1163—1345). Современный адрес: Place Jean-Paul II, Paris.

Химеры — первоначально: чудовища греческой мифологии, существа, имеющие голову льва, туловище козы и хвост змеи. В Средневековье химерами называли гаргулий (*фр.* gargouille) — в готической архитектуре каменный или металлический выпуск водосточного желоба, чаще всего скульптурно оформленный в виде гротескного персонажа и предназначенный для отвода стока от вертикальных поверхностей ниже свеса кровли.

...под Яковой башней... — Башня Сен-Жак (*фр.* Tour Saint-Jacues) высотой 52 м в стиле «пламенеющей» готики (закончена в 1523 г.), бывшая колокольня не сохранившейся церкви Сен-Жак-ла-Бушери. Сама церковь была разобрана на камни в 1797 г. Современный адрес — Square de la Tour Saint-Jacques, Paris.

Клюни — (фр. Musée de Cluny) Государственный музей Средневековья — термы и особняк Клюни — парижский музей в центре Латин-

ского квартала (5-й округ Парижа), обладатель одной из самых значительных в мире коллекций предметов быта и искусства средневековой эпохи. Основан в 1843 г. Расположен в «отеле Клюни» — средневековом особняке XV в. Современный адрес: 6, place Paul Painlevé, Paris.

В камне своя цена есть, сила ~ ни сжечь, ни извести нельзя! — Ср.: в письме к Блоку от 11 июля (28 июня) 1911: «Ни гор, ни озер я не люблю. Я камни люблю, серые камни» (*Блок.* Кн. 2. С. 96).

...в мае там всякий вечер всенощную служат в честь Божьей Матери... — В католической Церкви месяц май посвящен Деве Марии и носит название «богородичный месяц». Его истоки восходят к древнеримскому обычаю проведения в мае так называемых «флоренталий» в честь богини Флоры. В средневековье Церковь вытесняла прежние празднования и заменяла их христианскими. Стремление изгнать языческий обычай соединилось с элементами рыцарского почитания Марии как «прекраснейшей Дамы», что привело в западном христианстве к посвящению Богоматери этого весеннего месяца.

С. 501. *Вышел я на улицу ~ это от убитости моей все стало таким, враждебно все!* — Ср.: «На старом месте живем, по-старому часы бьют, по-старому — по-прежнему к С<вятому> Сюльпису на вечернюю службу и на утреннюю ходим. И так ходил по улицам, словно в Москве, где так все знакомо, ногами убито, расслежено. А не то, все не то (кроме St. Sulpice'а). Бульвары крикливы, кафе пошлы. Ни разу в кафе не зашел, не могу. И совсем другое в глаза лезет — людей вижу, тесноту вижу. Тяжело как живется, ой, как тяжело — и это вижу. Ну, вот, не тот Париж, не о том я вспоминал Париж. В этом наберешься много, только не покою» (письмо к Блоку от 25 мая (7 июня) 1913 (*Блок.* Кн. 2. С. 116)).

Таганка — историческое название местности в Москве между реками Москвой и Яузой, в окрестностях Таганской площади.

Мурин — арап, чернокожий.

Кофе-о-ле — *фр.:* café au lait.

С. 502. *Только что прошел «Праздник Господен»...* — Господские праздники — дни годового богослужебного цикла, в которых особо торжественно прославляется Господь Иисус Христос в связи с воспоминаниями о событиях Его земной жизни. В католической Церкви на май месяц могут приходиться такие Господские праздники, как Вознесение Господне (лат. Ascensionis Domini) и Пятидесятница (лат. Pentecoste), даты празднования которых зависят от пасхального цикла.

Дарохранительница — (*лат.* Tabernaculum) в католической Церкви — место, где постоянно хранятся Св. Дары. Находится в центре алтаря, представляет собой своего рода шкаф с дверцей, который может быть увенчан киворием (алтарной сенью) в виде навеса на четырех колоннах. Здесь Ремизов, по-видимому, имеет в виду дароносицу (*лат.*

Monstrantia), представляющую собой священный сосуд для торжественного выставления евхаристического Тела Христова и для несения Св. Даров во время процессий.

...девочки (причастницы), покрытые фатой... — В католической Церкви первое причастие совершается после катехизации детей 9—10-летнего возраста и отмечается как праздник. Обычно это происходит в мае месяце. По традиции девочек-причастниц одевают в белое платье, символизирующее чистоту и непорочность, иногда с фатой.

Услышал я звон в St. Sulpice ~ всякий вечер когда-то я слышал его... — В письме от 1 июля (18 июня) 1911 г. Ремизов делился своими впечатлениями с Блоком: «Хотел вам написать, как ходил на вечерние службы в St. Sulpice, как в пасмурные дни слушал с каким-то сердечным замиранием колокольный звон, но ничего не выходило: не выходили слова в те минуты» (*Блок.* Кн. 2. С. 94).

St. Sulpice — церковь Святого Сульпиция в VI округе Парижа, близ Люксембургского сада, построена в 1646—1777 гг. в стиле классицизма, архитектор Дж. Сервандони.

...словно у нас на «двенадцать евангелий», на Страсти. — Служба «Двенадцати Евангелий» — великопостное богослужение, совершаемое вечером Страстного Четверга и представляющее собой утреню Великой Пятницы. Чтение 12-ти Страстных Евангелий составлено из текстов всех четырех евангелистов. Предваряется и сопровождается соответствующим их содержанию пением: «Слава долготерпению Твоему, Господи», возвещается благовестом, выслушивается верующими при возженных свечах.

С. 502. *...голубь-знамя Богородицы.* — Хоругвь с изображением Девы Марии. После принятия догмата о Непорочном Зачатии Девы Марии (1854) белый цвет, символ чистоты и девственности, стал иконографическим цветом Богоматери. Голубь — воплощение Святого Духа.

С. 503. *Люксембургский сад* — дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа, бывший королевский, а ныне государственный дворцовый парк в парижском Латинском квартале, площадью в 25 гектаров. Основан в 1612 г.

Paris Soir — ежедневная газета, выходившая в Париже с 1923 по 1944 г. В первой публикации в ж. «Заветы» и в сб. *Весеннее порошье* название газеты было «Биржевая».

С. 504. *...на холм к «Святому Сердцу»...* — Базилика Сакре-Кёр (*фр.* Basilique du Sacré-Cœur) — католический храм (1875—1914; архитектор Поль Абади), расположенный на вершине холма Монмартр, самой высокой точке Парижа (130 м).

Странник

Впервые опубликовано: Заветы. 1913. Кн. 11. Отд. I. С. 11—16, под загл. «Странник Божий» в цикле «Свет незаходимый».

Прижизненные издания: *Весеннее порошье.* С. 82—89, под загл. «Странник Божий» в цикле «Свет незаходимый»; Перезвоны. 1927. № 39. С. 1244—1246.

Авторизованный текст: печ. текст с правкой — *НР Вереница I.* Л. 63 об.—67.

С. 506. *...чай с нерабелью...* — Правильно: мирабель — сорт сливы с мелкими плодами желтого цвета.

Волостной старшина — в России выборное должностное лицо сельского управления второй половины XIX — начала XX в. Возглавлял волостной сход. Избирался на три года сходом, утверждался мировым посредником и земским начальником. Обладал административно-полицейской властью.

С. 507. *Семитка* — устаревшее название двухкопеечной монеты. Произошло в результате денежной реформы 1840-х гг. Двухкопеечная монета — грош, которая равнялась дореформенным 7 коп., стала называться семиткой.

С. 507. *...в духовной...* — Духовная грамота — до XVIII в. письменно оформленное завещание.

С. 509. *...о старцах расспрашивал...* — В православной традиции старчество — вид иноческой активности, связанной с духовным руководительством. Старец — монах, являющийся духовным наставником и руководителем верующих или других монахов.

...перешел разговор к тем лицам, шумевшим за последние годы по России за свою святость... — Вероятно, имеются в виду лидеры сектантства, собиравшие вокруг себя большое число последователей в начале XX в. См., например, газетные заметки о проповедях о. Илиодора (С. М. Труфанова): Утро России. 1910. 16 апр. № 124. С. 1. См. о нем также: *Взвихренная Русь-РК X.* С. 93, 450.

Птичка

Впервые опубликовано: *Весеннее порошье.* С. 13—20, в цикле «Свет немерцающий».

Прижизненные издания: Новый огонек (Берлин). 1923. № 3.

Авторизованный текст: *НР Вереница I.* Л. 68—75.

В *НР Вереница I* авторизованный текст представляет собой вырезку из ж. «Новый огонек» (Берлин). Сведения об этой публикации

в библиографических справочниках отсутствуют. 11 июля 1923 г. Ремизов сообщал жене, находившейся в это время на лечении в Bad Kudova (ныне Кудова-Здруй (Kudowa Zdroj) Польша)): «Получил гонорар через В. Шкловского за “Птичку” (“Новый огонек”). Взяли только один этот рассказ» (*Ремизов А. М.* На вечерней заре. Глава из рукописей; Письма к С. П. Ремизовой-Довгелло / подг. текста Е. Р. Обатниной и А. С. Урюпиной; комм. Е. Р. Обатниной // Литературный факт. 2019. № 1 (11). С. 42). Текст представлен в поздней редакции, из него исключен фрагмент: «И хоть все наше, но его оказалось не очень много: и земли немного, а лесу и того меньше, много было у барона, и когда проезжали мимо замка, мельник смотрел совсем сурово и совсем недобро.

— Барон ничего не позволяет, ни корчмы держать, ни заводить фабрику, а сам все делает плохо! — мельник говорил отрывисто, кнутом никуда не показывал.

Правда это или неправда, я не знаю, только одно я заметил, что мельник свое поле косил косилкой, а у барона косили косами. Возможно, что мельник был прав, и суровость его по правде.

От замка поехали так, по дороге землю смотреть.

Попадались сожженные мызы, груды камней лежали на месте домов: это было на другой год после нашего свободного года, и беды было везде не мало.

— Человека стрелили, — подымал мельник кнут, — двадцать стрелили».

Также некоторые изменения внесены в концовку рассказа.

С. 510. *Лапочки остались да перышко ~ в особой книжке храню.* — Ремизов в течение всей жизни сохранял памятные мелочи. Так, по свидетельству М. В. Добужинского, писатель «собирал и берег <...> всякие пустячки, которые ему что-нибудь напоминали; пуговицу, которую потерял у него Василий Васильевич [Розанов], коночный билет, по которому он ехал к Констанину Андреевичу [Сомову] и т. д.» (*Добужинский М. В.* Воспоминания. М., 1987. С. 277).

С. 511. *...один приятель зимой писал из Риги ~ соблазнял он меня куда-то проехать на раздолье...* — Латышский поэт Виктор Эглитс (1877—1945) приглашал Ремизова провести лето в доме его родственников в Мадонском уезде Латвии.

С. 512. *Зесвеген* — ныне Цесвайне (*латыш.* Cesvaine, *нем.* Sesswegen) — город в Цесвайнском крае Латвии на реке Сула. Здесь Ремизов с женой отдыхали летом 1907 г. Ср. запись Ремизова: «26.VI—21.VII — Зесвеген (Лифляндия) на мельнице. Рига и Майоренгоф» (*РНБ.* Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 10). Подробнее о пребывании Ремизова

в Латвии см.: *Спроге Л.* А. М. Ремизов в Латвии: В. Дамбергс, В. Эглитс, В. Гусев, И. Павлов, В. Гадалин // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Таллин: Авенариус, [1997]. Т. II. С. 158—167.

С. 517. *...во лузьях, во зеленых лузьях...* — Ср.: «Во лузях, во лузях зеленых, во лузях / Выростала трава шелковая / Расцветали цветы лазоревые» (*Якушкин П. И.* Народные стихи и песни. СПб., 1884. № 101). *Лузья* — луга.

На Ильин день... — См. комм. к с. 428, 491.

С. 518. *Милая моя птичка ~ аисту, пчелам, лугу и речке, мельничихе, твоим братьям.* — В первой публикации финал несколько отличается: «Милая моя птичка, умная и догадливая, — с этих пор, как птичка, час в час будила меня Мильда, — и я кланяюсь тебе и земле твоей и народу твоему!» (*Весеннее порошье.* С. 20).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Жук

Впервые опубликовано: Речь. 1913. 29 июня. № 174. С. 2.

Прижизненные издания: Современное слово. 1913. 29 июня. № 1964. С. 2; *Весеннее порошье.* С. 60—67, в цикле «Свет незаходимый»; Наш огонек. 1925. 12 дек. № 50. С. 2—4.

Авторизованный текст: *НР Вереница II.* Л. 3—12.

Текст в *НР Вереница II* — газетная вырезка, представляющая собой особую редакцию рассказа. Действие перенесено в Берлин 1920-х гг., включены реалии эмигрантского быта, рассказ ведется от третьего лица, персонажам даны имена знакомых из берлинского окружения Ремизова, что вносит в повествование долю иронии.

С. 521. *...не тот жук ~ «сеет тишину»...* — Ср.: «...Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок только что народившегося месяца» (И. А. Бунин. Митина любовь, 1925).

Шрейберы — Шрейбер Яков Самойлович, инженер, журналист, друг Льва Шестова и Ремизова; Фрида Лазаревна, жена Я. С. Шрейбера; дочь от первого брака Вера (подробнее см.: *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова. Paris, 1993. Т. I. С. 176; 195—196). Шрейбер — герой ремизовских мистификаций, кавалер Обезвелволпала; секретарь мифического общества «Цвофирзон». В Берлине (1921—1923)

Я. С. Шрейбер сотрудничал в издательстве «Скифы». О нем также см.: *Звезда надзвездная-Росток XIV*. С. 226—228, 232—233.

Вильмерсдорф (нем. Wilmersdorf) — административный район в Берлине.

Яша в «Бинте» работу себе достал... — Издательство БИНТ (Бюро иностранной науки и техники), организованное в Берлине в 1921 г. Научно-техническим отделом ВСНХ для организации сношений с западноевропейскими учеными для установления постоянного научного общения между Россией и Западом.

С. 523. *...на Нассауерштрассе.* — Нассауйше штрассе (нем. Nassauische Straße) — улица в берлинском районе Вильмерсдорф.

...за Заков... — По-видимому, намек на Льва Васильевича Зака (1892—1980), русского поэта, художника, скульптора, сценографа, в 1922—1923 гг. проживавшего в Берлине, и его семью.

С. 525. *Шутцман* — (нем. Schutzmann) — полицейский.

Вишняки — семья Абрама Григорьевича Вишняка (1893—1944); его жена Вера Лазаревна Аркина, сын Женя (Жак).

«Современные Записки» (Париж, 1920—1940) — ежемесячный общественно-политический и литературный журнал, издаваемый при ближайшем участии Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, А. И. Гуковского, В. В. Руднева.

...а сам он себя не Абрашей, а Геликоном... — Геликон — прозвище А. Г. Вишняка по названию основанного им 1916 г. в Москве издательства. В 1920 г. деятельность издательства «Геликон» была перенесена в Берлин. В 1922 г. в нем была напечатана книга Ремизова «Россия в письменах».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Архивохранилища

ГАРФ — Федеральное казенное учреждение «Государственный архив Российской Федерации» (Москва).

ГЛМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей)». Отдел фондов рукописей (Москва).

ГЛМ ОКФ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей)». Отдел книжных фондов (Москва).

ГРМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский музей». Отдел рукописей (Санкт-Петербург).

ИРЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук». Рукописный отдел. Литературный музей. Библиотека (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства» (Москва).

РГБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Отдел рукописей (Москва).

РНБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека». Отдел рукописей (Санкт-Петербург).

СПФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук (Санкт-Петербург)

Amherst — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture

(USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»).

Bakhmeteff Archive — Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета г. Нью-Йорка (США). (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Ms Coll Chekhov Publishing House»).

Печатные издания

Алексей Ремизов: Исследования и материалы 1994 — Алексей Ремизов: Исследования и материалы / отв. ред. А. М. Грачева. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.

Алексей Ремизов: Исследования и материалы 2003 — Алексей Ремизов: Исследования и материалы: Сб. науч. ст. / отв. ред. А. М. Грачева и А. д'Амелия. СПб.; Салерно, 2003. (Collana di Europa Orientalis; Вып. 4).

Афанасьев — *Афанасьев А. Н.* Народные русские легенды. М.: Н. Щепкин и К. Солдатенков, 1859 (то же: М., 1914).

БВ — «Биржевые ведомости» (газета; С.-Петербург).

Блок, с указанием номеров книг — Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1–5. М.: Наука, 1981–1993.

Богатырев — *Богатырев П. Г.* Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971.

Веселовский, с указанием выпуска или раздела — *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. 1–6. Разд.eI–XVII / Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Прил. к т. XXXVI–LIII. СПб., 1880–1891.

Весеннее порошье — *Ремизов А.* Весеннее порошье: Рассказы. СПб.: Сирин, 1915.

Волшебный мир Алексея Ремизова — Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб.: Хронограф, 1992.

Гоголь — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: [В 14 т.] / АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

Грачева 1993 — *Грачева* А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица: Биогр. альм. М.; СПб.; [Париж], 1993. Вып. 3. С. 419–447.

Грачева 2000 — *Грачева А. М.* Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. (Studiorum Slavicorum Monumenta. [Vol.] 19).

ГРМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский музей». Отдел рукописей.

Даль В., с указанием раздела — *Даль В.* Пословицы и поговорки русского народа. М.: Худож. лит., 1989.

Докука и балагурье 1914 — *Ремизов А.* Докука и балагурье: Русские сказки. СПб.: Сирин, 1914.

Достоевский — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. / АН СССР. ИРЛИ. Л.: Наука, 1972—1990.

Жаков 1901 — *Жаков К. Ф.* Языческое миросозерцание зырян // Научное обозрение. 1901. № 3. С. 68—84.

Заяшные сказки тибетские — *Ремизов А.* Ё: Заяшные сказки тибетские. Чита: Скифы, 1921.

Игра — Игра: Непериодическое издание, посвященное воспитанию посредством игры / Театральный отдел Наркомпроса. Пг., 1918. № 2. Ч. 1, 2.

Кодрянская 1959 — *Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. Париж: Изд. авт., [1959].

Кустодиев — Борис Михайлович Кустодиев: Письма. Статьи. Заметки. Интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1967.

Лалазар — *Ремизов А.* Лалазар: Кавказский сказ. Берлин: Скифы, 1922.

ЛН — Литературное наследство (издательская серия).

Макет I НС — Макет сборника А. Ремизова «Нерусские сказки», авторизованные тексты (вырезки из газет, журналов и книг с авторской правкой) // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 9.

Макет II НС — Макет сборника А. Ремизова «Нерусские сказки», авторизованные тексты (вырезки из газет, журналов и книг с авторской правкой) // ГЛМ. Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 202.

МПП — Макет сборника сказок А. Ремизова «Павлиньим пером» (авторизованная машинопись, газетные вырезки, ксерокопии; правка Ремизова и В. Б. Сосинского <1950-е гг.> // РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 20, 21.

Налимов 1903 — *Налимов В. П.* Некоторые черты из языческого миросозерцания зырян // Этнографическое обозрение. 1903. Кн. LVII. № 2. С. 76—86.

Наша жизнь — Наша жизнь: Иллюстрированная и литературная неделя. Приложение к газ. «Наша жизнь» (СПб., 1904—1906).

НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк, 1942— продолж. изд.).

НРС — «Новое русское слово» (газета; Нью-Йорк, 1910—2010).

Обатнина 2001 — *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.

Ончуков — Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губ.): Сборник Н. Е. Ончукова. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1908.

Переписка с Осиповым — «В России, как встретимся, будем вспоминать». I. Переписка А. М. Ремизова с С. Я. Осиповым (1913—1923); II. Письмо В. Я. Шишкова к А. М. Ремизову (1921) / публ., вступ. ст., комм. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2001 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 218—265.

Письма Щеголеву I — Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. I / вступ. ст., подг. текстов и комм. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 121—177.

Письма Щеголеву II — Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. II / вступ. ст., подг. текстов и комм. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 153—205.

ПН — «Последние новости» (газета; Париж, 1920—1940).

Потанин — *Потанин Г. Н.* Тибетские сказки и предания // Живая старина. 1912. Вып. II/IV. С. 389—436.

Проталина 1907 — Проталина: Альм. I / под ред. Н. Я. Абрамовича и Вл. Ленского. СПб., 1907.

Резникова 2013 — *Резникова Н.* Огненная память: Воспоминания об Алексее Ремизове / сост., подг. текста, вступ. ст. и аннот. именной указ. А. М. Грачевой. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013.

РК I-X — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Русская книга, 2000—2003:

Пруд-РК I — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. I: Пруд.

Докука и балагурье-РК II — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. II: Докука и балагурье.

Оказион-РК III — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. III: Оказион.

Плачужная канава-РК IV — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2001. Т. IV: Плачужная канава.

Взвихренная Русь-РК V — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. V: Взвихренная Русь.

Лимонарь-РК VI — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2001. Т. VI: Лимонарь.

Ахру-РК VII — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2002. Т. VII: Ахру.

Иверень-РК VIII — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2000. Т. VIII: Иверень.

Учитель музыки-РК IX — *Ремизов А. М.* Собр. соч.: В 10 т. 2002. Т. IX: Учитель музыки.

Петербургский буерак-РК X — Ремизов А. М. Собр. соч.: В 10 т. 2003. Т. X: Учитель музыки.

РЛ — «Русская литература» (журнал; Л. (СПб.), 1958 — по настоящее время).

Розанов 2008 — Розанов Ю. В. Фольклоризм А. М. Ремизова: источники, генезис, поэтика. Вологда: ВГПУ, 2008.

Росток-XI— — Ремизов А. М. Собр. соч. СПб.: Росток, 2015— (продолжающееся):

Зга-Росток XI — Ремизов А. М. Собр. соч. 2015. Т. XI: Зга.

Русалия-Росток XII — Ремизов А. М. Собр. соч. 2016. Т. XII: Русалия.

Россия в письменах-Росток XIII — Ремизов А. М. Собр. соч. 2017. Т. XIII: Россия в письменах.

Звезда надзвездная-Росток XIV — Ремизов А. М. Собр. соч. 2018. Т. XIV: Россия в письменах.

В розовом блеске-Росток XV — Ремизов А. М. Собр. соч. 2019. Т. XV: В розовом блеске.

Русский Берлин 1983 — Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин, 1921—1923: По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris, YMCA-Press, [1983].

Русский Берлин 2003 — Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин, 1921—1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. 2-е изд., испр. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 2003.

Садовников — Садовников Д. Н. Сказки и предания Самарского края. СПб.: Тип. Мин-ва внутр. дел, 1884.

Северные цветы ассирийские 1904 — Северные цветы ассирийские: Альм. IV кн-ва «Скорпион». М., 1904.

СЗ — «Современные записки» (журнал; Париж, 1920—1940).

Сибирский пряник — Ремизов А. Сибирский пряник. Большим и для малых ребят: Сказки. Пб.: Алконост, 1919, с посвящ. С. П. Ремизовой-Довгелло; обложка по эскизу А. Ремизова.

Сирин 1—8 — Ремизов А. Сочинения: В 8 т. СПб.: Сирин, 1910—1912.

Сказки русского народа — Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. Берлин; Пг.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1923.

Соболев А. Л. 2013. — Соболев А. Л. Северная ссылка Ремизова: Уточнение нюансов // Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает: Сконапель истоар. М.: Трутень, 2013. С. 176—212 (Летейская б-ка: очерки и материалы по рус. лит. XX века; Т. 2).

Среди мурья — Ремизов А. Среди мурья: Рассказы. М.: Северные дни, 1917.

Толковый словарь В. И. Даля, с указанием тома — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1978–1980. Т. I–IV.
Укрепа — *Ремизов А.* Укрепа: Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе. Пг.: Лукоморье, 1916.
Херсонская рукопись I — ГБЛ. Ф. 386 (фонд В. Я. Брюсова). Ед. хр. 100. Л. 16–29.
Херсонская рукопись II — ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 4. Ед. хр. 264.
Чакхчыгыс-Таасу — *Ремизов А.* Чакхчыгыс-Таасу: Сибирский сказ. Берлин: Скифы, 1922.
Чортов лог и Полунощное солнце — *Ремизов А.* Чортов лог и Полунощное солнце: Рассказы и поэмы. СПб.: Eos, 1908.
Шиповник 1–8 — *Ремизов А.* Сочинения: В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910–1912].
Шумы города — *Ремизов А.* Шумы города. Ревель: Библиофил, [1921].

Авт. комм. — авторский комментарий.
диал. — диалектизмы.
обл. — областной.
НР — наборная рукопись.

СОДЕРЖАНИЕ

БАРАНКИ. *Заключевные рассказы.*

ВЕРЕНИЦА.

Приложение

Утверждено к печати
Институтом русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской Академии наук,
протокол № 1 от 27.01.2020 г.

В оформлении шмуцтитулов, обложки и форзаца использованы архивные материалы (рисунки писателя, документы) из фонда А. М. Ремизова в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН

Научное издание

А. М. Ремизов
ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ
Собрание сочинений
Том 16

Научный редактор тома *А. М. Грачева*

Выпускающий редактор *А. П. Дмитриев*
Компьютерная верстка *С. В. Степанова*
Художественное оформление *Л. Модебадзе*

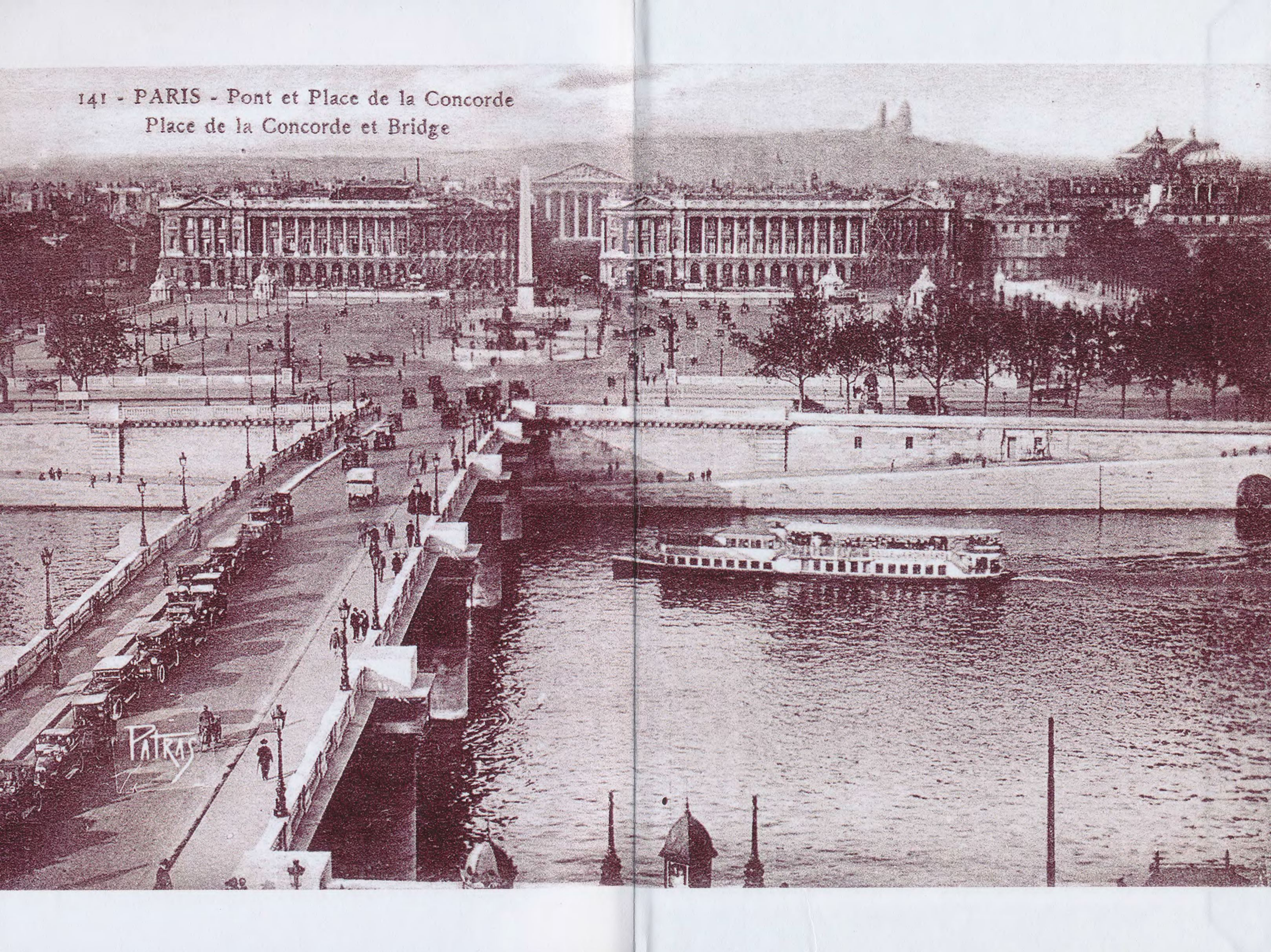
Формат 60 × 88 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Петербург. Печ. л. 43,38.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ №

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
URL: http://www.rostokbooks.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

ИП «Варваркин А. И.»
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, оф. 4

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«книга предназначена для детей старше 16 лет»


Вологда
Центръ Города


141 - PARIS - Pont et Place de la Concorde
Place de la Concorde et Bridge
PATRAS



Вологда.—Vologda. № 8.
Дмитріевская набережная.
9 785946 682749